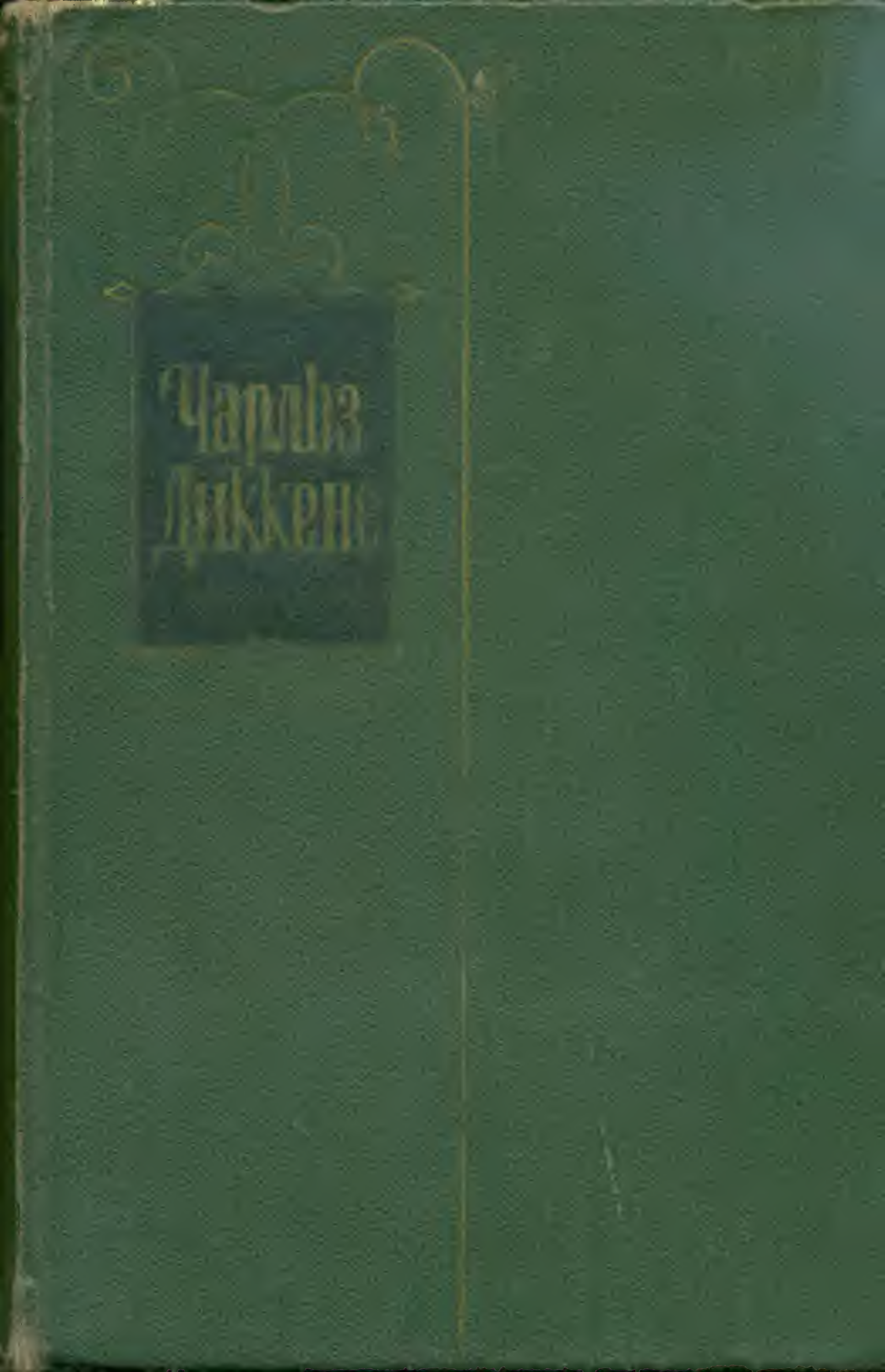

Чарльз
Диккенс

ЧАРЛЬЗ ДИККЕНС



СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ТРИДЦАТИ ТОМАХ

Под общей редакцией
А. А. АНИКСТА и В. В. ИВАШЕВОЙ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1960

ЧАРЛЬЗ ДИККЕНС



СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ СЕМНАДЦАТЫЙ

ХОЛОДНЫЙ ДОМ

Роман

(Главы I—XXX)

Перевод с английского

М. И. КЛЯГИНОЙ-КОНДРАТЬЕВОЙ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1960

CHARLES DICKENS

BLEAK HOUSE

Ch. I—XXX

1853

Иллюстрации

«ФИЗА» (Х. Н. БРАУНА)

Второе, пересмотренное издание перевода

ПРЕДИСЛОВИЕ

Как-то раз в моем присутствии один из канцлерских судей любезно объяснил обществу примерно в полтораста человек, которых никто не подозревал в слабоумии, что хотя предубеждения против Канцлерского суда распространены очень широко (тут судья, кажется, покосился в мою сторону), но суд этот на самом деле почти безупречен. Правда, он признал, что у Канцлерского суда случались кое-какие незначительные промахи — один-два на протяжении всей его деятельности, но они были не так велики, как говорят, а если и произошли, то только лишь из-за «скаредности общества»: ибо это зловредное общество до самого последнего времени решительно отказывалось увеличить количество судей в Канцлерском суде *, установленное — если не ошибаюсь — Ричардом Вторым *, а впрочем, неважно, каким именно королем.

Эти слова показались мне шуткой, и, не будь она столь тяжеловесной, я решился бы включить ее в эту книгу и вложил бы ее в уста Велеречивого Кенджа или мистера Воулса, так как ее, вероятно, придумал либо тот, либо другой. Они могли бы даже присовокупить к ней подходящую цитату из шекспировского сонета:

Красильщик скрыть не может ремесло,
Так на меня проклятое занятье
Печатью несмываемой легло.
О, помоги мне смыть мое проклятье! *

Но скаредному обществу полезно знать о том, что именно происходило и все еще происходит в судейском мире, поэтому заявляю, что все написанное на этих стра-

ницах о Канцлерском суде — истинная правда и не грешит против правды. Излагая дело Гридли, я только пересказал, не изменив ничего по существу, историю одного истинного происшествия, опубликованную беспристрастным человеком, который по роду своих занятий имел возможность наблюдать это чудовищное злоупотребление с самого начала и до конца. В настоящее время [1] в суде разбирается тяжба, которая была начата почти двадцать лет тому назад; в которой иногда выступало от тридцати до сорока адвокатов одновременно; которая уже обошлась в семьдесят тысяч фунтов, истраченных на судебные пошлины; которая является *дружеской тяжбой* и которая (как меня уверяют) теперь не ближе к концу, чем в тот день, когда она началась. В Канцлерском суде разбирается и другая знаменитая тяжба, все еще не решенная, а началась она в конце прошлого столетия и поглотила в виде судебных пошлин уже не семьдесят тысяч фунтов, а в два с лишком раза больше. Если бы понадобились другие доказательства того, что тяжбы, подобные делу «Джарндисы против Джарндисов», существуют, я мог бы в изобилии привести их на этих страницах к стыду... скаредного общества.

Есть еще одно обстоятельство, о котором я хочу коротко упомянуть. С того самого дня, как умер мистер Крук, некоторые лица отрицают, что так называемое *самовозгорание* возможно; после того как кончина Крука была описана, мой добрый друг, мистер Льюис * (быстро убедившийся в том, что глубоко ошибается, полагая, будто специалисты уже перестали изучать это явление), опубликовал несколько остроумных писем ко мне, в которых доказывал, что самовозгорания быть не может. Должен заметить, что я не ввожу своих читателей в заблуждение ни умышленно, ни по небрежности и, перед тем как

[1] В августе 1853 г. *(Прим. автора.)*

писать о самовозгорании, постарался изучить этот вопрос. Известно около тридцати случаев самовозгорания, и самый знаменитый из них, происшедший с графиней Корнелией де Баиди Чезенате, был тщательно изучен и описан веронским пребендарием * Джузеппе Бианкини, известным литератором, опубликовавшим статью об этом случае в 1731 году в Вероне и позже, вторым изданием, в Риме. Обстоятельства смерти графини не вызывают никаких обоснованных сомнений и весьма сходны с обстоятельствами смерти мистера Крука. Вторым в ряду наиболее известных происшествий этого рода можно считать случай, имевший место в Реймсе шестью годами раньше и описанный доктором Ле Ка, одним из самых известных хирургов во Франции. На этот раз умерла женщина, мужа которой, по недоразумению, обвинили в ее убийстве, но оправдали после того, как он подал хорошо аргументированную апелляцию в вышестоящую инстанцию, так как свидетельскими показаниями было неопровержимо доказано, что смерть последовала от самовозгорания. Я не считаю нужным добавлять к этим знаменательным фактам и тем общим ссылкам на авторитет специалистов, которые даны в главе XXXIII [1], мнения и исследования знаменитых профессоров-медиков, французских, английских и шотландских, опубликованные в более позднее время; отмечу только, что не откажусь от признания этих фактов, пока не произойдет основательное «самовозгорание» тех свидетельств, на которых основываются суждения о происшествиях с людьми.

В «Холодном доме» я намеренно подчеркнул романтическую сторону будничной жизни.

---

[1] Другой случай, очень обстоятельно описанный одним зубным врачом, был отмечен в Соединенных Штатах Америки, в городе Колумбусе, совсем недавно. Он произошел с немцем, содержателем винной лавки, горьким пьяницей. *(Прим. автора.)*

ХОЛОДНЫЙ ДОМ

ГЛАВА I

В Канцлерском суде

Лондон. Осенняя судебная сессия — «Сессия Михайлова дня»* — недавно началась, и лорд-канцлер восседает в Линкольнс-Инн-Холле *. Несносная ноябрьская погода. На улицах такая слякоть, словно воды потопа только что схлынули с лица земли, и, появись на Холборн-Хилле мегалозавр длиной футов в сорок, плетущийся, как слоноподобная ящерица, никто бы не удивился. Дым стелется едва поднявшись из труб, он словно мелкая черная изморось, и чудится, что хлопья сажи — это крупные снежные хлопья, надевшие траур по умершему солнцу. Собаки так вымазались в грязи, что их и не разглядишь. Лошади едва ли лучше — они забрызганы по самые наглазники. Пешеходы, поголовно заразившись раздражительностью, тычут друг в друга зонтами и теряют равновесие на перекрестках, где, с тех пор как рассвело (если только в этот день был рассвет), десятки тысяч других пешеходов успели споткнуться и поскользнуться, добавив новые вклады в ту уже скопившуюся — слой на слое — грязь, которая в этих местах цепко прилипает к мостовой, нарастая, как сложные проценты.

Туман везде. Туман в верховьях Темзы, где он плывет над зелеными островками и лугами; туман в низовьях Темзы, где он, утратив свою чистоту, клубится между

лесом мачт и прибрежными отбросами большого (и грязного) города. Туман на Эссекских болотах, туман на Кентских возвышенностях. Туман ползет в камбузы угольных бригов; туман лежит на реях и плывет сквозь снасти больших кораблей; туман оседает на бортах баржей и шлюпок. Туман слепит глаза и забивает глотки престарелым гринвичским пенсионерам*, хрипящим у каминов в доме призрения; туман проник в чубук и головку трубки, которую курит после обеда сердитый шкипер, засевший в своей тесной каюте; туман жестоко щиплет пальцы на руках и ногах его маленького юнги, дрожащего на палубе. На мостах какие-то люди, перегнувшись через перила, заглядывают в туманную преисподнюю и, сами окутанные туманом, чувствуют себя как на воздушном шаре, что висит среди туч.

На улицах свет газовых фонарей кое-где чуть маячит сквозь туман, как иногда чуть маячит солнце, на которое крестьянин и его работник смотрят с пашни, мокрой, словно губка. Почти во всех магазинах газ зажгли на два часа раньше обычного, и, кажется, он это заметил — светит тускло, точно нехотя.

Сырой день всего сырее, и густой туман всего гуще, и грязные улицы всего грязнее у ворот Тэмпл-Бара *, сей крытой свинцом древней заставы, что отменно украшает подступы, но преграждает доступ к некоей свинцоволобой древней корпорации. А по соседству с Тэмпл-Баром, в Линкольнс-Инн-Холле, в самом сердце тумана восседает лорд верховный канцлер в своем Верховном Канцлерском суде.

И в самом непроглядном тумане и в самой глубокой грязи и трясине невозможно так заплутаться и так увязнуть, как ныне плутает и вязнет перед лицом земли и неба Верховный Канцлерский суд, этот зловреднейший из старых грешников.

День выдался под стать лорд-канцлеру — в такой, и только в такой вот день подобает ему здесь восседать,— и лорд-канцлер здесь восседает сегодня с туманным ореолом вокруг головы, в мягкой ограде из малиновых сукон и драпировок, слушая обратившегося к нему дородного адвоката с пышными бакенбардами и тоненьким голоском, читающего нескончаемое краткое изложение судебного дела, и созерцая окно верхнего света, за которым он

видит туман и только туман. День выдался под стать членам адвокатуры при Верховном Канцлерском суде,— в такой-то вот день и подобает им здесь блуждать, как в тумане, и они в числе примерно двадцати человек сегодня блуждают здесь, разбираясь в одном из десяти тысяч пунктов некоей донельзя затянувшейся тяжбы, подставляя ножку друг другу на скользких прецедентах, по колено увязая в технических затруднениях, колотясь головами в защитных париках из козьей шерсти и конского волоса о стены пустословия и по-актерски серьезно делая вид, будто вершат правосудие. День выдался под стать всем причастным к тяжбе поверенным *, из коих двое-трое унаследовали ее от своих отцов, зашибивших на ней деньгу,— в такой-то вот день и подобает им здесь сидеть, в длинном, устланном коврами «колодце» * (хоть и бессмысленно искать Истину на его дне); да они и сидят здесь все в ряд между покрытым красным сукном столом регистратора и адвокатами в шелковых мантиях, навалив перед собой кипы исков, встречных исков, отводов, возражений ответчиков, постановлений, свидетельских показаний, судебных решений, референтских справок и референтских докладов, словом,— целую гору чепухи, что обошлась очень дорого.

Да как же суду этому не тонуть во мраке, рассеять который бессильны горящие там и сям свечи; как же туману не висеть в нем такой густой пеленой, словно он застрял тут навсегда; как цветным стеклам не потускнеть настолько, что дневной свет уже не проникает в окна; как непосвященным прохожим, заглянувшим внутрь сквозь стеклянные двери, осмелиться войти сюда, не убоявшись этого зловещего зрелища и тягучих словопрений, которые глухо отдаются от потолка, прозвучав с помоста, где восседает лорд верховный канцлер, созерцая верхнее окно, не пропускающее света, и где все его приближенные париконосцы заблудились в тумане! Ведь это Канцлерский суд, и в любом графстве найдутся дома, разрушенные, и поля, заброшенные по его вине, в любом сумасшедшем доме найдется замученный человек, которого он свел с ума, а на любом кладбище — покойник, которого он свел в могилу; ведь это он разорил истца, который теперь ходит в стоптанных сапогах, в поношенном платье, занимая и клянча у всех и каждого; это он позволяет могуществу

денег бессовестно попирать право; это он так истощает состояния, терпение, мужество, надежду, так подавляет умы и разбивает сердца, что нет среди судейских честного человека, который не стремится предостеречь, больше того,— который часто не предостерегает людей: «Лучше стерпеть любую обиду, чем подать жалобу в этот суд!»

Так кто же в этот хмурый день присутствует в суде лорд-канцлера, кроме самого лорд-канцлера, адвоката, выступающего по делу, которое разбирается, двух-трех адвокатов, никогда не выступающих ни по какому делу, и вышеупомянутых поверенных в «колодце»? Здесь, в парике и мантии, присутствует секретарь, сидящий ниже судьи; здесь, облаченные в судейскую форму, присутствуют два-три блюстителя не то порядка, не то законности, не то интересов короля *. Все они одержимы зевотой — ведь они никогда не получают ни малейшего развлечения от тяжбы *«Джарндисы против Джарндисов»* (того судебного дела, которое слушается сегодня), ибо все интересное было выжато из нее многие годы тому назад. Стенографы, судебные докладчики, газетные репортеры неизменно удирают вместе с прочими завсегдатаями, как только дело Джарндисов выступает на сцену. Их места уже опустели. Стремясь получше разглядеть все, что происходит в задрапированном святилище, на скамью у боковой стены взобралась щупленькая, полоумная старушка в измятой шляпке, которая вечно торчит в суде от начала и до конца заседаний и вечно ожидает, что решение каким-то непостижимым образом состоится в ее пользу. Говорят, она действительно с кем-то судится или судилась; но никто этого не знает наверное, потому что никому до нее нет дела. Она всегда таскает с собой в ридикюле какой-то хлам, который называет своими «документами», хотя он состоит главным образом из бумажных спичек и сухой лаванды. Арестант с землистым лицом является под конвоем,— чуть не в десятый раз,— лично просить о снятии с него «обвинения в оскорблении суда», но просьбу его вряд ли удовлетворят, ибо он был когда-то одним из чьих-то душеприказчиков, пережил их всех и безнадежно запутался в каких-то счетах, о которых, по общему мнению, и знать не знал. Тем временем все его надежды на будущее рухнули. Другой разоренный истец,

который время от времени приезжает из Шропшира *, каждый раз всеми силами стараясь добиться разговора с канцлером после конца заседаний, и которому невозможно растолковать, почему канцлер, четверть века отравлявший ему жизнь, теперь вправе о нем забыть,— другой разоренный истец становится на видное место и следит глазами за судьей, готовый, едва тот встанет, воззвать громким и жалобным голосом: «Милорд!» Несколько адвокатских клерков и других лиц, знающих этого просителя в лицо, задерживаются здесь в надежде позабавиться на его счет и тем разогнать скуку, навеянную скверной погодой.

Нудное судоговорение по делу Джарндисов все тянется и тянется. В этой тяжбе — пугале, а не тяжбе! — с течением времени все так перепуталось, что никто не может в ней ничего понять. Сами тяжущиеся разбираются в ней хуже других, и общеизвестно, что даже любые два юриста Канцлерского суда не могут поговорить о ней и пять минут без того, чтобы не разойтись во мнениях относительно всех ее пунктов. Нет числа младенцам, что сделались участниками этой тяжбы, едва родившись на свет; нет числа юношам и девушкам, что породнились с нею, как только вступили в брак; нет числа старикам, что выпутались из нее лишь после смерти. Десятки людей с ужасом узнавали вдруг, что они неизвестно как и почему оказались замешанными в тяжбе «Джарндисы против Джарндисов»; целые семьи унаследовали вместе с нею старые полузабытые распри. Маленький истец или ответчик, которому обещали подарить новую игрушечную лошадку, как только дело Джарндисов будет решено, успевал вырасти, обзавестись настоящей лошадью и ускакать на тот свет. Опекаемые судом красавицы девушки увяли, сделавшись матерями, а потом бабушками; прошла длинная вереница сменявших друг друга канцлеров; кипы приобщенных к делу свидетельств по искам уступили место кратким свидетельствам о смерти; с тех пор как старый Том Джарндис впал в отчаяние и, войдя в кофейню на Канцлерской улице *, пустил себе пулю в лоб, на земле не осталось, кажется, и трех Джарндисов, но тяжба «Джарндисы против Джарндисов» все еще тянется в суде — год за годом, томительная и безнадежная.

Тяжба Джарндисов дает пищу остроумию. Больше ничего хорошего из нее не вышло. Многим людям она принесла смерть, зато в судейской среде она дает пищу остроумию. Каждый референт Канцлерского суда наводил справки в приобщенных к ней документах. Каждый канцлер, в бытность свою адвокатом, выступал в ней от имени того или иного лица. Старшины юридических корпораций,— пожилые юристы с сизыми носами и в тупоносых башмаках,— не раз удачно острили на ее счет, заседая после обеда в избранном кругу своей «комиссии по распитию портвейна». Ученики-клерки привыкли оттачивать на ней свое юридическое острословие. Теперешний лорд-канцлер как-то раз тонко выразил всеобщее отношение к тяжбе: видный адвокат мистер Блоуэрс сказал про что-то: «Это будет, когда с неба хлынет картофельный дождь», а канцлер заметил: «Или — когда мы распутаем дело Джарндисов, мистер Блоуэрс», и этой шутке тогда до упаду смеялись блюстители порядка, законности и интересов короля.

Трудно ответить на вопрос: сколько людей, даже не причастных к тяжбе «Джарндисы против Джарндисов», было испорчено и совращено с пути истинного ее губительным влиянием. Она развратила всех судейских, начиная с референта, который хранит стопы насаженных на шпильки, пропыленных, уродливо измятых документов, приобщенных к тяжбе, и кончая последним клерком-переписчиком в «Палате шести клерков», переписавшим десятки тысяч листов формата «канцлерский фолио» под неизменным заголовком «Джарндисы против Джарндисов». Под какими бы благовидными предлогами ни совершались вымогательство, надувательство, издевательство, подкуп и волокита, они тлетворны, и ничего, кроме вреда, принести не могут. Даже мальчикам-слугам поверенных, издавна приучившимся не впускать несчастных просителей, уверяя их, будто мистер Чизл, Мизл — или как его там зовут? — сегодня особенно перегружен работой и занят до самого обеда,— даже этим мальчишкам пришлось лишний раз покривить душой из-за тяжбы Джарндисов. Сборщику судебных пошлин она принесла изрядную сумму денег, а в придачу — недоверие ко всем, даже — к родной матери — и презрение к ближним. Чизл, Мизл — или как их

там зовут? — привыкли давать себе туманные обещания разобраться в таком-то затянувшемся дельце и посмотреть, нельзя ли чем-нибудь помочь Дризлу,— с которым так плохо обошлись,— но не раньше, чем их контора развяжется с делом Джарндисов. Повсюду рассеяло это злополучное дело семена жульничества и жадности всех видов, и даже те люди, которые наблюдали за развитием тяжбы, находясь за пределами ее порочного круга, сами того не заметив, поддались искушению беспринципно махнуть рукой на все дурное вообще и, предоставив ему идти все тем же дурным путем, столь же беспринципно решили, что если мир плох, значит устроен он как попало и не суждено ему быть хорошим.

Так в самой гуще грязи и в самом сердце тумана восседает лорд верховный канцлер в своем Верховном Канцлерском суде.

— Мистер Тенгл,— говорит лорд верховный канцлер, не вытерпев, наконец, красноречия этого ученого джентльмена.

— М'лорд? — отзывается мистер Тенгл.

Никто так тщательно не изучил дела «Джарндисы против Джарндисов», как мистер Тенгл. Он этим славится,— говорят даже, будто он со школьной скамьи ничего другого не читал.

— Вы скоро закончите изложение своих доводов?

— Нет, м'лорд... много разнообразных вопросов... но мой долг повиноваться... ваш'милости,— выскальзывает ответ из уст мистера Тенгла.

— Мы должны выслушать еще нескольких адвокатов, не правда ли? — говорит канцлер с легкой усмешкой.

Восемнадцать ученых собратьев мистера Тенгла, каждый из которых вооружен кратким изложением дела на восемнадцати сотнях листов, подскочив, словно восемнадцать молоточков в рояле, и, отвесив восемнадцать поклонов, опускаются на свои восемнадцать мест, тонущих во мраке.

— Мы продолжим слушание дела через две недели, в среду,— говорит канцлер.

Надо сказать, что вопрос, подлежащий обсуждению, это всего лишь вопрос о судебных пошлинах, ничтож-

ный росток в дремучем лесу породившей его тяжбы,— и уж он-то, несомненно, будет разрешен рано или поздно.

Канцлер встает; адвокаты встают; арестанта поспешно выводят вперед; человек из Шропшира взывает: «Милорд!» Блюстители порядка, законности и интересов короля негодующе кричат: «Тише!» — бросая суровые взгляды на человека из Шропшира.

— Что касается,— начинает канцлер, все еще продолжая судоговорение по делу «Джарндисы против Джарндисов»,— что касается молодой девицы...

— Прош'прощенья, ваш'милость... молодого человека,— преждевременно вскакивает мистер Тенгл.

— Что касается,— снова начинает канцлер, произносят слова особенно внятно,— молодой девицы и молодого человека, то есть обоих молодых людей...

(Мистер Тенгл повержен во прах.)

— ...коих я сегодня вызвал и кои сейчас находятся в моем кабинете, то я побеседую с ними и рассмотрю вопрос — целесообразно ли вынести решение о дозволении им проживать у их дяди.

Мистер Тенгл снова вскакивает.

— Прош'прощенья, ваш'милость... он умер.

— Если так,— канцлер, приложив к глазам лорнет, просматривает бумаги на столе,— то у их деда.

— Прош'прощенья, ваш'милость... дед пал жертвой... собственной опрометчивости... пустил пулю в лоб.

Тут из дальних скоплений тумана внезапно возникает крохотный адвокат и, пыжась изо всех сил, гудит громоподобным басом:

— Ваша милость, разрешите мне? Я выступаю от имени своего клиента. Молодым людям он приходится родственником в отдаленной степени родства. Я пока не имею возможности доложить суду — в какой именно степени, но он бесспорно их родственник.

Эта речь (произнесенная замогильным голосом) еще звучит где-то в вышине меж стропилами, а крохотный адвокат уже плюхнулся на свое место, скрывшись в тумане. Все его ищут глазами. Никто не видит его.

— Я побеседую с обоими молодыми людьми,— повторяет канцлер,— и рассмотрю вопрос о дозволении им про-

живать у их родственника. Я сообщу о своем решении завтра утром, когда открою заседание.

Канцлер уже собирается легким поклоном отпустить адвокатов, но тут подводят арестанта. Его запутанные дела, по-видимому, невозможно распутать, и остается только отдать приказ отвести его обратно в тюрьму, что и выполняют немедленно. Человек из Шропшира решается воззвать еще раз: «Милорд!» — но канцлер, заметив его, мгновенно исчезает. Все остальные тоже исчезают мигом. Батарею синих мешков заряжают тяжелыми бумажными снарядами, и клерки тащат ее прочь; полоумная старушка удаляется вместе со своими документами; опустевший суд запирают.

О, если б можно было здесь запереть всю им содеянную несправедливость, все горе, им принесенное, и сжечь дотла вместе с ним как огромный погребальный костер,— какое это было бы счастье и для лиц, непричастных к тяжбе «Джарндисы против Джарндисов»!

ГЛАВА II

В большом свете

В этот слякотный день нам довольно лишь мельком взглянуть на большой свет. Он не так уж резко отличается от Канцлерского суда, и нам нетрудно будет сразу же перенестись из одного мира в другой. И большой свет и Канцлерский суд скованы прецедентами и обычаями: они — как заспавшиеся Рипы Ван-Уинклы *, что и в сильную грозу играли в странные игры; они — как спящие красавицы, которых когда-нибудь разбудит рыцарь, после чего все вертелы в кухне, теперь неподвижные, завертятся стремительно!

Большой свет не велик. Даже по сравнению с миром таких, как мы, впрочем тоже имеющим свои пределы (в чем вы, ваша светлость, убедитесь, когда, изъездив его вдоль и поперек, окажетесь перед зияющей пустотой), большой свет — всего лишь крошечное пятнышко. В нем много хорошего; много хороших, достойных людей; он

занимает предназначенное ему место. Но все зло в том, что этот изнеженный мир живет, как в футляре для драгоценностей, слишком плотно закутанный в мягкие ткани и тонкое сукно, а потому не слышит шума более обширных миров, не видит, как они вращаются вокруг солнца. Это отмирающий мир, и порождения его болезненны, ибо в нем нечем дышать.

Миледи Дедлок вернулась в свой лондонский дом и дня через три-четыре отбудет в Париж, где ее милость собирается пробыть несколько недель; куда она отправится потом, еще неизвестно. Так, стремясь осчастливить парижан, предвещает великосветская хроника, а кому, как не ей, знать обо всем, что делается в большом свете. Узнавать об этом из других источников было бы не по-светски. Миледи Дедлок провела некоторое время в своей линкольнширской «усадьбе», как она говорит, беседуя в тесном кругу. В Линкольншире * настоящий потоп. Мост в парке обрушился — одну его арку подмыло и унесло паводком. Низина вокруг превратилась в запруженную реку шириной в полмили, и унылые деревья островками торчат из воды, а вода вся в пузырьках — ведь дождь льет и льет день-деньской. В «усадьбе» миледи Дедлок скука была невыносимая. Погода стояла такая сырая, много дней и ночей напролет так лило, что деревья, должно быть, отсырели насквозь, и когда лесник подсекает и обрубает их, не слышно ни стука, ни треска — кажется, будто топор бьет по-мягкому. Олени, наверное, промокли до костей, и там, где они проходят, в их следах стоят лужицы. Выстрел в этом влажном воздухе звучит глухо, а дымок из ружья ленивым облачком тянется к зеленому холму с рощицей на вершине, на фоне которого отчетливо выделяется сетка дождя. Вид из окон в покоях миледи Дедлок напоминает то картину, написанную свинцовой краской, то рисунок, сделанный китайской тушью. Вазы на каменной террасе перед домом весь день наполняются дождевой водой, и всю ночь слышно, как она переливается через край и падает тяжелыми каплями — кап-кап-кап — на широкий настил из плитняка, исстари прозванный «Дорожкой призрака». В воскресенье пойдешь в церковку, что стоит среди парка, видишь — вся она внутри заплесневела, на дубовой кафедре выступил

холодный пот, и чувствуешь такой запах, такой привкус во рту, словно входишь в склеп дедлоковских предков. Как-то раз миледи Дедлок (женщина бездетная), глядя ранними сумерками из своего будуара на сторожку привратника, увидела отблеск каминного пламени на стеклах решетчатых окон, и дым, поднимающийся из трубы, и женщину, догоняющую ребенка, который выбежал под дождем к калитке навстречу мужчине в клеенчатом плаще, блестящем от влаги,— увидела и потеряла душевное спокойствие. И миледи Дедлок теперь говорит, что все это ей «до смерти надоело».

Вот почему миледи Дедлок сбежала из линкольнширской усадьбы, предоставив ее дождю, воронам, кроликам, оленям, куропаткам и фазанам. А в усадьбе домоправительница прошла по комнатам старинного дома, закрывая ставни, и портреты покойных Дедлоков исчезли — словно скрылись от неизбывной тоски в отсыревшие стены. Скоро ли они вновь появятся на свет божий — этого даже великосветская хроника, всеведущая, как дьявол, когда речь идет о прошлом и настоящем, но не ведающая будущего, пока еще предсказать не решается.

Сэр Лестер Дедлок * всего лишь баронет *, но нет на свете баронета более величественного. Род его так же древен, как горы, но бесконечно почтеннее. Сэр Лестер склонен думать, что мир, вероятно, может обойтись без гор, но он погибнет без Дедлоков. О природе он, в общем, мог бы сказать, что замысел ее хорош (хоть она, пожалуй, немножко вульгарна, когда не заключена в ограду парка), но замысел этот еще предстоит осуществить, что всецело зависит от нашей земельной аристократии. Это джентльмен строгих правил, презирающий все мелочное и низменное, и он готов когда угодно пойти на какую угодно смерть, лишь бы на его безупречно честном имени не появилось ни малейшего пятнышка. Это человек почтенный, упрямый, правдивый, великодушный, с закоренелыми предрассудками и совершенно неспособный прислушиваться к голосу разума.

Сэр Лестер на добрых два десятка лет старше миледи. Ему уже перевалило за шестьдесят пять или шестьдесят шесть лет, а то и за все шестьдесят семь. Время от времени он страдает приступами подагры, и походка у него

немного деревянная. Вид у него представительный: серебристо-седые волосы и бакенбарды, тонкое жабо, белоснежный жилет, синий сюртук, который всегда застегнут на все пуговицы, начищенные до блеска. Он церемонно учтив, важен, изысканно вежлив с миледи во всех случаях жизни и превыше всего ценит ее обаяние. К миледи он относится по-рыцарски,— так же, как в те времена, когда добивался ее руки,— и это — единственная романтическая черточка в его натуре.

Что и говорить, женился он на ней по любви, только по любви. До сего времени ходят слухи, будто она даже не родовита; впрочем, сам сэр Лестер происходит из столь знатного рода, что, вероятно, решил удовольствоваться им и обойтись без новых родственных связей. Зато миледи так прекрасна, так горда и честолюбива, одарена такой дерзновенной решительностью и умом, что может затмить целый легион светских дам. Эти качества в сочетании с богатством и титулом быстро помогли ей подняться в высшие сферы, и вот уже много лет, как миледи Дедлок пребывает в центре внимания великосветской хроники, на верхней ступени великосветской лестницы.

О том, как лил слезы Александр Македонский, осознав, что он завоевал весь мир и больше завоевывать нечего, знает каждый или может узнать теперь, потому что об этом стали упоминать довольно часто. Миледи Дедлок, завоевав *свой* мирок, не только не изошла слезами, но как бы оледенела. Утомленное самообладание, равнодушие пресыщения, такая невозмутимость усталости, что никаким интересам и удовольствиям ее не всколыхнуть,— вот победные трофеи этой женщины. Держится она безукоризненно. Если бы завтра ее вознесли на небеса, она, вероятно, поднялась бы туда не выразив ни малейшего восторга.

Она все еще хороша собой, и хотя красота ее уже пережила летний расцвет, но осень для нее еще не настала. Лицо у леди Дедлок примечательное — раньше его можно было назвать скорее очень миловидным, чем красивым, но с годами оно приобрело выражение, свойственное лицам высокопоставленных женщин, и это придало ее чертам классическую строгость. Она очень стройна и потому кажется высокой. На самом деле она среднего

роста, но, как не раз клятвенно утверждал достопочтенный Боб Стейблс, «она умеет выставить свои ста́ти в самом выгодном свете». Тот же авторитетный ценитель находит, что «экстерьер у нее безупречный», и, в частности, по поводу ее прически отмечает, что она «самая выхоленная кобылица во всей конюшне».

Итак, украшенная всеми этими совершенствами, миледи Дедлок (неотступно преследуемая великосветской хроникой) приехала в Лондон из линкольнширской усадьбы, чтобы провести дня три-четыре в своем городском доме, а затем отбыть в Париж, где ее милость собирается прожить несколько недель; куда она отправится потом, пока еще не ясно. А в городском ее доме в этот слякотный, хмурый день появляется старосветский пожилой джентльмен, ходатай по делам, а также поверенный при Верховном Канцлерском суде, имеющий честь быть фамильным юрисконсультом Дедлоков, имя которых начертано на стольких чугунных ящиках, стоящих в его конторе, как будто ныне здравствующий баронет не человек, а монета, беспрерывно перелетающая по мановению фокусника из одного ящика в другой. Через вестибюль, вверх по лестнице, по коридорам, по комнатам, столь праздничным во время лондонского сезона * и столь унылым остальное время года — страна чудес для посетителей, но пустыня для обитателей,— Меркурий в пудреном парике * провожает пожилого джентльмена к миледи.

Пожилой джентльмен выглядит немного обветшалым, хотя, по слухам, он очень богат, ибо нажил большое состояние на заключении брачных договоров и составлении завещаний для членов аристократических семейств. Окруженный таинственным ореолом хранителя семейных тайн, он, как всем известно, владеет ими, не открывая их никому. Мавзолеи аристократии, век за веком врастающие в землю на уединенных прогалинах парков, среди молодой поросли и папоротника, хранят, быть может, меньше аристократических тайн, чем грудь мистера Талкингхорна, запертые в которой эти тайны бродят вместе с ним по белу свету. Он, что называется, «человек старой школы»,— в этом образном выражении речь идет о школе, которая, кажется, никогда не была молодой,— и носит короткие штаны, стянутые лентами у колен, и гетры или

чулки. Его черный костюм и черные чулки, все равно шелковые они или шерстяные, имеют одну отличительную особенность: они всегда тусклы. Как и он сам, платье его не бросается в глаза, застегнуто наглухо и не меняет своего оттенка даже при ярком свете. Он ни с кем никогда не разговаривает — разве только, если с ним советуются по юридическим вопросам. Иногда можно увидеть, как он, молча, но чувствуя себя как дома, сидит в каком-нибудь крупном поместье на углу обеденного стола или стоит у дверей гостиной, о которой красноречиво повествует великосветская хроника; здесь он знаком со всеми, и половина английской знати, проходя мимо, останавливается, чтобы сказать ему: «Как поживаете, мистер Талкингхорн?» Он без улыбки принимает эти приветствия и хоронит их в себе вместе со всем, что ему известно.

Сэр Лестер Дедлок сидит у миледи и рад видеть мистера Талкингхорна. Мистер Талкингхорн как будто сознает, что принадлежит Дедлокам по праву давности, а это всегда приятно сэру Лестеру; он принимает это как некую дань. Ему нравится костюм мистера Талкингхорна: подобный костюм тоже в некотором роде — дань. Он безукоризненно приличен, но все-таки чем-то смахивает на ливрею. Он облекает, если можно так выразиться, хранителя юридических тайн, дворецкого, ведающего юридическим погребом Дедлоков.

Подозревает ли об этом сам мистер Талкингхорн? Быть может, да, а может быть, и нет; но следует отметить одну замечательную особенность, свойственную миледи Дедлок, как дочери своего класса, как одной из предводительниц и представительниц своего мирка: смотрясь в зеркало, созданное ее воображением, она видит себя каким-то непостижимым существом, совершенно недоступным для понимания простых смертных, и в этом зеркале она действительно выглядит так. Однако любая тусклая планетка, вращающаяся вокруг нее, начиная с ее собственной горничной и кончая директором Итальянской оперы *, знает ее слабости, предрассудки, причуды, аристократическое высокомерие, капризы и кормится тем, что подсчитывает и измеряет ее душевные качества с такой же точностью и так же тщательно, как портниха снимает мерку с ее талии.

Допустим, что понадобилось создать моду на новый фасон платья, новый обычай, нового певца, новую танцовщицу, новое драгоценное украшение, нового карлика или великана, новую часовню — что-нибудь новое, все равно что. Этим займутся угодливые люди самых различных профессий, которые, по глубокому убеждению миледи Дедлок, способны лишь на преклонение перед ее особой, но в действительности могут научить вас командовать ею, как ребенком,— люди, которые всю свою жизнь только и делают, что нянчатся с ней, смиренно притворяясь, будто следуют за нею с величайшим подобострастием, на самом же деле ведут ее и всю ее свиту на поводу и, зацепив одного, непременно зацепят и уведут всех, куда хотят, как Лемюэль Гулливер увел грозный флот величественной Лилипутии *.

— Если вы хотите привлечь внимание наших, сэр,— говорят ювелиры Блейз и Спаркл, подразумевая под «нашими» леди Дедлок и ей подобных,— вы должны помнить, что имеете дело не с широкой публикой; вы должны поразить их в самое уязвимое место, а их самое уязвимое место — вот это.

— Чтобы выгодно распродать этот товар, джентльмены,— говорят галантерейщики Шийн и Глосс своим знакомым фабрикантам,— вы должны обратиться к нам, потому что мы умеем привлекать светскую клиентуру и можем создать моду на ваш товар.

— Если вы желаете видеть эту гравюру на столе у моих высокопоставленных клиентов, сэр,— говорит книгопродавец мистер Следдери,— если вы желаете ввести этого карлика или этого великана в дома моих высокопоставленных клиентов, сэр, если вы желаете обеспечить успех этому спектаклю у моих высокопоставленных клиентов, сэр, осмелюсь посоветовать вам поручить это дело мне, ибо я имею обыкновение изучать тех, кто задает тон в среде моих высокопоставленных клиентов, сэр, и, скажу не хвастаясь, могу обвести их вокруг пальца.

И, говоря это, мистер Следдери — человек честный — отнюдь не преувеличивает.

Итак, мистер Талкингхорн, быть может, не знает, что сейчас на душе у Дедлоков; но скорей всего знает.

— Дело миледи сегодня опять разбиралось в Канцлерском суде, не правда ли, мистер Талкингхорн? — спрашивает сэр Лестер, протягивая ему руку.

— Да. Сегодня оно опять разбиралось,— отвечает мистер Талкингхорн, как всегда, неторопливо кланяясь миледи, которая сидит на диване у камина и, держа перед собой ручной экран, защищает им лицо от огня.

— Не стоит и спрашивать, вышло ли из этого хоть что-нибудь путное,— говорит миледи с таким же скучающим видом, какой был у нее в линкольнширской усадьбе.

— Ничего такого, что *вы* назвали бы «путным», сегодня не вышло,— отзывается мистер Талкингхорн.

— Да и никогда не выйдет,— говорит миледи.

Сэр Лестер не против бесконечных канцлерских тяжб. Тянутся они долго, денег стоят уйму, зато соответствуют британскому духу и конституции. Правда, сэр Лестер не очень заинтересован в тяжбе «Джарндисы против Джарндисов», хотя, кроме участия в ней — и, значит, надежды на наследство,— миледи не принесла ему никакого приданого, и он только смутно ощущает, как нелепейшую случайность, что его фамилия — фамилия Дедлок — встречается лишь в бумагах, приобщенных к какой-то тяжбе, тогда как должна бы стоять в ее заголовке. Но, по его мнению, Канцлерский суд, даже если он порой несколько замедляет правосудие и слегка путается, все-таки есть нечто, изобретенное — вкупе со многими другими «нечто» — совершенным человеческим разумом для закрепления навечно всего на свете. Вообще он твердо убежден, что санкционировать своей моральной поддержкой жалобы на этот суд, все равно что подстрекать какого-нибудь простолюдина поднять где-нибудь восстание... по примеру Уота Тайлера *.

— Ввиду того, что к делу приобщено несколько новых показаний, притом коротких,— начинает мистер Талкингхорн,— и ввиду того, что у меня есть прескверный обычай докладывать моим клиентам,— с их разрешения,— обо всех новых обстоятельствах их судебного дела,— осторожный мистер Талкингхорн предпочитает не брать на себя лишней ответственности,— и далее, поскольку вы, как мне известно, собираетесь в Париж, я принес с собой эти показания.

(Сэр Лестер, кстати сказать, тоже собирается в Париж, но великосветская хроника жадно интересуется только его супругой.)

Мистер Талкингхорн вынимает бумаги, просит разрешения положить их на великолепный позолоченный столик, у которого сидит миледи, и, надев очки, начинает читать при свете лампы, прикрытой абажуром:

— «В Канцлерском суде. Между Джоном Джарндисом...»

Миледи прерывает его просьбой по возможности опускать «всю эту судейскую тарабарщину».

Мистер Талкингхорн бросает на нее взгляд поверх очков и, пропустив несколько строк, продолжает читать. Миледи с небрежным и презрительным видом перестает слушать. Сэр Лестер, покоясь в огромном кресле, смотрит на пламя камина и, кажется, величественно одобряет перегруженное бесчисленными повторами судейское многословие, видимо почитая его одним из оплотов нации. Там, где сидит миледи, становится жарко, а ручной экран, хоть и драгоценный, слишком мал; он красив, но бесполезен. Пересев на другое место, миледи замечает бумаги на столе... присматривается к ним... присматривается внимательней... и вдруг спрашивает:

— Кто это переписывал?

Мистер Талкингхорн мгновенно умолкает, изумленный волнением миледи и необычным для нее тоном.

— Кажется, такой почерк называется у вас, юристов, писарским почерком? — спрашивает она, снова приняв небрежный вид, и, обмахиваясь ручным экраном, пристально смотрит мистеру Талкингхорну в лицо.

— Нет, не сказал бы,— отвечает мистер Талкингхорн, рассматривая бумаги.— Вероятно, этот почерк приобрел писарской характер уже после того, как установился. А почему вы спрашиваете?

— Просто так, для разнообразия — очень уж скучно слушать. Но продолжайте, пожалуйста, продолжайте!

Мистер Талкингхорн снова принимается за чтение. Становится еще жарче; миледи загораживает лицо экраном. Сэр Лестер дремлет; но внезапно он вскакивает с криком:

— Как? Что вы сказали?

— Я сказал,— отвечает мистер Талкингхорн, быстро поднявшись,— «боюсь, что миледи Дедлок нездоровится».

— Мне дурно,— шепчет миледи побелевшими губами,— только и всего; но дурно, как перед смертью. Не говорите со мной. Позвоните и проводите меня в спальню!

Мистер Талкингхорн переходит в другую комнату; звонят колокольчики; чьи-то шаги шаркают и топочут; но вот наступает тишина. Наконец Меркурий приглашает мистера Талкингхорна вернуться.

— Ей лучше,— говорит сэр Лестер, жестом предлагая поверенному сесть и читать вслух — теперь уже ему одному.— Я очень испугался. Насколько я знаю, у миледи никогда в жизни не было обмороков. Правда, погода совершенно невыносимая... и миледи до смерти соскучилась у нас в линкольнширской усадьбе.

ГЛАВА III

Жизненный путь

Мне очень трудно приступить к своей части этого повествования,— ведь я знаю, что я не умная. Да и всегда знала. Помнится, еще в раннем детстве я часто говорила своей кукле, когда мы с ней оставались вдвоем:

— Ты же отлично знаешь, куколка, что я дурочка, так будь добра, не сердись на меня!

Румяная, с розовыми губками, она сидела в огромном кресле, откинувшись на его спинку, и смотрела на меня,— или, пожалуй, не на меня, а в пространство,— а я усердно делала стежок за стежком и поверяла ей все свои тайны.

Милая старая кукла! Я была очень застенчивой девочкой,— не часто решалась открыть рот, чтобы вымолвить слово, а сердца своего не открывала никому, кроме нее. Плакать хочется, когда вспомнишь, как радостно было, вернувшись домой из школы, взбежать наверх, в свою комнату, крикнуть: «Милая, верная куколка, я знала, ты ждешь меня!», сесть на пол и, прислонившись к подлокотнику огромного кресла, рассказывать ей

обо всем, что я видела с тех пор, как мы расстались. Я с детства была довольно наблюдательная,— но не сразу все понимала, нет! — просто я молча наблюдала за тем, что происходило вокруг, и мне хотелось понять это как можно лучше. Я не могу соображать быстро. Но когда я очень нежно люблю кого-нибудь, я как будто яснее вижу все. Впрочем, возможно, что мне это только кажется потому, что я тщеславна.

С тех пор как я себя помню, меня, как принцесс в сказках (только принцессы всегда красавицы, а я нет), воспитывала моя крестная. То есть мне говорили, что она моя крестная. Это была добродетельная, очень добродетельная женщина! Она часто ходила в церковь: по воскресеньям — три раза в день, а по средам и пятницам — к утренней службе, кроме того, слушала все проповеди, не пропуская ни одной. Она была красива, и если б улыбалась хоть изредка, была бы прекрасна, как ангел (думала я тогда); но она никогда не улыбалась. Всегда оставалась серьезной и суровой. И она была такая добродетельная, что если и хмурилась всю жизнь, то лишь оттого, казалось мне, что видела, как плохи другие люди. Я чувствовала, что не похожа на нее ничем, что отличаюсь от нее гораздо больше, чем отличаются маленькие девочки от взрослых женщин, и казалась себе такой жалкой, такой ничтожной, такой чуждой ей, что при ней не могла держать себя свободно, мало того — не могла даже любить ее так, как хотелось бы любить. Я с грустью сознавала, до чего она добродетельна и до чего я недостойна ее, страстно надеялась, что когда-нибудь стану лучше, и часто говорила об этом со своей милой куклой; но все-таки я не любила крестной так, как должна была бы любить и любила бы, будь я по-настоящему хорошей девочкой.

От этого, думается мне, я с течением времени сделалась более робкой и застенчивой, чем была от природы, и привязалась к кукле — единственной подруге, с которой чувствовала себя легко. Я была совсем маленькой девочкой, когда случилось одно событие, еще больше укрепившее эту привязанность.

При мне никогда не говорили о моей маме. О папе тоже не говорили, но больше всего мне хотелось знать о маме. Не помню, чтобы меня когда-нибудь одевали в

траурное платье. Мне ни разу не показали маминой могилы. Мне даже не говорили, где находится ее могила. Однако меня учили молиться только за крестную,— словно у меня и не было других родственников. Не раз пыталась я, когда вечером уже лежала в постели, заговорить об этих волновавших меня вопросах с нашей единственной служанкой, миссис Рейчел (тоже очень добродетельной женщиной, но со мной обращавшейся строго), однако миссис Рейчел отвечала только: «Спокойной ночи, Эстер!», брала мою свечу и уходила, оставляя меня одну.

В нашей школе, где я была приходящей, училось семеро девочек,— они называли меня «крошка Эстер Саммерсон»,— но я ни к одной из них не ходила в гости. Правда, все они были гораздо старше и умнее меня и знали гораздо больше, чем я (я была много моложе других учениц), но, помимо разницы в возрасте и развитии, нас, казалось мне, разделяло что-то еще. В первые же дни после моего поступления в школу (я это отчетливо помню) одна девочка пригласила меня к себе на вечеринку, чему я очень обрадовалась. Но крестная в самых официальных выражениях написала за меня отказ, и я не пошла. Я ни у кого не бывала в гостях.

Наступил день моего рождения. В дни рождения других девочек нас отпускали из школы, а в мой нет. Дни рождения других девочек праздновали у них дома — я слышала, как ученицы рассказывали об этом друг другу; мой не праздновали. Мой день рождения был для меня самым грустным днем в году.

Я уже говорила, что, если меня не обманывает тщеславие (а я знаю, оно способно обманывать, и, может быть, я очень тщеславна, сама того не подозревая... впрочем, нет, не тщеславна), моя проницательность обостряется вместе с любовью. Я крепко привязываюсь к людям, и если бы теперь меня ранили, как в тот день рождения, мне, пожалуй, было бы так же больно, как тогда; но подобную рану нельзя перенести дважды.

Мы уже пообедали и сидели с крестной за столом у камина. Часы тикали, дрова потрескивали; не помню, как долго никаких других звуков не было слышно в комнате, да и во всем доме. Наконец, оторвавшись от шитья,

я робко взглянула через стол на крестную, и в ее лице, в ее устремленном на меня хмуром взгляде прочла: «Лучше б у тебя вовсе не было дня рождения, Эстер... лучше бы ты и не родилась на свет!»

Я расплакалась и, всхлипывая, проговорила:

— Милая крестная, скажите мне, умоляю вас, скажите, моя мама умерла в тот день, когда я родилась?

— Нет,— ответила она.— Не спрашивай меня, дитя.

— Пожалуйста, пожалуйста, расскажите мне что-нибудь о ней. Расскажите же, наконец, милая крестная, пожалуйста, расскажите сейчас. За что она покинула меня? Как я ее потеряла? Почему я так отличаюсь от других детей и как получилось, что я сама в этом виновата, милая крестная? Нет, нет, нет, не уходите! Скажите же мне что-нибудь!

Меня обуял какой-то страх, и я в отчаянии уцепилась за ее платье и бросилась перед ней на колени. Она все время твердила: «Пусти меня!» Но вдруг замерла.

Ее потемневшее лицо так поразило меня, что мой порыв угас. Я протянула ей дрожащую ручонку и хотела было от всей души попросить прощения, но крестная так посмотрела на меня, что я отдернула руку и прижала ее к своему трепещущему сердцу. Она подняла меня и, поставив перед собой, села в кресло, потом заговорила медленно, холодным, негромким голосом (я и сейчас вижу, как она, сдвинув брови, показала на меня пальцем):

— Твоя мать покрыла тебя позором, Эстер, а ты навлекла позор на нее. Настанет время — и очень скоро,— когда ты поймешь это лучше, чем теперь, и почувствуешь так, как может чувствовать только женщина. То горе, что она принесла мне, я ей простила,— однако лицо крестной не смягчилось, когда она сказала это,— и я больше не буду о нем говорить, хотя это такое великое горе, какого ты никогда не поймешь... да и никто не поймет, кроме меня, страдалицы. А ты, несчастная девочка, осиротела и была опозорена в тот день, когда родилась — в первый же из этих твоих постыдных дней рождения; так молись каждодневно о том, чтобы чужие грехи не пали на твою голову, как сказано в писании. Забудь о своей матери, и пусть люди забудут ее и этим окажут величайшую милость ее несчастному ребенку. А теперь уйди.

Я хотела было уйти — так замерли во мне все чувства,— но крестная остановила меня и сказала:

— Послушание, самоотречение, усердная работа — вот что может подготовить тебя к жизни, на которую в самом ее начале пала подобная тень. Ты не такая, как другие дети, Эстер,— потому что они рождены в узаконенном грехе и вожделении, а ты — в незаконном. Ты стоишь особняком.

Я поднялась в свою комнату, забралась в постель, прижалась мокрой от слез щекой к щечке куклы и, обнимая свою единственную подругу, плакала, пока не уснула. Хоть я и плохо понимала причины своего горя, мне теперь стало ясно, что никому на свете я не принесла радости и никто меня не любит так, как я люблю свою куколку.

Подумать только, как много времени я проводила с нею после этого вечера, как часто я рассказывала ей о своем дне рождения и заверяла ее, что всеми силами попытаюсь искупить тяготеющий на мне от рождения грех (в котором покаянно считала себя без вины виноватой) и постараюсь быть всегда прилежной и добросердечной, не жаловаться на свою судьбу и по мере сил делать добро людям, а если удастся, то и заслужить чью-нибудь любовь. Надеюсь, я не потворствую своим слабостям, если, вспоминая об этом, плачу. Я очень довольна своей жизнью, я очень бодра духом, но мне трудно удержаться.

Ну вот! Я вытерла глаза и могу продолжать.

После этого дня я стала еще сильнее ощущать свое отчуждение от крестной и страдать оттого, что занимаю в ее доме место, которое лучше было бы не занимать, и хотя в душе я была глубоко благодарна ей, но разговаривать с нею почти не могла. То же самое я чувствовала по отношению к своим школьным подругам, то же — к миссис Рейчел и особенно — к ее дочери, навещавшей ее два раза в месяц,— дочерью миссис Рейчел (она была вдовой) очень гордилась! Я стала очень замкнутой и молчаливой и старалась быть как можно прилежнее.

Как-то раз в солнечный день, когда я вернулась из школы с книжками в сумке и, глядя на свою длинную тень, стала, как всегда, тихонько подниматься наверх, к себе в комнату, крестная выглянула из гостиной

и позвала меня. Я увидела, что у нее сидит какой-то незнакомый человек,— а незнакомые люди заходили к нам очень редко,— представительный важный джентльмен в черном костюме и белом галстуке; на мизинце у него был толстый перстень-печать, на часовой цепочке — большие золотые брелоки, а в руках очки в золотой оправе.

— Вот она, эта девочка,— сказала крестная вполголоса. Затем проговорила, как всегда, суровым тоном: — Это Эстер, сэр.

Джентльмен надел очки, чтобы получше меня рассмотреть, и сказал:

— Подойдите, милая.

Продолжая меня разглядывать, он пожал мне руку и попросил меня снять шляпу. Когда же я сняла ее, он проговорил: «А!», потом «Да!» Затем уложил очки в красный футляр, откинулся назад в кресле и, перекладывая футляр с ладони на ладонь, кивнул крестной. Тогда крестная сказала мне: «Можешь идти наверх, Эстер», а я сделала реверанс джентльмену и ушла.

С тех пор прошло года два, и мне было уже почти четырнадцать, когда я однажды ненастным вечером сидела с крестной у камина. Я читала вслух, она слушала. Как всегда, я сошла вниз в девять часов, чтобы почитать библию крестной, и читала одно место из евангелия от Иоанна, где говорится о том, что к нашему спасителю привели грешницу, а он наклонился и стал писать пальцем по земле.

— «Когда же продолжали спрашивать его,— читала я,— он, восклонившись, сказал им: «Кто из вас без греха, первый брось в нее камень».

На этих словах я оборвала чтение, потому что крестная внезапно встала, схватилась за голову и страшным голосом выкрикнула слова из другой главы евангелия:

— «Итак, бодрствуйте... чтобы, пришедши внезапно, не нашел вас спящими. А что вам говорю, говорю всем, бодрствуйте».

Мгновение она стояла, повторяя эти слова, и вдруг рухнула на пол. Мне незачем было звать на помощь — ее голос прозвучал по всему дому, и его услышали даже с улицы.

Ее уложили в постель. Она лежала больше недели, почти не изменившись внешне,— ее красивое лицо, со столь хорошо мне знакомым решительным и хмурым выражением, как бы застыло. Часто-часто, днем и ночью, прижавшись щекой к ее подушкам, чтобы она могла лучше расслышать мой шепот, я целовала ее, благодарила, молилась за нее, просила ее благословить и простить меня, умоляла подать хоть малейший знак, что она меня узнает и слышит. Все напрасно! Лицо ее словно окаменело. Ни разу, вплоть до самого последнего мгновения, и даже после смерти, оно не смягчилось.

На следующий день после похорон моей бедной, доброй крестной джентльмен в черном костюме и белом галстуке снова явился к нам. Он послал за мной миссис Рейчел, и я увидела его на прежнем месте — как будто он и не уходил.

— Моя фамилия Кендж,— сказал он,— запомните ее, дитя мое: контора Кенджа и Карбоя, в Линкольнс-Инне.

Я сказала, что уже встречалась с ним однажды и помню его.

— Садитесь, пожалуйста... вот здесь, поближе ко мне. Не отчаивайтесь,— это бесполезно. Миссис Рейчел, вы осведомлены о делах покойной мисс Барбери, значит мне незачем говорить вам, что средства, которыми она располагала при жизни, так сказать, умерли вместе с нею, и эта молодая девица теперь, когда ее тетка скончалась...

— Моя тетка, сэр!

— Не стоит продолжать обман, если этим не достигаешь никакой цели,— мягко проговорил мистер Кендж.— Она ваша тетка по крови, но не по закону. Не отчаивайтесь! Перестаньте плакать! Не надо так дрожать! Миссис Рейчел, наша юная приятельница, конечно, слышала о... э-э... тяжбе «Джарндисы против Джарндисов»?

— Нет,— ответила миссис Рейчел.

— Может ли быть,— изумился мистер Кендж, надев очки,— чтобы наша юная приятельница... *прошу* вас, не отчаивайтесь!.. никогда не слыхала о деле Джарндисов?

Я покачала головой, спрашивая себя, что это такое.

— Не слыхала о тяжбе «Джарндисы против Джарндисов»? — проговорил мистер Кендж, глядя на меня поверх

очков и осторожно поворачивая их футляр какими-то ласкающими движениями.— Не слыхала об одной из знаменитейших тяжб Канцлерского суда? О тяжбе Джарндисов, которая... э... является величайшим монументом канцлерской судебной практики? Тяжбе, в которой, я бы сказал, каждое осложнение, каждое непредвиденное обстоятельство, каждая фикция, каждая форма процедуры, известная этому суду, повторяется все вновь и вновь? Это такая тяжба, какой не может быть нигде, кроме как в нашем свободном и великом отечестве. Должен сказать, миссис Рейчел,— очевидно, я казалась ему невнимательной и потому он обращался к ней,— что общая сумма судебных пошлин по тяжбе «Джарндисы против Джарндисов» дошла к настоящему времени до *ше-сти-десяти,* а может быть и *се-ми-десяти* тысяч фунтов! — заключил мистер Кендж, откидываясь назад в кресле.

Я ничего не могла понять; но что мне было делать? Я была так несведуща в подобных вопросах, что и после его разъяснений ровно ничего не понимала.

— Неужели она и впрямь ничего не слышала об этой тяжбе? — проговорил мистер Кендж.— Поразительно!

— Мисс Барбери, сэр,— начала миссис Рейчел,— которая ныне пребывает среди серафимов...

— Надеюсь, что так, надеюсь,— вежливо вставил мистер Кендж.

— ...желала, чтобы Эстер знала лишь то, что может быть ей полезно. Только этому ее и учили здесь, а больше она ничего не знает.

— Прекрасно! — проговорил мистер Кендж.— В общем, это очень разумно. Теперь приступим к делу,— обратился он ко мне.— Мисс Барбери была вашей единственной родственницей (разумеется — незаконной; по закону же у вас, должен заметить, нет никаких родственников), но она скончалась, и, конечно, нельзя ожидать, что миссис Рейчел...

— Конечно, нет! — поспешила подтвердить миссис Рейчел.

— Разумеется,— согласился мистер Кендж.— Нельзя ожидать, что миссис Рейчел обременит себя вашим содержанием и воспитанием (прошу вас, не отчаивайтесь), поэтому вы теперь имеете возможность принять предло-

жение, которое мне поручили сделать мисс Барбери года два тому назад, ибо хоть сама она тогда и отвергла это предложение, но просила сделать его вам в случае, если произойдет прискорбное событие, случившееся теперь. Далее, если я сейчас открыто признаю, что в тяжбе «Джарндисы против Джарндисов», а также в других делах я выступаю от имени весьма гуманного, хоть и своеобразного человека, погрешу ли я в каком-нибудь отношении против своей профессиональной осторожности? — заключил мистер Кендж, откидываясь назад в кресле и спокойно глядя на нас обеих.

Он, видимо, прямо-таки наслаждался звуками собственного голоса. Да и немудрено — голос у него был сочный и густой, что придавало большой вес каждому его слову. Он слушал себя с явным удовольствием, по временам слегка покачивая головой в такт своей речи или закругляя конец фразы движением руки. На меня он произвел большое впечатление,— даже в тот день, то есть раньше, чем я узнала, что он подражает одному важному лорду, своему клиенту, и что его прозвали «Велеречивый Кендж».

— Мистер Джарндис,— продолжал он,— осведомлен о... я бы сказал, печальном положении нашей юной приятельницы и предлагает поместить ее в первоклассное учебное заведение, где воспитание ее будет завершено, где она ни в чем не станет нуждаться, где будут предупреждать ее разумные желания, где ее превосходно подготовят к выполнению ее долга на той ступени общественной лестницы, которая ей была предназначена... скажем, провидением.

И то, что он говорил, и его выразительная манера говорить произвели на меня такое сильное впечатление, что я, как ни старалась, не могла вымолвить ни слова.

— Мистер Джарндис,— продолжал он,— не ставит никаких условий, только выражает надежду, что наша юная приятельница не покинет упомянутое заведение без его ведома и согласия; что она добросовестно постарается приобрести знания, применяя которые будет впоследствии зарабатывать средства на жизнь; что она вступит на стезю добродетели и чести и... э-э... тому подобное.

Я все еще была не в силах выдавить из себя ни звука.

— Ну, так что же скажет наша юная приятельница? — продолжал мистер Кендж.— Не торопитесь, не торопитесь! Я подожду ответа. Не надо торопиться!

Мне не к чему приводить здесь слова, которые тщетно пыталась произнести несчастная девочка, получившая это предложение. Мне легче было бы повторить те, которые она произнесла, если бы только их стоило повторять. Но я никогда не смогу выразить то, что она чувствовала и будет чувствовать до своего смертного часа.

Этот разговор происходил в Виндзоре *, где я (насколько мне было известно) жила от рождения. Ровно через неделю, в изобилии снабженная всем необходимым, я уехала оттуда в почтовой карете, направлявшейся в Рединг *.

Миссис Рейчел была так добра, что, прощаясь со мной, не растрогалась; я же была не так добра и плакала горькими слезами. Мне казалось, что за столько лет, прожитых вместе, я должна была бы узнать ее ближе, должна была так привязать ее к себе, чтобы наше расставание ее огорчило. Она коснулась моего лба холодным прощальным поцелуем, упавшим на меня словно капля талого снега с каменного крыльца,— в тот день был сильный мороз,— а я почувствовала такую боль, такие укоры совести, что прижалась к ней и сказала, что если она расстается со мной так легко, то это — моя вина.

— Нет, Эстер,— возразила она,— это твоя беда!

Почтовая карета подъехала к калитке палисадника,— мы не выходили из дома, пока не услышали стука колес,— и тут я грустно простилась с миссис Рейчел. Она вернулась в комнаты, прежде чем мой багаж был уложен на крышу кареты, и захлопнула дверь. Пока наш дом был виден, я сквозь слезы неотрывно смотрела на него из окна кареты. Крестная оставила все свое небольшое имущество миссис Рейчел, а та собиралась его распродать и уже вывесила наружу, на мороз и снег, тот старенький предкаминный коврик с узором из роз, который всегда казался мне самой лучшей вещью на свете. Дня за два до отъезда я завернула свою милую старую куклу в ее собственную шаль и — стыдно признаться — похоронила ее в саду под деревом, которое росло у окна моей комнаты. У меня

больше не осталось друзей, кроме моей птички, и я увезла ее с собой в клетке.

Клетка стояла у моих ног, на соломенной подстилке, и когда дом скрылся из виду, я села на самый край низкого сиденья, чтобы легче было дотянуться до высокого окна кареты, и стала смотреть на опушенные инеем деревья, напоминавшие мне красивые кристаллы; на поля, совсем ровные и белые под пеленой снега, который выпал накануне; на солнце, такое красное, но излучавшее так мало тепла; на лед, отливающий темным металлическим блеском там, где конькобежцы и люди, скользившие по катку без коньков, смели с него снег. На противоположной скамье в карете сидел джентльмен, который казался очень толстым — так он был закутан; но он смотрел в другое окно, не обращая на меня никакого внимания.

Я думала о своей покойной крестной... и о памятном вечере, когда в последний раз читала ей вслух, и о том, как неподвижен и суров был ее хмурый взгляд, когда она лежала при смерти; думала о чужом доме, в который ехала; о людях, которых там увижу; о том, какими они окажутся и как встретят меня... но вдруг чуть не подскочила,— так неожиданны были чьи-то слова, прозвучавшие в карете:

— Какого черта вы плачете?

Я так испугалась, что потеряла голос и могла только отозваться шепотом:

— Я, сэр?

Закутанный джентльмен не отрывался от окна, но я, конечно, догадалась, что это он заговорил со мной.

— Да, вы,— ответил он, повернувшись ко мне.

— Я не плачу, сэр,— пролепетала я.

— Нет, плачете,— сказал джентльмен.— Вот, смотрите!

Он сидел в дальнем углу кареты, но теперь подвинулся, сел прямо против меня и провел широким меховым обшлагом своего пальто по моим глазам (однако не сделав мне больно), а потом показал мне следы моих слез на меху.

— Ну вот! Теперь поняли, что плачете,— проговорил он.— Ведь так?

— Да, сэр,— согласилась я.

— А отчего вы плачете? — спросил джентльмен.— Вам не хочется ехать туда?

— Куда, сэр?

— Куда? Да туда, куда вы едете,— объяснил джентльмен.

— Я очень рада, что еду, сэр,— ответила я.

— Ну, так пусть у вас будет радостное лицо! — воскликнул джентльмен.

Он показался мне очень странным; то есть показались очень странными те немногие его черты, которые я могла разглядеть,— ведь он был закутан до самого подбородка, а лицо его почти закрывала меховая шапка с широкими меховыми наушниками, застегнутыми под подбородком; но я уже успокоилась и перестала его бояться. И я сказала, что плакала, должно быть, оттого, что моя крестная умерла, а миссис Рейчел не горевала, расставаясь со мною.

— К чертям миссис Рейчел! — вскричал джентльмен.— Чтоб ее ветром унесло верхом на помеле!

Я опять испугалась, уже не на шутку, и взглянула на него с величайшим удивлением. Но я заметила, что глаза у него добрые, хоть он и сердито бормотал что-то себе под нос, продолжая всячески поносить миссис Рейчел.

Немного погодя он распахнул свой плащ, такой широкий, что в него, казалось, можно было завернуть всю карету, и сунул руку в глубокий боковой карман.

— Слушайте, что я вам скажу! — начал он.— Вот в эту бумагу,— он показал мне аккуратно сделанный пакет,— завернут кусок самого лучшего кекса, какой только можно достать за деньги... сверху слой сахара в дюйм толщины — точь-в-точь как жир на бараньей отбивной. А вот это — маленький паштет (настоящий деликатес и на вид и на вкус); привезен из Франции. Как вы думаете, из чего он сделан? Из превосходной гусиной печенки. Вот так паштет! Теперь посмотрим, как вы все это скушаете.

— Благодарю вас, сэр,— ответила я,— я, право же, очень благодарна вам, но,— пожалуйста, не обижайтесь,— все это для меня слишком жирно.

— Опять сел в лужу! — воскликнул джентльмен,— я не поняла, что он этим хотел сказать,— и выбросил оба пакета в окно.

Больше он не заговаривал со мной и только, выйдя из кареты неподалеку от Рединга, посоветовал мне быть паинькой и прилежно учиться, а на прощанье пожал мне руку. Расставшись с ним, я, признаться, почувствовала облегчение. Карета отъехала, а он остался стоять у придорожного столба. Впоследствии мне часто случалось проходить мимо этого столба, и, поравнявшись с ним, я всякий раз вспоминала своего спутника — мне почему-то казалось, что я должна его встретить. Так было несколько лет; но я ни разу его не встретила и с течением времени позабыла о нем.

Когда карета остановилась, в окно заглянула очень подтянутая дама и сказала:

— Мисс Донни.

— Нет, сударыня, я Эстер Саммерсон.

— Да, конечно,— сказала дама.— Мисс Донни.

Наконец я поняла, что она, представляясь мне, назвала свою фамилию, и, попросив у нее извинения за недогадливость, ответила на ее вопрос, где уложены мои вещи. Под надзором столь же подтянутой служанки вещи мои перенесли в крошечную зеленую карету, затем мы трое — мисс Донни, служанка и я — уселись в нее и тронулись в путь.

— Мы все приготовили к вашему приезду, Эстер,— сказала мисс Донни,— а программу ваших занятий составили так, как пожелал ваш опекун, мистер Джарндис.

— Мой... как вы сказали, сударыня?

— Ваш опекун, мистер Джарндис,— повторила мисс Донни.

Я прямо обомлела, а мисс Донни подумала, что у меня захватило дух на морозе, и протянула мне свой флакон с нюхательной солью.

— А вы знакомы с моим... опекуном, мистером Джарндисом, сударыня? — спросила я, наконец, после долгих колебаний.

— Не лично, Эстер,— ответила мисс Донни,— только через посредство его лондонских поверенных, господ Кенджа и Карбоя. Мистер Кендж — человек замечатель-

ный. Необычайно красноречивый. Некоторые периоды в его речах просто великолепны!

В душе я согласилась с мисс Донни, но от смущения не решилась сказать это вслух. Не успела я опомниться, как мы доехали, и тут уж я совсем растерялась — никогда не забуду, что в тот вечер все в Гринлифе (доме мисс Донни) казалось мне каким-то туманным и призрачным.

Впрочем, я быстро здесь освоилась. Вскоре я так привыкла к гринлифским порядкам, что мне стало казаться, будто я приехала сюда уже давным-давно, а моя прежняя жизнь у крестной была не действительной жизнью, но сном. Такой точности, аккуратности и педантичности, какие царили в Гринлифе, наверное, не было больше нигде на свете. Здесь все обязанности распределялись по часам,— сколько их есть на циферблате,— и каждую выполняли в назначенный для нее час.

Нас, двенадцать пансионерок, воспитывали две мисс Донни — сестры-близнецы. Было решено, что в будущем я сама стану воспитательницей, и потому сестры Донни не только учили меня всему, что полагалось изучить в Гринлифе, но вскоре заставили помогать им в занятиях с другими девочками. Только этим и отличалась моя жизнь здесь от жизни других воспитанниц. Чем больше расширялись мои познания, тем больше уроков я давала, так что с течением времени у меня оказалось много работы, которую я очень любила, потому что, занимаясь со мной, милые девочки полюбили меня. Если, поступив к нам, новая воспитанница немного грустила и тосковала, она, право не знаю почему, непременно сближалась со мной; поэтому всех новеньких стали отдавать на мое попечение. Они говорили, что я такая ласковая; а я думала, что это они сами ласковые. Я часто вспоминала о том, как в день своего рождения решила быть прилежной и добросердечной, не жаловаться на судьбу, стараться делать добро и, если удастся, заслужить чью-нибудь любовь, и, право же, право, готова была устыдиться, что сделала так мало, получив так много.

В Гринлифе я прожила шесть счастливых спокойных лет. В день своего рождения я, слава богу, ни разу за это время не видела по глазам людей, что было бы лучше,

если б я не родилась на свет. Когда наступал этот день, он приносил мне столько знаков любви и внимания, что они круглый год украшали мою комнату.

За эти шесть лет я ни разу никуда не выезжала, если не считать визитов к соседям во время каникул. Спустя примерно полгода после приезда в Гринлиф я спросила мисс Донни, как она думает, не написать ли мне мистеру Кенджу, что мне здесь хорошо живется, за что я очень благодарна, и, с ее одобрения, написала такое письмо. В ответ я получила официальное отношение юридической конторы, в котором подтверждалось получение моего письма и было сказано, что «содержание оного будет неукоснительно передано нашему клиенту». После этого я иногда слышала, как мисс Донни и ее сестра говорили, что плата за мое обучение поступает очень регулярно, и раза два в год отваживалась написать письмо мистеру Кенджу — такое же, как в первый раз. На каждое я получала обратной почтой точно такой же ответ, какой получила на свое первое, и все они были написаны тем же круглым почерком, а внизу стояла подпись: «Кендж и Карбой», сделанная другой рукой,— вероятно, самим мистером Кенджем.

Как странно, что мне приходится столько писать о себе самой! Как будто эта повесть — повесть о *моей* жизни! Впрочем, моя скромная особа вскоре отступит на задний план.

Шесть спокойных лет прожила я в Гринлифе (вспомнила, что уже говорила это), наблюдая в окружающих, как в зеркале, каждую ступень моего собственного роста и развития, и вот однажды ноябрьским утром получила следующее письмо. Я привожу его здесь без даты.

Для мисс Эстер Саммерсон.

Олд-сквер в Линкольнс-Инне.
Дело «Джарндисы против Джарндисов».

Сударыня!

Наш клиент, мистер Джарндис, согласно постановлению Канцлерского суда, принимает к себе в дом состоящую под опекой оного суда участницу вышеуказанного судебного дела и, вознамерившись подыскать ей достойную компаньонку, поручает нам уведомить Вас, что он

желал бы воспользоваться Вашими услугами для достижения данной цели.

Мы обеспечили Вам проезд за наш счет в почтовой карете, выезжающей из Рединга в следующий понедельник в восемь часов утра и имеющей прибыть в Лондон, на Пикадилли *, в каретный двор при гостинице «Погреб белого коня» *, где Вас будет ожидать наш клерк, чтобы проводить Вас в нашу контору по вышеуказанному адресу.

Готовые к Вашим услугам, сударыня,

Кендж и Карбой».

Ах, никогда, никогда, никогда не забыть мне, как взволновало это письмо весь дом! Так трогательно и горячо любили меня его обитательницы; так милостив был небесный отец, который не забыл меня, который облегчил и сгладил мой сиротский путь и привлек ко мне столько юных существ, что я едва могла вынести все это. Не могу сказать, чтобы мне хотелось видеть моих девочек не очень огорченными — нет, конечно,— но радость, и печаль, и гордость, и счастье, и смутное сожаление, вызванные их грустью,— все эти чувства так перемешались в моем сердце, что оно прямо разрывалось, хоть и было исполнено восторга.

День моего отъезда был назначен в письме, и на сборы у меня осталось только пять дней. И вот, когда я в течение всех этих пяти дней стала с каждой минутой получать все новые и новые доказательства любви и нежности; и когда, наконец, наступило утро отъезда и меня провели по всем комнатам, чтобы я взглянула на них в последний раз; и когда одна девочка крикнула: «Эстер, дорогая, простимся тут, у моей постели, ведь здесь ты впервые говорила со мной и — так ласково!»; и когда другие девочки попросили меня только написать им на бумажках их имена, с припиской: «От любящей Эстер»; и когда они все окружили меня, протягивая прощальные подарки, и со слезами прижимались ко мне, восклицая: «Что мы будем делать, когда наша милая, милая Эстер уедет!»; и когда я пыталась объяснить им, как снисходительны, как добры они были ко мне и как я благослов-

ляю и благодарю их всех,— что только творилось в моем сердце!

И когда обе мисс Донни, расставаясь со мной, горевали не меньше, чем самая маленькая воспитанница, и когда служанки говорили: «Будьте счастливы, мисс, где бы вам ни пришлось жить!», и когда невзрачный, хромой старик садовник, который, как мне казалось, все эти годы вряд ли замечал мое присутствие, тяжело дыша, побежал за отъезжавшей каретой, чтобы преподнести мне букетик герани, и сказал, что я была светом его очей,— старик именно так и сказал,— что только творилось в моем сердце!

И как мне было не плакать, если, проезжая мимо деревенской школы, я увидела неожиданное зрелище: бедные ребятишки высыпали наружу и махали мне шапками и капорами, а один седой джентльмен и его жена (я давала уроки их дочке и бывала у них в гостях, хотя они считались самыми высокомерными людьми во всей округе) закричали мне, позабыв обо всем, что нас разделяло: «До свиданья, Эстер! Желаем вам большого счастья!» — как мне было не плакать от всего этого и, сидя одной в карете, не твердить в глубочайшем волнении: «Я так благодарна, так благодарна!»

Но, конечно, я скоро рассудила, что после всего того, что для меня сделали, мне не подобает явиться в Лондон заплаканной. Поэтому я проглотила слезы и заставила себя успокоиться, то и дело повторяя: «Ну, Эстер, перестань! *Нельзя же так!»* В конце концов мне удалось вполне овладеть собой, хотя и не так быстро, как следовало бы, а когда я освежила себе глаза лавандовой водой, пора уже было готовиться к приезду в Лондон.

И вот я решила, что мы уже приехали, но оказалось, что до Лондона еще десять миль; когда же мы, наконец, действительно прибыли в город, мне все не верилось, что мы когда-нибудь доедем. Но как только мы начали трястись по булыжной мостовой и особенно когда мне стало казаться, будто все прочие экипажи наезжают на нас, а мы наезжаем на них, я, наконец, поняла, что мы и в самом деле приближаемся к концу нашего путешествия. Немного погодя мы остановились.

На тротуаре стоял какой-то молодой человек, который, должно быть по неосторожности, вымазался чернилами; он обратился ко мне с такими словами:

— Я от конторы Кендж и Карбой в Линкольнс-Инне, мисс.

— Очень приятно, сэр,— отозвалась я.

Он оказался весьма предупредительным — приказал перенести в пролетку мой багаж, потом усадил в нее меня, и тут я спросила, уж не вспыхнул ли где-нибудь большой пожар,— спросила потому, что в городе стоял необычайно густой и темный дым — ни зги не было видно.

— Ну, что вы, мисс! Конечно, нет,— ответил молодой человек.— В Лондоне всегда так.

Я была поражена.

— Это туман, мисс,— объяснил он.

— Вот как! — воскликнула я.

Мы медленно двигались по улицам, самым грязным и темным на свете (казалось мне), и на каждой из них было такое столпотворение, что я удивлялась, как можно здесь не потерять головы; но вот шум внезапно сменился тишиной,— проехав под какими-то старинными воротами, мы покатили по безлюдной площади и остановились в углу у подъезда с широкой крутой лестницей, такой, какие бывают перед входом в церковь. И как по соседству с церковью нередко видишь кладбище, так и здесь я, поднимаясь наверх, увидела в окно окаймленный аркадами двор, а в нем могилы с надгробными плитами.

В этом доме помещалась контора Кенджа и Карбоя. Молодой человек провел меня через канцелярию в кабинет мистера Кенджа, где сейчас никого не было, и вежливо пододвинул кресло к огню. Потом он показал мне на зеркальце, висевшее на гвозде сбоку от камина.

— Может, вам с дороги захочется привести себя в порядок, мисс, перед тем как представиться канцлеру. Впрочем, в этом вовсе нет надобности, смею заверить,— галантно проговорил молодой человек.

— Представиться канцлеру? — промолвила я в недоумении.

— Простая формальность, мисс,— объяснил молодой человек.— Мистер Кендж сейчас в суде. Он просил вам

кланяться... не желаете ли подкрепиться,— я увидела на столике печенье и графин с вином,— а также просмотреть газету? — Молодой человек подал мне газету. Затем помешал угли в камине и ушел.

Все в этой комнате казалось мне таким странным — особенно потому, что здесь среди бела дня царил ночной мрак, свечи горели каким-то бледным пламенем и от всех предметов веяло сыростью и холодом,— и так все это было непривычно, что, взяв газету, я читала слова, не понимая их значения, и, наконец, поймала себя на том, что перечитываю одни и те же строки несколько раз подряд. Продолжать в том же духе не имело смысла, поэтому я отложила газету, посмотрела в зеркало, хорошо ли на мне сидит шляпа, затем окинула взглядом полутемную комнату, потертые, покрытые пылью столы, кипы исписанной бумаги, книжный шкаф, набитый книгами самого невзрачного, самого непривлекательного вида. Потом я стала думать, и все думала, думала, думала; а огонь в камине все горел, и горел, и горел, а свечи мигали и оплывали,— щипцов для снимания нагара не было, пока молодой человек не принес щипцы, очень грязные,— и так я просидела целых два часа.

Наконец прибыл мистер Кендж. Кто-кто, а он ничуть не изменился; зато он нашел во мне резкую перемену, которой, видимо, был удивлен и очень доволен.

— Поскольку вам предстоит сделаться компаньонкой той молодой девицы, что сейчас сидит в кабинете канцлера, мисс Саммерсон,— сказал он,— мы полагаем, что вам сейчас следует находиться при ней. Присутствие лорд-канцлера вас не смутит, не правда ли?

— Нет, сэр, не думаю,— ответила я, поразмыслив, но так и не поняв, почему, собственно, я могу смутиться.

Итак, мистер Кендж взял меня под руку, и мы, выйдя на площадь, завернули за угол, миновали колоннаду какого-то здания и вошли в него через боковую дверь. Потом мы прошли по коридору и, наконец, очутились в хорошо обставленной комнате, где я увидела девушку и юношу у камина, в котором жарко горели и громко трещали дрова. Молодые люди разговаривали, стоя друг против друга и опираясь на экран, поставленный перед камином.

Когда я вошла, они оба взглянули на меня, и девушка, озаренная пламенем, показалась мне необычайно красивой,— у нее были такие густые золотистые волосы, такие нежные голубые глаза, такое светлое, невинное, доверчивое лицо!

— Мисс Ада,— сказал мистер Кендж,— разрешите представить вам мисс Саммерсон.

Здороваясь со мной, она приветливо улыбнулась и протянула было мне руку, но вдруг передумала и поцеловала меня. Скажу коротко: она была так естественна, так мила и обаятельна, что уже спустя несколько минут мы с ней уселись в оконной нише, освещенной пламенем камина, и принялись болтать до того непринужденно и весело, будто век были подругами.

У меня точно гора с плеч свалилась! Как отрадно было сознавать, что она доверяет мне и что я ей нравлюсь! Как мило она отнеслась ко мне и как это меня ободрило!

Юноша был ее дальний родственник, Ричард Карстон,— она сама мне это сказала. Красивый, с ясным, открытым лицом, он удивительно хорошо смеялся, а когда Ада подозвала его, он стал возле нас и тоже озаренный пламенем камина стал разговаривать с нами весело, словно беззаботный мальчик. Лет ему было немного — девятнадцать, не больше, может быть меньше; Ада была почти на два года моложе. Оба они потеряли родителей, а познакомились друг с другом только сегодня (что показалось мне очень удивительным и странным). Итак, мы трое впервые встретились при столь необычных обстоятельствах, что об этом стоило поговорить, и мы говорили об этом, а огонь, переставший трещать, уже только подмигивал нам рдеющими очами, словно «засыпающий старый канцлерский лев», по выражению Ричарда.

Мы говорили вполголоса, потому что были не одни — какой-то судейский, в парадной мантии и парике фасона «с кошельком» *, то входил в комнату, то уходил, и, когда он открывал дверь, мы слышали какое-то отдаленное тягучее гуденье — судейский объяснил нам, что это один из адвокатов, выступающих по нашей тяжбе, обратился с речью к лорд-канцлеру. Наконец судейский сообщил мистеру Кенджу, что канцлер освободится через

пять минут, и действительно вскоре послышался шум и топот, а мистер Кендж сказал, что заседание суда окончилось и его милость вернулся в свой кабинет.

Судейский в парике почти тотчас же распахнул дверь и пригласил мистера Кенджа войти. И вот мы все перешли в соседнюю комнату,— мистер Кендж впереди с моей дорогой девочкой (я теперь настолько привыкла называть ее так, что не могу писать иначе),— и здесь увидели лорд-канцлера, который сидел в кресле за столом у камина, одетый в простой черный костюм,— свою мантию, обшитую великолепным золотым кружевом, он бросил на другое кресло. Когда мы вошли, его милость окинул нас испытующим взглядом, но поздоровался с нами изысканно-вежливо и любезно.

Судейский в парике положил на стол его милости кипу дел, а его милость молча выбрал одно из них и принялся его перелистывать.

— Мисс Клейр,— проговорил лорд-канцлер.— Мисс Ада Клейр?

Мистер Кендж представил ему Аду, и его милость предложил ей сесть рядом с ним. Даже я сразу заметила, что она очень понравилась лорд-канцлеру и заинтересовала его. Но мне стало больно, когда я подумала о том, что у этой юной, прелестной девушки нет родного дома и ее опекает бездушное государственное учреждение,— ведь лорд верховный канцлер, даже самый добрый, едва ли может заменить любящих родителей.

— Джарндис, о котором идет речь,— начал лорд-канцлер, продолжая перелистывать дело,— это тот Джарндис, что владеет Холодным домом?

— Да, милорд, тот самый, что владеет Холодным домом,— подтвердил мистер Кендж.

— Неуютное название,— заметил лорд-канцлер.

— Но теперь это уютный дом, милорд,— сказал мистер Кендж.

— А Холодный дом,— продолжал его милость,— находится в ...

— В Хэртфордшире *, милорд.

— Мистер Джарндис, владелец Холодного дома, не женат? — спросил его милость.

— Нет, он не женат, милорд,— ответил мистер Кендж.

Минута молчания.

— Мистер Ричард Карстон здесь? — спросил лорд-канцлер, бросив взгляд на юношу.

Ричард поклонился и сделал шаг вперед.

— Гм! — произнес лорд-канцлер и снова принялся перелистывать дело.

— Мистер Джарндис, владелец Холодного дома, милорд,— начал мистер Кендж вполголоса,— осмелюсь напомнить вашей милости, подыскал достойную компаньонку для...

— Для мистера Ричарда Карстона? — спросил (как мне показалось, но, может быть, я ослышалась) лорд-канцлер тоже вполголоса и улыбнулся.

— Для мисс Ады Клейр. Разрешите представить ее... мисс Саммерсон.

Его милость бросил на меня снисходительный взгляд и ответил на мой реверанс очень учтивым кивком.

— Мисс Саммерсон ведь не состоит в родстве ни с кем из тяжущихся?

— Нет, милорд.

Не успев договорить, мистер Кендж наклонился к канцлеру и начал о чем-то ему докладывать шепотом. Его милость слушал, не спуская глаз с бумаг; кивнул два-три раза, перевернул еще несколько страниц и потом до самого нашего ухода избегал смотреть на меня.

Мистер Кендж с Ричардом отошли к двери, у которой сидела я, а моя прелесть (я настолько привыкла называть ее так, что опять не могу удержаться!) осталась подле лорд-канцлера, и его милость побеседовал с нею отдельно — спросил (как она мне потом передала), тщательно ли она обдумала предложенный ей план устройства ее жизни, уверена ли, что ей будет хорошо у мистера Джарндиса, в Холодном доме, и почему она в этом уверена. Вскоре он поднялся и с поклоном отпустил ее, потом минуты две поговорил с Ричардом Карстоном, но уже стоя и не так официально, как говорил раньше, а проще — очевидно, он, хоть и стал лорд-канцлером, но все еще не забыл, как нужно обращаться с наивными юношами, чтобы завоевать их симпатию.

— Прекрасно! — громко проговорил его милость.— Так я отдам приказ. Мистер Джарндис, владелец Холод-

ного дома, подыскал для мисс Клейр очень хорошую компаньонку, насколько я могу судить,— тут только он взглянул на меня,— и при данных обстоятельствах весь план в целом, по-видимому, удачен — лучшего не придумать.

Он учтиво дал нам понять, что прием окончен, и все мы вышли, очень благодарные ему за то, что он был с нами так приветлив и любезен, чем, конечно, ничуть не умалил своего достоинства; напротив, это еще больше возвысило его в наших глазах.

Когда мы дошли до колоннады, мистер Кендж вспомнил, что ему нужно на минуту вернуться за какой-то справкой, и оставил нас одних в тумане возле кареты лорд-канцлера, у которой стояли ожидавшие его слуги.

— Ну, с *этим* делом покончено! — сказал Ричард Карстон.— Куда же мы отправимся теперь, мисс Саммерсон?

— Разве вы этого не знаете? — спросила я.

— Не имею понятия,— ответил он.

— А *ты* знаешь, дорогая? — спросила я Аду.

— Нет! — сказала она.— А ты?

— И не подозреваю! — ответила я.

Мы переглянулись, посмеиваясь над тем, что стоим тут, словно дети, которые заблудились в лесу, как вдруг к нам подошла какая-то диковинная маленькая старушка в помятой шляпке и с ридикюлем в руках и, улыбаясь, сделала нам необычайно церемонный реверанс.

— О! — проговорила она.— Подопечные тяжбы Джарндисов! Оч-чень рада, конечно, что имею честь представиться! Какое это доброе предзнаменование для молодости, и надежды, и красоты, если они очутились здесь и не знают, что из этого выйдет.

— Полоумная! — прошептал Ричард, не подумав, что она может услышать.

— Совершенно верно! Полоумная, молодой джентльмен,— отозвалась она так быстро, что он совсем растерялся.— Я сама когда-то была подопечной. Тогда я еще не была полоумной,— продолжала она, делая глубокие реверансы и улыбаясь после каждой своей коротенькой фразы.— Я была одарена молодостью и надеждой. Пожалуй, даже красотой. Теперь все это не имеет никакого



значения. Ни та, ни другая, ни третья не поддержала меня, не спасла. Я имею честь постоянно присутствовать на судебных заседаниях. Со своими документами. Ожидаю, что суд вынесет решение. Скоро. В день Страшного суда. Я разгадала, что шестая печать, о которой сказано в Откровении *,— это печать лорда верховного канцлера. Она давным-давно снята! Прошу вас, примите мое благословение.

Ада немного испугалась, а я, желая сделать удовольствие старушке, сказала, что мы ей очень обязаны.

— Да-а! — промолвила она жеманно.— Полагаю, что так. А вот и Велеречивый Кендж. Со *своими* документами! Как поживаете, ваша честь?

— Прекрасно, прекрасно! Ну, не приставайте к нам, любезная! — бросил на ходу мистер Кендж, уводя нас в свою контору.

— И не думаю,— возразила бедная старушка, семеня рядом со мной и Адой.— Вовсе не пристаю. Я обеим им завещаю поместья, а это, надеюсь, не значит приставать? Ожидаю, что суд вынесет решение. Скоро. В день Страшного суда. Для вас это доброе предзнаменование. Примите же мое благословение!

Дойдя до широкой крутой лестницы, она остановилась и не пошла дальше; но когда мы, поднимаясь наверх, оглянулись, то увидели, что она все еще стоит внизу и лепечет, приседая и улыбаясь после каждой своей коротенькой фразы:

— Молодость. И надежда. И красота. И Канцлерский суд. И Велеречивый Кендж! Ха! Прошу вас, примите мое благословение!

ГЛАВА IV

Телескопическая филантропия

Мистер Кендж сообщил нам, когда мы вошли в его кабинет, что нам придется переночевать у миссис Джеллиби, затем повернулся ко мне и сказал, что я, конечно, знаю, кто такая миссис Джеллиби.

— Нет, не знаю, сэр,— ответила я.— Может быть, мистер Карстон... или мисс Клейр...

Но нет, они ровно ничего не знали о миссис Джеллиби.

— Та-ак, та-ак!.. Миссис Джеллиби,— начал мистер Кендж, становясь спиной к камину и устремляя взор на пыльный каминный коврик, словно на нем была написана биография упомянутой дамы,— миссис Джеллиби — это особа с необычайно сильным характером, всецело посвятившая себя обществу. В разные времена она занималась разрешением чрезвычайно разнообразных общественных вопросов, а в настоящее время посвящает себя (пока не увлечется чем-либо другим) африканскому вопросу, точнее — культивированию кофейных бобов... а *также* туземцев... и благополучному переселению на берега африканских рек лишнего населения Англии. Мистер Джарндис,— а он охотно поддерживает любое мероприятие, если оно считается полезным, и его часто осаждают филантропы,— мистер Джарндис, по-видимому, очень высокого мнения о миссис Джеллиби.

Мистер Кендж поправил галстук и посмотрел на нас.

— А мистер Джеллиби, сэр? — спросил Ричард.

— Да! Мистер Джеллиби — он... э... я, пожалуй, смогу сказать вам о нем только то, что он муж миссис Джеллиби,— ответил мистер Кендж.

— Значит, он просто ничтожество, сэр? — проговорил Ричард, усмехаясь.

— Этого я не говорю,— с важностью ответил мистер Кендж.— Никак не могу этого сказать, ибо ровно ничего не знаю о мистере Джеллиби. Если мне не изменяет память, я ни разу не имел удовольствия его видеть. Возможно, что мистер Джеллиби человек выдающийся, но он, так сказать, растворился... растворился в более блестящих качествах своей супруги.

Далее мистер Кендж объяснил, что в такой ненастный вечер путь до Холодного дома показался бы нам очень долгим, темным и скучным, тем более что сегодня нам уже пришлось проехаться; поэтому мистер Джарндис сам предложил, чтобы мы переночевали в Лондоне. Завтра утром за нами к миссис Джеллиби приедет карета, которая и увезет нас из города.

Он позвонил в колокольчик, и вошел молодой человек, тот самый, который встретил меня, когда я приехала.

Мистер Кендж назвал его Гаппи и спросил, отвезли ли к миссис Джеллиби вещи мисс Саммерсон и весь остальной багаж. Мистер Гаппи сказал, что багаж отвезли, а сейчас у подъезда ждет карета, которая отвезет туда же и нас, как только мы пожелаем.

— Теперь,— начал мистер Кендж, пожимая нам руки,— мне осталось только выразить мое живейшее удовлетворение (до свиданья, мисс Клейр!) вынесенным сегодня решением и (всего вам *хорошего,* мисс Саммерсон!) живейшую надежду, что оно принесет счастье (рад, что имел честь познакомиться с вами, мистер Карстон!), всяческое благополучие и пользу всем заинтересованным лицам. Гаппи, проводите наших друзей до места.

— А где это «место», мистер Гаппи? — спросил Ричард, когда мы спускались с лестницы.

— Близехонько,— ответил мистер Гаппи,— Тейвис-Инн, знаете?

— Понятия не имею, где это,— ведь я приехал из Винчестера * и никогда не бывал в Лондоне.

— Да тут рядом, за углом,— объяснил мистер Гаппи.— Свернем на Канцлерскую улицу, прокатимся по Холборну, и не пройдет четырех минут, как мы уже на месте,— рукой подать. Ну, мисс, *теперь-то* уж вы сами видите, что в Лондоне «всегда так», не правда ли?

Он, кажется, был в восторге от того, что я это вижу.

— Туман действительно очень густой! — подтвердила я.

— Но нельзя сказать, что он дурно влияет на вас, смею заверить,— проговорил мистер Гаппи, закинув подножку кареты.— Напротив, мисс, судя по вашему цвету лица, он вам на пользу.

Я поняла, что, отпуская этот комплимент, он просто хотел доставить мне удовольствие, и сама посмеялась над собой за то, что покраснела; а мистер Гаппи, захлопнув дверцу, уже взобрался на козлы, и мы трое со смехом принялись болтать о том, какие мы все неопытные и какой этот Лондон странный, да так и болтали, пока не свернули под какую-то арку и не достигли места нашего назначения — узкой улицы с высокими домами, похожей на длинную цистерну, до краев наполненную туманом. Кучка зевак, в которой детей было больше, чем взрослых,

стояла перед домом, к которому мы подъехали,— на двери его была прибита потускневшая медная дощечка с надписью: «Джеллиби».

— Ничего страшного, не волнуйтесь! — сказал мистер Гаппи, заглядывая к нам в окно кареты.— Это просто один из ребят Джеллиби застрял головой в ограде нижнего дворика.

— Бедняжка! — воскликнула я.— Откройте, пожалуйста, дверцу,— я выйду!

— Будьте осторожны, мисс. Ребята Джеллиби вечно выкидывают какие-нибудь штуки,— предупредил меня мистер Гаппи.

Я направилась к дворику, вырытому ниже уровня улицы *, и подошла к бедному мальчугану, который оказался одним из самых жалких замарашек, каких я когда-либо видела; застряв между двумя железными прутьями, он, весь красный, вопил не своим голосом, испуганно и сердито, в то время как продавец молока и приходский надзиратель, движимые самыми лучшими побуждениями, старались вытащить его наверх за ноги, очевидно полагая, что это поможет его черепу сжаться. Присмотревшись к мальчику (но сначала успокоив его), я заметила, что голова у него, как у всех малышей, большая, а значит туловище, вероятно, пролезет там, где пролезла она, и сказала, что лучший способ вызволить ребенка — это пропихнуть его головой вперед. Продавец молока и приходский надзиратель принялись выполнять мое предложение с таким усердием, что бедняжка немедленно грохнулся бы вниз, если бы я не удержала его за передник, а Ричард и мистер Гаппи не прибежали на дворик через кухню, чтобы подхватить мальчугана, когда его протолкнут. В конце концов он, целый и невредимый, очутился внизу, и тут же в остервенении принялся колотить мистера Гаппи палочкой от обруча.

Ни один из обитателей этого дома не вышел на шум, если не считать какой-то особы в высоких деревянных сандалиях, которая, стоя внизу во дворике, тыкала в мальчугана метлой,— не знаю, зачем, да, впрочем, она, пожалуй, и сама этого не знала. Поэтому я решила, что миссис Джеллиби нет дома, и была очень удивлена, когда та же особа появилась в коридоре,— но уже без санда-

лий,— и, проводив Аду и меня до выходящей во двор комнаты на втором этаже, доложила о нас так:

— Молодые леди пришли, миссис Джеллиби, те самые!

Поднимаясь наверх, мы прошли мимо нескольких других детей, на которых трудно было не наткнуться в темноте, а когда предстали перед миссис Джеллиби, один из этих бедных малышей с громким криком полетел кувырком вниз по лестнице и (как я заключила по шуму) прокатился целый марш.

Однако лицо миссис Джеллиби не отражало и малой доли того беспокойства, какого нельзя было не заметить на наших лицах, когда голова ее дорогого отпрыска отмечала свое движение по лестнице, стукаясь о каждую ступеньку,— Ричард говорил впоследствии, что их целых семь, да еще площадка,— и нас миссис Джеллиби встретила совершенно невозмутимо. Это была миловидная, очень маленькая, пухленькая женщина лет сорока — пятидесяти, с красивыми глазами, которые, как ни странно, все время были устремлены куда-то вдаль. Казалось,— я опять повторяю слова Ричарда,— будто они видят только то, что находится не ближе Африки!

— Очень, очень рада,— проговорила миссис Джеллиби приятным голосом,— что имею удовольствие принять вас у себя. Я глубоко уважаю мистера Джарндиса и не могу отнестись безучастно к тем, с кем он поддерживает знакомство.

Мы поблагодарили ее и сели у двери на колченогий, ветхий диван. У миссис Джеллиби были очень хорошие волосы, но, по горло занятая своими африканскими делами, она, очевидно, не успевала причесываться. Шаль, небрежно накинутая на ее плечи, упала на кресло, когда миссис Джеллиби встала и двинулась нам навстречу; когда же она повернулась, чтобы снова сесть на свое место, мы не могли не заметить, что платье ее не застегнуто на спине и видна корсетная шнуровка — ни дать ни взять решетчатая стена садовой беседки.

Комната, усыпанная бумажками и почти вся загроможденная огромным письменным столом, тоже заваленным бумагами, была, надо сознаться, не только в полном беспорядке, но и очень грязна. Наши глаза не могли не

заметить этого, а уши не могли не слышать воплей бедного ребенка, который упал с лестницы, должно быть — в кухню, где кто-то, казалось, пытался его задушить.

Но кто нас особенно поразил, так это изможденная, нездоровая с виду, хоть и довольно хорошенькая девушка, которая сидела за письменным столом, покусывая гусиное перо и уставившись на нас.

Трудно было так измазаться чернилами, как измазалась она. К тому же она с головы до ног (с нечесаной головки и до изящных ножек, обезображенных изношенными и рваными атласными туфлями со стоптанными каблуками) была одета так неряшливо, что, кажется, ни одна принадлежность ее туалета, начиная с булавок, не была в должном порядке и на своем месте.

— Вы видите, дорогие мои,— начала миссис Джеллиби, снимая нагар с двух вставленных в оловянные подсвечники толстых конторских свечей, от которых вся комната пропахла горелым салом (камин давно погас, и в нем лежали только зола, несколько головешек да кочерга),— вы видите, дорогие мои, что у меня, как всегда, очень много работы; но вы меня извините. Теперь все мое время занято африканским проектом. В связи с ним я должна вести обширную переписку с различными общественными организациями и частными лицами, которые радеют о благосостоянии своих соотечественников. Я с удовлетворением могу сообщить вам, что дело подвигается. Мы надеемся, что уже через год от полутораста до двухсот здоровых семейств будут у нас заняты выращиванием кофе и обучением туземцев в Бориобула-Гха на левом берегу Нигера.

Ада молча взглянула на меня, и я тогда сказала, что все это, должно быть, очень отрадно.

— Очень отрадно,— подтвердила миссис Джеллиби.— И требует от меня всех моих сил; но не стоит их жалеть, если дело увенчается успехом, а я с каждым днем все больше верю в успех. Вы знаете, мисс Саммерсон, я просто не могу понять, почему *вы* до сих пор не заинтересовались Африкой.

Признаюсь, этот поворот в разговоре явился для меня столь неожиданным, что я растерялась. Я заикнулась было, что африканский климат...

— Лучший климат в мире! — перебила меня миссис Джеллиби.

— Разве, сударыня?

— Безусловно. Надо только остерегаться,— сказала миссис Джеллиби.— Пройдите по Холборну, не остерегаясь,— попадете под колеса. Пройдите по Холборну осторожно, и вы никогда не попадете под колеса. То же самое и в Африке.

— Совершенно верно,— согласилась я, подумав: «Верно-то верно, но только по отношению к Холборну».

— Вот, не хотите ли взглянуть,— продолжала миссис Джеллиби, пододвигая к нам какие-то бумаги,— это заметки по поводу африканского климата и по всему африканскому вопросу в целом (мы их широко распространили) — почитайте, а я пока закончу письмо, которое диктую... своей старшей дочери,— она мне заменяет секретаря...

Девушка, сидевшая за столом, перестала покусывать перо и поздоровалась с нами не то застенчиво, не то хмуро.

— Вот только допишем это письмо, и все мои сегодняшние дела будут завершены,— продолжала миссис Джеллиби с ласковой улыбкой,— хотя вообще работа моя никогда не кончается... На чем мы остановились, Кедди?

— «Кланяется мистеру Суоллоу и имеет честь...» — прочла Кедди.

— «...имеет честь уведомить его,— начала диктовать миссис Джеллиби,— в ответ на его письменный запрос об африканском проекте...» Уйди, Пищик, не приставай!

Пищик (так он сам себя прозвал) оказался тем самым несчастным ребенком, который только что скатился с лестницы; подойдя с пластырем на лбу к матери, он мешал ей диктовать, показывая на свои разбитые коленки, а мы с Адой, глядя на них, не знали, чему ужасаться больше — ссадинам или грязи, которыми они были покрыты. Но миссис Джеллиби с безмятежным спокойствием, с каким говорила всегда, только бросила ему: «Уходи прочь, Пищик, несносный мальчишка!» — и снова устремила свои красивые глаза на Африку.

Она опять принялась за диктовку, а я отважилась тихонько остановить уходившего Пищика и, уверенная,

что никому этим не помешаю, посадила бедняжку к себе на колени. Он очень удивился, особенно когда Ада поцеловала его, но вскоре стал всхлипывать все реже и реже, пока не затих совсем, и крепко уснул у меня на руках. Занявшись Пищиком, я упустила многие подробности письма, но все же сделала из него вывод, что Африка — это самое главное, а все прочие страны и вообще все на свете не имеет ровно никакого значения, и я прямо-таки устыдилась, что так мало о ней думала.

— Уже шесть часов! — проговорила миссис Джеллиби.— А мы обедаем в пять — то есть это только считается, что в пять, а на самом деле мы обедаем в разное время. Кедди, проводи мисс Клейр и мисс Саммерсон в их комнаты. Вы, наверное, хотите переодеться? Меня вы, конечно, извините, ведь я так занята. Ох, что за противный ребенок! Пожалуйста, мисс Саммерсон, спустите его на пол!

Но я попросила позволения взять малыша с собой, искренне уверяя, что он вовсе меня не беспокоит, унесла его наверх и положила на свою кровать. Нам с Адой отвели наверху две смежные комнаты, сообщающиеся дверью. В них почти совсем не было мебели и царил немыслимый беспорядок, а занавеска на моем окне держалась только при помощи вилки.

— Принести вам горячей воды? — спросила нас мисс Джеллиби и огляделась в поисках кувшина с уцелевшей ручкой, но так и не нашла его.

— Пожалуйста, если вам нетрудно,— ответили мы.

— Дело не в трудности,— отрезала мисс Джеллиби,— вопрос в том, *есть ли* у нас вообще горячая вода.

Вечер был такой холодный, а воздух в комнатах такой сырой и затхлый, что, признаюсь, я чувствовала себя довольно скверно, тогда как Ада едва удерживалась от слез. Впрочем, мы вскоре развеселились и усердно принялись распаковывать свои вещи, но тут вернулась мисс Джеллиби и сказала, что, к сожалению, горячей воды нет,— чайник не удалось отыскать, а кипятильник испортился.

Мы попросили ее не беспокоиться и поторопились как можно скорее спуститься вниз — к огоньку. Но тут все дети, сколько их было в доме, поднялись по лестнице на площадку перед моей комнатой, чтобы полюбоваться

чудом — спящим в моей постели Пищиком,— так что внимание наше все время отвлекалось непрестанным мельканием носиков и пальчиков, которым грозила опасность быть прищемленными дверью. Надо сказать, что комнаты наши не запирались — у моей двери не было ручки, так что открыть и закрыть эту дверь можно было бы, только вставив в дырку заводной ключ, а в комнате Ады дверная ручка, правда, вертелась с величайшей легкостью, описывая полный круг, но на дверь это не оказывало никакого влияния. Поэтому я предложила детям войти ко мне в комнату и посидеть смирно за столом, пока я буду переодеваться и рассказывать им сказку о Красной Шапочке, на что они согласились и, войдя, вели себя тихо, как мышки, все до единого, даже Пищик, который проснулся как раз вовремя — еще до появления волка.

Наконец мы спустились по лестнице при свете коптилки, точнее зажженного фитиля, который плавал в стоявшей на окне кружке с надписью: «На память о Тенбриджских водах» *, и, войдя в гостиную (с открытой настежь дверью в комнату миссис Джеллиби), застали в ней девицу с опухшим, обмотанным фланелью лицом, которая, задыхаясь, тщетно старалась раздуть огонь в камине. Комната была полна дыму, так что мы целых полчаса просидели в ней при открытых окнах, кашляя и вытирая слезы, в то время как миссис Джеллиби все так же кротко диктовала письма об Африке. Я, признаться, была очень рада видеть ее столь поглощенной делами, ибо Ричард стал рассказывать нам, как ему пришлось мыть руки в форме для паштета и как чайник отыскался на его туалетном столике, и до того насмешил этим Аду, что и я, глядя на них, смеялась как дурочка.

В начале восьмого мы направились в столовую и, вняв совету миссис Джеллиби, спускались по лестнице очень осторожно — половики, лишь кое-где прикрепленные прутьями к ступеням, были так изорваны, что превратились в настоящие ловушки. Нам подали превосходную треску, ростбиф, котлеты и пудинг — словом, обед мог бы быть очень хорошим, если бы только он был приготовлен хоть мало-мальски сносно; но все кушанья были недоварены или недожарены. Девица с фланелевой

повязкой, прислуживая за столом, швыряла на него блюда куда попало и больше уже к ним не притрагивалась, а убирая со стола, ставила посуду на ступеньки лестницы. Та особа, которая была в деревянных сандалиях, когда мы впервые ее увидели (вероятно — кухарка), то и дело подходила к дверям и препиралась с опухшей девицей — судя по всему, они не ладили.

В течение всего обеда, который очень затянулся из-за различных происшествий — миску с картофелем уронили в угольное ведро, от штопора отлетела ручка и ударила девицу в подбородок,— в течение всего обеда миссис Джеллиби была по-прежнему невозмутима. Она рассказала нам кучу интересных вещей о Бориобула-Гха и туземцах, и ей принесли столько писем, что Ричард, сидевший рядом с нею, заметил в подливке четыре конверта сразу. Некоторые письма содержали отчеты о деятельности дамских комитетов или принятые на дамских совещаниях резолюции, и наша хозяйка читала их вслух; в других были запросы лиц, по разным причинам интересующихся культивированием кофе и туземцев; третьи требовали немедленного отклика, и миссис Джеллиби три или четыре раза заставляла старшую дочь выходить из-за стола, чтобы писать на них ответы. Она была полна энергии и, несомненно, как сама говорила нам раньше, предана делу.

Мне хотелось узнать, кто тот скромный, лысый джентльмен в очках, который сел на свободный стул, (определенных мест для хозяина и хозяйки здесь не было) после того как рыбу уже унесли, и, казалось, пассивно мирился с существованием Бориобула-Гха, но не был активно заинтересован этой колонией. За весь вечер он не вымолвил ни слова, и если бы не цвет лица, его можно было бы принять за туземца.

Лишь после того, как обед кончился и мы, дамы, вышли из столовой, оставив его наедине с Ричардом, мне пришло в голову, что ведь это, пожалуй, мистер Джеллиби. И он действительно оказался мистером Джеллиби, что подтвердил некий мистер Куэйл — говорливый молодой человек, с зачесанными назад волосами, открывавшими лоснящийся шишковатый на висках лоб; он пришел после обеда и, отрекомендовавшись Аде филан-

тропом, сказал ей, что, по его мнению, брак миссис Джеллиби с мистером Джеллиби — это союз духа и материи.

Этот молодой человек не только сам разглагольствовал очень пространно о своих заслугах в африканских делах и о своем проекте подготовки «кофейных колонистов» к тому, чтобы они, обучив туземцев вытачивать ножки для роялей, наладили экспортную торговлю этими ножками, но всячески старался обратить общее внимание на миссис Джеллиби, задавая ей такие, например, вопросы: «Насколько я знаю, миссис Джеллиби, вы за один день получили от полутораста до двухсот писем об Африке, не правда ли?», или: «Если меня не обманывает память, вы, миссис Джеллиби, говорили мне, что однажды отправили из одного почтового отделения пять тысяч циркуляров сразу?», и, как переводчик, повторял нам ответы миссис Джеллиби. Мистер Джеллиби весь вечер просидел в углу, прислонившись головой к стене и явно предаваясь унынию. Оставшись наедине с Ричардом после обеда, он, оказывается, несколько раз открывал было рот, словно собираясь что-то сказать, но, к величайшему смущению Ричарда, закрывал его, не проронив ни слова.

Миссис Джеллиби, обложившись кипами исписанной бумаги, сидела в ней, как в гнезде, весь вечер пила кофе и время от времени диктовала своей старшей дочери. Кроме того, она завела спор с мистером Куэйлом на тему — если только я правильно поняла — о братстве людей и при этом высказала несколько возвышенных суждений. Впрочем, я не могла слушать их беседу так внимательно, как следовало бы, потому что Пищик и все остальные ребятишки столпились возле нас с Адой в углу гостиной, приставая, чтобы им опять рассказали сказку, так что мы сидели, окруженные детьми, и шепотом рассказывали им о Коте в сапогах и не помню еще о чем, пока миссис Джеллиби случайно не вспомнила о них и не отослала их спать. Пищик с криком требовал, чтобы в постель его уложила я, и я отнесла его наверх, где девица с фланелевой повязкой, как дракон, налетела на ребят и рассовала их всех по кроваткам.

Потом я принялась наводить порядок в нашей комнате и ублажать огонь в камине — ведь огонь тут был такой

строптивый, что сначала никак не желал разгораться, но в конце концов ярко запылал. Вернувшись в гостиную, я почувствовала, что миссис Джеллиби презирает меня за мое легкомыслие, и мне стало не по себе, хоть я и знала, что не могу претендовать на более высокое мнение о моей особе.

Нам удалось отправиться на покой лишь около полуночи, но даже в этот поздний час миссис Джеллиби все еще сидела, обложившись бумагами, и пила кофе, а мисс Джеллиби все еще покусывала гусиное перо.

— Вот нелепый дом! — проговорила Ада, когда мы поднялись наверх.— Как странно, что кузен Джарндис направил нас сюда!

— А меня, душенька, это прямо ошеломило,— откликнулась я.— Хочу понять, но никак не могу.

— Что именно? — спросила Ада с прелестной улыбкой.

— Да все в этом доме, дорогая,— ответила я.— Должно быть, это очень хорошо со стороны миссис Джеллиби так надрываться над каким-то проектом облагодетельствования туземцев... но... как посмотришь, в каком состоянии Пищик и домашнее хозяйство!..

Ада рассмеялась, обвила рукой мою шею,— я стояла перед камином и смотрела на огонь,— и сказала мне, что я спокойная, милая, добрая девушка и что она всем сердцем полюбила меня.

— Ты такая заботливая, Эстер,— говорила она,— и вместе с тем такая веселая; и ты с такой скромностью делаешь так много. В твоих руках даже этот дом превратился бы в уютное гнездышко.

Моя милая, простодушная девочка! Она и не подозревала, что этими словами хвалила себя,— ведь надо было быть очень доброй, чтобы так меня превозносить!

— Можно задать тебе один вопрос? — спросила я после того, как мы с нею немного посидели у камина.

— Пожалуйста — хоть пятьсот,— сказала Ада.

— Я хочу спросить тебя о твоем родственнике, мистере Джарндисе. Я ему многим обязана. Ты могла бы что-нибудь рассказать мне о нем?

Ада откинула назад свои золотистые волосы и, смеясь, посмотрела на меня так удивленно, что я тоже диву

далась — до того поразили меня и ее красота и ее изумление.

— Эстер! — воскликнула она.

— Да, дорогая?

— Ты хочешь, чтобы я рассказала тебе про кузена Джарндиса?

— Да, милая, ведь я никогда его не видела.

— Я тоже никогда его не видела! — сказала Ада.

Кто бы мог этому поверить!

Да, она в самом деле никогда его не видела. Но, как она ни была мала, когда мама ее скончалась, она помнит, что мама никогда не могла говорить без слез о мистере Джарндисе, о его благородстве и великодушии, о том, что на него можно положиться во всех случаях жизни; и Ада полагается на него. Несколько месяцев назад кузен Джарндис, по словам Ады, написал ей «простое, искреннее письмо», в котором предложил устроить ее жизнь так, как это теперь было решено, и выразил надежду, что «со временем это, возможно, залечит кое-какие раны, нанесенные роковой канцлерской тяжбой». Ада ответила письмом, в котором с благодарностью приняла это предложение. Ричард получил такое же письмо и написал такой же ответ. Вот ему удалось видеть мистера Джарндиса, но только раз, пять лет назад, в Винчестерской школе. Он рассказывал о нем Аде в ту минуту, когда я вошла и увидела, как они стоят у камина, опираясь на экран, и добавил, что мистер Джарндис, «помнится, этакий грубовато-добродушный, краснощекий человек». Вот и все, что Ада могла мне сказать о нем.

Это заставило меня призадуматься, и когда Ада уже спала, я все еще сидела у камина и все думала да раздумывала,— какой он, этот Холодный дом, и почему вчерашнее утро кажется мне теперь таким далеким. Не помню, куда забрели мои мысли, когда стук в дверь вернул меня к действительности.

Я тихонько открыла дверь и увидела, что за нею стоит мисс Джеллиби, трясясь от холода и держа в одной руке сломанную свечу в сломанном подсвечнике, а в другой — рюмку для яиц.

— Спокойной ночи! — хмуро проговорила она.

— Спокойной ночи! — отозвалась я.

— Можно войти? — неожиданно буркнула она, все так же хмуро.

— Конечно,— ответила я.— Только не разбудите мисс Клейр.

Мисс Джеллиби отказалась присесть и, угрюмо насупившись, стояла у камина, макая черный от чернил средний палец в уксус, налитый в рюмку, и размазывая им чернильные пятна по лицу.

— Чтоб ей провалиться, этой Африке! — внезапно воскликнула она.

Я хотела было что-то возразить.

— Да, да, чтоб ей провалиться! — перебила она меня.— Не спорьте, мисс Саммерсон. Я ее ненавижу, терпеть не могу! Противная!

Я сказала девушке, что она просто устала и мне ее жаль. Положила ей руку на голову и пощупала лоб, заметив, что сейчас он горячий, но завтра это пройдет. Она стояла все так же, надув губы и хмуро глядя на меня, но вдруг поставила рюмку и тихонько подошла к кровати, на которой лежала Ада.

— Какая хорошенькая! — проговорила она, по-прежнему хмуря брови и все тем же сердитым тоном.

Я улыбкой выразила согласие.

— Сирота. Ведь она сирота, правда?

— Да.

— Но, должно быть, умеет многое? Танцует, играет на рояле, поет? Наверное, говорит по-французски, знает географию, разбирается в глобусе, умеет вышивать, все умеет?

— Несомненно,— подтвердила я.

— А вот я не умею,— сказала девушка.— Почти ничего не умею, только — писать. Вечно пишу для мамы. И как только вам обеим не стыдно было явиться сюда сегодня и глазеть на меня, понимая, что я ни к чему другому не способна? Вот какие вы скверные. Но, конечно, считаете себя очень хорошими!

Я видела, что бедная девушка вот-вот расплачется, и снова села в кресло, молча и только глядя на нее так же благожелательно (хочется думать), как относилась к ней.

— Позорище,— проговорила она.— И вы это сами знаете... Весь наш дом — сплошное позорище. Дети — по-

зорище. Я — позорище. Папа страдает, да и немудрено! Приссилла пьет — вечно пьяная! И если вы скажете, что не почувствовали сегодня, как от нее пахнет, то это будет наглая ложь и очень стыдно с вашей стороны. Обед подавали ужасно, не лучше, чем в харчевне, и вы это заметили!

— Ничего я не заметила, дорогая,— возразила я.

— Заметили,— отрезала она.— Не говорите, что не заметили. Заметили!

— Но, милая,— начала я,— если вы не даете мне говорить...

— Да ведь вы сейчас говорите. Сами знаете, что говорите. Не выдумывайте, мисс Саммерсон.

— Милая моя,— снова начала я,— пока вы меня не выслушаете...

— Не хочу я вас слушать.

— Нет, хотите,— сказала я,— а если бы не хотели, это было бы совсем уж неразумно. Я ничего не заметила, потому что за обедом служанка ко мне не подходила, но я вам верю и мне грустно это слышать.

— Нечего ставить это себе в заслугу,— промолвила она.

— Я и не ставлю, дорогая,— сказала я.— Это было бы очень глупо.

Не отходя от кровати, она вдруг наклонилась и поцеловала Аду (однако все с тем же недовольным выражением лица). Потом тихонько отошла и стала у моего кресла. Волнуясь, она тяжело дышала, и мне было очень жаль ее, но я решила больше ничего не говорить.

— Лучше бы мне умереть! — вырвалось у нее вдруг.— Лучше бы всем нам умереть! Это было бы самое лучшее для всех нас.

Мгновение спустя она упала передо мной на колени и, уткнувшись лицом в мое платье, зарыдала, горячо прося у меня прощенья. Я успокаивала ее, старалась поднять, но она, вся в слезах, твердила, что ни за что не встанет, нет, нет!

— Вы учили девочек,— проговорила она.— Ах, если бы вы учили меня, я могла бы от вас всему научиться! Я такая несчастная, а вы мне так полюбились!



Мне не удалось уговорить ее сесть рядом со мною,— она только пододвинула к себе колченогую скамеечку и села на нее, по-прежнему цепляясь за мое платье. Но постепенно усталость взяла свое, и девушка уснула, а я, приподняв и положив к себе на колени ее голову, чтобы ей было удобнее, покрыла бедняжку шалью и закуталась сама. Так она и проспала всю ночь напролет у камина, в котором огонь погас и осталась только зола. А меня сначала мучила бессонница, и я, закрыв глаза и перебирая в уме события этого дня, тщетно старалась забыться. Наконец они мало-помалу стали тускнеть и сливаться в моей памяти. Я перестала сознавать, кто спит здесь, прислонившись ко мне. То мне казалось, что это Ада; то — одна из моих прежних редингских подруг (и мне не верилось, что я так недавно с ними рассталась); то — маленькая помешанная старушка, смертельно уставшая от реверансов и улыбок; то — некто, владеющий Холодным домом. Наконец все исчезло, исчезла и я сама.

Подслеповатый рассвет слабо боролся с туманом, когда я открыла глаза и увидела, что на меня пристально смотрит маленькое привидение с измазанным личиком. Пищик выкарабкался из своей кроватки и пробрался ко мне в ночной рубашке и чепчике, стуча зубками от холода, да так громко, словно все они уже прорезались и зубов у него полон рот.

ГЛАВА V

Утреннее приключение

Утро было сырое, а туман все еще казался густым,— говорю «казался», ибо оконные стекла в этом доме так обросли грязью, что за ними и солнечный свет в разгаре лета показался бы тусклым,— но я хорошо знала, какие неудобства грозят нам здесь в этот ранний час, и очень интересовалась Лондоном, а потому, когда мисс Джеллиби предложила нам пойти погулять, согласилась сразу.

— Мама выйдет не скоро,— сказала она,— и хорошо, если завтрак подадут через час после этого,— вот как

долго у нас всегда возятся. А папа — тот подкрепится чем бог послал и пойдет на службу. Никогда ему не удается позавтракать как следует. Приссилла с вечера оставляет для него булку и молоко, если только оно есть. Но молока часто не бывает — то не принесут, то кошка вылакает. Впрочем, вы, наверное, устали, мисс Саммерсон; может быть, вам лучше лечь в постель?

— Ничуть не устала, милая,— сказала я,— прогуляюсь с большим удовольствием.

— Ну, если так,— отозвалась мисс Джеллиби,— я пойду оденусь.

Ада сказала, что тоже хочет проветриться, и сразу же встала. Я спросила у Пищика, не позволит ли он мне вымыть его и потом снова уложить, но уже на мою кровать — ведь ничего лучшего я для него придумать не могла. Он согласился с величайшей готовностью и, пока я его отмывала, смотрел на меня такими удивленными глазками, словно с ним совершалось какое-то чудо; но личико у него, конечно, было очень несчастное, хоть он ни на что не жаловался и заснул, свернувшись комочком, как только улегся. Надо сказать, что я не сразу решилась вымыть и уложить ребенка без позволения его мамаши, но потом рассудила, что никто в доме, по-видимому, ничего не заметит.

То ли от возни с Пищиком, то ли от возни с собственным одеванием и с Адой, которой я помогала одеться, но мне скоро стало жарко. Мисс Джеллиби мы застали в кабинете,— она старалась согреться у камина, который Приссилла силилась затопить, взяв из гостиной залитый салом подсвечник и бросив свечу в огонь, чтобы он, наконец, разгорелся. Все в доме было в том же виде, как и вчера, и, судя по всему, никто не собирался навести порядок. Скатерть, на которой мы обедали, даже не стряхнули,— так она и осталась на столе в ожидании первого завтрака. Все было покрыто пылью, усеяно хлебными крошками и обрывками бумаги. На ограде нижнего дворика висели оловянные кружки и бидон для молока; входная дверь была открыта настежь, а кухарку мы встретили за углом в тот момент, когда она, вытирая рот, выходила из трактира. Пробежав мимо, она объяснила, что пошла туда посмотреть, который час.

Но еще до встречи с кухаркой мы увидели Ричарда, который бегал вприпрыжку по Тейвис-Инну, чтобы согреть ноги. Приятно удивленный нашим столь ранним появлением, он сказал, что с удовольствием погуляет вместе с нами. Ричард взял под руку Аду, а мы с мисс Джеллиби пошли впереди них. Кстати сказать, мисс Джеллиби опять насупилась, и я никак не подумала бы, что я ей нравлюсь, если б она вчера сама мне этого не сказала.

— Куда бы нам пойти, как по-вашему? — спросила она.

— Куда угодно, милая,— ответила я.

— Куда угодно — все равно что никуда,— с досадой проговорила мисс Джеллиби и остановилась.

— Все-таки пойдемте куда-нибудь,— предложила я.

Она пошла вперед очень быстро, увлекая меня за собой.

— Мне все равно! — начала она вдруг.— Будьте свидетельницей, мисс Саммерсон, повторяю, мне все равно, но если даже он каждый вечер будет к нам приходить, пока не доживет до Мафусаиловых лет *, ничего он от меня не дождется... один лоб чего стоит — высоченный, лоснится, весь в шишках! Каких *ослов* они строят из себя: и он и мама!

— Дорогая! — упрекнула я мисс Джеллиби за столь непочтительное словцо и подчеркнутую выразительность, с какой она его произнесла.— Ваш дочерний долг...

— Эх, мисс Саммерсон, не говорите мне о дочернем долге! Где же тогда мамин материнский долг? Или она выполняет его только по отношению к обществу и Африке? Так пусть же общество и Африка выполняют дочерний долг,— это скорей их обязанность, чем моя. Вы возмущены, я вижу! Ну что ж, я тоже возмущена, значит мы обе возмущены — и делу конец!

Она еще быстрее повлекла меня вперед.

— Но так или иначе, а я опять скажу: пускай себе ходит, и ходит, и ходит, все равно — ничего он от меня не дождется. Видеть его не могу. А чего я совершенно не выношу, что ненавижу больше всего на свете, так это ту околесицу, которую они несут — мама и он. Удивляюсь, как это у булыжников хватает терпения лежать на мостовой перед нашим домом, слушать, как она и он го-

родят вздор, сами себе противореча, и смотреть, как нелепо хозяйничает мама!

Я не могла не догадаться, что ее слова относятся к мистеру Куэйлу — тому молодому джентльмену, который пришел вчера после обеда. Продолжать этот разговор было бы не особенно приятно, но меня спасли Ричард и Ада, которые быстро догнали нас и со смехом спросили, не взбрело ли нам в голову устроить соревнование в беге. Это прервало излияния мисс Джеллиби; она умолкла и уныло поплелась рядом со мной, тогда как я не переставала удивляться разнообразию улиц, сменявших одна другую, людским толпам, которые уже двигались во всех направлениях, множеству экипажей, проезжавших мимо, деловитой возне с установкой товаров в витринах и уборкой магазинов, странным людям в лохмотьях, которые украдкой рылись в мусоре, ища булавок и всякое старье.

— Итак, кузина,— послышался сзади меня веселый голос Ричарда, говорившего с Адой,— я вижу, нам не уйти от Канцлерского суда! Мы другой дорогой пришли к тому месту, где встретились вчера, и... клянусь Большой печатью *, вон и та самая старушка!

И правда, она стояла прямо перед нами, приседая, улыбаясь и так же, как и вчера, твердя покровительственным тоном:

— Подопечные тяжбы Джарндисов! Оч-чень счастлива, поверьте!

— Раненько вы из дому вышли, сударыня,— сказала я, в то время как она делала мне реверанс.

— Да-а! Я всегда гуляю здесь рано утром. До начала судебных заседаний. Уединенное местечко. Здесь я обдумываю повестку дня,— жеманно лепетала старушка.— Повестка дня требует длительных размышлений. Оч-чень трудно следить за канцлерским судопроизводством.

— Кто это, мисс Саммерсон? — прошептала мисс Джеллиби, крепче прижимая к себе мой локоть.

Слух у старушки был поразительно острый. Она сию же секунду сама ответила вместо меня:

— Истица, дитя мое. К вашим услугам. Я имею честь регулярно присутствовать в суде. Со своими документами. Не имею ли я удовольствия разговаривать еще с одной

юной участницей тяжбы Джарндисов? — проговорила старушка, снова сделав глубокий реверанс, и выпрямилась, склонив голову набок.

Ричард, стремясь искупить свою вчерашнюю оплошность, любезно объяснил, что мисс Джеллиби не имеет никакого отношения к тяжбе.

— Ха! — произнесла старушка.— Значит, она не ждет решения суда? А все-таки и она состарится. Но не так рано. О нет, не так рано! Вот это сад Линкольнс-Инна. Я считаю его своим садом. Летом он такой тенистый — в нем как в беседке. Где мелодично поют пташки. Я провожу здесь большую часть долгих каникул суда *. В созерцании. Вы находите долгие каникулы чересчур долгими, не так ли?

Мы ответили утвердительно, так как она, по-видимому, этого ждала.

— Когда с деревьев падают листья и нет больше цветов на букеты для суда лорд-канцлера,— продолжала старушка,— каникулы кончаются и шестая печать, о которой сказано в Откровении, снова торжествует. Зайдите, пожалуйста, ко мне. Это будет для меня добрым предзнаменованием. Молодость, надежда и красота бывают у меня очень редко. Много, много времени прошло с тех пор, как они меня навещали.

Она взяла меня под руку и повела вперед вместе с мисс Джеллиби, кивком предложив Ричарду и Аде идти вслед за нами. Не зная, как отказаться, я взглянула на Ричарда, ища у него помощи. Но эта встреча и забавляла его и возбуждала его любопытство, к тому же он сам не знал, как отделаться от старушки, не обидев ее, и потому шел за нами вместе с Адой; а наша чудаковатая проводница вела нас все дальше, снисходительно улыбаясь и то и дело повторяя, что живет совсем близко.

Так оно и было, и мы в этом быстро убедились. Она жила очень близко, и не успели мы сказать ей двух-трех любезных слов, как дошли до ее дома. Проведя нас через маленькую боковую калитку, старушка совершенно неожиданно остановилась в узком переулке, который так же, как и соседние дворы и улички, непосредственно примыкал к стене Линкольнс-Инна, и сказала:

— Вот моя квартира. Пожалуйте!

Она остановилась у лавки, над дверью которой была надпись: *«Крук, склад тряпья и бутылок»,* и другая — длинными, тонкими буквами: *«Крук, торговля подержанными корабельными принадлежностями».* В одном углу окна висело изображение красного здания бумажной фабрики, перед которой разгружали подводу с мешками тряпья. Рядом была надпись: «Скупка костей»: Дальше — «Скупка негодной кухонной утвари». Дальше — «Скупка железного лома». Дальше — «Скупка макулатуры». Дальше — «Скупка дамского и мужского платья». Можно было подумать, что здесь скупают все, но ничего не продают. Окно было сплошь заставлено грязными бутылками: тут были бутылки из-под ваксы, бутылки из-под лекарств, бутылки из-под имбирного пива и содовой воды, бутылки из-под пикулей, винные бутылки, бутылки из-под чернил. Назвав последние, я вспомнила, что по ряду признаков можно было догадаться о близком соседстве лавки с юридическим миром,— она, если можно так выразиться, казалась чем-то вроде грязной приживалки и бедной родственницы юриспруденции. Чернильных бутылок в ней было великое множество. У входа в лавку стояла маленькая шаткая скамейка с горой истрепанных старых книг и надписью: «Юридические книги, по девять пенсов за том». Некоторые из перечисленных мною надписей были сделаны писарским почерком, и я узнала его — тем же самым почерком были написаны документы, которые я видела в конторе Кенджа и Карбоя, и письма, которые я столько лет получала от них. Среди надписей было объявление, написанное тем же почерком, но не имевшее отношения к торговым операциям лавки, а гласившее, что почтенный человек, сорока пяти лет, берет на дом переписку, которую выполняет быстро и аккуратно; «обращаться к Немо через посредство мистера Крука». Кроме того, тут во множестве висели подержанные мешки для хранения документов, синие и красные. Внутри за порогом кучей лежали свитки старого потрескавшегося пергамента и выцветшие судебные бумаги с загнувшимися уголками. Напрашивалась догадка, что сотни ржавых ключей, брошенных здесь грудой, как железный лом, были некогда ключами от дверей или несгораемых шкафов в юридических конторах. А тряпье — и то, что было свалено на един-

ственную чашку деревянных весов, коромысло которых, лишившись противовеса, криво свисало с потолочной балки, и то, что валялось под весами, возможно, было когда-то адвокатскими нагрудниками и мантиями. Оставалось только вообразить, как шепнул Ричард нам с Адой, пока мы стояли, заглядывая в глубь лавки, что кости, сложенные в углу и обглоданные начисто,— это кости клиентов суда, и картина могла считаться законченной.

Туман еще не рассеялся, и на улице было полутемно, к тому же доступ света в лавку преграждала стена Линкольнс-Инна, стоявшая в нескольких ярдах; поэтому нам, конечно, не удалось бы увидеть здесь так много, если бы не зажженный фонарь в руках бродившего по лавке старика в очках и мохнатой шапке. Повернувшись ко входу, старик заметил нас. Он был маленького роста, мертвенно-бледный, сморщенный; голова его глубоко ушла в плечи и сидела как-то косо, а дыхание вырывалось изо рта клубами пара — чудилось, будто внутри у него пылает огонь. Шея его, подбородок и брови так густо заросли белой, как иней, щетиной и были так изборождены морщинами и вздувшимися жилами, что он смахивал на корень старого дерева, усыпанный снегом.

— Ха! — пробурчал старик, подходя к двери.— Принесли что-нибудь на продажу?

Мы невольно отшатнулись и взглянули на нашу проводницу, которая силилась открыть наружную дверь, ведущую в жилые комнаты, вынутым из кармана ключом, а Ричард сказал, что раз мы уже получили удовольствие видеть, где она живет, то можем с нею проститься, так как времени у нас мало.

Но проститься с нею оказалось вовсе не просто. Старушка с такой поразительной, искренней настойчивостью упрашивала нас хоть на минутку зайти и посмотреть, как она живет, и так простодушно, но упорно влекла меня в дом, к себе, должно быть видя во мне желанное для нее «доброе предзнаменование», что я (не знаю, как другие) просто не могла противиться. Впрочем, у всех нас любопытство было более или менее возбуждено,— во всяком случае, когда старушку поддержал ее хозяин, говоря: «Да, да! Сделайте ей удовольствие! Загляните на

минутку! Входите, входите! Пройдите через эту дверь, если та не в порядке!» — мы вошли в лавку, положившись на покровительство Ричарда и ободренные его улыбкой.

— Мой хозяин, Крук,— проговорила маленькая старушка, представляя нам хозяина с таким видом, словно она снизошла к нему с высоты своего величия.— Соседи прозвали его «Лорд-канцлером». Его лавку называют «Канцлерским судом». Очень эксцентричная личность. Очень странный. О, уверяю вас, очень странный!

Она несколько раз качнула головой и постучала пальцем себе по лбу, как бы прося нас любезно извинить слабости своего хозяина.

— Ведь он, знаете ли, немножко... того!..— величественно проговорила старушка.

Старик расслышал ее слова и ухмыльнулся.

— Что правда, то правда,— сказал он, шагая с фонарем впереди нас,— меня действительно прозвали Лорд-канцлером, а мою лавку — Канцлерским судом. А как вы думаете, почему люди прозвали меня Лорд-канцлером, а мою лавку Канцлерским судом?

— Право, не знаю! — бросил Ричард довольно пренебрежительным тоном.

— Изволите видеть,— начал старик, остановившись и повернувшись к нам,— люди потому... Ха! Что за чудесные волосы. У меня в подвале три мешка женских волос, но таких красивых и тонких нету. Какой цвет, какие шелковистые!

— Довольно, приятель,— проговорил Ричард, раздраженный тем, что старик провел своей желтой рукой по косам Ады.— Можете восхищаться, как и все мы, но не позволяйте себе вольностей.

Старик внезапно метнул на него такой взгляд, что я позабыла и про Аду, а та, смущенная и зардевшаяся, была до того красива, что привлекла даже рассеянное внимание маленькой старушки. Стараясь предотвратить ссору, Ада со смехом сказала, что может лишь гордиться столь неподдельным восхищением, а мистер Крук снова сжался и погас столь же внезапно, как вспыхнул.

— У меня здесь, изволите видеть, полным-полно всякой всячины,— продолжал он, подняв фонарь,— и все

это, как полагают соседи (хотя они ничего не знают, эти люди), изнашивается, разваливается, гниет, вот почему они так и окрестили меня и мою лавку. А склад у меня битком набит старым пергаментом и бумагой. Да еще есть у меня страстишка к ржавчине, плесени, паутине. По мне — «что в сеть попало, то и рыба» — ничем не брезгую. А уж если что попадет ко мне в лапы, того я из них не выпущу (то есть соседи мои так думают, но что они знают, эти люди?); а еще я терпеть не могу никаких перемен, никакой уборки, стирки, чистки, ремонта у себя в доме. Потому-то лавка моя и получила столь зловещее прозвище — «Канцлерский суд». Но сам я на это не обижаюсь. Я чуть не каждый день хожу любоваться на своего благородного и ученого собрата, когда он заседает в Линкольнс-Инне. Он меня не замечает, но я-то его замечаю. Между нами невелика разница. Оба копаемся в неразберихе... Ха, Леди Джейн!

Большая серая кошка соскочила с полки к нему на плечо, и все мы вздрогнули.

— Ха! Покажи-ка им, как ты царапаешься. Ха! Ну-ка, рви, миледи! — приказал ей хозяин.

Кошка, спрыгнув на узел тряпья, принялась рвать его своими тигриными когтями и так шипела, что мне стало не по себе.

— Вот как она расправится со всяким, на кого я ее науськаю,— сказал старик.— Кроме всего прочего, я скупаю кошачьи шкурки, ну мне и принесли эту кошку. Отличная шкурка — сами видите,— однако я ее не содрал. Не содрал — не в пример Канцлерскому суду!

Он уже провел нас через лавку и открыл заднюю дверь, ведущую в подъезд. Остановившись, он положил руку на задвижку, а старушка, проходя мимо, снисходительно бросила:

— Довольно, Крук. Вы любезны, но надоедливы. Моим молодым друзьям некогда. Мне тоже некогда,— я должна присутствовать на судебном заседании, а оно вот-вот начнется. Мои молодые друзья — подопечные тяжбы Джарндисов.

— Джарндисов! — вздрогнул старик.

— «Джарндисы против Джарндисов» — знаменитая тяжба, Крук,— уточнила его жилица.

— Ха! — удивленно воскликнул старик, словно эти слова напомнили ему о многом, и еще шире раскрыл глаза.— Подумать только!

Он был явно ошеломлен и смотрел на нас с таким любопытством, что Ричард сказал ему:

— Вы, очевидно, очень интересуетесь делами, которые разбирает ваш благородный и ученый собрат — другой канцлер!

— Да,— рассеянно отозвался старик.— Еще бы! *Вас* зовут...

— Ричард Карстон.

— Карстон,— повторил он, медленно загибая указательный палец, как потом загибал остальные пальцы, перечисляя другие фамилии.— Так, так. А еще там встречаются фамилия Барбери, фамилия Клейр и фамилия Дедлок тоже, если не ошибаюсь.

— Да он знает нашу тяжбу не хуже, чем настоящий канцлер, который за это жалованье получает! — удивленно проговорил Ричард, обращаясь ко мне и Аде.

— Еще бы! — начал старик, с трудом пытаясь сосредоточиться.— Да! Том Джарндис... не посетуйте, что я называю вашего родственника Томом, в суде его иначе не называли и знали так же хорошо, как... как вот теперь знают ее,— он кивнул на свою жилицу.— Том Джарндис частенько забегал в наши края. Все, бывало, шатался тут по соседству, места себе не находил, когда тяжба разбиралась или скоро должна была разбираться в суде; болтал с лавочниками и советовал им ни в коем случае не обращаться в Канцлерский суд. «Ведь это,— говаривал он,— все равно что попасть под жернов, который едва вертится, но сотрет тебя в порошок; все равно что изжариться на медленном огне; все равно что быть до смерти закусанным пчелами, которые жалят тебя одна за другой; все равно что утонуть в воде, которая прибывает по каплям; все равно что сходить с ума постепенно, минута за минутой». Однажды он чуть руки на себя не наложил, как раз вон там, где сейчас стоит молодая леди.

Мы слушали его с ужасом.

— Вошел он тогда в эту дверь,— рассказывал старик, медленно чертя пальцем в воздухе воображаемый путь по

лавке,— я говорю про тот день, когда он это все-таки сделал... да, впрочем, все вокруг уже давно говорили, что рано или поздно, а он этим кончит... вошел он тогда в эту дверь, походил взад-вперед, сел на скамью, что стояла вон там, и попросил меня (я, конечно, был тогда гораздо моложе) принести ему пинту вина. «Видишь ли, Крук, говорит, я прямо сам не свой; дело мое опять разбирается, и, судя по всему, теперь наконец-то вынесут решение». Мне не хотелось оставлять его тут одного, вот я и уговорил его пойти в трактир напротив — на той стороне моей улицы (то есть Канцлерской улицы), а сам пошел за ним вслед, посмотрел в окно, вижу — он сидит в кресле у камина, как будто спокойный, и не один, а в компании. Не успел я вернуться домой, слышу — выстрел... грянул и раскатился до самого Инна. Я выбежал... соседи выбежали... и сразу же человек двадцать крикнули: «Том Джарндис!»

Старик умолк и окинул нас жестким взглядом, потом открыл фонарь, задул пламя и закрыл дверцу.

— Кому-кому, а вам говорить не нужно, что угадали мы правильно. Ха! А как в тот день все соседи хлынули в суд на разбор дела! Как мой достойный и ученый собрат и все прочие судейские, по обыкновению, виляли и петляли, но делали вид, что и не слыхивали про последнее событие, к которому привела тяжба, а если даже слышали,— о господи! — так оно не имеет к ней ровно никакого отношения.

Румянец сошел с лица Ады, а Ричард побледнел не меньше, чем она. Да и немудрено — ведь даже я взволновалась, хотя и была непричастна к тяжбе; так как же горько было столь юным и неискушенным сердцам получить в наследство бесконечное несчастье, связанное для множества людей с такими ужасными воспоминаниями! С другой стороны, мне было больно думать, что жизнь этого несчастного самоубийцы кое в чем напоминает жизнь бедной полоумной старушки, которая привела нас сюда; но, к моему удивлению, сама она этого как будто совершенно не сознавала и, ведя нас вверх по лестнице, объясняла нам, со снисходительностью высшего существа к слабостям простых смертных, что ее хозяин «немножко... того... знаете ли!»

Она жила на самом верху, в довольно большой комнате, из которой был виден Линкольнс-Инн-Холл. Это, должно быть, и послужило для нее главной побудительной причиной поселиться здесь. Ведь отсюда она, по ее словам, могла смотреть на здание Канцлерского суда даже ночью, особенно при лунном свете. Комната у нее была чистенькая, но почти совсем пустая. Самая необходимая мебель, старые гравированные портреты канцлеров и адвокатов, вырезанные из книг и прилепленные облатками к стенам, да несколько ридикюлей и рабочих мешочков, по словам хозяйки, «набитых документами»,— вот все, что я здесь увидела. В камине ни угля, ни золы; нигде никакой одежды, ни крошки еды. На полке открытого посудного шкафчика стояло, правда, несколько тарелок, две-три чайных чашки и еще кое-какая посуда, но вся она была пустая, насухо вытертая. Оглядывая комнату, я с жалостью подумала, что, значит, недаром ее хозяйка такая изможденная, и только теперь поняла — почему.

— Чрезвычайно польщена, поверьте, этим визитом подопечных тяжбы Джарндисов,— начала бедная старушка самым любезным тоном.— И весьма признательна за доброе предзнаменование. Местожительство у меня уединенное. Сравнительно. Я ограничена в выборе местожительства. Вынуждена находиться при канцлере. Я живу здесь уже много лет. Дни свои провожу в суде; вечера и ночи здесь. Ночи кажутся мне длинными,— ведь сплю я мало, а думаю много. Это, конечно, неизбежно, когда твое дело разбирается в Канцлерском суде. К сожалению, не имею возможности предложить шоколаду. Ожидаю, что суд вынесет решение скоро, а тогда устрою свою жизнь получше. В настоящее время не стесняюсь признаться подопечным тяжбы Джарндисов (строго доверительно), что иногда трудно сохранить приличный вид. Мне здесь случалось страдать от холода. А порой и от кое-чего более тяжкого, чем холод. Но это неважно. Прошу извинить, что завела разговор на столь низменные темы.

Она немного отодвинула занавеску продолговатого низкого чердачного окна и показала нам висящие в нем птичьи клетки; в некоторых из них сидело по нескольку птичек. Здесь были жаворонки, коноплянки, щеглы — всего птиц двадцать, не меньше.

— Я завела у себя этих малюток с особой целью, и подопечные ее сразу поймут,— сказала она.— С намерением выпустить птичек на волю. Как только вынесут решение по моему делу. Да-а! Однако они умирают в тюрьме. Бедные глупышки, жизнь у них такая короткая в сравнении с канцлерским судопроизводством, что все они, птичка за птичкой, умирают,— целые коллекции у меня так вымерли одна за другой. И я, знаете ли, опасаюсь, что ни одна из этих вот птичек, хоть все они молоденькие, тоже не доживет до освобождения. Оч-чень прискорбно, не правда ли?

Среди потока ее фраз изредка мелькал вопрос, но она не дожидалась ответа, а продолжала тараторить, как будто привыкла задавать вопросы в пространство, даже когда была одна.

— И, право же,— продолжала она,— я положительно опасаюсь иногда, уверяю вас, что, поскольку дело еще не решено и шестая, или Большая, печать все еще торжествует, может случиться, что и *меня* найдут здесь окоченевшей и бездыханной, как я находила стольких птичек.

В ответ на полный сострадания взгляд Ады Ричард ухитрился тихо и незаметно положить на каминную полку немного денег. Мы все подошли поближе к клеткам, делая вид, будто рассматриваем птичек.

— Я не могу позволить им петь слишком много,— говорила старушка,— так как (вам это покажется странным) в голове у меня путается, когда я слежу за судебными прениями и вдруг вспоминаю, что пташки мои сейчас поют. А голова у меня, знаете ли, должна быть очень, очень ясной! В другой раз я назову вам их имена. Не сейчас. В день столь доброго предзнаменования пусть поют сколько угодно. В честь молодости,— улыбка и реверанс,— надежды,— улыбка и реверанс,— и красоты.— Улыбка и реверанс.— Ну вот! Раздвинем занавески — пусть будет совсем светло.

Птички оживились и начали щебетать.

— Я не могу открывать окно, чтобы воздух у меня был свежее,— говорила маленькая старушка (воздух в комнате был спертый, и ее не худо было бы проветрить),— потому что Леди Джейн — кошка, которую вы

видели внизу,— покушается на их жизнь. Целыми часами сидит, притаившись, за окном на парапете. Я поняла,— тут она перешла на таинственный шепот,— что ее природное жестокосердие теперь обострилось — она охвачена ревнивой боязнью, как бы их не выпустили на волю. В результате решения суда, которое, я надеюсь, вынесут вскоре. Она хитрая и коварная. Иногда я готова поверить, что она не кошка, а волк из старинной поговорки: «Волк, что голод — не выгонишь!»

Бой часов на колокольне, где-то поблизости, напомнил бедняжке, что уже половина десятого, и положил конец нашему визиту,— нам самим закончить его было бы не так-то легко. Придя домой, старушка положила на стол свой мешочек с документами, а теперь торопливо схватила его и осведомилась, не собираемся ли мы тоже пойти в суд. Мы ответили отрицательно, подчеркнув, что никоим образом не хотим ее задерживать, и тогда она открыла дверь, чтобы проводить нас вниз.

— После такого предзнаменования мне более чем когда-либо нужно попасть в суд до выхода канцлера,— сказала она,— ибо он может назначить слушание моего дела в первую очередь. У меня предчувствие, что он действительно назначит его в первую очередь сегодня утром.

На лестнице она остановила нас и зашептала, что весь дом набит каким-то диковинным хламом, который ее хозяин скупил постепенно, а продавать не желает... потому что он чуть-чуть... того. Это она говорила на площадке второго этажа, а перед тем, на третьем этаже, ненадолго остановилась и молча указала нам пальцем на темную закрытую дверь.

— Единственный жилец, не считая меня,— объяснила она шепотом,— переписчик судебных бумаг. Здешние уличные мальчишки болтают, будто он продал душу черту. Не представляю себе, на что он мог истратить вырученные деньги! Тсс!

Тут она, должно быть, испугалась, как бы жилец не услышал ее слов из-за двери, и, повторяя «тсс!», пошла впереди нас на цыпочках, точно шум ее шагов мог выдать ему то, что она сказала.

Проходя через лавку к выходу тем же путем, как мы шли к лестнице, мы снова увидели старика хозяина, уби-


RAGS
BONES
BOUGHT
MARINE

равшего в подполье кипы исписанной бумаги, видимо макулатуры. Старик работал очень усердно,— так, что пот выступил у него на лбу,— и, убрав сверток или пачку, хватал лежащий у него под рукой кусок мела и чертил им какую-то закорючку на обшивке стены.

Ричард, Ада, мисс Джеллиби и маленькая старушка уже прошли мимо него, а я не успела, так как он внезапно остановил меня и, дотронувшись до моего локтя, написал мелом на стене букву «Д» — написал чрезвычайно странным образом, начав снизу. Это была заглавная буква, не печатная, но написанная точь-в-точь так, как написал бы ее клерк из конторы господ Кенджа и Карбоя.

— Можете вы произнести ее? — спросил старик, устремив на меня пронзительный взгляд.

— Конечно,— ответил я.— Это нетрудно.

— Как же она произносится?

— Д...

Снова бросив взгляд на меня, потом на дверь, он стер букву, вывел на ее месте букву «ж» (теперь незаглавную) и спросил:

— А это что такое?

Я ответила. Он стер «ж», написал «а» и задал мне тот же вопрос. Так он быстро чертил букву за буквой, все тем же странным образом, начиная снизу, а начертив, стирал ее,— причем ни разу не оставил на стене двух одновременно,— и остановился лишь после того, как написал все буквы, составляющие слово «Джарндис».

— Как произносится это слово? — спросил он меня.

Я произнесла его, и старик рассмеялся. Затем он таким же странным образом и с такой же быстротой начертил и стер одну за другой все буквы, составляющие слова «Холодный дом». Не без удивления прочла я вслух и эти слова, а старик снова рассмеялся.

— Ха! — сказал он, отложив в сторону мел.— Вот видите, мисс, я могу рисовать слова по памяти, хоть и не умею ни читать, ни писать.

У него был такой неприятный вид, а кошка устремила на меня такой хищный взгляд,— словно я была кровной родственницей живших наверху птичек,— что я

почувствовала настоящее облегчение, когда Ричард появился в дверях и сказал:

— Надеюсь, мисс Саммерсон, вы не собираетесь продавать свои волосы? Не поддавайтесь искушению. Три мешка уже лежат в подполье, и хватит с мистера Крука!

Я не замедлила пожелать мистеру Круку всего хорошего и присоединилась к своим друзьям, стоявшим на улице, и тут мы расстались с маленькой старушкой, которая очень торжественно простилась с нами и повторила свое вчерашнее обещание завещать Аде и мне какие-то поместья. Заходя за угол, мы оглянулись и увидели мистера Крука,— он смотрел нам вслед, стоя у входа в лавку с очками на носу и кошкой на плече,— хвост ее торчал над его мохнатой шапкой, словно длинное перо.

— Вот так утреннее приключение в Лондоне,— сказал Ричард со вздохом.— Ах, кузина, кузина, какие это страшные слова — «Канцлерский суд»!

— И я боялась их с тех пор, как помню себя,— откликнулась Ада.— Тяжело сознавать себя врагом,— ведь я, очевидно, враг,— своих многочисленных родственников и других людей; тяжело сознавать, что они мои враги,— а так оно, вероятно, и есть,— и видеть, что мы разоряем друг друга, сами не зная, как и зачем, и всю жизнь проводим в подозрениях и раздорах. Должна же где-то быть правда, и очень странно, что за столько лет не нашлось ни одного честного судьи, который взялся бы за дело всерьез и выяснил, на чьей она стороне.

— Да, кузина,— вздохнул Ричард,— еще бы не странно! Вся эта разорительная, бесцельная шахматная игра действительно кажется очень странной. Когда я видел вчера, как безмятежно топчется на месте этот невозмутимый суд, и думал о страданиях пешек на его шахматной доске, у меня разболелись и голова и сердце. Голова — оттого, что я был не в силах понять, как все это возможно, если только люди не дураки и не подлецы, а сердце — от мысли о том, что люди бывают и дураками и подлецами. Но, во всяком случае, Ада... можно мне называть вас Адой?

— Конечно, можно, кузен Ричард.

— Во всяком случае, Ада, Канцлерский суд не может вредно повлиять на *нас*. К счастью, мы с вами встрети-

лись,— благодаря нашему доброму родственнику,— и теперь суд не в силах нас разлучить!

— Надеюсь, что нет, кузен Ричард! — тихо промолвила Ада.

Мисс Джеллиби сжала мой локоть и бросила на меня весьма многозначительный взгляд. Я улыбнулась в ответ, и весь остальной путь до дому мы прошли очень весело.

Спустя полчаса после нашего возвращения из спальни вышла миссис Джеллиби, а потом в течение часа в столовой один за другим появлялись разнообразные предметы, необходимые для первого завтрака. Я не сомневаюсь, что миссис Джеллиби легла спать и встала точно так же, как это делают все люди, но по ее виду казалось, будто она, ложась в постель, даже платья не сняла. За завтраком она была совершенно поглощена своими делами, так как утренняя почта принесла ей великое множество писем относительно Бориобула-Гха, а это, по ее собственным словам, сулило ей хлопотливый день. Дети шатались повсюду, то и дело падая и оставляя следы пережитых злоключений на своих ногах, превратившихся в какие-то краткие летописи ребячьих бедствий; а Пищик пропадал полтора часа, и домой его привел полисмен, который нашел его на Ньюгетском рынке *. Спокойствие, с каким миссис Джеллиби перенесла и отсутствие и возвращение своего отпрыска в лоно семьи, поразило всех нас.

Все это время она усердно продолжала диктовать Кедди, а Кедди беспрерывно пачкалась чернилами, быстро обретая тот вид, в каком мы застали ее накануне. В час дня за нами приехала открытая коляска и подвода для нашего багажа. Миссис Джеллиби попросила нас передать сердечный привет своему доброму другу мистеру Джарндису; Кедди встала из-за письменного стола и, провожая нас, поцеловала меня, когда мы шли по коридору, а потом стояла на ступеньках крыльца, покусывая гусиное перо и всхлипывая; Пищик, к счастью, спал, так что сон избавил его от мук расставанья (я не могла удержаться от подозрений, что на Ньюгетский рынок он ходил искать меня); остальные же дети прицепились сзади к нашей коляске, но вскоре сорвались и попадали на землю, и мы, оглянувшись назад, с тревогой увидели, что они валяются по всему Тейвис-Инну.

ГЛАВА VI

Совсем как дома

Тем временем прояснило, и чем дальше мы двигались на запад, тем светлей и светлей становился день. Озаренные солнцем, вдыхая свежий воздух, мы ехали, все больше и больше дивясь на бесчисленные улицы, роскошь магазинов, оживленное движение и толпы людей, которые запестрели, словно цветы, как только туман рассеялся. Но вот мы мало-помалу стали выбираться из этого удивительного города, пересекли предместья, которые, как мне казалось, сами могли бы образовать довольно большой город, и, наконец, свернули на настоящую деревенскую дорогу, а тут на нас пахнуло ароматом давно скошенного сена и перед нами замелькали ветряные мельницы, стога, придорожные столбы, фермерские телеги, качающиеся вывески и водопойные колоды, деревья, поля и живые изгороди. Чудесно было видеть расстилавшийся перед нами зеленый простор и знать, что громадная столица осталась позади, а когда какой-то фургон, запряженный породистыми лошадьми в красной сбруе, поравнялся с нами, бойко тарахтя под музыку звонких бубенчиков, мы все трое, кажется, готовы были запеть им в лад,— таким весельем дышало все вокруг.

— Дорога все время напоминает мне о моем тезке — Виттингтоне *,— сказал Ричард,— и этот фургон — последний штрих на картине... Эй! В чем дело?

Мы остановились, фургон тоже остановился. Как только лошади стали, звон бубенчиков перешел в легкое позвякиванье, но стоило одной из лошадей дернуть головой или встряхнуться, как нас вновь окатывало ливнем звона.

— Наш форейтор оглядывается на возчика,— сказал Ричард,— а тот идет назад, к нам... Добрый день, приятель! — Возчик уже стоял у дверцы нашей коляски.— Смотрите-ка, вот чудеса! — добавил Ричард, всматриваясь в него.— У него на шляпе ваша фамилия, Ада!

На шляпе у него оказались все три наши фамилии. За ее ленту были заткнуты три записки: одна — адресо-

ванная Аде, другая — Ричарду, третья — мне. Возчик вручил их нам одну за другой поочередно, всякий раз сперва прочитывая вслух фамилию адресата. На вопрос Ричарда, от кого эти записки, он коротко ответил: «От хозяина, сэр»,— надел шляпу (похожую на котелок, только мягкий) и щелкнул бичом, а «музыка» зазвучала снова, и под ее звон он покатил дальше.

— Это фургон мистера Джарндиса? — спросил Ричард форейтора.

— Да, сэр,— ответил тот.— Едет в Лондон.

Мы развернули записки. Написанные твердым, разборчивым почерком, они были совершенно одинакового содержания, и в каждой мы прочли следующие слова:

«Надеюсь, друг мой, что мы встретимся непринужденно и не будем стесняться один другого. Поэтому предлагаю встретиться, как старые приятели, ни словом не поминая о прошлом. Возможно, так будет легче и для Вас, а для меня — безусловно. Любящий Вас

Джон Джарндис».

Эта просьба удивила меня, вероятно, меньше, чем моих спутников,— ведь мне так ни разу и не удалось поблагодарить того, кто столько лет был моим благодетелем и единственным покровителем. Раньше я не спрашивала себя: как мне благодарить его? — признательность была слишком глубоко скрыта в моем сердце; теперь же стала думать: как удержаться от благодарности при встрече с ним? и поняла, что это будет очень трудно.

Прочитав записки, Ричард и Ада стали говорить, что у них осталось впечатление,— только они не помнят, откуда оно взялось,— будто их кузен Джарндис не терпит благодарности за свои добрые дела и, уклоняясь от нее, прибегает к самым диковинным хитростям и уловкам вплоть до того, что спасается бегством. Ада смутно припомнила, как еще в раннем детстве слышала от своей мамы, будто мистер Джарндис однажды оказал ей очень большую услугу, а когда мама отправилась его благодарить, он, увидев в окно, что она подошла к дверям, немедленно сбежал через задние ворота, и потом целых три месяца о нем не было ни слуху ни духу. Мы много бесе-

довали на эту тему, и, сказать правду, она не иссякала весь день, так что мы почти ни о чем другом не говорили. Случайно отвлекшись от нее, мы немного погодя возвращались к ней опять и гадали, какой он, этот Холодный дом, да скоро ли мы туда доедем, да увидим ли мистера Джарндиса тотчас же по приезде или позже, да что он нам скажет и что следует нам сказать ему. Обо всем этом мы думали и раздумывали и говорили все вновь и вновь.

Дорога оказалась очень скверной — лошадям было тяжело, но пешеходные тропинки по обочинам большей частью были удобны; поэтому мы выходили из коляски на всех подъемах и шли в гору пешком, и нам так это нравилось, что, добравшись доверху, мы и на ровном месте не сразу садились в свой экипаж. В Барнете * нас ждали сменные лошади, но им только что задали корму, так что нам пришлось подождать и мы успели сделать еще одну длинную прогулку по выгону и древнему полю битвы, пока не подъехала наша коляска. Все это нас так задержало, что короткий осенний день уже угас и наступила долгая ночь, а мы еще не доехали до городка Сент-Олбенса *, близ которого, как нам было известно, находился Холодный дом.

К тому времени мы уже так разволновались и разнервничались, что даже Ричард признался,— когда мы катили по булыжной мостовой старинного городка,— что его обуяло нелепое искушение повернуть вспять. А мы с Адой — Аду он очень заботливо укутал, так как вечер был ветреный и морозный — дрожали с головы до ног. Когда же мы выехали за черту города и завернули за угол крайнего дома, Ричард сказал, что форейтор, который давно уже сочувствовал нашему нетерпеливому ожиданию, обернулся и кивнул нам; и тут обе мы поднялись и дальше ехали стоя (причем Ричард поддерживал Аду, чтобы она не вывалилась), напряженно всматриваясь в звездную ночь и расстилавшееся перед нами пространство. Но вот впереди на вершине холма блеснул свет, и кучер, указав на него бичом, крикнул: «Вон он, Холодный дом!», пустил лошадей крупной рысью и погнал их в гору так быстро, что нас, как брызгами на водяной мельнице, осыпало дорожной пылью, взлетающей из-под колес. Свет блеснул, погас, снова блеснул, опять погас,

блеснул вновь, и мы, свернув в аллею, покатили в ту сторону, где он горел ярко. А горел он в окне старинного дома с тремя вздымавшимися на переднем фасаде шпилями и покатым въездом, который вел к крыльцу, изгибаясь дугой. Как только мы подъехали, где-то зазвонил колокол, и вот под его густой звон, гулко раздававшийся в тишине, и лай собак, доносившийся издали, озаренные потоком света, хлынувшим через распахнутую дверь, окутанные паром, поднявшимся от разгоряченных лошадей, чувствуя, как быстро забилось у нас сердце, мы вышли из коляски в немалом смятении.

— Ада, милая! Эстер, дорогая моя, добро пожаловать! Как я счастлив встретиться с вами! Рик, будь у меня сейчас еще одна свободная рука, я протянул бы ее вам!

Джентльмен, произносивший эти слова звучным, веселым, приветливым голосом, одной рукой обнял Аду, другою — меня и, отечески поцеловав нас обеих, провел через переднюю в небольшую с красными стенами комнатку, залитую светом огня, который ярко пылал в камине. Тут он снова поцеловал нас и, разжав руки, усадил рядом на диванчик, уже пододвинутый поближе к огню. В эту минуту я поняла, что стоит нам хоть немножко дать волю своим чувствам, и он убежит во мгновение ока.

— Ну, Рик,— сказал он,— теперь у меня рука свободна. Одно лишь искреннее слово не хуже целой речи. От души рад вас видеть. Вы теперь дома. Отогревайтесь же!

Ричард пожал ему обе руки и доверчиво и почтительно, но сказал только (хотя сказал так горячо, что порядком меня напугал,— очень уж я боялась, как бы мистер Джарндис сразу же не скрылся): «Вы очень добры, сэр. Мы вам чрезвычайно обязаны!» — и, сняв шляпу и пальто, подошел к камину.

— Ну как, приятно было прокатиться? А миссис Джеллиби вам понравилась, моя милая? — спросил мистер Джарндис Аду.

Пока Ада отвечала, я украдкой посматривала на него,— не стоит и говорить, с каким интересом. Лицо его, красивое, живое, подвижное, часто меняло выражение; волосы были слегка посеребрены сединой. Я решила, что ему уже лет под шестьдесят, но держался он



прямо и выглядел бодрым и крепким. Не успел он заговорить с нами, как голос его вызвал в моей памяти что-то пережитое в прошлом, только я не могла припомнить, что именно; и вот, наконец, что-то в его порывистых манерах и ласковых глазах внезапно напомнило мне джентльмена, сидевшего в почтовой карете шесть лет назад, в памятный день моего отъезда в Рединг. И я поняла, что это был он. Но никогда в жизни я так не пугалась, как в ту минуту, когда сделала это открытие,— ведь он поймал мой взгляд и, словно прочитав мои мысли, так выразительно взглянул на дверь, что я подумала: «Только мы его и видели!»

Однако, к счастью, он никуда не сбежал, а спросил меня, какого я мнения о миссис Джеллиби.

— Она изо всех сил трудится на пользу Африки, сэр,— сказала я.

— Прекрасно! — воскликнул мистер Джарндис.— Но вы отвечаете так же, как Ада.— Я не слышала слов Ады.— Я вижу, вы все чего-то не договариваете.

— Если уж говорить всю правду,— начала я, посмотрев на Ричарда и Аду, которые взглядами умоляли меня ответить вместо них,— нам показалось, что она, пожалуй, недостаточно заботится о своем доме.

— Не может быть! — вскричал мистер Джарндис.

Мне опять стало страшно.

— Слушайте, мне хочется знать, что̀ вы о ней действительно думаете, дорогая моя. Быть может, я послал вас к ней не без умысла.

— Нам кажется,— проговорила я нерешительно,— что, пожалуй, ей лучше было бы начать со своих домашних обязанностей, сэр; ведь если их выполняешь небрежно и нерадиво, то этого не искупят никакие другие заслуги.

— А малютки Джеллиби,— вмешался Ричард, приходя мне на помощь,— ведь они — простите за резкость, сэр,— прямо-таки черт знает в каком виде.

— У нее благие намерения,— торопливо проговорил мистер Джарндис.— А ветер-то восточный, оказывается.

— Пока мы сюда ехали, ветер был северный,— заметил Ричард.

— Дорогой Рик,— сказал мистер Джарндис, мешая угли в камине,— ветер дует или вот-вот подует с во-

стока — могу поклясться. Когда ветер восточный, мне время от времени становится как-то не по себе.

— У вас ревматизм, сэр? — спросил Ричард.

— Пожалуй что так, Рик. Вероятно. Значит, малютки Джел... Я и сам подозревал... что они в... о господи, ну, конечно, ветер восточный! — повторил мистер Джарндис.

Роняя эти обрывки фраз, он раза два-три нерешительно прошелся взад и вперед по комнате, в одной руке держа кочергу, а другой ероша волосы с добродушной досадой, такой чудаковатый и такой милый, что нет слов выразить, как горячо мы им восхищались. Но вот он взял под руку меня и Аду и, попросив Ричарда захватить свечу, пошел с нами к двери, как вдруг повернул назад.

— Насчет ребятишек Джеллиби...— начал он.— Вы не могли разве... вы не... ну, словом, неплохо было бы, если б, скажем, на них вдруг градом посыпались с небес леденцы, или пирожки с малиновым вареньем, или вообще что-нибудь в этом роде!

— Но, кузен...— торопливо подхватила Ада.

— Вот это хорошо, моя прелесть! Приятно слышать, когда тебя называют «кузеном». А «кузен Джон» — и того лучше, пожалуй.

— Так вот, кузен Джон...— снова начала Ада со смехом.

— Ха-ха! Замечательно! — воскликнул мистер Джарндис в полном восторге.— Звучит необычайно естественно. Ну, и что же, дорогая моя?

— Они получили кое-что получше. К ним с небес слетела Эстер.

— Вот как? — сказал мистер Джарндис.— Что же Эстер делала?

— А вот что, кузен Джон,— принялась рассказывать Ада, обхватив обеими руками его руку и отрицательно качая головой в ответ на мою просьбу помолчать.— Эстер сразу подружилась с ними. Эстер нянчила их, укладывала спать, умывала, одевала, рассказывала им сказки, успокаивала их, покупала им подарки.

Милая моя девочка! Ведь я всего только и сделала, что вышла на улицу с Пищиком, когда его разыскали, и подарила ему крошечную лошадку.

— И еще, кузен Джон, она утешала бедную Кэролайн, старшую дочь миссис Джеллиби, и была так внимательна ко мне, так мила!.. Нет, нет, не спорь, милая Эстер! Сама знаешь, отлично знаешь, что это правда!

И, не выпуская руки своего кузена Джона, моя ласковая девочка потянулась ко мне и поцеловала меня, потом вдруг расхрабрилась и, глядя ему прямо в глаза, сказала:

— Во всяком случае, кузен Джон, кто-кто, а я все-таки *благодарю* вас за подругу, которую вы мне дали.

Она словно вызывала его на то, чтобы он убежал. Но он остался.

— Как вы сказали, Рик, какой сейчас ветер? — спросил мистер Джарндис.

— Когда мы приехали, сэр, ветер был северный.

— Правильно, ветер вовсе не восточный. Я просто ошибся. Пойдемте, девочки, посмотрим ваш родной дом.

Это был один из тех очаровательных, причудливо построенных домов, где, переходя из одной комнаты в другую, спускаешься или поднимаешься по ступенькам, где находишь новые комнаты, после того как уже кажется, что ты осмотрел их все, где, миновав множество закоулков и коридорчиков, неожиданно попадаешь в еще более старинные,— как в деревенских коттеджах,— комнаты с решетчатыми оконными переплетами, к которым прижимается зеленая листва. Моя комната — первая, в которую мы вошли, была именно такая — с двухскатным потолком, в котором было столько углов, что я никогда не могла их сосчитать, и с камином (в нем пылали дрова), выложенным внутри белоснежным кафелем, каждая плитка которого отражала в миниатюре ярко пылающий огонь. Из этой комнаты, спустившись по двум ступенькам, можно было попасть в прелестную маленькую гостиную, выходящую окнами на цветник и предназначенную Аде и мне. А отсюда, поднявшись по трем ступенькам,— перейти в спальню Ады, где из красивого широкого окна открывался чудесный вид (в тот вечер мы увидели только обширное темное пространство, расстилавшееся под звездами), а под окном было устроено сиденье в такой глубокой нише, что, стоило только навесить на нее дверь с пружиной, и здесь сумели бы спрятаться три

милых Ады. Из ее спальни можно было пройти на маленькую галерею, к которой примыкали две (только две) парадные комнаты, а из галереи, спустившись по короткой лесенке с низкими ступеньками и, пожалуй, слишком частыми поворотами, перейти в переднюю. Но если бы вы направились в другую сторону, то есть вернулись бы из спальни Ады в мою, вышли бы из нее через ту самую дверь, в которую вошли, и поднялись по нескольким винтовым ступеням, ответвлявшимся от лестницы, вы, наверное, заблудились бы в коридорах, где увидели бы катки для белья, трехугольные столики и индийское кресло, которое могло превратиться в диван, сундук или кровать,— хотя на вид казалось не то остовом бамбуковой хижины, не то огромной птичьей клеткой,— а вывезено было из Индии неизвестно кем и когда. Отсюда можно было пройти в комнату Ричарда, которая служила библиотекой, гостиной и спальней одновременно, заменяя целую удобную квартирку. Небольшой коридор соединял ее с очень просто обставленной спальней, где мистер Джарндис круглый год спал при открытом окне на кровати без полога, стоявшей посредине комнаты, чтобы со всех сторон обдувал воздух; открытая дверь вела из спальни в смежную комнатку, где он принимал холодные ванны. Другой коридор вел из спальни к черному ходу, и когда у конюшни чистили лошадей, отсюда было слышно, как им кричали: «Стой!» и «Пошел!» — если им случалось поскользнуться на неровных булыжниках. Но, если угодно, вы могли бы из спальни хозяина перейти прямо в переднюю — стоило только выйти в другую дверь (в каждой комнате здесь было не меньше двух дверей), спуститься по нескольким ступенькам и пройти по низкому сводчатому коридору,— а очутившись в передней, вы просто не поняли бы, каким образом вы отсюда вышли и как вам удалось сюда вернуться.

Как и сам дом, обстановка в нем была старинная, хоть и не казалась старой, и так же пленяла своим приятным разнообразием. Спальня Ады была, если можно так выразиться, «вся в цветах» — цветочным узором были украшены и ситцевые чехлы, и обои, и бархатные портьеры, и вышивки, и парчовая обивка стоявших по обе стороны камина двух роскошных, как во дворце, прямых

кресел, к которым для большей пышности было приставлено, в качестве пажей, по скамеечке. Гостиная у нас была зеленая, увешанная картинками, на которых было изображено множество удивительных птиц, пристально и удивленно смотревших с полотен в застекленных рамах на аквариум с живой форелью,— такой коричневой и блестящей, словно ее подали под соусом,— и на другие картинки, например «Смерть капитана Кука» * и весь процесс заготовки чая в Китае, нарисованный китайскими художниками. В моей комнате висели овальные гравюры с аллегорическими изображениями двенадцати месяцев, причем июнь олицетворяли дамы, работавшие на сенокосе в платьях с короткими талиями и широких шляпах, завязанных лентами, а октябрь — джентльмены в узких рейтузах, которые указывали треуголками на деревенские колокольни. Поясные портреты пастелью во множестве встречались по всему дому, но развешаны они были в полном беспорядке: так, например, брат молодого офицера, портрет которого висел в моей комнате, попал в посудную кладовую, а седую старуху, в которую превратилась моя хорошенькая юная новобрачная с цветком на корсаже, я увидела в той столовой, где завтракали. Зато вместо них у меня висели написанные во времена королевы Анны * четыре ангела, которые не без труда поднимали на небо опутанного гирляндами самодовольного джентльмена, а другую стену украшал вышитый натюрморт — фрукты, чайник и букварь. Вся обстановка в этом доме, начиная с гардеробов и кончая креслами, столами, драпировками, зеркалами, вплоть до булавочных подушечек и флаконов с духами на туалетных столиках, отличалась столь же причудливым разнообразием. Ни одной общей черты не было у этих вещей — разве только безукоризненная опрятность, сверкающая белизна полотняных скатертей и салфеток да кучки засушенных розовых лепестков и пахучей лаванды, которые лежали повсюду, в каждом ящике,— все равно, большой он был или маленький.

Так вот: сначала — сияющий в звездной ночи свет в окнах, лишь кое-где притушенный занавесками; потом — светлые, теплые, уютные комнаты и доносящийся издали гостеприимный, предобеденный стук посуды в столовой,

и лицо великодушного хозяина, излучающее доброту, от которой светлело все, что мы видели, и глухой шум ветра за стенами, служащий негромким аккомпанементом всему, что мы слышали,— так вот каковы были наши первые впечатления от Холодного дома.

— Я рад, что он вам понравился,— сказал мистер Джарндис после того, как показал нам весь дом и снова привел нас в гостиную Ады.— Никаких особых претензий у него нет, но домик уютный, хочется думать, а с такими вот веселыми молодыми обитателями он будет еще уютнее. До обеда осталось всего полчаса. Гость у нас только один, но другого такого во всем мире не сыщешь — это чудеснейшее создание... дитя.

— И тут дети, Эстер! — воскликнула Ада.

— Дитя не настоящее,— пояснил мистер Джарндис,— дитя не по летам. Он взрослый — никак не моложе меня,— но по свежести чувств, простодушию, энтузиазму, прелестной бесхитростной неспособности заниматься житейскими делами — он сущее дитя.

Мы решили, что этот гость, очевидно, очень интересный человек.

— Это один знакомый миссис Джеллиби,— продолжал мистер Джарндис.— Он музыкант — правда, только любитель, хотя мог бы сделаться профессионалом. Кроме того, он художник-любитель, хотя тоже мог бы сделать живопись своей профессией. Очень одаренный, обаятельный человек. В делах ему не везет, в профессии не везет, в семье не везет, но это его не тревожит... сущий младенец!

— Вы сказали, что он человек семейный, значит у него есть дети, сэр? — спросил Ричард.

— Да, Рик! С полдюжины,— ответил мистер Джарндис.— Больше! Пожалуй, дюжина наберется. Но он о них никогда не заботился. Да и где ему? Нужно, чтобы кто-то заботился *о нем самом.* Сущий младенец, уверяю вас!

— А дети его сумели позаботиться о себе, сэр? — спросил Ричард.

— Ну, сами понимаете, насколько это им удалось,— проговорил мистер Джарндис, и лицо его внезапно омрачилось.— Есть поговорка, что беднота своих отпрысков

не «ставит на ноги», но «тащит за ноги». Так или иначе, дети Гарольда Скимпола * с грехом пополам стали на ноги. А ветер опять переменился, к сожалению. Я это уже почувствовал!

Ричард заметил, что дом стоит на открытом месте, и когда ночь ветреная, в комнатах дует.

— Да, он стоит на открытом месте,— подтвердил мистер Джарндис.— В том-то и дело. Потому в нем и гуляет ветер, в этом Холодном доме. Ну, Рик, наши комнаты рядом. Пойдемте!

Багаж привезли, и все у меня было под рукой, поэтому я быстро переоделась и уже принялась раскладывать свое «добро», как вдруг горничная (не та, которую приставили к Аде, а другая, еще незнакомая мне) вошла в мою комнату с корзиночкой, в которой лежали две связки ключей с ярлычками.

— Это для вас, мисс, позвольте вам доложить,— сказала она.

— Для меня? — переспросила я.

— Ключи со всего дома, мисс.

Я не скрыла своего удивления, а она, тоже немного удивленная, добавила:

— Мне приказали отдать их вам, как только вы останетесь одни, мисс. Ведь, если я не ошибаюсь, мисс Саммерсон — это вы?

— Да,— ответила я.— Это я.

— Большая связка — ключи от кладовых в доме, маленькая — от погребов, мисс. И еще мне велено показать вам завтра утром все шкафы и что каким ключом отпирается,— в любое время, когда прикажете.

Я сказала, что буду готова к половине седьмого, а когда горничная ушла, посмотрела на корзиночку и уже не спускала с нее глаз, совершенно растерявшись оттого, что мне оказали столь большое доверие. Так я и стояла, когда вошла Ада; и тут я показала ей ключи и объяснила, зачем их принесли, а она так очаровательно высказала свою веру в мои хозяйственные таланты, что я была бы бесчувственной и неблагодарной, если бы это меня не ободрило. Я понимала, конечно, что милая девушка говорит так лишь по доброте сердечной, но все-таки мне было приятно поддаться столь лестному обману.

Когда мы сошли вниз, нас представили мистеру Скимполу, который стоял у камина, рассказывая Ричарду о том, как он в свои школьные годы увлекался футболом. Маленький жизнерадостный человек с довольно большой головой, но тонкими чертами лица и нежным голосом, он казался необычайно обаятельным. Он говорил обо всем на свете так легко и непринужденно, с такой заразительной веселостью, что слушать его было одно удовольствие. Фигура у него была стройнее, чем у мистера Джарндиса, цвет лица более свежий, а седина в волосах менее заметна, и потому он казался моложе своего друга. Вообще он походил скорее на преждевременно постаревшего молодого человека, чем на хорошо сохранившегося старика. Какая-то беззаботная небрежность проглядывала в его манерах и даже костюме (волосы у него были несколько растрепаны, а слабо завязанный галстук развевался, как у художников на известных мне автопортретах), и это невольно внушало мне мысль, что он похож на романтического юношу, который странным образом одряхлел. Мне сразу показалось, что и манеры его и внешность совсем не такие, какие бывают у человека, который прошел, как и все пожилые люди, долголетний путь забот и жизненного опыта.

Из общего разговора я узнала, что мистер Скимпол получил медицинское образование и одно время был домашним врачом у какого-то немецкого князя. Но, как он сам сказал нам, он всегда был сущим ребенком «в отношении мер и весов», ничего в них не смыслил (кроме того, что они ему противны) и никогда не был способен прописать лекарство с надлежащей аккуратностью в каждой мелочи. Вообще, говорил он, голова его не создана для мелочей. И с большим юмором рассказывал нам, что, когда за ним посылали, чтобы пустить кровь князю или дать врачебный совет кому-нибудь из его приближенных, он обыкновенно лежал навзничь в постели и читал газеты или рисовал карандашом фантастические наброски, а потому не мог пойти к больному. В конце концов князь рассердился,—«вполне резонно», откровенно признал мистер Скимпол,— и отказался от его услуг, а так как для мистера Скимпола «не осталось ничего в жизни, кроме любви» (объяснил он с очаровательной веселостью), то

он «влюбился, женился и окружил себя румяными щечками». Его добрый друг Джарндис и некоторые другие добрые друзья время от времени подыскивали ему те или иные занятия, но ничего путного из этого не получалось, так как он, должен признаться, страдает двумя самыми древними человеческими слабостями: во-первых, не знает, что такое «время», во-вторых, ничего не понимает в деньгах. Поэтому он никогда никуда не являлся вовремя, никогда не мог вести никаких дел и никогда не знал, сколько стоит то или другое. Ну что ж! Так вот он и жил всю жизнь, и такой уж он человек! Он очень любит читать газеты, очень любит рисовать карандашом фантастические наброски, очень любит природу, очень любит искусство. Все, что он просит у общества,— это не мешать ему жить. Не так уж это много. Потребности у него ничтожные. Дайте ему возможность читать газеты, беседовать, слушать музыку, любоваться красивыми пейзажами, дайте ему баранины, кофе, свежих фруктов, несколько листов бристольского картона *, немножко красного вина, и больше ему ничего не нужно. В жизни он сущий младенец, но он не плачет, как дети, требуя луны с неба. Он говорит людям: «Идите с миром каждый своим путем! Хотите — носите красный мундир армейца, хотите — синий мундир моряка, хотите — облачение епископа, хотите — фартук ремесленника, а нет, так засуньте себе перо за ухо, как это делают клерки; стремитесь к славе, к святости, к торговле, к промышленности, к чему угодно, только... не мешайте жить Гарольду Скимполу!»

Все эти мысли и многие другие он излагал нам с необычайным блеском и удовольствием, а о себе говорил с каким-то оживленным беспристрастием,— как будто ему не было до себя никакого дела, как будто Скимпол был какое-то постороннее лицо, как будто он знал, что у Скимпола, конечно, есть свои странности, но есть и свои требования, которыми общество обязано заняться и не смеет пренебрегать. Он просто очаровывал своих слушателей. Если вначале я и смущалась, безуспешно стараясь примирить его признания со своими собственными взглядами на нравственный долг и ответственность (хотя я сама представляю их себе не очень ясно), меня смущало

лишь то, что я не могла как следует уразуметь, почему этот человек свободен и от ответственности и от нравственного долга. А что он действительно был от них свободен, я почти не сомневалась,— этого он ничуть не скрывал.

— Я ничего не домогаюсь,— продолжал мистер Скимпол все с тою же легкостью.— Мне не нужно ничем обладать. Вот великолепный дом моего друга Джарндиса. Я чувствую себя обязанным моему другу за то, что у меня есть этот дом. Я могу нарисовать и, рисуя, изменить его. Я могу написать о нем музыку. Когда я живу здесь, я в достаточной мере им обладаю, не испытывая никаких беспокойств, не неся расходов и ответственности. Короче говоря, у меня есть управляющий по фамилии Джарндис, и он не может меня обмануть. Мы только что говорили о миссис Джеллиби. Вот вам женщина с острым умом, сильной волей и огромной способностью вникать в каждую мелочь любого дела,— женщина, которая с поразительным рвением преследует те или иные цели! Но я не жалею, что *у меня* нет ни сильной воли, ни огромной способности вникать в мелочи, ни уменья преследовать те или иные цели с поразительным рвением. Я могу восхищаться этой женщиной без зависти. Я могу сочувствовать ее целям. Я могу мечтать о них. Я могу лежать на траве — в хорошую погоду — и мысленно плыть по какой-нибудь африканской реке, обнимая всех встречных туземцев, и при этом так же полно наслаждаться глубокой тишиной и так же верно рисовать пышную растительность тропических дебрей, как если бы я и впрямь находился в Африке. Не знаю, приносит ли эта моя деятельность какую-нибудь непосредственную пользу, но только это я могу делать, и делаю отлично. А затем, когда Гарольд Скимпол, доверчивое дитя, умоляет вас, весь свет, то есть скопище практичных деловых людей: «Прошу вас, не мешайте мне жить и восхищаться человеческим родом», будьте добры, сделайте это так или иначе и позвольте ему качаться на его игрушечной лошадке!

Было совершенно ясно, что мистер Джарндис не остался глух к этой мольбе. Ясно хотя бы потому, какое почетное положение занимал в его доме мистер Ским-

пол, который вскоре сам подтвердил это, высказавшись еще яснее.

— Если я кому-нибудь и завидую, так это вам, великодушные вы создания,— сказал мистер Скимпол, обращаясь к нам троим, своим новым знакомым.— Я завидую вашей способности делать то, что вы делаете. На вашем месте я тоже бы этим увлекся. Но я не чувствую к вам пошлой благодарности; ни малейшей. Я готов думать, что это *вам* следует благодарить *меня* за то, что я даю вам возможность наслаждаться собственной щедростью. Я знаю, вам это нравится. Быть может, я и на свет-то появился лишь для того, чтобы обогатить сокровищницу вашего счастья. Быть может, я родился затем, чтобы иногда давать вам возможность помогать мне в моих маленьких затруднениях и тем самым сделаться вашим благодетелем. Зачем же мне скорбеть о моей неспособности вникать в мелочи и заниматься житейскими делами, если она порождает столь приятные последствия? Я и не скорблю.

Из всех его шутливых речей (шутливых, но совершенно точно выражавших его взгляды) эта речь всего более пришлась по вкусу мистеру Джарндису. Впоследствии мне не раз хотелось выяснить вопрос, действительно ли это странно или только мне одной кажется странным, что мистер Джарндис, человек, способный, как никто, испытывать чувство благодарности за всякий пустяк, так стремится избежать благодарности других.

Все мы были очарованы. Я поняла, что мистер Скимпол, говоря откровенно с Адой и Ричардом, которых увидел впервые, и всячески стараясь быть столь утонченно любезным, только воздает должное их обаянию. Ричард и Ада (особенно Ричард), естественно, были польщены и решили, что для них это редкостная честь пользоваться столь большим доверием такого привлекательного человека. Чем внимательнее мы слушали, тем оживленнее болтал мистер Скимпол. А уж если говорить о его веселом остроумии, его чарующей откровенности, его простодушной привычке слегка касаться своих собственных слабостей, как будто он хотел сказать: «Вы видите, я — дитя! В сравнении со мной вы коварные люди (он и вправду заставил меня считать себя коварной), а я весел и не-

винен; так забудьте же о своих хитростях и поиграйте со мной!» — то придется признать, что все это производило прямо-таки ошеломляющее впечатление.

И он был так чувствителен, так тонко ценил все прекрасное и юное, что уже одним этим мог бы покорять сердца. Вечером, когда я готовила чай, а моя Ада, сидя в соседней комнате за роялем, вполголоса напевала Ричарду какую-то мелодию, которую они случайно вспомнили, мистер Скимпол подсел ко мне на диван и так говорил об Аде, что я в него чуть не влюбилась.

— Она как утро,— говорил он.— Эти золотистые волосы, эти голубые глаза, этот свежий румянец на щеках...— ну, точь-в-точь летнее утро! Здешние птички так и подумают, когда увидят ее. Нельзя же называть сиротой столь прелестное юное создание,— оно живет на радость всему человечеству. Оно дитя вселенной.

Тут я заметила, что мистер Джарндис, улыбаясь, стоит рядом с нами, заложив руки за спину, и внимательно слушает.

— Вселенная — довольно равнодушная мать, к сожалению,— проговорил он.

— Ну, не знаю! — с жаром возразил ему мистер Скимпол.

— А я знаю,— сказал мистер Джарндис.

— Что ж! — воскликнул мистер Скимпол,— вы, конечно, знаете свет (который для вас — вся вселенная), а я не имею о нем понятия, так будь по-вашему. Но если бы все было по-моему,— тут он взглянул на Аду и Ричарда,— на пути этих двух юных созданий не попадались бы колючие шипы гнусной действительности. Их путь был бы усыпан розами; он пролегал бы по садам, где не бывает ни весны, ни осени, ни зимы, где вечно царит лето. Ни годы, ни беды не могли бы его омрачить. Мерзкое слово «деньги» никогда бы не долетало до него!

Мистер Джарндис с улыбкой погладил по голове мистера Скимпола, словно тот и в самом деле был ребенком, потом, сделав два-три шага, остановился на минуту и устремил глаза на девушку и юношу. Он смотрел на них задумчиво и благожелательно, и впоследствии я часто (так часто!) вспоминала этот взгляд, надолго запечатлевшийся в моем сердце. Ада и Ричард все еще остава-

лись в соседней комнате, освещенной только огнем камина. Ада сидела за роялем; Ричард стоял рядом, склонившись над нею. Тени их на стене сливались, окруженные другими причудливыми тенями, которые хоть и были отброшены неподвижными предметами, но, движимые трепещущим пламенем, слегка шевелились. Ада так мягко касалась клавиш и пела так тихо, что музыка не заглушала ветра, посылавшего свои вздохи к далеким холмам. Тайна будущего и ее раскрытие, предвещаемое голосом настоящего,— вот что, казалось, выражала вся эта картина.

Но я не потому упоминаю об этой сцене, что хочу рассказать про какое-то свое фантастическое предчувствие, хоть оно и запечатлелось у меня в памяти, а вот почему. Во-первых, я не могла не заметить, что поток слов, только что сказанных мистером Скимполом, был внушен отнюдь не теми мыслями и чувствами, которые отражались в безмолвном взгляде мистера Джарндиса. Во-вторых, хотя взгляд его, оторвавшись от молодых людей, лишь мимолетно остановился на мне, я почувствовала, что в этот миг мистер Джарндис признается мне,— признается умышленно и видит, что я понимаю его признание,— в своих надеждах на то, что между Адой и Ричардом когда-нибудь установится связь еще более близкая, чем родственные отношения.

Мистер Скимпол играл на рояле и на виолончели, он даже был композитором (однажды начал писать оперу, но, наскучив ею, бросил ее на половине) и со вкусом исполнял собственные сочинения. После чая у нас состоялся маленький концерт, на котором слушателями были мистер Джарндис, я и Ричард,— очарованный пением Ады, он сказал мне, что она, должно быть, знает все песни на свете. Немного погодя я заметила, что сначала мистер Скимпол, а потом и Ричард куда-то исчезли, и пока я раздумывала о том, как может Ричард не возвращаться так долго, зная, что он столько теряет, горничная, передавшая мне ключи, заглянула в дверь и проговорила:

— Нельзя ли попросить вас сюда на минуту, мисс?

Я вышла с нею в переднюю, и тут горничная, всплеснув руками, воскликнула:

— Позвольте вам доложить, мисс, мистер Карстон просит вас подняться в комнату мистера Скимпола. Плохо его дело, мисс.

— Ему плохо? — переспросила я.

— Плохо, мисс. Как громом поразило,— ответила горничная.

Меня охватил страх, как бы внезапное недомогание мистера Скимпола не оказалось опасным, но я, конечно, попросила девушку успокоиться и никого не тревожить, сама же, быстро поднимаясь по лестнице вслед за нею, успела настолько овладеть собой, что стала обдумывать, какие средства лучше всего применить, если наш гость лишился чувств. Но вот горничная распахнула дверь, и я вошла в комнату, где, к своему несказанному изумлению, увидела, что мистер Скимпол не лежит на кровати и не распростерт на полу, но стоит спиной к камину, улыбаясь Ричарду, а Ричард в полном замешательстве смотрит на какого-то мужчину в белом пальто, который сидит на кушетке, то и дело приглаживая носовым платком свои редкие, прилизанные волосы, отчего они кажутся совсем уж редкими.

— Хорошо, что вы пришли, мисс Саммерсон,— торопливо начал Ричард,— вы можете дать нам совет. Наш друг, мистер Скимпол,— не пугайтесь! — арестован за неуплату долга *.

— Действительно, дорогая мисс Саммерсон,— проговорил мистер Скимпол со своей всегдашней милой откровенностью,— я сейчас очутился в таком положении, что нуждаюсь, как никогда, в вашем замечательном здравом смысле и в свойственных вам спокойной методичности и услужливости,— словом, в тех ваших качествах, которых не может не заметить каждый, кто имел счастье провести хоть четверть часа в вашем обществе.

Мужчина, сидевший на кушетке и, видимо, страдавший насморком, чихнул так громко, что я вздрогнула.

— А он велик, этот долг, из-за которого вы арестованы, сэр? — спросила я мистера Скимпола.

— Дорогая мисс Саммерсон,— ответил он, качая головой в шутливом недоумении,— право, не знаю. Несколько фунтов сколько-то шиллингов и полупенсов, не так ли?



— Двадцать четыре фунта шестнадцать шиллингов и семь с половиной пенсов,— ответил незнакомец.— Вот сколько.

— И это, кажется... это, кажется, небольшая сумма? — сказал мистер Скимпол.

Незнакомец вместо ответа чихнул опять, и с такой силой, что чуть не свалился на пол.

— Мистеру Скимполу неудобно обратиться к кузену Джарндису,— объяснил мне Ричард,— потому что он на днях... насколько я понял, сэр, кажется, вы на днях...

— Вот именно! — подтвердил мистер Скимпол с улыбкой.— Но я забыл, много ли это было и когда это было. Джарндис охотно сделает это опять, но мне чисто по-эпикурейски хочется чего-то новенького и в одолжениях... хочется,— он взглянул на Ричарда и меня,— вырастить щедрость на новой почве, в форме цветка нового вида.

— Как же быть, по-вашему, мисс Саммерсон? — тихонько спросил меня Ричард.

Прежде чем ответить, я осмелилась задать вопрос всем присутствующим: чем грозит неуплата долга?

— Тюрьмой,— буркнул незнакомец и с самым спокойным видом положил носовой платок в цилиндр, стоявший на полу у кушетки.— Или отсидкой у Ковинса.

— А можно спросить, сэр, кто такой...

— Ковинс? — подсказал незнакомец.— Судебный исполнитель.

Мы с Ричардом снова переглянулись. Как ни странно, арест беспокоил нас, но отнюдь не самого мистера Скимпола. Он наблюдал за нами с добродушным интересом, в котором,— да простится мне это противоречие,— видимо, не было ничего эгоистического. Он, как говорится, «умыл руки» — забыл о своих неприятностях, когда передоверил их нам.

— Вот о чем я думаю,— начал он, словно желая от чистого сердца помочь нам,— не может ли мистер Ричард, или его прелестная кузина, или оба они, в качестве участников той канцлерской тяжбы, в которой, как говорят, спор идет об огромном состоянии, не могут ли они подписать что-нибудь там такое, или взять на себя, или дать что-нибудь вроде поручительства, или залога, или обязательства? Не знаю уж, как это называется

по-деловому, но, очевидно, есть же средство уладить дело?

— Никакого нет,— изрек незнакомец.

— В самом деле? — подхватил мистер Скимпол. — Это кажется странным тому, кто не судья в подобных делах!

— Странно или не странно, но говорю вам — никакого! — сердито пробурчал незнакомец.

— Полегче, приятель, полегче! — кротко увещевал незнакомца мистер Скимпол, делая с него набросок на форзаце какой-то книги.— Не раздражайтесь тем, что у вас такая служба. Мы можем относиться к вам, позабыв о ваших занятиях, можем оценить человека вне зависимости от того, где он служит. Не так уж мы закоснели в предрассудках, чтобы не допустить мысли, что в частной жизни вы — весьма уважаемая личность, глубоко поэтическая натура, о чем вы, возможно, и сами не подозреваете.

В ответ незнакомец снова только чихнул — и чихнул оглушительно, но что именно он хотел этим выразить — то ли, что принял как должное дань, отданную его поэтичности, то ли — что отверг ее с презрением — этого я не могу сказать.

— Итак, дорогая мисс Саммерсон и дорогой мистер Ричард,— весело, невинно и доверчиво начал мистер Скимпол, склонив голову набок и разглядывая свой рисунок,— вы видите, я совершенно неспособен выпутаться самостоятельно и всецело нахожусь в ваших руках! Я хочу только одного — свободы. Бабочки свободны. Неужели у человечества хватит духу отказать Гарольду Скимполу в том, что оно предоставляет бабочкам!

— Слушайте, мисс Саммерсон,— шепотом сказал мне Ричард,— у меня есть десять фунтов, полученных от мистера Кенджа. Я могу их отдать.

У меня было пятнадцать фунтов и несколько шиллингов, отложенных из карманных денег, которые я все эти годы получала каждые три месяца. Я всегда полагала, что может произойти какая-нибудь несчастная случайность, и я окажусь брошенной на произвол судьбы, без родных и без средств, и всегда старалась откладывать немного денег, чтобы не остаться без гроша. Сказав

Ричарду, что у меня есть маленькие сбережения, которые мне пока не нужны, я попросила его объяснить в деликатной форме мистеру Скимполу, пока я схожу за деньгами, что мы с удовольствием уплатим его долг.

Когда я вернулась, мистер Скимпол, растроганный и обрадованный, поцеловал мне руку. Рад он был не за себя (я снова заметила эту непонятную и удивительную несообразность), а за нас; как будто собственные интересы для него не существовали и трогало его только созерцание того счастья, которое мы испытали, уплатив его долг. Ричард попросил меня уладить дело с «Ковинсовым» (так мистер Скимпол шутя называл теперь агента Ковинса), сказав, что я сумею проделать эту операцию тактично, а я отсчитала ему деньги и взяла с него расписку. И это тоже привело в восторг мистера Скимпола.

Он так деликатно расточал мне комплименты, что я даже не очень краснела и расплатилась с человеком в белом пальто, ни разу не сбившись со счета. Тот положил деньги в карман и отрывисто буркнул:

— Теперь пожелаю вам всего наилучшего, мисс.

— Друг мой,— обратился к нему мистер Скимпол, став спиной к камину и отложив недоконченный набросок,— мне хотелось бы расспросить вас кое о чем, но только не обижайтесь.

— Валяйте! — так, помнится, ответил тот.

— Знали ли вы сегодня утром, что вам предстоит выполнить это поручение? — спросил мистер Скимпол.

— Знал уже вчера перед вечерним чаем,— ответил «Ковинсов».

— И это не испортило вам аппетита? Ничуть не взволновало вас?

— Ни капельки,— ответил «Ковинсов».— Не застал бы вас нынче, так застал бы завтра. Лишний день — пустяки.

— Но когда вы сюда ехали,— продолжал мистер Скимпол,— была прекрасная погода. Светило солнце, дул ветерок, пели пташки, свет и тени мелькали по полям.

— А разве кто-нибудь говорил, что нет? — заметил «Ковинсов».

— Никто не говорил,— подтвердил мистер Скимпол.— Но о чем вы думали в пути?

— Что значит «думали»? — рявкнул «Ковинсов» с чрезвычайно оскорбленным видом.— «Думали»! У меня и без думанья работы хватает, а вот заработка не хватает. «Думали»!

Последнее слово он произнес с глубоким презрением.

— Следовательно,— продолжал мистер Скимпол,— вы, во всяком случае, не думали о таких, например, вещах: «Гарольд Скимпол любит смотреть, как светит солнце; любит слушать, как шумит ветер; любит следить за изменчивой светотенью; любит слушать пташек, этих певчих в величественном храме Природы. И сдается мне, что я собираюсь лишить Гарольда Скимпола его доли того единственного блага, которое по праву принадлежит ему в силу рождения!» Неужели вы совсем об этом не думали?

— Будьте... уверены... что... *нет!* — проговорил «Ковинсов», который, видимо, отрицал малейшую возможность возникновения у него подобных мыслей и — столь упорно, что не мог достаточно ярко выразить это иначе как длинными паузами между словами, а под конец дернулся так, что чуть не вывихнул себе шею.

— Я вижу, у вас, деловых людей, мыслительный процесс протекает очень странным, очень любопытным образом! — задумчиво проговорил мистер Скимпол.— Благодарю вас, друг мой. Прощайте.

Мы отсутствовали довольно долго, и это могло вызвать удивление тех, кто остался внизу, поэтому я немедленно вернулась в гостиную и застала Аду у камина, занятую рукоделием и беседой с кузеном Джоном. Вскоре пришел мистер Скимпол, а вслед за ним и Ричард. Весь остаток вечера мысли мои были заняты первым уроком игры в трик-трак *, преподанным мне мистером Джарндисом, который очень любил эту игру, и я старалась поскорее научиться играть, чтобы впоследствии приносить хоть крупицу пользы, заменяя ему в случае нужды более достойного партнера. Но все-таки я не раз думала,— в то время как мистер Скимпол играл нам на рояле или виолончели отрывки из своих сочинений или, присев к нашему столу и без всяких усилий сохраняя прекраснейшее расположение духа, непринужденно болтал,— не раз

думала, что, как ни странно, но не у мистера Скимпола, а только у меня и Ричарда остался какой-то осадок от послеобеденного происшествия,— ведь нам все казалось, будто это нас собирались арестовать.

Мы разошлись очень поздно,— Ада хотела было уйти в одиннадцать часов, но мистер Скимпол подошел к роялю и весело забарабанил: «Для продления дней надо красть у ночей хоть по два-три часа, дорогая!» * Только после двенадцати вынес он из комнаты и свою свечу и свою сияющую физиономию, и я даже думаю, что он задержал бы всех нас до зари, если бы только захотел. Ада и Ричард еще стояли у камина, решая вопрос, успела ли миссис Джеллиби закончить свою сегодняшнюю порцию диктовки, как вдруг вернулся мистер Джарндис, который незадолго перед тем вышел из комнаты.

— О господи, да что же это такое, что это такое! — говорил он, шагая по комнате и ероша волосы в добродушной досаде.— Что я слышу? Рик, мальчик мой, Эстер, дорогая, что вы натворили? Зачем вы это сделали? Как вы могли это сделать? Сколько пришлось на каждого?.. Ветер опять переменился. Насквозь продувает!

Мы не знали, что на это ответить.

— Ну же, Рик, ну! Я должен уладить это перед сном. Сколько вы дали? Я знаю, это вы двое уплатили деньги! Зачем? Как вы могли?.. О господи, настоящий восточный... не иначе!

— Я, право же, не смогу ничего сказать вам, сэр,— начал Ричард,— это было бы неблагородно. Ведь мистер Скимпол положился на нас...

— Господь с вами, милый мальчик! На кого только он не полагается! — перебил его мистер Джарндис, яростно взъерошив волосы, и остановился как вкопанный.

— В самом деле, сэр?

— На всех и каждого! А через неделю он опять попадет в беду,— сказал мистер Джарндис, снова шагая по комнате быстрыми шагами с погасшей свечой в руке.— Он вечно попадает все в ту же самую беду. Так уж ему на роду было написано. Не сомневаюсь, что, когда его матушка разрешилась от бремени, объявление в газетах гласило: «Во вторник на прошлой неделе у себя, в Доме Бед, мис-

сис Скимпол произвела на свет сына в стесненных обстоятельствах».

Ричард расхохотался от всей души, но все же заметил:

— Тем не менее, сэр, я не считаю возможным поколебать и нарушить его доверие и потому снова осмелюсь сказать, что обязан сохранить его тайну; но я предоставляю вам, как более опытному человеку, решить этот вопрос, а вы, надеюсь, подумаете, прежде чем настаивать. Конечно, если вы будете настаивать, сэр, я признаю, что был неправ, и скажу вам все.

— Пусть так! — воскликнул мистер Джарндис, снова остановившись и в рассеянности пытаясь засунуть подсвечник к себе в карман.— Я... ох, чтоб тебя! Уберите его, дорогая! Сам не понимаю, на что он мне нужен, этот подсвечник... а все из-за ветра — всегда так действует... Я не буду настаивать, Рик,— может, вы и правы. Но все же так вцепиться в вас и Эстер и выжать обоих, как пару нежных осенних апельсинов!.. Ночью разразится буря!

Он то засовывал руки в карманы, словно решив оставить их там надолго, то хватался за голову и ожесточенно ерошил волосы.

Я осмелилась намекнуть, что в такого рода делах мистер Скимпол сущее дитя...

— Как, дорогая моя? — подхватил мистер Джарндис последнее слово.

— Сущее дитя, сэр,— повторила я,— и он так отличается от других людей...

— Вы правы! — перебил меня мистер Джарндис, просияв.— Вы своим женским умом попали прямо в точку. Он — дитя, совершенное дитя. Помните, я сам сказал вам, что он младенец, когда впервые заговорил о нем.

— Помним! Помним! — подтвердили мы.

— Вот именно — дитя. Не правда ли? — твердил мистер Джарндис, и лицо его прояснялось все больше и больше.

— Конечно, правда,— отозвались мы.

— И подумать только, ведь это был верх глупости с вашей стороны... то есть с моей,— продолжал мистер Джарндис,— хоть одну минуту считать его взрослым. Да

разве можно заставить *его* отвечать за свои поступки? Гарольд Скимпол и... какие-то замыслы, расчеты и понимание их последствий... надо же было вообразить такое! Ха-ха-ха!

Так приятно было видеть, как рассеялись тучи, омрачавшие его светлое лицо, видеть, как глубоко он радуется, и понимать,— а не понять было нельзя,— что источник этой радости доброе сердце, которому очень больно осуждать, подозревать или втайне обвинять кого бы то ни было; и так хорошо все это было, что слезы выступили на глазах у Ады, смеявшейся вместе с ним, и я сама тоже прослезилась.

— Ну и голова у меня на плечах — прямо рыбья голова,— если мне нужно напоминать об этом! — продолжал мистер Джарндис.— Да вся эта история с начала и до конца показывает, что он ребенок. Только ребенок мог выбрать *вас* двоих и впутать в это дело! Только ребенок мог предположить, что у *вас* есть деньги! Задолжай он целую тысячу фунтов, произошло бы то же самое! — говорил мистер Джарндис, и лицо его пылало.

Мы все согласились с ним, наученные своим давешним опытом.

— Ну! конечно, конечно! — говорил мистер Джарндис.— И все-таки, Рик, Эстер, и вы тоже, Ада,— ведь я не знаю, чего доброго вашему маленькому кошельку тоже угрожает неопытность мистера Скимпола,— вы все должны обещать мне, что ничего такого больше не повторится! Никаких ссуд! Ни гроша!

Все мы торжественно обещали это, причем Ричард лукаво покосился на меня и хлопнул себя по карману, как бы напоминая, что кому-кому, а *нам* с ним теперь уж не грозит опасность нарушить свое слово.

— Что касается Скимпола,— сказал мистер Джарндис,— то поселите его в удобном кукольном домике, кормите его повкуснее да подарите ему несколько оловянных человечков, чтобы он мог брать у них деньги взаймы и залезать в долги, и этот ребенок будет вполне доволен своей жизнью. Сейчас он, наверное, уже спит сном младенца, так не пора ли и мне склонить свою более трезвую голову на свою более жесткую подушку. Спокойной ночи, дорогие, господь с вами!

Но не успели мы зажечь свои свечи, как он снова заглянул в комнату и сказал с улыбкой:

— Да! я ходил взглянуть на флюгер. Тревога-то оказалась ложной... насчет ветра. Дует с юга!

И он ушел, тихонько напевая что-то.

Поднявшись к себе, мы с Адой немножко поболтали, и обе сошлись на том, что все эти причуды с ветром — просто выдумка, которой мистер Джарндис прикрывается, когда не может скрыть своей горечи, но не хочет порицать того, в ком разочаровался, и вообще осуждать или обвинять кого-нибудь. Мы решили, что это очень показательно для его необычайного душевного благородства и что он совсем непохож на тех раздражительных ворчунов, которые обрушиваются на непогоду и ветер (особенно — злополучный ветер, избранный мистером Джарндисом для другой цели) и валят на них вину за свою желчность и хандру.

Нечего и говорить, что я всегда была благодарна мистеру Джарндису, но за один этот вечер я так его полюбила, что как будто уже начала его понимать; и помогли мне в этом благодарность и любовь, слившиеся в одно чувство. Пожалуй, трудно было ожидать, что я смогу примирить кажущиеся противоречия в характерах мистера Скимпола или миссис Джеллиби,— так мал был мой опыт, так плохо я знала жизнь. Впрочем, я и не пыталась их примирить, потому что, оставшись одна, принялась размышлять об Аде и Ричарде и о том касавшемся их признании, которое, казалось, сделал мне мистер Джарндис. К тому же, моя фантазия немного взбудораженная, должно быть, ветром, не могла не обратиться на меня, хоть и против моей воли. Она устремилась назад, к дому моей крестной, потом обратно и пролетела по всему моему жизненному пути, воскрешая неясные думы, трепетавшие некогда в глубине моего существа,— думы о том, известна ли мистеру Джарндису тайна моего рождения, и даже — уж не он ли мой отец... впрочем, *эта* праздная мечта теперь совсем исчезла.

Да, все это исчезло, напомнила я себе, отойдя от камина. Не мне копаться в прошлом; я должна действовать, сохраняя бодрость духа и признательность в сердце. Поэтому я сказала себе:

— Эстер, Эстер, Эстер! Помни о своем долге, дорогая! — и так тряхнула корзиночкой с ключами, что они зазвенели, как колокольчики, окрыляя меня надеждой, и под их ободряющий звон я спокойно легла спать.

ГЛАВА VII
Дорожка призрака

Спит ли Эстер, проснулась ли, а в линкольнширской усадьбе все та же ненастная погода. День и ночь дождь беспрерывно моросит — кап-кап-кап — на каменные плиты широкой дорожки, которая пролегает по террасе и называется «Дорожкой призрака». Погода в Линкольншире так плоха, что, даже обладая очень живым воображением, невозможно представить себе, чтобы она когда-нибудь снова стала хорошей. Да и кому тут обладать избытком живого воображения, если сэр Лестер сейчас не живет в своем поместье (хотя, сказать правду, живи он здесь, воображения бы не прибавилось), но вместе с миледи пребывает в Париже, и темнокрылое одиночество нависло над Чесни-Уолдом.

Впрочем, кое-какие проблески фантазии, быть может, и свойственны в Чесни-Уолде представителям низшего животного мира. Быть может, кони в конюшне — длинной конюшне, расположенной в пустом, окруженном красной кирпичной оградой дворе, где на башенке висит большой колокол и находятся часы с огромным циферблатом, на который, словно справляясь о времени, то и дело посматривают голуби, что гнездятся поблизости и привыкли садиться на его стрелки,— быть может, кони иногда и рисуют себе мысленно картины погожих дней, и, может статься, они более искусные художники, чем их конюхи. Старик чалый, который столь прославился своим уменьем скакать без дорог — прямо по полям,— теперь косится большим глазом на забранное решеткой окно близ кормушки и, быть может, вспоминает, как в иную пору там, за стеной конюшни, поблескивала молодая зелень, а внутрь потоком лились сладостные запахи;

быть может, даже воображает, что снова мчится вдаль с охотничьими собаками, в то время как конюх, который сейчас чистит соседнее стойло, ни о чем не думает — разве только о своих вилах и березовой метле. Серый, который стоит прямо против входа, нетерпеливо побрякивая недоуздком, и настораживает уши, уныло поворачивая голову к двери, когда она открывается и вошедший говорит: «Ну, Серый, стой смирно! Никому ты сегодня не нужен!» Серый, быть может, не хуже человека знает, что он сейчас действительно не нужен никому. Шестерка лошадей, которая помещается в одном стойле, на первый взгляд кажется угрюмой и необщительной, но, быть может, она только и ждет, чтобы закрылись двери, а когда они закроются, будет проводить долгие дождливые часы в беседе, более оживленной, чем разговоры в людской или в харчевне «Герб Дедлоков»; * быть может, даже будет коротать время, воспитывая (а то и развращая) пони, что стоит за решетчатой загородкой в углу.

Так и дворовый пес, который дремлет в своей конуре, положив огромную голову на лапы, быть может, вспоминает о жарких, солнечных днях, когда тени конюшенных строений, то и дело меняясь, выводят его из терпения, пока, наконец, не загонят в узкую тень его собственной конуры, где он сидит на задних лапах и, тяжело дыша, отрывисто ворчит, стремясь грызть не только свои лапы и цепь, но и еще что-нибудь. А может быть, просыпаясь и мигая со сна, он настолько отчетливо вспоминает дом, полный гостей, каретный сарай, полный экипажей, конюшню, полную лошадей, службы, полные кучеров и конюхов, что начинает сомневаться,— постой, уж нет ли всего этого на самом деле? и вылезает, чтобы проверить себя. Затем, нетерпеливо отряхнувшись, он, быть может, ворчит себе под нос: «Все дождь, и дождь, и дождь! Вечно дождь... а хозяев нет!» — снова залезает в конуру и укладывается, позевывая от неизбывной скуки.

Так и собаки на псарне, за парком,— те тоже иногда беспокоятся, и если ветер дует очень уж упорно, их жалобный вой слышен даже в доме — и наверху, и внизу, и в покоях миледи. Собаки эти в своем воображении, быть может, бегают по всей округе, хотя на самом деле

они лежат неподвижно и только слушают стук дождевых капель. Так и кролики с предательскими хвостиками, снующие из норы в нору между корнями деревьев, быть может, оживляются воспоминаниями о тех днях, когда теплый ветер трепал им уши, или о той чудесной поре года, когда можно жевать сладкие молодые побеги. Индейка на птичнике, вечно расстроенная какой-то своей наследственной обидой (должно быть, тем, что индеек режут к рождеству), вероятно, вспоминает о том летнем утре, когда она вышла на тропинку между срубленными деревьями, а там оказался амбар с ячменем, и думает — как это несправедливо, что то утро прошло. Недовольный гусь, который вперевалку проходит под старыми воротами, нагнув шею, хотя они высотой с дом, быть может, гогочет — только мы его не понимаем,— что отдает свое неустойчивое предпочтение такой погоде, когда эти ворота отбрасывают тень на землю.

Но как бы там ни было, фантазия не очень-то разыгрывается в Чесни-Уолде. Если случайно и прозвучит ее слабый голос, он потом долго отдается тихим эхом в гулком старом доме и обычно порождает сказки о привидениях и таинственные истории.

Дождь в Линкольншире лил так упорно, лил так долго, что миссис Раунсуэлл — старая домоправительница в Чесни-Уолде — уже не раз снимала очки и протирала их, желая убедиться, что она не обманывается и дождевые капли действительно текут не по их стеклам, а по оконным. Миссис Раунсуэлл могла бы не сомневаться в этом, если бы слышала, как громко шумит дождь; но она глуховата, в чем никто не может ее убедить. Почтенная старушка, красивая, представительная, безукоризненно опрятная, она держится та́к прямо и носит корсаж с таким прямым и длинным мысом спереди, что никто из ее знакомых не удивился бы, если бы после ее смерти оказалось, что корсетом ей служила широкая старомодная каминная решетка. Миссис Раунсуэлл почти не обращает внимания на погоду. Ведь дом, которым она «правит», стоит на месте во всякую погоду, а, по ее же собственным словам, «на что ей и смотреть, как не на дом?» Она сидит у себя в комнате (а комнатой ей служит боковой коридорчик в нижнем этаже с полукруглым окном и

видом на гладкую четырехугольную площадку, украшенную гладко подстриженными деревьями с шарообразными кронами и гладко обтесанными каменными шарами, которые стоят на одинаковых расстояниях друг от друга, так что можно подумать, будто деревья затеяли игру в шары) — она сидит у себя, но ни на минуту не забывает обо всем доме. Она может открыть его, если нужно, и может тогда возиться и хлопотать в нем; но сейчас он заперт и величаво покоится во сне на широкой, окованной железом груди миссис Раунсуэлл.

Очень трудно представить себе Чесни-Уолд без миссис Раунсуэлл, хотя живет она в нем только пятьдесят лет. Спросите ее в этот дождливый день, как долго она здесь живет, и она ответит: «Будет пятьдесят лет и три с половиной месяца, если, бог даст, доживу до вторника». Мистер Раунсуэлл умер незадолго до того, как вышли из моды очаровательные парики с косами *, и смиренно схоронил свою косичку (если только взял ее с собой) в углу кладбища, расположенного в парке, возле заплесневелой церковной паперти. Он родился в соседнем городке, и там же родилась его жена; а овдовела она в молодых летах. Карьера ее в доме Дедлоков началась со службы в кладовой еще при покойном отце сэра Лестера.

Ныне здравствующий баронет, старший в роде Дедлоков,— безупречный хозяин. Он считает, что вся его челядь совершенно лишена индивидуальных характеров, стремлений, взглядов, и убежден, что они ей и не нужны, так как сам он создан для того, чтобы возместить ей все это своей собственной персоной. Случись ему узнать, что дело обстоит как раз наоборот, он был бы просто ошеломлен и, вероятно, никогда бы не пришел в себя — разве только затем, чтобы глотнуть воздуху и умереть. Но тем не менее он ведет себя как безупречный хозяин, полагая, что к этому его обязывает высокое положение в обществе. Он очень ценит миссис Раунсуэлл. Говорит, что она достойна всяческого уважения и доверия. Неизменно пожимает ей руку и по приезде в Чесни-Уолд и перед отъездом, и если б ему случилось занемочь тяжкой болезнью, или свалиться с лошади, или попасть под колеса, или вообще очутиться в положении, не подобающем Дедлоку, он сказал бы, будь он в силах говорить: «Уйдите прочь

и позовите миссис Раунсуэлл!» — ибо он знает, что в критических случаях никто не сумеет так поддержать его достоинство, как она.

Миссис Раунсуэлл хлебнула горя на своем веку. У нее было два сына, и младший, как говорится, сбился с пути — завербовался в солдаты, да так и пропал без вести. До нынешнего дня руки миссис Раунсуэлл, обычно спокойно сложенные на мыске корсажа, поднимаются и судорожно трепещут, когда она рассказывает, какой он был славный мальчик, какой красивый мальчик, какой веселый, добрый и умный мальчик! Ее старший сын мог бы хорошо устроить свою жизнь в Чесни-Уолде и со временем получить здесь место управляющего, но он еще в школьные годы увлекался изготовлением паровых машин из кастрюль и обучал певчих птиц накачивать для себя воду с минимальной затратой сил, причем изобрел им в помощь такое хитроумное приспособление типа насоса, что жаждущей канарейке оставалось только «приналечь плечом на колесо» — в буквальном смысле слова,— и вода текла. Подобные наклонности причиняли большое беспокойство миссис Раунсуэлл. Обуреваемая материнской тревогой, она опасалась, как бы сын ее не пошел «по дорожке Уота Тайлера», ибо отлично знала, что сэр Лестер пророчит эту «дорожку» всем тем, кто одарен способностями к ремеслам, неразрывно связанным с дымом и высокими трубами. Но обреченный молодой мятежник (в общем — кроткий, хотя и очень упорный юноша), подрастая, не только не проявлял раскаяния, но в довершение всего соорудил модель механического ткацкого станка, и тогда матушке его волей-неволей пришлось пойти к баронету и, заливаясь слезами, доложить ему об отступничестве сына.

— Миссис Раунсуэлл, как вам известно, я никогда ни с кем не спорю ни на какие темы,— изрек тогда сэр Лестер.— Вам надо сбыть с рук своего сына; вам надо устроить его на какой-нибудь завод. Железные месторождения где-то там на севере, по-моему, самое подходящее место для подростка с подобными наклонностями.

И вот на север подросток отбыл, на севере вырос, и если сэр Лестер замечал его, когда тот приезжал в Чесни-Уолд навестить свою мать, или вспоминал о нем

впоследствии, то, несомненно, видел в нем одного из тех нескольких тысяч темнолицых и угрюмых заговорщиков, которые привыкли шататься при свете факелов * две-три ночи в неделю и всегда — с противозаконными намерениями.

Тем не менее сын миссис Раунсуэлл рос и развивался и по законам природы и под воздействием воспитания; он устроил свою жизнь, женился и произвел на свет внука миссис Раунсуэлл, а тот, кончив ученье и вернувшись на родину из путешествия по дальним странам, куда его посылали, чтобы он пополнил свои знания и завершил подготовку к жизненному пути,— тот стоит теперь, в этот самый день, прислонившись к камину, в комнате миссис Раунсуэлл в Чесни-Уолде.

— Еще и еще раз скажу — я рада видеть тебя, Уот! И опять скажу, Уот, что рада тебя видеть! — говорит миссис Раунсуэлл.— Ты очень хороший мальчик. Ты похож на своего бедного дядю Джорджа. Ах! — и при этом воспоминании руки миссис Раунсуэлл, как всегда, начинают дрожать.

— Говорят, бабушка, я похож на отца.

— На него тоже, милый мой, но ты больше похож на бедного дядю Джорджа! А как твой дорогой отец? — Миссис Раунсуэлл снова складывает руки.— Он здоров?

— Живет хорошо, бабушка,— лучше некуда.

— Слава богу!

Миссис Раунсуэлл любит старшего сына, но осуждает его примерно так же, как осудила бы очень храброго солдата, перешедшего на сторону врага.

— Он вполне доволен своей жизнью? — спрашивает она.

— Вполне.

— Слава богу! — Значит, он обучил тебя своему ремеслу и послал за границу, и все такое? Ну что ж, ему лучше знать. Может, вокруг Чесни-Уолда творится много такого, чего я не понимаю. А ведь я уж не молода. И кто-кто, а я повидала немало людей из высшего общества!

— Бабушка,— говорит юноша, меняя разговор,— а кто эта хорошенькая девушка, которую я застал здесь у вас? Кажется, ее зовут Розой?

— Да, милый. Она дочь одной вдовы из нашей деревни. В теперешние времена так трудно обучать прислугу, что я взяла ее к себе с малых лет. Девушка толковая, и прок из нее будет. Уже неплохо научилась показывать дом посетителям. Она живет и столуется здесь, у меня.

— Может, она меня стесняется и потому ушла из комнаты?

— Должно быть, подумала, что нам надо поговорить о своих семейных делах. Она очень скромная. Что ж, это хорошее качество для молодой девушки. И редкое,— добавляет миссис Раунсуэлл, а мыс на ее корсаже выпячивается донельзя,— в прежние времена скромных девушек было больше.

Юноша наклоняет голову в знак уважения к взглядам столь опытной женщины. Миссис Раунсуэлл прислушивается.

— Кто-то приехал! — говорит она. Более острый слух ее молодого собеседника давно уже уловил стук колес.— Кому это взбрело в голову явиться в такую погоду, хотела бы я знать?

Немного погодя слышен стук в дверь.

— Войдите!

Входит темноглазая, темноволосая, застенчивая деревенская красавица, такая свежая, с таким румяным и нежным личиком, что дождевые капли, осыпавшие ее волосы, напоминают росу на только что сорванном цветке.

— Кто это приехал, Роза? — спрашивает миссис Раунсуэлл.

— Два молодых человека в двуколке, сударыня, и они хотят осмотреть дом... Ну да, так я им и сказала, позвольте вам доложить! — спешит она добавить в ответ на отрицательный жест домоправительницы.— Я вышла на крыльцо и сказала, что они приехали не в тот день и час, когда разрешается осматривать дом, но молодой человек, который был за кучера, снял шляпу, несмотря на дождь, и упросил меня передать вам эту карточку.

— Прочти, что там написано, милый Уот,— говорит домоправительница.

Роза так смущается, подавая карточку юноше, что молодые люди роняют ее и чуть не сталкиваются лбами, поднимая ее с полу. Роза смущается еще больше.

«Мистер Гаппи» — вот все, что написано на карточке.

— Гаппи! — повторяет миссис Раунсуэлл.— Мистер Гаппи! Что за чепуха; да я о нем и не слыхивала!

— С вашего позволения, он так мне и сказал! — объясняет Роза.— Но он говорит, что он и другой молодой джентльмен приехали на почтовых из Лондона вчера вечером по своим делам — на заседание судей; а оно было нынче утром где-то за десять миль отсюда, но они быстро покончили с делами и не знали, что с собою делать, да к тому же много чего наслушались про Чесни-Уолд, вот и приехали сюда в такую погоду осматривать дом. Они юристы. Он говорит, что хоть и не служит в конторе мистера Талкингхорна, но может, если потребуется, сослаться на него, потому что мистер Талкингхорн его знает.

Умолкнув, Роза спохватилась, что произнесла довольно длинную речь, и смущается еще больше.

Надо сказать, что мистер Талкингхорн — в некотором роде неотъемлемая принадлежность этого поместья; кроме того, он, как говорят, составлял завещание миссис Раунсуэлл. Старуха смягчается, разрешает, в виде особой милости, принять посетителей и отпускает Розу. Однако внук, внезапно возжаждав осмотреть дом, просит позволения присоединиться к посетителям. Бабушка, обрадованная его интересом к Чесни-Уолду, сопровождает его... хотя, надо отдать ему должное, он настоятельно просит ее не беспокоиться.

— Очень вам признателен, сударыня! — говорит в вестибюле мистер Гаппи, стаскивая с себя промокший суконный дождевик.— Мы, лондонские юристы, изволите видеть, не часто выезжаем за город, а уж если выедем, так стараемся извлечь из поездки все что можно.

Старая домоправительница с чопорным изяществом показывает рукой на огромную лестницу. Мистер Гаппи и его спутник следуют за Розой, миссис Раунсуэлл и ее внук следуют за ними; молодой садовник шествует впереди и открывает ставни.

Как всегда бывает с людьми, которые осматривают дома, не успели мистер Гаппи и его спутник начать осмотр, как уже выбились из сил. Они задерживаются не там, где следует, разглядывают не то, что следует, не интересуются тем, чем следует, зевают во весь рот, когда открываются новые комнаты, впадают в глубокое уныние и явно изнемогают. Перейдя из одной комнаты в другую, миссис Раунсуэлл, прямая, как и сам этот дом, всякий раз присаживается в сторонке — в оконной нише или где-нибудь в уголке — и с величавым одобрением слушает объяснения Розы. А внук ее, тот слушает так внимательно, что Роза смущается все больше... и все больше хорошеет. Так они переходят из комнаты в комнату, то ненадолго воскрешая портреты Дедлоков,— когда молодой садовник впускает в дом дневной свет, то погружая их в могильную тьму,— когда садовник вновь преграждает ему путь. Удрученный мистер Гаппи и его безутешный спутник конца не видят этим Дедлокам, чья знатность, по-видимому, зиждется лишь на том, что они и за семьсот лет ровно ничем не сумели отличиться.

Продолговатая гостиная Чесни-Уолда и та не может оживить мистера Гаппи. Он так изнемог, что обмяк на ее пороге и насилу собрался с духом, чтобы войти. Но вдруг портрет над камином, написанный модным современным художником, поражает его, как чудо. Мистер Гаппи мгновенно приходит в себя. Он во все глаза смотрит на портрет с живейшим интересом; он как будто прикован к месту, заворожен.

— Ну и ну! — восклицает мистер Гаппи.— Кто это?

— Портрет над камином,— объясняет Роза,— написан с ныне здравствующей леди Дедлок. По общему мнению, художник добился разительного сходства, и все считают, что это его лучшее произведение.

— Черт меня побери, если я ее когда-нибудь видел! — говорит мистер Гаппи, в замешательстве глядя на своего спутника.— Однако я ее узнаю. С этого портрета была сделана гравюра, мисс?

— Нет, его никто не гравировал. У сэра Лестера не раз просили разрешения сделать гравюру, но он неизменно отказывал

— Вот как! — негромко говорит мистер Гаппи.— Провалиться мне, если я не знаю ее портрета как свои пять пальцев, хоть это и очень странно! Так, значит, это леди Дедлок?

— Направо портрет ныне здравствующего сэра Лестера Дедлока. Налево портрет его отца, покойного сэра Лестера.

Мистер Гаппи не обращает никакого внимания на обоих этих вельмож.

— Понять не могу,— говорит он, не отрывая глаз от портрета,— почему я так хорошо его знаю! Будь я проклят,— добавляет мистер Гаппи, оглядываясь вокруг,— если этот портрет не привиделся мне во сне!

Никто из присутствующих не проявляет особого интереса к снам мистера Гаппи, так что возможность эту не обсуждают. Сам мистер Гаппи по-прежнему стоит как вкопанный перед портретом, так глубоко погрузившись в созерцание, что не двигается с места, пока молодой садовник не закрывает ставен; а тогда мистер Гаппи выходит из гостиной в состоянии оцепенения, которое служит хоть и своеобразной, но достаточной заменой интереса, и плетется по анфиладе комнат, растерянно выпучив глаза и словно повсюду ища леди Дедлок.

Но он больше нигде ее не видит. Он видит ее покои, куда всю компанию ведут напоследок, так как они очень красиво обставлены; он глядит в окна, как и миледи недавно глядела на дождь, смертельно ей надоевший. Но всему приходит конец,— даже осмотру домов, ради которых люди тратят столько сил, добиваясь разрешения их осмотреть, и в которых скучают, едва начав их осматривать. Мистер Гаппи, наконец, кончил осмотр, а свежая деревенская красавица — свои объяснения, которые она неизменно завершает следующими словами:

— Терраса там, внизу, вызывает всеобщее восхищение. В связи с одним древним семейным преданием, ее назвали «Дорожкой призрака».

— Вот как? — говорит мистер Гаппи с жадным любопытством.— А что это за предание, мисс? Может, оно имеет нечто общее с каким-нибудь портретом?

— Расскажите нам его, пожалуйста,— полушепотом просит Уот.

— Я его не знаю, сэр.

Роза совсем смутилась.

— Посетителям его не рассказывают; оно почти забыто,— говорит домоправительница, подойдя к ним.— Это просто семейная легенда, и только.

— Простите, сударыня, если я еще раз спрошу, не связано ли предание с каким-нибудь портретом,— настаивает мистер Гаппи,— потому что, верьте не верьте, но чем больше я думаю об этом портрете, тем лучше узнаю его, хоть и не знаю, откуда я его знаю!

Предание не связано ни с каким портретом,— домоправительнице это известно наверное. Мистер Гаппи признателен ей за это сообщение, да и вообще очень ей признателен. Он уходит вместе с приятелем, спускается по другой лестнице в сопровождении молодого садовника, и вскоре все слышат, как посетители уезжают.

Смеркается. Миссис Раунсуэлл не сомневается в скромности своих юных слушателей — кому-кому, а *им* она может рассказать, отчего здешней террасе дали такое жуткое название. Она усаживается в большое кресло у быстро темнеющего окна и начинает:

— В смутное время короля Карла Первого *, милые мои,— то бишь в смутное время бунтовщиков, которые устроили заговор против этого славного короля,— Чесни-Уолдом владел сэр Морбари Дедлок. Есть ли сведения, что и раньше в роду Дедлоков был какой-нибудь призрак, я сказать не могу. Но очень возможно, что был, я так думаю.

Миссис Раунсуэлл думает так потому, что, по ее глубокому убеждению, род, столь древний и знатный, имеет право на призрак. Она считает, что обладанье призраком — это одна из привилегий высшего общества, аристократическое отличие, на которое простые люди претендовать не могут.

— Нечего и говорить,— продолжает миссис Раунсуэлл,— что сэр Морбари Дедлок стоял за августейшего мученика. А его супруга, в жилах которой не текла кровь этого знатного рода, судя по всему, одобряла неправое дело. Говорят, будто у нее были родственники среди недругов короля Карла, будто она поддерживала связь с ними и доставляла им нужные сведения. И вот, когда местные дворяне, преданные его величеству, съезжались

сюда, леди Дедлок, как говорят, всякий раз стояла за дверью той комнаты, где они совещались, а те и не подозревали об этом... Слышишь, Уот, будто кто-то ходит по террасе?

Роза придвигается ближе к домоправительнице.

— Я слышу, как дождь стучит по каменным плитам,— отвечает юноша,— и еще слышу какие-то странные отголоски, вроде эхо... Должно быть, это и есть эхо... очень похоже на шаги хромого.

Домоправительница важно кивает головой и продолжает:

— Частью по причине этих разногласий, частью по другим причинам сэр Морбари не ладил с женой. Она была гордая леди. Они не подошли друг к другу ни по возрасту, ни по характеру, а детей у них не было — некому было мирить супругов. Когда же ее любимый брат, молодой джентльмен, погиб на гражданской войне (а убил его близкий родственник сэра Морбари), леди Дедлок так по нем горевала, что возненавидела всю мужнину родню. И вот, бывало, соберутся Дедлоки выступить из Чесни-Уолда, чтобы сражаться за короля, а она потихоньку спустится в конюшню поздней ночью, да и подрежет жилы на ногах их коням; а еще говорят, будто раз ее супруг заметил, как она крадется вниз по лестнице ночью, и пробрался за ней по пятам в денник, где стоял его любимый конь. Тут он схватил жену за руку, и то ли когда они боролись, то ли когда она упала, а может, это конь испугался и лягнул ее, но она повредила себе бедро и с тех пор стала сохнуть и тосковать.

Домоправительница понизила голос; теперь она говорила почти шепотом:

— Раньше она была хорошо сложена и осанка у нее была величавая. Однако теперь она не роптала на свое увечье; никому не говорила, что искалечена, что страдает, но день за днем все пыталась ходить по террасе, опираясь на палку и держась за каменную ограду, и все ходила, и ходила, и ходила взад и вперед, и по солнцепеку и в тени, и с каждым днем ходить ей было все труднее. Но вот как-то раз под вечер ее супруг (а она с той ночи не сказала ему ни единого слова) — ее супруг стоял у большого окна на южной стороне и увидел, как она

рухнула на каменные плиты. Он сбежал вниз, чтобы поднять ее, наклонился, а она оттолкнула его, глянула на него в упор холодными глазами и промолвила: «Я умру здесь — где ходила. И буду ходить тут и после смерти. Я буду ходить здесь, пока не сломится в унижении гордость вашего рода. А когда ему будет грозить беда или позор, да услышат Дедлоки мои шаги!»

Уот смотрит на Розу. В сгущающихся сумерках Роза опускает глаза, не то испуганная, не то смущенная.

— И в ту же минуту она скончалась. С тех-то пор,— продолжает миссис Раунсуэлл,— террасу и прозвали «Дорожкой призрака». Если шум шагов — просто эхо, так это такое эхо, которое слышно только в ночной темноте, и бывает, что его очень долго не слышно вовсе. Но время от времени оно слышится вновь, и это случается всякий раз, как Дедлокам грозит болезнь или смерть.

— Или позор, бабушка...— говорит Уот.

— Позор не может грозить Чесни-Уолду,— останавливает его домоправительница.

Внук просит извинения, бормоча: «Разумеется, разумеется!»

— Вот о чем говорит предание. Что это за звуки — неизвестно, но от них как-то тревожно на душе,— говорит миссис Раунсуэлл, вставая с кресла,— и, что особенно интересно, *их нельзя не слышать*. Миледи ничего не боится, но и она признает, что, когда они звучат, их нельзя не слышать. Их невозможно заглушить. Оглянись, Уот, сзади тебя стоят высокие французские часы (их нарочно поставили там), и когда их заведут, они тикают очень громко, а бой у них с музыкой. Ты умеешь обращаться с такими часами?

— Как не уметь, бабушка!

— Так заведи их.

Уот заводит часы и бой с музыкой тоже.

— Теперь подойди-ка сюда,— говорит домоправительница,— сюда, милый, поближе к изголовью миледи. Сейчас, пожалуй, еще недостаточно темно, но все-таки прислушайся! Слышишь шум шагов на террасе, несмотря на музыку и тиканье?

— Конечно, слышу!

— Вот и миледи говорит, что слышит.

ГЛАВА VIII

*Как покрывают множество грехов**

Как интересно мне было, встав до зари и принявшись за свой туалет, увидеть в окне, — в темных стеклах которого мои свечи отражались, словно огни двух маяков, — что мир там, за этими стеклами, еще окутан мглой уходящей ночи, а потом, с наступлением утра, наблюдать за его появлением на свет. По мере того как вид, открывавшийся из окна, постепенно становился все более отчетливым и передо мной вставали просторы, над которыми ветер блуждал во мраке, как в памяти моей блуждали мысли о моем прошлом, я с удовольствием обнаруживала незнакомые предметы, окружавшие меня во сне. Сначала их едва можно было различить в тумане, и утренние звезды еще мерцали над ними. Когда же бледный сумрак рассеялся, картина стала развертываться и заполняться так быстро и каждый мой взгляд открывал в ней так много нового, что я могла бы рассматривать ее целый час. Мало-помалу совсем рассвело, и свечи стали казаться мне чем-то лишним, ненужным, а все темные углы в моей комнате стали светлыми, и яркое солнце озарило приветливые поля и луга, над которыми древняя церковь аббатства с массивной колокольней возвышалась, отбрасывая на землю полосу тени, менее густой, чем этого можно было ожидать от такого мрачного с виду здания. Но грубоватая внешность бывает обманчива (кто-кто, а я это, к счастью, уже знала), и нередко за нею скрываются нежность и ласка.

В доме все было в таком порядке, а все его обитатели так внимательно относились ко мне, что обе мои связки ключей ничуть меня не тяготили, но это все-таки очень трудно — запоминать содержимое каждого ящика и шкафа во всех кладовых и чуланах, отмечать на грифельной доске количество банок с вареньем, маринадами и соленьями, бутылок, хрусталя, фарфора и множества всяких других вещей, особенно если ты молода и глупа и к тому же одержима методичностью старой девы; поэтому не успела я оглянуться, как услышала звон колокола — просто не верилось, что уже подошло время

завтракать. Однако я немедленно побежала готовить чай, ибо мне уже поручили распоряжаться чаепитием; но все в доме, должно быть, заспались,— внизу никого еще не было,— и я решила заглянуть в сад, чтобы познакомиться и с ним. Сад привел меня в полный восторг: к дому тянулась красивая широкая аллея, по которой мы приехали (и где, кстати сказать, до того разворошили колесами гравий, что я попросила садовника пригладить его катком), а позади дома был разбит цветник, и, перейдя туда, я увидела, что за окном появилась моя милая подружка и, распахнув его, так улыбнулась мне, как будто ей хотелось послать мне воздушный поцелуй. За цветником начинался огород, за ним была лужайка, дальше маленький укромный выгон со стогами сена и, наконец, прелестный дворик небольшой фермы. А дом, уютный, удобный, приветливый, с тремя шпилями на крыше, с окнами разной формы — где очень маленькими, а где очень большими, но всюду очень красивыми, со шпалерами для роз и жимолости на южном фасаде,— этот дом был «достоин кузена Джона», как сказала Ада, которая вышла мне навстречу под руку с хозяином и безбоязненно проговорила эти слова, но не понесла наказания — «кузен Джон» только ущипнул ее нежную щечку.

За завтраком мистер Скимпол разглагольствовал не менее занимательно, чем вчера вечером. К столу подали мед, и это побудило мистера Скимпола завести разговор о пчелах. Он ничего не имеет против меда, говорил он (и я в этом не сомневалась,— мед он кушал с явным удовольствием), но протестует против самонадеянных притязаний пчел. Он не постигает, почему трудолюбивая пчела должна служить ему примером; он думает, что пчеле нравится делать мед, иначе она бы его не делала — ведь никто ее об этом не просит. Пчеле не следует ставить себе в заслугу свои пристрастия. Если бы каждый кондитер носился по миру, жужжа и стукаясь обо все, что попадается на дороге, и самовлюбленно призывал всех и каждого заметить, что он летит на работу и ему нельзя мешать, мир стал бы совершенно несносным местом. И потом, разве не смешно, что, как только вы обзавелись своим домком, вас из него выкуривают серой? Вы были бы невысокого мнения, скажем, о каком-нибудь манче-

стерском фабриканте, если бы он прял хлопок только ради этого. Мистер Скимпол должен сказать, что считает трутня выразителем более приятной и мудрой идеи. Трутень говорит простодушно: «Простите, но я, право же, не в силах заниматься делом. Я живу в мире, где есть на что посмотреть, а времени на это мало, и вот я позволяю себе наблюдать за тем, что делается вокруг меня, и прошу, чтобы меня содержал тот, у кого нет никакого желания наблюдать за тем, что делается вокруг него». Он, мистер Скимпол, полагает, что такова философия трутня, и находит ее очень хорошей философией, конечно лишь при том условии, если трутень готов жить в ладу с пчелой, а насколько ему, мистеру Скимполу, известно, этот покладистый малый действительно готов жить с нею в ладу — только бы самонадеянное насекомое не противилось и поменьше кичилось своим медом!

Он продолжал развивать эти фантастические теории с величайшей легкостью и в самых разнообразных вариантах и очень смешил всех нас, но сегодня он, повидимому, говорил серьезно, насколько вообще мог быть серьезным. Все слушали его, а я ушла заниматься новыми для меня хозяйственными делами. Это отняло у меня некоторое время, а когда я на обратном пути проходила по коридору, захватив свою корзиночку с ключами, мистер Джарндис окликнул меня и попросил пройти с ним в небольшую комнату, которая примыкала к его спальне и казалась не то маленькой библиотекой, набитой книгами и бумагами, не то маленьким музеем сапог, башмаков и шляпных коробок.

— Присаживайтесь, дорогая,— сказал мистер Джарндис.— Эта комната, к вашему сведению, называется Брюзжальней. Когда я не в духе, я удаляюсь сюда и брюзжу.

— Значит, вы бываете здесь очень редко, сэр,— сказала я.

— Э, вы меня не знаете! — возразил он.— Всякий раз, как меня обманет или разочарует... ветер, да еще если он восточный, я укрываюсь здесь. Брюзжальня — моя самая любимая комната во всем доме,— тут я сижу чаще всего. Вы еще не знаете всех моих причуд. Дорогая моя, почему вы так дрожите?

Я не могла удержаться. Старалась изо всех сил, но — сидеть наедине с ним, таким добрым, смотреть в его ласковые глаза, испытывать такое счастье, такую гордость оказанной тебе честью, чувствовать, что сердце твое так полно, и не...

Я поцеловала ему руку. Не помню, что именно я сказала, да и сказала ли что-нибудь вообще. Смущенный, он отошел к окну, а я готова была подумать, что он сейчас выпрыгнет вон; но вот он обернулся, и я успокоилась, увидев в его глазах то, что он хотел скрыть, отойдя от меня. Он ласково погладил меня по голове, и я села.

— Полно, полно! — промолвил он.— Все прошло. Уф! Не делайте глупостей.

— Этого больше не повторится, сэр,— отозвалась я,— но вначале трудно...

— Пустяки! — перебил он меня.— Легко, совсем легко. Да и о чем говорить? Я слышу, что одна хорошая девочка осиротела, осталась без покровителя, и я решаю стать ее покровителем. Она вырастает и с избытком оправдывает мое доверие, а я остаюсь ее опекуном и другом. Что в этом особенного? Ну, вот! Теперь мы свели старые счеты, и «вновь предо мною милое лицо доверие и верность обещает».

Тут я сказала себе: «Слушай, Эстер, ты меня удивляешь, дорогая моя! Не этого я от тебя ожидала!» — и это так хорошо на меня подействовало, что я сложила руки на своей корзиночке и вполне овладела собой. Мистер Джарндис одобрительно посмотрел на меня и стал говорить со мной совершенно откровенно,— словно я давным-давно привыкла беседовать с ним каждое утро. Да мне казалось, что так оно и было.

— Вы, Эстер, конечно, ничего не понимаете в нашей канцлерской тяжбе? — сказал он.

И я, конечно, покачала головой.

— Не знаю, есть ли на свете такой человек, который в ней хоть что-нибудь понимает,— продолжал он.— Судейские ухитрились так ее запутать, превратить ее в такую чертовщину, что если вначале она имела какой-то смысл, то теперь его давно уже нет. Спор в этой тяжбе идет об одном завещании и праве распоряжаться наследством, оставленным по этому завещанию... точнее, так

было когда-то. Но теперь спор идет только о судебных пошлинах. Мы, тяжущиеся, то и дело появляемся и удаляемся, присягаем и запрашиваем, представляем свои документы и оспариваем чужие, аргументируем, прикладываем печати, вносим предложения, ссылаемся на разные обстоятельства, докладываем, крутимся вокруг лорд-канцлера и всех его приспешников и, на основании закона, доплясемся до того, что и мы сами и все у нас пойдет прахом... из-за судебных пошлин. В них-то и весь вопрос. Все прочее каким-то непонятным образом улетучилось.

— Но вначале, сэр, спор шел о завещании? — попыталась я вернуть его к теме разговора, потому что он уже начал ерошить себе волосы.

— Ну да, конечно, о завещании,— ответил он.— Некий Джарндис нажил огромное богатство и однажды в недобрый час оставил огромное путаное завещание. Возник вопрос — как распорядиться завещанным имуществом, и вот на разрешение этого вопроса растрачивается все наследство; наследников так измучили, что, если бы стать наследником было все равно, что стать величайшим преступником, эти мучения послужили бы для них достаточной карой; а само завещание свелось к мертвой букве. С самого начала этой злополучной тяжбы все обстоятельства дела, о которых уже осведомлены все тяжущиеся, кроме одного, докладываются для ознакомления тому единственному, который о них еще не осведомлен; с самого начала этой злополучной тяжбы каждый тяжущийся вновь и вновь получает копии всех документов, которыми она обрастает (или не получает, как обычно и наблюдается, потому что никому эти копии не нужны, но тем не менее платит за них), а это целые возы бумаги; все вновь и вновь возвращается каждый тяжущийся к исходной точке в обстановке такой дьявольской свистопляски судебных издержек, пошлин, бессмыслицы и лихоимства, какая никому и не снилась, даже в самых диких видениях шабаша ведьм. Суд справедливости запрашивает Суд общего права; Суд общего права, вместо ответа, запрашивает Суд справедливости; Суд общего права находит, что он не вправе поступить так; Суд справедливости находит, что по справедливости он не может поступить этак; причем ни тот, ни другой не решаются даже

сознаться, что они бессильны что-нибудь сделать без того, чтобы этот поверенный не давал советов и этот адвокат не выступал от имени А, а тот поверенный не давал советов и тот адвокат не выступал от имени Б, и так далее вплоть до конца всей азбуки, как в детских стишках про «Яблочный пирог» *. И так вот все это и тянется из года в год, из поколения в поколение, то и дело начинаясь сызнова и никогда не кончаясь. И мы, тяжущиеся, никоим образом не можем избавиться от тяжбы, ибо нас сделали «сторонами в судебном деле», и мы *вынуждены* оставаться «сторонами», хотим мы или не хотим. Впрочем, лучше об этом не думать. Когда мой двоюродный дед, несчастный Том Джарндис, стал об этом думать, это было началом его конца!

— Тот самый мистер Джарндис, сэр, о котором я слышала?

Он хмуро кивнул.

— Я его наследник, Эстер, и это был его дом. Когда я здесь поселился, он и в самом деле был холодным. Хозяин оставил в нем следы своих несчастий.

— Но как этот дом изменился теперь! — сказала я.

— В старину он назывался «Шпили». Том Джарндис дал ему теперешнее название и жил здесь взаперти — день и ночь корпел над кипами проклятых бумаг, приобщенных к тяжбе, тщетно надеясь распутать ее и привести к концу. Между тем дом обветшал, ветер, свистя, дул сквозь трещины в стенах, дождь лил сквозь дырявую кровлю, разросшиеся сорняки мешали подойти к полусгнившей двери. Когда я привез сюда домой останки покойного, мне почудилось, будто дом тоже пустил себе пулю в лоб — так он был запущен и разрушен.

Последние слова он произнес с дрожью в голосе, обращаясь словно не ко мне, а к себе самому, и прошелся раза два-три взад и вперед по комнате, потом взглянул на меня, повеселел и, подойдя ко мне, снова уселся, засунув руки в карманы.

— Вот видите, дорогая,— я же говорил вам, что эта комната — моя Брюзжальня. Так на чем я остановился?

Я напомнила ему о тех улучшениях, которые он здесь сделал,— ведь они совершенно преобразили Холодный дом.

— Да, верно, я говорил о Холодном доме. В Лондоне у нас есть недвижимое имущество, очень похожее теперь на Холодный дом, каким он был в те времена. Когда я говорю, «наше имущество», я подразумеваю имущество, принадлежащее Тяжбе, но мне следовало бы сказать, что оно принадлежит Судебным пошлинам, так как Судебные пошлины — это единственная в мире сила, способная извлечь из него хоть какую-нибудь пользу, а людям оно только оскорбляет зрение и ранит сердце. Это улица гибнущих слепых домов, глаза которых выбиты камнями,— улица, где окна — без единого стекла, без единой оконной рамы, а голые ободранные ставни срываются с петель и падают, разлетаясь на части; где железные перила изъедены пятнами ржавчины, а дымовые трубы провалились внутрь; где зеленая плесень покрыла камни каждого порога (а каждый порог может стать Порогом смерти),— улица, где рушатся даже подпорки, которые поддерживают эти развалины. Холодный дом не судился в Канцлерском суде, зато хозяин его судился, и дом был отмечен той же печатью. Вот какие они, эти оттиски Большой печати; а ведь они испещряют всю Англию, дорогая моя; их узнают даже дети!

— Как он теперь изменился, этот дом! — сказала я опять.

— Да,— подтвердил мистер Джарндис, гораздо более спокойным тоном,— и это очень умно, что вы обращаете мой взор на светлую сторону картины... (Это я-то умная!) Я никогда обо всем этом не говорю и даже не думаю,— разве только здесь, в Брюзжальне. Если вы считаете нужным рассказать про это Рику и Аде,— продолжал он, и взгляд его стал серьезным,— расскажите. На ваше усмотрение, Эстер.

— Надеюсь, сэр...— начала я.

— Называйте меня лучше опекуном, дорогая.

У меня снова захватило дыхание, но я сейчас же призвала себя к порядку: «Эстер, что с тобой? Опять!» А ведь он сказал эти слова таким тоном, словно они были не проявлением заботливой нежности, но простым капризом. Вместо предостережения самой себе я чуть-чуть тряхнула ключами и, еще более решительно сложив руки на корзиночке, спокойно взглянула на него.

— Надеюсь, опекун,— сказала я,— вы лишь немногое будете оставлять на мое усмотрение. Хочу думать, что вы во мне не обманетесь. Чего доброго, вы разочаруетесь, когда убедитесь, что я не очень-то умна — а ведь это истинная правда, и вы сами об этом догадались бы, если б у меня не хватило честности признаться.

Но он как будто ничуть не был разочарован — напротив. Широко улыбаясь, он сказал, что прекрасно меня знает и для него я достаточно умна.

— Будем надеяться, что так,— сказала я,— но я в этом глубоко сомневаюсь.

— Вы достаточно умны, дорогая,— проговорил он шутливо,— чтобы сделаться нашей доброй маленькой Хозяюшкой — той старушкой, о которой поется в «Песенке младенца» (не Скимпола, конечно, а просто младенца):

Куда ты, старушка, летишь в высоту? *
«Всю паутину я с неба смету!»

Вы займетесь нашим домашним хозяйством, Эстер, и так тщательно очистите наше небо от паутины, что нам скоро придется покинуть Брюзжальню и гвоздями забить дверь в нее.

С этого дня меня стали называть то Старушкой, то Хлопотуньей, то Паутинкой, а не то — именами разных персонажей из детских сказок и песен — миссис Шиптон, матушка Хабберд, госпожа Дарден *,— и вообще надавали мне столько прозвищ, что мое настоящее имя совсем затерялось среди них.

— Однако давайте вернемся к теме нашей болтовни,— сказал мистер Джарндис.— Возьмем хоть Рика — прекрасный многообещающий юноша. Скажите, на какой путь его направить?

О господи! Да что это ему в голову пришло спрашивать моего совета в таком деле!

— Так вот, Эстер,— продолжал мистер Джарндис, непринужденно засунув руки в карманы и вытянув ноги.— Ему надо подготовиться к какой-нибудь профессии, и он должен сам ее выбрать. Конечно, тут, наверное, не обойтись без целой кучи «парикатуры», но это нужно сделать.

— Целой кучи чего, опекун?

— Парикатуры,— объяснил он.— Это для нее самое меткое название. Ведь Рик состоит под опекой Канцлерского суда, дорогая моя. Кендж и Карбой пожелают высказать свое мнение; мистер Такой-то — какой-нибудь нелепый могильщик, роющий могилы для правосудия в задней комнатушке где-нибудь в конце переулка Куолити-Корт, что выходит на Канцлерскую улицу, пожелает высказать свое мнение; адвокат пожелает высказать свое мнение; канцлер пожелает высказать свое мнение; его приспешники пожелают высказать свое мнение; всех их вкупе придется по этому случаю хорошенько подкормить; вся эта история повлечет за собой бесконечные церемонии и словоизвержение, никого не удовлетворит, будет стоить уйму денег, и все это в целом я называю парикатурой. Не знаю, как случилось, что человечество занемогло этой самой парикатурой, и за чьи грехи наши молодые люди попали в подобную яму, но это так!

Он снова принялся ерошить себе волосы, твердя, что на него действует ветер. Но мне было приятно, что ко мне он относится благожелательно — ведь когда он ерошил волосы, или шагал взад и вперед, или делал то и другое одновременно, стоило ему посмотреть на меня, как он успокаивался, светлел и, снова усевшись поудобнее, засовывал руки в карманы и вытягивал ноги.

— Не лучше ли прежде всего спросить самого мистера Ричарда, к чему именно его влечет? — сказала я.

— Правильно,— отозвался он.— Я и сам так думаю! А знаете что — попробуйте-ка со свойственным вам тактом и непритязательностью почаще говорить об этом с ним и с Адой, и посмотрим, на чем вы все сойдетесь. При вашем посредстве мы, наверное, достигнем цели, Хозяюшка.

Я не на шутку испугалась мысли о том, какое большое значение начинаю приобретать и как много мне доверено. Я вовсе этого не хотела; я просто собиралась сказать, что с Ричардом следует поговорить ему самому. Но сейчас я, конечно, не стала спорить и сказала только, что постараюсь, хоть и боюсь (я не могла не повторить этого), как бы он не вообразил меня гораздо более проницательной, чем я есть. На это опекун мой только рассмеялся самым ласковым смехом.

— Пойдемте! — сказал он, поднявшись и отодвинув кресло.— Хватит с нас Брюзжальни на сегодня! Еще одно последнее слово. Эстер, дорогая моя, не нужно ли вам спросить меня о чем-нибудь?

Он смотрел на меня так внимательно, что я в свою очередь внимательно посмотрела ему в глаза и почувствовала, что поняла его.

— О себе, сэр? — спросила я.

— Да.

— Опекун,— начала я, отважившись протянуть ему руку (которая внезапно похолодела больше, чем следует),— мне ни о чем не нужно вас спрашивать! Если бы мне следовало узнать или необходимо было узнать о чем-нибудь, вы бы сами мне это сказали — и просить бы вас не пришлось. Я всецело на вас полагаюсь, я доверяю вам вполне, и, будь это иначе, у меня поистине было бы черствое сердце. Мне не о чем спрашивать вас, совершенно не о чем.

Он взял меня под руку, и мы пошли искать Аду. С этого часа я чувствовала себя с ним совсем свободно, совсем непринужденно, ничего больше не стремилась узнать и была вполне счастлива.

Первое время мы вели в Холодном доме довольно беспокойную жизнь, так как нам пришлось познакомиться с теми нашими многочисленными соседями, которые знали мистера Джарндиса. А как нам с Адой казалось, его знали все, кто устраивал какие-нибудь дела на чужие деньги. Принявшись разбирать его письма и отвечать за него на некоторые из них, что мы иногда делали по утрам в Брюзжальне, мы с удивлением поняли, что почти все его корреспонденты видят цель своей жизни в том, чтобы объединяться в комитеты для добывания и расходования денег. И тут леди действовали не менее, а пожалуй, даже еще более рьяно, чем джентльмены. Они с величайшей страстностью не вступали, но прямо-таки врывались в комитеты и с необычайным рвением собирали деньги по подписке. Нам казалось, что некоторые из них всю свою жизнь только и делают, что рассылают подписные карточки по всем адресам, напечатанным в Почтовом адрес-календаре,— карточки на шиллинг, карточки на полкроны, карточки на полсоверена, карточки на пенни. Эти

дамы требовали всего на свете. Они требовали одежды, они требовали поношенного белья, они требовали денег, они требовали угля, они требовали супа, они требовали поддержки, они требовали автографов, они требовали фланели, они требовали всего, что имел мистер Джарндис... и чего он не имел. Их стремления были так же разнообразны, как их просьбы. Они стремились строить новые здания, они стремились выкупать закладные на старые здания, они стремились разместить в живописном здании (гравюра будущего западного фасада прилагалась) Общину сестер Марии, созданную по образцу средневековых братств; они стремились преподнести адрес миссис Джеллиби; они стремились заказать портрет своего секретаря и подарить его секретарской теще, чья глубокая преданность зятю пользовалась широкой известностью; они явно стремились добыть все на свете, начиная с пятисот тысяч брошюр и кончая ежегодной рентой, начиная с мраморного памятника и кончая серебряным чайником. Они присваивали себе множество титулов. Среди них были и Женщины Англии, и Дочери Британии, и Сестры всех главнейших добродетелей, каждой в отдельности, и Жены Америки, и Дамы всевозможных наименований. Они то и дело волновались по поводу разных избирательных кампаний и выборов. Нам, бедным глупышкам, казалось — впрочем, это явствовало из их собственных отчетов,— что эти дамы вечно подсчитывают голоса целыми десятками тысяч, но кандидаты их никогда не получают большинства. Прямо в голове мутилось при одной мысли о том, какую лихорадочную жизнь они, должно быть, ведут.

Среди дам, особенно энергично предающихся этой хищной благотворительности (если можно так выразиться), оказалась некая миссис Пардигл, которая, судя по количеству ее писем к мистеру Джарндису, была одержима почти столь же мощным влечением к переписке, как сама миссис Джеллиби. Мы заметили, что едва разговор заходил о миссис Пардигл, ветер обязательно менял свое направление, мешая говорить мистеру Джарндису, который неизменно умолкал, сказав, что люди, занимающиеся благотворительностью, делятся на два разряда: одни ничего не делают, но поднимают большой шум,

а другие делают большое дело, но без всякого шума. Подозревая, что миссис Пардигл принадлежит к первым, мы заинтересовались ею и обрадовались, когда она как-то раз приехала к нам вместе со своими пятерыми сынками.

Эта дама грозной наружности, в очках на огромном носу и с громовым голосом, видимо, требовала большого простора. Так оно и оказалось — она опрокинула своими накрахмаленными юбками несколько стульев, хотя они стояли не так уж близко от нее. Мы с Адою были одни дома и приняли ее не без робости — нам почудилось, будто она ворвалась к нам, как врывается вьюга, и если у шедших за нею маленьких Пардиглов лица казались застывшими до синевы, то в этом была виновата их матушка.

— Разрешите, молодые леди, представить вам моих пятерых сыновей,— затараторила миссис Пардигл после первых приветствий.— Возможно, вы видели их имена (и, пожалуй, не раз) на печатных подписных листах, присланных нашему уважаемому другу мистеру Джарндису. Эгберт, мой старший сын (двенадцати лет) — это тот самый мальчик, который послал свои карманные деньги в сумме пяти шиллингов и трех пенсов индейцам Токехупо. Освальд, второй сын (десяти с половиной лет) — тот ребенок, который пожертвовал два шиллинга и девять пенсов на Памятник Великим Точильщикам нации. Фрэнсис, мой третий сын (девяти лет), дал шиллинг и шесть с половиной пенсов, а Феликс, четвертый сын (семи лет) — восемь пенсов на Перезрелых вдов; Альфред же, самый младший (пяти лет), добровольно записался в «Союз ликующих малюток» и дал зарок никогда в жизни не употреблять табака.

В жизни мы не видывали таких несчастных детей. Они были не просто изможденные и сморщенные — так что казались маленькими старичками,— но недовольство их доходило до яростного озлобления. Услышав про индейцев Токехупо, Эгберт впился в меня такими дикими и хмурыми глазами, что я легко могла бы принять его за одного из самых свирепых представителей этого племени. Надо сказать, что все пятеро детей злобно мрачнели, как только миссис Пардигл упоминала о их пожертвованиях, но Эгберт был самым ожесточенным. Впрочем, слова мои

не относятся к маленькому члену «Союза ликующих малюток»,— этот все время выглядел одинаково тупым и несчастным.

— Насколько я знаю,— промолвила миссис Пардигл,— вы нанесли визит миссис Джеллиби?

Мы ответили, что переночевали у нее.

— Миссис Джеллиби,— продолжала наша гостья, не переставая говорить таким навязчиво выразительным, громким, резким голосом, что мне почудилось, будто голос ее тоже в очках (кстати сказать, очки отнюдь не красили миссис Пардигл, и особенно потому, что глаза у нее, по выражению Ады, «лезли на лоб», то есть были сильно навыкате),— миссис Джеллиби — благодетельница общества и достойна того, чтобы ей протянули руку помощи. Мои мальчики внесли свою лепту на африканский проект: Эгберт — один шиллинг и шесть пенсов, то есть все свои карманные деньги за девять недель целиком; Освальд — один шиллинг и полтора пенса, тоже все свои карманные деньги полностью; остальные — в соответствии с их скромными доходами. Однако не все в миссис Джеллиби мне нравится. Мне не нравится, как она воспитывает своих отпрысков. В обществе это заметили. Известно, что ее отпрыски не принимают участия в той деятельности, которой она себя посвятила. Возможно, она права, возможно, не права, но права она или не права, я не так воспитываю *своих* отпрысков. Я всюду беру их с собой.

Я была убеждена (да и Ада также), что, услышав это, злонравный старший мальчик чуть было не издал пронзительного вопля. Мальчик удержался — только зевнул,— хотя первым его побуждением было завопить.

— Они ходят со мной к заутрене (в нашей церкви служат очень недурно) в половине седьмого утра, круглый год, включая, конечно, и самые холодные зимние месяцы,— трещала миссис Пардигл,— и целый день состоят при мне, в то время как я выполняю свои ежедневные обязанности. Я — леди-попечительница школ, я — леди-посетительница бедных, я — леди-чтица назидательных книг, я — леди-распределительница пособий; я — член местного Комитета бельевых пожертвований и член многих общенациональных комитетов; одна лишь моя работа

по подготовке избирательных кампаний просто не поддается учету — вероятно, никто так много не работает в этой области. И меня всюду сопровождают мои отпрыски, приобретая тем самым то знание бедноты, ту способность к благотворительности вообще, словом, ту склонность к такого рода деятельности, которая в будущем поможет им приносить пользу ближним и достигнуть довольства собой. Мои отпрыски не легкомысленны: под моим руководством они тратят все свои карманные деньги на подписки и перебывали на стольких собраниях, прослушали столько лекций, речей и прений, сколько обычно выпадает на долю лишь очень немногим взрослым людям. Альфред (пяти лет),— как я уже говорила, он по собственному почину вступил в «Союз ликующих малюток»,— Альфред был одним из тех очень немногих малышей, которые, придя на митинг, устроенный по этому случаю, не впали в забытье после пламенной двухчасовой речи председателя.

Альфред сверкнул на нас глазами так свирепо, что мы поняли — он никогда не сможет и не захочет забыть пытки, которой его подвергли в тот вечер.

— Вы, вероятно, заметили, мисс Саммерсон,— продолжала миссис Пардигл,— что на некоторых подписных листах, которые, как я уже говорила, присланы нашему уважаемому другу мистеру Джарндису, после имен моих отпрысков стоит имя О. А. Пардигла, члена Королевского общества *, подписавшегося на один фунт. Это — их отец. Мы обычно действуем одним и тем же порядком. Сначала я вношу свою лепту, потом мои отпрыски делают пожертвования в соответствии со своим возрастом и своими скромными доходами, и, наконец, мистер Пардигл замыкает шествие. Мистер Пардигл счастлив вносить свои скромные дары под моим руководством, и, таким образом, все это не только доставляет удовольствие нам, но, смеем думать, подает хороший пример другим.

Предположим, что мистеру Пардиглу довелось бы обедать с мистером Джеллиби, и предположим, что после обеда мистер Джеллиби излил бы свою душу мистеру Пардиглу; спрашивается: а не пожелал бы мистер Пардигл в обмен на это сделать мистеру Джеллиби какое-нибудь конфиденциальное признание? Я смутилась, пой-

мав себя на таких мыслях, но они почему-то пришли мне в голову.

— Здесь у вас очень недурная местность! — заметила миссис Пардигл.

Мы были рады переменить разговор и, подойдя к окну, обратили ее внимание на красоты открывшегося перед нами вида, но я заметила, что миссис Пардигл таращит на них свои очки с каким-то странным равнодушием.

— Вы знакомы с мистером Гашером? — спросила наша гостья.

Нам пришлось ответить, что мы не имели удовольствия познакомиться с ним.

— Тем хуже для вас, верьте мне! — безапелляционно изрекла миссис Пардигл.— Какой это пылкий, страстный оратор... сколько в нем огня! Случись ему стоять в фургоне, вот хоть на этой лужайке — ведь она по своему местоположению самой природой приспособлена для митинга,— он мог бы целыми часами ораторствовать на любую тему! А теперь, молодые леди,— продолжала миссис Пардигл, возвращаясь к своему креслу и, словно невидимой силой, опрокидывая на довольно большом от себя расстоянии круглый столик с моей рабочей корзинкой,— а теперь вы, надеюсь, меня раскусили?

Вопрос был столь ошеломляющий, что Ада взглянула на меня в полном замешательстве. А о том, как была нечиста моя совесть после всего, что я передумала о нашей гостье, говорил цвет моих щек.

— Я хочу сказать,— объяснила миссис Пардигл,— что вы раскусили, какая черта в моем характере самая выпуклая. Как мне известно, она такая выпуклая, что ее можно заметить сразу же. Я знаю,— меня нетрудно видеть насквозь. Ну что ж! Не хочу скрывать — я женщина деловая; я обожаю трудную работу; я наслаждаюсь трудной работой. Волнения приносят мне пользу. Я так привыкла к трудной работе, так втянулась в нее, что не знаю усталости.

Мы пролепетали, что это достойно удивления и восхищения или что-то в этом духе. Вряд ли мы сами хорошенько понимали, чего это в самом деле достойно, а если сказали так, то просто из вежливости.

— Я не понимаю, что значит — утомиться; попробуйте утомить меня, это вам не удастся! — продолжала миссис Пардигл.— Усилия, которые я трачу (хотя для меня это не усилия), количество дел, которые я делаю (хотя для меня они ничто), порой изумляют меня самое. Мои отпрыски и мистер Пардигл иной раз только посмотрят на меня, как уже выбиваются из сил, тогда как я поистине бодра, словно жаворонок!

Казалось бы, трудно было выглядеть более угрюмым, чем выглядел старший мальчик, однако сейчас его лицо еще больше потемнело. Я видела, как он сжал правый кулак и украдкой пырнул им в тулью своей шляпы, которую держал под мышкой.

— Это для меня большое преимущество, когда я обхожу своих бедных,— говорила миссис Пардигл.— Если я встречаю человека, который не желает меня выслушать, я заявляю напрямик: «Я не знаю, что такое усталость, милейший, я никогда не утомляюсь и намерена говорить, пока не кончу». Действует великолепно! Мисс Саммерсон, надеюсь, вы согласитесь сопровождать меня во время обходов сегодня же, а мисс Клейр — в ближайшем будущем?

Вначале я пыталась отказаться под тем предлогом, что у меня сегодня срочные дела и я не могу их бросить. Но отказ мой не возымел никакого действия, поэтому я сказала, что не уверена в своей компетентности, неопытна в искусстве приспосабливаться к людям, которые живут в совсем других условиях, чем я, и обходиться с ними надлежащим образом; сказала, что не владею тем тонким знанием человеческого сердца, которое существенно необходимо для такой работы; что мне самой нужно многому научиться, прежде чем учить других, и я не могу полагаться только на свои добрые намерения. Итак, лучше мне по мере сил помогать окружающим меня людям, стараясь, чтобы этот круг постепенно и естественно расширялся. Все это я говорила очень неуверенно, так как миссис Пардигл была гораздо старше меня, обладала большим опытом, да и вела себя уж очень воинственно.

— Вы не правы, мисс Саммерсон,— возразила она,— но, может быть, вы просто не любите трудной работы или связанных с нею волнений, а это совсем другое дело.

Если хотите видеть, как я работаю, извольте: я сейчас намерена — вместе со своими отпрысками — зайти тут поблизости к одному рабочему кирпичнику (пренеприятному субъекту) и охотно возьму вас с собою. И мисс Клейр тоже, если она окажет мне эту любезность.

Ада переглянулась со мной, и мы согласились, так как все равно собирались пойти погулять. Мы пошли надеть шляпы и, быстро вернувшись, увидели, что «отпрыски» томятся в углу, а их родительница носится по комнате, опрокидывая чуть ли не все легкие предметы. Миссис Пардигл завладела Адой, а я пошла сзади с отпрысками.

Ада говорила мне впоследствии, что всю дорогу до дома кирпичника миссис Пардигл говорила все тем же громовым голосом (доносившимся, впрочем, и до меня), разглагольствуя о том, какое волнующее соревнование было у нее с другой дамой два-три года назад, когда предстояло выбрать кандидатов на какую-то пенсию и каждая дама выставила своего. Обеим пришлось то и дело обращаться к печати, давать обещания, кого-то уполномачивать, за кого-то голосовать, и эта сутолока, видимо, чрезвычайно оживила всех заинтересованных лиц, кроме самих кандидатов, которые так и не получили пенсии.

Мне очень приятно, когда дети со мной откровенны, и, к счастью, мне в этом отношении обычно везет, но на этот раз я попала в чрезвычайно щекотливое положение. Как только мы вышли из дому, Эгберт, с ухватками маленького разбойника, выпросил у меня шиллинг на том основании, что у него «сперли» карманные деньги. Когда же я заметила, что употреблять такое слово в высшей степени неприлично, особенно по отношению к матери (ибо он сердито добавил: «Она сперла!»), он ущипнул меня и сказал:

— Вот еще! Подумаешь! А вы-то сами! Попробуй у вас что-нибудь спереть — *вам* это тоже будет не по нутру! Чего она притворяется, что дает мне деньги, если потом отнимает? Зачем говорить, что это *мои* карманные деньги, раз мне не позволяют их тратить?

Эти волнующие вопросы привели в такое возбуждение и его, и Освальда, и Фрэнсиса, что они все трое разом ущипнули меня, да так умело — с вывертом, что я чуть не вскрикнула. В тот же миг Феликс наступил мне

на ногу. А «Ликующий малютка», обреченный обходиться не только без табака, но и без пирожных, ибо маленький его доход отбирали целиком, так надулся от обиды и злости, когда мы проходили мимо кондитерской, что весь побагровел, и я даже испугалась. Ни разу во время прогулок с детьми не испытывала я столько телесных и душевных мук, сколько причинили мне эти неестественно сдержанные дети, оказав мне честь быть естественными со мною.

Я обрадовалась, когда мы дошли до дома кирпичника, хотя это была убогая лачуга, стоявшая у кирпичного завода среди других таких же лачуг с жалкими палисадниками, которых ничто не украшало, кроме грязных луж, и свиными закутами под самыми окнами, стекла которых были разбиты. Кое-где были выставлены старые тазы, и дождевая вода лилась в них с крыш или стекала в окруженные глиняной насыпью ямки, где застаивалась, образуя прудики, похожие на огромные торты из грязи. Перед окнами и дверьми стояли или слонялись мужчины и женщины, которые почти не обращали на нас внимания и только пересмеивались, когда мы проходили мимо, отпуская на наш счет различные замечания вроде того, что лучше бы, мол, господам заниматься своим делом, чем беспокоиться да марать башмаки, суя нос в чужие дела.

Миссис Пардигл, шествуя впереди с чрезвычайно решительным видом и без умолку разглагольствуя о неряшливости простонародья (хотя даже самые чистоплотные из нас вряд ли могли бы соблюдать чистоту в подобной трущобе), провела нас в стоявший на краю поселка домишко, и мы, войдя в каморку,— единственную на первом этаже,— чуть не заполнили в ней все свободное пространство. Кроме нас, в этой сырой отвратительной конуре было несколько человек: женщина с синяком под глазом нянчила у камина тяжело дышавшего грудного ребенка; изможденный мужчина, весь измазанный глиной и грязью, курил трубку, растянувшись на земляном полу; крепкий парень надевал ошейник на собаку; бойкая девушка стирала что-то в очень грязной воде. Когда мы вошли, все они подняли на нас глаза, а женщина повернулась лицом к огню, вероятно стыдясь своего синяка и стараясь, чтобы мы его не заметили; никто с нами не поздоровался.

— Ну-с, друзья мои! — так начала миссис Пардигл, но тон у нее был, по-моему, отнюдь не дружественный, а какой-то слишком уж деловой и педантичный.— Как вы все поживаете? Вот я и опять здесь. Я уже говорила, что меня вам не утомить, будьте спокойны. Я люблю трудную работу и как сказала, так и сделаю.

— Ну что, вы уже все тут собрались или еще кто-нибудь явится? — буркнул человек, растянувшийся на полу, и, подперев голову рукой, уставился на нас.

— Нет, милейший,— ответила миссис Пардигл, усаживаясь на один табурет и опрокидывая другой.— Мы все тут.

— А мне показалось, будто вас маловато набралось,— заметил он, не вынимая трубки изо рта.

Парень и девушка расхохотались. Двое приятелей парня, заглянувшие посмотреть на нас, стояли в дверях, засунув руки в карманы, и тоже громко хохотали.

— Вам меня не утомить, добрые люди,— обратилась к ним миссис Пардигл.— Я наслаждаюсь трудной работой, и чем больше вы ее затрудняете, тем она мне больше нравится.

— Так облегчим ей работу! — гневно проговорил человек, лежавший на полу.— С этой работой я хочу покончить раз и навсегда. Хватит таскаться ко мне без зова. Хватит травить меня, как зверя. Сейчас вы, уж конечно, приметесь разнюхивать да выпытывать — знаю я вас! Так нет же! Не удастся. Я сам вместо вас буду вопросы задавать. Моя дочь стирает? Да, *стирает*. Поглядите на воду. Понюхайте ее! Вот эту самую воду мы пьем. Нравится она вам или, может, по-вашему, лучше вместо нее пить джин? В доме у меня грязно? Да, грязно, и немудрено, что грязно, и немудрено, что тут захворать недолго; и у нас было пятеро грязных и хворых ребят, и все они померли еще грудными, да оно и лучше для них и для нас тоже. Читал я книжицу, что вы оставили? Нет, я не читал книжицы, что вы оставили. Здесь у нас никто читать не умеет, а хоть бы кто и умел, так мне она все равно ни к чему. Это книжонка для малых ребят, а я не ребенок. Вы бы еще куклу оставили; что же, вы мне куклу нянчить прикажете? Как я себя вел? Вот как: три дня я пил, а были бы деньги, так и на

четвертый выпил бы. А не собираюсь ли я пойти в церковь? Нет, в церковь я не собираюсь. Да хоть бы и собрался, так меня там никто не дожидается; приходский надзиратель мне не компания,— больно уж он важная шишка. А почему у моей бабы синяк под глазом? Ну что ж, это я ей синяк наставил, а если она скажет, что не я,— так соврет!

Перед тем как произнести все это, он вынул трубку изо рта, а договорив, повернулся на другой бок и закурил снова.

Миссис Пардигл, глядя на него сквозь очки с напускной невозмутимостью, рассчитанной, как мне казалось, на то, чтоб обострить его неприязнь, вынула назидательную книжку с таким видом, словно это был жезл полицейского, и «арестовала» все семейство. Я хочу сказать, что, принуждая бедняков слушать религиозное поучение, она вела себя так, словно была неумолимым блюстителем нравственности, тащившим их в полицейский участок.

Аде и мне было очень неприятно. Мы обе чувствовали себя какими-то незваными гостьями, которым здесь не место, и обе думали, что миссис Пардигл не следовало бы так бездушно навязывать себя людям. Отпрыски ее хмуро глазели по сторонам; семья кирпичника обращала на нас внимание только тогда, когда парень заставлял свою собаку лаять, что он проделывал всякий раз, как миссис Пардигл произносила фразу с особым пафосом. Нам обеим было тяжело видеть, что между нами и этими людьми воздвигнут железный барьер, разрушить который наша новая знакомая не могла. Кто и как мог бы сломать этот барьер, мы не знали, но нам было ясно, что ей это не по силам. Все то, что она читала и говорила, на наш взгляд никуда не годилось для таких слушателей, даже если бы она вела себя безупречно скромно и тактично. А книжку, о которой говорил мужчина, лежавший на полу, мы просмотрели впоследствии, и мистер Джарндис, помнится, тогда усомнился, чтобы сам Робинзон Крузо смог ее одолеть, даже если бы на его необитаемом острове не было других книг.

Понятно, что у нас прямо гора с плеч свалилась, когда миссис Пардигл умолкла. Мужчина, лежавший на полу, тогда снова обернулся к ней и проговорил угрюмо:



— Ну? Кончили наконец?

— На сегодня кончила, милейший. Но я никогда не утомляюсь. И я опять приду к вам, когда настанет ваш черед,— ответила миссис Пардигл с подчеркнутой веселостью.

— Выкатывайтесь, да поживее,— отрезал он, ругнувшись, и, скрестив руки, закрыл глаза,— а когда уйдете, можете делать что угодно!

Миссис Пардигл встала, и ее пышные юбки подняли в этой тесной каморке целый вихрь, от которого чуть не пострадала трубка хозяина. Взяв за руки двоих своих отпрысков и приказав остальным идти следом, она выразила надежду, что кирпичник и все его домочадцы исправятся к тому времени, когда она в следующий раз придет сюда, а потом двинулись к другому домику. Надеюсь, я не погрешу против справедливости, если отмечу, что, уходя, она, как всегда, рисовалась, хотя это отнюдь не подобает тем, кто занимается оптовой благотворительностью и филантропией на широкую ногу.

Она думала, что мы последуем за ней, но, как только заполненное ею пространство освободилось, мы подошли к женщине, сидевшей у камина, и спросили, не болен ли ее маленький.

Женщина только молча взглянула на ребенка, лежавшего у нее на коленях. Мы уже раньше заметили, что, глядя на него, она закрывает рукой свой синяк, как бы затем, чтобы отгородить бедного малютку от всяких напоминаний о грубости, насилии и побоях.

Ада, чье нежное сердце было растрогано его жалким видом, нагнулась было, чтобы погладить его по щечке. Но я уже поняла, что случилось, и потянула ее назад. Ребенок был мертв.

— Ах, Эстер! — воскликнула Ада, опустившись перед ним на колени.— Посмотри! Ах, милая Эстер, какая крошка! Замученный, тихий, прелестный крошка! Как мне его жалко! Как жаль его мать. До чего же все это грустно! Бедный маленький!

Вся в слезах, она с таким состраданием, с такой нежностью склонилась к матери и взяла ее за руку, что смягчилось бы любое материнское сердце. Женщина удивленно посмотрела на нее и вдруг разрыдалась.

Я сняла легкую ношу с ее колен, как можно лучше убрала маленького покойника, уложила его на полку и покрыла своим носовым платком. Мы старались успокоить мать, повторяя ей шепотом те слова, которые наш Спаситель сказал о детях. Она не отзывалась, только плакала, плакала горючими слезами.

Обернувшись, я увидела, что парень увел из комнаты собаку и стоит за дверью, глядя на нас сухими глазами, но не говоря ни слова. Девушка тоже молчала, сидя в углу и опустив глаза. Мужчина поднялся с пола. Он не выпустил трубки изо рта и ничего не сказал. Но лицо у него было все такое же настороженное.

Я посмотрела на них, и тут в комнату вбежала некрасивая, очень бедно одетая женщина и, подойдя к матери, воскликнула:

— Дженни! Дженни!

Мать поднялась и упала в раскрытые объятия женщины.

У этой тоже и на лице и на руках были видны следы побоев. Она была совершенно лишена обаяния — если забыть про ее обаятельную отзывчивость,— но когда она утешала мать и плакала сама, ей не нужна была красота. Я говорю — утешала, хотя она только твердила: «Дженни! Дженни!» Но главное было в тоне, каким она произносила эти слова.

Очень трогательно было видеть этих двух женщин, простых, оборванных, забитых, но таких дружных; видеть, чем они могли быть друг для друга; видеть, как они сочувствовали одна другой, как сердце каждой из них смягчалось ради другой во время тяжелых жизненных испытаний. Мне кажется, что лучшие стороны этих людей почти совсем скрыты от нас. Что значит бедняк для бедняка — мало кому понятно, кроме них самих и бога.

Мы сочли за лучшее уйти, чтобы не докучать им. Вышли мы тихонько, и этого не заметил никто, кроме хозяина. Он стоял, прислонившись к стене у двери, и, сообразив, что мешает нам пройти, вышел первый. Ему, видимо, не хотелось признать, что сделал он это ради нас, но мы все поняли и поблагодарили его. Он не отозвался ни словом.

Когда мы возвращались, Ада всю дорогу так плакала, а Ричард, которого мы застали дома, так огорчился, увидев ее слезы (хоть и не преминул сказать мне, когда она вышла из комнаты: как она красива и в слезах!), что мы решили снова сходить к кирпичнику вечером, захватив с собой кое-какие вещи. Мистеру Джарндису мы рассказали обо всем этом очень коротко, тем не менее ветер мгновенно переменился.

Вечером Ричард пошел проводить нас туда, где мы были утром. По дороге нам пришлось пройти мимо шумного кабака, у дверей которого толпились мужчины. Среди них был отец ребенка, принимавший ревностное участие в чьей-то ссоре. Немного погодя мы встретили в такой же компании парня с собакой. Его сестра стояла на углу улицы, смеясь и болтая в кругу других девушек, но когда мы поравнялись с нею, она как будто застыдилась и отвернулась.

Завидев домишко кирпичника, мы расстались со своим провожатым и дальше пошли одни. Подойдя к двери, мы увидели на пороге женщину, которая утром внесла в этот дом такое успокоение, а сейчас стояла, тревожно высматривая кого-то.

— Это вы, молодые леди? — прошептала она.— А я вот все поглядываю, не идет ли мой хозяин. Прямо сердце замирает от страха. Узнай он только, что я ушла из дому,— изобьет до полусмерти.

— Вы говорите о вашем муже? — спросила я.

— Да, мисс, о своем хозяине. Дженни спит, совсем из сил выбилась. Ведь она, бедная, семь суток, ни днем ни ночью, не спускала ребенка с колен, разве только если я, бывало, прибегу сюда да подержу его минутку-другую.

Она уступила нам дорогу, тихонько вошла и положила принесенные нами вещи близ убогой кровати, на которой спала мать. Никто не потрудился вымыть комнату; впрочем, вся лачуга была такая ветхая, что в ней, очевидно, и нельзя было навести чистоту и порядок, но восковое тельце, от которого веяло глубокой торжественностью смерти, переложили на другое место, обмыли и аккуратно завернули в белые полотняные лоскутки, потом снова покрыли моим носовым платком; и те же

грубые потрескавшиеся руки, которые все это сделали, положили на него пучок душистых трав, прикасаясь к нему так осторожно, так нежно!

— Награди вас бог! — сказали мы женщине.— Вы добрая.

— Я, молодые леди? — удивилась она.— Тсс! Дженни, Дженни!

Мать застонала во сне и шевельнулась. Звук знакомого голоса как будто успокоил ее. Она опять уснула.

Могла ли я знать, когда, приподняв свой носовой платок, смотрела на лежащее под ним тельце сквозь локоны Ады, рассыпавшиеся, как только она склонилась над младенцем,— мне тогда почудилось, будто вокруг него засиял ореол,— могла ли я знать, на чьей неспокойной груди будет со временем лежать тот самый платок, который сейчас прикрывает эту застывшую, спокойную грудь! Я только думала, что, быть может, ангел-хранитель младенца вспомнит когда-нибудь о той сострадательной женщине, которая снова покрыла маленького покойника моим платком,— вспомнит о ней теперь, когда мы уйдем, а она останется стоять на пороге, то всматриваясь вдаль, то к чему-то прислушиваясь в страхе, то по-прежнему ласково повторяя: «Дженни, Дженни!»

ГЛАВА IX

Признаки и приметы

Не знаю, почему так получается, что я вечно пишу о себе. Я постоянно хочу писать о других людях, стараясь как можно меньше вспоминать о себе, и всякий раз, как вижу, что снова появляюсь в этой повести, очень досадую и говорю: «Ах ты надоедливая девчонка, как ты смела опять появиться?» Но все без толку. Каждый, кто прочитает написанное мною, надеюсь, поймет, что если на этих страницах очень много говорится обо мне — то лишь потому, что я, право же, играю какую-то роль в своем повествовании и меня нельзя выкинуть совсем.

Милая моя подруга и я, мы вместе читали, работали, занимались музыкой, и все наше время было так заполнено, что зимние дни летели как яркокрылые птицы. Обычно уже во второй половине дня, а вечером — всегда, к нам присоединялся Ричард. Трудно было найти другого такого непоседливого юношу, однако сидеть в нашем обществе ему, несомненно, очень нравилось.

Ему очень, очень, очень нравилась Ада. Это я знаю наверное, и лучше сказать это сразу. Мне тогда еще не приходилось видеть влюбленных, но тайну Ады и Ричарда я разгадала очень быстро. Конечно, я не могла сказать им об этом или намекнуть, что о чем-то догадываюсь. Напротив, я была так сдержанна, притворялась такой непонятливой, что иной раз, сидя за работой, подумывала, уж не становлюсь ли я настоящей притворщицей?

Но ничего не поделаешь. Все, что мне оставалось,— это сидеть тихо, и я была тише мышки. Они тоже были тише мышек,— я хочу этим сказать, что они еще не говорили о своем чувстве, но наивность, с какой они тем больше льнули ко мне, чем крепче привязывались друг к другу, была так очаровательна, что мне стало очень трудно скрывать до чего меня интересуют их отношения.

— Наша милая маленькая Старушка — такая замечательная старушка,— говорил Ричард, ласково посмеиваясь и чуть-чуть краснея, когда выходил рано утром в сад мне навстречу,— что я просто не могу без нее обойтись. Опять начинается суматошный день — сначала буду возиться с книгами и приборами, потом, словно разбойник, скакать и в гору и под гору по всей округе,— и мне очень полезно начать этот день с неторопливой прогулки в обществе нашего уютного друга, так что вот я опять пришел!

— Ты знаешь, милая Хлопотунья,— говорила Ада, склонив голову на мое плечо, когда мы вечером сидели вместе у камина и пламя отражалось в ее задумчивых глазах,— когда мы с тобой приходим сюда наверх, в свои комнаты, мне не хочется разговаривать — только бы немножко посидеть, подумать, глядя на твое милое лицо, послушать шум ветра, вспомнить о бедных моряках на море...

Надо сказать, что Ричард, по-видимому, собирался сделаться моряком. Теперь мы очень часто говорили на эту тему, считая, что следует удовлетворить жившее в нем с детства влечение к морю. Мистер Джарндис написал по этому поводу одному своему знатному родственнику, некоему сэру Лестеру Дедлоку, и попросил его помочь Ричарду стать на ноги; однако сэр Лестер вежливо ответил, что «был бы счастлив содействовать молодому джентльмену в его начинаниях, если бы мог, но ничего сделать не может», и добавил, что «миледи передает поклон молодому джентльмену (с которым, помнится, состоит в дальнем родстве) и убеждена, что он всегда будет выполнять свой долг, какую бы деятельность ни избрал».

— Итак, по-моему, все ясно,— придется самому пробивать себе дорогу,— сказал мне Ричард.— Ну что ж, ничего! Многим людям приходилось пробиваться самим, и они пробились. Хотелось бы только начать с командования быстроходным пиратским кораблем, чтобы увезти с собой канцлера и держать его на голодном пайке, пока он не вынесет решения по нашей тяжбе. И пусть тогда не мешкает, не то от него только кости да кожа останутся!

Жизнерадостность, оптимизм и почти неиссякаемая веселость сочетались в характере Ричарда с какой-то беспечностью, которая меня изумляла, и особенно потому, что он странным образом принимал ее за благоразумие. Это очень своеобразно проявлялось во всех его денежных делах, и, пожалуй, мне лучше всего удастся объяснить это на примере, несколько отклонившись в сторону и напомнив о деньгах, которые мы одолжили мистеру Скимполу.

Мистер Джарндис узнал, сколько нам тогда пришлось выложить, не то от самого мистера Скимпола, не то от «Ковинсова» и, вернув мне деньги, сказал, чтобы я взяла себе свою долю, а остальное передала Ричарду. Но если бы количество мелких необдуманных трат, которые Ричард оправдывал возвращением своих десяти фунтов, сложить с количеством его бесед со мною на тему о том, что он якобы «сберег» или «скопил» эти деньги,— получилась бы крупная сумма.

— Почему бы и нет, благоразумная наша Хозяюшка? — сказал он мне, когда, недолго думая, решил подарить пять фунтов кирпичнику.— Я же заработал десять фунтов чистых на деле «Ковинсова».

— Как так? — удивилась я.

— Ну да, ведь в тот день я очень охотно расстался со своими десятью фунтами и не надеялся получить их обратно. Вы не можете этого отрицать?

— Нет,— согласилась я.

— Отлично! А потом я получил десять фунтов...

— То есть свои же десять фунтов,— напомнила я.

— Не в этом дело! — возразил Ричард.— Я теперь имею на десять фунтов больше, чем рассчитывал иметь, и, значит, могу позволить себе истратить их без особенных колебаний.

Когда же его убедили не отдавать этих пяти фунтов, доказав, что они не принесут пользы, он опять записал эту сумму себе в актив и решил ее израсходовать.

— Давайте-ка подсчитаем! — говорил он.— Я сэкономил пять фунтов на истории с кирпичником, поэтому, если я прокачусь до Лондона и обратно на почтовых и потрачу на это четыре фунта, то сберегу один фунт. А сберечь один фунт — неплохая штука, позвольте вам заметить; пенни сберег — пенни нажил!

Ричард был по натуре искренний и великодушный юноша, каких мало — в этом я уверена. Пылкий и храбрый, он при всем своем беспокойном характере был так мягок, что я за несколько недель сблизилась с ним словно с братом. Мягкость была свойственна ему от природы и широко проявлялась бы и без влияния Ады, а под этим влиянием он стал самым обаятельным из друзей — всегда отзывчивый, всегда такой веселый, жизнерадостный и легкий. Я то сидела, то гуляла, то разговаривала с ним и Адой и подмечала, как они день ото дня все сильнее влюбляются друг в друга, не говоря об этом ни слова и каждый про себя застенчиво думая, что его любовь — величайшая тайна, о которой, быть может, еще не подозревает другой,— и, конечно, я была очарована не меньше, чем они сами, и не меньше, чем они, пленена их чудесной мечтой.

Так вот мы и жили; но как-то раз утром во время завтрака мистер Джарндис получил письмо и, бросив взгляд на фамилию отправителя, воскликнул: «От Бойторна? Так, так!» — потом распечатал письмо и начал читать его с видимым удовольствием, а когда дошел примерно до половины, прервал на секунду чтение и объявил, что Бойторн «собирается к нам» погостить. «Интересно, кто такой этот Бойторн?» — думали мы. И, конечно, все мы думали также — я во всяком случае,— а не помешает ли он тому, что у нас назревает?

— С Лоуренсом Бойторном я учился в школе,— сказал мистер Джарндис, хлопнув письмом по столу,— это было сорок пять лет назад; нет — больше. В те времена он был самым пылким мальчишкой на свете, теперь нет более пылкого мужчины. В те времена он был самым шумливым мальчишкой на свете, теперь нет более шумливого мужчины. В те времена он был самым добродушным и здоровым мальчишкой на свете, теперь нет более добродушного и здорового мужчины. Очень большой человек.

— То есть рослый, сэр? — спросил Ричард.

— Да, Рик, и рослый,— ответил мистер Джарндис,— он лет на десять старше меня, дюйма на два выше; голова закинута назад, как у старого воина, руки сильные, как у кузнеца, только белые, грудь колесом, а легкие!.. других таких легких во всем мире не сыщешь. Говорит ли он, хохочет ли, храпит ли — в доме балки дрожат.

Мистер Джарндис, по-видимому, любовался обликом своего друга Бойторна, и мы заметили доброе предзнаменование — исчезли все признаки того, что ветер может перемениться.

— Но, Рик... и Ада, а также вы, маленькая Паутинка (ведь все вы интересуетесь нашим новым гостем),— продолжал он,— когда я назвал его большим человеком, я думал о его душе, его горячем сердце, страстности, свежести восприятия. Речь у него так же выразительна, как голос. Он вечно впадает в крайности... говорит только в превосходной степени. В своих обличениях он сама беспощадность. Послушать его — подумаешь, это какой-то людоед, да, кажется, он и слывет людоедом в некоторых кругах. Впрочем, довольно! Я больше ничего не скажу

о нем. Не удивляйтесь, если заметите, что ко мне он относится покровительственно,— он не забывает, что в школьные годы я был тихоней и наша дружба началась с того, что он как-то раз перед завтраком выбил два зуба (по его словам, целых шесть) у моего главного угнетателя. Бойторн и его камердинер приедут сегодня во второй половине дня, дорогая моя,— добавил мистер Джарндис, обращаясь ко мне.

Я позаботилась о том, чтобы все было готово к приему мистера Бойторна, и мы с любопытством стали ожидать его. Однако день проходил, а гость наш не появлялся. Подошло время обеда, но мистер Бойторн все еще не прибыл. Обед отложили на час, и мы сидели у камина, сумерничая при свете пламени, как вдруг входная дверь с грохотом распахнулась, и из передней донеслись следующие слова, произнесенные с величайшим пафосом и громовым голосом:

— Нас обманули, Джарндис,— обманул какой-то отпетый мерзавец: сказал, что нам нужно свернуть направо, тогда как надо было свернуть налево. Свет не видывал такого отъявленного негодяя! Ясно, что и отец его был самым бессовестным из злодеев, если у него такой сын. Я бы его пристрелил, и — без малейших угрызений совести!

— Он сделал это нарочно? — спросил мистер Джарндис.

— Ничуть не сомневаюсь, что мошенник всю свою жизнь только и делает, что сбивает проезжих с пути! — загремел тот в ответ.— Когда он советовал мне свернуть направо, я, клянусь душой, подумал, что это самый паршивый пес, какого я когда-либо встречал. Да и я тоже хорош — стоял лицом к лицу с подобным прохвостом и не выбил ему мозгов!

— Ты хочешь сказать — зубов! — вставил мистер Джарндис.

— Ха-ха-ха! — захохотал мистер Лоуренс Бойторн, да так раскатисто, что стекла задребезжали.— Как? Ты еще помнишь? Ха-ха-ха!.. Тот малый тоже был беспутнейшим из бродяг! Могу поклясться, что он еще мальчишкой являл собой такое мрачное воплощение коварства, трусости и жестокости, что мог бы торчать пугалом на поле, усеянном подлецами. Случись мне завтра встретить на улице

этого беспримерного мерзавца, я его сшибу как трухлявое дерево!

— Не сомневаюсь,— откликнулся мистер Джарндис.— А теперь не хочешь ли пройти наверх?

— Могу поклясться, Джарндис,— проговорил гость, очевидно взглянув на часы,— будь ты женат, я повернул бы обратно у садовых ворот и удрал бы на отдаленнейшую вершину Гималайских гор, лишь бы не являться сюда в такой поздний час.

— Ну, зачем же так далеко! — сказал мистер Джарндис.

— Клянусь жизнью и честью,— на Гималаи! — вскричал гость.— Я ни в коем случае не позволил бы себе столь дерзкой вольности — заставить хозяйку дома ждать меня так долго. Я скорей уничтожил бы сам себя... гораздо скорей!

Не прерывая разговора, они стали подниматься по лестнице, и вскоре мы услышали из комнаты, отведенной мистеру Бойторну, громогласное «ха-ха-ха!», потом снова «ха-ха-ха!» — и вот даже самое отдаленное эхо стало вторить этим звукам и захохотало так же весело, как он или как мы, когда до нас донесся его хохот.

Еще не видя гостя, мы почувствовали, что он всем нам придется по душе,— столько искренности было в его хохоте, в его могучем, здоровом голосе, в той выразительности и отчетливости, с какими он произносил каждое слово, и даже в самом неистовстве, с каким он обо всем говорил в превосходной степени, что, впрочем, подобно холостой стрельбе из орудий, не задевало никого. Но мы и не подозревали, что он так нам понравится, как понравился, когда мистер Джарндис представил его нам. Это был не только очень красивый пожилой джентльмен — прямой и крепкий, каким нам его уже описали, с большой головой и седой гривой, с привлекательно-спокойным выражением лица (когда он молчал), с телом, которое, пожалуй, могло бы располнеть, если бы не постоянная горячность, не дававшая ему покоя, с подбородком, который, возможно, превратился бы в двойной подбородок, если бы не страстный пафос, с которым мистер Бойторн всегда говорил,— словом, он был не только очень красивый пожилой джентльмен, но истинный джентльмен с ры-

царски-вежливыми манерами, а лицо его освещала такая ласковая и нежная улыбка, до того ясно было, что скрывать ему нечего и он показывает себя таким, какой он есть на самом деле, то есть человеком, который не способен (по выражению Ричарда) ни на что ограниченное и лишь потому стреляет холостыми зарядами из огромных пушек, что не носит с собой никакого мелкокалиберного оружия,— так ясно все это было, что за обедом я с удовольствием смотрела на него, все равно, разговаривал ли он, улыбаясь, с Адой и со мною, или в ответ на слова мистера Джарндиса, залпом выпаливал что-нибудь «в превосходной степени», или, вздернув голову, словно борзая, разражался громогласным «ха-ха-ха!».

— Ты, конечно, привез свою птичку? — спросил мистер Джарндис.

— Клянусь небом, это самая замечательная птичка в Европе! — ответил тот.— Удивительнейшее создание! Эту птичку я не отдал бы и за десять тысяч гиней. В своем завещании я выделил средства на ее содержание, на случай, если она переживет меня. Прямо чудо какое-то,— так она разумна и привязчива. А ее отец был одной из самых необычайных птиц, когда-либо живших на свете!

Предметом его похвал была очень маленькая канарейка, совсем ручная,— когда камердинер мистера Бойторна принес ее на указательном пальце, она, тихонько облетев комнату, уселась на голову хозяину. Я слушала неукротимые и страстные высказывания мистера Бойторна, смотрела на малюсенькую, слабенькую пташку, спокойно сидевшую у него на голове, и думала, что такой контраст очень показателен для его характера.

— Могу поклясться, Джарндис,— говорил он, очень осторожно подавая канарейке крошку хлеба,— будь я на твоем месте, я бы завтра же утром схватил за горло всех судейских Канцлерского суда и тряс их до тех пор, пока деньги не выкатились бы у них из карманов, а кости не загремели в коже. Не мытьем так катаньем, а уж я бы вытряс из них решение по делу! Поручи это мне, и я займусь этим для тебя с величайшим удовольствием!

(Все это время маленькая канарейка клевала крошки у него с рук.)

— Спасибо, Лоуренс,— отозвался мистер Джарндис со смехом,— но тяжба теперь зашла в такой тупик, что ее не продвинешь, даже если законным образом перетряхнешь всех судей и всех адвокатов.

— Да, не было еще на земле такого дьявольского котла, как этот Канцлерский суд! — загремел мистер Бойторн.— Ничем его не исправить,— разве только подложить под него мину с десятью тысячами центнеров пороха да во время какого-нибудь важного заседания взорвать его вместе со всеми протоколами, процессуальными кодексами и прецедентами, со всеми причастными к нему чиновниками, высшими и низшими, сверху донизу, начиная с отпрыска его, главного казначея, и кончая родителем его, дьяволом, так чтобы все они вместе рассыпались в прах!

Нельзя было не рассмеяться, когда он с такой энергией и серьезностью предлагал принять столь суровые меры для реформы суда. И мы рассмеялись, а он откинул голову назад, расправил широкую грудь, и мне снова почудилось, будто все кругом загудело, вторя его хохоту. Но это не произвело никакого впечатления на птичку, уверенную в своей безопасности,— она прыгала по столу, склоняя подвижную головку то на один бок, то на другой и вскидывая живые, блестящие глазки на хозяина, как будто он тоже был всего только птичкой.

— А в каком положении твоя тяжба с соседом о спорной тропинке? — спросил мистер Джарндис.— Ведь и ты не свободен от судебных хлопот.

— Этот субъект подал жалобу на меня за то, что я незаконно вступил на *его* землю, а я подал жалобу на него за то, что он незаконно вступил на *мою* землю,— ответил мистер Бойторн.— Клянусь небом, это надменнейший из смертных. Трудно поверить, что его зовут сэром Лестером. Лучше б ему называться сэром Люцифером *.

— Лестно для нашего дальнего родственника! — со смехом сказал мой опекун, обращаясь к Аде и Ричарду.

— Я бы попросил извинения,— заметил наш гость,— если бы не понял по выражению прекрасного лица мисс Клейр и улыбке мистера Карстона, что это лишнее, так как они держат своего дальнего родственника на дальнем расстоянии.

— Или — он нас,— вставил Ричард.

— Могу поклясться, что этот субъект, подобно отцу своему и деду, самый упрямый, надменный, тупой, меднолобый дурень на свете, и он лишь по какой-то необъяснимой ошибке природы явился на свет живым существом, а не палкой с набалдашником! — воскликнул мистер Бойторн, внезапно разражаясь новым залпом.— Да и все его сородичи — самодовольнейшие и совершеннейшие болваны!.. Но все равно — ему не загородить моей тропинки, будь он даже пятьюдесятью баронетами, слитыми воедино, и живи он в целой сотне Чесни-Уолдов, вложенных один в другой, как полые шары из слоновой кости работы китайских резчиков. Этот субъект пишет мне через своего уполномоченного, или секретаря, или не знаю там кого: «Сэр Лестер Дедлок, баронет, кланяется мистеру Лоуренсу Бойторну и обращает его внимание на то, что право прохода по тропинке у бывшего церковного дома, ныне перешедшего в собственность мистера Лоуренса Бойторна, принадлежит сэру Лестеру Дедлоку, ибо тропинка является частью чесни-уолдского парка, а посему сэр Лестер Дедлок находит нужным загородить таковую». Я отвечаю этому субъекту: «Мистер Лоуренс Бойторн кланяется сэру Лестеру Дедлоку, баронету, и, обращая *его* внимание на то, что он, Бойторн, полностью отрицает все утверждения сэра Лестера Дедлока по поводу любого предмета, добавляет касательно заграждения тропинки, что был бы рад увидеть человека, который отважится ее загородить». Этот субъект подсылает какого-то отъявленного одноглазого негодяя поставить на тропинке калитку. Я поливаю этого отвратительного подлеца из пожарной кишки, пока он едва не испускает духа. За ночь этот субъект сооружает ворота. Утром я их срубаю на дрова и сжигаю. Он приказывает своим наемникам перелезть через ограду и шляться по моим владениям. Я ловлю их в безвредные капканы, стреляю в них лущеным горохом, целясь в ноги, поливаю их из пожарной кишки — словом, стремлюсь освободить человечество от непереносимого бремени в лице этих отпетых головорезов. Он подает жалобу на меня за вторжение в его владения, я подаю жалобу на него за вторжение в мои владения. Он подает жалобу, обвиняя меня в нападении и оскорблении дей-

ствием; я защищаюсь, но продолжаю оскорблять и нападать. Ха-ха-ха!

Слыша, с какой невероятной энергией он все это говорил, можно было подумать, что нет на свете более сердитого человека. Но стоило только увидеть, как он в то же самое время смотрит на птичку, усевшуюся теперь на его большом пальце, и тихонько гладит указательным пальцем ее перышки, и сразу становилось ясно, что нет на свете человека более кроткого. А прислушиваясь к его смеху и глядя на его добродушное лицо, казалось, что нет у него никаких забот, что ни с кем он не ссорится, ни к кому не испытывает неприязни и вся его жизнь — сплошное удовольствие.

— Нет, нет,— продолжал он,— никакому Дедлоку не удастся загородить мою тропинку. Хотя я охотно признаю,— тут он на минуту смягчился,— что леди Дедлок — достойнейшая леди на свете, и я готов воздать ей всю ту дань уважения, на какую способен простой джентльмен, а не баронет, получивший в наследство всю тупость своего семисотлетнего рода. Человека, который, двадцати лет поступив в полк, через неделю вызвал на дуэль своего начальника — самого властного и самонадеянного хлыща, когда-либо вдыхавшего воздух грудью, туго стянутой мундиром,— вызвал и был за то разжалован, такого человека не запугают никакие сэры Люциферы *Дед-локи,* ни *деды* их, ни внуки, ни *локоны* их, ни лысины. Ха-ха-ха!

— И такой человек не допустит, чтобы запугали его младшего товарища? — промолвил мой опекун.

— Безусловно нет! — подтвердил мистер Бойторн, покровительственно хлопая его по плечу, и мы все почувствовали, что хоть он и смеется, но говорит совершенно серьезно.— Он всегда будет стоять на стороне «тихони». Можешь положиться на него, Джарндис! Но, кстати, раз уж мы завели разговор об этом незаконном вторжении,— прошу прощения у мисс Клейр и мисс Саммерсон за то, что так долго говорил на столь скучную тему,— нет ли для меня письма от ваших поверенных Кенджа и Карбоя?

— Как будто нет, Эстер? — осведомился мистер Джарндис.

— Ничего нет, опекун.

— Благодарю вас,— сказал мистер Бойторн.— Незачем было и спрашивать; если бы письмо пришло, мне его передала бы мисс Саммерсон — ведь я уже успел заметить, как она заботится обо всех ее окружающих. (Все они всегда хвалили меня: просто захвалить хотели!) Я спросил потому, что приехал к вам прямо из Линкольншира, не заезжая в Лондон, и подумал, не переслали ли моих писем сюда. Очевидно, они придут завтра утром.

В течение вечера, проведенного очень приятно, я не раз наблюдала, как мистер Бойторн, усевшись неподалеку от рояля и слушая музыку,— которую страстно любил, о чем ему не надо было говорить нам, потому что это было и так видно по его лицу,— посматривал на Ричарда и Аду с интересом и удовольствием, которые придавали необычайно привлекательное выражение его красивым чертам, так что я, подметив все это, даже спросила опекуна, когда мы сели играть в трик-трак, не был ли мистер Бойторн женат.

— Нет,— ответил он.— Нет.

— Но он был помолвлен? — сказала я.

— Как вы об этом догадались? — с улыбкой спросил опекун.

— Видите ли, опекун,— начала я, слегка краснея оттого, что осмелилась высказать свои мысли,— в его обращении, несмотря ни на что, проглядывает такая нежность души, и он так вежлив и ласков с нами, что...

Мистер Джарндис взглянул в ту сторону, где сидел его друг, точь-в-точь такой, каким я его сейчас описывала.

Я замолчала.

— Вы правы, Хлопотунья,— подтвердил он.— Он чуть не женился однажды. Это было давным-давно. И больше он подобных попыток не делал.

— Его невеста умерла?

— Нет... но она умерла для него. Это повлияло на всю его дальнейшую жизнь. А вам не кажется, что у него и теперь голова и сердце полны всякой романтики?

— Я, пожалуй, могла бы так подумать, опекун. Да и немудрено, раз вы сами сказали мне это.

— С тех пор он уже никогда не был таким, каким обещал быть,— проговорил мистер Джарндис.— А теперь, в старости, у него никого нет, если не считать камердинера да маленькой желтенькой подружки... Ваш ход, дорогая моя!

Я поняла по тону опекуна, что мне не удастся продолжить разговор на эту тему без того, чтобы не вызвать перемены ветра. Поэтому я воздержалась от дальнейших вопросов. Я была заинтересована, но не сгорала от любопытства. Ночью, разбуженная громким храпом мистера Бойторна, я стала думать о его юношеской любви и старалась — что очень трудно — вообразить себе стариков снова молодыми и одаренными обаянием молодости. Но я заснула раньше, чем мне это удалось, и видела во сне свое детство в доме крестной. Не знаю, интересно это или нет, но мне почти каждый день снилось мое детство.

Утром от господ Кенджа и Карбоя пришло письмо, в котором говорилось, что в полдень к мистеру Бойторну приедет их клерк. Был как раз тот день недели, в который я платила по счетам и подводила итоги в своих расходных книгах, а очередные хозяйственные дела старалась закончить побыстрее, поэтому я осталась дома, тогда как мистер Джарндис, Ада и Ричард, воспользовавшись прекрасной погодой, уехали кататься. Мистер Бойторн решил сначала увидеться с клерком от «Кенджа и Карбоя», а потом пойти пешком навстречу друзьям.

Ну, так вот, я была занята по горло — просматривала торговые книги наших поставщиков, складывала столбцы цифр, платила по счетам, писала расписки и, признаться, совсем захлопоталась, когда доложили, что приехал мистер Гаппи и ожидает в гостиной. Я и раньше подумывала, что клерк, которого обещали прислать, возможно, окажется тем самым молодым человеком, который встретил меня у почтовой конторы, и была рада увидеть его, так как он имел какое-то отношение к моей теперешней счастливой жизни.

Но я с трудом узнала его — так аляповато он был разряжен. Он предстал предо мной в новом с иголочки костюме из глянцевитой ткани, в сверкающем цилиндре, сиреневых лайковых перчатках, пестром шейном платке, с громадным оранжерейным цветком в петлице и тол-

стым золотым кольцом на мизинце; и вдобавок от него на всю столовую разило ароматом индийской помады и прочей парфюмерии. Он так пристально посмотрел на меня, когда я попросила его присесть и подождать, пока не вернется горничная, которая пошла доложить о нем, что мной овладело смущение, и за все время, пока он сидел в углу, то кладя ногу на ногу, то ставя ее опять на пол, а я спрашивала, хорошо ли он доехал и выражала надежду, что мистер Кендж здоров, я ни разу на него не взглянула, но подметила, что он смотрит на меня все так же испытующе и странно.

Но вот его пригласили подняться наверх в комнату мистера Бойторна, а я сказала, что мистер Джарндис просит его закусить и, когда он вернется, ему подадут завтрак. Взявшись за ручку двери, мистер Гаппи проговорил немного смущенным тоном:

— Буду ли я иметь честь снова увидеть вас тут, мисс?

Я ответила, что, вероятно, никуда не уйду отсюда, и он удалился, отвесив мне поклон и еще раз взглянув на меня.

Подумав, что он просто неотесанный и застенчивый малый,— ведь он явно чувствовал себя очень неловко,— я решила подождать, пока он не сядет за стол; а убедившись, что ему подали все, что полагается, уйду. Завтрак принесли быстро, но он долго стоял нетронутым на столе. Беседа у мистера Гаппи с мистером Бойторном вышла длинной и... бурной, судя по тому, что до меня доносился громовый голос нашего гостя, хотя комната его была довольно далеко от столовой, и время от времени звук этого голоса нарастал, как рев штормового ветра: очевидно, на клерка сыпался град обличений.

Наконец мистер Гаппи вернулся, и теперь вид у него был еще более растерянный, чем до совещания.

— Ну и ну, мисс! — проговорил он вполголоса.— Это настоящий варвар!

— Кушайте, пожалуйста, сэр,— сказала я.

Мистер Гаппи сел за стол, все так же странно всматриваясь в меня (я это чувствовала, хотя сама не смотрела на него), и суетливо принялся точить большой нож для разрезанья жаркого о длинную вилку. Точил он так

долго, что я, наконец, сочла себя обязанной поднять глаза, чтобы рассеять чары, под влиянием которых он, видимо, трудился, будучи не в силах перестать.

Мистер Гаппи мгновенно перевел взгляд на блюдо с жарким и принялся резать мясо.

— А вы сами, мисс, что желаете скушать? Позвольте угостить вас чем-нибудь?

— Нет, благодарю вас,— ответила я.

— Неужто вы не позволите мне положить вам хоть кусочек? — спросил мистер Гаппи, торопливо проглотив большую рюмку вина.

— Благодарю вас, я ничего не хочу,— отказалась я.— Я осталась здесь, только желая убедиться, что вам подали все, что вам нужно. Может быть, приказать принести еще чего-нибудь?

— Нет, очень вам признателен, мисс. У меня есть все необходимое для того, чтобы чувствовать себя удовлетворенным... по крайней мере я... то есть не удовлетворенным... нет... удовлетворенным я никогда не бываю.

Он выпил еще две рюмки вина, одну за другой.

Я подумала, что мне лучше уйти.

— Прошу прощенья, мисс,— проговорил мистер Гаппи и встал, увидев, что я поднялась.— Может, вы будете так добры уделить мне минутку для беседы по личному делу?

Не зная, что на это ответить, я снова села.

— «Все, что за этим последует, да не послужит во вред», не правда ли, мисс? — проговорил мистер Гаппи, волнуясь и придвигая стул к моему столу.

— Я вас не понимаю,— ответила я в недоумении.

— Так говорят у нас, юристов,— это юридическая формула, мисс. Это значит, что вы не воспользуетесь моими словами, дабы повредить мне у Кенджа и Карбоя или где-нибудь еще. Если наша беседа не приведет ни к чему, я останусь при своем, и ни моей службе, ни моим планам на будущее это не повредит. Словом, буду говорить совершенно конфиденциально.

— Не могу представить себе, сэр,— отозвалась я,— о чем вы можете говорить со мною столь конфиденциально, ведь вы видите меня всего только во второй раз в жизни; но я, конечно, никоим образом не хочу вам вредить.

— Благодарю вас, мисс. Не сомневаюсь... уверен вполне.— Все это время мистер Гаппи то вытирал лоб носовым платком, то с силой тер левую ладонь о правую.— Если вы позволите мне опрокинуть еще бокальчик вина, мисс, это, пожалуй, поможет мне говорить, а то у меня, знаете, то и дело горло перехватывает, что, конечно, неприятно обеим сторонам.

Он выпил рюмку и вернулся на прежнее место. Я воспользовалась случаем и пересела подальше,— так, чтобы отгородиться от него своим столом.

— Позвольте мне предложить вам бокальчик, мисс? — сказал мистер Гаппи, видимо приободрившись.

— Нет,— ответила я.

— Ну, полбокальчика? — настаивал мистер Гаппи.— Четверть? Нет! В таком случае, приступим. В настоящее время, мисс Саммерсон, Кендж и Карбой платят мне два фунта в неделю. Когда я впервые имел счастье увидеть вас, я получал один фунт пятнадцать шиллингов, и жалованье мне довольно долго не повышали. Потом дали прибавку в пять шиллингов и обещают новую прибавку в пять шиллингов не позже чем через год, считая с нынешнего дня. У моей мамаши есть небольшой доход в виде маленькой пожизненной ренты, на которую она и живет, хотя и скромно, но ни от кого не завися, на улице Олдстрит-роуд. Кто-кто, а уж она прямо создана для того, чтобы стать свекровью. Не сует носа в чужие дела, не сварлива, да и вообще характер у нее легкий. Конечно, у нее есть свои слабости — у кого их нет? — но я ни разу не видел, чтоб она заложила за галстук в присутствии посторонних лиц,— при посторонних она и в рот не возьмет ни вина, ни спиртного, ни пива — можете быть спокойны. Сам я квартирую на площади Пентон-Плейс, в Пентонвилле. Местность низменная, но воздуху много — за домом пустырь; считается одной из самых здоровых окраин. Мисс Саммерсон! Самое меньшее, что я могу сказать, это: я вас обожаю. Может, вы будете столь добры разрешить мне (если можно так выразиться) подать декларацию... то есть сделать предложение?

Мистер Гаппи опустился на колени. Стол отгораживал меня от него, и потому я не очень испугалась. Я сказала:

— Что за нелепая поза? Немедленно встаньте, сэр, а не то мне придется нарушить обещание и позвонить!

— Выслушайте меня, мисс! — воскликнул мистер Гаппи, складывая руки в мольбе.

— Я не выслушаю ни слова больше, сэр,— ответила я,— если вы сию же минуту не встанете с ковра и не сядете за стол; а вы это сделаете, если у вас есть хоть капля разума.

Он жалостно посмотрел на меня, но все-таки медленно встал с колен и сел за стол.

— Какая насмешка, мисс! — начал он, положив руку на сердце, и, склонившись к подносу, меланхолически покачал головой.— Какая это насмешка — сидеть за столом в такой момент. Душу воротит от еды в такой момент, мисс.

— Прошу вас прекратить этот разговор,— сказала я,— вы попросили меня вас выслушать, а теперь я прошу вас прекратить разговор.

— Прекращу, мисс,— отозвался мистер Гаппи.— Как я люблю и почитаю, так и повинуюсь. О, если б мог я дать обет Тебе пред алтарем!

— Это совершенно невозможно,— сказала я,— об этом не может быть и речи.

— Я понимаю,— начал мистер Гаппи, перегнувшись через поднос и снова впиваясь в меня пристальным взглядом, который я, странным образом, почувствовала, хоть и смотрела в другую сторону,— я понимаю, что в глазах света мое предложение, по всей вероятности, выглядит неавантажным. Но, мисс Саммерсон! ангел!.. Нет, не надо звонить... Я прошел суровую школу жизни и чем-чем только не занимался! Правда, я молод, но мне уже приходилось вести всякие расследования и возбуждать судебные дела, и я много чего повидал в жизни. Удостойте меня вашей ручки, и чего только я не придумаю, чтобы защитить ваши интересы и составить ваше счастье! Чего только я не разведаю насчет вас! Правда, я пока ничего не знаю, но чего только я не смогу узнать, если буду пользоваться вашим доверием и вы пустите меня по следу!

Я сказала, что, стремясь защитить мои интересы, или, точнее, то, что он считает моими интересами, он так же



обрекает себя на неудачу, как и стремясь завоевать мою благосклонность, а теперь он должен, наконец, понять, что я покорнейше прошу его удалиться.

— Жестокая мисс, выслушайте еще одно лишь слово! — сказал мистер Гаппи.— Полагаю, вы заметили, как поражен я был вашими прелестями в тот день, когда ждал вас у «Погреба белого коня». Полагаю, вы заметили, что я не мог удержаться от того, чтобы не отдать должного этим прелестям, когда откидывал подножку кареты. То была лишь ничтожная дань Тебе, но дань искренняя. С той поры образ Твой запечатлен в моей груди. Не раз я целыми вечерами ходил взад и вперед по улице, против дома Джеллиби, для того лишь, чтобы смотреть на кирпичные стены, за которыми некогда пребывала Ты. Сегодня мне было абсолютно не нужно являться сюда, и если я все же явился под предлогом деловых переговоров, то этот предлог придумал я один ради Тебя одной. Если я говорю об интересах, то лишь для того, чтобы зарекомендовать себя и свою почтительную скорбь. Любовь была и есть превыше всего.

— Мне было бы больно обидеть вас, мистер Гаппи,— сказала я, вставая и берясь за шнурок от звонка,— как, впрочем, и любого другого правдивого человека; и я не могу отнестись пренебрежительно ни к какому искреннему чувству, как бы неприятно оно ни проявлялось. Если вы действительно хотели убедить меня в вашем добром мнении обо мне, пусть несвоевременно и неуместно, я все же нахожу, что мне следует вас поблагодарить. Мне нечем гордиться; и я не гордая. Надеюсь,— добавила я, не зная хорошенько, что говорю,— вы сейчас же удалитесь, забудете о том, что вели себя совершенно неразумно, и займетесь делами господ Кенджа и Карбоя.

— Полминуты, мисс! — воскликнул мистер Гаппи, останавливая меня, когда я потянулась к звонку.— Значит, все это не послужит мне во вред?

— Я никому ничего не скажу,— ответила я,— если только вы сами не подадите мне к этому повода.

— Четверть минуты, мисс! На случай, если вы передумаете — когда угодно, хотя бы в далеком будущем, неважно, ведь мои чувства все равно никогда не изменятся,— если вы иначе отнесетесь к моим словам, осо-

бенно насчет того, чего бы я ни сделал для вас... запомните адрес: мистер Уильям Гаппи, площадь Пентон-Плейс, дом восемьдесят семь, а в случае моего переезда или кончины (от погибших надежд и тому подобное), пишите в адрес миссис Гаппи, Олд-стрит-роуд, дом триста два.

Я позвонила, вошла горничная, а мистер Гаппи положил на стол свою визитную карточку и удалился с горестным поклоном. Когда он уходил, я подняла глаза и снова увидела, как он, уже на пороге, оглянулся и посмотрел на меня.

Я просидела в столовой еще час или больше, подводя итоги записям в книгах и счетам, и много успела сделать. Потом привела в порядок свой письменный стол и разложила все по местам, и была так спокойна и бодра, что мне даже казалось, будто я окончательно выбросила из головы этот неожиданный эпизод. Но, поднявшись в свою комнату, я, к собственному удивлению, рассмеялась, потом, к еще большему удивлению, расплакалась. Словом, я немного поволновалась, как будто в моей душе задели какую-то чувствительную струнку, связанную с моим прошлым,— задели так грубо, как этого еще не случалось ни разу с тех пор, как я зарыла в саду свою милую старую куклу.

ГЛАВА X

Переписчик судебных бумаг

На восточной стороне Канцлерской улицы, точнее — в переулке Кукс-Корт, выходящем на Карситор-стрит, торговец канцелярскими принадлежностями, мистер Снегсби, поставщик блюстителей закона, ведет свое дозволенное законом дело. Под сумрачной сенью Кукс-Корта, почти всегда погруженного в сумрак, мистер Снегсби торгует всякого рода бланками, потребными для судопроизводства, листами и свитками пергамента; бумагой — писчей, почтовой, вексельной, оберточной, белой, полубелой и промокательной; марками; канцелярскими гусиными перьями, стальными перьями, чернилами, резинками, копи-

ровальным угольным порошком, булавками, карандашами; сургучом и облатками; красной тесьмой и зелеными закладками; записными книжками, календарями, тетрадями для дневников и списками юристов; бечевками, линейками, чернильницами — стеклянными и свинцовыми, перочинными ножами, ножницами, шнуровальными иглами и другими мелкими металлическими изделиями, потребными для канцелярий,— словом, товарами столь разнообразными, что их не перечислить, и торгует он ими с тех пор, как отбыл срок ученичества и сделался компаньоном Пеффера. По этому случаю в Кукс-Корте произошла своего рода революция — новая вывеска, намалеванная свежей краской и гласившая: «Пеффер и Снегсби», заменила старую, с надписью «Пеффер» (только), освященную временем, но уже неразборчивую. Потому неразборчивую, что копоть — этот «плющ Лондона» — цепко обвилась вокруг вывески с фамилией Пеффера и прильнула к его жилищу, которое, словно дерево, сплошь обросло этим «привязчивым паразитом».

Самого Пеффера теперь в Кукс-Корте не видно. Да и нечего искать его здесь, ибо вот уже четверть столетия, как он покоится на кладбище Сент Эндрью, близ Холборна, под грохот подвод и наемных карет, раздающийся весь день и половину ночи и подобный реву громадного дракона. Если в те часы, когда дракон спит, мертвец и вылезает проветриться, если он и гуляет по Кукс-Корту, пока его не заставит вернуться на кладбище кукареканье жизнерадостного петуха, который почему-то,— интересно знать, почему? — неизменно предчувствует рассвет, хотя обитает в погребе маленькой молочной на Карситор-стрит, а значит, не может иметь почти никакого представления о дневном свете,— если Пеффер и навещает когда-нибудь скудно освещенный Кукс-Корт,— чего ни один владелец писчебумажной лавки не может категорически отрицать,— то он приходит незримо, никому не мешая, и никто об этом не знает.

Когда Пеффер еще не отжил своего срока, а Снегсби семь долгих лет «отбывал срок ученичества», у Пеффера, в той же писчебумажной лавке, жила его племянница — низенькая, хитрая племянница, перетянутая, пожалуй, слишком туго, и с острым носом, напоминающим о рез-

ком холоде осеннего вечера, который тем холоднее, чем он ближе к концу. Жители Кукс-Корта поговаривают, будто маменька этой племянницы, побуждаемая слишком ревностной заботливостью о том, чтобы фигура ее дочки достигла совершенства, с детских лет шнуровала ее сама каждое утро, упершись своей материнской ногой в ножку кровати для большей устойчивости; а еще говорят, будто она заставляла дочь принимать целыми пинтами уксус и лимонный сок, каковые кислоты, по общему мнению, «ударили» в нос и характер пациентки.

Но какой бы из многих языков Молвы ни породил эти вздорные слухи, они либо не дошли до ушей юного Снегсби, либо он пропустил их мимо ушей, а возмужав, посватался к обольстительному предмету этих слухов, получил согласие и заключил два союза сразу — и брачный и коммерческий. Итак, мистер Снегсби и племянница покойного Пеффера совместно проживают теперь в Кукс-Корте, переулке, выходящем на Карситор-стрит, и племянница по-прежнему дорожит своей фигурой, да и как не дорожить? — ведь эта фигура, правда, быть может, и не всем по вкусу, но бесспорно должна считаться драгоценной, хотя бы потому, что она так миниатюрна.

Мистер и миссис Снегсби, как муж и жена, считаются «единой плотью и кровью», а по мнению их соседей, и «единым голосом». Этот голос, впрочем звучащий из уст одной лишь миссис Снегсби, частенько слышен в Кукс-Корте. Мистера Снегсби же почти совсем не слышно, ибо чуть не все, что он хочет сказать, говорит за него своим сладостным голосом миссис Снегсби. Это смирный, лысый, робкий человек с блестящей плешью и крошечным пучком черных волос, торчащим на затылке. Он склонен к уступчивости и к полноте. Поглядите на него, когда он стоит на своем пороге в Кукс-Корте, одетый в серый рабочий сюртук с черными коленкоровыми нарукавниками, и созерцает облака, или когда он стоит в своей полутемной лавке с тяжелой плоской линейкой в руках и разрезает пергамент ножницами или ножом в обществе двух своих «мальчиков»-подмастерьев,— поглядите на него только, сразу скажете, что это исключительно скромный, непритязательный человек. В такие часы из-под пола, на котором он стоит, словно из могилы

визгливого призрака, мятущегося в гробу, нередко раздаются крики и вопли, испускаемые тем самым голосом, о котором говорилось выше, и когда звуки эти становятся необычно пронзительными, мистер Снегсби говорит своим подмастерьям:

— Должно быть, это моя крошечка распекает Гусю!

Уменьшительное имя, упоминаемое в подобных случаях мистером Снегсби, не раз возбуждало остроумие кукс-кортовцев, отмечавших, что имя это больше подошло бы к самой миссис Снегсби, которая столь криклива, что ее закономерно и очень метко можно было бы прозвать «гусыней». Однако это имя принадлежит и, если не считать жалованья — пятьдесят шиллингов в год — да крошечного сундучка с тряпками, является единственной собственностью некоей тощей молодой девицы из работного дома (как полагают, ее окрестили Августой), которая еще подростком была взята на воспитание, а точнее — напрокат или в аренду, одним добродушным благодетелем, обитающим в Тутинге, и, значит, несомненно, росла и развивалась в самых благоприятных условиях, но тем не менее «подвержена припадкам», а почему — этого приходский совет никак не может понять.

Гусе года двадцать три — двадцать четыре, но выглядит она на добрых десять лет старше, жалованье получает ничтожное — из-за своего необъяснимого недуга — и так боится вновь попасть в лапы своего бывшего покровителя, что работает без передышки, кроме как в те часы, когда лежит, уткнувшись головой в бадью, в помойное ведро, в котел, в блюдо, приготовленное к обеду,— словом, в то, что было поблизости, когда ее «схватило». Ею довольны родители и опекуны подмастерьев мистера Снегсби, ибо нечего бояться, что она внушит нежные чувства юным сердцам; ею довольна миссис Снегсби, которая всегда имеет возможность уличить ее в какой-нибудь оплошности; ею доволен мистер Снегсби, убежденный, что держит ее у себя только из милости. В глазах же Гуси жилище торговца канцелярскими принадлежностями — это храм изобилия и блеска. Маленькую гостиную наверху, с которой, если можно так выразиться, никогда не снимают папильоток и передника, иначе говоря — чехлов, Гуся почитает самой роскошной комнатой

во всем христианском мире. Вид, открывающийся из окон этой гостиной — с одной стороны на Кукс-Корт (и даже на кусочек Карситор-стрит), а с другой — на задний двор судебного исполнителя Ковинса,— кажется Гусе не имеющим себе равных по красоте. Висящие в этой гостиной написанные — и очень густо написанные — масляной краской портреты мистера Снегсби, взирающего на миссис Снегсби, и миссис Снегсби, взирающей на мистера Снегсби, в ее глазах — все равно что шедевры Рафаэля или Тициана. Итак, Гуся все-таки получает кое-какую награду за многие свои лишения.

Мистер Снегсби предоставил миссис Снегсби ведать всеми теми их делами, которые не имеют отношения к таинствам его торгового предприятия. Она расходует деньги по своему усмотрению, бранится со сборщиками налогов, назначает время и место воскресных молений, контролирует развлечения мистера Снегсби и не желает признавать себя ответственной за провизию, которую выбирает к обеду; поэтому ей завидуют жены во всем околотке,— то есть по обеим сторонам Канцлерской улицы на всем ее протяжении и даже за ее пределами, на Холборне,— и жены эти во время всех домашних сражений обычно просят своих мужей заметить, как отличается их (жен) положение от положения миссис Снегсби, а также их (мужей) поведение от поведения мистера Снегсби. Молва, которая, словно летучая мышь, вечно носится над Кукс-Кортом, шмыгая из окна в окно, утверждает, будто миссис Снегсби ревнива и въедливо любопытна, а мистера Снегсби она изводит так, что ему иной раз приходится бежать вон из дому, и обладай он хотя бы мышиной храбростью, он бы этого не потерпел. Говорят даже, будто жены, которые ставят его в пример своим своевольным мужьям, сами в глубине души смотрят на него свысока, а больше всех его презирает некая госпожа, чей господин и повелитель не без основания заподозрен в том, что он иной раз «учит» свою супругу, причем орудием этого «учения» ему служит собственный зонт. Но все эти смутные слухи, быть может, возникли потому, что мистер Снегсби, в своем роде человек скорее созерцательного и поэтического склада,— летней порой он не прочь прогуляться по Степл-Инну и отметить, что воробьи и листва

«выглядят совсем как в деревне»; а по воскресным дням он любит прохаживаться по Ролс-Ярду * и (если он в хорошем расположении духа) разглагольствовать о том, что некогда были древние времена, и чтоб ему провалиться, если под этой часовней не окажется парочки каменных гробов, стоит только копнуть поглубже. Далее, он тешит свое воображение мыслями о бесчисленных, уже усопших канцлерах, вице-канцлерах и государственных архивариусах и так остро ощущает прелесть сельской природы, рассказывая обоим подмастерьям о том, что некогда, как он слышал своими ушами, ручей «прозрачный, как «хрусталл», бежал посередине Холборна, а на Рогатке * действительно была рогатка, и дорога оттуда пролегала прямо по лугам,— так остро ощущает прелесть сельской природы, что не испытывает никакого желания очутиться среди этой природы.

День подходит к концу, газ зажжен, но светит он не очень ярко, так как еще не совсем стемнело. Мистер Снегсби стоит у дверей своей лавки, взирая на облака, и видит поздно вылетевшую куда-то ворону, которая мчится на запад по кусочку неба, принадлежащему Кукс-Корту. Ворона пересекла Канцлерскую улицу и сад Линкольнс-Инна и теперь летит прямо на Линкольнс-Инн-Филдс — Линкольновы поля *.

Здесь в большом доме, некогда роскошном особняке, живет мистер Талкингхорн. Теперь особняк сдается внаем под юридические конторы, и в этих обшарпанных обломках его величия, как черви в орехах, засели юристы. Но просторные его лестницы, коридоры и вестибюли остались неизменными; сохранились и расписные потолки, в том числе потолок, на котором изображена некая «Аллегория» — воин в римском шлеме и небесно-голубой тоге, разлегшийся среди балюстрад, колонн, цветов, облаков и толстоногих младенцев и раздражающий зрителя до головной боли, что в той или иной степени, видимо, является целью всех Аллегорий. Здесь, среди своих многочисленных железных ящиков, на которых начертаны знатнейшие имена, всегда пребывает мистер Талкингхорн, если не считать тех дней, когда он гостит, помалкивая, но чувствуя себя как дома, в поместьях, где великие мира сего до смерти замучены скукой. Здесь он и нынче спокойно

сидит за столом. Устрица старого закала, раковины которой никто не может открыть.

В сумерках этого вечера жилище его смахивает на него самого. И он и оно обветшали, не гонятся за модой, не бросаются в глаза,— они могут позволить себе все это. Мистера Талкингхорна окружают тяжелые, старомодные, с широкими спинками, набитые волосом кресла красного дерева, сдвинуть которые нелегко; старинные столы с веретенообразными тонкими ножками, покрытые пыльными суконными скатертями; полученные в подарок гравированные портреты носителей громких титулов — и ныне здравствующих носителей и их отцов. Толстый полинявший турецкий ковер устилает пол под столом, за которым сидит хозяин при свете двух свечей в старомодных серебряных подсвечниках,— свечей, слишком скудно освещающих эту большую комнату. Названия его книг на корешках скрыты переплетом; все, что можно запереть, заперто; нигде не видно ни одного ключа. На виду лишь две-три бумаги. На столе под рукой у мистера Талкингхорна лежит какая-то рукопись, но он на нее не смотрит. Вооружившись круглой крышкой от чернильницы и двумя кусочками сургуча, он молча и неторопливо старается решить какую-то еще не решенную задачу. Он кладет прямо перед собой то крышку от чернильницы, то кусочек красного сургуча, то кусочек черного. Нет, не то! Мистер Талкингхорн вынужден все смешать и начать сызнова.

Здесь, под расписным потолком с Аллегорией — изображенным в ракурсе римлянином, который пристально смотрит вниз и, кажется, вот-вот ринется на того, кто вторгся в его владения, тогда как тот не обращает на него никакого внимания,— здесь обитает мистер Талкингхорн и помещается его контора. У него нет служащих, если не считать человека средних лет во фраке с немного продранными локтями, который сидит на высоком деревянном диване в передней и лишь редко бывает слишком обременен работой. Мистер Талкингхорн не такой юрист, как все. Клерков ему не нужно. Он — великий хранитель чужих исповедей, с которыми надо обращаться бережно. Его клиенты нуждаются только *в нем самом,* и он сам делает для них все. Документы, которые ему нужно составить, составляются в Тэмпле специальными

юрисконсультами по его тайным указаниям; точные копии, которые ему нужно снять, снимают в писчебумажной лавке, как бы дорого это ни обходилось. Человек средних лет, сидящий на деревянном диване, осведомлен о делах знати не больше, чем любой уличный метельщик на Холборне.

Кусочек красного сургуча, кусочек черного, крышка от чернильницы, крышка от другой чернильницы, маленькая песочница. Так! Это — в середину, это — направо, это — налево. Надо обязательно решить задачу, теперь или никогда... Теперь! Мистер Талкингхорн поднимается, поправляет очки, надевает цилиндр, кладет рукопись в карман, выходит из комнаты, говорит человеку средних лет во фраке с продранными локтями: «Я скоро вернусь». Он лишь очень редко говорит ему что-нибудь более определенное.

Мистер Талкингхорн направляется в ту сторону, откуда прилетела ворона,— не столь прямым путем, как она, но почти,— к переулку Кукс-Корту, выходящему на Карситор-стрит. Идет он в лавку с вывеской: «Снегсби. Торговля канцелярскими принадлежностями; переписка крупным почерком и копировка документов; переписка всевозможных судебных бумаг...», и прочее, и прочее, и прочее.

Сейчас что-то около пяти или шести часов вечера, и в Кукс-Корте веет тонким благоуханием горячего чая. Веет им и у дверей мистера Снегсби. День тут начинается и кончается рано — обедают в половине второго, ужинают в половине десятого. Когда мистер Снегсби давеча выглянул на улицу и увидел запоздавшую ворону, он уже собирался спуститься в свое «подземелье», чтобы попить чайку.

— Хозяин дома?

Гуся сторожит лавку, так как подмастерья пьют чай вместе с мистером и миссис Снегсби; поэтому обе дочки портного — специалиста по судейским мантиям,— которые сейчас расчесывают свои локоны перед двумя зеркалами, за двумя окнами, во втором этаже дома напротив, никак не могут отвлечь обоих подмастерьев от работы, на что они обе лелеют надежду, но всего-навсего возбуждают ненужное им восхищение Гуси, чьи волосы не ра-

стут, никогда не росли и, по общему убеждению, никогда не будут расти.

— Хозяин дома? — спрашивает мистер Талкингхорн.

Хозяин дома, и Гуся сейчас сходит за ним. Гуся исчезает, радуясь случаю выбраться из лавки, ибо лавка эта вызывает в ее душе смешанное чувство страха и благоговения, представляясь ей каким-то складом устрашающих орудий жестокой пытки, которой суд подвергает тяжущихся,— местом, куда лучше не входить после того, как потушен газ.

Приходит мистер Снегсби, засаленный, распаренный, пахнущий «китайской травкой» и что-то жующий. Старается поскорей проглотить кусочек хлеба с маслом. Говорит:

— Вот так неожиданность, сэр! Да это мистер Талкингхорн!

— Хочу сказать вам несколько слов, Снегсби.

— Пожалуйста, сэр! Но, господи, сэр, почему вы не послали за мной вашего служителя? Извольте, сэр, пройти в заднюю комнату.

Снегсби моментально оживился.

Тесная комнатушка, вся пропахшая салом пергамента, служит и складом товаров, и конторой, и мастерской, где переписывают бумаги. Обежав ее взглядом, мистер Талкингхорн садится на табурет у конторки.

— Я насчет тяжбы «Джарндисы против Джарндисов», Снегсби.

— Да, сэр?

Мистер Снегсби зажигает газ и, скромно предвкушая барыш, кашляет в руку. Надо сказать, что мистер Снегсби, по робости характера, не любит много говорить и, чтобы избежать лишних слов, научился придавать самые разнообразные выражения своему кашлю.

— У вас на днях снимали для меня копии с некоторых свидетельских показаний по этому делу?

— Да, сэр, снимали.

— Одна из этих копий,— говорит мистер Талкингхорн (устрица старого закала, так крепко стиснувшая створки своей раковины, что никто не может ее открыть!) и небрежно ощупывает не тот карман, в какой сунул рукопись,— одна из этих копий переписана своеобразным

ночерком, и он мне понравился. Я шел мимо вас, подумал, что она при мне, и вот зашел спросить... но, оказывается, я не взял ее с собою. Все равно, когда-нибудь потом... А, вот она!.. Скажите, кто это переписывал?

— Кто переписывал, сэр? — повторяет мистер Снегсби, взяв рукопись и разгладив ее на пюпитре; потом берет ее левой рукой и сразу отделяет друг от друга все листы одним поворотом кисти, как умеют делать торговцы канцелярскими принадлежностями.— Мы отдали эту работу на сторону, сэр. Как раз тогда нам пришлось отдать много переписки на сторону. Я сию минуту скажу вам, кто переписывал это, сэр,— вот только посмотрю в торговой книге.

Мистер Снегсби берет книгу из несгораемого шкафа, снова старается проглотить кусок хлеба с маслом, который, должно быть, застрял у него в горле, и, косясь на копию свидетельских показаний, водит правым указательным пальцем по странице сверху вниз.

— Джуби... Пекер... Джарндис... Джарндис! Нашел, сэр,— говорит мистер Снегсби.— Ну конечно! Как это я запамятовал! Эту работу, сэр, сдали одному переписчику, который живет по соседству с нами, по ту сторону Канцлерской улицы.

Мистер Талкингхорн уже увидел запись в книге,— нашел ее раньше, чем мистер Снегсби, и успел прочесть за то время, пока указательный палец полз вниз по странице.

— *Как* его фамилия? Немо? — спрашивает юрист.

— Немо, сэр. Вот что у меня записано. Сорок два полулиста. Отданы в переписку в среду, в восемь часов вечера; получены в четверг, в половине десятого утра.

— Немо! — повторяет мистер Талкингхорн.— «Немо» по-латыни значит «никто».

— А по-английски это, вероятно, значит «некто», сэр,— вежливо объясняет мистер Снегсби, почтительно покашливая.— Это просто фамилия. Вот видите, сэр! Сорок два полулиста. Сдано: среда, восемь вечера; получено: четверг, половина десятого утра.

Уголком глаза мистер Снегсби увидел голову миссис Снегсби, заглянувшей в дверь лавки, чтобы узнать, почему он сбежал во время чаепития. И мистер Снегсби

кашляет в сторону миссис Снегсби, как бы желая ей объяснить: «Заказчик, душенька!»

— В половине десятого, сэр,— повторяет мистер Снегсби.— Наши переписчики, те, что занимаются сдельной работой, довольно-таки странные люди, и возможно, что это не настоящая его фамилия; но так он себя называет. Теперь я припоминаю, сэр, что так он подписывается на рукописных объявлениях, которые расклеил в Рул-офисе, в Суде королевской скамьи *, в камерах судей и прочих местах. Вам знакомы такого рода объявления, сэр: «Ищу работы...»?

Мистер Талкингхорн смотрит в окошко на задний двор судебного исполнителя Ковинса и на его освещенные окна. Столовая у Ковинса расположена в задней части дома, и тени нескольких джентльменов, попавших в переплет, переплетаясь, маячат на занавесках. Мистер Снегсби пользуется случаем чуть-чуть повернуть голову, взглянуть на свою «крошечку» через плечо и, еле шевеля губами, объяснить ей в свое оправдание, что это — «Тал-кинг-хорн... бо-гатый... вли-я-тель-ный!»

— А раньше вы давали работу этому человеку? — спрашивает мистер Талкингхорн.

— Ну конечно, сэр. В том числе и ваши заказы.

— Как вы сказали, где он живет? Я задумался о более важных вопросах и прослушал.

— По ту сторону Канцлерской улицы, сэр. Говоря точнее,— мистер Снегсби снова делает глотательное движение, словно никак не может одолеть кусочек хлеба с маслом,— он снимает комнату у одного старьевщика.

— Можете вы немного проводить меня и показать этот дом?

— С величайшим удовольствием, сэр!

Мистер Снегсби снимает нарукавники и серый сюртук, надевает черный сюртук, снимает с вешалки свой цилиндр.

— А! Вот и моя женушка,— говорит он громко.— Будь добра, дорогая, прикажи мальчику присмотреть за лавкой, покуда я провожу на ту сторону мистера Талкингхорна. Позвольте представить вам миссис Снегсби, сэр... Я вернусь сию минуту, душенька!

Миссис Снегсби кланяется юристу, удаляется за прилавок, следит за спутниками из-за оконной занавески,

крадется в заднюю комнатку, просматривает записи в книге, которая осталась открытой. Ее любопытство явно возбуждено.

— Дом, как вы сами увидите, сэр, очень уж неказистый,— говорит мистер Снегсби, почтительно уступив узкий мощеный тротуар юристу и шагая по мостовой,— да и человек этот, то есть переписчик, тоже очень неказистый. Впрочем, все они какие-то дикие, сэр. Этот хорош хоть тем, что может совсем не спать. Прикажите, и он будет писать без передышки.

Теперь уже совсем стемнело, и газовые фонари горят ярко. Натыкаясь на клерков, спешащих отправить по почте дневную корреспонденцию, на адвокатов и поверенных, возвращающихся домой обедать, на истцов, ответчиков, всякого рода жалобщиков и толпу простых людей, чей путь вековая судебная мудрость перегородила миллионом препятствий и, мешая им выполнять их самые несложные будничные дела, заставляет этих людей вязнуть в трясине судов «общего права» и «справедливости» и в той родственной ей таинственной уличной грязи, которая создается неизвестно из чего и которой мы обрастаем неизвестно когда и как,— а мы вообще знаем о ней только то, что, когда ее накопится слишком много, мы считаем нужным ее отгрести,— натыкаясь на всех этих встречных, поверенный и владелец писчебумажной лавки подходят к лавке старьевщика — складу бросовых, никому не нужных товаров,— расположенной у стены Линкольнс-Инна и принадлежащей, как объясняет вывеска всем тем, кого это может интересовать, некоему Круку.

— Вот где он живет, сэр,— говорит торговец канцелярскими принадлежностями.

— Значит, вот где он живет? — равнодушно повторяет юрист.— Благодарю вас, до свиданья.

— Разве вы не хотите войти, сэр?

— Нет, спасибо, не хочу; я пройду прямо домой, на Линкольновы поля. Спокойной ночи. Благодарю вас!

Мистер Снегсби приподнимает цилиндр и возвращается к своей «крошечке» и своему чаю.

Но мистер Талкингхорн не идет домой на Линкольновы поля. Он проходит немного вперед, поворачивает назад, возвращается к лавке мистера Крука и входит в

нее. В лавке полутемно; на подоконниках стоят две-три нагоревшие свечи; старик хозяин с кошкой на коленях сидит в глубине комнаты у огня. Старик поднимается и, взяв нагоревшую свечу, идет навстречу гостю.

— Скажите, ваш жилец дома?

— Жилец или жилица, сэр? — переспрашивает мистер Крук.

— Жилец. Тот, что занимается перепиской.

Мистер Крук уже хорошо рассмотрел гостя. Он знает юриста в лицо. Имеет смутное представление о его аристократических связях.

— Вы хотите его видеть, сэр?

— Да.

— Я сам вижу его редко,— говорит мистер Крук, ухмыляясь.— Может, вызвать его сюда, вниз? Только вряд ли он придет, сэр!

— Тогда я поднимусь к нему,— говорит мистер Талкингхорн.

— Третий этаж, сэр. Возьмите свечу. Сюда, наверх!

Мистер Крук, стоя с кошкой на нижней ступеньке лестницы, смотрит вслед мистеру Талкингхорну.

— Ха! — бурчит он, когда мистер Талкингхорн уже почти исчез из виду.

Юрист смотрит вниз, перегнувшись через перила. Кошка, злобно разинув пасть, шипит на него.

— Брысь, Леди Джейн! Веди себя прилично при гостях, миледи! А вы знаете, что говорят о моем жильце? — шепчет Крук, поднимаясь на одну-две ступеньки.

— Что же о нем говорят?

— Говорят, будто он продал душу дьяволу; но мы-то с вами знаем, что это чушь — ведь тот ничего не покупает. И все-таки вот что я вам скажу: жилец мой такой мрачный, такой угрюмый человек, что он, чего доброго, мог бы пойти на подобную сделку. Не раздражайте его, сэр. Вот мой совет!

Кивнув головой, мистер Талкингхорн продолжает свой путь. Он подходит к темной двери на третьем этаже. Стучит, не получает ответа, открывает дверь и, открывая ее, нечаянно гасит свечу.

Впрочем, воздух в каморке такой спертый, что свеча могла бы и сама здесь погаснуть. Каморка тесная, почти

черная от копоти, сажи и грязи. На ржавом остове каминной решетки, помятой в середине,— как будто сама Бедность вцепилась в нее когтями,— тускло рдеет красное пламя догорающего кокса. В углу у камина стоит дощатый сосновый стол со сломанным пюпитром — пустыня, испещренная пятнами от чернильного дождя. В другом углу потертый, старый чемодан лежит на одном из двух стульев, заменяя комод или гардероб; и, как он ни мал, большего, очевидно, не требуется — ведь и у этого стенки ввалились, как щеки голодающего. На полу ничего нет, если не считать старой полусгнившей циновки у камина, до того истоптанной, что веревка, из которой она сплетена, вся разлезлась. На окне нет занавесок, и ночную тьму прикрывают только облупившиеся ставни; они закрыты, и чудится, будто через две прорезанные в них узкие дыры в комнату заглядывает голод, подобно фее, предвещающей смерть человеку на койке.

Да, против камина стоит низкая койка, на которой в беспорядке валяются грязное лоскутное одеяло, тощий тюфяк из полосатого тика и грубая холстинная простыня, и поверенный, нерешительно остановившийся в дверях, видит на этой койке человека. Человек лежит в рубашке и штанах; ноги у него босые. Лицо его кажется желтым при мертвенно-тусклом свете свечи, которая совсем оплыла, так что вокруг загнувшегося (но все еще тлеющего) фитиля выросло что-то вроде белой башенки. Волосы у человека растрепаны и спутались с бакенбардами и бородой, борода тоже растрепанная и такая же запущенная, как и все вокруг. Каморка такая промозглая и затхлая, и воздух в ней такой промозглый и затхлый, что нелегко разобрать, какие запахи здесь больше всего терзают обоняние; но в тошнотворном спертом воздухе, насыщенном застоявшимся табачным дымом, юрист различает терпкий, приторный запах опиума.

— Эй, приятель! — окликает он человека и стучит железным подсвечником в створку двери.

Ему кажется, что он разбудил своего приятеля. Тот лежит, слегка повернувшись к стене, но глаза у него широко открыты.

— Эй, приятель! — снова окликает его юрист.— Эй, вы, проснитесь!

Он колотит по двери, а свеча, так долго оплывавшая, гаснет, оставляя его во тьме, и только узкие глаза ставен пристально смотрят на койку.

ГЛАВА XI

Возлюбленный брат наш

Поверенный стоит в темной комнате, не зная, как поступить, но вот кто-то прикасается к его морщинистой руке, и он, вздрогнув, спрашивает:

— Кто тут?

— Это я,— отвечает старик хозяин, дыша ему в ухо.— Ну что, не добудились?

— Нет.

— А где же ваша свечка?

— Погасла. Вот она.

Крук, взяв у него из рук погасшую свечу, подходит к камину и, нагнувшись, старается зажечь ее о красные угольки, еще тлеющие в золе. Но они почти догорели, и фитиль не зажигается. Окликнув жильца, но не получив ответа, он бормочет, что сейчас принесет зажженную свечу из лавки, и уходит. Мистер Талкингхорн, движимый какими-то новыми соображениями, решил не оставаться в комнате, пока не вернется хозяин, и выходит на площадку.

Вскоре желанный свет озаряет стены,— это Крук медленно поднимается по лестнице вместе со своей зеленоглазой кошкой, которая идет за ним следом.

— Он всегда так спит? — спрашивает юрист вполголоса.

— Ха! Не знаю,— отвечает Крук, качая головой и поднимая брови.— Я почти ничего о нем не знаю,— очень уж он нелюдимый.

Перешептываясь, они вместе входят в комнату. При свете свечи огромные глаза ставен тускнеют и как будто закрываются. Но не закрываются глаза человека на койке.

— Боже мой! — восклицает мистер Талкингхорн.— Да он умер!

Крук, приподнявший было тяжелую руку лежащего, мгновенно роняет ее, и она, упав, свешивается с койки.

С минуту они молча смотрят друг на друга.

— Пошлите за доктором! Позовите мисс Флайт, сэр,— она живет выше! Смотрите — у постели яд! Позовите же Флайт, будьте добры! — просит Крук, раскинув тощие руки и наклонившись над телом, словно летучая мышь с распростертыми крыльями.

Мистер Талкингхорн, выбежав на площадку лестницы, кричит:

— Мисс Флайт! Флайт! Скорей сюда, как вас там? Флайт!

Крук следит за ним глазами и, в то время как юрист зовет мисс Флайт, пользуется возможностью подкрасться к старому чемодану и потом прокрасться на прежнее место.

— Скорее, Флайт, скорее! Сбегайте за доктором! Бегите же! — торопит мистер Крук полоумную старушку, свою жилицу, а та, мгновенно появившись и столь же мгновенно исчезнув, вскоре возвращается в сопровождении раздраженного медика, которому она помешала обедать,— мужчины с заметно потемневшей от нюхательного табака верхней губой и заметным шотландским акцентом.

— Эге! Вот так история! — говорит медик, быстро осмотрев тело и подняв глаза.— Да он мертв, как фараонова мумия!

Мистер Талкингхорн (стоя возле старого чемодана) спрашивает, когда именно этот человек скончался.

— Когда, сэр? — говорит медик.— Пожалуй, уже часа три тому назад.

— И мне так кажется,— подтверждает смуглый молодой человек, который только что пришел и стоит по ту сторону койки.

— А вы тоже доктор, сэр? — спрашивает первый медик.

Смуглый молодой человек отвечает утвердительно.

— Ну, так я уйду,— говорит тот,— потому что мне тут делать нечего!

И, закончив этими словами свой краткий визит, он уходит доедать обед.

Смуглый молодой врач водит свечой перед лицом переписчика, потом тщательно осматривает того, кто оправдал выбор своего псевдонима, действительно сделавшись Никем.

— Я хорошо знал его в лицо,— говорит молодой врач.— Последние полтора года он покупал у меня опиум. Может быть, кто-нибудь из вас ему сродни? — спрашивает он, оглядывая всех троих.

— Он снимал у меня комнату,— угрюмо отвечает Крук, взяв свечу, которую протянул ему врач.— Как-то раз он сказал мне, что у него нет родных, так что самый близкий ему человек — это я.

— Он умер от слишком большой дозы опиума,— говорит врач,— в этом сомневаться не приходится. Комната вся пропахла опиумом. Да вот еще сколько осталось,— добавляет он, взяв из рук мистера Крука чайник,— человек десять отравить можно.

— А как по-вашему, он это — нарочно? — спрашивает Крук.

— Принял слишком большую дозу?

— Да!

Крук чуть не чмокнул губами, так он смакует все происходящее, сгорая от отвратительного любопытства.

— Не могу сказать. По-моему, это маловероятно — ведь он привык к таким дозам. Но наверное знать нельзя. Очевидно, он очень нуждался?

— Очевидно. В комнате у него... не особенно богато,— говорит Крук, окинув каморку острыми глазами; а глаза у него сейчас точь-в-точь такие, как у его кошки.— Впрочем, я к нему сюда не заходил с тех пор, как он ее снял, а сам он был очень уж нелюдимый — никогда не говорил о себе.

— Он задолжал вам за квартиру?

— За шесть недель.

— Ну, этого долга он не заплатит,— говорит молодой человек, закончив осмотр.— Он и вправду мертв, как фараонова мумия, да оно, пожалуй, и лучше — смотрите, какой у него вид, как он жил... вот уж можно сказать — отмучился! А ведь в молодости он, наверное, вращался в

хорошем обществе, может быть даже был красавцем.— Сидя на краю койки, врач говорит все это сочувственным тоном, обернувшись к покойнику и положив руку ему на грудь.— Помнится, я как-то раз подумал, что он хоть и грубоват, а манеры у него как у светского человека, который скатился на дно. Так оно и было? — спрашивает он, оглядывая присутствующих.

Крук отвечает:

— Почем я знаю? Вы бы еще спросили меня о тех дамах, чьи волосы хранятся у меня внизу в мешках. Он полтора года квартировал у меня и жил — или не жил — перепиской, вот и все, что я о нем знаю.

Во время этого разговора мистер Талкингхорн, заложив руки за спину, стоит возле старого чемодана, явно не разделяя ни одного из трех разных чувств, которые владеют людьми, стоящими у койки,— ни профессионального интереса к смерти вообще, который испытывает молодой врач, независимо от того, что он говорит о покойнике; ни острого любопытства старика; ни ужаса полоумной старушки. Невозмутимое лицо юриста так же невыразительно, как его поношенный костюм. Трудно даже сказать, думал ли он в течение всего этого времени. Ничего нельзя заметить в его чертах —ни терпения, ни нетерпения, ни внимания, ни рассеянности. Видна только его внешняя оболочка. Однако легче судить о свойствах хорошего музыкального инструмента по его футляру, чем о свойствах мистера Талкингхорна по *его* футляру.

Но вот он вмешивается в разговор, обращаясь к молодому врачу, как всегда, спокойным профессиональным тоном.

— Я зашел сюда,— начинает он,— как раз перед тем, как пришли вы, потому что хотел дать покойному, которого вижу впервые, работу по переписке. Я слышал о нем от своего поставщика — от Снегсби, что имеет лавку в Кукс-Корте. Поскольку никто здесь ничего не знает об умершем, следует послать за Снегсби. А, это вы? — обращается он к полоумной старушке, которую часто видел в суде и которая сама часто видела его в суде, а теперь, перепуганная до того, что потеряла дар речи, мимикой предлагает пойти за торговцем канцелярскими принадлежностями.— Сходите-ка вы за ним!

В ее отсутствие врач, прекратив бесплодное исследование, покрывает тело лоскутным одеялом. Он обменивается несколькими словами с мистером Круком. Мистер Талкингхорн не говорит ничего, но не отходит от старого чемодана.

Мистер Снегсби быстро прибегает, не успев даже снять серый сюртук и черные нарукавники.

— Боже мой, боже мой,— лепечет он,— надо же было до этого дойти, а? Подумать только!

— Вы можете дать хозяину дома какие-нибудь сведения об этом несчастном, Снегсби? — спрашивает мистер Талкингхорн.— Он, кажется, остался должен за квартиру. И его, разумеется, нужно похоронить.

— Но, сэр,— отзывается мистер Снегсби, покашливая в руку с извиняющимся видом.— Я, право, не знаю, что̀ посоветовать... вот разве только послать за приходским надзирателем.

— Не в советах дело,— говорит мистер Талкингхорн.— Совет мог бы дать и я...

— Конечно, сэр, кому и советовать, как не вам,— вставляет мистер Снегсби, покашливая почтительно.

— Дело в том, что вы, может быть, знаете что-нибудь о его родных, или о том, откуда он прибыл, или вообще о чем-нибудь таком, что имеет к нему отношение.

— Уверяю вас, сэр,— отвечает мистер Снегсби, умоляюще кашлянув,— о том, откуда он прибыл, я знаю не больше, чем о том...

— Куда он отбыл,— подсказывает врач, приходя ему на помощь.

Молчание. Мистер Талкингхорн смотрит на торговца. Мистер Крук, разинув рот, ожидает, чтобы кто-нибудь заговорил опять.

— А насчет его родных, сэр,— говорит мистер Снегсби,— то скажи мне кто-нибудь: «Снегсби, вот двадцать тысяч фунтов лежат для вас наготове в Английском банке *, назовите только хоть одного его родственника» — и я не мог бы назвать ни одного, сэр! Года полтора назад, помнится, как раз в то время, когда он снял комнату здесь, у старьевщика...

— В это самое время,— подтверждает Крук, кивнув головой.

— Года полтора назад,— продолжает мистер Снегсби, ободренный поддержкой,— он пришел к нам как-то раз утром, после первого завтрака, застал мою крошечку (это я так называю миссис Снегсби) в лавке, показал ей образец своего почерка и объяснил, что ищет работы по переписке и, говоря напрямик,— излюбленное выражение мистера Снегсби, которое он всегда произносит с какой-то убедительной искренностью, как бы извиняясь за свою прямоту,— говоря напрямик, признался, что очень нуждается. Моя женушка вообще недолюбливает незнакомцев, особенно, говоря напрямик, если им что-нибудь нужно. Но этот человек ее почему-то растрогал,— то ли потому, что он давно не брился, то ли потому, что волосы у него были растрепаны, или еще по каким-нибудь там дамским соображениям,— не знаю, судите сами,— но так или иначе, она взяла у него и образец почерка и адрес. Моя женушка плохо запоминает фамилии,— продолжает мистер Снегсби, снисходительно кашлянув в руку,— он сказал, что его зовут Немо, а она не расслышала и подумала, что Нимродом *. И вот с тех пор все, бывало, твердит мне за обедом и завтраком: «Снегсби, что ж это ты еще не нашел работы для Нимрода!» или: «Снегсби, почему ты не дал Нимроду переписывать эти тридцать восемь полулистов из дела Джарндисов?» — и тому подобное. Ну вот, так он и начал мало-помалу выполнять сдельную работу для нас, и это все, что я о нем знаю, кроме того, что работал он быстро и не отказывался от ночной работы, так что если, бывало, сдашь ему, скажем, сорок пять полулистов в среду вечером, так он принесет их в четверг утром. И все это,— заключает мистер Снегсби, почтительно указывая цилиндром на койку,— мой уважаемый знакомый, несомненно, подтвердил бы, если бы мог.

— Надо бы вам посмотреть,— обращается мистер Талкингхорн к Круку,— не осталось ли после него каких-нибудь бумаг; может быть, вам удастся что-нибудь узнать из них. О его смерти произведут дознание, и вас будут допрашивать. Вы грамотный?

— Нет, неграмотный,— отвечает старик и вдруг усмехается.

— Снегсби,— говорит мистер Талкингхорн,— осмот-

рите комнату вместо него. А не то он может попасть в беду, нажить себе неприятность. Я подожду, раз уж я здесь,— только не мешкайте,— а потом засвидетельствую, если потребуется, что обыск был произведен правильно, законным образом. Посветите мистеру Снегсби, любезный, а он быстро узнает, нет ли здесь чего-нибудь такого, что могло бы вам помочь.

— Во-первых, тут имеется старый чемодан, сэр,— говорит Снегсби.

А, верно, чемодан! Мистер Талкингхорн как будто не замечал его раньше, хотя стоит совсем рядом, а в каморке почти ничего больше нет.

Старьевщик держит свечу, торговец производит обыск. Врач прислонился к углу камина, мисс Флайт, трепеща, выглядывает из-за двери. Закаленный опытом старый юрист старого закала в тускло-черных коротких штанах, завязанных лентами у колен, в просторном черном жилете, в черном фраке со слишком длинными рукавами, в шейном платке, слабо свернутом мягким жгутом и завязанном узлом того особенного фасона, который так хорошо знаком всей знати, стоит на том же самом месте и в той же самой позе.

В старом чемодане лежат какие-то лохмотья; пачка квитанций ссудной кассы — этих расписок в получении проездных пошлин у застав на пути к Нищете; смятая бумажка, пахнущая опиумом, с нацарапанными на ней краткими записями, начатыми недавно, очевидно с намерением вести их регулярно, но скоро заброшенными: в такой-то день принято столько-то гранов, в такой-то — на столько гранов больше; несколько запачканных вырезок из газет с отчетами о дознаниях коронера * по делам о смертях, вызванных неизвестной причиной; больше ничего нет. Обыскивают посудный шкаф и ящик забрызганного чернилами стола. Нигде нет ни обрывка старого письма или вообще бумаги, на которой было бы написано хоть слово. Молодой врач осматривает платье, в которое одет переписчик. Перочинный нож и несколько полупенсов — вот все, что он находит. Таким образом, предложение мистера Снегсби оказалось единственным разумным предложением, и решено вызвать приходского надзирателя.

Маленькая полоумная жилица отправляется за надзирателем, а все остальные выходят из каморки.

— Нельзя же оставлять здесь кошку! — говорит врач.— Это не годится!

Мистер Крук гонит кошку перед собой, а она крадется вниз, виляя гибким хвостом и облизываясь.

— До свидания! — говорит мистер Талкингхорн и возвращается домой к Аллегории и своим размышлениям.

Тем временем новость успела облететь весь переулок. Обыватели собираются кучками, чтобы обсудить происшествие, и высылают авангард разведчиков (главным образом мальчишек) к окнам мистера Крука, которые подвергаются осаде. Полисмен уже поднялся в комнату умершего и снова спустился, а теперь стоит, как башня, у входа в лавку, лишь изредка удостаивая взглядом мальчишек, копошащихся у его подножия; но сто̀ит ему на них взглянуть, как они пугаются и отступают в замешательстве. Миссис Перкинс, которая несколько недель не разговаривала с миссис Пайпер,— ибо между ними возникли недоразумения из-за того, что маленький Перкинс «дал затрещину» маленькому Пайперу,— миссис Перкинс пользуется этим знаменательным случаем, чтобы возобновить дружеские отношения с соседкой. Молодой слуга из углового трактира, привилегированный любитель полицейского искусства, по должности своей обязанный знать жизнь и порой расправляться с пьяницами, обменивается конфиденциальными сообщениями с полисменом, напустив на себя неуязвимый вид молодца, которого не смеют коснуться полицейские дубинки и которого нельзя забрать в полицейский участок. Люди, высунувшись из окон, переговариваются через переулок, и простоволосые разведчицы прибегают с Канцлерской улицы узнать, что случилось. По-видимому, все охвачены одним чувством — слава тебе господи, что не мистер Крук первый приказал долго жить,— но чувство это не лишено доли вполне понятного сожаления о том, что случилось так, а не наоборот. В разгаре этих волнений появляется приходский надзиратель.

Обычно во всем околотке приходского надзирателя считают ни на что не нужным должностным лицом, но сейчас он пользуется некоторой популярностью хотя бы

уж потому, что скоро увидит мертвое тело. Полисмен смотрит на него, как на болвана-штатского,— на пережиток варварской эпохи уличных сторожей,— но все-таки разрешает войти этому официальному лицу, с которым приходится считаться, пока правительство не упразднит его должности. Волнение нарастает по мере того, как из уст в уста все дальше передаются слухи о том, что приходский надзиратель прибыл и вошел в дом.

Вскоре надзиратель выходит, снова возбуждая волнение обывателей, которые в его отсутствие несколько успокоились. Он объявляет, что для завтрашнего дознания требуются свидетели, которые могут сообщить коронеру и присяжным какие-либо сведения о покойном. Ему немедленно называют многочисленных свидетелей, которые ровно ничего не могут сообщить. Еще больше его сбивают с толку, то и дело твердя, что сын миссис Грин сам был «переписчиком судебных бумаг и знал покойника как свои пять пальцев», но по расследовании выясняется, что упомянутый сын миссис Грин сейчас находится на борту корабля, три месяца назад отплывшего в Китай; впрочем, снестись с ним можно по телеграфу, испросив на то разрешения у адмиралтейства. Приходский надзиратель обходит все местные лавки и квартиры, чтобы допросить жителей, а войдя в какой-нибудь дом, всякий раз первым делом закрывает за собой дверь и доводит публику до исступления своей скрытностью, медлительностью и глупостью. Кто-то видел, как полисмен улыбнулся трактирному слуге. Интерес публики, ослабев, начинает переходить в равнодушие. Визгливыми ребячьими голосами она обвиняет приходского надзирателя в том, что он якобы сварил в котле какого-то мальчугана, и хором горланит отрывки из сложенной на эту тему народной песенки, в которой поется, будто упомянутый мальчуган пошел на суп для работного дома. В конце концов полисмен находит нужным защитить честь блюстителя благочиния и хватает одного певца, с тем чтобы отпустить его не раньше, чем разбегутся все остальные, и — с обязательством убраться прочь отсюда, прочь! да поживей! — обязательство, которое тот немедленно выполняет. Итак, волнение на время улеглось, а невозмутимый полисмен (для которого немножко больше опиума, немножко меньше не

имеет ровно никакого значения) — невозмутимый полисмен в блестящем шлеме, немнущемся, жестком мундире, стянутом крепким ременным поясом, к которому прикреплены наручники, с толстой дубинкой в руке и прочими необходимыми для полицейского принадлежностями под стать перечисленным, тяжелой походкой неторопливо шагает дальше, похлопывая в ладоши руками в белых перчатках и время от времени останавливаясь на перекрестке посмотреть, не случилось ли какое-нибудь происшествие, начиная с пропажи ребенка и кончая убийством.

Приходский надзиратель, человек не блещущий умом, носится под покровом ночи по Канцлерской улице с повестками, в которых фамилии всех присяжных переврапы, а не переврана только фамилия самого надзирателя, которую, впрочем, никто не может прочесть, да и не желает знать. После того как повестки вручены и свидетели получили приказ явиться, приходский надзиратель направляется к мистеру Круку, чтобы встретиться у него, как было условлено, с какими-то нищими, которые вскоре приходят, а потом ведет их наверх, где они преподносят большим «глазам» в ставнях новый предмет для созерцания, а именно, то последнее из земных жилищ, в которое предстоит вселиться тому, кто называл себя «Никто»... как, впрочем, и каждому смертному, кто бы он ни был.

И всю эту ночь гроб стоит наготове рядом со старым чемоданом, а на койке лежит одинокий человек, чей жизненный путь, продолжавшийся сорок пять лет, так же невозможно проследить, как путь брошенного ребенка.

Наутро в переулке жизнь бьет ключом — «сущая ярмарка», как выражается миссис Перкинс, которая уже окончательно наладила свои отношения с миссис Пайпер и завела дружескую беседу с этой достойной особой. Коронер будет заседать в зале на втором этаже трактира «Солнечный герб», где два раза в неделю устраиваются «Гармонические собрания любителей пения» * под председательством некоего джентльмена, знаменитого музыканта, против которого всегда сидит исполнитель комических песен, Маленький Суиллс, выражающий надежду (как гласит вывешенное в окне объявление), что все его

друзья соберутся вновь, сплотятся вокруг него и поддержат его выдающийся талант. Все это утро «Солнечный герб» торгует бойко. Под влиянием всеобщего возбуждения даже детвора чувствует потребность подкрепиться, и пирожник, расположившийся по этому случаю на углу переулка, говорит, что его ромовые пончики раскупают нарасхват. Между тем приходский надзиратель снует между лавкой мистера Крука и трактиром «Солнечный герб» и показывает вверенный его попечению интересный предмет немногим избранным, умеющим держать язык за зубами, а те в благодарность подносят ему стаканчик-другой эля.

В назначенный час прибывает коронер, которого уже ожидают присяжные и которому салютуют кегли, что с грохотом валятся на пол в превосходном сухом кегельбане, пристроенном к «Солнечному гербу». Никто так часто не бывает в трактирах, как коронер. Такая уж у него работа, что запахи опилок, пива, табачного дыма для него неотделимы от смерти в самых ужасных ее обличиях. Приходский надзиратель и трактирщик провожают коронера в зал Гармонических собраний, где он, сняв цилиндр, кладет его на рояль и садится в кресло с решетчатой спинкой в конце длинного стола, который составлен из нескольких небольших столов, сдвинутых вместе и украшенных бесконечно переплетающимися липкими кругами от пивных кружек и стаканов. Тут же расселись присяжные, сколько их смогло поместиться за столом. Остальные располагаются между плевательницами и винными бочками или прислоняются к роялю. Над головой у коронера висит небольшое железное кольцо, прикрепленное к висячей ручке звонка, и кажется, будто это — петля, уготованная для почтенного вершителя правосудия.

Сделайте перекличку присяжным и приведите их к присяге! В то время как происходит эта церемония, снова возникает волнение, потому что в зал вошел толстощекий коротыш со слезящимися глазами и пылающим носом, в рубашке с широким отложным воротником и, войдя, скромно стал у дверей, как простой зритель, хотя этот зал, видимо, для него привычное место. В публике шепчутся, что это Маленький Суиллс. Как полагают некото-

рые, очень возможно, что он выучится передразнивать коронера и на этой теме построит главный номер программы Гармонического собрания сегодня вечером.

— Итак, джентльмены...— начинает коронер.

— Тише вы! — кричит приходский надзиратель.

Он обращается не к коронеру, хотя могло показаться, что именно к коронеру.

— Итак, джентльмены,— снова начинает коронер,— вы включены в список присяжных и вызваны сюда, чтобы произвести дознание о смерти одного человека. В вашем присутствии будет произведено расследование обстоятельств этой смерти, и вы вынесете свой приговор, приняв во внимание...— кегли! слушайте, надзиратель, кегли долой! — свидетельские показания, а не что-либо другое. Первое, что надлежит сделать, это осмотреть тело.

— Эй, вы, дайте дорогу! — кричит приходский надзиратель.

И вот все выступают нестройной процессией, чем-то напоминающей похоронную, и осматривают заднюю комнатку на третьем этаже дома мистера Крука, откуда некоторые из присяжных торопятся уйти и выходят, побледнев. Приходский надзиратель очень заботится о двух джентльменах, чьи манжеты и запонки не в полном порядке (он даже поставил для этой пары специальный столик в зале Гармонических собраний, поближе к коронеру), и всячески старается, чтобы они увидели все, что можно видеть. Старается потому, что это газетные репортеры, которые пишут отчеты о подобных дознаниях за построчный гонорар, а он, приходский надзиратель, не свободен от общечеловеческих слабостей и надеется прочесть в газетах о том, что сказал и сделал «Муни, расторопный и сметливый приходский надзиратель этого квартала»; больше того, он жаждет, чтобы фамилия «Муни» так же часто и благожелательно упоминалась в прессе, как, судя по недавним примерам, упоминается фамилия палача.

Маленький Суиллс ждет возвращения коронера и присяжных. Ждет их и мистер Талкингхорн. Мистера Талкингхорна принимают с особенным почетом и сажают рядом с коронером,— между этим маститым вершителем правосудия, бильярдом и ящиком для угля. Дозна-

ние продолжается. Присяжные узнают о том, как умер объект их расследования, но больше ничего о нем не узнают.

— Джентльмены,— говорит коронер,— здесь присутствует весьма известный поверенный, который, как мне доложили, случайно оказался среди тех, кто обнаружил мертвое тело; но он может только повторить показания врача, домохозяина, жилицы и владельца писчебумажной лавки, уже выслушанные вами, следовательно нет необходимости его беспокоить. Известно ли кому-нибудь из присутствующих еще что-либо?

Миссис Перкинс толкает вперед миссис Пайпер. Миссис Пайпер приводят к присяге.

Анастасия Пайпер, джентльмены. Замужняя. Итак, миссис Пайпер, что вы можете сказать по этому поводу?

Ну что ж, миссис Пайпер может сказать многое — главным образом в скобках и без знаков препинания,— но сообщить она может немного. Миссис Пайпер живет в этом переулке (где муж ее работает столяром), и все соседи были уверены уже давно (можно считать с того дня, который был за два дня до крещения Александра Джеймса Пайпера, а крестили его, когда ему было полтора годика и четыре дня, потому что не надеялись, что он выживет, так страдал ребенок от зубок, джентльмены), соседи давно уже были уверены, что потерпевший,— так называет миссис Пайпер покойного,— по слухам, продал свою душу. Она думает, что слухи распространились потому, что вид у потерпевшего был какой-то чудной. Она постоянно встречала потерпевшего и находила, что вид у него свирепый и его нельзя подпускать к малышам, потому что некоторые малыши очень пугливы (а если в этом сомневаются, так она надеется, что можно допросить миссис Перкинс, которая здесь присутствует и может поручиться за миссис Пайпер, за ее мужа и за все ее семейство). Видела, как потерпевшего изводила и дразнила детвора (дети они и есть дети — что с них возьмешь? — и нельзя же ожидать, особенно если они шаловливые, чтоб они вели себя какими-то Мафузилами, какими вы сами не были в детстве). По этой причине, а также из-за его мрачного вида, ей часто снилось, будто он вынул из кармана острую кирку и раскроил голову

Джонни (хотя мальчуган прямо бесстрашный и не раз дразнил его, гоняясь за ним по пятам). Однако она ни разу не видела наяву, чтобы потерпевший вытаскивал кирку или какое другое оружие,— уж чего не было, того не было. Видела, как он спешил уйти подобру-поздорову, когда за ним бежали ребятишки и улюлюкали ему вслед,— надо думать, он не любил ребят,— и никогда не видела, чтоб он разговаривал с ребенком или взрослым (если не считать того мальчика, что подметает перекресток на Канцлерской улице, вон там напротив, за углом, а будь он здесь, он бы вам сказал, что люди видали, как он частенько разговаривал с потерпевшим).

Коронер спрашивает:

— Мальчик здесь?

Приходский надзиратель отвечает:

— Нет, сэр, его здесь нет.

Коронер говорит:

— Так ступайте и приведите его сюда.

В отсутствие «расторопного и сметливого» приходского надзирателя коронер беседует с мистером Талкингхорном.

А! вот и мальчик, джентльмены!

Вот он здесь, очень грязный, очень охрипший, очень оборванный. Ну, мальчик!.. Но нет, погодите. Осторожней. Мальчику надо задать несколько предварительных вопросов.

Зовут — Джо. Так и зовут, а больше никак. Что все имеют имя и фамилию, он не знает. Никогда и не слыхивал. Не знает, что «Джо» — уменьшительное от какого-то длинного имени. С *него* и короткого хватит. А чем оно плохо? Сказать по буквам, как оно пишется? Нет. *Он* по буквам сказать не может. Отца нет, матери нет, друзей нет. В школу не ходил. Местожительство? А что это такое? Вот метла она и есть метла, а врать нехорошо, это он знает. Не помнит, кто ему говорил насчет метлы и вранья, но так оно и есть. Не может сказать в точности, что с ним сделают после смерти, если он сейчас соврет этим джентльменам,— должно быть, очень строго накажут, да и поделом...— так что он скажет правду.

— Ничего не выйдет, джентльмены! — говорит коронер, меланхолически покачивая головой.

— Вы полагаете, что не стòит слушать его показания, сэр? — спрашивает какой-то внимательный присяжный.

— Безусловно,— отвечает коронер.— Вы слышали, как выразился мальчик? «Не могу сказать в точности», а этак не годится, знаете ли. *Подобные* показания суду не нужны, джентльмены. Потрясающая испорченность. Уведите мальчика.

Мальчика уводят, производя этим огромное впечатление на слушателей, особенно на Маленького Суиллса, исполнителя комических песенок.

Далее. Имеются другие свидетели? Других свидетелей не имеется.

Итак, джентльмены! Перед нами неизвестный человек, который, как уже доказано, полтора года регулярно принимал опиум большими дозами и был найден умершим оттого, что принял слишком много опиума. Если вы, по вашему мнению, располагаете доказательствами, которые могут привести вас к заключению, что он покончил с собой, вы придете к этому заключению. Если вы полагаете, что смерть произошла от несчастной случайности, вы вынесете соответственный приговор.

Приговор выносят соответственный. Смерть произошла от несчастной случайности. Сомнений нет. Джентльмены, вы свободны. До свидания.

Застегивая пальто, коронер вместе с мистером Талкингхорном частным образом выслушивает показания отвергнутого свидетеля, забившегося в уголок.

Несчастный помнит только, что покойника (которого он только что видел и узнал по желтому лицу и черным волосам) иногда дразнили и гнали по улицам. Помнит, что как-то раз, студеным, зимним вечером, когда он, Джо, дрожал от холода у какого-то подъезда, неподалеку от своего перекрестка, человек оглянулся, повернул назад, расспросил его и, узнав, что у него нет на свете ни единого друга, сказал: «У меня тоже нет. Ни единого!» — и дал ему денег на ужин и ночлег. Помнит, что с тех пор человек часто с ним разговаривал и спрашивал, крепко ли он спит по ночам, и как переносит голод и холод, и не хочется ли ему умереть, и задавал всякие другие столь же странные вопросы. Помнит, что, когда у человека не

было денег, он, проходя мимо, говорил: «Сегодня я такой же бедный, как ты, Джо»; когда же у него были деньги, он всегда был рад (в это Джо верит всем сердцем),— всегда был рад поделиться с ним.

— Очень уж он жалел меня,— говорит мальчик, вытирая глаза оборванным рукавом.— Поглядел я давеча, как он лежит вытянувшись — вот так,— и думаю: что бы ему услыхать, как я ему говорю про это. Очень уж он жалел меня, очень!

Джо спускается с лестницы, волоча ноги, а мистер Снегсби, поджидавший его, сует ему в руку полкроны.

— Если ты увидишь, что я перехожу твой перекресток со своей крошечкой — то есть с одной дамой,— говорит мистер Снегсби, прикладывая палец к носу,— смотри не вздумай сказать, что я дал тебе денег!

Некоторое время присяжные слоняются по «Солнечному гербу», болтая о том о сем. Наконец несколько человек совсем пропадают в табачном дыму, заполнившем зал «Солнечного герба», двое направляются в Хэмпстед, а четверо сговариваются пойти в театр по контрамаркам и закончить вечер устрицами. Маленького Суиллса усердно потчуют. На вопрос, что он думает о событиях дня, Маленький Суиллс отвечает (как всегда хлестко), что это «сногсшибательный случай». Хозяин «Солнечного герба», заметив, как популярен сегодня Маленький Суиллс, горячо рекомендует его присяжным и публике, подчеркивая, что в характерных песенках он не имеет себе равных, а характерных костюмов у него целый воз.

Итак, «Солнечный герб» постепенно исчезает во мраке ночи, а потом снова возникает, вспыхивая яркими огнями газовых рожков. Наступает час Гармонического собрания, и знаменитый музыкант занимает председательское место, против него лицом (красным лицом) к лицу располагается Маленький Суиллс, а их друзья, собравшись вновь, сплотились вокруг них и поддерживают выдающийся талант. В разгаре вечера Маленький Суиллс объявляет:

— Джентльмены, с вашего позволения, я попытаюсь представить короткую сцену из действительной жизни, разыгравшуюся здесь сегодня.

Его награждают громкими аплодисментами и возгласами одобрения; он выходит Суиллсом, возвращается Коронером (ничуть не похожим на оригинал); изображает в лицах Дознание, а рояль для приятного разнообразия аккомпанирует припеву:

«Он...— (то есть коронер) — ведь типпи-тол-ли-долл, он ведь типпи-тол-ло-долл, он ведь типпи-тол-ли-долл. Ди!»

Наконец дребезжащий рояль умолкает, и «Гармонические друзья» собираются вновь положить свои головы на подушки. Тогда покой нисходит на одинокое тело, уже вселенное в последнее из своих земных жилищ, и узкие глаза ставен смотрят на него в течение всех тихих часов ночи. Если бы в те дни, когда этот несчастный еще младенцем лежал, как в гнездышке, в объятиях своей матери, подняв глазки на ее любящее лицо, цепляясь за ее шею и неумело стараясь обвить ее мягкими ручонками,— если бы в те дни его мать могла видеть в пророческом видении, как он сейчас лежит здесь, она не поверила бы видению! О, если в более счастливые дни в душе его пылал огонь, теперь угасший,— огонь любви к той женщине, которая любила его, где же эта женщина теперь, когда останки его еще не зарыты в землю?

Ночь в доме мистера Снегсби в Кукс-Корте проходит отнюдь не спокойно — Гуся никому не дает спать, ибо, как выражается мистер Снегсби, говоря напрямик,— «не успеет она оправиться от одного припадка, как забьется в другом и так доходит чуть не до двадцати». А «схватило» ее потому, что она одарена нежным сердцем и еще чем-то очень впечатлительным, что, возможно, превратилось бы в воображение, если бы в ее жизни не было Тутинга и благодетеля. Чем бы это ни было, но за чаем оно было так жестоко потрясено отчетом мистера Снегсби о дознании, происходившем в его присутствии, что, когда сели ужинать, Гуся внезапно метнулась в кухню, выронив голландский сыр, который с быстротой «Летучего Голландца» покатился туда же, опередив ее, и забилась в необычайно длительном припадке, а когда оправилась от него, забилась в другом припадке, потом в третьем, в четвертом... да так и промучилась всю ночь с короткими промежутками, которыми пользовалась, чтобы страстно упрашивать миссис Снегсби не увольнять ее, когда

она «совсем очнется», и убеждать всех домочадцев уложить ее на каменный пол и отправиться спать. Поэтому, услышав, наконец, как в маленькой молочной на Карситор-стрит петух пришел в бескорыстный экстаз оттого, что настал рассвет, мистер Снегсби, хоть он и терпеливейший из людей, глубоко вздыхает и говорит с облегчением:

— Я уж думал, что он околел, право!

Какой вопрос решает эта охваченная энтузиазмом птица, напрягаясь до такой степени, и почему ей нужно кричать так громко о том, что ее никак не касается (впрочем, люди на разных публичных торжествах кричат так же), это уж ее дело. Достаточно того, что наступает рассвет, наступает утро, наступает полдень.

Тогда «расторопный и сметливый» приходский надзиратель, как пишут о нем в утренних газетах, приходит со своей компанией нищих к мистеру Круку и уносит тело новопреставленного возлюбленного брата нашего на затиснутое в закоулок кладбище *, зловонное и отвратительное, источник злокачественных недугов, заражающих тела возлюбленных братьев и сестер наших, еще не преставившихся, в то время как возлюбленные братья и сестры наши, торчащие на черных лестницах власть имущих — о, если бы преставились *они!* — так прекраснодушны и любезны. На скверный клочок земли, который турок отверг бы, как ужасающую мерзость, при виде которого содрогнулся бы кафр, приносят нищие новопреставленного возлюбленного брата нашего, чтобы похоронить его по христианскому обряду.

Здесь, на кладбище, которое со всех сторон обступают дома и к железным воротам которого ведет узкий зловонный крытый проход,— на кладбище, где вся скверна жизни делает свое дело, соприкасаясь со смертью, а все яды смерти делают свое дело, соприкасаясь с жизнью,— зарывают на глубине одного-двух футов возлюбленного брата нашего; здесь сеют его в тлении, чтобы он поднялся в тлении — призраком возмездия у одра многих болящих, постыдным свидетельством будущим векам о том времени, когда цивилизация и варварство совместно вели на поводу наш хвастливый остров.

Внемли, ночь, внемли, тьма: тем лучше будет, чем скорей вы придете, чем дольше останетесь в таком месте,

как это! Внемлите, редкие огни в окнах безобразных домов, а вы, творящие в них беззаконие, творите его, хотя бы отгородившись от этого грозного зрелища! Внемли, пламя газа, так угрюмо горящее над железными воротами, в отравленном воздухе, что покрыл их колдовской мазью, слизистой на ощупь! К каждому прохожему взывай: «Загляни сюда!»

Вместе с ночью приходит какое-то неуклюжее существо и крадется по дворовому проходу к железным воротам. Вцепившись в прутья решетки, заглядывает внутрь; две-три минуты стоит и смотрит.

Потом тихонько метет старой метлой ступеньку перед воротами и очищает весь проход под сводами. Метет очень усердно и тщательно, снова две-три минуты смотрит на кладбище, затем уходит.

Джо, это ты? Так-так! Хоть ты и отвергнутый свидетель, неспособный «сказать в точности», что сделают с тобой руки, более могущественные, чем человеческие, а все-таки ты не совсем погряз во мраке. В твое неясное сознание, очевидно, проникает нечто вроде отдаленного луча света, ибо ты бормочешь: «Очень уж он жалел меня. очень!»

ГЛАВА XII
Настороже

Дожди наконец-то перестали идти в Линкольншире, и Чесни-Уолд воспрянул духом. Миссис Раунсуэлл хлопочет, ожидая гостей, потому что сэр Лестер и миледи едут домой из Парижа. Великосветская хроника уже разнюхала это и утешает радостной вестью омраченную Англию. Она разнюхала также, что сэр Лестер и миледи намерены принимать избранный и блестящий круг *«сливок бомонда»* (великосветская хроника слаба в английском языке, но, подкрепившись французским, обретает титаническую силу) в своем древнем и гостеприимном родовом поместье в Линкольншире.

В знак уважения к избранному и блестящему кругу, а попутно и к самому Чесни-Уолду, обвалившийся мост в

парке исправлен, а река вернулась в свои берега и, вновь перекрытая изящной аркой, выглядит очень эффектно, когда на нее смотришь из дома. Холодный, ясный, солнечный свет заглядывает в промерзшие до хрупкости леса и с удовлетворением видит, как резкий ветер разбрасывает листья и сушит мох. Целый день свет скользит по парку за бегущими тенями облаков, пытается их догнать и не может. Он проникает в окна и кладет на портреты предков яркие полосы и блики, которые вовсе не входили в замыслы художников. На портрет миледи, висящий над огромным камином, он бросает широкую яркую полосу, скошенную влево, как перевязь на гербе внебрачных детей *, и полоса эта, изламываясь, ложится на стенки каминной ниши, словно стремясь рассечь ее пополам.

В столь же холодный солнечный день, в столь же ветреную погоду миледи и сэр Лестер в дорожной карете (камеристка миледи и любимый камердинер сэра Лестера — на запятках) трогаются в обратный путь на родину. Под громкий звон бубенчиков и щелканье бичей пара неоседланных коней и пара кентавров в лакированных шляпах и ботфортах, с развевающимися гривами и хвостами, рьяно рвутся вперед, вывозя грохочущую карету со двора отеля «Бристоль» на Вандомской площади *, скачут между исполосованной светом и тенью колоннадой улицы Риволи * и садом рокового дворца обезглавленных короля и королевы *, мчатся по площади Согласия * и Елисейским полям * и, проехав под Триумфальной аркой на площади Звезды *, выезжают из Парижа.

Сказать правду, чем быстрей они мчатся, тем лучше, ибо даже в Париже миледи соскучилась до смерти. Концерты, балы, опера, театр, катанье — все это старо; да и ничто не ново для миледи под одряхлевшими небесами. Не далее как в прошлое воскресенье, когда беднота веселилась и внутри городских стен,— играя с детьми среди статуй и подстриженных деревьев Дворцового сада, гуляя группами человек в двадцать по Елисейским (что значит — «райским») полям, которые казались в тот день еще более райскими благодаря каруселям и дрессированным собакам, или изредка заходила (в очень небольшом числе) в сумрачный собор Парижской богоматери,

чтобы прошептать краткую молитву у подножья колонны, озаренной трепещущим пламенем тонких восковых свечек в похожем на рашпер ржавом подсвечнике; когда беднота веселилась и за городскими стенами, окружая Париж кольцом танцевальных вечеринок, любовных приключений, выпивок, табачного дыма, поминовения усопших на кладбищах, бильярдных партий, карточных игр, состязаний в домино, шарлатанства и бесчисленных зловредных отбросов, одушевленных и неодушевленных,— не дальше как в прошлое воскресенье миледи, подавленная безысходной Скукой и томясь в лапах Гиганта Отчаяния *, почти ненавидела свою собственную камеристку за то, что та была в хорошем настроении.

И миледи не терпится уехать из Парижа. Душевная тоска осталась у нее позади, но ждет ее и впереди,— ее Злой гений опоясал тоской весь земной шар, и пояс этот нельзя расстегнуть; остается лишь одно, впрочем несовершенное, средство спастись — бежать из того места, где она тосковала. Отбросить Париж назад, вдаль, и сменить его на бесконечные аллеи по-зимнему безлистых деревьев, пересеченные другими бесконечными аллеями! И напоследок взглянуть на него, уже отъехав на несколько миль, когда Триумфальная арка на площади Звезды будет казаться всего лишь белым пятнышком, сверкающим на солнце, а город — просто холмиком на равнине со вздымающимися над ним двумя темными прямоугольными башнями *, со светом и тенью, наклонно слетающими к нему, как ангелы в сновидении Иакова!

Сэр Лестер, тот обычно доволен жизнью и потому скучает редко. Когда ему нечего делать, он может размышлять о своей знатности. А как это приятно — когда то, о чем размышляешь, неистощимо! Прочитав полученные письма, сэр Лестер откидывается на спинку сиденья в углу кареты и предается размышлениям, главным образом — о том, как велико его значение для общества.

— Сегодня утром вы, кажется, получили особенно много писем? — говорит миледи после долгого молчания.

Ей надоело читать — ведь за перегон в двадцать миль она успела прочесть чуть не целую страницу.

— Но в письмах нет ничего интересного... решительно ничего.

— Я, помнится, видела среди них письмо от мистера Талкингхорна — длиннейшее послание, какие он всегда пишет.

— Вы видите все,— отзывается сэр Лестер в восхищении.

— Ах, он скучнейший человек на свете! — вздыхает миледи.

— Он просит,— очень прошу извинить меня,— он просит,— говорит сэр Лестер, отыскав письмо и развернув его,— передать вам... Когда я дошел до постскриптума, мы остановились сменить лошадей, и я позабыл про письмо. Прошу прощенья. Он пишет...— сэр Лестер так медлительно достает и прикладывает к глазам лорнет, что это слегка раздражает миледи.— Он пишет: «Относительно дела о праве прохода...» Простите, пожалуйста, это не о том. Он пишет... Да! Вот оно, нашел! Он пишет: «Прошу передать мой почтительный поклон миледи и надеюсь, что перемена места принесла ей пользу. Не будете ли Вы так любезны сказать ей (ибо это ей, вероятно, будет интересно), что, когда она вернется, я смогу сообщить ей кое-что о том человеке, который переписывал свидетельские показания, приобщенные к делу, которое разбирается в Канцлерском суде, и столь сильно возбудившие ее любопытство. Я его видел».

Миледи наклонилась вперед и смотрит в окно кареты.

— Вот что он просит передать,— говорит сэр Лестер.

— Я хочу немного пройтись пешком,— роняет миледи, не отрываясь от окна.

— Пешком? — переспрашивает сэр Лестер, не веря своим ушам.

— Я хочу немного пройтись пешком,— повторяет миледи так отчетливо, что сомневаться уже не приходится.— Остановите, пожалуйста, карету.

Карета останавливается; любимый камердинер соскакивает с запяток, открывает дверцу и откидывает подножку, повинуясь нетерпеливому жесту миледи. Миледи выходит так быстро и удаляется так быстро, что сэр Лестер, при всей своей щепетильной учтивости, не успевает помочь ей и отстает. Минуты через две он ее нагоняет. Очень красивая, она улыбается, берет его под руку, не спеша идет с ним вперед около четверти мили, говорит,

что это ей до смерти наскучило, и снова садится на свое место в карете.

Целых три дня грохот и дребезжанье раздаются почти беспрерывно под аккомпанемент более или менее громкого звона бубенчиков и щелканья бичей, а кентавры и неоседланные кони с бо̀льшим или меньшим усердием продолжают рваться вперед. Сэр Лестер и миледи так изысканно вежливы друг с другом, что в отелях, где они останавливаются, это вызывает всеобщее восхищение.

— Милорд, правда, староват для миледи,— говорит мадам, хозяйка «Золотой обезьяны»,— в отцы ей годится,— но с первого взгляда видно, что они любящие супруги.

Подмечено, что милорд обнажает свою убеленную сединами голову, когда помогает миледи выйти из кареты или усаживает ее в карету. Подмечено, что миледи благодарит милорда за почтительное внимание, наклоняя прелестную головку и подавая супругу свою столь изящную ручку! Восхитительно!

Море не ценит великих людей — качает их, как и всякую мелкую рыбешку. Оно всегда жестоко обращается с сэром Лестером, чье лицо покрывается зеленоватыми пятнами, подобными плесени на сдобренном шалфеем сыре-чеддере, и в чьем аристократическом организме происходит гнетущая революция. Сэру Лестеру море представляется «оппозиционером» в Природе. Тем не менее сознание своей родовитости помогает баронету прийти в себя после остановки для отдыха, и он вместе с миледи едет дальше, в Чесни-Уолд, пролежав лишь одну ночь в Лондоне по дороге в Линкольншир.

В столь же холодный солнечный день,— который становится все более холодным, по мере того как склоняется к вечеру,— в столь же ветреную погоду,— которая становится все более ветреной, по мере того как отдельные тени безлистых деревьев в лесу все больше сливаются в сумраке, а Дорожка призрака, западный конец которой еще озарен пламенем небесного костра, готовится исчезнуть в ночном мраке,— они въезжают в парк. Грачи, покачиваясь в своих высоких жилищах на вязовой аллее, должно быть, решают вопрос — кто же это сидит в карете, проезжающей под деревьями; причем одни сходятся

на том, что это сэр Лестер и миледи едут домой; другие спорят с недовольными, которые не желают этого признать; одно время все соглашаются, что решение вопроса следует отложить; потом снова заводят яростные споры, подстрекаемые какой-то упрямой и заспанной птицей, которая всем противоречит и жаждет, чтобы за ней осталось последнее карканье. Так они качаются на ветках и каркают, а дорожная карета подкатывает к дому, где в нескольких окнах тепло светятся огни, хоть этих освещенных окон не так много, чтобы придать жилой вид громадному темнеющему фасаду. Впрочем, жилой вид он примет скоро,— когда в Чесни-Уолд съедется избранный и блестящий круг.

Миссис Раунсуэлл находится на своем посту и отвечает на освященное обычаем рукопожатие сэра Лестера глубоким реверансом.

— Как поживаете, миссис Раунсуэлл? Рад вас видеть.

— Имею честь приветствовать вас, сэр Лестер, и надеюсь, что вы в добром здоровье!

— В отменнейшем здоровье, миссис Раунсуэлл.

— Миледи выглядит прекрасно, донельзя очаровательно,— говорит миссис Раунсуэлл и снова приседает.

Миледи коротко дает понять, что она чувствует себя прекрасно, только донельзя утомлена.

Но поодаль, сзади домоправительницы, стоит Роза, и миледи, которая хоть и победила в себе многое в борьбе с собой, но еще не притупила своей острой наблюдательности, спрашивает:

— Кто эта девушка?

— Это моя молоденькая ученица, миледи... ее зовут Роза.

— Подойди поближе, Роза! — Леди Дедлок подзывает девушку знаком и, кажется, даже проявляет к ней некоторый интерес.— А ты знаешь, дитя мое, какая ты хорошенькая? — говорит она, дотрагиваясь до плеча девушки двумя пальцами.

Роза, очень смущенная, отвечает: «Нет, с вашего позволения, миледи!» — и то поднимает глаза, то опускает, не зная, куда их девать, но еще больше хорошеет.

— Сколько тебе лет?

— Девятнадцать, миледи.

— Девятнадцать,— повторяет миледи задумчиво.— Берегись, как бы тебя не избаловали комплиментами.

— Слушаю, миледи.

Миледи, потрепав ее по щеке с ямочкой своими изящными, затянутыми в перчатку, пальчиками, направляется к дубовой лестнице, у которой дожидается сэр Лестер, чтобы по-рыцарски проводить супругу наверх. Древний Дедлок, написанный в натуральную величину на панно, такой же тучный, каким был при жизни, и такой же скучный, смотрит со стены, выпучив глаза, словно не знает, что и подумать; впрочем, он и во времена королевы Елизаветы *, должно быть, неизменно пребывал в недоумении.

В этот вечер в комнате домоправительницы Роза только и делает, что расточает хвалы леди Дедлок. Она такая приветливая, такая изящная, такая красивая, такая элегантная, у нее такой нежный голос и такая мягкая ручка, что Роза до сих пор ощущает ее прикосновение! Миссис Раунсуэлл, не без личной гордости, соглашается с нею во всем, кроме одного,— что миледи приветлива. В этом миссис Раунсуэлл не вполне уверена. Она никогда ни единым словом не осудит ни одного из членов этого достойнейшего семейства,— боже сохрани! — и особенно миледи, которой восхищается весь свет; но если бы миледи была «немножко более свободной в обращении», не такой холодной и отчужденной, она, по мнению миссис Раунсуэлл, была бы более приветливой.

— Я почти готова пожалеть,— добавляет миссис Раунсуэлл (только «почти», ибо в такой благодати, как семейная жизнь Дедлоков, все обстоит как нельзя лучше, и думать, что это не так, граничит с богохульством),— я почти готова пожалеть, что у миледи нет детей. Вот, скажем, будь у миледи дочь, теперь уже взрослая молодая леди, миледи было бы о ком заботиться, а тогда, мне кажется, она обладала бы и тем единственным качеством, которого ей теперь не хватает.

— А вам не кажется, бабушка, что тогда она стала бы еще более гордой? — говорит Уот, который съездил домой, но быстро вернулся — вот какой он любящий внук!

— «Еще более» и «всего более» в приложении к какой-либо слабости миледи, дорогой мой,— с достоинством отвечает домоправительница,— это такие слова, которых я не должна ни произносить, ни слушать.

— Простите, бабушка. Но ведь миледи все-таки гордая; разве нет?

— Если она и гордая, то — не без основания. В роду Дедлоков все имеют основание гордиться.

— Ну, значит, им надо вычеркнуть из своих молитвенников текст о гордости и тщеславии, предназначенный для простонародья,— говорит Уот.— Простите, бабушка! Я просто шучу!

— Над сэром Лестером и леди Дедлок, дорогой мой, подшучивать не годится.

— Сэр Лестер и правда так серьезен, что с ним не до шуток,— соглашается Уот,— так что я смиренно прошу у него прощения. Надеюсь, бабушка, что, хотя сюда съезжаются и хозяева и гости, мне можно, как и любому проезжему, пробыть еще день-два на постоялом дворе «Герб Дедлоков»?

— Конечно, дитя мое.

— Очень рад,— говорит Уот.— Мне ведь ужасно хочется получше познакомиться с этой прекрасной местностью.

Тут он, должно быть случайно, бросает взгляд на Розу, а та опускает глаза и очень смущается. Однако, по старинной примете, у Розы сейчас должны были бы гореть не ее свежие, румяные щечки, но ушки, ибо в эту самую минуту камеристка миледи бранит ее на чем свет стоит.

Камеристка миледи, француженка тридцати двух лет, родом откуда-то с юга, из-под Авиньона или Марселя, большеглазая, смуглая, черноволосая женщина, была бы красивой, если бы не ее кошачий рот и неприятно напряженные черты лица,— от этого челюсти ее кажутся слишком хищными, а лоб слишком выпуклым. Плечи и локти у нее острые, и она так худа, что кажется истощенной; к тому же она привыкла, особенно когда сердится или раздражается, настороженно смотреть вокруг, скосив глаза и не поворачивая головы, от чего ей лучше было бы отвыкнуть. Она одевается со вкусом, но, несмотря на

это и на всякие побрякушки, которыми она себя украшает, недостатки ее так бросаются в глаза, что она напоминает волчицу, которая рыщет среди людей, очень чистоплотная, но плохо прирученная. Она не только умеет делать все, что ей надлежит делать по должности, но говорит по-английски почти как англичанка; поэтому ей не приходится подбирать слова, чтобы облить грязью Розу за то, что та привлекла внимание миледи, а сидя за обедом, она с такой нелепой жестокостью изливает свое негодование, что ее сосед, любимый камердинер сэра Лестера, чувствует некоторое облегчение, когда она, взяв ложку, на время прерывает свою декламацию.

Ха-ха-ха! Она, Ортáнз, целых пять лет служит у миледи, и всегда ее держали на расстоянии, а эта кукла, эта марионетка, не успела она поступить сюда, как ее уже обласкала — прямо-таки обласкала — хозяйка! Ха-ха-ха! «А ты знаешь, дитя мое, какая ты хорошенькая?» — «Нет, миледи». (Тут она права!) «А сколько тебе лет, дитя мое? Берегись, как бы тебя не избаловали комплиментами, дитя мое!» Ну и потеха! Лучше не придумаешь!

Короче говоря, все это так восхитительно, что мадемуазель Ортанз не может этого забыть, и еще много дней, за обедом и ужином и даже в кругу своих соотечественниц и других особ, служащих в той же должности у приехавших гостей, она порой внезапно умолкает, чтобы вновь пережить полученное от «потехи» наслаждение, и оно проявляется в свойственной ей «любезной» манере еще сильнее напрягать черты лица, бросать вокруг косые взгляды и, поджимая тонкие губы, растягивать до ушей крепко сжатый рот — словом, выражать восхищение собственным остроумием при помощи мимики, которая нередко отражается в зеркалах миледи, когда миледи нет поблизости.

Для всех зеркал в доме теперь находится дело, и для многих из них — после длительного отдыха. Они отражают красивые лица, глупо ухмыляющиеся лица, молодые лица, лица, что насчитывают добрых шесть-семь десятков лет, но все еще не желают поддаваться старости, словом, весь калейдоскоп лиц, появившихся в январе в Чесни-Уолде, чтобы погостить там одну-две недели,— лиц, на которых великосветская хроника, грозная охотница с

острым нюхом, охотится с тех пор, как они, впервые поднятые с логовища, появились при Сент-Джеймском дворе *, и вплоть до того часа, когда их затравят до смерти.

В линкольнширском поместье жизнь бьет ключом. Днем в лесах гремят выстрелы и звучат голоса; на дорогах в парке оживленное движение: скачут всадники, катят кареты; слуги и прихлебатели заполонили деревню и постоялый двор «Герб Дедлоков». Ночью издалека сквозь просветы между деревьями видны освещенные окна продолговатой гостиной, где над огромным камином висит портрет миледи, и эти окна — как цепь из драгоценных камней в черной оправе. По воскресеньям в холодной церковке становится почти тепло — столько в нее набирается молящихся аристократов, и запах, напоминающий о склепе Дедлоков, теряется в аромате тонких духов.

В этом избранном и блестящем кругу можно встретить немало людей образованных, неглупых, мужественных, честных, красивых и добродетельных. И все-таки, несмотря на все его громадные преимущества, есть в нем что-то порочное. Что же именно?

Дендизм? Но теперь уже нет в живых короля Георга Четвертого * (и тем хуже!), так что некому поощрять моду на Дендизм; теперь уже нет накрахмаленных галстуков, которыми обматывали шею, как полотенца навертывают на валики; теперь уже не носят фраков с короткой талией, накладных икр, мужских корсетов. Теперь уже нет карикатурных женоподобных модников, которые все это носили и, восседая в ложах оперного театра, падали в обморок от избытка восторга, после чего их приводили в чувство другие изящные создания, совавшие им под нос нюхательную соль во флаконах с длинным горлышком. Теперь не найдешь такого светского льва, который вынужден звать на помощь четырех человек, чтобы впихнуть его в лосины, который ходит смотреть на все публичные казни и горько упрекает себя за то, что однажды скушал горошину.

Но, быть может, избранный и блестящий круг все-таки заражен Дендизмом и — Дендизмом гораздо более опасным, проникшим вглубь и порождающим менее безобидные причуды, чем удушение себя галстуком-полотенцем

или порча собственного пищеварения, против чего ни один разумный человек не станет особенно возражать?

Да, это так. И этого нельзя скрыть. В нынешнем январе в Чесни-Уолде гостят некоторые леди и джентльмены именно в этом новейшем вкусе, и они вносят Дендизм... даже в Религию. Томимые мечтательной и неудовлетворенной жаждой эмоций, они за легким изысканным разговором единодушно сошлись на том, что у Простонародья не хватает веры вообще,— то есть, скажем прямо, в те вещи, которые подверглись испытанию и оказались не безупречными,— как будто простолюдин почему-то обязательно должен извериться в фальшивом шиллинге, убедившись, что он фальшивый! И эти леди и джентльмены готовы повернуть вспять стрелки на Часах Времени и вычеркнуть несколько столетий из истории, лишь бы превратить Простой народ в нечто очень живописное и преданное аристократии.

Здесь гостят также леди и джентльмены в другом вкусе,— не столь новомодные, зато чрезвычайно элегантные и сговорившиеся наводить ровный глянец на весь мир и скрывать все его горькие истины. Им все должно казаться томным и миловидным. Они изобрели вечную неподвижность. Ничто не должно их радовать или огорчать. Никакие идеи не смеют возмутить их спокойствие. Даже Изящные Искусства, которые прислуживают им в пудреных париках и в их присутствии пятятся назад, как лорд-камергер в присутствии короля, обязаны одеваться по выкройкам модисток и портных прошлых поколений, тщательно избегать серьезных вопросов и ни в малейшей степени не поддаваться влиянию текущего века.

Здесь гостит и милорд Будл, который считается одним из самых видных членов своей партии, который изведал, что такое государственная служба, и с величайшей важностью заявляет сэру Лестеру Дедлоку после обеда, что решительно не понимает, куда идет наш век. Дебаты уже не те, какими они были когда-то; Парламент уже не тот, каким он некогда был; даже Кабинет министров не тот, каким он был прежде. Милорд Будл, недоумевая, предвидит, что, если теперешнее Правительство свергнут, у Короны при формировании нового Министерства будет ограниченный выбор,— только между лордом Кудлом и сэром

Томасом Дудлом, конечно, лишь в том случае, если герцог Фудл откажется работать с Гудлом, а это вполне допустимо,— вспомните о их разрыве в результате известной истории с Худлом. Итак, если предложить Министерство внутренних дел и пост Председателя палаты общин Джудлу, Министерство финансов Зудлу, Министерство колоний Лудлу, а Министерство иностранных дел Мудлу, куда же тогда девать Нудла? Пост Председателя Тайного совета ему предложить нельзя — он обещан Пудлу. Сунуть его в Министерство вод и лесов нельзя — оно не очень нравится даже Квудлу. Что же из этого следует? Что страна потерпела крушение, погибла, рассыпалась в прах (а это ясно, как день, патриотическому уму сэра Лестера Дедлока) из-за того, что никак не удается устроить Нудла!

С другой стороны, член парламента достопочтенный Уильям Баффи доказывает кому-то через стол, что в крушении страны,— в котором никто не сомневается, спорят лишь о том, почему оно произошло,— в крушении страны повинен Каффи. Если бы с Каффи, когда он впервые был избран в Парламент, поступили так, как надлежало с ним поступить, и помешали ему перейти на сторону Даффи, можно было бы объединить его с Фаффи, заполучить для себя столь красноречивого оратора, как Гаффи, привлечь к поддержке предвыборной кампании громадные средства Хаффи, в трех графствах провести своих кандидатов — Джаффи, Заффи и Лаффи и укрепить власть государственной мудростью и деловитостью Маффи. А вместо всего этого мы теперь очутились в зависимости от любой прихоти Паффи!

По этому, как и по менее важным поводам, имеются разногласия, однако весь избранный и блестящий круг отлично понимает, что вопрос только в Будле и его сторонниках, а также в Баффи и *его* сторонниках. Вот те великие актеры, которым предоставлены подмостки. Несомненно, существует и Народ — множество статистов, которых иногда угощают речами, в уверенности, что эти статисты будут испускать восторженные клики и петь хором, как на театральной сцене, но Будл и Баффи, их приверженцы и родственники, их наследники, душеприказчики, управляющие и уполномоченные родились актерами

на главные роли, антрепренерами и дирижерами, и никто, кроме них, не посмеет выступить на сцене во веки веков.

И в этом отношении в Чесни-Уолде столько Дендизма, что избранный и блестящий круг когда-нибудь найдет это вредным для себя. Ибо даже с самыми окаменелыми и вылощенными кругами может случиться то, что бывает с магическим кругом, которым обводит себя волшебник,— за их пределами тоже могут возникнуть совершенно неожиданные призраки, действующие весьма энергично. Разница в том, что это будут не видения, но существа из плоти и крови, и — тем опаснее, что они ворвутся в круг.

Как бы то ни было, в Чесни-Уолде людей полон дом,— так полон, что жгучее чувство обиды вспыхивает в сердцах приехавших с гостями, неудобно размещенных камеристок, и погасить это чувство невозможно. Только одна комната не занята никем. Расположенная в башенке, предназначенная для гостей третьестепенных, просто, но удобно обставленная, она носит какой-то старомодный деловой отпечаток. Это комната мистера Талкингхорна, и ее не отводят никому другому, потому что он может приехать в любое время. Но он еще не появлялся. В хорошую погоду он, доехав до деревни, обычно идет в Чесни-Уолд пешком через парк; входит в свою комнату с таким видом, словно и не выходил из нее с тех пор, как его видели здесь в последний раз; просит слугу доложить сэру Лестеру о его прибытии, на случай если он понадобится, и появляется за десять минут до обеда у входа в библиотеку. Он спит в своей башенке, и над головой у него — жалобно скрипящий флагшток, а под окном — веранда с полом, крытым свинцом, на которой, если он живет здесь, каждое погожее утро показывается черная фигура, смахивающая на какого-то великана-грача: это мистер Талкингхорн прогуливается перед завтраком.

Каждый день миледи перед обедом ищет его в сумрачной библиотеке; но его нет. Каждый день миледи за обедом окидывает глазами весь стол в поисках незанятого места, перед которым стоял бы прибор для мистера Талкингхорна, если бы он только что приехал; но незанятого места нет. Каждый вечер миледи небрежным тоном спрашивает свою камеристку:

— Мистер Талкингхорн уже приехал?

Каждый вечер она слышит в ответ:

— Нет, миледи, еще не приехал.

Как-то раз под вечер, услышав этот ответ от своей камеристки, которая расчесывает ей волосы, миледи забывается, погрузившись в глубокое раздумье; но вдруг видит в зеркале свое сосредоточенное, печальное лицо и чьи-то черные глаза, с любопытством наблюдающие за ней.

— Будьте добры заняться делом,— говорит миледи, обращаясь к отражению мадемуазель Ортанз.— Любуйтесь своей красотой в другое время.

— Простите! Я любовалась красотой вашей милости.

— А ею вам вовсе незачем любоваться,— говорит миледи.

Но вот однажды, незадолго до заката, когда уже разошлись нарядные гости, часа два толпившиеся на Дорожке призрака, и сэр Лестер с миледи остались одни на террасе, появляется мистер Талкингхорн. Он подходит к ним, как всегда, ровным шагом, которого никогда не ускоряет и не замедляет. На лице у него обычная, лишенная всякого выражения маска (если это маска), но каждая частица его тела, каждая складка одежды пропитана семейными тайнами. Действительно ли он всей душой предан великим мира сего, или же служит им за плату и только — это его собственная тайна. Он хранит ее так же, как хранит тайны своих клиентов; в этом отношении он сам себе клиент и никогда себя не выдаст.

— Как ваше здоровье, мистер Талкингхорн? — говорит сэр Лестер, подавая ему руку.

Мистер Талкингхорн совершенно здоров. Сэр Лестер совершенно здоров. Миледи совершенно здорова. Все обстоит в высшей степени благополучно. Юрист, заложив руки за спину, идет по террасе рядом с сэром Лестером. Миледи тоже идет рядом с ним, но — с другой стороны.

— Мы думали, что вы приедете раньше,— говорит сэр Лестер.

Любезное замечание. Другими словами это означает: «Мистер Талкингхорн, мы помним о вашем существова-

нии, даже когда вас здесь нет,— когда вы не напоминаете нам о себе своим присутствием. Мы уделяем вам крупицу своего внимания, сэр, заметьте это!»

Мистер Талкингхорн, понимая все, наклоняет голову и говорит, что он очень признателен.

— Я приехал бы раньше,— объясняет он,— если бы не был так занят вашими тяжбами с Бойторном.

— Очень неуравновешенный человек,— строго замечает сэр Лестер.— Подобный человек представляет огромную опасность для любого общества. Личность весьма низменного умонаправления.

— Он упрям,— говорит мистер Талкингхорн.

— Да и как ему не быть упрямым, раз он такой человек! — подтверждает сэр Лестер, хотя сам всем своим видом выражает непоколебимое упрямство.— Ничуть этому не удивляюсь.

— Вопрос только в одном,— продолжает поверенный,— согласны ли вы уступить ему хоть в чем-нибудь?

— Нет, сэр,— отвечает сэр Лестер.— Ни в чем. *Мне*... уступать?

— Не в чем-нибудь важном. Тут вы, я знаю, конечно, не уступите. Я хочу сказать — в чем-нибудь маловажном.

— Мистер Талкингхорн,— возражает сэр Лестер,— в моем споре с мистером Бойторном не может быть ничего маловажного. Если я пойду дальше и скажу, что не постигаю, как это *любое* мое право может быть маловажным, я буду при этом думать не столько о себе лично, сколько о чести своего рода, блюсти которую обязан я.

Мистер Талкингхорн снова наклоняет голову.

— Теперь я знаю, что́ мне делать,— говорит он.— Но предвижу, что мистер Бойторн наделает нам неприятностей...

— Подобным людям, мистер Талкингхорн,— перебивает его сэр Лестер,— свойственно делать неприятности всем. Личность исключительно недостойная, стремящаяся ко всеобщему равенству. Человек, которого пятьдесят лет тому назад, вероятно, судили бы в уголовном суде Олд-Бейли * за какие-нибудь демагогические выступления и приговорили бы к суровому наказанию... быть может, даже,— добавляет сэр Лестер после короткой паузы,— к повешению, колесованию или четвертованию.

Произнеся этот смертный приговор, сэр Лестер, по-видимому, свалил гору со своих аристократических плеч и теперь почти так же удовлетворен, как если бы приговор уже был приведен в исполнение.

— Однако ночь на дворе,— говорит сэр Лестер,— как бы миледи не простудилась. Пойдемте домой, дорогая.

Они поворачивают назад, ко входу в вестибюль, и только тогда леди Дедлок заговаривает с мистером Талкингхорном.

— Вы что-то хотели мне сообщить насчет того человека, о котором я спросила, когда увидела его почерк. Как похоже на вас — не забыть о таком пустяке; а у меня он совсем выскочил из головы. После вашего письма все это снова всплыло у меня в памяти. Не могу представить себе, что̀ именно мог мне напомнить этот почерк, но безусловно что-то напомнил тогда.

— Что-то напомнил? — повторяет мистер Талкингхорн.

— Да, да,— небрежно роняет миледи.— Кажется, что-то напомнил. Неужели вы действительно взяли на себя труд отыскать переписчика этих... как это называется?.. свидетельских показаний?

— Да.

— Как странно!

Они входят в неосвещенную утреннюю столовую, расположенную в нижнем этаже. Днем свет льется сюда через два окна с глубокими нишами. Сейчас комната погружена в сумрак. Огонь в камине бросает яркий отблеск на обшитые деревом стены и тусклый — на оконные стекла, а за ними, сквозь холодное отражение пламени, видно, как совсем уже похолодевший парк содрогается на ветру и как стелется серый туман — единственный в этих местах путник, кроме несущихся по небу разорванных туч.

Миледи опускается в огромное кресло у камина, сэр Лестер садится в другое огромное кресло напротив. Поверенный становится перед огнем, вытянув вперед руку, чтобы заслонить лицо от света пламени. Повернув голову, он смотрит на миледи.

— Так вот,— говорит он,— я стал наводить справки об этом человеке и нашел его. И, как ни странно, я нашел его...

— Вполне заурядной личностью,— томно подсказывает миледи.

— Я нашел его мертвым.

— Как можно! — укоризненно внушает сэр Лестер, не столько шокированный самим фактом, сколько тем фактом, что об этом факте упомянули.

— Мне указали, где он живет,— это была убогая, нищенская конура,— и я нашел его мертвым.

— Вы меня извините, мистер Талкингхорн,— замечает сэр Лестер,— но я полагаю, что чем меньше говорить о...

— Прошу вас, сэр Лестер, дайте мне выслушать рассказ мистера Талкингхорна,— говорит миледи.— В сумерках только такие рассказы и слушать. Какой ужас! Так вы нашли его мертвым?

Мистер Талкингхорн подтверждает это, снова наклоняя голову.

— Сам ли он наложил на себя руки...

— Клянусь честью! — восклицает сэр Лестер.— Но, право, это уж чересчур!

— Дайте же мне дослушать! — говорит миледи.

— Все, что вам будет угодно, дорогая. Но я должен сказать...

— Нет, вы не должны сказать! Продолжайте, мистер Талкингхорн.

Сэр Лестер галантно подчиняется, однако он все же находит, что заносить такого рода грязь в высшее общество — это... право же... право же...

— Я хотел сказать,— продолжает поверенный, сохраняя невозмутимое спокойствие,— что не имею возможности сообщить вам, сам ли он наложил на себя руки, или нет. Однако, выражаясь точнее, должен заметить, что он, несомненно, умер от своей руки, хотя сделал ли он это с заранее обдуманным намерением или по несчастной случайности — узнать наверное никогда не удастся. Присяжные коронера вынесли решение, что он принял яд случайно.

— А кто он был такой,— спрашивает миледи,— этот несчастный?

— Очень трудно сказать,— отвечает поверенный, покачивая головой.— Он жил бедно, совсем опустился,—

лицо у него было темное, как у цыгана, черные волосы и борода всклокочены, словом, он, вероятно, был почти нищий. Врач почему-то предположил, что в прошлом он и выглядел лучше и жил лучше.

— А как его звали, этого беднягу?

— Его называли так, как он сам называл себя; но настоящего его имени не знал никто.

— Даже те, кто ему прислуживал?

— Ему никто не прислуживал. Просто его нашли мертвым. Точнее, это я его нашел.

— И больше никаких сведений о нем не удалось получить?

— Никаких. После него остался,— задумчиво говорит юрист,— старый чемодан. Но... нет, никаких бумаг в нем не было.

В течение этого короткого разговора леди Дедлок и мистер Талкингхорн, ничуть не меняя своей обычной манеры держаться, произносили каждое слово, не спуская глаз друг с друга, что, пожалуй, и не удивительно, когда приходится говорить на столь необычную тему. А сэр Лестер смотрел на пламя камина, всем своим видом смахивая на Дедлока, портрет которого красуется на стене у лестницы. Дослушав рассказ, он снова начинает важно протестовать, подчеркивая, что раз у миледи, очевидно, не сохранилось ровно никаких воспоминаний об этом несчастном (если только он не обращался к ней с письменной просьбой о вспомоществовании), он, сэр Лестер, надеется, что больше не услышит о происшествии, столь чуждом тому кругу, в котором вращается миледи.

— Да, все это какое-то нагромождение ужасов,— говорит миледи, подбирая свои меха и шали,— ими можно заинтересоваться, но ненадолго. Будьте любезны, мистер Талкингхорн, откройте дверь.

Мистер Талкингхорн почтительно открывает дверь и держит ее открытой, пока миледи выплывает из столовой. Она проходит совсем близко от него, и вид у нее, как всегда, утомленный, исполненный надменного изящества. Они снова встречаются за обедом... и на следующий день... и много дней подряд. Леди Дедлок все та же томная богиня, окруженная поклонниками и, как никто, склон-

ная смертельно скучать даже тогда, когда восседает в посвященном ей храме. Мистер Талкингхорн — все тот же безмолвный хранитель аристократических признаний... здесь он явно не на своем месте, но тем не менее чувствует себя совсем как дома. Оба они, казалось бы, так же мало замечают друг друга, как любые другие люди, живущие в тех же стенах. Но следит ли каждый из них за другим, всегда подозревая его в сокрытии чего-то очень важного; но всегда ли каждый готов отразить любой удар другого, чтобы ни в коем случае не быть застигнутым врасплох; но что дал бы один, чтоб узнать, сколь много знает другой,— все это до поры до времени таится в их сердцах.

ГЛАВА XIII

Повесть Эстер

Не раз мы обсуждали вопрос,— сначала без мистера Джарндиса, как он и просил, потом вместе с ним,— какую карьеру должен избрать себе Ричард, но не скоро пришли к решению. Ричард говорил, что он готов взяться за что угодно. Когда мистер Джарндис заметил как-то, что Ричард, пожалуй, уже вышел из возраста, в котором поступают во флот, юноша сказал, что тоже так думает,— пожалуй, и вправду вышел. Когда мистер Джарндис спросил его, не хочет ли он поступить в армию, Ричард ответил, что подумывал об этом и это было бы неплохо. Когда же мистер Джарндис посоветовал ему хорошенько разобраться в себе самом и решить, является ли его давняя тяга к морю простым ребяческим увлечением или настоящей любовью, Ричард сказал, что очень часто пытался это решить, но так и не смог.

— Не знаю, потому ли он сделался столь нерешительным,— сказал мне как-то мистер Джарндис,— что с самого своего рождения попал в такую обстановку, где, как ни странно, все всегда откладывалось в долгий ящик, все было неясно и неопределенно, но что Канцлерский суд, в придачу к прочим своим грехам, частично виновен в его нерешительности, это я вижу. Влияние суда поро-

дило или укрепило в Ричарде привычку всегда все откладывать со дня на день, все оставлять нерешенным, неопределенным, запутанным, надеясь, что произойдет то, или другое, или третье, а что именно — мальчик и сам себе не представляет. Даже у менее юных и более уравновешенных людей характер может измениться под влиянием обстановки, так что же говорить о Ричарде? Можно ли ожидать, чтобы юноше с еще не сложившимся характером удалось противостоять подобным влияниям, если он попал в их сферу?

Все это была правда, но позволю себе сказать вдобавок, о чем думала я сама; а думала я, что воспитание Ричарда, к величайшему сожалению, не оказало противодействия этим влияниям и не дало направления его характеру. Он проучился восемь лет в привилегированной закрытой школе и, насколько мне известно, выучился превосходно сочинять разнообразные стихи на латинском языке. Но я не слыхивала, чтобы кто-нибудь из его воспитателей попытался узнать, какие у него склонности, какие недостатки, или потрудился приспособить к *его* складу ума преподавание какой-либо науки! Нет, это его самого приспособили к сочинению латинских стихов, и мальчик научился сочинять их так хорошо, что, останься он в школе до своего совершеннолетия, он, я думаю, только и делал бы, что писал стихи, если бы не решил, наконец, завершить свое образование, позабыв, как они пишутся. Правда, латинские стихи очень красивы, очень поучительны, во многих случаях очень полезны для жизни и даже запоминаются на всю жизнь, но я все же спрашивала себя, не лучше ли было бы для Ричарда, если бы сам он менее усердно изучал латинскую поэтику, зато кто-нибудь хоть немножко постарался бы изучить *его*.

Впрочем, я в этом ничего не понимаю и не знаю даже, способны ли были молодые люди древнего Рима и Греции и вообще молодые люди любой другой страны сочинять стихи в таком количестве.

— Не имею ни малейшего представления, какую профессию мне избрать,— озабоченно говорил Ричард.— Я не хочу быть священником и это знаю твердо, а все остальное под вопросом.

— А не хочется вам пойти по стопам Кенджа? — предложил однажды мистер Джарндис.

— Не знаю; пожалуй, не очень, сэр! — ответил Ричард.— Правда, я люблю кататься на лодке. А клерки у юристов разводят свою писанину такой уймой воды... Ну и профессия!

— Может, хотите сделаться врачом? — подсказал мистер Джарндис.

— Вот это по мне, сэр! — воскликнул Ричард.

Сомневаюсь, чтобы до этой минуты ему хоть раз пришла в голову мысль о медицине.

— Вот это по мне, сэр! — повторил Ричард с величайшим энтузиазмом.— Наконец-то мы попали в точку! «Член Королевского Медицинского общества».

И никакими шутками нельзя было его разубедить, хотя он сам весело подшучивал над собой. Он говорил, что теперь выбрал себе профессию и чем больше о ней думает, тем лучше понимает, что его судьба ясна — искусство врачевания для него самое высокое искусство. Подозревая, что он лишь потому пришел к этому выводу, что никогда не умел самостоятельно разобраться в своих способностях и, лишенный руководства, увлекался всяким новым предложением, радуясь возможности избавиться от тяжелой необходимости думать, я спрашивала себя, всегда ли сочинение стихов на латинском языке приводит к таким результатам, или Ричард — единственный в своем роде юноша.

Мистер Джарндис всячески старался вызвать его на серьезный разговор, убедительно доказывая, что нельзя обманывать себя в столь важном деле. После таких бесед Ричард ненадолго погружался в размышления, но вскоре неизменно говорил Аде и мне, что «все ясно», после чего переводил разговор на другую тему.

— Клянусь небом! — вскричал однажды мистер Бойторн, который горячо интересовался этим вопросом (впрочем, мне незачем добавлять, что он ни к чему не мог относиться равнодушно),— как отрадно видеть, что мужественный и достойный молодой джентльмен посвящает себя этой благородной профессии! Чем больше достойных людей будет заниматься ею, тем лучше будет для человечества, тем хуже — для продажных деляг и подлых

шарлатанов, которые только принижают славное искусство врачевания в глазах всего мира. Клянусь всем, что низко и презренно! — загремел мистер Бойторн.— Судовые лекари лечат до того скверно, что я предлагаю подвергнуть ноги — обе ноги — каждого члена Совета адмиралтейства сложному перелому, а всем опытным врачам запретить пользовать их под страхом ссылки на каторгу, если всю систему врачебной помощи во флоте не изменят коренным образом в течение сорока восьми часов!

— Дай им хоть неделю сроку! — сказал мистер Джарндис.

— Нет! — воскликнул мистер Бойторн непреклонно.— Ни в коем случае! Сорок восемь часов! Что касается всяких там корпораций, приходских общин, приходских советов и прочих им подобных сборищ, куда олухи с трясущимися головами сходятся, чтобы обмениваться такими речами, за которые — клянусь небом! — их следует сослать на каторжные работы, в ртутные рудники, на весь короткий остаток их мерзкого существования, хотя бы лишь для того, чтобы помешать их отвратительному английскому языку заражать язык, на котором люди говорят под солнцем,— что касается этих мерзавцев, что подло наживаются на рвении джентльменов, ищущих знания и, в награду за их неоценимые услуги, за лучшие годы их жизни и большие средства, потраченные ими на получение медицинского образования, платят медикам какие-то жалкие гроши, от каких откажется и простой клерк,— то я приказал бы свернуть шею всем этим подлецам, а черепа их выставить в Медицинской коллегии на обзор всему медицинскому миру так, чтобы младшие его представители уже в юности могли определить посредством точных измерений, *какими* толстыми могут стать черепа!

Он закончил эту неистовую декларацию, оглядев всех нас с приятнейшей улыбкой, и внезапно загрохотал: «Ха-ха-ха!» — и хохотал так долго, что всякий другой на его месте изнемог бы от напряжения.

Мистер Джарндис несколько раз давал Ричарду сроки на размышление, но после того как они истекали, Ричард продолжал утверждать, что не намерен отказываться от сделанного выбора и все с тем же решительным видом

уверял Аду и меня, что «все ясно»; поэтому мы надумали вызвать на совет мистера Кенджа. И вот как-то раз мистер Кендж приехал к нам обедать и уж, конечно, откидывался на спинку кресла, вертел и перевертывал свои очки, говорил звучным голосом и вообще держал себя совершенно так же, как в те времена, когда я была еще девочкой.

— А! — говорил мистер Кендж.— Да. Прекрасно! Отменная профессия, мистер Джарндис... отменная профессия.

— Но теоретическая и практическая подготовка к этой профессии требует усердия,— заметил мой опекун, бросив взгляд на Ричарда.

— Без сомнения,— согласился мистер Кендж.— Именно усердия.

— Впрочем, усердие более или менее необходимо для достижения любой цели, если она чего-нибудь стоит,— заметил мистер Джарндис,— и это вовсе не какое-то особое условие, которого можно избежать, сделав иной выбор.

— Совершенно верно! — подтвердил мистер Кендж.— И мистер Ричард Карстон, столь достойным образом проявивший себя в... скажем... в области изучения классиков, под сенью коих прошла его юность, вступая теперь на более практическое поприще, бесспорно найдет применение если не теории и практике сочинения стихов, то хотя бы навыкам, приобретенным в занятиях латинским языком — тем самым языком, на котором было сказано, что поэтом (если я не ошибаюсь) нужно родиться *, но сделаться им нельзя.

— Можете на меня положиться,— недолго думая, отозвался Ричард,— дайте мне только взяться за ученье, и я сделаю все, что в моих силах.

— Прекрасно, мистер Джарндис,— сказал мистер Кендж, слегка кивнув.— Если мистер Ричард заверил нас, что, начав ученье, он сделает все, что в его силах,— повторяя эти слова, мистер Кендж сочувственно и ласково кивал головой,— то, мне кажется, нам остается только решить, как достигнуть цели его стремлений наиболее разумным образом. Далее, поскольку мистера Ричарда придется отдать в ученье к достаточно опытному практикующему врачу... у вас есть на примете такой врач?

— Как будто нет, Рик? — осведомился опекун.

— Никого нет, сэр,— ответил Ричард.

— Так! — отозвался мистер Кендж.— Ну, а что касается медицинской специальности... тут у вас имеется какое-нибудь предпочтение?

— Н-нет,— проговорил Ричард.

— Так, так! — заметил мистер Кендж.

— Мне хотелось бы разнообразия в занятиях,— объяснил Ричард,— то есть широкого поля деятельности.

— Бесспорно, это весьма желательно,— согласился мистер Кендж.— Мне кажется, это легко устроить, не правда ли, мистер Джарндис? Нам придется только, во-первых, найти достаточно опытного врача; а едва мы объявим о нашем желании,— и нужно ли добавлять? — о нашей возможности платить за преподавание, у нас останется лишь одна трудность — выбрать одного из многих. Во-вторых, нам придется только соблюсти те небольшие формальности, которые обусловлены нашим возрастом и нашим состоянием под опекой Канцлерского суда. И тогда мы быстро,— выражаясь в непринужденном стиле самого мистера Ричарда,— возьмемся за ученье и будем заниматься сколько нашей душе угодно. Какое совпадение,— продолжал мистер Кендж, улыбаясь с легким оттенком меланхолии,— одно из тех совпадений, объяснить которые мы можем,— или не можем при наших теперешних ограниченных способностях,— но у меня есть родственник — врач. Возможно, вы найдете его подходящим, а он, возможно, согласится принять ваше предложение. Конечно, я так же не могу ручаться за него, как и за вас, но *возможно,* что он согласится!

Это было разумное предложение, и мы попросили мистера Кенджа, чтобы он переговорил со своим родственником. Мистер Джарндис еще раньше собирался увезти нас в Лондон на несколько недель, поэтому мы на другой же день решили выехать как можно скорее, чтобы наладить дела Ричарда.

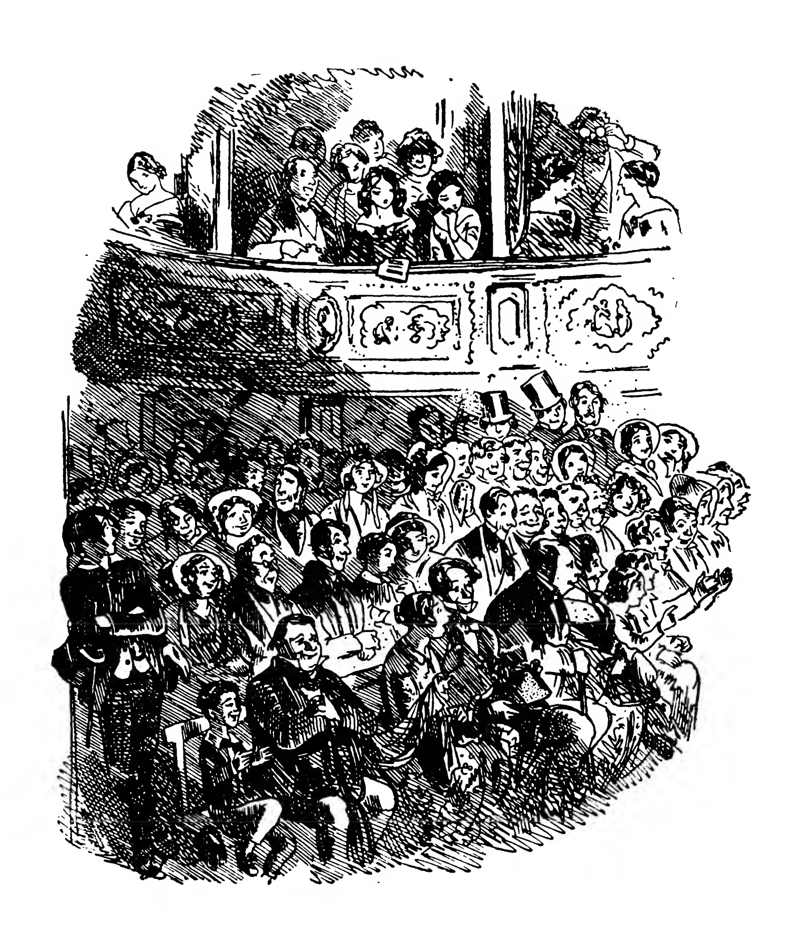
Неделю спустя мистер Бойторн от нас уехал, а мы поселились в уютной квартире близ улицы Оксфорд-стрит, над лавкой одного обойщика. Лондон поразил нас, как чудо, и мы целыми часами осматривали его достопримечательности, но запас их был так неистощим, что

силы наши грозили иссякнуть раньше, чем мы успеем все осмотреть. Мы с величайшим наслаждением бывали во всех лучших театрах и смотрели все пьесы, которые стоило видеть. Я упоминаю об этом потому, что именно в театре мне опять начал досаждать мистер Гаппи.

Как-то раз, на вечернем спектакле, когда мы с Адой сидели у барьера ложи, а Ричард занимал свое любимое место — за креслом Ады, я случайно бросила взгляд на задние ряды партера и увидела мистера Гаппи — его прилизанные волосы, омраченное скорбью лицо и глаза, устремленные вверх, на меня. В течение всего спектакля я чувствовала, что мистер Гаппи не смотрит на актеров, но не отрывает глаз от меня — и все с тем же деланным выражением глубочайшего страдания и самого безнадежного уныния.

Его поведение испортило мне весь вечер — так оно было нелепо и стеснительно. И с тех пор всякий раз, как мы были в театре, я видела в задних рядах партера мистера Гаппи — его неизменно прямые, прилизанные волосы, упавший на плечи воротничок рубашки и совершенно расслабленную фигуру. Если его не было видно, когда мы входили в зрительный зал, я, воспрянув духом, начинала надеяться, что он не придет, и все свое внимание отдавала пьесе, но — ненадолго, ибо рано или поздно встречала его томный взор, когда никак этого не ждала, и с той минуты не сомневалась, что мистер Гаппи ни разу за весь вечер не отведет от меня глаз.

Не могу выразить, как это меня стесняло. Трудно было бы им любоваться, даже если б он взбил свою шевелюру и поправил воротничок рубашки, но, зная, что на меня все с тем же подчеркнуто страдальческим лицом уставился человек столь нелепого вида, я чувствовала себя так неловко, что могла только смотреть на сцену, но не могла ни смеяться, ни плакать, ни двигаться, ни разговаривать. Кажется, я ничего не могла делать естественно. Избежать внимания мистера Гаппи, удалившись в аванложу, я тоже не могла, так как догадывалась, что Ричард и Ада хотят, чтобы я оставалась рядом с ними, зная, что им не удастся разговаривать непринужденно, если мое место займет кто-нибудь другой. Поэтому я сидела с ними, не зная, куда девать глаза,— ведь я не



сомневалась, что, куда бы я ни взглянула, взор мистера Гаппи последует за мной,— и была не в силах отвязаться от мысли, что молодой человек тратит из-за меня уйму денег.

Иной раз я подумывала — а не сказать ли обо всем этом мистеру Джарндису? Но боялась, как бы молодой человек не потерял места и не испортил себе карьеры. Иной раз подумывала — а не довериться ли мне Ричарду; но терялась при мысли, что он, чего доброго, подерется с мистером Гаппи и наставит ему синяков под глазами. То я думала — не посмотреть ли мне на него, нахмурив брови и покачав головой? Но чувствовала, что не в силах. То решалась написать его матери, но потом убеждала себя, что, начав переписку, только поставлю себя в еще более неприятное положение. И всякий раз я приходила к выводу, что ничего сделать нельзя. Все это время мистер Гаппи с упорством, достойным лучшего применения, не только появлялся решительно на всех спектаклях, которые мы смотрели, но стоял в толпе, когда мы выходили из театра и даже — как я видела раза два-три — прицеплялся сзади к нашему экипажу с риском напороться на громадные гвозди. Когда мы приезжали домой, он уже торчал у столба для афиш против нашей квартиры. Обойщик, у которого мы поселились, жил на углу, а столб стоял против окон моей спальни, и я, поднявшись к себе в комнату, не смела подойти к окну из боязни увидеть мистера Гаппи (как я и видела его однажды в лунную ночь) прислонившимся к столбу и явно рискующим простудиться. Если бы мистер Гаппи, к счастью для меня, не был занят днем, мне не было бы от него покоя.

Предаваясь этим развлечениям, в которых мистер Гаппи принимал участие столь странным образом, мы не забывали и о деле, ради которого приехали в город. Родственником мистера Кенджа оказался некий мистер Бейхем Беджер, который имел хорошую практику в Челси * и, кроме того, работал в крупной общественной больнице. Он охотно согласился взять к себе Ричарда и руководить его занятиями, для которых, по-видимому, мог создать благоприятную обстановку; и так как мистеру Беджеру понравился Ричард, а Ричард сказал, что мистер

Беджер понравился ему «в достаточной степени», то сделка была заключена, разрешение лорд-канцлера получено, и все устроилось.

В тот день, когда Ричард и мистер Беджер договорились, нас всех пригласили отобедать у мистера Беджера. Нам предстояло провести «чисто семейный вечер», как было сказано в письменном приглашении миссис Беджер, и в доме ее не оказалось других дам, кроме самой хозяйки. Она сидела в гостиной, окруженная разнообразными предметами, по которым можно было догадаться, что она немножко пишет красками, немножко играет на рояле, немножко — на гитаре, немножко — на арфе, немножко поет, немножко вышивает, немножко читает, немножко пишет стихи и немножко занимается ботаникой. Это была женщина лет пятидесяти, с прекрасным цветом лица, одетая не по возрасту молодо. Если к небольшому списку ее занятий я добавлю, что она немножко румянилась, то — вовсе не для того, чтобы ее осудить.

Сам мистер Бейхем Беджер, краснощекий, бодрый джентльмен со свежим лицом, тонким голосом, белыми зубами, светлыми волосами и удивленными глазами, был, вероятно, на несколько лет моложе миссис Бейхем Беджер. Он от души восхищался женой, но, как ни странно, прежде всего и преимущественно тем (как нам показалось), что она трижды выходила замуж. Едва мы успели сесть, как он торжествующе сообщил мистеру Джарндису:

— Вы, наверное, и не подозреваете, что я у миссис Бейхем Беджер третий муж!

— В самом деле? — промолвил мистер Джарндис.

— Третий! — повторил мистер Беджер.— Не правда ли, мисс Саммерсон, миссис Беджер не похожа на даму, у которой уже было двое мужей?

— Нисколько,— согласилась я.

— И оба в высшей степени замечательные люди! — проговорил мистер Беджер конфиденциальным тоном.— Первый муж миссис Беджер — капитан Суоссер, моряк королевского флота, был выдающимся офицером. Профессор Динго, мой ближайший предшественник, прославился на всю Европу.

Миссис Беджер случайно услышала его слова и улыбнулась.

— Да, дорогая,— ответил мистер Беджер на ее улыбку,— я сейчас говорил мистеру Джарндису и мисс Саммерсон, что у тебя уже было двое мужей — весьма выдающихся, и наши гости нашли, как и все вообще находят, что этому трудно поверить.

— Мне было всего двадцать лет,— начала миссис Беджер,— когда я вышла замуж за капитана Суоссера, офицера королевского флота. Я плавала с ним по Средиземному морю и сделалась прямо-таки заправским моряком. В двенадцатую годовщину нашей свадьбы я стала женой профессора Динго.

— Прославился на всю Европу,— вставил мистер Беджер вполголоса.

— А когда на мне женился мистер Беджер,— продолжала миссис Беджер,— мы венчались в тот же самый месяц и число. Я уже успела полюбить этот день.

— Итак, миссис Беджер выходила замуж трижды, причем двое ее мужей были в высшей степени выдающимися людьми,— проговорил мистер Беджер, суммируя факты,— и каждый раз она венчалась двадцать первого марта, в одиннадцать часов утра!

Мы все выразили свое восхищение этим обстоятельством.

— Если бы не скромность мистера Беджера,— заметил мистер Джарндис,— я позволил бы себе поправить его, назвав выдающимися людьми всех троих мужей его супруги.

— Благодарю вас, мистер Джарндис. Я всегда ему это говорю,— промолвила миссис Беджер.

— А я, дорогая, что *я* тебе всегда говорю? — осведомился мистер Беджер.— Что, не стараясь притворно умалять те профессиональные успехи, которых я, быть может, достиг (и оценить которые нашему другу, мистеру Карстону, представится немало случаев), я не столь глуп, о нет! — добавил мистер Беджер, обращаясь ко всем нам вместе,— и не столь самонадеян, чтобы ставить свою собственную репутацию на одну доску с репутацией таких замечательных людей, как капитан Суоссер и профессор Динго. Быть может, мистер Джарндис,— продолжал мистер Бейхем Беджер, пригласив нас пройти в гостиную,— вам будет интересно взглянуть на этот портрет капитана

Суоссера. Он был написан, когда капитан вернулся домой с одной африканской базы, где страдал от тамошней лихорадки. Миссис Беджер находит, что на этом портрете он слишком желт. Но все-таки это красавец мужчина. Прямо красавец!

Мы все повторили, как эхо:

— Красавец!

— Когда я смотрю на него,— продолжал мистер Беджер,— я думаю: как жаль, что я с ним не был знаком! И это бесспорно доказывает, каким исключительным человеком был капитан Суоссер. С другой стороны — профессор Динго. Этого я знал хорошо — лечил его во время его последней болезни... разительное сходство! Над роялем портрет миссис Бейхем Беджер в бытность ее миссис Суоссер. Над диваном — портрет миссис Бейхем Беджер в бытность ее миссис Динго. Что касается миссис Бейхем Беджер в теперешний период ее жизни, то я обладаю оригиналом, но копии у меня нет.

Доложили, что обед подан, и мы спустились в столовую. Обед был весьма изысканный и очень красиво сервированный. Но капитан и профессор все еще не выходили из головы у мистера Беджера, и, так как нам с Адой досталась честь сидеть рядом с хозяином, он потчевал нас ими очень усердно.

— Вам воды, мисс Саммерсон? Позвольте мне! Нет, простите, только не в этот стакан. Джеймс, принесите бокальчик профессора!

Ада восхищалась искусственными цветами, стоявшими под стеклянным колпаком.

— Удивительно, как они сохранились! — сказал мистер Беджер.— Миссис Бейхем Беджер получила их в подарок, когда была на Средиземном море.

Он протянул было мистеру Джарндису бутылку красного вина.

— Не то вино! — вдруг спохватился он.— Прошу извинения! Сегодня у нас исключительный случай, а в исключительных случаях я угощаю гостей совершенно необычайным бордо (Джеймс, вино капитана Суоссера!). Мистер Джарндис, капитан привез в Англию это вино,— не будем говорить, сколько лет тому назад. Вы такого вина не пивали. Дорогая, я буду счастлив выпить с то-

бой этого вина. (Джеймс, налейте бордо капитана Суоссера вашей хозяйке!) Твое здоровье, любовь моя!

Когда мы, дамы, удалились после обеда, нам пришлось забрать с собой и первого и второго мужа миссис Беджер. В гостиной миссис Беджер набросала нам краткий биографический очерк добрачной жизни и деятельности капитана Суоссера, а затем сделала более подробный доклад о нем, начиная с того момента, как он влюбился в нее на балу, который давали на борту «Разящего» офицеры этого корабля, стоявшего тогда в Плимутской гавани.

— Ах, этот старый милый «Разящий»! — говорила миссис Беджер, покачивая головой.— Вот был великолепный корабль! Нарядный, блестяще оснащенный, прямо «высший класс», по словам капитана Суоссера. Извините меня, если я случайно употреблю флотское выражение,— ведь я когда-то была заправским моряком. Капитан Суоссер обожал это судно из-за меня. Когда оно уже больше не годилось для плавания, он частенько говаривал, что, будь он богат, он купил бы его старый остов и велел бы сделать надпись на шканцах, там, где мы стояли с ним во время бала, чтобы отметить то место, где он пал, испепеленный с носа и до кормы (как выражался капитан Суоссер) моими марсовыми огнями. Так он по-своему, по-флотски, называл мои глаза.

Миссис Беджер покачала головой, вздохнула и посмотрелась в зеркало.

— Профессор Динго сильно отличался от капитана Суоссера,— продолжала она с жалобной улыбкой.— Вначале я это чувствовала очень остро. Полнейший переворот во всем моем образе жизни! Но время и наука — в особенности наука — помогли мне свыкнуться и с ним. Я была единственной спутницей профессора в его ботанических экскурсиях, так что почти забыла, что когда-то плавала по морям, и сделалась заправским ученым. Замечательно, что профессор был полной противоположностью капитана Суоссера, а мистер Беджер ничуть не похож ни на того, ни на другого!

Затем мы перешли к повествованию о кончине капитана Суоссера и профессора Динго,— оба они, видимо, страдали тяжкими болезнями. Рассказывая об этом, мис-



сис Беджер призналась, что только раз в жизни была безумно влюблена и предметом этой пылкой страсти, неповторимой по свежести энтузиазма, был капитан Суоссер. Потом настал черед профессора, и он самым грустным образом начал постепенно умирать,— миссис Беджер только что стала передразнивать, как он, бывало, с трудом выговаривал: «Где Лора? Пусть Лора принесет мне сухарной водицы»,— как в гостиную пришли джентльмены, и он сошел в могилу.

В тот вечер, и вообще за последнее время, я видела, что Ада и Ричард все больше стараются быть вместе, да и немудрено — ведь им так скоро предстояло расстаться. Поэтому, когда мы с Адой, вернувшись домой, поднялись к себе наверх, я не очень удивилась, заметив, что она молчаливее, чем всегда, но уж никак не ожидала, что она внезапно бросится в мои объятия и спрячет лицо на моей груди.

— Милая моя Эстер,— шептала Ада,— я хочу открыть тебе одну важную тайну!

Конечно, прелесть моя, «тайну», да еще какую!

— Что же это такое, Ада?

— Ах, Эстер, ты ни за что не догадаешься.

— А если постараюсь? — сказала я.

— Нет, нет! Не надо! Пожалуйста, не надо! — воскликнула Ада, испуганная одной лишь мыслью о том, что я могу догадаться.

— Не представляю себе, что̀ это может быть? — сказала я, притворяясь, что раздумываю.

— Это...— прошептала Ада,— это... насчет кузена Ричарда!

— Ну, родная моя,— сказала я, целуя ее золотистые волосы (лица ее я не видела),— что же ты о нем скажешь?

— Ах, Эстер, ты ни за что не угадаешь!

Так приятно было, что она прильнула ко мне, спрятав лицо; так приятно было знать, что плачет она не от горя, а от сверкающей радости, гордости и надежды,— даже не хотелось сразу же помочь ей признаться.

— Он говорит... Я знаю, это очень глупо, ведь мы так молоды... но он говорит,— и она залилась слезами,— что он нежно любит меня, Эстер.

— В самом деле? — сказала я.— Как странно!.. Но, душенька моя, я сама могла бы сказать это тебе давным-давно!

Ада в радостном изумлении подняла свое прелестное личико, обвила руками мою шею, рассмеялась, расплакалась, покраснела, снова рассмеялась,— и все это было так чудесно!

— Но, милая моя,— сказала я,— ты, должно быть, считаешь меня совсем дурочкой! Твой кузен Ричард любит тебя я уж и не помню сколько времени и ничуть этого не скрывает!

— Так почему же ты мне ни слова про это не сказала?! — воскликнула Ада, целуя меня.

— Как можно, милая моя! — проговорила я.— Я ждала, чтобы ты мне призналась сама.

— Но раз уж я тебе сейчас призналась, ты не думаешь, что это дурно, нет? — спросила Ада.

Будь я самой жестокосердной дуэньей в мире, я и то не устояла бы против ее ласковой мольбы и сказала бы «нет». Но я еще не сделалась дуэньей и сказала «нет» с легким сердцем.

— А теперь,— промолвила я,— я знаю самое страшное.

— Нет, это еще не самое страшное, милая Эстер! — вскричала Ада, еще крепче прижимаясь ко мне и снова пряча лицо у меня на груди.

— Разве? — сказала я.— Разве может быть что-нибудь страшнее?

— Может! — ответила Ада, качая головой.

— Неужели ты хочешь сказать, что...— начала я шутливо. Но Ада подняла глаза и, улыбаясь сквозь слезы, воскликнула:

— Да, люблю! Ты знаешь, ты знаешь, что да! — и, всхлипывая, пролепетала: — Люблю всем сердцем! Всем моим сердцем, Эстер!

Я со смехом сказала ей, что знала об этом так же хорошо, как и о любви Ричарда. И вот мы уселись перед камином, и некоторое время (хоть и недолго) я говорила одна; и вскоре Ада успокоилась и развеселилась.

— А как ты думаешь, милая моя Хлопотунья, кузен Джон знает? — спросила она.

— Если кузен Джон не слепой, душенька моя, надо думать, кузен Джон знает ничуть не меньше нас,— ответила я.

— Мы хотим поговорить с ним до отъезда Ричарда,— робко промолвила Ада,— и еще хотим посоветоваться с тобой и попросить тебя сказать ему все. Ты не против того, чтобы Ричард вошел сюда, милая моя Хлопотунья?

— Вот как! Значит, Ричард здесь, милочка моя? — спросила я.

— Я в этом не уверена,— ответила Ада с застенчивой наивностью, которая завоевала бы мое сердце, если б оно давно уже не было завоевано,— но мне кажется, он ждет за дверью.

Разумеется, так оно и оказалось. Они притащили кресла и поставили их по обе стороны моего, а меня посадили в середине, и вид у них был такой, словно они влюбились не друг в друга, а в меня,— так они были доверчивы, откровенны и ласковы со мной. Некоторое время они ворковали, перескакивая с одной темы на другую, а я их не прерывала,— я сама наслаждалась этим,— затем мы постепенно начали говорить о том, что они молоды, и должно пройти несколько лет, прежде чем эта ранняя любовь приведет к чему-нибудь определенному, ибо она только в том случае приведет к счастью, если окажется настоящей и верной и внушит им твердое решение исполнять свой долг по отношению друг к другу,— исполнять преданно, стойко, постоянно — так, чтобы каждый жил для другого. Ну что ж! Ричард сказал, что пойдет на все для Ады, Ада же сказала, что пойдет на все для Ричарда, потом они стали называть меня всякими ласковыми и нежными именами, и мы до полуночи просидели за разговором. В конце концов, уже на прощанье, я обещала им завтра же поговорить с кузеном Джоном.

Итак, наутро я пошла после завтрака к опекуну в ту комнату, которая в городе заменяла нам Брюзжальню, и сказала, что меня попросили кое-что сообщить ему.

— Если вы согласились, Хозяюшка,— отозвался он, закрывая книгу,— значит, в этом не может быть ничего дурного.

— Надеюсь, что так, опекун,— сказала я.— Это не тайна, могу вас уверить, но мне ее рассказали только вчера.

— Да? Что же это такое, Эстер?

— Опекун,— начала я,— вы помните тот радостный вечер, когда мы впервые приехали в Холодный дом и Ада пела в полутемной комнате?

Мне хотелось напомнить ему, какой взгляд бросил он на меня в тот вечер. И, пожалуй, мне это удалось.

— Так вот...— начала было я снова, но запнулась.

— Да, моя милая,— проговорил он.— Не торопитесь.

— Так вот,— повторила я,— Ада и Ричард полюбили друг друга и объяснились.

— Уже! — вскричал опекун в полном изумлении.

— Да! — подтвердила я.— И, сказать вам правду, опекун, я, пожалуй, ожидала этого.

— Надо полагать! — воскликнул он.

Минуты две он сидел задумавшись, с прекрасной и такой доброй улыбкой на изменчивом лице, потом попросил меня передать Аде и Ричарду, что хочет их видеть. Когда они пришли, он отечески обнял Аду одной рукой и с ласковой серьезностью обратился к Ричарду.

— Рик,— начал мистер Джарндис,— я рад, что завоевал ваше доверие. Надеюсь сохранить его и впредь. Когда я думал об отношениях, которые завязались между нами четырьмя и так украсили мою жизнь, наделив ее столькими новыми интересами и радостями, я, конечно, подумывал о том, что вы и ваша прелестная кузина (не смущайтесь, Ада, не смущайтесь, милая!) в будущем, возможно, решите пройти свой жизненный путь вместе. Я по многим причинам считал и считаю это желательным. Но не теперь, а в будущем, Рик, в будущем!

— И мы думаем, что в будущем, сэр,— ответил Ричард.

— Прекрасно! — сказал мистер Джарндис.— Это разумно. А теперь выслушайте меня, дорогие мои! Я мог бы сказать вам, что вы еще хорошенько не знаете самих себя и может произойти многое такое, что заставит вас разойтись, а цепь из цветов, которой вы себя связали, к счастью, очень легко порвать раньше, чем она превратится в цепь из свинца. Но этого я не скажу. Такого рода мудрость вскоре сама придет к вам, если только

ей суждено прийти. Допустим, что вы и в ближайшие годы будете относиться друг к другу так же, как сегодня. Я хочу поговорить с вами и об этом, но сначала отмечу одно: если вы все-таки изменитесь, если, сделавшись зрелыми людьми, вы поймете, что ваши отношения не те, какими они были в ту пору, когда вы были еще мальчиком и девочкой (простите, что я называю вас мальчиком, Рик!), но перешли в простые родственные отношения, не стесняйтесь признаться в этом мне, ибо тут не будет ничего страшного и ничего исключительного. Я всего только друг ваш и дальний родственник. Я не имею никакого права распоряжаться вашей судьбой. Но я хочу и надеюсь сохранить ваше доверие, если сам ничем его не подорву.

— Я считаю, сэр, и Ада тоже, конечно,— отозвался Ричард,— что вы имеете полное право распоряжаться нами, и право это зиждется на нашем уважении, благодарности и любви и крепнет с каждым днем.

— Милый кузен Джон,— проговорила Ада, склонив голову к нему на плечо,— отныне вы замените мне отца. Всю любовь, всю преданность, которые я могла бы отдать ему, я теперь отдаю вам.

— Ну, полно, полно! — остановил ее мистер Джарндис.— Значит, допустим, что ваши отношения не изменятся. С надеждою бросим взгляд на отдаленное будущее. Рик, у вас вся жизнь впереди, и она, конечно, примет вас так, как вы сами в нее войдете. Надейтесь только на провидение и на свой труд. Не отделяйте одного от другого, как это сделал возница-язычник *. Постоянство в любви прекрасно, но оно не имеет никакого значения, оно ничто без постоянства в любом труде. Будь вы даже одарены талантами всех великих людей древности и современности, вы ничего не сможете делать как следует, если твердо не решите трудиться и не выполните своего решения. Если вы думаете, что когда-нибудь было или будет возможно достигнуть подлинного успеха в больших делах или малых, вырывая его у судьбы, то есть без длительных усилий, а лихорадочными порывами, оставьте это заблуждение или оставьте Аду.

— Я оставлю это заблуждение, сэр,— ответил Ричард с улыбкой,— если только пришел с ним сюда (но, к сча-

стью, кажется, нет), и трудом проложу свой путь к кузине Аде, в то будущее, что сулит нам счастье.

— Правильно! — сказал мистер Джарндис.— Если вы не можете сделать ее счастливой, вы не должны ее добиваться.

— Я не мог бы сделать ее несчастной... нет, даже ради того, чтоб она меня полюбила,— гордо возразил Ричард.

— Хорошо сказано! — воскликнул мистер Джарндис.— Это хорошо сказано! Она будет жить у меня, в родном для нее доме. Любите ее, Рик, в своей трудовой жизни не меньше, чем здесь, дома, когда будете ее навещать, и все пойдет хорошо. Иначе все пойдет плохо. Вот и вся моя проповедь. А теперь пойдите-ка вы с Адой погулять.

Ада нежно обняла опекуна. Ричард горячо пожал ему руку, и влюбленные направились к выходу, но на пороге оглянулись и сказали, что не уйдут гулять одни, а подождут меня.

Дверь осталась открытой, и мы следили за ними глазами, пока они не вышли через другую дверь из залитой солнечным светом соседней комнаты. Ричард шел, склонив голову, под руку с Адой и говорил ей что-то очень серьезным тоном, а она смотрела снизу вверх ему в лицо, слушала и, казалось, ничего больше не видела. Такие юные, прекрасные, окрыленные надеждами и взаимными обещаниями, они шли, озаренные лучами солнца, так же легко, как, вероятно, мысли их летели над вереницей грядущих лет, превращая их в сплошное сияние. Так перешли они в полосу тени, а потом исчезли. Это была только вспышка света, но такого яркого. Как только они ушли, солнце покрылось облаками и вся комната потемнела.

— Прав ли я, Эстер? — спросил опекун, когда они скрылись из виду.

Подумать только, что он, такой добрый и мудрый, спрашивал *меня,* прав ли он!

— Возможно, что Рик, полюбив, приобретет те качества, которых ему недостает... недостает, несмотря на столько достоинств! — промолвил мистер Джарндис, качая головой.— Аде я ничего не сказал, Эстер. Ее подруга

и советчица всегда рядом с нею.— И он ласково положил руку мне на голову.

Как я ни старалась, я не могла скрыть своего волнения.

— Полно! Полно! — успокаивал он меня.— Но нам надо позаботиться и о том, чтобы жизнь нашей милой Хлопотуньи не целиком ушла на заботы о других.

— Какие заботы? Дорогой опекун, да счастливей меня нет никого на свете!

— И я так думаю,— сказал он.— Но, возможно, кто-нибудь поймет то, чего сама Эстер никогда не захочет понять,— поймет, что прежде всего надо помнить о нашей Хозяюшке!

Я забыла своевременно упомянуть, что на сегодняшнем семейном обеде было еще одно лицо. Не леди. Джентльмен. Смуглый джентльмен... молодой врач. Он вел себя довольно сдержанно, но мне показался очень умным и приятным. Точнее, Ада спросила, не кажется ли мне, что он приятный умный человек, и я сказала «да».

ГЛАВА XIV

Хороший тон

На другой день вечером Ричард расстался с нами, чтобы приступить к своим новым занятиям, и оставил Аду на мое попечение с чувством глубокой любви к ней и глубокого доверия ко мне. В те дни я всегда волновалась при мысли, а теперь (зная, о чем мне предстоит рассказать) еще больше волнуюсь при воспоминании о том, как много они думали обо мне даже в те дни, когда были так поглощены друг другом. Они включили меня во все свои планы на настоящее и будущее. Я обещала посылать Ричарду раз в неделю точный отчет о жизни Ады, а она обещала писать ему через день. Ричард же сказал мне, что я от него самого буду узнавать обо всех его трудах и успехах; что увижу, каким он сделается решительным и стойким; что буду подружкой Ады на их свадьбе, а когда они поженятся, буду жить вместе с ними, буду вести их

домашнее хозяйство и они сделают меня счастливой навсегда и на всю мою жизнь.

— *Если бы* только наша тяжба сделала нас богатыми, Эстер... а ведь вы знаете, это может случиться! — сказал Ричард, должно быть желая увенчать этой мечтой свои радужные надежды.

По лицу Ады пробежала легкая тень.

— Ада, любимая моя, почему бы и нет? — спросил ее Ричард.

— Лучше уж пусть она теперь же объявит нас нищими.

— Ну, не знаю,— возразил Ричард,— так или иначе, она ничего не объявит теперь. Бог знает сколько лет прошло с тех пор, как она перестала что-либо объявлять.

— К сожалению, это верно,— согласилась Ада.

— Да, но чем дольше она тянется, дорогая кузина, тем ближе та или иная развязка,— заметил Ричард, отвечая скорее на то, что говорил ее взгляд, чем на ее слова.— Ну, разве это не логично?

— Вам лучше знать, Ричард. Боюсь только, что, если мы станем рассчитывать на нее, она принесет нам горе.

— Но, Ада, мы вовсе не собираемся на нее рассчитывать! — весело воскликнул Ричард.— Мы же знаем, что рассчитывать на нее нельзя. Мы только говорим, что *если* она сделает нас богатыми, то у нас нет никаких разумных возражений против богатства. В силу торжественного законного постановления Канцлерский суд является нашим мрачным, старым опекуном, и на все, что он даст нам (если он нам что-нибудь даст), мы имеем право. Не следует отказываться от своих прав.

— Нет,— сказала Ада,— но, может быть, лучше позабыть обо всем этом.

— Ладно, ладно, позабудем! — воскликнул Ричард.— Предадим все это забвению. Хлопотунья смотрит на нас сочувственно — и кончено дело!

— А вы даже и не видели сочувствующего лица Хлопотуньи, когда приписали ему такое выражение,— сказала я, выглядывая из-за ящика, в который укладывала книги Ричарда,— но она все-таки сочувствует и думает, что ничего лучшего вы сделать не можете.

Итак, Ричард сказал, что с этим покончено, но немедленно, и без всяких новых оснований, принялся строить воздушные замки, да такие, что они могли бы затмить Великую Китайскую стену. Он уехал в прекраснейшем расположении духа. А мы с Адой приготовились очень скучать по нем и снова зажили своей тихой жизнью.

Вскоре после приезда в Лондон мы вместе с мистером Джарндисом сделали визит миссис Джеллиби, но нам не посчастливилось застать ее дома. Она уехала куда-то на чаепитие, взяв с собой мисс Джеллиби. В том доме, куда она уехала, должно было состояться не только чаепитие, но и обильное словоизвержение и письмописание на тему о пользе культивирования кофе и одновременно — туземцев в колонии Бориобула-Гха. Все это, наверное, требовало такой усиленной работы пером и чернилами, что дочери миссис Джеллиби участие в этой процедуре никак не могло показаться праздничным развлечением.

Миссис Джеллиби должна была бы отдать нам визит, но срок для этого истек, а она не появлялась, поэтому мы снова отправились к ней. Она была в городе, но не дома,— сразу же после первого завтрака устремилась в Майл-Энд по каким-то бориобульским делам, связанным с некиим обществом, именуемым «Восточно-Лондонским отделением отдела вспомоществования». В прошлый наш визит я не видела Пищика (его нигде не могли отыскать, и кухарка полагала, что он, должно быть, уехал куда-то в повозке мусорщика), и поэтому я теперь снова спросила о нем. Устричные раковины, из которых он строил домик, все еще валялись в коридоре, но мальчика нигде не было видно, и кухарка предположила, что он «убежал за овцами». Мы немного удивленно повторили: «За овцами?», и она объяснила:

— Ну да, в базарные дни он иной раз провожает их далеко за город и является домой бог знает в каком виде!

На следующее утро я сидела с опекуном у окна, а моя Ада писала письмо (конечно, Ричарду), когда нам доложили о приходе мисс Джеллиби, и вот она вошла, держа за руку Пищика, которого, видимо, попыталась привести в приличный вид, а сделала это так: втерла грязь в ямочки на его щеках и ручонках и, хорошенько смочив ему

волосы, круто завила их, намотав пряди на собственные пальцы. Вся одежда на бедном малыше была ему не по росту — либо широка, либо узка. В числе прочих разнокалиберных принадлежностей туалета на него напялили шляпу, вроде тех, какие носят епископы, и рукавички для грудного младенца. Башмаки у Пищика смахивали на сапоги пахарей, только были поменьше, а голые ножонки — густо испещренные царапинами вдоль и поперек, они напоминали сетку меридианов и параллелей на географических картах — торчали из слишком коротких клетчатых штанишек, края которых были обшиты неодинаковыми оборками: на одной штанине одного фасона, на другой — другого. Недостающие застежки на его клетчатом платьице были заменены медными пуговицами, вероятно споротыми с сюртука мистера Джеллиби,— так ярко они были начищены и так несоразмерно велики. Самые необыкновенные образцы дамского рукоделья красовались на его костюме в тех нескольких местах, где он был наспех починен, а платье самой мисс Джеллиби, как я сразу же догадалась, было заштопано той же рукой. Сама Кедди, однако, почему-то изменилась к лучшему, и мы нашли ее прехорошенькой. Она, по-видимому, сознавала, что, несмотря на все ее старания, бедный маленький Пищик выглядит каким-то чучелом, и как только вошла, взглянула сначала на него, потом на нас.

— О господи! — проговорил опекун.— Опять восточный ветер, не иначе!

Мы с Адой приняли девушку ласково и познакомили ее с мистером Джарндисом, после чего она села и сказала ему:

— Привет от мамы, и она надеется, что вы извините ее, потому что она занята правкой корректуры своего проекта. Она собирается разослать пять тысяч новых циркуляров и убеждена, что вам будет интересно это узнать. Я принесла с собой циркуляр. Привет от мамы.

И, немного насупившись, она подала циркуляр опекуну.

— Благодарю вас,— сказал опекун.— Очень обязан миссис Джеллиби. О господи! Какой неприятный ветер!

Мы занялись Пищиком,— сняли с него его епископскую шляпу, стали спрашивать, помнит ли он нас, и тому

подобное. Сначала Пищик все закрывался рукавом, но при виде бисквитного торта осмелел,— даже не стал упираться, когда я посадила его к себе на колени, а сидел смирно и жевал торт. Вскоре мистер Джарндис ушел в свою временную Брюзжальню, а мисс Джеллиби заговорила, как всегда, отрывисто.

— У нас, в Тейвис-Инне, все так же скверно,— начала она.— У меня — ни минуты покоя. А еще говорят об Африке! Хуже мне быть не может, будь я даже... как это называется?.. «страдающим братом нашим!»

Я попыталась сказать ей что-то в утешение.

— Утешать меня бесполезно, мисс Саммерсон,— воскликнула она,— но все-таки благодарю вас за сочувствие. Кто-кто, а уж я-то знаю, как со мной поступают, и разубедить меня нельзя. *Вас* тоже не разубедишь, если с вами будут так поступать. Пищик, полезай под рояль, поиграй в диких зверей!

— Не хочу! — отрезал Пищик.

— Ну, погоди, неблагодарный, злой, бессердечный мальчишка! — упрекнула его мисс Джеллиби со слезами на глазах.— Никогда больше не буду стараться тебя наряжать.

— Ладно, Кедди, я пойду! — вскричал Пищик; он, право же, был очень милый ребенок и, тронутый огорченьем сестры, немедленно полез под рояль.

— Пожалуй, не стоит плакать из-за таких пустяков,— проговорила бедная мисс Джеллиби, как бы извиняясь,— но я прямо из сил выбилась. Сегодня до двух часов ночи надписывала адреса на новых циркулярах. Я так ненавижу все эти дела, что от одного этого у меня голова разбаливается, до того, что прямо глаза не глядят на свет божий. Посмотрите на этого несчастного малыша! Ну есть ли на свете подобное пугало!

Пищик, к счастью, не ведающий о недостатках своего туалета, сидел на ковре за ножкой рояля и, уплетая торт, безмятежно смотрел на нас из своей берлоги.

— Я отослала его на другой конец комнаты,— сказала мисс Джеллиби, подвигая свой стул поближе к нам,— потому что не хочу, чтобы он слышал наш разговор. Эти крошки такие понятливые! Так вот, я хотела сказать, что все у нас сейчас так плохо, что хуже некуда. Скоро папу

объявят банкротом — вот мама и получит по заслугам. Она одна во всем виновата, ее и надо благодарить.

Мы выразили надежду, что дела мистера Джеллиби не так уж плохи.

— Надеяться бесполезно, хоть это очень мило с вашей стороны,— отозвалась мисс Джеллиби, качая головой.— Не дальше как вчера утром папа (он ужасно несчастный) сказал мне, что не в силах «выдержать эту бурю». Да и немудрено,— будь он в силах, я бы очень этому удивилась. Если лавочники присылают нам на дом всякую дрянь, какую им угодно, а служанки делают с нею все, что им угодно, а мне некогда наводить порядок в хозяйстве, да я и не умею, а маме ни до чего нет дела, так может ли папа «выдержать бурю»? Скажу прямо, будь я на месте папы, я бы сбежала.

— Но, милая,— сказала я, улыбаясь,— не может же ваш папа бросить свою семью.

— Хорошенькая семья, мисс Саммерсон! — отозвалась мисс Джеллиби.— Какие радости дает она ему, эта семья? Счета, грязь, ненужные траты, шум, падения с лестниц, неурядицы и неприятности — вот все, что он видит от своей семьи. В его доме все летит кувырком, всю неделю, от первого дня до последнего, как будто у нас каждый день большая стирка, только ничего не стирают!

Мисс Джеллиби топнула ногой и вытерла слезы.

— Мне так жаль папу,— сказала она,— и я так сержусь на маму, что слов не нахожу! Однако я больше не намерена терпеть. Не хочу быть рабой всю жизнь, не хочу выходить за мистера Куэйла. Выйти за филантропа... счастье какое, подумаешь. Только *этого* не хватает! — заключила бедная мисс Джеллиби.

Признаюсь, я сама не могла не сердиться на миссис Джеллиби, когда видела и слушала эту заброшенную девушку,— ведь я знала, сколько горькой бичующей правды было в ее словах.

— Если бы мы не подружились с вами, когда вы остановились у нас,— продолжала мисс Джеллиби,— я постеснялась бы прийти сюда сегодня,— понятно, какой нелепой я должна казаться вам обеим. Но так или иначе, я решилась прийти, и в особенности потому, что вряд ли увижу вас, когда вы опять приедете в Лондон.

Она сказала это с таким многозначительным видом, что мы с Адой переглянулись, предвидя новые признания.

— Да! — проговорила мисс Джеллиби, качая головой.— Вряд ли! Я знаю, что могу довериться вам обеим. Вы меня никогда не выдадите. Я стала невестой.

— Без ведома ваших родных? — спросила я.

— Ах, боже мой, мисс Саммерсон,— ответила она в свое оправдание немного раздраженным, но не сердитым тоном,— как же иначе? Вы знаете, что за женщина мама, а рассказывать папе я не могу — нельзя же расстраивать его еще больше.

— А не будет он еще несчастнее, если вы выйдете замуж без его ведома и согласия, дорогая? — сказала я.

— Нет,— проговорила мисс Джеллиби, смягчаясь.— Надеюсь, что нет. Я всячески буду стараться, чтобы ему было хорошо и уютно, когда он будет ходить ко мне в гости, а Пищика и остальных ребятишек я собираюсь по очереди брать к себе, и тогда за ними будет хоть какой-нибудь уход.

В бедной Кедди таились большие запасы любви. Она все больше и больше смягчалась и так расплакалась над непривычной ей картиной семейного счастья, которую создала в своем воображении, что Пищик совсем растрогался в своей пещере под роялем и, повалившись навзничь, громко разревелся. Я поднесла его к сестре, которую он поцеловал, потом снова посадила к себе на колени, сказав: «Смотри — Кедди смеется» (она ради него заставила себя рассмеяться),— и только тогда он постепенно успокоился, но все же не раньше, чем мы разрешили ему потрогать нас всех по очереди за подбородок и погладить по щекам. Однако его душевное состояние еще недостаточно улучшилось для пребывания под роялем, поэтому мы поставили его на стул, чтобы он мог смотреть в окно, а мисс Джеллиби, придерживая его за ногу, продолжала изливать душу.

— Это началось с того дня, когда вы приехали к нам,— сказала она.

Естественно, мы спросили, как все случилось.

— Я почувствовала себя такой неуклюжей,— ответила она,— что решила исправиться хоть в этом отношении и

выучиться танцевать. Я сказала маме, что мне стыдно за себя и я должна учиться танцам. А мама только скользнула по мне своим невидящим взором, который меня так раздражает; но я все-таки твердо решила выучиться танцевать и поступила в Хореографическую академию мистера Тарвидропа на Ньюмен-стрит.

— И там, дорогая...— начала я.

— Да, там,— сказала Кедди,— там я обручилась с мистером Тарвидропом. Мистеров Тарвидропов двое — отец и сын. Мой мистер Тарвидроп — это сын, конечно. Жаль только, что я так плохо воспитана,— ведь мне хочется быть ему хорошей женой, потому что я его очень люблю.

— Должна сознаться,— промолвила я,— что мне грустно слышать все это.

— Не знаю, почему вам грустно,— сказала она с легкой тревогой,— но так или иначе, я обручилась с мистером Тарвидропом, и он меня очень любит. Пока это тайна,— даже он скрывает нашу помолвку, потому что мистер Тарвидроп-старший имеет свою долю доходов в их предприятии, и, если сообщить ему обо всем сразу, без подготовки, это, чего доброго, разобьет ему сердце или вообще как-нибудь повредит. Мистер Тарвидроп-старший — настоящий джентльмен, настоящий.

— А жена его знает обо всем? — спросила Ада.

— Жена мистера Тарвидропа-старшего, мисс Клейр? — переспросила мисс Джеллиби, широко раскрыв глаза.— У него нет жены. Он вдовец.

Тут нас прервал Пищик,— оказывается, его сестра, увлеченная разговором, сама того не замечая, то и дело дергала его за ногу, как за шнурок от звонка, и бедный мальчуган, не выдержав, уныло захныкал. Ища сочувствия, он обратился ко мне, и я, будучи только слушательницей, сама взялась придерживать его. Мисс Джеллиби, поцелуем попросив прощенья у Пищика, сказала, что дергала его не нарочно, потом продолжала рассказывать.

— Вот как обстоят дела,— говорила она.— Но если я и пожалею, что так поступила, все равно я буду считать, что во всем виновата мама. Мы поженимся, как только будет можно, и тогда я пойду в контору к папе

и скажу ему, а маме просто напишу. Мама не расстроится; *для нее я* только перо и чернила. Одно меня утешает, и немало,— всхлипнула Кедди,— если я выйду замуж, я никогда уже больше не услышу об Африке. Мистер Тарвидроп-младший ненавидит ее из любви ко мне, а если мистер Тарвидроп-старший и знает, что она существует, то больше он ничего о ней не знает.

— Настоящий джентльмен — это он, не правда ли? — спросила я.

— Да, он настоящий джентльмен,— сказала Кедди.— Он почти всюду славится своим хорошим тоном.

— Он тоже преподает? — спросила Ада.

— Нет, он ничего не преподает,— ответила Кедди.— Но у него замечательно хороший тон.

Затем Кедди очень застенчиво и нерешительно сказала, что хочет сообщить нам еще кое-что, так как нам следует это знать, и она надеется, что это нас не шокирует. Она подружилась с мисс Флайт, той маленькой полоумной старушкой, с которой мы познакомились в день своего первого приезда в Лондон, и нередко заходит к ней рано утром, а там встречается со своим женихом и проводит с ним несколько минут до первого завтрака — всего несколько минут.

— Я захожу к ней и в другие часы,— проговорила Кедди,— когда Принца у нее нет. Принцем зовут мистера Тарвидропа-младшего. Мне не нравится это имя, потому что оно похоже на собачью кличку, но ведь он не сам себя окрестил. Мистер Тарвидроп-старший назвал его Принцем в память принца-регента *. Мистер Тарвидроп-старший боготворил принца-регента за его хороший тон. Надеюсь, вы не осудите меня за эти коротенькие свидания у мисс Флайт,— ведь я впервые пошла к ней вместе с вами и люблю ее, бедняжку, совершенно бескорыстно, да и она, кажется, привязалась ко мне. Если бы вы увидели мистера Тарвидропа-младшего, я уверена, что он вам понравился бы... во всяком случае, уверена, что вы не подумали бы о нем дурно. А сейчас мне пора на урок. Я не решаюсь просить вас, мисс Саммерсон, пойти со мною, но если бы вы пожелали,— закончила Кедди, которая все время говорила серьезным, взволнованным тоном,— я была бы очень рада... очень.

Так совпало, что мы уже условились с опекуном навестить мисс Флайт в этот самый день. Мы давно рассказали ему о том, как однажды попали к ней, и он выслушал нас с интересом, но нам все почему-то не удавалось пойти к ней снова. Я подумала, что, быть может, сумею повлиять на мисс Джеллиби и помешать ей сделать какой-нибудь опрометчивый шаг, если соглашусь быть ее поверенной,— она так хотела этого, бедняжка,— и потому решила пойти с нею и Пищиком в Хореографическую академию, чтобы затем встретиться с опекуном и Адой у мисс Флайт,— я только сегодня узнала, как ее фамилия. Но согласилась я лишь с тем условием, чтобы мисс Джеллиби и Пищик вернулись к нам обедать. Последний пункт соглашения был радостно принят ими обоими, и вот мы при помощи булавок, мыла, воды и щетки для волос привели Пищика в несколько более приличный вид, потом отправились на Ньюмен-стрит, которая была совсем близко.

Академия помещалась в довольно грязном доме, стоявшем в каком-то закоулке, к которому вел крытый проход, и в каждом окне ее парадной лестницы красовались гипсовые бюсты. Насколько я могла судить по табличкам на входной двери, в том же доме жили учитель рисования, торговец углем (хотя места для склада тут, конечно, не могло быть) и художник-литограф. На самой большой табличке, прибитой на самом видном месте, я прочла: «Мистер Тарвидроп». Дверь в его квартиру была открыта настежь, а передняя загромождена роялем, арфой и другими музыкальными инструментами, которые были упакованы в футляры, видимо, для перевозки и при дневном свете у них был какой-то потрепанный вид. Мисс Джеллиби сказала мне, что на прошлый вечер помещение Академии было сдано — тут устроили концерт.

Мы поднялись наверх, в квартиру мистера Тарвидропа, которая, вероятно, была очень хорошей квартирой в те времена, когда кто-то ее убирал и проветривал и когда никто не курил в ней целыми днями, и прошли в зал с верхним светом, пристроенный к конюшне извозчичьего двора. В этом зале, почти пустом и гулком, пахло, как в стойле, вдоль стен стояли тростниковые скамьи, а на стенах были нарисованы лиры, чередующиеся через одинаковые промежутки с маленькими хру-

стальными бра, которые были похожи на ветки и уже разроняли часть своих старомодных подвесок, как ветви деревьев роняют листья осенью. Здесь собралось несколько учениц в возрасте от тринадцати — четырнадцати лет до двадцати двух — двадцати трех, и я уже искала среди них учителя, как вдруг Кедди схватила меня за руку и представила его:

— Мисс Саммерсон, позвольте представить вам мистера Принца Тарвидропа!

Я сделала реверанс голубоглазому миловидному молодому человеку маленького роста, на вид совсем еще мальчику, с льняными волосами, причесанными на прямой пробор и вьющимися на концах. Под мышкой левой руки у него была крошечная скрипочка (у нас в школе такие скрипки называли «кисками»), и в той же руке он держал коротенький смычок. Его бальные туфельки были совсем крохотные, а держался он так простодушно и женственно, что не только произвел на меня приятное впечатление, но, как ни странно, внушил мне мысль, что он, должно быть, весь в мать, а мать его не слишком уважали и баловали.

— Очень счастлив познакомиться с приятельницей мисс Джеллиби,— сказал он, отвесив мне низкий поклон.— А я уже побаивался, что мисс Джеллиби пе придет,— добавил он с застенчивой нежностью,— сегодня она немного запоздала.

— Это я виновата, сэр, я задержала ее; вы уж меня простите,— сказала я.

— О, что вы! — проговорил он.

— И, пожалуйста,— попросила я,— не прерывайте из-за меня ваших занятий.

Я отошла и села на скамью между Пищиком (он тоже здесь был завсегдатаем и уже привычно забрался в уголок) и пожилой дамой сурового вида, которая пришла сюда с двумя племянницами, учившимися танцевать, и с величайшим возмущением смотрела на башмаки Пищика. Принц Тарвидроп провел пальцами по струнам своей «киски», а ученицы стали в позицию перед началом танца. В эту минуту из боковой двери вышел мистер Тарвидроп-старший во всем блеске своего хорошего тона.

Это был тучный джентльмен средних лет с фальшивым румянцем, фальшивыми зубами, фальшивыми бакенбардами и в парике. Он носил пальто с меховым воротником, подбитое — для красоты — таким толстым слоем ваты на груди, что ей не хватало только орденской звезды или широкой голубой ленты. Телеса его были сдавлены, вдавлены, выдавлены, придавлены корсетом, насколько хватало сил терпеть. Он носил шейный платок (который завязал так туго, что глаза на лоб лезли) и так обмотал им шею, закрыв подбородок и даже уши, что, казалось, стоит этому платку развязаться, и мистер Тарвидроп весь поникнет. Он носил цилиндр огромного размера и веса, сужавшийся к полям, но сейчас держал его под мышкой и, похлопывая по нему белыми перчатками, стоял, опираясь всей тяжестью на одну ногу, высоко подняв плечи и округлив локти,— воплощение непревзойденной элегантности. Он носил тросточку, носил монокль, носил табакерку, носил перстни, носил белые манжеты, носил все, что можно было носить, но ничто в нем самом не носило отпечатка естественности; он не выглядел молодым человеком, он не выглядел пожилым человеком, он выглядел только образцом хорошего тона.

— Папенька! У нас гостья. Знакомая мисс Джеллиби, мисс Саммерсон.

— Польщен,— проговорил мистер Тарвидроп,— посещением мисс Саммерсон.

Весь перетянутый, он кланялся мне с такой натугой, что я боялась, как бы у него глаза не лопнули.

— Папенька — знаменитость,— вполголоса сказал сын, обращаясь ко мне тоном, выдававшим его трогательную веру в отца.— Папенькой восхищаются все на свете.

— Продолжайте, Принц! Продолжайте! — произнес мистер Тарвидроп, становясь спиной к камину и снисходительно помахивая перчатками.— Продолжай, сын мой!

Выслушав это приказание, а может быть, милостивое разрешение, сын продолжал урок. Принц Тарвидроп то играл на «киске» танцуя; то играл на рояле стоя; то слабым голоском — насколько хватало дыхания — напевал мелодию, поправляя позу ученицы; добросовестно проходил с неуспевающими все па и все фигуры танца и ни

разу за все время не отдохнул. Его изысканный родитель ровно ничего не делал — только стоял спиною к камину, являя собой воплощение хорошего тона.

— Вот так он всегда — бездельничает,— сказала пожилая дама сурового вида.— Однако, верите ли, ведь на дверной табличке написана *его* фамилия!

— Но сын носит ту же фамилию,— сказала я.

— Он не позволил бы сыну носить никакой фамилии, если бы только мог отнять ее,— возразила пожилая дама.— Посмотрите, как его сын одет! — И правда, костюм у Принца был совсем простой, потертый, почти изношенный.— А папаша только и делает, что франтит да прихорашивается,— продолжала пожилая дама,— потому что у него, изволите видеть, «хороший тон». Я бы ему показала «тон»! Не худо бы сбавить ему его тон, вот что!

Мне было интересно узнать о нем побольше, и я спросила:

— Может быть, он теперь дает уроки хорошего тона?

— Теперь! — сердито повторила пожилая дама.— Никогда он никаких уроков не давал.

Немного подумав, я сказала, что, может быть, он когда-то был специалистом по фехтованию.

— Да он вовсе не умеет фехтовать, сударыня,— ответила пожилая дама.

Я посмотрела на нее с удивлением и любопытством. Пожилая дама, все более и более кипевшая гневом на «воплощение хорошего тона», рассказала мне кое-что из его жизни, категорически утверждая, что даже смягчает правду.

Он женился на кроткой маленькой женщине, скромной учительнице танцев, дававшей довольно много уроков (сам он и до этого никогда в жизни ничего не делал — только отличался хорошим тоном), а женившись, уморил ее работой, или, в лучшем случае, позволил ей доработаться до смерти, чтобы оплачивать расходы на поддержание его репутации в свете. Стремясь рисоваться своим хорошим тоном в присутствии наиболее тонных денди и вместе с тем всегда иметь их перед глазами, он считал нужным посещать все модные увеселительные места, где собиралось светское общество, во время сезона



появляться в Брайтоне * и на других курортах и вести праздную жизнь, одеваясь как можно шикарней. А маленькая любящая учительница танцев трудилась и старалась изо всех сил, чтобы дать ему эту возможность, и, наверное, по сию пору продолжала бы трудиться и стараться, если бы ей не изменили силы. Объяснялось все это тем, что, несмотря на всепоглощающее себялюбие мужа, жена (завороженная его хорошим тоном) верила в него до конца и на смертном одре в самых трогательных выражениях поручила его Принцу, говоря, что отец имеет неотъемлемое право рассчитывать на сына, а сын обязан всемерно превозносить и почитать отца. Сын унаследовал веру матери и, всегда имея перед глазами пример «хорошего тона», жил и вырос в этой вере, а теперь, дожив до тридцати лет, работает на отца по двенадцати часов в день и благоговейно смотрит снизу вверх на это мнимое совершенство.

— Как он рисуется! — сказала моя собеседница и с немым возмущением покачала головой, глядя на мистера Тарвидропа-старшего, который натягивал узкие перчатки, конечно не подозревая, как его честят.— Он искренне воображает себя аристократом! Подло обманывает сына, но говорит с ним так благосклонно, что его можно принять за самого любящего из отцов. У, я бы тебя на куски растерзала! — проговорила пожилая дама, глядя на мистера Тарвидропа с беспредельным негодованием.

Мне было немножко смешно, хотя я слушала пожилую даму с искренним огорчением. Трудно было сомневаться в ее правдивости при виде отца и сына. Не знаю, как бы я отнеслась к ним, если бы не слышала ее рассказа, или как бы я отнеслась к этому рассказу, если бы не видела их сама. Но одно так соответствовало другому, что нельзя было ей не верить.

Я переводила глаза с мистера Тарвидропа-младшего, работавшего так усердно, на мистера Тарвидропа-старшего, державшего себя так изысканно, как вдруг последний мелкими шажками подошел ко мне и вмешался в мой разговор с пожилой дамой.

Прежде всего он спросил меня, оказала ли я честь и придала ли очарование Лондону, избрав его своей резиденцией. Я не нашла нужным ответить, что, как мне пре-

красно известно, я ничего не могу оказать или придать этому городу, и потому просто сказала, где я живу всегда.

— Столь грациозная и благовоспитанная леди,— изрек он, поцеловав свою правую перчатку и указывая ею в сторону танцующих,— отнесется снисходительно к недостаткам этих девиц. Мы делаем все, что в наших силах, дабы навести на них лоск... лоск... лоск!

Он сел рядом со мной, стараясь, как показалось мне, принять на скамье ту позу, в какой сидит на диване его августейший образец на известном гравированном портрете. И правда, вышло очень похоже.

— Навести лоск... лоск... лоск! — повторил он, беря понюшку табаку и слегка пошевеливая пальцами.— Но мы теперь уже не те, какими были,— если только я осмелюсь сказать это особе, грациозной не только от природы, но и благодаря искусству,— он поклонился, вздернув плечи, чего, кажется, не мог сделать, не поднимая бровей и не закрывая глаз,— мы теперь уже не те, какими были раньше в отношении хорошего тона.

— Разве, сэр? — усомнилась я.

— Мы выродились,— ответил он, качая головой с большим трудом, так как шейный платок очень мешал ему.— Век, стремящийся к равенству, не благоприятствует хорошему тону. Он способствует вульгарности. Быть может, я несколько пристрастен. Пожалуй, не мне говорить, что вот уже много лет, как меня прозвали «Джентльменом Тарвидропом», или что его королевское высочество принц-регент, заметив однажды, как я снял шляпу, когда он выезжал из Павильона в Брайтоне (прекрасное здание!), сделал мне честь осведомиться: «Кто он такой? Кто он такой, черт подери? Почему я с ним незнаком? Надо б ему платить тридцать тысяч в год!» Впрочем, все это пустяки, анекдоты... Однако они получили широкое распространение, сударыня... их до сих пор иногда повторяют в высшем свете.

— В самом деле? — сказала я.

Он ответил поклоном и высоко вздернул плечи.

— В высшем свете,— добавил он,— где пока еще сохраняется то немногое, что осталось у нас от хорошего тона. Англия — горе тебе, отечество мое! — выродилась и

с каждым днем вырождается все больше. В ней осталось не так уж много джентльменов. Нас мало. У нас нет преемников — на смену нам идут ткачи.

— Но можно надеяться, что джентльмены не переведутся благодаря вам,— сказала я.

— Вы очень любезны,— улыбнулся он и снова поклонился, вздернув плечи.— Вы мне льстите. Но нет... нет! Учитель танцев должен отличаться хорошим тоном, но мне так и не удалось привить его своему бедному мальчику. Сохрани меня бог осуждать моего дорогого отпрыска, но про него никак нельзя сказать, что у него хороший тон.

— Он, по-видимому, прекрасно знает свое дело,— заметила я.

— Поймите меня правильно, сударыня; он действительно прекрасно знает свое дело. Все, что можно заучить, он заучил. Все, что можно преподать, он преподает. Но *есть* вещи...— он взял еще понюшку табаку и снова поклонился, как бы желая сказать: «Например, такие вот вещи».

Я посмотрела на середину комнаты, где жених мисс Джеллиби, занимаясь теперь с отдельными ученицами, усердствовал пуще прежнего.

— Мое милое дитя,— пробормотал мистер Тарвидроп, поправляя шейный платок.

— Ваш сын неутомим,— сказала я.

— Я вознагражден вашими словами,— отозвался мистер Тарвидроп.— В некоторых отношениях он идет по стопам своей матери — святой женщины. Вот было самоотверженное создание! О вы, женщины, прелестные женщины,— продолжал мистер Тарвидроп с весьма неприятной галантностью,— какой обольстительный пол!

Я встала и подошла к мисс Джеллиби, которая уже надевала шляпу. Да и все ученицы надевали шляпы, так как урок окончился. Когда только мисс Джеллиби и несчастный Принц успели обручиться — не знаю, но на этот раз они не успели обменяться и десятком слов.

— Дорогой мой, ты знаешь, который час? — благосклонно обратился мистер Тарвидроп к сыну.

— Нет, папенька.

У сына не было часов. У отца были прекрасные золо-

тые часы, и он вынул их с таким видом, как будто хотел показать всему человечеству, как нужно вынимать часы.

— Сын мой,— проговорил он,— уже два часа. Не забудь, что в три ты должен быть на уроке в Кенсингтоне.

— Времени хватит, папенька,— сказал Принц,— я успею наскоро перекусить и побегу.

— Поторопись, мой дорогой мальчик,— настаивал его родитель.— Холодная баранина стоит на столе.

— Благодарю вас, папенька. А *вы* тоже уходите, папенька?

— Да, милый мой. Я полагаю,— сказал мистер Тарвидроп, закрывая глаза и поднимая плечи со скромным сознанием своего достоинства,— что мне, как всегда, следует показаться в городе.

— Надо бы вам пообедать где-нибудь в хорошем ресторане,— заметил сын.

— Дитя мое, так я и сделаю. Я скромно пообедаю хотя бы во французском ресторане у Оперной колоннады.

— Вот и хорошо. До свидания, папенька! — сказал Принц, пожимая ему руку.

— До свидания, сын мой. Благослови тебя бог!

Мистер Тарвидроп произнес эти слова прямо-таки набожным тоном, и они, видимо, приятно подействовали на его сына,— прощаясь с отцом, он был так им доволен, так гордился им, всем своим видом выражал такую преданность, что, как мне показалось тогда, было бы просто нехорошо по отношению к младшему из Тарвидропов не верить слепо в старшего. Прощаясь с нами (и особенно с одной из нас, что я подметила, будучи посвящена в тайну), Принц вел себя так, что укрепил благоприятное впечатление, произведенное на меня его почти детским характером. Я почувствовала к нему симпатию и сострадание, когда он, засунув в карман свою «киску» (а одновременно свое желание побыть немножко с Кедди), покорно пошел есть холодную баранину, чтобы потом отправиться на урок в Кенсингтон, и я вознегодовала на его «папеньку» едва ли не больше, чем суровая пожилая дама.

Папенька же распахнул перед нами дверь и пропустил нас вперед с поклоном, достойным, должна сознаться,

того блестящего образца, которому он всегда подражал. Вскоре он, все такой же изысканный, прошел мимо нас по другой стороне улицы, направляясь в аристократическую часть города, чтобы показаться среди немногих других уцелевших «джентльменов». На несколько минут я целиком погрузилась в мысли обо всем, что видела и слышала на Ньюмен-стрит, и потому совсем не могла разговаривать с Кедди или хотя бы прислушиваться к ее словам,— особенно, когда задумалась над вопросом: нет ли, или не было ли когда-нибудь джентльменов, которые, не занимаясь танцами как профессией, тем не менее тоже создали себе репутацию исключительно своим хорошим тоном? Это меня так смутило и мне так живо представилось, что «мистеров Тарвидропов», может быть, много, что я сказала себе: «Эстер, перестань думать об этом и обрати внимание на Кедди». Так я и поступила, и мы проболтали весь остаток пути до Линкольнс-Инна.

По словам Кедди, ее жених получил такое скудное образование, что письма его не всегда легко разобрать. Она сказала также, что если бы он не так беспокоился о своей орфографии и поменьше старался писать правильно, то выходило бы гораздо лучше; но он прибавляет столько лишних букв к коротким английским словам, что те порой смахивают на иностранные.

— Ему, бедняжке, хочется сделать лучше,— заметила Кедди,— а получается хуже!

Затем Кедди принялась рассуждать о том, что нельзя же требовать, чтобы он был образованным человеком, если он всю свою жизнь провел в танцевальной школе и только и делал, что учил да прислуживал, прислуживал да учил, утром, днем и вечером! Ну и что же? Да ничего! Ведь она-то умеет писать письма за двоих,— выучилась, на свое горе,— и пусть уж лучше он будет милым, чем ученым. «Да ведь и меня тоже нельзя назвать образованной девушкой, и я не имею права задирать нос,— добавила Кедди.— Знаю я, конечно, очень мало,— по милости мамы!»

— Пока мы одни, мне хочется рассказать вам еще кое-что, мисс Саммерсон,— продолжала Кедди,— но я не стала бы этого говорить, если бы вы не познакомились с Принцем. Вы знаете, что такое наш дом. *У нас* в доме не

научишься тому, что полезно знать жене Принца,— не стоит и пытаться. Мы живем в такой неразберихе, что об этом и думать нечего, и всякий раз, как я делала такие попытки, у меня только еще больше опускались руки. И вот я стала понемногу учиться... у кого бы вы думали — у бедной мисс Флайт! Рано утром я помогаю ей убирать комнату и чистить птичьи клетки; варю ей кофе (конечно, она сама меня этому научила), и стала так хорошо его варить, что, по словам Принца, он никогда нигде не пил такого вкусного кофе и мой кофе привел бы в восторг даже мистера Тарвидропа-старшего, а тот ведь очень разборчивый. Кроме того, я теперь умею делать маленькие пудинги и знаю, как покупать баранину, чай, сахар, масло и вообще все, что нужно для хозяйства. Вот шить я еще не умею,— сказала Кедди, взглянув на залатанное платьице Пищика,— но, может быть, научусь; а главное, с тех пор как я обручилась с Принцем и начала заниматься всем этим, я чувствую, что характер у меня стал получше, и я многое прощаю маме. Нынче утром я совсем было расстроилась, когда увидела вас и мисс Клейр, таких чистеньких и хорошеньких, и мне стало стыдно за Пищика, да и за себя тоже; но, в общем, характер у меня, кажется, стал получше, и я многое прощаю маме.

Бедная девушка, как она старалась, как искренне говорила... я даже растрогалась.

— Милая Кедди,— сказала я,— я начинаю очень привязываться к вам и надеюсь, что мы подружимся.

— Неужели правда? — воскликнула Кедди.— Какое счастье!

— Знаете что, Кедди, душенька моя,— сказала я,— давайте отныне будем друзьями, давайте почаще разговаривать обо всем этом и попытаемся найти правильный путь.

Кедди пришла в восторг. Я всячески старалась по-своему, по-старосветски утешить и ободрить ее и в тот день чувствовала, что простила бы мистера Тарвидропа-старшего только в том случае, если бы он преподнес своей будущей невестке целое состояние.

И вот мы подошли к лавке мистера Крука и увидели, что дверь в жилые помещения открыта. На дверном

косяке было наклеено объявление, гласившее, что сдается комната на третьем этаже. Тут Кедди вспомнила и рассказала мне, пока мы поднимались наверх, что в этом доме кто-то скоропостижно умер и о его смерти производилось дознание, а наша маленькая приятельница захворала с перепугу. Окно и дверь в пустующую комнату были открыты, и мы решились в нее заглянуть. Это была та самая комната с окрашенной в темную краску дверью, на которую мисс Флайт тайком обратила мое внимание, когда я впервые была в этом доме. Печальный и нежилой вид был у этой каморки — мрачной и угрюмой, и, как ни странно, мне стало как-то тоскливо и даже страшно.

— Вы побледнели,— сказала Кедди, когда мы вышли на лестницу,— вам холодно?

Все во мне застыло — так подействовала на меня эта комната.

Увлекшись разговором, мы шли сюда медленно, поэтому опекун и Ада опередили нас. Мы застали их уже в мансарде у мисс Флайт. Они разглядывали птичек в клетках, в то время как врач, который был так добр, что взялся лечить старушку и отнесся к ней очень заботливо и участливо, оживленно разговаривал с нею у камина.

— Ну, мне как врачу тут больше делать нечего,— сказал он, идя нам навстречу.— Мисс Флайт чувствует себя гораздо лучше и уже завтра сможет снова пойти в суд (ей прямо не терпится). Насколько я знаю, ее там очень недостает.

Мисс Флайт выслушала этот комплимент с самодовольным видом и сделала всем нам общий реверанс.

— Весьма польщена этим новым визитом подопечных тяжбы Джарндисов! — сказала она.— Оч-чень счастлива принять Джарндиса, владельца Холодного дома, под своим скромным кровом! — мистеру Джарндису она сделала отдельный реверанс.— Фиц-Джарндис, милая,— так она прозвала Кедди и всегда называла ее так,— вам особый привет!

— Она была очень больна? — спросил мистер Джарндис доктора.

Мисс Флайт немедленно ответила сама, хотя опекун задал вопрос шепотом.

— Ах, совсем, совсем расхворалась! Ах, действительно тяжко болела! — пролепетала она конфиденциальным тоном.— Не боль, заметьте... но волнение. Не столько физические страдания, сколько нервы... нервы! Сказать вам правду,— продолжала она, понизив голос и вся дрожа,— у нас тут умер один человек. В доме нашли яд. Я очень тяжело переживаю такие ужасы. Я испугалась. Один мистер Вудкорт знает — как сильно. Мой доктор, мистер Вудкорт! — представила она его очень церемонно.— Подопечные тяжбы Джарндисов... Джарндис, владелец Холодного дома... Фиц-Джарндис.

— Мисс Флайт,— начал мистер Вудкорт серьезным тоном (словно, говоря с нами, он обращался к ней) и мягко касаясь рукой ее локтя,— мисс Флайт описывает свой недуг со свойственной ей обстоятельностью. Ее напугало одно происшествие в этом доме, которое могло напугать и более сильного человека, и она занемогла от огорчения и волнения. Она поспешила привести меня сюда, как только нашли тело, но было уже поздно, и я ничем не мог помочь несчастному. Впрочем, я вознаградил себя за неудачу — стал часто заходить к мисс Флайт, чтобы хоть немного помочь ей.

— Самый добрый доктор из всей медицинской корпорации,— зашептала мне мисс Флайт.— Я жду решения суда. В Судный день. И тогда буду раздавать поместья.

— Дня через два она будет так же здорова, как всегда,— сказал мистер Вудкорт, внимательно глядя на нее и улыбаясь,— другими словами, совершенно здорова. А вы слышали о том, как ей повезло?

— Поразительно! — воскликнула мисс Флайт, восторженно улыбаясь.— Просто невероятно, милая моя! Каждую субботу Велеречивый Кендж или Гаппи (клерк Велеречивого Кенджа) вручает мне пачку шиллингов. Шиллингов... уверяю вас! И всегда их одинаковое количество. Всегда по шиллингу на каждый день недели. Ну, знаете ли! И так своевременно, не правда ли? Да-а! Но откуда же эти деньги, спросите вы? Вот это важный вопрос! А как же! Сказать вам, что думаю *я? Я* думаю, — промолвила мисс Флайт, отодвигаясь с очень хитрым видом и весьма многозначительно покачивая указательным пальцем правой руки,— я думаю, что лорд-канцлер, зная

о том, как давно была снята Большая печать (а ведь она была снята очень давно!), посылает мне эти деньги. И будет посылать вплоть до решения суда, которого я ожидаю. Да... это, знаете ли, очень похвально с его стороны. Таким путем признать, что он и *вправду* немножко медлителен для человеческой жизни. Так деликатно! Когда я в прошлый раз была в суде,— а я бываю там регулярно, со своими документами,— я дала ему понять, что знаю, кто присылает деньги, и он почти признался. То есть я улыбнулась ему со своей скамьи, а *он* улыбнулся мне со своей. Но это большая удача, не правда ли? А Фиц-Джарндис очень экономно тратит для меня эти деньги. О, уверяю вас, очень!

Я поздравила мисс Флайт (так как она обращалась ко мне) с приятной добавкой к ее обычному бюджету и пожелала ей подольше получать эти деньги. Я не стала раздумывать, кто бы это мог присылать ей пособие, не спросила себя, кто был к ней так добр и так внимателен. Опекун стоял передо мной, рассматривая птичек, и мне незачем было искать других добрых людей.

— Как зовут этих пташек, сударыня? — спросил он.— У них есть имена?

— Я могу ответить за мисс Флайт,— сказала я,— имена у птичек есть, и она обещала нам назвать их. Помнишь, Ада?

Ада помнила это очень хорошо.

— Разве обещала? — проговорила мисс Флайт.— Кто там за дверью?.. Зачем вы подслушиваете, Крук?

Старик, хозяин дома, распахнул дверь и появился на пороге с меховой шапкой в руках и с кошкой, которая шла за ним по пятам.

— *Я* не подслушивал, мисс Флайт,— сказал он.— Я хотел было к вам постучать, а вы уж успели догадаться, что я здесь!

— Гоните вниз свою кошку! Гоните ее вон! — сердито закричала старушка.

— Ну, ну, будет вам!.. Бояться нечего, господа,— сказал мистер Крук, медленно и пристально оглядывая всех нас поочередно,— пока я здесь, на птиц она не кинется, если только я сам не велю ей.

— Не посетуйте на моего хозяина,— проговорила

старушка с достоинством.— Он ведь... того, совсем того! Что вам нужно, Крук? У меня гости.

— Ха! — произнес старик.— Вы ведь знаете, что меня прозвали Канцлером?

— Да! Ну и что же? — сказала мисс Флайт.

— «Канцлер», а незнаком с одним из Джарндисов, неужто это не странно, мисс Флайт? — захихикал старик.— Разрешите представиться?.. Ваш слуга, сэр. Я знаю тяжбу «Джарндисы против Джарндисов» почти так же досконально, как вы, сэр. Я и старого сквайра Тома знавал, сэр. Но вас, помнится, никогда не видывал... даже в суде. А ведь, если сложить все дни в году, когда я там бываю, получится немало времени.

— Я никогда туда не хожу,— отозвался мистер Джарндис (и он действительно никогда, ни при каких обстоятельствах, не появлялся в суде).— Я скорей отправился бы в... какое-нибудь другое скверное место.

— Вот как? — ухмыльнулся Крук.— Очень уж вы строги к моему благородному и ученому собрату, сэр; впрочем, это, пожалуй, естественно — для Джарндиса. Обжегся на молоке, будешь дуть на воду, сэр! Что я вижу! Вы, кажется, интересуетесь птичками моей жилицы, мистер Джарндис? — Шаг за шагом, старик прокрался в комнату, приблизился к опекуну и, коснувшись его локтем, впился пристальным взглядом ему в лицо.— Чудачка такая, ни за что не соглашается сказать, как зовут ее птиц, хотя всем им дала имена.— Последние слова он произнес шепотом.— Ну как, назвать мне их, Флайт? — громко спросил он, подмигивая нам и показывая пальцем на старушку, которая отошла и сделала вид, что выметает золу из камина.

— Как хотите,— быстро ответила она.

Старик посмотрел на нас, потом перевел глаза на клетки и принялся называть имена птичек:

— Надежда, Радость, Юность, Мир, Покой, Жизнь, Прах, Пепел, Растрата, Нужда, Разорение, Отчаяние, Безумие, Смерть, Коварство, Глупость, Слова, Парики, Тряпье, Пергамент, Грабеж, Прецедент, Тарабарщина, Обман и Чепуха. Вот и вся коллекция,— сказал старик,— и все заперты в клетку моим благородным ученым собратом.

— Какой неприятный ветер! — пробормотал опекун.

— Когда мой благородный и ученый собрат вынесет свое решение, всех их выпустят на волю,— проговорил Крук, снова подмигивая нам.— А тогда,— добавил он шепотом и осклабился,— если только это когда-нибудь случится,— но этого не случится,— их заклюют птицы, которых никогда не сажали в клетки.

— Восточный ветер! — сказал опекун и посмотрел в окно, делая вид, будто ищет глазами флюгер.— Ну да, прямо с востока дует!

Нам было очень трудно уйти из этого дома. Задерживала нас не мисс Флайт,— когда дело шло об удобствах других людей, эта малюсенькая старушка вела себя как нельзя внимательней. Нас задерживал мистер Крук. Казалось, он был не в силах оторваться от мистера Джарндиса. Будь они прикованы друг к другу, Крук и то не мог бы так цепляться за него. Он предложил нам осмотреть его «Канцлерский суд» и весь тот диковинный хлам, который там накопился. Пока мы осматривали лавку, хозяин (который сам затягивал осмотр) не отходил от мистера Джарндиса, а порой даже задерживал его под тем или иным предлогом, когда мы проходили дальше, по-видимому терзаемый желанием поговорить о какой-то тайне, коснуться которой не решался. Вообще весь облик и поведение мистера Крука в тот день так ярко изобличали осторожность, нерешительность и неотвязное стремление сделать нечто такое, на что трудно отважиться, что это производило чрезвычайно странное впечатление. Он неотступно следил за моим опекуном. Он почти не сводил глаз с его лица. Если они шли рядом, Крук наблюдал за опекуном с лукавством старой лисицы. Если Крук шел впереди, он все время оглядывался назад. Когда мы останавливались, он стоял против мистера Джарндиса, водя рукой перед открытым ртом с загадочным видом человека, сознающего свою силу, поднимал глаза, опускал седые брови, щурился и, кажется, изучал каждую черточку на лице опекуна.

Обойдя весь дом (вместе с приставшей к нам кошкой) и осмотрев всю находившуюся в нем разнообразную рухлядь, и вправду прелюбопытную, мы, наконец, вернулись в заднюю комнатушку при лавке. Здесь на днище пустого

бочонка стояла бутылка с чернилами, лежали огрызки гусиных перьев и какие-то грязные театральные афиши, а на стене было наклеено несколько больших печатных таблиц с прописями, начертанными разными, но одинаково разборчивыми почерками.

— Что вы тут делаете? — спросил опекун.

— Учусь читать и писать,— ответил Крук.

— И как у вас идет дело?

— Медленно... плохо,— с досадой ответил старик.— В мои годы это трудно.

— Было бы легче учиться с преподавателем,— сказал опекун.

— Да, но меня могут научить неправильно! — возразил старик, и в глазах его промелькнула странная подозрительность.— Уж и не знаю, сколько я потерял оттого, что не учился раньше. Обидно будет потерять еще больше, если меня научат неправильно.

— Неправильно? — переспросил опекун, добродушно улыбаясь.— Но кому же придет охота учить вас неправильно, как вы думаете?

— Не знаю, мистер Джарндис, хозяин Холодного дома,— ответил старик, сдвигая очки на лоб и потирая руки.— Я никого не подозреваю, но лучше все-таки полагаться на самого себя, чем на других!

Эти ответы и вообще поведение старика были так странны, что опекун спросил мистера Вудкорта, когда мы все вместе шли через Линкольнс-Инн, правда ли, что мистер Крук не в своем уме, как на это намекала его жилица. Молодой врач ответил, что не находит этого. Конечно, старик донельзя подозрителен, как и большинство невежд, к тому же он всегда немного навеселе — напивается неразбавленным джином, которым так разит от него и его лавки, как мы, наверное, заметили,— но пока что он в своем уме.

По дороге домой я купила Пищику игрушку — ветряную мельницу с двумя мешочками муки, чем так расположила его к себе, что он никому, кроме меня, не позволил снять с него шляпу и рукавички, а когда мы сели за стол, пожелал быть моим соседом. Кедди сидела рядом со мною с другой стороны, а рядом с нею села Ада, которой мы рассказали всю историю помолвки, как только

вернулись домой. Мы очень ухаживали за Кедди и Пищиком, и Кедди совсем развеселилась, а опекун был так же весел, как мы, и все очень приятно проводили время, пока не настал вечер и Кедди не уехала домой в наемной карете с Пищиком, который уже сладко спал, так и не выпуская своей ветряной мельницы из крепко сжатых ручонок.

Я забыла сказать — во всяком случае, не сказала,— что мистер Вудкорт был тем самым смуглым молодым врачом, с которым мы познакомились у мистера Беджера. Не сказала я и о том, что в тот день мистер Джарндис пригласил его к нам отобедать. А также о том, что он пришел. А также о том, что, когда все разошлись и я предложила Аде: «Ну, душенька, давай немножко поболтаем о Ричарде!», Ада рассмеялась и сказала...

Впрочем, неважно, что именно сказала моя прелесть. Она всегда любила подшучивать.

ГЛАВА XV

Белл-Ярд

Пока мы жили в Лондоне, мистера Джарндиса постоянно осаждали толпы леди и джентльменов, которые волновались по всякому поводу и уже успели очень удивить нас своим образом действий. Мистер Куэйл, появившийся у нас вскоре после нашего приезда, участвовал во всех этих волнующих мероприятиях. Он совал свой лоснящийся шишковатый лоб во все, что происходило на свете, а волосы зачесывал назад, с такой силой приглаживая их щеткой, что самые корни их, казалось, готовы были вырваться из головы в ненасытной жажде благотворительности. Любые объекты этой благотворительности были для него равны, но особенно охотно он хлопотал о поднесении адресов всем и каждому. По-видимому, главнейшей его способностью была способность восхищаться кем угодно без всякого разбора. Он с величайшим наслаждением мог заседать сколько угодно часов, подставляя свой лоб лучам любого светила. Вначале, видя, как

беззаветно он восхищается миссис Джеллиби, я подумала, что он предан до самозабвения ей одной. Но я скоро заметила свою ошибку и поняла, что он прислужник и глашатай целой толпы.

Однажды миссис Пардигл явилась к нам с просьбой подписаться в пользу чего-то, и с нею пришел мистер Куэйл. Что бы ни говорила миссис Пардигл, мистер Куэйл повторял нам ее слова, и если раньше он расхваливал миссис Джеллиби, то теперь расхваливал миссис Пардигл. Миссис Пардигл написала опекуну письмо, в котором рекомендовала ему своего красноречивого друга, мистера Гашера. Вместе с мистером Гашером снова явился и мистер Куэйл. Мистер Гашер, рыхлый джентльмен с потной кожей и глазами, столь несоразмерно маленькими для его лунообразного лица, что казалось, будто они первоначально предназначались кому-то другому, на первый взгляд не внушал симпатии; однако не успел он сесть, как мистер Куэйл довольно громко спросил меня и Аду, не кажется ли нам, что его спутник крупная личность — какой он, конечно, и был, если говорить о его расплывшихся телесах, но мистер Куэйл имел в виду красоту духовную,— и не поражают ли нас монументальные формы его чела? Короче говоря, в среде этих людей мы слышали о множестве «миссий» разного рода, но яснее всего поняли, что миссия мистера Куэйла сводится к восторженному восхищению миссиями всех прочих и что именно эта миссия пользуется наибольшей популярностью.

Мистер Джарндис попал в их компанию по влечению своего сострадательного сердца, повинуясь искреннему желанию делать добро по мере сил, но ничуть не скрывал от нас, что компания эта слишком часто кажется ему неприятной, ибо ее милосердие проявляется судорожно, а благотворительность превратилась в мундир для жаждущих дешевой известности крикливых проповедников и аферистов, неистовых на словах, суетливых и тщеславных на деле, до крайности низко раболепствующих перед сильными мира сего, льстящих друг другу и невыносимых для людей, которые стремятся без всякой шумихи предотвращать падение слабых, вместо того чтобы с непомерным хвастовством и самовосхвалением чуть-

чуть приподымать павших, когда они уже повержены ниц. После того как мистеру Куэйлу однажды поднесли адрес благодаря стараниям мистера Гашера (которому уже поднесли адрес стараниями мистера Куэйла), а мистер Гашер полтора часа говорил об этом на митинге, где присутствовали воспитанники двух школ для бедных, причем то и дело напоминал мальчикам и девочкам о лепте вдовицы и убеждал их пожертвовать по полупенсу,— ветер, кажется, недели три подряд дул с востока.

Я говорю об этом потому, что мне опять придется рассказывать о мистере Скимполе. Мне казалось, что по контрасту с такого рода явлениями его откровенные признания в своей ребячливости и беспечности были большим облегчением для опекуна, который тем охотнее им верил, что ему было приятно видеть хоть одного вполне искреннего и бесхитростного человека среди стольких людей, противоположных ему по характеру. Я не хочу думать, что мистер Скимпол об этом догадывался и умышленно вел себя таким образом,— утверждать это я не имею права, ибо никогда не могла понять его вполне. Во всяком случае, он со всеми на свете вел себя так же, как с моим опекуном.

Мистер Скимпол был не совсем здоров, и поэтому мы до сих пор не встречались с ним, хотя он жил в Лондоне. Но как-то раз утром он пришел к нам веселый, как всегда, и в приятнейшем расположении духа.

Ну, вот он и появился, говорил он. Он болел желтухой; а ведь желчь часто разливается у богатых людей, поэтому он во время болезни уверял себя, что он богат. Впрочем, в одном отношении он действительно богат, а именно — благими намерениями. Своего врача он, можно сказать, озолотил самым щедрым образом. Он всегда удваивал, а порой даже учетверял его гонорар. Он говорил доктору: «Слушайте, дорогой доктор, вы глубоко ошибаетесь, считая, что лечите меня даром. Если б вы только знали, как щедро я осыпаю вас деньгами... в душе, преисполненной благих намерений!» И в самом деле, он (по его словам) так горячо желал заплатить за свое леченье, что желание это считал почти равным действию. Имей он возможность сунуть доктору в руку эти кусочки металла и листки тонкой бумаги, которым человечество

придает такое значение, он вручил бы их доктору. Но раз он такой возможности не имеет, он заменяет действие желанием. Прекрасно! Если он действительно хочет заплатить доктору, если его желание искренне и непритворно,— а так оно и есть,— значит, оно все равно что звонкая монета и, следовательно, погашает долг.

— Возможно, мне это только кажется,— отчасти потому, что я ничего не понимаю в ценности денег,— говорил мистер Скимпол,— но так мне кажется часто. И даже представляется вполне разумным. Мой мясник говорит мне, что хотел бы получить деньги по «счетику». Кстати, он всегда говорит не «счет», а именно «счетик», и в этом сказывается приятная, хоть и неосознанная им поэтичность его натуры,— тем самым он стремится облегчить расчеты нам обоим. Я отвечаю мяснику: «Мой добрый друг, вам уже уплачено, и жаль, что вы этого не понимаете. К чему вам трудиться,— ходить сюда и требовать уплаты по вашему «счетику»? Вам уже уплачено. Ведь я искренне хочу этого».

— Но предположим,— сказал опекун, рассмеявшись,— что он только *хотел* доставить вам мясо, указанное в счете, но не доставил?

— Дорогой Джарндис,— возразил мистер Скимпол,— вы меня удивляете. Вы разделяете точку зрения мясника. Один мясник, с которым я как-то имел дело, занял ту же самую позицию. Он сказал: «Сэр, почему вы скушали молодого барашка по восемнадцати пенсов за фунт?» — «Почему я скушал молодого барашка по восемнадцати пенсов за фунт, любезный друг? — спросил я, натурально изумленный таким вопросом.— Да просто потому, что я люблю молодых барашков»... Не правда ли, убедительно? «Если так, сэр,— говорит он,— надо мне было только хотеть доставить вам барашка, раз вы только хотите уплатить мне деньги».— «Давайте, приятель,— говорю я,— рассуждать, как подобает разумным существам. Ну, как же это могло быть? Это совершенно немыслимо. Ведь у вас барашек *был*, а у меня денег *нет*. Значит, если вы действительно хотели прислать мне барашка, вы не могли его не прислать; тогда как я могу хотеть и действительно хочу уплатить вам деньги, но не могу их уплатить». Он не нашелся что ответить. Тем дело и кончилось.

— И он не подал на вас жалобы в суд? — спросил опекун.

— Подал,— ответил мистер Скимпол.— Но так он поступил под влиянием страсти, а не разума. Кстати, слово «страсть» напомнило мне о Бойторне. Он пишет мне, что вы и ваши дамы обещали ненадолго приехать к нему в Линкольншир и погостить в его холостяцком доме.

— Мои девочки его очень любят,— сказал мистер Джарндис,— и ради них я обещал ему приехать.

— Мне кажется, природа позабыла его отретушировать,— заметил мистер Скимпол, обращаясь ко мне и Аде.— Слишком уж он бурлив... как море. Слишком уж вспыльчив... ни дать ни взять бык, который раз навсегда решил считать любой цвет красным. Но я признаю, что достоинства его поражают, как удары кузнечного молота по голове.

Впрочем, странно было бы, если бы эти двое высоко ставили друг друга,— ведь мистер Бойторн так серьезно относился ко всему на свете, а мистер Скимпол ни к чему не относился серьезно. Кроме того, я заметила, что всякий раз, как речь заходила о мистере Скимполе, мистер Бойторн едва удерживался от того, чтобы не высказать о нем свое мнение напрямик. Сейчас мы с Адой, конечно, сказали только, что нам мистер Бойторн очень нравится.

— Он и меня пригласил,— продолжал мистер Скимпол,— и если дитя может довериться такому человеку (а данное дитя склоняется к этому, раз оно будет под охраной соединенной нежности двух ангелов), то я поеду. Он предлагает оплатить мне дорогу в оба конца. Пожалуй, это будет стоить денег? Сколько-то шиллингов? Или фунтов? Или чего-нибудь в этом роде? Кстати, я вспомнил о «Ковинсове». Вы не забыли нашего друга «Ковинсова», мисс Саммерсон?

Очевидно, в уме его возникло некое воспоминание, и он тотчас же задал мне этот вопрос свойственным ему беспечным, легким тоном и без малейшего смущения.

— Как забыть! — ответила я.

— Так вот! «Ковинсов» сам арестован великим Судебным исполнителем — смертью,— сказал мистер Ским-

пол.— Он уже больше не будет оскорблять солнечный свет своим присутствием.

Меня это известие огорчило, и я сразу вспомнила с тяжелым чувством, как этот человек сидел в тот вечер на диване, вытирая потный лоб.

— Его преемник рассказал мне об этом вчера,— продолжал мистер Скимпол.— Его преемник сейчас у меня в доме... «описывает», или, как это там называется... Явился вчера в день рождения моей голубоглазой дочери. Я, конечно, его урезонивал: «Это с вашей стороны неразумно и неприлично. Будь у вас голубоглазая дочь и приди я к *вам* без зова в день *ее* рождения, вам это понравилось бы?» Но он все-таки не ушел.

Мистер Скимпол сам посмеялся своей милой шутке и, легко прикоснувшись к клавишам рояля, за которым сидел, извлек несколько звуков.

— И он сообщил мне,— начал мистер Скимпол, прерывая свои слова негромкими аккордами там, где я ставлю точки.— Что «Ковинсов» оставил. Троих детей. Круглых сирот. И так как профессия его. Не популярна. Подрастающие «Ковинсовы». Живут очень плохо.

Мистер Джарндис встал и, взъерошив волосы, принялся ходить взад и вперед. Мистер Скимпол начал играть мелодию одной из любимых песен Ады. Мы с Адой смотрели на мистера Джарндиса, догадываясь о его мыслях.

Опекун ходил по комнате, останавливался, ерошил волосы, оставлял их в покое, опять ерошил и вдруг положил руку на клавиши и прекратил игру мистера Скимпола.

— Мне это не нравится, Скимпол,— сказал он озабоченно.

Мистер Скимпол, начисто позабывший о своих словах, взглянул на него удивленно.

— Человек этот занимался нужным делом,— продолжал опекун, шагая взад и вперед по очень ограниченному пространству между роялем и стеной и ероша волосы от затылка к макушке, так что казалось, будто их раздувает сильный восточный ветер.— Мы сами виноваты — сами вызываем необходимость в подобной профессии нашими собственными ошибками и безумствами, недостатком житейской мудрости или неудачами, а значит,

мы не должны мстить тем, кто занимается ею. В ней нет ничего дурного. Этот человек кормил своих детей. Хотелось бы узнать о нем побольше.

— О «Ковинсове»? — воскликнул мистер Скимпол, наконец, поняв, о чем идет речь.— Нет ничего легче. Сходите в штаб-квартиру самого Ковинса и узнаете все, что хотите знать.

Мистер Джарндис кивнул нам, а мы только и ждали этого знака.

— Ну, мои дорогие, пойдемте-ка прогуляемся туда. Эта прогулка ведь не хуже всякой другой, правда?

Мы быстро собрались и вышли. Мистер Скимпол пошел вместе с нами, положительно наслаждаясь своим участием в нашей экспедиции. Он говорил, что это для него так ново и свежо — разыскивать «Ковинсова», после того как «Ковинсов» столько раз разыскивал его самого.

И вот он повел нас по Карситор-стрит, выходящей на Канцлерскую улицу, и указал нам дом с забранными решеткой окнами, который назвал «замком Ковинса». Когда мы подошли к подъезду и позвонили, из какого-то помещения вроде конторы вышел уродливый малый и уставился на нас из-за железной калитки с заостренными прутьями.

— Вам кого нужно? — спросил малый, опершись подбородком на два острия.

— Здесь служил один сыщик, или агент судебного исполнителя, или кто-то в этом роде,— тот, что недавно умер,— сказал мистер Джарндис.

— Да,— отозвался малый.— Ну и что?

— Скажите, пожалуйста, как его фамилия?

— Его фамилия Неккет,— ответил малый.

— А адрес?

— Белл-Ярд,— ответил тот.— Мелочная лавка Блайндера, на левой стороне.

— Скажите, был он... не знаю как выразиться,— запнулся опекун,— был он трудолюбив?

— Неккет? — переспросил малый.— И очень даже. В слежке устали не знал. Уж если возьмется следить за кем-нибудь, так, бывало, часов по восемь, по десять кряду проторчит на углу у афишного столба.

— Могло быть и хуже,— проговорил опекун, ни к кому не обращаясь.— Если бы, например, он брался за дело, но не выполнял его. Спасибо. Только это мы и хотели узнать.

Мы простились с малым, который стоял, склонив голову набок, и, облокотившись на калитку, поглаживал и посасывал ее острые прутья, а сами вернулись в Линкольнс-Инн,— там нас поджидал мистер Скимпол, которому отнюдь не хотелось приближаться к дому судебного исполнителя Ковинса. Затем мы все вместе направились в Белл-Ярд, узкую уличку, находившуюся поблизости. Вскоре мы нашли мелочную лавку. В ней сидела добродушная с виду старуха, страдавшая водянкой или астмой, а может быть, и той и другой болезнью.

— Дети Неккета? — отозвалась она в ответ на мой вопрос.— Да, мисс, они живут здесь. Пройдите, пожалуйста, на четвертый этаж. Дверь прямо против лестницы.— И она протянула мне ключ через прилавок.

Я взглянула на ключ и взглянула на нее; но у нее, очевидно, и в мыслях не было, что я не знаю, зачем он мне может понадобиться. Догадавшись, однако, что это, должно быть, ключ от комнаты детей, я, не задавая больше никаких вопросов, пошла вперед по темной лестнице. Мы шли, стараясь не шуметь, но нас было четверо, ветхие деревянные ступени скрипели под нами, и когда мы поднялись на третий этаж, оказалось, что наш приход потревожил какого-то человека, и тот выглянул из своей комнаты.

— Вам кого... Гридли? — спросил он, устремив на меня сердитый взгляд.

— Нет, сэр,— ответила я,— я иду выше.

Он посмотрел на Аду, на мистера Джарндиса и на мистера Скимпола, устремляя сердитый взгляд на всех троих поочередно, по мере того как они проходили мимо, следуя за мной. Мистер Джарндис сказал ему: «Добрый день».

— Добрый день! — отозвался тот отрывисто и гневно.

Это был высокий, изжелта-бледный, изможденный мужчина, с почти облысевшей головой, лицом, изборожденным глубокими морщинами, и глазами навыкате. Крупный и сильный, хотя уже стареющий, он говорил

раздраженным, вызывающим тоном и даже немного напугал меня своей воинственностью. В руке он держал перо, и, проходя мимо его комнаты, я мельком заметила, что она завалена бумагами.

Он остался на площадке, а мы поднялись на самый верх. Я постучала в дверь, и чей-то звонкий голосок послышался из комнаты:

— Мы заперты на замок. Ключ у миссис Блайндер.

Вложив ключ в замочную скважину, я открыла дверь. В убогой комнатке с покатым потолком и очень скудной обстановкой стоял крошечный мальчик лет пяти-шести, который нянчил и укачивал на руках тяжелого полуторагодовалого ребенка. Погода стояла холодная, а комната была не топленная; правда, дети были закутаны в какие-то ветхие шали и пелеринки. Но одежда эта, видимо, грела плохо — дети съежились от холода, а носики у них покраснели и заострились, хотя мальчуган без отдыха ходил взад и вперед, укачивая и баюкая малютку, склонившую головку к нему на плечо.

— Кто запер вас здесь одних? — естественно, спросили мы.

— Чарли,— ответил мальчик, останавливаясь и глядя на нас.

— Чарли — это твой брат?

— Нет. Сестра — Чарлот. Папа называл ее Чарли.

— А кроме Чарли, сколько вас всего детей?

— Я,— ответил мальчик,— да вот Эмма,— он дотронулся до слабо завязанного чепчика ребенка,— и еще Чарли.

— А где же Чарли?

— Ушла стирать,— ответил мальчик и снова принялся ходить взад и вперед, неотрывно глядя на нас и не замечая, что головенка в нанковом чепчике вот-вот ударится о кровать.

Мы смотрели то на детишек, то друг на друга, но вот в комнату вбежала девочка очень маленького роста с совсем еще детской фигуркой, но умным, уже недетским личиком,— хорошеньким личиком, едва видным из-под широкополой материнской шляпы, слишком большой для такой крошки, и в широком переднике, тоже материн-

ском, о который она вытирала голые руки. Они были в мыльной пене, от которой еще шел пар, и девочка стряхнула ее со своих пальчиков, сморщенных и побелевших от горячей воды. Если бы не эти пальчики, ее можно было бы принять за смышленого, наблюдательного ребенка, который играет в стирку, подражая бедной женщине-работнице.

Девочка, очевидно, работала по соседству и домой бежала во всю прыть. Поэтому, как она ни была легка, она все-таки запыхалась и вначале не могла выговорить ни слова,— только спокойно смотрела на нас, тяжело дыша и вытирая руки.

— А вот и Чарли! — воскликнул мальчик.

Малютка, которую он нянчил, потянулась к Чарли и закричала, просясь к ней «на ручки». Девочка взяла ее совершенно по-матерински — это движение было под стать шляпе и переднику — и посмотрела на нас поверх своей ноши, а малютка нежно прижалась к сестре.

— Неужели,— прошептал опекун, когда мы пододвинули девочке стул и усадили ее вместе с малюткой, а мальчик прильнул к старшей сестренке, уцепившись за ее передник,— неужели эта крошка содержит своим трудом остальных? Посмотрите на них! Посмотрите на них, ради бога!

И правда, на них стоило посмотреть. Все трое ребят крепко прижались друг к другу, и двое из них во всем зависели от третьей, а третья была еще так мала, но какой у нее был взрослый и положительный вид, как странно он не вязался с ее детской фигуркой!

— Ах, Чарли! Чарли! — начал мой опекун.— Да сколько же тебе лет?

— Четырнадцатый год пошел, сэр,— ответила девочка.

— Ого, какой почтенный возраст! — сказал опекун.— Какой почтенный возраст, Чарли!

Не могу выразить, с какой нежностью он говорил с нею — полушутя, но так сострадательно и грустно.

— И ты одна живешь здесь с этими ребятишками, Чарли? — спросил опекун.

— Да, сэр,— ответила девочка, доверчиво глядя ему прямо в лицо,— с тех пор как умер папа.

— Чем же вы все живете, Чарли? — спросил опекун, отворачиваясь на мгновенье.— Эх, Чарли, чем же вы живете?

— С тех пор как папа умер, я работаю, сэр. Сегодня нанялась стирать.

— Помоги тебе бог, Чарли! — сказал опекун.— Да ведь ты так мала, что, наверное, и до лоханки не достаешь!

— В деревянных сандалиях достаю, сэр,— быстро возразила девочка.— У меня есть высокие деревянные сандалии,— от мамы остались.

— А когда умерла твоя мама? Бедная мама!

— Мама умерла, как только родилась Эмма,— ответила девочка, глядя на личико малютки, прижавшейся к ее груди,— и тогда папа сказал, что мне нужно постараться заменить ей маму. И вот я старалась — работала по дому, убирала, нянчила ребят, стирала — еще задолго до того, как начала ходить по чужим людям. Так вот и научилась, сэр, понимаете?

— И ты часто ходишь на работу?

— Да когда бы ни наняли,— ответила Чарли, широко раскрывая глаза и улыбаясь,— надо же зарабатывать шестипенсовики и шиллинги!

— И ты запираешь ребят всякий раз, как уходишь?

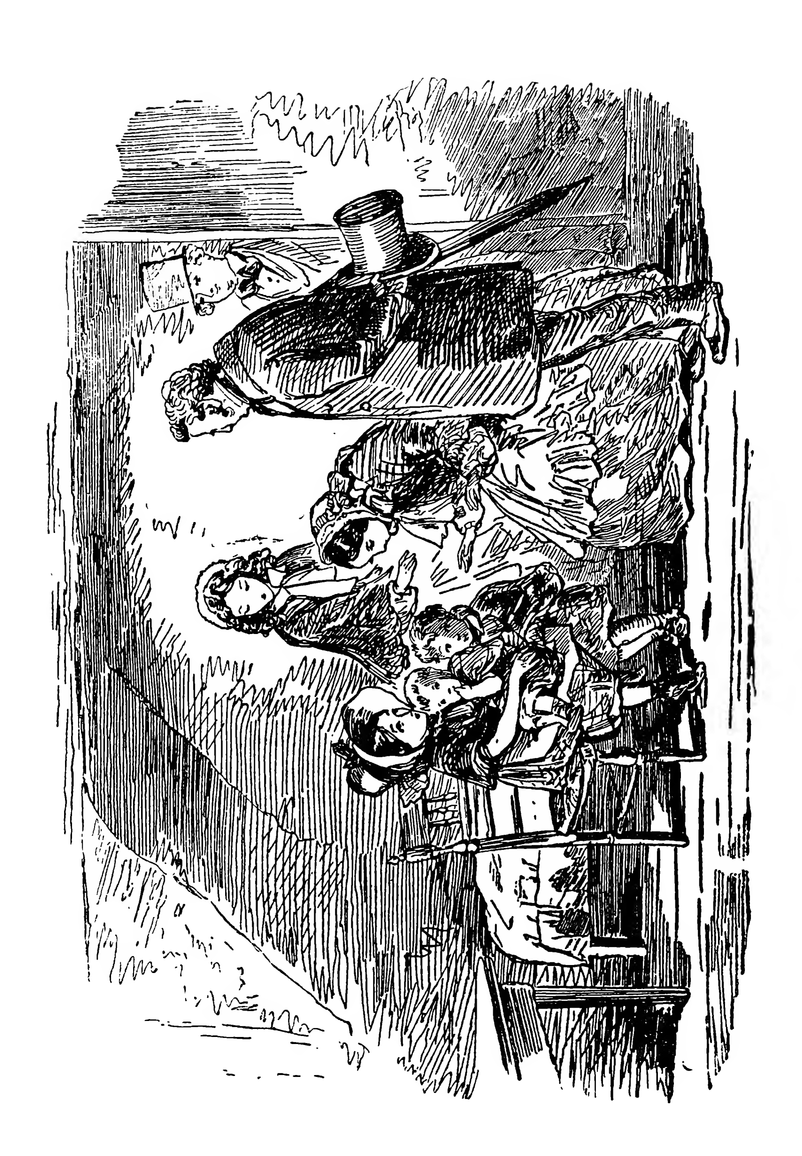
— А это для безопасности, сэр, понимаете? — объяснила Чарли.— Миссис Блайндер заходит к ним время от времени, и мистер Гридли наведывается, да и мне иной раз удается забежать домой, а они тут играют себе, и Том не боится сидеть взаперти... правда, Том?

— Нет, не боюсь! — стойко ответил Том.

— А когда стемнеет, внизу — в переулке — зажигают фонари, и в комнате тогда совсем светло, почти совсем светло. Правда, Том?

— Да, Чарли,— подтвердил Том,— почти совсем светло.

— Он прямо золотой мальчик! — сказала девочка таким женственным, материнским тоном.— А когда Эмме захочется спать, он уложит ее в постель. А когда ему самому захочется спать, он тоже уляжется. А когда я приду домой, зажгу свечку да соберу ужин, он встанет и поужинает со мной. Правда, Том?



— Ну, еще бы, Чарли! — ответил Том.— А как же!

И то ли при мысли об этой величайшей радости в его жизни, то ли от прилива благодарности и любви к Чарли, которая была для него всем на свете, он уткнулся лицом в складки ее узкой юбчонки, и его улыбка перешла в слезы.

С тех пор как мы пришли сюда, это были первые слезы, пролитые детьми. Маленькая сиротка так спокойно говорила о своих умерших родителях, как будто ее огромное горе заглушали и необходимость мужественно бороться за существование, и детская гордость своим уменьем работать, и старательность, и деловитость. Но теперь, когда расплакался Том, она хоть и сидела смирно, хоть и смотрела на нас совершенно спокойно, ни одним движением не сдвинув и волоска на головках своих маленьких питомцев, я все же заметила, как две слезинки скатились по ее щекам.

Мы с Адой стояли у окна, делая вид, что смотрим на крыши домов и закопченные дымовые трубы, на чахлые комнатные цветы и птичьи клетки в окнах у соседей; но вот явилась миссис Блайндер, та женщина, которая сидела внизу, в лавке, когда мы пришли (должно быть, она поднималась по лестнице все то время, что мы пробыли здесь), и завела разговор с опекуном.

— Если я не беру с них квартирной платы, так ведь это пустяк, сэр,— сказала она,— у кого хватит совести с них брать?

— Да, это пустяк,— отозвался опекун, обращаясь к Аде и ко мне.— Но этого достаточно, ибо наступит время, когда добрая женщина поймет, как *много* она сделала и что раз она сделала это для одного из малых сих, то... А эта крошка,— добавил он спустя несколько мгновений,— неужели она действительно в силах работать?

— Да, сэр, пожалуй что так,— ответила миссис Блайндер, с мучительным трудом переводя дыхание.— До чего она ловкая,— прямо на все руки. И, вы знаете, сэр, после смерти матери она так заботится о малышах, что весь переулок про нее говорит! А как она ухаживала за отцом, когда он расхворался, мы просто диву давались! «Миссис Блайндер,— сказал он мне, когда был уже при смерти,— он вон там лежал.— Миссис Блайндер, хоть и

плохое у меня было занятие, но прошлой ночью я видел, будто тут в комнате, рядом с моей девочкой, сидит ангел, и я поручаю ее нашему общему отцу!»

— Он ничем другим не занимался? — спросил опекун.

— Нет, сэр,— ответила миссис Блайндер,— он всегда был только сыщиком — то есть агентом у судебного исполнителя. Когда он снял у меня комнату, я сначала не знала, кто он такой, а когда узнала, признаюсь откровенно, попросила его съехать. В переулке у нас на таких соседей косятся. Таких прочие жильцы недолюбливают. Неблагородное это занятие,— продолжала миссис Блайндер,— и почти все осуждают тех, кто берется за такую работу. Мистер Гридли очень их не одобряет, а он хороший жилец, хотя ему довелось хлебнуть горя и это ему даже характер испортило.

— Поэтому вы попросили мистера Неккета съехать? — переспросил опекун.

— Попросила,— ответила миссис Блайндер.— Но, когда наступил срок, а я больше ничего плохого о нем не услышала, меня взяло сомненье. Платил он аккуратно, работал усердно,— что ж, ведь он делал только то, что должен был делать,— говорила миссис Блайндер, бессознательно устремив глаза на мистера Скимпола,— уж и это хорошо, даже если занимаешься такой работой.

— Значит, вы все-таки оставили его у себя?

— Ну да, я сказала, что если он сумеет поладить с мистером Гридли, то я сама как-нибудь улажу дело с другими жильцами и не буду особенно обращать внимания, нравится это соседям у нас в переулке или нет. Мистер Гридли дал согласие — хоть и грубовато, а все-таки дал. Он всегда был грубоват с Неккетом, но с тех пор, как тот умер, хорошо относится к его детям. Человека ведь нельзя узнать как следует, пока его не испытаешь.

— А многие ли хорошо отнеслись к его детям? — спросил мистер Джарндис.

— В общем, нашлись бы люди, сэр,— ответила миссис Блайндер,— но, конечно, нашлось бы больше, занимайся покойный чем-нибудь другим. Мистер Ковинс пожертвовал гинею, а его агенты сложились и тоже дали небольшую сумму. Кое-кто из соседей, те, что всегда насмехались и хлопали друг друга по плечам, когда Неккет,

бывало, проходил по переулку, собрали немного денег по подписке... вообще... к детям не так уж плохо относятся. Тоже и насчет Чарлот. Некоторые не хотят ее нанимать, потому что она, мол, дочь шпика; другие нанимают, но попрекают отцом; третьи ставят себе в заслугу, что, несмотря на это и на ее малолетство, дают ей работу; и ей зачастую платят меньше, чем другим поденщицам, а работать заставляют больше. Но другой такой безответной девчонки не сыскать, да и ловкая она, послушная, всегда старается изо всех сил и даже через силу. В общем, можно сказать, что к ней все относятся неплохо, сэр, но могли бы отнестись и получше.

Миссис Блайндер совсем задохнулась после своей длинной речи и села, чтобы легче было отдышаться. Мистер Джарндис обернулся, желая сказать нам что-то, но отвлекся, потому что в комнату неожиданно вошел мистер Гридли, тот жилец, о котором говорила хозяйка,— это его мы видели, поднимаясь наверх.

— Не знаю, зачем вы здесь, леди и джентльмены,— сказал он, словно раздосадованный нашим присутствием,— но вы уж извините меня за то, что я пришел. Кто-кто, а я прихожу сюда не затем, чтобы глазеть по сторонам. Ну, Чарли! Ну, Том! Ну, малютка! Как мы нынче поживаем?

Он ласково наклонился к детям, и нам стало ясно, что они его любят, хотя лицо его было по-прежнему сурово, а с нами он говорил очень резким тоном. Опекун заметил все это и почувствовал к нему уважение.

— Никто, конечно, не придет сюда только затем, чтобы глазеть по сторонам,— проговорил он мягко.

— Все может быть, сэр, все может быть,— ответил тот, нетерпеливым жестом отмахнувшись от опекуна и сажая к себе на колени Тома.— С леди и джентльменами я спорить не собираюсь. Спорить мне довелось столько, что одному человеку на всю жизнь хватит.

— Очевидно,— сказал мистер Джарндис,— у вас есть достаточные основания раздражаться и досадовать...

— Ну вот, опять! — воскликнул мистер Гридли, загораясь гневом,— я сварлив. Я вспыльчив. Я невежлив!

— По-моему, этого нельзя сказать.

— Сэр,— сказал Гридли, спуская на пол мальчугана

и подходя к мистеру Джарндису с таким видом, словно хотел его ударить.— Вы что-нибудь знаете о Судах справедливости?

— Кое-что знаю, к своему горю.

— «К своему горю»? — повторил Гридли спокойней.— Если так, прошу прощения. Я невежа, как известно. Прошу у вас прощенья! Сэр,— вскричал он вдруг еще более страстно,— меня двадцать пять лет таскали по раскаленному железу, и я по бархату ступать отвык. Подите вон туда, в Канцлерский суд, и спросите судейских, кто тот шут гороховый, что иногда развлекает их во время работы, и они вам скажут, что самый забавный шут — это «человек из Шропшира». Так вот,— крикнул он, с силой колотя одним кулаком о другой,— этот «человек из Шропшира» — это я и есть!

— Мои родственники и я, мы тоже, кажется, не раз имели честь потешать народ в этом высоком учреждении,— сдержанно проговорил опекун.— Вы, может быть, слышали мою фамилию? Я — Джарндис.

— Мистер Джарндис,— отозвался Гридли с неуклюжим поклоном,— вы спокойней меня переносите свои обиды. Скажу вам больше, скажу этому джентльмену и этим молодым леди, если они ваши друзья, что, относись я к своим обидам иначе, я бы с ума сошел! Только потому я и сохранил разум, что возмущаюсь, мысленно мщу за свои обиды и гневно требую правосудия, которого, впрочем, так и не могу добиться. Только поэтому! — Он говорил просто, безыскусственно, с большим жаром.— Может, вы скажете, что я слишком горячусь! Отвечу, что это в моем характере, и я не могу не горячиться, когда обижен. Или кипеть гневом, или вечно улыбаться, как та несчастная полоумная старушонка, что не вылезает из суда, а середины тут нет. Смирись я хоть раз, и мне несдобровать — рехнусь!

Он говорил с такой страстностью и горячностью, так резко меняясь в лице и размахивая руками, что на него было очень тяжело смотреть.

— Мистер Джарндис,— начал он,— разберитесь в моей тяжбе. Вот как дело было — расскажу все по правде, как правда то, что есть небо над нами. Нас два брата. Отец мой (он был фермером) написал завещание

и оставил свою ферму, скот и прочее имущество моей матери в пожизненное владение. После смерти матери все должно было перейти ко мне, кроме трехсот фунтов деньгами, которые я обязан был уплатить брату. Мать умерла. Прошло сколько-то времени, и брат потребовал завещанные ему деньги. Я да и некоторые наши родные говорили, что я уже выплатил ему часть этого наследства, раз он жил у меня в доме и питался за мой счет, а кроме того, получил кое-что из вещей. Теперь слушайте! Только об этом и шел спор, ни о чем другом. Завещания никто не оспаривал; спор шел только о том, выплатил я часть этих трехсот фунтов брату или нет. Чтобы разрешить спор, брат подал иск, и мне пришлось с ним судиться в этом проклятом Канцлерском суде. Я был вынужден судиться там — меня закон вынудил, и больше мне податься некуда. К этой немудреной тяжбе притянули семнадцать ответчиков! В первый раз дело слушали только через два года после подачи иска. Слушание отложили, и потом еще два года референт (чтоб ему головы не сносить!) наводил справки, правда ли, что я сын своего отца, чего ни один смертный не оспаривал. Но вот он решил, что ответчиков мало,— вспомните, ведь их было только семнадцать! — и что должен явиться еще один, которого пропустили, после чего нужно все начать сначала. К тому времени — то есть раньше, чем приступили к разбору дела! — судебных пошлин накопилось столько, что нам, тяжущимся, пришлось уплатить суду втрое больше, чем стоило все наше наследство. Брат с радостью отказался бы от этого наследства, лишь бы больше не платить пошлин. Все мое добро, все, что досталось мне по отцовскому завещанию, ушло на судебные пошлины. Из этой тяжбы — а она все еще не решена — только и вышло, что разоренье, да нищета, да горе горькое — вот в какую беду я попал! Правда, мистер Джарндис, у вас спор идет о многих тысячах, у меня — только о сотнях. Но не знаю уж, легче мне или тяжелей, чем вам, если на карту были поставлены все мои средства к жизни, а тяжба так бесстыдно их высосала?

Мистер Джарндис сказал, что сочувствует ему всем сердцем и не считает себя единственным человеком, безвинно пострадавшим от этой чудовищной системы.

— Опять! — воскликнул мистер Гридли с не меньшей яростью.— Опять система! Мне со всех сторон твердят, что вся причина в системе. Не надо, мол, обвинять отдельных личностей. Вся беда в системе. Не следует, мол, ходить в суд и говорить: «Милорд, позвольте вас спросить, справедливо это или не справедливо? Хватит у вас нахальства сказать, что я добился правосудия и, значит, волен идти куда угодно?» Милорд об этом и понятия не имеет. Он сидит в суде, чтобы разбирать дела по системе. Мне твердят, что не надо, мол, ходить к мистеру Талкингхорну, поверенному, который живет на Линкольновых полях, и говорить ему, когда он доводит меня до белого каления,— такой он бездушный и самодовольный (все они на один лад, знаю я их,— ведь они только выигрывают, а я теряю, разве не правда?), не надо, мол, говорить ему, что не мытьем, так катаньем, а уж отплачу я кому-нибудь за свое разоренье! *Он,* мол, не виноват. Вся беда в системе. Но если я пока еще не расправился ни с кем из них, то, кто знает, может и расправлюсь! Не знаю, что случится, если меня в конце концов выведут из себя! Но служителей этой системы я буду обвинять на очной ставке перед великим, вечным судом!

Он был страшен в своем неистовстве. Я никогда бы не поверила, что можно прийти в такую ярость, если бы не видела этого своими глазами.

— Я кончил! — сказал он, садясь и вытирая лицо.— Мистер Джарндис, я кончил! Я знаю, что я горяч. Мне ли не знать? Я сидел в тюрьме за оскорбление суда. Я сидел в тюрьме за угрозы этому поверенному. Были у меня всякие неприятности и опять будут. Я — «человек из Шропшира», и для них это забава — сажать меня под стражу и приводить в суд под стражей и все такое; но иной раз я не только их забавляю,— иной раз бывает хуже. Мне твердят, что, мол, сдерживай я себя, мне самому было бы легче. А я говорю, что рехнусь, если буду сдерживаться. Когда-то я, кажется, был довольно добродушным человеком. Земляки мои говорят, что помнят меня таким; но теперь я до того обижен, что мне нужно открывать отдушину, давать выход своему возмущению, а не то я с ума сойду. «Лучше бы вам, мистер Гридли,— сказал мне на прошлой неделе лорд-канцлер,—

не тратить тут времени попусту, а жить в Шропшире, занимаясь полезным делом».— «Милорд, милорд, я знаю, что лучше,— сказал ему я,— еще того лучше — никогда бы в жизни не слышать о вашем высоком учреждении; только вот беда — не могу я разделаться с прошлым, а оно тянет меня сюда!» Но погодите,— добавил он во внезапном припадке ярости,— уж я их осрамлю когда-нибудь. До конца своей жизни буду я ходить в этот суд для его посрамления. Кабы знал я, когда наступит мой смертный час, да кабы возможно было принести меня в суд, да кабы остался у меня голос, чтобы говорить с ними, я бы умер там, в суде, только сначала сказал бы: «Многое множество раз вы таскали меня сюда и выгоняли отсюда. Выносите теперь ногами вперед!»

Его лицо столько лет и так часто выражало гнев, что оно не смягчилось даже теперь, когда он, наконец, успокоился.

— Я пришел забрать этих малышей к себе в комнату на часок,— сказал он, снова подходя к детям,— пусть поиграют у меня. Я не собирался говорить всего этого, ну да уж ладно. Ты не боишься меня, Том? Правда?

— Нет! — сказал Том.— На *меня*-то ведь вы не сердитесь.

— Верно, мальчуган. А ты уже уходишь, Чарли? Ну, иди ко мне, крошка! — Он взял младшую девочку на руки, и она охотно к нему пошла.— А вдруг мы найдем внизу пряничного солдатика? Пойдемте-ка поищем его!

Он по-прежнему неуклюже, но довольно почтительно поклонился мистеру Джарндису, кивнул нам и пошел вниз, в свою комнату.

Тут мистер Скимпол, не проронивший ни слова с тех пор, как мы пришли сюда, заговорил, как всегда, веселым тоном. Он сказал, что, право же, очень приятно видеть, как все в мире бессознательно служит определенным целям. Вот, например, мистер Гридли, человек с сильной волей и поразительной энергией,— в интеллектуальном отношении нечто вроде «Невеселого кузнеца» *. Ведь он, мистер Скимпол, легко представляет себе, что много лет назад Гридли блуждал по жизни, ища, на что бы потратить избыток своего задора — как Юная Любовь блуж-

дает среди шипов в жажде борьбы с препятствиями,— но вдруг на дороге у него стал Канцлерский суд и дал ему как раз то, чего он желал. И вот они соединены навеки! При других условиях он мог бы сделаться великим полководцем и взрывать всякие там города, а нет — так великим политическим деятелем, который упражняется в разного рода парламентской риторике; но теперь Гридли и Канцлерский суд приятнейшим образом столкнулись друг с другом, и никому от этого не стало хуже, а Гридли с того часа, так сказать, имеет все, что ему требовалось. А теперь вспомните про «Ковинсова»! Как чудесно бедный «Ковинсов» (отец этих прелестных деток) иллюстрирует тот же самый принцип! Он, мистер Скимпол, сам иной раз сетовал на то, что есть на свете «Ковинсовы». «Ковинсов» становился ему поперек дороги. Он охотно обошелся бы без «Ковинсова». Будь он, Скимпол, султаном и скажи ему как-нибудь утром его великий визирь: «Что потребует у раба своего повелитель правоверных?», он мог бы зайти так далеко, что ответил бы: «Голову «Ковинсова»! Но как же обернулось дело? Оказывается, все это время он давал заработок вполне достойному человеку; он был благодетелем «Ковинсова»; он фактически дал возможность «Ковинсову» отлично воспитать этих прелестных деток, развивающих в себе такие общественные добродетели! Так что даже сердце у него забилось и слезы выступили на глазах, когда он, оглядев комнату, подумал: «Это *я* был великим покровителем «Ковинсова», и его скромный уют — дело *моих* рук!»

Было нечто столь пленительное в той легкости, с какой он перебирал струны своей фантазии, и сам он казался таким веселым ребенком рядом с серьезными детьми, которых мы видели в этой комнате, что опекун улыбнулся, возвращаясь к нам после короткой беседы вполголоса с миссис Блайндер. Мы поцеловали Чарли и вместе с нею спустились по лестнице, а выйдя на улицу, остановились посмотреть, как она бежит на работу. Не знаю, куда она шла; мы видели только, как она побежала,— такая маленькая-маленькая, в материнской шляпке и переднике,— скользнула под сводчатый проход в глубине двора и растворилась в суете и грохоте города, словно капля росы в океане.

ГЛАВА XVI
В «Одиноком Томе»

Миледи Дедлок не сидится на месте, никак не сидится. Сбитая с толку великосветская хроника прямо не знает, где ее найти. Сегодня миледи в Чесни-Уолде; вчера была в своем лондонском доме; завтра, возможно, окажется за границей,— великосветская хроника ничего не может предсказать с уверенностью. Даже галантный сэр Лестер с трудом поспевает за супругой. И ему вскоре стало бы еще труднее, но вторая его верная подруга в счастье и несчастье * — подагра — врывается в старинную дубовую спальню в Чесни-Уолде и хватает его за ноги, зажимая их в тиски.

Сэр Лестер мирится с подагрой, как с надоедливым демоном, но демоном патрицианским. Со времен, памятных человечеству, и даже незапамятных, все Дедлоки по прямой мужской линии страдали подагрой. И это можно доказать, сэр. Предки других людей, быть может, умирали от ревматизма или подвергались низменной заразе от нечистой крови болезненного простонародья, но Дедлоки внесли нечто особенное даже в равняющий всех процесс умиранья, ибо умирали они только от своей родовой подагры. Она переходила от одного славного поколения к другому, как столовое серебро, картины или линкольнширское поместье. Она — одно из их достоинств. Сэр Лестер, пожалуй, даже склонен думать,— хотя никогда не высказывал этих дум,— что ангел смерти, исполняя свои обязанности, когда-нибудь сообщит теням аристократов: «Милорды и джентльмены, имею честь представить вам еще одного Дедлока, прибывшего сюда, согласно удостоверению, по милости родовой подагры».

Итак, сэр Лестер отдает свои родовые ноги на растерзание родовому недугу, и можно подумать, что он держит свой титул и состояние на условиях этой феодальной повинности. Он чувствует, что кто-то позволяет себе вольность, заставляя представителя рода Дедлоков лежать на спине и ощущать судорожные схватки и колотье в нижних конечностях; но он рассуждает так: «Все мы, Дедлоки, подвергались этому. Это наша отличительная осо-

бенность. Веками принято было у нас нисходить в склеп, вырытый в парке, только из-за нашей родовой подагры, но никак не по более низменным причинам, и я мирюсь с этим компромиссом».

Великолепное зрелище представляет он, когда лежит с пылающими багровым и золотым огнем щеками перед своим любимым портретом миледи, в середине огромной гостиной, куда солнечный свет проникает через длинную вереницу окон и ложится широкими полосами на уходящую вдаль анфиладу комнат, чередуясь с мягкими полосами тени. За стенами дома о величии сэра Лестера свидетельствуют могучие дубы, которые вот уже много веков раскинули свои корни в покрытой зеленым газоном земле, не знавшей плуга и отведенной под охотничий парк еще в те времена, когда короли ездили на войну с мечом и щитом, а на охоту — с луком и стрелами. В доме предки сэра Лестера, глядя на него со стен, говорят ему: «Каждый из нас был тут преходящей действительностью, оставил здесь эту раскрашенную тень свою и превратился в воспоминание, столь же неясное, как далекие голоса грачей, которые убаюкивают тебя», и предки тоже утверждают его величие. И в этот день он действительно велик. И горе Бойторну или иным дерзким наглецам, которые самонадеянно осмелятся поспорить с ним хотя бы из-за одного дюйма!

Вместо миледи при сэре Лестере сейчас состоит ее портрет. Сама же она умчалась в Лондон, но не намерена там оставаться и, к недоумению великосветской хроники, вскоре примчится домой. Но лондонский дом не подготовлен к ее приезду. Он одет в чехлы и мрачен. Только Меркурий в пудреном парике безутешно зевает у окна в вестибюле и вчера вечером даже сказал другому Меркурию, своему знакомому, тоже привыкшему вращаться в хорошем обществе, что если так будет продолжаться дальше,— чего быть не может, ибо человек с его характером этого не вынесет и нельзя ожидать от человека с его фигурой, чтобы он это вынес,— то он честью клянется, что ему останется только вонзить себе нож в грудь!

Какое отношение имеют линкольнширское поместье Дедлоков, их лондонский дом, их Меркурий в пудреном

парике к тем местам, где прозябает Джо, отщепенец с метлой в руках, на которого упал слабый луч света, когда он подметал ступеньку перед входом на кладбище? Какое отношение имели друг к другу многие люди, которые, стоя на противоположных краях разделяющей их бездонной пропасти, все-таки столкнулись, самым любопытным образом, на бесчисленных путях жизни?

Джо день-деньской подметает свой перекресток, не подозревая об этой связи, если она вообще существует. На любой заданный ему вопрос он отвечает: «Ничего я не знаю», и этим исчерпывающе определяет свое невежество. Он знает, что в скверную погоду очищать перекресток от грязи трудно и еще трудней прокормиться этой работой. Никто ему не объяснил даже этого; он сам догадался.

Джо живет,— точнее, Джо только что не умирает,— в одном гиблом месте — трущобе, известной среди ему подобных под названием «Одинокий Том». Это темная, полуразрушенная улица, которой избегают порядочные люди, улица, где убогие дома, уже совсем обветшалые, попали в лапы каких-то предприимчивых проходимцев и теперь сдаются ими под ночлежки. По ночам лачуги эти кишат беднотой. Как на гниющем человеческом теле гнездится всякая ползучая тварь, так в этих гнилых развалинах теснятся толпы обездоленных,— вползают и выползают сквозь дыры в каменных и дощатых стенах, спят вповалку, бесчисленные, как личинки, скорчившись под проникающим внутрь дождем, где-то бродят, заражаются лихорадкой, потом заражают ею других и в каждом отпечатке ног своих сеют столько зла, что ни лорду Кудлу, ни сэру Томасу Дудлу, ни герцогу Фудлу, ни всем прочим стоящим у власти знатным джентльменам, вплоть до Чудла, и в пятьсот лет не искоренить этого зла, хотя на то они и существуют.

За последние дни в Одиноком Томе дважды раздавался грохот, и облако пыли вздымалось, как после взорвавшейся мины, и всякий раз это означало, что обвалился дом. В газетах появились коротенькие заметки об этих происшествиях, а в ближайшей больнице оказались занятыми две-три лишних койки. Зияющие провалы на улице не застраиваются, а бездомные по-прежнему ютятся в развалинах. Вот-вот рухнет еще несколько домов, и можно

думать, что в следующий раз грохот в Одиноком Томе будет еще оглушительней.

Нечего и говорить, что это заманчивое недвижимое имущество подведомственно Канцлерскому суду. Об этом знает каждый мало-мальски разумный человек, и объяснять ему это значит оскорблять его. Как возникло название «Одинокий Том», неизвестно,— может быть, эту улицу в народе прозвали «Томом» в честь первого истца или ответчика в тяжбе «Джарндисы против Джарндисов»; или, может быть,— потому, что Том жил тут один-одинешенек, когда тяжба уже опустошила всю улицу, а другие жители еще не успели присоединиться к нему; или же это просто меткое название для трущобы, отрезанной от порядочного общества и обреченной на безнадежность,— никто этого, вероятно, не знает. И, конечно, не знает Джо.

— Да не знаю я,— говорит Джо.— Ничего я не знаю.

Как это, должно быть, нелепо быть таким, как Джо! Бродить по улицам, не запоминая очертаний и совершенно не понимая смысла тех загадочных знаков, которые в таком изобилии начертаны над входом в лавки, на углах улиц, на дверях и витринах! Видеть, как люди читают, видеть, как люди пишут, видеть, как почтальоны разносят письма, и не иметь ни малейшего понятия об этом средстве общения людей,— чувствовать себя в этом отношении совершенно слепым и немым! Чудно̀, должно быть, смотреть, как прилично одетые люди идут по воскресеньям в церковь с молитвенником в руках, и думать (ведь, может быть, Джо когда-нибудь все-таки думает) — какой во всем этом смысл? и если это имеет смысл для других, почему это не имеет смысла для меня? Терпеть, когда меня толкают, пинают, гонят прочь, и подумывать иной раз: а может, мне и вправду незачем быть ни здесь, ни там и нигде вообще, и вместе с тем недоумевать при мысли, что ведь как-никак, а я все-таки существую, но никому до меня никогда не было дела, вот я и стал таким! Как это, должно быть, нелепо, не только слышать от других, что я почти не человек (как я слышал, когда предложил себя в свидетели на дознании), но самому чувствовать это по опыту всю жизнь! Видеть, как лошади, собаки, рогатый скот проходят мимо меня, и сознавать, что по невежеству своему я принадлежу к ним, а не к тем выс-

шим существам, подобным мне с виду, чью чувствительность я оскорбляю! Представления Джо об уголовном суде, о судьях, о епископах, о правительстве или о своем неоцененном сокровище — конституции (если только он об этом сокровище знает), вероятно, довольно нелепы! Вся его физическая и духовная жизнь — сплошная нелепость, а смерть — нелепей всего.

Джо выходит из Одинокого Тома навстречу медлительному утру, которое здесь всегда наступает с опозданием, и жует на ходу замызганный ломтик хлеба. Ему надо пройти много улиц, и, так как двери подъездов еще не открыты, он садится завтракать на пороге «Общества распространения слова божия в чужих странах», а покончив с едой, подметает порог в благодарность за приют. Восхищаясь размерами этого здания, он спрашивает себя, для кого оно построено. Он и не подозревает, несчастный, о духовной нищете на коралловых рифах в Тихом океане, не знает, во что обходится спасение драгоценных душ под кокосовыми пальмами и хлебными деревьями.

Он подходит к своему перекрестку и принимается за утреннюю уборку. Город пробуждается; огромный волчок уже запущен и будет вертеться и крутиться весь день; люди, на несколько часов прервавшие свои занятия, снова начинают читать и писать — неизвестно зачем. Джо и прочие живые существа низшего разряда кое-как прозябают в этой немыслимой неразберихе. Сегодня базарный день. Ослепленные волы, которых слишком часто подгоняли палками и слишком тяжело нагружали, но никогда не направляли на дорогу, мечутся куда попало, с налитыми кровью глазами и пеной у рта, а когда их отгоняют ударами, тычутся в каменные стены, часто калеча тех, кто их ничем не обидел, и часто калеча самих себя. Очень похоже на Джо и ему подобных... очень, очень похоже!

Подходит оркестр уличных музыкантов и начинает играть. Джо слушает. Слушает и собака — собака гуртовщика, которая заждалась хозяина у порога мясной лавки и, должно быть, вспоминает об овцах, с которыми возилась несколько часов и, наконец, благополучно развязалась. Ее как будто взяли сомнения насчет трех-четырех овец — не может понять, куда они подевались; она оглядывает улицу, словно ждет, не объявятся ли беглянки,


CREAM

и вдруг настораживает уши и вспоминает все. Это настоящая бродячая собака, привыкшая ко всякому сброду и харчевням; страшная для овец собака, готовая по свисту хозяина броситься на спину ослушнице и выдрать у нее клок шерсти; но вместе с тем — обученная, выдрессированная, развитая собака, которая училась выполнять свои обязанности и умеет их выполнять. Она и Джо слушают музыку, быть может, с одинаково сильным чувством животного удовольствия; да и в отношении пробуждающихся ассоциаций, мечтаний, сожалений, печальных или радостных представлений о том, что находится за пределами пяти чувств, он и она, вероятно, стоят на одном уровне. Но в прочих отношениях насколько зверь выше слушателя-человека!

Дайте потомкам этой собаки одичать, как одичал Джо, и не пройдет нескольких лет, как они выродятся, да так, что даже разучатся лаять, хоть и не перестанут кусаться.

Близясь к концу, день меняется, тускнеет, сыреет. Джо работает на своем перекрестке, увязая в уличной грязи, увертываясь от колес, лошадей, бичей, зонтов, чтобы получить гроши, которых хватит лишь на плату за отвратительный ночлег в Одиноком Томе. Смеркается; в лавках один за другим вспыхивают газовые рожки; фонарщик с лестницей бежит по улице у самого тротуара. Хмурый вечер близок.

Мистер Талкингхорн сидит в своем кабинете и обдумывает прошение о выдаче ордера на арест, которое хочет подать завтра утром местному судье. Гридли — один недовольный сутяга — сегодня приходил сюда и угрожал ему. Никто не имеет права запугивать других, и этого зловредного субъекта придется снова посадить в тюрьму. С потолка кабинета смотрит Аллегория — в виде написанного в ракурсе неправдоподобного, опрокинутого вверх ногами римлянина,— и громадной, как у Самсона *, рукой (вывихнутой и нелепой) настойчиво указывает на окно. Но с какой стати мистеру Талкингхорну смотреть в окно по такому пустячному поводу? Ведь эта рука всегда указывает туда. Поэтому он не смотрит в окно.

А если б он и посмотрел, если б увидел проходящую мимо женщину, так на что она ему? На свете женщин

много; по мнению мистера Талкингхорна,— слишком много, и они — источник всяческого зла, но, правда, тем самым дают заработок юристам. Зачем ему видеть женщину, проходящую мимо, даже если она ушла из дому тайком? Все они что-нибудь да утаивают. Мистеру Талкингхорну это очень хорошо известно.

Но не все они похожи на ту женщину, которая сейчас прошла мимо него и его дома,— женщину, чье скромное платье разительно не вяжется с ее утонченным обликом. По платью ее можно принять за служанку высшего ранга, но по осанке и поступи, торопливой и вместе с тем гордой (насколько можно быть гордой на грязных улицах, по которым ей так непривычно идти), она — светская дама. Лицо ее закрыто вуалью, но тем не менее она себя выдает, и — настолько, что многие прохожие, обернувшись, внимательно смотрят ей вслед.

Она ни разу не оглянулась. Дама она или служанка, у нее есть какая-то цель, и она умеет добиваться этой цели. Она ни разу не оглянулась, пока не подошла к перекрестку, на котором Джо усердно работает метлой. Он переходит улицу вместе с нею и просит у нее милостыни. Но она по-прежнему не оглядывается, пока не переходит на другую сторону. Здесь она делает Джо едва заметный знак и говорит:

— Подойди ближе!

Джо следует за нею, и, пройдя несколько шагов, они входят в безлюдный двор.

— Ты — тот мальчик, о котором я читала в газетах? — спрашивает она, не поднимая вуали.

— Не знаю,— отвечает Джо, хмуро уставившись на вуаль,— не знаю я ни про какие газеты. Ничего я не знаю ни об чем.

— Тебя допрашивали на дознании?

— Ничего я не знаю ни... это вы про то, куда меня водил приходский надзиратель? — догадывается вдруг Джо.— А мальчика на дознании звали Джо, что ли?

— Да.

— Ну, так это я! — говорит Джо.

— Пройдем немного дальше.

— Вы насчет того человека? — спрашивает Джо, следуя за нею.— Того, что помер?

— Тише! Говори шепотом! Да. Правда ли, что при жизни вид у него был совсем больной, нищенский?

— Ну да! — отвечает Джо.

— У него был вид... не такой, как у *тебя?* — спрашивает женщина с отвращением.

— Ну нет, не такой скверный,— отвечает Джо.— Я-то настоящий нищий, уж это да! А вы его знали?

— Как ты смеешь об этом спрашивать?

— Не обижайтесь, миледи,— смиренно извиняется Джо: теперь даже он заподозрил, что она дама.

— Я не леди, я служанка.

— Служанка! Черта с два! — говорит Джо, ничуть не желая ее оскорбить, а просто выражая свое восхищение.

— Слушай и молчи. Не разговаривай со мной и отойди подальше! Можешь ты показать мне все те места, о которых писали в газетах? Место, где ему давали переписку, место, где он умер, место, куда тебя водили, место, где он погребен? Ты знаешь, где его похоронили?

Джо отвечает кивком; да и на все вопросы женщины он отвечал кивками.

— Ступай вперед и покажи мне все эти ужасные места. Останавливайся против каждого и не говори со мной, пока я сама с тобой не заговорю. Не оглядывайся. Сделай, что я требую, и я тебе хорошо заплачу.

Джо внимательно слушает ее слова; повторяет их про себя, постукивая по ручке метлы, и находит не совсем понятными; молчит, размышляя о их значении; наконец, уразумевает их смысл и, удовлетворенный, кивает лохматой головой.

— Ладно! — говорит Джо.— Только чур — без обману. Не вздумайте дать стрекача!

— Что говорит этот противный мальчишка? — восклицает служанка, отшатнувшись.

— Не вздумайте улепетнуть, вот что! — объясняет Джо.

— Ничего не понимаю. Ступай вперед! Я дам тебе столько денег,— сколько у тебя никогда в жизни не было.

Джо складывает губы трубочкой и свистит, скребет лохматую голову, сует метлу под мышку и шагает впереди женщины, ловко переступая босыми ногами через острые камни, через грязь и лужи.

Кукс-Корт. Джо останавливается. Молчание.

— Кто здесь живет?

— Который давал ему переписывать, а мне полкроны дал,— отвечает Джо шепотом и не оборачиваясь.

— Иди дальше.

Дом Крука. Джо опять останавливается. Долгое молчание.

— А здесь кто живет?

— *Он* здесь жил,— отвечает Джо все так же шепотом.

После недолгого молчания его спрашивают:

— В какой комнате?

— В задней, наверху. Окно отсюда видать, с угла. Вон там, наверху! Там-то я и видел, как он лежал — вытянулся весь. А вот и трактир — это куда меня водили.

— Иди к месту, где его похоронили.

До этого места довольно далеко, но Джо, теперь уже доверяя своей спутнице, выполняет все ее требования и не оглядывается. Они долго идут по кривым проулкам, омерзительным во многих отношениях, и, наконец, подходят к сводчатому проходу, ведущему в какой-то двор, к газовому фонарю (уже зажженному) и к железным решетчатым воротам.

— Тут его и зарыли,— говорит Джо, ухватившись за решетку и заглядывая во двор.

— Где? Ох, какое страшное место!

— Здесь! — отвечает Джо, показывая пальцем.— Вон там. Где куча костей — как раз под кухонным окном! Да, почитай, и не зарывали. Пришлось ногами его топтать, чтобы в землю запихнуть. Я бы вам его метлой отрыл, кабы ворота были открыты. Должно, потому их и запирают,— объясняет он, дергая за решетку.— День и ночь запертые. Глядите, крыса! — возбужденно вскрикивает Джо.— Эй! Глядите! Туда шмыгнула! Ого! Прямо в землю!

Служанка отшатывается в угол,— в угол этой отвратительной подворотни, пачкая платье о мерзкие пятна на стене; в волнении приказывает Джо отойти в сторону, потому что он ей противен, и, протянув руки вперед, на несколько минут замирает. Джо стоит и смотрит на нее во все глаза, даже после того, как она уже пришла в себя.

— Эта трущоба — освященная земля?

— Не знаю я ни об какой «освеченной» земле,— отвечает Джо, по-прежнему не отрывая глаз от женщины.

— Благословляли ее?

— Кого? — спрашивает Джо, совершенно сбитый с толку.

— Благословляли ее?

— Чтоб меня черти благословили, если я знаю! — говорит Джо, все шире раскрывая глаза.— Должно быть, что нет. Благословляли? — повторяет он оторопело.— А хоть бы и так, все равно толку мало. Благословляли? Похоже, скорей проклинали. Ничего я не знаю!

Служанка так же плохо слышит его слова, как и свои собственные. Она снимает перчатку, чтобы вынуть деньги из кошелька. Джо молча думает, какая белая и маленькая у нее рука, и какая же это, к черту, служанка, если она носит такие сверкающие кольца.

Не прикасаясь к нему, она бросает ему на ладонь монету и вздрагивает, когда их руки сближаются.

— Теперь,— говорит она,— покажи мне опять могилу!

Джо просовывает ручку метлы между железными прутьями и с ее помощью старается возможно точнее показать, где находится могила. Потом поворачивает голову, желая убедиться, что его поняли, и видит, что остался один.

Первое, что он делает, это — подносит монету к свету газового фонаря и приходит в полное изумление, увидев, что она желтая — золотая. Затем пробует монету на зуб, чтобы узнать, не фальшивая ли она. Наконец сует ее в рот для сохранности и тщательно подметает ступеньку и весь проход. Покончив с этим, он направляется к Одинокому Тому, но останавливается чуть не под всеми бесчисленными газовыми фонарями, вынимает золотую монету и снова пробует ее на зуб, чтобы вновь убедиться, что она не фальшивая.

Сегодня вечером Меркурий в пудреном парике не может пожаловаться на одиночество, так как миледи едет на парадный обед и на три или четыре бала. Далеко, в Чесни-Уолде, сэр Лестер беспокойно тоскует в обществе одной лишь подагры и жалуется миссис Раунсуэлл на дождь, который так монотонно барабанит по террасе,



что он, сэр Лестер, не может читать газету, даже сидя у камина в своей уютной гардеробной.

— Лучше бы, милая, сэру Лестеру перейти на другую половину дома,— говорит миссис Раунсуэлл Розе.— Его гардеробная на половине миледи. А я за все эти годы ни разу так ясно не слышала шагов на Дорожке призрака, как нынче вечером!

ГЛАВА XVII
Повесть Эстер

Пока мы жили в Лондоне, Ричард очень часто приходил к нам в гости (однако после нашего отъезда он скоро перестал писать нам регулярно), и мы всегда наслаждались его обществом — такой он был остроумный, жизнерадостный, добродушный, веселый и непосредственный. Чем лучше я его узнавала, тем больше он мне нравился; и я тем сильнее жалела, что его не приучили работать усердно и сосредоточиваться на чем-нибудь одном. Его воспитывали совершенно так же, как и многое множество других мальчиков, отличающихся друг от друга характером и способностями, и научили его справляться со своими обязанностями очень быстро, всегда успешно, иногда даже превосходно, но как-то судорожно и порывисто, что и позволило развиться тем его качествам, которые непременно следовало бы сдерживать и направлять. Это были хорошие качества, без которых нельзя заслуженно добиться никакого высокого положения, но, как огонь и вода, они, будучи отличными слугами, были очень плохими хозяевами. Если бы Ричард умел управлять ими, они стали бы его друзьями; но это они управляли Ричардом, и, разумеется, сделались его врагами.

Я не потому пишу все это, что считаю правильным свое мнение о воспитании Ричарда или любом другом предмете,— просто я так думала, а я хочу правдиво рассказывать обо всем, что думала и делала. Так вот какие у меня были мысли насчет Ричарда. Кроме того, я нередко замечала, как прав был опекун, говоря, что неопре-

деленность и волокита канцлерской тяжбы заразили Ричарда беспечностью игрока, который чувствует себя участником какой-то очень большой игры.

Мистер и миссис Бейхем Беджер пришли к нам как-то раз днем, когда опекуна не было дома, и, разговаривая с ними, я, естественно, спросила о Ричарде.

— Что сказать о нем? — промолвила миссис Беджер.— Мистер Карстон чувствует себя прекрасно, и он прямо-таки украшает наше общество, могу вас уверить. Капитан Суоссер нередко говаривал обо мне, что для мичманов мое присутствие на обеде в кают-компании приятней, чем берег впереди по-носу и ветер за кормой — даже после длинного перехода, когда солонина, которой кормит судовой ревизор, стала жесткой, как нок-бензели формарселей *. Так он по-своему, по-флотски, хотел выразить, что я украшаю любое общество. И я, безусловно, могу совершенно так же воздать должное мистеру Карстону. Но я... вы не подумаете, что я сужу слишком поспешно, если я скажу вам кое-что?

Я ответила отрицательно, ибо вкрадчивый тон миссис Беджер требовал именно такого ответа.

— И мисс Клейр тоже? — ласково проговорила миссис Беджер.

Ада также ответила отрицательно, но, видимо, забеспокоилась.

— Так вот, душеньки мои,— проговорила миссис Беджер,— вы извините меня, что я называю вас душеньками?

Мы попросили миссис Беджер не стесняться.

— Потому что вы действительно душеньки, позволю себе сказать,— продолжала миссис Беджер,— просто очаровательные во всех отношениях. Так вот, душеньки мои, хоть я еще молода... или, может быть, мистер Бейхем Беджер говорит мне это только из любезности...

— Нет! — воскликнул мистер Беджер, как участник митинга, возражающий оратору.— Нет, вовсе нет!

— Отлично,— улыбнулась миссис Беджер,— скажем, еще молода.

(— Несомненно,— вставил мистер Беджер.)

— Хоть я сама еще молода, душеньки мои, но мне много раз приходилось наблюдать молодых людей.

Сколько их было на борту милого старого «Разящего»! Впоследствии, плавая с капитаном Суоссером по Средиземному морю, я пользовалась всяким удобным случаем узнать поближе и обласкать мичманов, подчиненных капитану Суоссеру. Правда, их никогда не называют «молодыми джентльменами», душеньки мои, и вы, вероятно, ничего не поймете, если сказать вам, что они еженедельно «чистят белой глиной» свои счета, но я-то понимаю (это значит, что они их приводят в порядок), да и немудрено, что понимаю — ведь синее море сделалось для меня второй родиной и я была заправским моряком. Опять же и при профессоре Динго...

(— Прославился на всю Европу,— пробормотал мистер Беджер.)

— Когда я потеряла своего дорогого первого и стала женой своего дорогого второго,— продолжала миссис Беджер, говоря о своих двух мужьях, как будто они были частями шарады,— я снова смогла продолжать свои наблюдения над молодежью. Аудитория на лекциях профессора Динго была многолюдная, и я, как жена выдающегося ученого, сама ищущая в науке того великого утешения, которое она способна дать, считала своей почетной обязанностью принимать у себя студентов для обмена научным опытом. Каждый вторник, вечером, у нас в доме подавали лимонад и печенье всем тем, кто желал их отведать. А науки было сколько душе угодно.

(— Замечательные это были собрания, мисс Саммерсон,— с благоговением вставил мистер Беджер.— Какое великолепное общение умов происходило там, вероятно, под председательством такого человека!)

— А теперь,— продолжала миссис Беджер,— будучи женой моего дорогого третьего, то есть мистера Беджера, я не теряю своей наблюдательности, выработанной при жизни капитана Суоссера и послужившей новым, неожиданным целям при жизни профессора Динго. Поэтому о мистере Карстоне я сужу не как новичок. И все же я убеждена, душеньки мои, что мистер Карстон выбрал себе профессию неосмотрительно.

Ада так явно встревожилась, что я спросила у миссис Беджер, на чем основаны ее предположения.

— На характере и поведении мистера Карстона, дорогая мисс Саммерсон,— ответила она.— Он такой легкомысленный, что, вероятно, никогда не найдет нужным высказать свои истинные чувства,— подумает, что «не стоит того»,— но к медицине он относится вяло. У него нет к ней того живого интереса, который необходим, чтобы она стала его призванием. Если он и думает о ней что-нибудь определенное, то я бы сказала, он считает ее скучной. А это не обещает успеха. Те молодые люди, которые серьезно интересуются медициной и всеми ее возможностями,— как, например, мистер Аллен Вудкорт,— найдут удовлетворение в ней самой, а значит будут как-то вознаграждены, несмотря на то, что им придется работать очень усердно за ничтожную плату и много лет терпеть большие лишения и горькие разочарования. Но я совершенно убеждена, что мистер Карстон не из таких.

— Мистер Беджер тоже так думает? — робко спросила Ада.

— Видите ли,— начал мистер Беджер,— откровенно говоря, мисс Клейр, подобный взгляд на вещи не приходил мне в голову, пока миссис Беджер его не высказала. Но когда миссис Беджер так осветила вопрос, я, натурально, отнесся к этому с величайшим вниманием, зная, что умственные способности миссис Беджер, не говоря уж о том, каковы они от природы, имели редкостное счастье развиваться в общении с двумя столь выдающимися (скажу даже прославленными) деятелями, какими были капитан Суоссер, моряк королевского флота, и профессор Динго. И я сделал вывод... коротко говоря, он совпадает с выводом миссис Беджер.

— Капитан Суоссер,— сказала миссис Беджер,— говаривал, выражаясь образно, по-флотски, что, когда варишь смолу, старайся, чтоб она была как можно горячее, а когда драишь палубу шваброй, то драй так, словно у тебя сам Дэви Джонс — то бишь дьявол — за спиной. Мне кажется, что этот афоризм подходит не только к мореходной, но и к медицинской профессии.

— Ко всем профессиям,— заметил мистер Беджер.— Капитан Суоссер выразил это замечательно. Прекрасно сказано!

— Когда я вышла за профессора Динго и мы после свадьбы жили в северной части Девоншира,— промолвила миссис Беджер,— местные жители протестовали, когда он портил внешний вид домов и других строений, откалывая от них куски камня своим геологическим молотком. Но профессор отвечал, что он не признает никаких зданий, кроме Храма науки. Принцип тот же самый, не правда ли?

— Именно тот же самый! — подтвердил мистер Беджер.— Отлично сказано! Во время своей последней болезни, мисс Саммерсон, профессор выражался так же, когда (уже не вполне владея своими умственными способностями) не давал убрать из-под подушки свой молоточек и все порывался откалывать кусочки от физиономий окружающих. Всепоглощающая страсть!

Мы, пожалуй, предпочли бы, чтобы мистер и миссис Беджер говорили покороче, но все же поняли, что, не скрыв от нас своего мнения о Ричарде, они поступили бескорыстно и мнение их, по всей вероятности, справедливо. Мы условились ничего не передавать мистеру Джарндису, пока не увидимся с Ричардом, который собирался прийти к нам на следующий день, а с ним решили поговорить очень серьезно.

Итак, переждав некоторое время, чтобы Ричард мог немного побыть вдвоем с Адой, я вошла в комнату, где они сидели, и сразу поняла, что моя девочка (как и следовало ожидать) готова считать его совершенно правым, что бы он ни говорил!

— Ну, Ричард, как идут ваши занятия? — спросила я.

Когда он сидел с Адой, я всегда садилась рядом с ним с другой стороны. Он любил меня как родную сестру.

— Да, в общем, недурно! — ответил Ричард.

— Лучше этого он не мог сказать, ведь правда, Эстер? — с торжеством воскликнула моя прелесть.

Я попыталась бросить на нее укоризненный взгляд, но мне это, конечно, не удалось.

— Недурно? — повторила я.

— Да,— ответил Ричард,— недурно. Медицина — наука довольно скучная и однообразная. Но она не хуже любой другой науки.

— Милый Ричард! — проговорила я с упреком.

— А что? — спросил Ричард.

— «Не хуже любой другой»!

— Я не вижу в этом ничего плохого, Хлопотунья,— проговорила Ада, доверчиво переводя глаза с него на меня,— ведь если медицина не хуже любой другой науки, то Ричард, надеюсь, сделает в ней большие успехи.

— Ну да, конечно, и я надеюсь,— сказал Ричард, небрежно откинув волосы со лба.— Может быть, это в конце концов всего только испытание, пока наша тяжба не... простите, совсем было позабыл! Я ведь не должен упоминать о тяжбе. Запретная тема! Ну да, в общем все обстоит недурно. Давайте поговорим о чем-нибудь другом.

Ада охотно согласилась бы с ним — ведь она уже была твердо убеждена, что вопрос решен вполне удовлетворительно. Но я не считала возможным остановиться на этом и начала все сызнова.

— Нельзя же так, Ричард, и ты, милая Ада! — сказала я.— Подумайте, как это важно для вас обоих; а вы, Ричард, должны твердо знать, нравится ли вам ваша будущая профессия и намерены ли вы заниматься ею серьезно, или нет,— этого требует ваш нравственный долг по отношению к кузине. Я думаю, что нам обязательно надо поговорить об этом, Ада. А то будет поздно и — очень скоро.

— Конечно! Давайте поговорим! — согласилась Ада.— Но, мне кажется, Ричард прав.

Как могла я укорять ее хотя бы взглядом, если она была такая красивая, такая обаятельная и так любила его!

— Вчера у нас были мистер и миссис Беджер, Ричард,— сказала я,— и, судя по всему, они думают, что медицина вам не очень-то по вкусу.

— Неужели? — проговорил Ричард.— Вот как! Ну, это, пожалуй, меняет дело,— ведь я понятия не имел, что они так думают, и мне не хотелось их разочаровывать или доставлять им какие-нибудь неприятности. Да я и правда не особенно интересуюсь медициной. Но ведь это неважно! Она не хуже других наук!

— Ты слышишь, Ада! — воскликнула я.

— Должен сознаться,— продолжал Ричард полузадумчиво, полушутливо,— что медицина не совсем в моем

вкусе. У меня к ней не лежит душа. И я слишком много слышу о мужьях миссис Бейхем Беджер — первом и втором.

— Ну, это можно понять,— в восторге воскликнула Ада.— Мы с тобой, Эстер, вчера говорили то же самое!

— И потом,— продолжал Ричард,— слишком все это однообразно: сегодня то же, что и вчера, завтра то же, что и сегодня.

— Мне думается,— сказала я,— что это недостаток, свойственный любой деятельности... даже самой жизни, если только она не протекает в каких-то необыкновенных условиях.

— Вы полагаете? — промолвил Ричард задумчиво.— Может быть! Ха! Но слушайте,— он снова внезапно развеселился,— мы отвлеклись от того, о чем я говорил. Повторяю — медицина не хуже любой другой науки. В общем, все обстоит недурно! Давайте поговорим о чем-нибудь другом.

Однако даже Ада, чье личико сияло любовью,— а теперь, когда я уже знала, какая у нее невинная и доверчивая душа, это личико казалось мне еще более невинным и доверчивым, чем в тот памятный ноябрьский туманный день, когда я впервые его увидела,— даже Ада, услышав его слова, покачала головой и приняла серьезный вид. Поэтому я воспользовалась удобным случаем и намекнула Ричарду, что если он иногда перестает заботиться о себе, то он, по моему глубокому убеждению, конечно, никогда не перестанет заботиться об Аде, и если он ее любит и считается с ней, он не должен преуменьшать важность того, что может оказать влияние на всю их жизнь. Это заставило его призадуматься.

— Милая моя Хлопотунья, в том-то все и дело! — отозвался он.— Я думал об этом несколько раз и очень сердился на себя за то, что хоть я и очень хочу серьезно взяться за дело и... но это мне... почему-то не совсем удается. Не знаю, как это получается; должно быть, мне не хватает чего-то. Как дорога мне Ада, не знает никто, даже вы, Эстер (милая моя кузина, я так вас люблю!), но во всем остальном я не способен на постоянство. Это такие трудные занятия, и на них уходит столько времени! — добавил Ричард с досадой.

— Может быть,— начала я,— вы так относитесь к ним, потому что сделали неудачный выбор?

— Бедный! — промолвила Ада.— Ничуть этому не удивляюсь!

Да! Никакие мои попытки смотреть на них укоризненно не удавались. Я сделала еще попытку, но просто не могла ничего поделать с собой, да если б и могла, какой вышел бы толк, пока Ада сидела, скрестив руки на плече Ричарда, а он глядел в ее нежные голубые глаза, устремленные на него?

— Видите ли, милая девушка,— начал Ричард, перебирая пальцами золотистые локоны Ады,— возможно, что я немного поторопился, может быть сам не разобрался в своих склонностях. Очевидно, они направлены в другую сторону. Мог ли я знать наверное, пока не попробовал? Теперь вопрос в том, стоит ли бросать то, что начато. По-моему, это все равно что поднимать переполох по пустякам.

— Милый Ричард,— проговорила я,— да как же у вас хватает духу считать свои занятия пустяками?

— Я этого не считаю,— возразил он.— Я хочу сказать, что они *могут* оказаться пустяками, потому что знание медицины мне, может быть, и не понадобится.

Тут мы с Адой начали убеждать его, что ему не только следует, но положительно необходимо бросить медицину. Затем я спросила Ричарда, не подумывает ли он о какой-нибудь другой профессии, которая ему больше по душе.

— Теперь, дорогая моя Хлопотунья,— сказал Ричард,— вы попали в цель. Да, подумываю. Я считаю, что юриспруденция подходит мне больше всего.

— Юриспруденция! — повторила Ада, как будто испугавшись этого слова.

— Если я поступлю в контору Кенджа,— объяснил Ричард,— и буду обучаться у Кенджа, я получу возможность следить за... хм! — «запретной темой», смогу досконально изучить ее, овладеть ею и удостовериться, что о ней не забывают и ведут ее как следует. Я смогу позаботиться об интересах Ады и своих собственных (они совпадают!) и буду корпеть над трудом Блекстона * и прочими юридическими книгами с самым пламенным усердием.

Я вовсе не была в этом уверена и к тому же заметила, как омрачило лицо Ады его упование на какие-то туманные возможности, с которыми были связаны столь долго не сбывающиеся надежды. Но я сочла за лучшее поддержать его намерение упорно работать — в любой области — и только посоветовала ему хорошенько проверить себя и убедиться в том, что теперь-то уж он сделал выбор раз и навсегда.

— Дорогая Минерва *,— отозвался Ричард,— я такой же уравновешенный, как вы. Я сделал ошибку,— всем нам свойственно ошибаться. Больше этого не будет, и я стану юристом, каких мало. То есть, конечно,— тут Ричард опять впал в сомнения,— если стоит поднимать такой переполох по пустякам!

Это побудило нас снова и очень серьезно повторить ему все то, что говорилось раньше, и мы пришли к прежнему заключению. Но мы так настоятельно советовали Ричарду откровенно и без утайки поговорить с мистером Джарндисом, не медля ни минуты, да и самому Ричарду скрытность была так чужда, что он вместе с нами сейчас же разыскал опекуна и признался ему во всем.

— Рик,— отозвался опекун, внимательно выслушав его,— мы можем отступить с честью, да так и сделаем. Но нам необходимо быть осторожными — ради нашей кузины, Рик, ради нашей кузины,— чтобы впредь уже не делать подобных ошибок. Поэтому, прежде чем решить, намерены ли мы стать юристами, мы должны выдержать серьезное испытание. Прежде чем сделать прыжок, мы хорошенько подумаем и отнюдь не будем торопиться.

Ричард был до того энергичен, нетерпелив и порывист, что ничего на свете так не желал, как сию же минуту отправиться в контору мистера Кенджа и немедленно заключить с ним договор. Однако он охотно согласился повременить, когда ему доказали, что это необходимо, и удовольствовался тем, что, усевшись среди нас в самом веселом настроении, начал рассуждать в таком духе, словно единственной и неизменной целью его жизни с самого детства была именно та, которая увлекла его теперь. Опекун говорил с ним ласково и сердечно, но довольно серьезным тоном — настолько серьезным, что это произвело впечатление на Аду, и, когда Ричард ушел,

а мы уже собирались подняться к себе наверх и лечь спать, она сказала:

— Кузен Джон, я надеюсь, что вы не думаете о Ричарде хуже, чем раньше?

— Нет, милая,— ответил он.

— Ведь очень естественно, что Ричард мог ошибиться в таком трудном вопросе. Это случается довольно часто.

— Да, да, милая,— согласился он.— Не надо грустить.

— Да мне вовсе не грустно, кузен Джон! — сказала Ада с бодрой улыбкой и не отнимая своей руки,— прощаясь, она положила руку ему на плечо.— Но мне было бы немножко грустно, если бы вы начали дурно думать о Ричарде.

— Дорогая моя,— проговорил мистер Джарндис,— я только в том случае буду думать о нем дурно, если вы хоть чуть-чуть почувствуете себя несчастной по его вине, и даже тогда я скорее стану бранить не бедного Рика, но самого себя,— ведь это я познакомил вас друг с другом. Ну, довольно,— все это пустяки! У него впереди долгие годы и длинный путь. Да разве *я* могу думать о нем дурно? Нет, милая моя кузина, только не я! И не вы — могу поклясться!

— Нет, конечно, кузен Джон,— отозвалась Ада.— Я уверена, что не смогу,— уверена, что не стану думать дурно о Ричарде, даже если весь свет будет так думать. А если весь свет будет думать о нем дурно, я тогда и смогу и стану думать о нем лучше, чем когда-либо!

Она проговорила эти слова так спокойно, искренне, не снимая рук — теперь уже обеих рук — с плеча опекуна, и посмотрела ему в лицо, как сама Верность!

— Мне кажется,— сказал опекун, глядя на нее задумчиво,— мне кажется, где-то должно быть сказано, что добродетели матерей иногда проявляются в детях так же, как грехи отцов. Спокойной ночи, мой цветочек. Спокойной ночи, Хозяюшка. Приятного сна! Чудесных сновидений!

И тут я впервые заметила, что благожелательный взгляд, которым он всегда провожал Аду, теперь омрачен какой-то тенью. Я хорошо помнила, как он смотрел на нее и Ричарда, когда она пела, озаренная пламенем ка-

мина. Еще недавно он любовался на них, когда они пересекали комнату, освещенную солнцем, и потом уходили в тень; но теперь взгляд его изменился, и даже, когда он перевел глаза на меня, этот безмолвный взгляд, выражавший доверие ко мне, не был уже столь спокойным и полным надежд, как раньше.

В тот вечер Ада хвалила мне Ричарда больше, чем когда-либо. Ложась в постель, она не сняла подаренного им браслета. После того как она проспала около часу, я поцеловала ее в щеку, любуясь ее спокойным, счастливым личиком, и решила, что она видит во сне Ричарда.

А мне в тот вечер совсем не хотелось спать, и я села за работу. Об этом, пожалуй, не стоит упоминать, но мне действительно не спалось, и на душе у меня было довольно тоскливо. Не знаю, почему. По крайней мере думаю, что не знаю. Впрочем, может быть, и знаю, но не думаю, что это имеет значение.

Во всяком случае, я решила работать как можно усерднее, так, чтобы некогда было тосковать. И я, конечно, сказала себе: «Ты что же это, Эстер! Тоскуешь? *Ты!*» — И сказала как раз вовремя, потому что... да, взглянув на себя в зеркало, я заметила, что чуть не плачу. «Как будто тебе есть о чем горевать; наоборот, тебе бы только радоваться надо, неблагодарная ты душа!» — сказала я.

Будь я в силах заставить себя уснуть, я бы немедленно уснула; но это было не в моих силах, и я вынула из рабочей корзинки вышивку, которую начала в те дни,— это было украшение, предназначенное для одной из комнат нашего дома (то есть Холодного дома),— и, полная решимости, принялась за нее. Эта работа требовала большого внимания — необходимо было считать все стежки,— и я сказала себе, что не прекращу ее, пока у меня не начнут слипаться глаза, и только тогда лягу спать.

Итак, я вскоре совершенно погрузилась в работу. Но оказалось, что я забыла шелк в ящике рабочего столика внизу, в нашей временной Брюзжальне, а обойтись без него было нельзя, поэтому я взяла свечу и тихонько спустилась вниз, чтобы его взять. И вот я, к великому своему изумлению, увидела, входя в комнату, что опекун

еще не ушел спать, но сидит и смотрит на пепел в камине. Он глубоко задумался, позабыв о раскрытой книге, лежавшей рядом на столике; серебристо-седые волосы рассыпались у него по лбу, словно рука его бессознательно перебирала их, в то время как мысли бродили где-то далеко, а лицо было очень усталое. Я чуть не испугалась, увидев его так неожиданно; несколько мгновений стояла не двигаясь и уже хотела было уйти, не заговорив с ним, но он снова рассеянно взъерошил волосы, заметил меня и вздрогнул.

— Эстер!

Я объяснила ему, зачем пришла.

— Что это вы так поздно сидите за работой, дорогая?

— Я потому так засиделась сегодня вечером,— ответила я,— что не могу заснуть, и хотела хорошенько утомиться. Но, дорогой опекун, вы тоже засиделись, и у вас усталый вид. Может быть, у вас неприятности, и они мешают вам спать?

— Нет, Хозяюшка, у меня нет неприятностей, а если и есть, то такие, каких *вам* не понять,— сказал он.

Он говорил каким-то скорбным тоном,— так он еще никогда не говорил,— и я мысленно повторила его слова, словно это могло помочь мне уяснить себе их значение: «Такие, каких *мне* не понять».

— Не уходите, Эстер, посидите минутку,— сказал он.— Я сейчас думал о вас.

— Надеюсь, опекун, что неприятности у вас не из-за меня?

Он слегка махнул рукой и сейчас же заговорил своим обычным тоном. Перемена была так разительна, и он овладел собой таким большим усилием воли, что я снова невольно повторила про себя: «Такие неприятности, каких *мне* не понять!»

— Милая Хозяюшка,— начал опекун,— я все думал... то есть думал сейчас, пока сидел здесь, что вам следует знать о себе все, что знаю о вас я. Это очень мало. Почти ничего.

— Дорогой опекун,— отозвалась я,— когда вы однажды заговорили со мной об этом...

— Но с тех пор я передумал,— серьезным тоном перебил он меня, угадав, что я хочу сказать,— и решил,

что одно дело, когда вы меня о чем-нибудь спрашиваете, Эстер, и совсем другое, когда я сам что-нибудь говорю вам. Может быть, это мой долг сообщить вам то немногое, что я знаю.

— Если вы так думаете, опекун, значит это правильно.

— Да, я так думаю,— проговорил он очень мягко, ласково, но очень твердо.— Теперь я именно так думаю, дорогая. Возможно, что некоторым людям, с которыми стоит считаться, ваше положение представляется унизительным; а если так, надо, чтоб уж вы-то сами не преувеличивали значения всего этого только потому, что имеете лишь смутное понятие о том, как обстоит дело.

Я села и, сделав над собой небольшое усилие, чтобы успокоиться как следует, проговорила:

— Одним из самых ранних моих воспоминаний, опекун, были следующие слова: «Твоя мать покрыла тебя позором, Эстер, а ты навлекла позор на нее. Настанет время,— и очень скоро,— когда ты поймешь это лучше, чем теперь, и почувствуешь так, как может чувствовать только женщина».

Повторяя эти слова, я закрыла лицо руками, потом отняла их со стыдом, но стыд мой, надеюсь, был теперь не такой, как прежде, а более высокий,— и тогда я сказала опекуну, что это ему я обязана счастьем никогда, никогда, никогда, начиная с отрочества и до сего времени, не чувствовать себя опозоренной. Он протянул руку, как бы желая остановить меня. Я хорошо знала, что он не любит, когда его благодарят, и умолкла.

— Девять лет, милая,— начал он, немного подумав,— девять лет прошло с тех пор, как я получил письмо от одной женщины, которая жила совсем одна,— письмо, написанное с такой суровой страстностью и силой, каких я не встречал ни в каком другом письме. Она написала его (так и было откровенно сказано в письме) потому, быть может, что ей пришла блажь оказать доверие мне; а может быть, потому, что мне свойственно оправдывать чужое доверие. В письме говорилось о девочке-сиротке, двенадцати лет,— говорилось в жестоких выражениях, примерно таких же, как те, которые вы все еще помните. Женщина писала, что взяла на воспитание девочку и, скрыв,

что она жива, растит ее втайне с самого дня ее рождения; но случись ей, то есть воспитательнице, умереть, раньше чем девочка вырастет, та останется совершенно одинокой, без друзей, без имени, брошенной на произвол судьбы. И она спрашивала меня, не возьмусь ли я в этом случае завершить воспитание ребенка, начатое ею.

Я молча слушала, внимательно глядя на него.

— Ваши детские воспоминания, дорогая моя, помогут вам представить себе, в каком мрачном свете эта особа видела и выражала все это и как затуманивала ей ум ее извращенная религия, учившая, что дитя должно искупать чужую вину, в которой оно совершенно неповинно. Я пожалел малютку, обреченную на такую печальную жизнь, и ответил на письмо.

Я взяла его руку и поцеловала ее.

— Особа эта потребовала от меня, чтобы я не пытался ее увидеть, ибо она давно уже отказалась от всяких сношений с внешним миром и согласна встретиться только с моим доверенным лицом, если я кого-нибудь уполномочу на это. Я направил к ней мистера Кенджа. Она сказала ему — конечно, по своему почину, так как сам он и не думал ее спрашивать,— что живет под вымышленным именем. Сказала, что если в подобном случае можно говорить об узах кровного родства, то она приходится девочке родной теткой. И еще сказала, что ничего больше не откроет (мистер Кендж был убежден в том, что это ее решение непоколебимо), не откроет никогда и ни в каком случае. Дорогая моя, я сказал вам все.

Я взяла его руку и задержала в своей.

— Я видел свою подопечную чаще, чем она видела меня,— с улыбкой проговорил он, стараясь перейти на менее серьезный тон,—и знал, что все ее любят, а она приносит пользу людям и счастлива сама. И теперь она воздает мне за это сторицей каждый день и каждый час!

— А еще чаще,— добавила я,— она благословляет опекуна, который стал для нее отцом!

Не успела я произнести слово «отец», как заметила, что лицо его снова покрылось какой-то тенью. Он опять прогнал ее, и она мгновенно исчезла; но ведь она все-таки появилась, и так скоро после моих слов, что мне почудилось, будто они кольнули его. В недоумении я снова по-

вторила про себя: «Каких *мне* не понять. Такие неприятности, каких *мне* не понять!» Да, это была правда. Я тогда ничего не поняла и не понимала еще много-много дней.

— Давайте я отечески попрощаюсь с вами, дорогая моя,— сказал он, целуя меня в лоб,— и ложитесь спать. Сейчас уже поздно работать и думать. Вы и так делаете это ради нас целый день напролет, маленькая наша домоправительница.

В ту ночь я уже больше не работала и не думала. Я раскрыла свое признательное сердце перед богом, поблагодарила его за его милости и заботу обо мне, а потом заснула.

На другой день у нас был гость: пришел мистер Аллен Вудкорт. Он явился с прощальным визитом; несколько дней назад он обещал прийти проститься с нами перед отъездом. Он получил должность корабельного врача и уезжал далеко — в Китай, в Индию. Он уезжал очень, очень надолго.

Я думаю, точнее знаю, что он был небогат. Все, что могла ему уделить его овдовевшая мать, было истрачено на обучение медицине. Молодой врач, не имевший в Лондоне почти никаких связей, конечно не мог хорошо зарабатывать, и хотя он день и ночь лечил бедняков, проявляя чудеса заботливости и искусства, платили ему очень мало. Он был старше меня на семь лет... впрочем, мне, пожалуй, незачем упоминать об этом, так как это совершенно некстати.

Помнится, то есть он сам говорил нам, что занимался медицинской практикой три-четыре года и если бы мог продержаться еще года три-четыре, ему незачем было бы уезжать в чужие страны. Но у него не было ни состояния, ни достаточного заработка, так что пришлось пуститься в далекий путь. Он уже несколько раз заходил к нам. Нам было жаль, что он вынужден уехать, так как в медицинском мире он считался очень талантливым, и многие выдающиеся врачи ценили его высоко.

Когда он пришел с прощальным визитом, он впервые привел к нам свою мать. Это была красивая пожилая дама с живыми черными глазами, но, кажется, довольно высокомерная. Она родилась в Уэльсе и вела свое проис-

хождение от одного достославного мужа, некоего Моргана-ап-Керрига, который жил в незапамятные времена в какой-то местности, именуемой Гимлет или что-то в этом роде, и прогремел чуть ли не на весь мир, а вся его родня была связана кровными узами с королевским семейством. Судя по всему, он всю жизнь только и делал, что уходил в горы и с кем-то сражался, а некий бард, чье имя звучало как-то вроде Крамлинуоллинуэр, воспел его в произведении, которое называлось, если я правильно расслышала, «Мьюлиннуиллинуодд».

Миссис Вудкорт пространно рассказала нам о славе своего именитого предка и заявила, что, куда бы ее сын Аллен ни поехал, он, без сомнения, не забудет о своей родословной и ни в коем случае не сделает мезальянса, то есть не женится на девице, которая ниже его по рождению. Она сказала ему, что в Индии живет много красивых англичанок, уехавших туда с известной целью, и среди них не трудно выбрать невесту с приданым, но потомку столь знаменитого предка не надо ни красоты, ни богатства, если с ними не сочетается хорошее происхождение, ибо происхождение — это главное. Она так много рассуждала на эту тему, что я вообразила, и не без душевной боли... но как глупо было воображать, что у нее могут быть какие-то задние мысли насчет *моего* происхождения.

Мистеру Вудкорту ее многословие как будто немного испортило настроение, но он был слишком вежлив, чтобы дать ей это понять, и, постаравшись незаметно перевести разговор, выразил благодарность опекуну за его радушие и за те очень счастливые часы,— он так и сказал: «очень счастливые часы»,— которые он провел с нами. Воспоминание о них, сказал он, будет сопровождать его, куда бы он ни поехал, и он всегда будет дорожить ими. И вот мы поочередно пожали ему руку... по крайней мере так поступили все наши... и я тоже, а он поцеловал руку у Ады и... у меня, а потом ушел, расставшись с нами надолго,— ведь он уезжал далеко, так далеко!

Весь этот день я была очень занята: писала домой письма, в которых давала распоряжения прислуге, писала записки от имени опекуна, стирала пыль с его книг и бумаг, и мои ключи от хозяйства то и дело звенели. Стало

смеркаться, а я все еще была занята — вышивала, сидя у окна и что-то напевая,— и вдруг к нам неожиданно пришла не кто иная, как Кедди.

— Кедди, милая моя,— сказала я,— какие прелестные цветы!

В руках у нее был очаровательный букетик цветов.

— И правда, Эстер,— отозвалась Кедди.— Таких чудесных цветов я в жизни не видела.

— Принц подарил, милочка? — спросила я шепотом.

— Нет,— ответила Кедди, качая головой и протягивая мне цветы, чтобы я их понюхала.— Не Принц.

— Ну и Кедди! — воскликнула я.— Так, значит, у вас два поклонника!

— Что вы! Да разве это такие цветы, какие дарят поклонники? — промолвила Кедди.

— Разве это такие цветы, какие дарят поклонники? — повторила я, ущипнув ее за щечку.

Кедди в ответ только рассмеялась, сказала, что зашла ненадолго, потому что через полчаса придет Принц и будет ждать ее на углу улицы, потом села со мной и Адой у окна и, разговаривая, то и дело снова протягивала мне цветы или прикладывала их к моим волосам. В конце концов, уже перед уходом, она увела меня в мою комнату и сунула их мне за корсаж.

— Значит, это мне? — спросила я удивленно.

— Вам,— ответила Кедди, целуя меня.— Их оставил один человек.

— Оставил?

— У бедной мисс Флайт,— сказала Кедди.— Один человек, который всегда был очень добр к ней, час назад торопился на корабль и оставил у нее эти цветы. Нет, нет! Не снимайте их. Они такие прелестные, пусть останутся! — добавила Кедди, осторожно поправляя цветы.— Ведь я сама была там при этом и не удивлюсь, если этот человек оставил их нарочно!

— Разве это такие цветы, какие дарят поклонники? — со смехом проговорила Ада, подойдя сзади и обняв меня за талию.— Ну, конечно, такие, Хлопотунья! Именно такие, какие дарят поклонники. Как раз такие, душенька моя!



ГЛАВА XVIII
Леди Дедлок

Не так-то легко было, как мы думали вначале, поместить Ричарда в контору мистера Кенджа, чтобы юноша мог «проверить себя». И больше всего этому помешал сам Ричард. Как только он получил возможность покинуть мистера Беджера когда угодно, он начал сомневаться, хочется ему с ним расстаться или нет. Он, право, не знает, говорил он, нужно ли это! Ведь медицина не плохая профессия; он не стал бы утверждать, что она ему не нравится; может быть, она ему нравится не меньше, чем любая другая; а что, если сделать еще одну попытку? Тут он на несколько недель уединился, обложившись учебниками и костями, и, кажется, приобрел большой запас знаний в очень короткий срок. Но рвение его спустя примерно месяц стало остывать, а когда совсем остыло, начало разгораться снова. Колебания Ричарда между юридическими науками и медицинскими тянулись так долго, что он только в середине лета окончательно расстался с мистером Беджером и поступил на испытание в контору господ Кенджа и Карбоя. Несмотря на свое непостоянство, он ставил себе в большую заслугу, что «на этот раз» решил всерьез приняться за дело. И он всегда был так добродушен, так радужно настроен и так ласков с Адой, что порицать его было, право же, очень трудно.

— А мистер Джарндис (который, должна заметить, все это время находил, что ветер застрял где-то на востоке и дует только оттуда), мистер Джарндис, это такой человек, что лучше его во всем свете не сыщешь, Эстер! — нередко говорил мне Ричард.— Хотя бы только ради его удовольствия я должен по-настоящему взяться за дело и принять окончательное решение.

Мысль о том, что можно «по-настоящему взяться за дело» с таким смеющимся лицом, беззаботным видом и уверенностью в том, что все на свете может привлечь на время, но ничто не может удержать навсегда,— казалась мне до смешного невероятной. Как бы то ни было, в этот переходный период Ричард, по его собственным словам,

работал так, что сам удивлялся, почему у него не седеют волосы. Но его «окончательное решение» свелось к тому, что (как я уже говорила) он в середине лета поступил в контору мистера Кенджа, чтобы узнать, как ему там понравится.

В денежных делах он все это время был таким, каким я уже описывала его раньше: щедрым, расточительным, безрассудно небрежным, но глубоко убежденным в своей расчетливости и осмотрительности. Примерно в ту пору, когда он собирался поступить к мистеру Кенджу, я полушутя, полусерьезно сказала как-то раз Аде в его присутствии, что ему не худо бы иметь кошелек Фортуната *, так легкомысленно он относится к деньгам... на что он возразил следующим образом:

— Драгоценная моя кузина, послушайте-ка эту Старушку! Почему она так ворчит? Потому что я на днях заплатил всего только восемь фунтов (или сколько их там было?) за довольно изящный жилет и пуговицы к нему. Но, останься я у Беджера, мне пришлось бы выложить двенадцать фунтов за какие-то невыносимо скучные лекции. В итоге получается, что на этой операции я одним махом заработал целых четыре фунта!

Опекун долго обсуждал с ним вопрос, где ему поселиться на время его пробных занятий юриспруденцией, потому что мы давно уже вернулись в Холодный дом, а он был далеко от Лондона, и Ричард мог навещать нас лишь раз в неделю, не чаще. И вот однажды опекун сказал мне, что, если Ричард окончательно утвердится у мистера Кенджа, придется нанять ему квартиру или меблированные комнаты, куда мы могли бы иногда приезжать на несколько дней.

— Но в том-то и дело, Хозяюшка,— добавил он, ероша волосы с очень многозначительным видом,— что он еще не окончательно там утвердился!

Эти разговоры кончились тем, что мы наняли для Ричарда очень уютную меблированную квартиру в тихом старинном доме близ Куин-сквера, с платой за месяц вперед. И тут Ричард немедленно принялся тратить все деньги, какие у него были, на покупку всяких нелепых безделушек и украшений для своих комнат, и каждый раз, как нам с Адой удавалось отговорить его от какой-

нибудь совершенно ненужной и особенно дорогой покупки, он записывал себе в актив ее стоимость и заявлял, что, купив что-нибудь более дешевое, он тем самым получит чистую прибыль.

Пока заканчивались все эти дела, наша поездка к мистеру Бойторну все откладывалась и откладывалась. Но вот, наконец, Ричард устроился в своей квартире, и ничто больше не мешало нам уехать. В такое время года, то есть летом, когда в юридическом мире застой, Ричард отлично мог бы отправиться вместе с нами, но он был страстно увлечен новизной своего положения и с головой ушел в энергичнейшие попытки раскрыть тайны роковой тяжбы. Поэтому мы уехали без него, и моя милая подруга была счастлива возможностью похвалить его за такое усердие.

В Линкольншир мы отправились в пассажирской карете, и поездка эта была очень приятной, причем с нами ехал занимательный собеседник в лице мистера Скимпола. Как оказалось, всю его мебель увез тот самый человек, который описывал ее в день рождения его голубоглазой дочери; но мистер Скимпол не огорчался, напротив — даже испытывал большое облегчение при мысли о том, что мебели у него больше нет. Кресла и столы, говорил он, предметы утомительные, ибо они всегда одинаковы и выражение у них не меняется — тупо уставятся на тебя и смотрят, так что даже неприятно становится, а ты на них смотришь столь же тупо. Словом, гораздо лучше не привязываться к одним и тем же креслам и столам, но порхать, как бабочка, среди мебели, взятой напрокат, перелетая с палисандрового дерева на красное, с красного на ореховое, с мебели одного стиля на мебель другого стиля — как бог на душу положит!

— Любопытней всего,— говорил мистер Скимпол с внезапно пробудившимся юмором,— что я не заплатил мебельному торговцу за свои столы и кресла, тем не менее мой квартирохозяин отобрал их, недолго думая. Потеха, да и только! Просто нелепость какая-то! Мебельный торговец ведь не давал обязательства вносить моему хозяину плату за мою квартиру. Так зачем же мой хозяин ссорится *с ним?* Если у меня на носу сидит прыщик, который не соответствует оригинальным представлениям

моего хозяина о красоте, то хозяину моему незачем скрести нос мебельного торговца, на котором и прыщика-то нет. Он рассуждает нелогично.

— Ну,— добродушно заметил опекун,— за столы и кресла, очевидно, заплатит тот, кто давал поручительство, что за них будет заплачено.

— Правильно! — согласился мистер Скимпол.— Но в том-то и вся загвоздка этой нелепой истории! Я сказал своему хозяину: «Вы, вероятно, не знаете, любезный, что за вещи, которые вы столь неделикатно отбираете, придется платить моему добрейшему другу Джарндису. Неужели вы не питаете уважения *к его* собственности?» Нет, не питает, ответил он; ни малейшего.

— И отверг все предложения? — спросил опекун.

— Отверг все предложения,— ответил мистер Скимпол.— Я сделал ему несколько деловых предложений. Я привел его к себе в комнату. Я спросил: «Вы деловой человек, не так ли?» Он ответил: «Да, деловой».— «Отлично,— сказал я,— так давайте поступать по-деловому. Вот чернильница, вот перья и бумага, вот облатки. Чего вы хотите? Я много лет жил в вашем доме, и думается мне,— к обоюдному удовольствию,— покуда не возникло это неприятное недоразумение; так давайте же будем и друзьями и деловыми людьми одновременно. Чего вы хотите?» На это он ответил образным выражением — оно хоть и английское, но в восточном вкусе,— он сказал, что «никогда не видел, какого цвета у меня деньги». «Любезный друг,— сказал я,— да у меня никогда не бывает денег. Я о деньгах и понятия не имею».— «Ну, сэр,— спросил он,— так что же вы мне предложите, если я соглашусь повременить?» — «Дорогой мой,— ответил я,— о времени я тоже не имею понятия; но вы, по вашим же словам,— деловой человек, и все, что вы ни предложите осуществить деловым образом при помощи перьев, чернил и бумаги... и облаток... я на все готов. Не возмещайте своих убытков за счет другого человека (ибо это глупо), но поступайте по-деловому!» Однако он отказался, и этим все кончилось.

Если ребячливость мистера Скимпола и причиняла ему самому известные неудобства, то она зато, несомненно, давала ему некоторые преимущества. Во время

нашей поездки он с большим аппетитом уплетал все то, что мы покупали в пути (управился даже с целой корзинкой отборных оранжерейных персиков), но ему и в голову не приходило платить за себя. Так, например, когда кучер начал собирать плату за проезд и мистер Скимпол шутливо спросил его, какую плату он, кучер, считает очень хорошей, скажем даже — щедрой, а тот ответил: «Полкроны с пассажира», мистер Скимпол заметил, что, принимая во внимание все обстоятельства, это совсем дешево, но платить предоставил мистеру Джарндису.

Погода была чудесная. Еще не созревшие хлеба волновались так красиво, жаворонки пели так радостно, живые изгороди были так густо усыпаны цветами, листва на деревьях была так пышна, а легкий ветерок веял над цветущими бобовыми плантациями, которые наполняли воздух таким дивным благоуханием! Близился вечер, когда мы въехали в город, где нам предстояло выйти из пассажирской кареты,— невзрачный городок со шпилем на церковной колокольне, рыночной площадью, каменной часовенкой на этой площади, единственной улицей, ярко освещенной солнцем, прудом, в который, ища прохлады, забрела старая кляча, и очень немногочисленными обитателями, которые от нечего делать полеживали или стояли сложа руки в холодке, отыскав где-нибудь немножко тени. После шелеста листьев, сопровождавшего нас всю дорогу, после окаймлявших ее волнующихся хлебов этот городишко показался нам самым душным и сонным из всех захолустных городков Англии.

На постоялом дворе мистер Бойторн, верхом на коне, ждал у открытого экипажа, в котором собирался везти нас к себе в усадьбу, расположенную в нескольких милях отсюда. Завидев пассажирскую карету, он пришел в неописуемый восторг и мгновенно соскочил на землю.

— Клянусь небом! — воскликнул он, изысканно-вежливо поздоровавшись с нами,— это не карета, а позор! Вот вам разительнейший пример, как отвратительны эти экипажи общего пользования; но такой, как этот, еще никогда не обременял земли. Сегодня он опоздал на двадцать пять минут. Кучера надо казнить!

— Да разве он опоздал? — спросил мистер Скимпол, к которому мистер Бойторн случайно повернулся.— Вы

знаете мой недостаток — не имею представления о времени.

— На двадцать пять минут! Нет, на двадцать шесть минут! — ответил мистер Бойторн, взглянув на свои часы.— Этот негодяй вез двух дам и все-таки нарочно опоздал на целых двадцать шесть минут. Нарочно! Это не могло произойти случайно. Да и немудрено, ведь его отец, да и дядя тоже были самыми беспутными кучерами, какие когда-либо сидели на козлах.

Выпаливая все это с самым яростным возмущением, он с величайшей деликатностью усаживал нас в маленький фаэтон, расточая улыбки и сияя от радости.

— Очень жаль, молодые леди,— сказал он, стоя с обнаженной головой у дверцы экипажа, когда все уже уселись,— очень жаль, что мне придется везти вас кружным путем — почти две лишних мили. Но прямая дорога идет через парк сэра Лестера Дедлока, а у нас с ним такие отношения, что я дал клятву — пока я жив, ни моей ноги, ни ноги моего коня не будет во владениях этого господина!

И, поймав взгляд опекуна, он расхохотался так громогласно, что даже застывший в неподвижности городишко как будто зашевелился.

— Разве Дедлоки тут, Лоуренс? — спросил опекун, когда мы уже отъехали и мистер Бойторн рысцой трусил по обочине, покрытой зеленым дерном.

— Сэр Гордец Болван тут,— ответил мистер Бойторн.— Ха-ха-ха! Сэр Гордец тут, и я рад сообщить, что тут ему сбили спесь. Миледи,— упоминая о ней, он всегда делал изысканно-вежливый жест, как бы желая подчеркнуть, что она непричастна к ссоре,— миледи, насколько я знаю, вот-вот должна приехать. Ничуть не удивляюсь, что она нарочно не приезжает сюда как можно дольше. Что только могло побудить столь бесподобную женщину выйти за это чучело, за этого истукана-баронета — неизвестно, и из всех тайн, какие когда-либо ставили в тупик любознательное человечество, эта тайна — самая непроницаемая! Ха-ха-ха-ха!

— Ну, если там не будет твоей ноги,— со смехом сказал опекун,— то *наши*-то ноги, вероятно, имеют право

ходить по парку, пока мы здесь? На нас этот запрет не распространяется, не так ли?

— Своим гостям я ничего не могу запретить,— ответил мистер Бойторн, слегка поклонившись Аде и мне с той вежливой улыбкой, которая так к нему шла,— разве только уезжать из моего дома. Все же я огорчен, что лишен удовольствия сопровождать их в прогулках по Чесни-Уолду, который очень красив. Но клянусь светом этого летнего дня, Джарндис, если ты сделаешь визит владельцу поместья, пока гостишь у меня, тебя примут холодно. Он и всегда-то чопорный, деревянный — ни дать ни взять часы с недельным заводом, те часы, что стоят в роскошном деревянном футляре, но никогда не идут и никогда не шли, ха-ха-ха! — но с друзьями своего друга и соседа Бойторна он будет особенно чопорен, можешь быть уверен.

— Я не стану подвергать его испытанию,— промолвил опекун.— Он, вероятно, так же не добивается чести познакомиться со мной, как я — чести познакомиться с ним. Подышу воздухом в парке да, пожалуй, посмотрю издали на дом, которым вольны любоваться все туристы, и хватит с меня.

— Отлично! — сказал мистер Бойторн.— В общем, я этому радуюсь. Так лучше. В этой округе на меня смотрят как на второго Аякса *, который вызывает на бой молнию. Ха-ха-ха-ха! Когда я по воскресеньям хожу в нашу церковку, значительная часть незначительных прихожан ожидает, что когда-нибудь я, иссушенный и опаленный гневом Дедлока, рухну на каменный пол. Ха-ха-ха-ха! Дедлок, несомненно, удивляется, что я не падаю. Да и как ему не удивляться, клянусь небом, этому самодовольнейшему, тупейшему, чванливейшему и совершенно безмозглому ослу!

Мы достигли вершины холма, на который поднимались, и тут наш друг показал нам издали на Чесни-Уолд, позабыв на время о владельце этого поместья.

Живописный старинный дом стоял в чудесном парке, очень густом и тенистом. Над деревьями, невдалеке от дома, возвышалась церковка, о которой говорил мистер Бойторн, и он указал нам на нее. О, как прекрасны были они, эти торжественные леса, по которым свет солнца и

тени облаков мелькали, словно крылья небожителей, уносящихся в летнем воздухе к какой-то благой цели; как прекрасны были эти пологие зеленые склоны, эта блещущая река, этот сад, где цветы на симметрично разбитых клумбах цвели, сверкая ярчайшими красками! Дом с фронтонами, трубами, башнями, башенками, темной нишей подъезда, широкой террасой и пылающими розами, которые оплетали балюстраду и лежали на каменных вазах, казался почти призрачным,— так он был легок и вместе с тем монументален, в такую безмятежную, мирную тишину он был погружен. Мы с Адой решили, что тишина — это самая отличительная его черта. Все здесь — дом, сад, терраса, зеленые склоны, река, старые дубы, папоротники, мох, леса, открывшаяся в просеках, широко разостлавшаяся перед нами лиловатая даль — все, казалось, замерло в невозмутимом покое.

Мы въехали в небольшую деревню, миновали маленький постоялый двор с качавшейся над дорогой вывеской, которая гласила: «Герб Дедлоков», и, проезжая мимо, мистер Бойторн поздоровался с каким-то молодым джентльменом, который сидел на скамье у входа, положив рядом с собой рыболовные принадлежности.

— Это внук домоправительницы, мистер Раунсуэлл,— объяснил мистер Бойторн,— он влюблен в одну хорошенькую девушку, которая служит в усадьбе. Леди Дедлок привязалась к этой красотке и намерена удержать ее при своей прекрасной особе, но мой молодой друг отнюдь не ценит этой чести! Впрочем, сейчас он и сам не мог бы жениться, даже если б его бутончик согласился за него выйти, а значит волей-неволей покоряется судьбе. Так он пока что частенько наведывается сюда на день — на два... удить рыбу... Ха-ха-ха-ха!

— Он обручился с этой хорошенькой девушкой, мистер Бойторн? — спросила Ада.

— Как вам сказать, дорогая мисс Клейр,— ответил он,— мне думается, они, вероятно, уже объяснились; но вы сами их скоро увидите, конечно, а о такого рода делах вы можете рассказать мне побольше... чем я вам.

Ада залилась румянцем, а мистер Бойторн рысью понесся вперед на сером красавце коне, спешился у подъ-

езда своего дома и стал перед ним, протянув руку и сняв шляпу, чтобы приветствовать нас, когда мы подъедем.

Мистер Бойторн поселился в доме, где раньше жил приходский священник,— очаровательном доме с лужайкой перед входом, пышным цветником сбоку и превосходным фруктовым садом и огородом в глубине усадьбы, окруженной старинной кирпичной стеной, у которой был такой вид, словно она сама созрела и зарумянилась как плод. Да и все здесь радовало глаз зрелостью и полнотой жизни. Старые липы в аллее сплелись кронами, образовав зеленый свод; самые тени вишен и яблонь казались тяжелыми, так густо были усыпаны их ветви плодами, а ветки на кустах крыжовника, обремененные ягодами, гнулись дугой и ложились на землю; клубника и малина росли в таком же изобилии, а на шпалерах сотнями зрели персики. Под раскинутыми сетями и стеклами парниковых рам, сверкавшими и мерцавшими на солнце, виднелись такие густые заросли гороха, тыкв и огурцов, что каждый квадратный фут почвы здесь казался какой-то овощной сокровищницей, а запах душистых трав и разных полезных растений (не говоря уж об аромате ближних лугов, где начинался сенокос) насыщал воздух благоуханием, точно огромный букет. Такая тишина и спокойствие царили в этой благоустроенной усадьбе, огражденной старинной красной стеной, что даже гирлянды из перьев, вывешенные для отпугивания птиц, едва колыхались, а у самой стены вид был прямо-таки цветущий, и хотя на верхушке ее кое-где и торчали бесцельно гвозди и обломки упавшего карниза, но легче было вообразить их перезревшими подобно плодам в смене времен года, чем поверить в то, что эти гвозди заржавели, а карниз обрушился, подчиняясь общей судьбе всего на свете.

В доме, правда, было меньше порядка, чем в саду, зато это был настоящий старинный дом, где во всех комнатах потолки были настланы на толстые балки, где в кухне пол был кирпичный, а камин огромный, со скамьями внутри, вдоль боковых стен. По соседству с домом находился злосчастный спорный участок земли, и там мистер Бойторн поставил караульного в рабочей блузе, который дежурил здесь день и ночь и был обязан в случае нападения немедленно звонить в большой колокол, повешен-

ный специально для этой цели, спускать с цепи своего союзника — огромного бульдога, помещенного тут же, в конуре, и вообще разить врага. Не довольствуясь этими мерами предосторожности, мистер Бойторн самолично составил и вывесил на крашеных деревянных щитах, на которых огромными буквами было начертано его имя, следующие объявления с торжественными предупреждениями:

«Берегитесь бульдога. Свиреп ужасно. Лоуренс Бойторн».

«Мушкетон заряжен крупной дробью. Лоуренс Бойторн».

«Капканы и самострелы расставлены повсюду и стоят здесь круглые сутки. Лоуренс Бойторн».

«Внимание! Любое лицо или лица, которые дерзко осмелятся переступить границу этого владения, будут строжайше наказаны мною и подвергнутся судебному преследованию по всей строгости закона. Лоуренс Бойторн».

Эти щиты он показал нам из окна гостиной, а птичка прыгала у него на голове, и сам он хохотал: «Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха!» — до того неистово, что я опасалась, как бы он себе не повредил.

— Стоит ли так хлопотать,— заметил мистер Скимпол всегдашним своим легким тоном,— если вы в глубине души относитесь к этому несерьезно?

— Несерьезно! — подхватил мистер Бойторн с несказанной горячностью.— Несерьезно! Да если бы только я мог надеяться, что сумею выдрессировать льва, я бы купил льва вместо этого пса и спустил его на первого же дерзкого разбойника, который осмелится попирать мое право. Пусть только сэр Лестер Дедлок согласится выйти и решить наш спор поединком, и я буду биться с ним любым оружием, известным человечеству в любую эпоху и в любой стране. Вот как серьезно я к этому отношусь! Вот как!

Мы приехали к нему в субботу. В воскресенье утром все мы отправились пешком в церковку, стоявшую в парке. Пройдя спорный участок земли, мы почти тотчас же вступили в парк и пошли по прелестной тропинке, которая извивалась в зеленой траве под раскидистыми деревьями и, наконец, привела нас к паперти.

Молящихся оказалось очень мало — всё только деревенские жители, если не считать многолюдной дворни Чесни-Уолда,— некоторые уже сидели на скамьях, другие еще только входили в церковь. В толпе слуг выделялись осанистые ливрейные лакеи и типичный старосветский кучер, сидевший с таким чванным видом, словно он прибыл сюда как официальный представитель всех тех напыщенных и важных персон, которых он когда-либо возил в своей карете. Была тут и целая выставка миловидных молодых женщин; но величавая домоправительница затмевала их всех красивым немолодым лицом и статной крупной фигурой. Рядом с нею сидела та хорошенькая девушка, о которой нам говорил мистер Бойторн. Она была необыкновенно хороша, и я могла бы догадаться, кто она такая, по ее красоте, даже если бы не заметила, как она вспыхивает под взглядами юного рыболова, которого я увидела неподалеку от нее. Одна женщина, с неприятным, хотя и красивым лицом, недоброжелательно рассматривала хорошенькую девушку, да, пожалуй всех и всё в церкви. Оказалось, что эта женщина француженка.

Колокол все звонил и звонил, но знатные прихожане пока еще не прибыли, поэтому я успела рассмотреть церковь, в которой пахло землей, словно от могилы, и подумать о том, как эта церковка сумрачна, ветха и торжественна. Свет едва проникал сюда через окна, за которыми росли деревья, и в этом тусклом свете окружающие меня лица казались бледными, а древние латунные плитки в полу и попорченные временем и сыростью надгробия — совсем темными; зато маленькая паперть, где звонарь монотонно звонил в колокол, казалась залитой необыкновенно ярким солнцем. Но вот молящиеся, сидевшие у входа, заволновались, благоговейный трепет пробежал по лицам всех этих простых людей, а мистер Бойторн напустил на себя добродушно-свирепый вид, притворяясь, будто твердо решил не замечать существования некоторых лиц, и мне стало ясно, что знатные прихожане прибыли, а значит, служба сейчас начнется.

«Господи, не входи в суд с рабом твоим, ибо око твое видит...» *

Забуду ли, как быстро забилось мое сердце, когда, встав с места, я почувствовала на себе чей-то взгляд?

Забуду ли, как эти прекрасные, гордые глаза внезапно утратили свою томность и приковали к себе мои? Прошло лишь мгновение, а с меня, выражаясь образно, уже «сняли оковы», и я опустила глаза и перевела их на страницы молитвенника; но хоть и короток был этот миг, я успела хорошо разглядеть прекрасное лицо той, что на меня взглянула.

И, странное дело, во мне всколыхнулось нечто связанное с моей одинокой жизнью у крестной; да, именно с теми далекими днями, когда я, кончив одевать свою куклу и одеваясь сама, становилась на цыпочки перед зеркальцем. А ведь я никогда в жизни не видела этой дамы... в этом я была уверена вполне... глубоко убеждена.

Нетрудно было догадаться, что церемонный, подагрический седовласый джентльмен, сидевший вместе с нею на большой, отгороженной от прочих скамье,— это сэр Лестер Дедлок, а дама — его супруга, леди Дедлок. Но отчего лицо ее пробудило во мне обрывки давних воспоминаний, смутных, разрозненных, словно увиденных в разбитом зеркале, и отчего, случайно встретившись с нею взглядом, я так взволновалась, пришла в такое смятение (а я все еще не могла успокоиться) — этого я не могла понять.

Решив, что это просто необъяснимая слабость, я попыталась преодолеть ее, вслушиваясь в слова молитв. Но, как ни странно, мне чудилось, будто это звучит не голос священника, а незабываемый голос моей крестной. И тут я подумала: а может быть, леди Дедлок случайно оказалась похожей на мою крестную? Пожалуй, между ними действительно было небольшое сходство, но только не в выражении лица — ибо в тех чертах, на которые я смотрела, не было и следа суровой решимости, избороздившей лицо крестной, как ливни скалу; а одно лишь легкое сходство черт едва ли могло бы так поразить меня. Кроме того, я до этой минуты ни в чьем лице не наблюдала такого высокомерия и гордости, как в лице леди Дедлок. И все же *я — я,* маленькая Эстер Саммерсон, девочка, которая когда-то жила одиноко, девочка, чей день рождения не праздновали,— казалось, вставала перед моими собственными глазами, вызванная из прошлого какой-то силой, таившейся в этой светской даме;

а ведь я не могла бы сказать: «Мне кажется, что я вижу ее впервые»,— нет, я была твердо уверена, что никогда не видела ее раньше.

Я так трепетала от этого необъяснимого волнения, что даже наблюдательный взгляд француженки-горничной тревожил меня, хоть я и заметила, что не успела она войти в церковь, как принялась шнырять глазами туда, сюда и во все стороны. Мало-помалу, но очень медленно, я в конце концов поборола свое странное волнение. Не скоро взглянула я снова на леди Дедлок. Это было в ту минуту, когда молящиеся готовились петь хором перед началом проповеди. Но леди Дедлок уже не обращала на меня внимания, и сердце мое перестало стучать. Да и после оно трепетало лишь несколько мгновений,— когда леди Дедлок раза два взглянула в лорнет не то на меня, не то на Аду.

Служба кончилась, сэр Лестер изысканно-вежливо и галантно предложил руку леди Дедлок — хотя ему самому приходилось опираться на толстую палку — и повел свою супругу к выходу из церкви, а потом к поджидавшему их экипажу, в который были запряжены пони. После этого разошлись и слуги и остальные прихожане, на которых сэр Лестер (по выражению мистера Скимпола, вызвавшему бурный восторг мистера Бойторна) взирал с таким видом, словно считал себя крупным землевладельцем не только на земле, но и на небесах.

— Да ведь он и впрямь верит, что так оно и есть! — воскликнул мистер Бойторн.— Верит твердо. Так же верили его отец, дед и прадед.

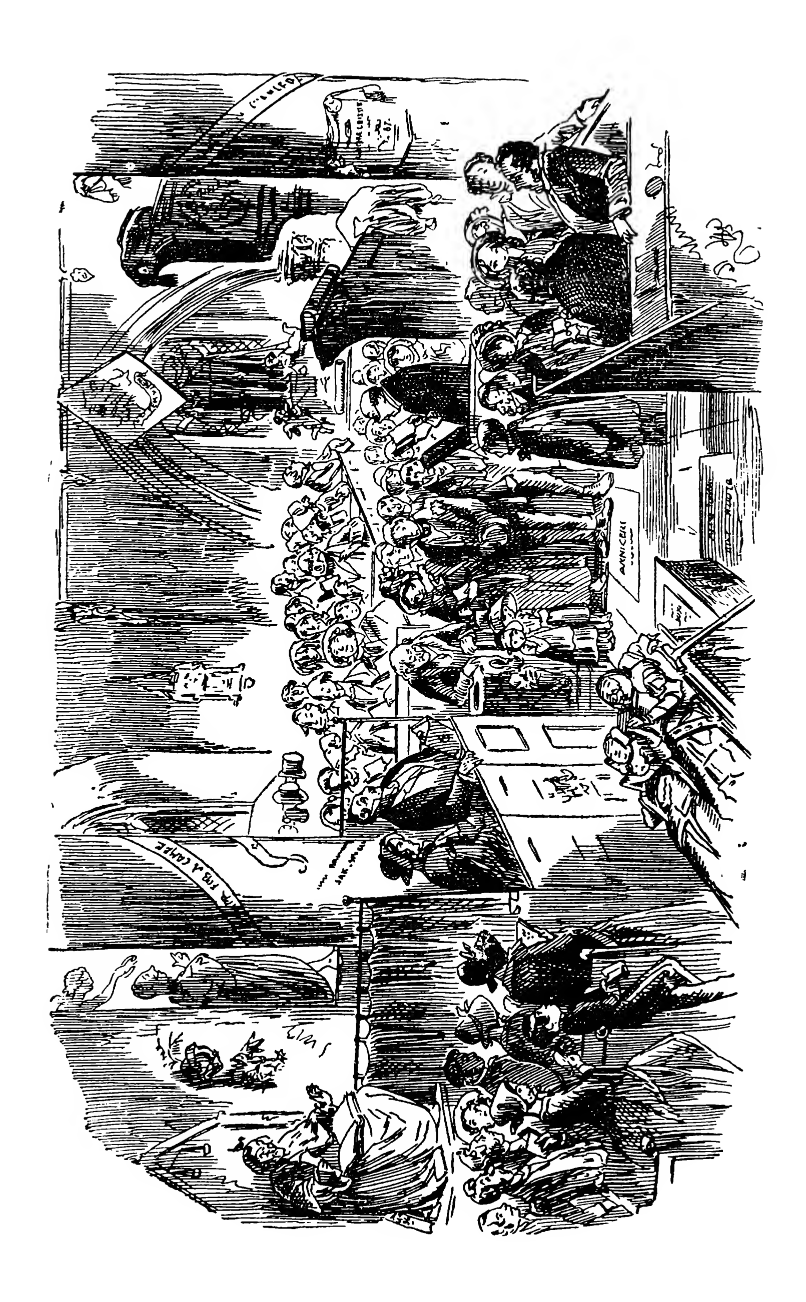
— А вы знаете,— совершенно неожиданно заметил мистер Скимпол, обращаясь к мистеру Бойторну,— мне приятно видеть человека такого склада.

— Неужели? — удивился мистер Бойторн.

— Представьте себе, что он пожелает отнестись ко мне покровительственно,— продолжал мистер Скимпол.— Пускай себе! Я не возражаю.

— А *я* возражаю,— проговорил мистер Бойторн очень решительно.

— В самом деле? — подхватил мистер Скимпол со свойственной ему легкостью и непринужденностью.— Но



ведь с этими возражениями связано много всякого беспокойства. А стоит ли вам беспокоиться? Вот я совсем по-детски принимаю все, что выпадает мне на долю, и ни о чем не беспокоюсь! Скажем так: я приезжаю сюда и нахожу здесь могущественного властителя, который требует к себе почтения. Прекрасно! Я говорю: «Могущественный властитель, вот вам дань моего почтения! Легче отдать ее, чем удержать. Берите! Можете показать мне что-нибудь приятное — пожалуйста, буду счастлив полюбоваться; можете подарить мне что-нибудь приятное — пожалуйста, буду счастлив принять». Выслушав мои слова, могущественный властитель подумает: «Неглупый малый. Я вижу, он приспособляется к моему пищеварению и к моей желчи. Он не принуждает меня свертываться подобно ежу и топорщить иглы. Напротив, при нем я расцветаю, раскрываюсь, показываю свои светлые стороны, как туча у Мильтона *, и тем приятнее нам обоим». Вот мой детский взгляд на такие вещи.

— Но предположим, что завтра вы отправитесь куда-нибудь в другое место,— проговорил мистер Бойторн,— и там встретите человека совершенно противоположного склада. Как тогда?

— Как тогда? — повторил мистер Скимпол, являя всем своим видом величайшую искренность и прямодушие.— Совершенно так же. Я скажу: «Глубокоуважаемый Бойторн (допустим, что это вы олицетворяете нашего мифического приятеля), глубокоуважаемый Бойторн, вам не нравится могущественный властитель? Прекрасно. Мне также. Но я считаю, что в обществе я должен быть приятным; я считаю, что в обществе приятным обязан быть каждый. Короче говоря, общество должно быть гармоничным. Поэтому, если вам что-либо не нравится, мне это тоже не нравится. А теперь, высокочтимый Бойторн, пойдемте обедать!»

— Но высокочтимый Бойторн мог бы сказать...— возразил наш хозяин, надуваясь и густо краснея: — «Будь я...

— Понимаю,— перебил его мистер Скимпол.— Весьма возможно, он так и сказал бы.

— ...если я *пойду* обедать!» — вскричал мистер Бойторн в буйном порыве, останавливаясь, чтобы хватить палкой по земле.— И он, наверное, добавил бы: «А есть

ли в природе такая вещь, как принцип, мистер Гарольд Скимпол?»

— На что Гарольд Скимпол ответил бы следующее,— отозвался тот самым веселым тоном и с самой светлой улыбкой: — «Клянусь жизнью, не имею об этом ни малейшего понятия! Не знаю, какую вещь вы называете этим словом, не знаю, где она и кто ею владеет. Если вы владеете ею и находите ее удобной, я в восторге и сердечно вас поздравляю. Но сам я понятия о ней не имею, уверяю вас, потому что я сущее дитя; и я ничуть не стремлюсь к ней и не жажду ее». Итак, сами видите, что высокопочтенный Бойторн и я, мы в конце концов пошли бы обедать.

То был один из их многих кратких разговоров, неизменно внушавших мне опасение, что они могут кончиться,— как, пожалуй, и кончились бы при других обстоятельствах,— бурным взрывом со стороны мистера Бойторна. Но в нем было сильно развито чувство гостеприимства и своей ответственности как нашего хозяина, а мой опекун искренне хохотал, вторя шуткам и смеху мистера Скимпола, словно смеху ребенка, который деньденьской то выдувает, то протыкает мыльные пузыри; поэтому дело никогда не заходило далеко. Сам мистер Скимпол, казалось, не сознавал, что становится на скользкий путь, и после таких случаев обычно шествовал в парк рисовать,— но никогда не кончал рисунка,— или принимался играть на рояле отрывки из каких-нибудь музыкальных произведений, или напевать отдельные фразы из разных песенок, а не то ложился на спину под дерево и созерцал небо, для чего, по его словам, он и был создан — так ему это нравилось.

— Предприимчивость и энергия приводят меня в восторг,— говорил он нам (лежа на спине).— Я, должно быть, заядлый космополит. К космополитам у меня глубочайшая симпатия. Я лежу в тенистом месте, как, например, вот это, и с восхищением размышляю о тех храбрецах, что отправляются на Северный полюс или проникают в самую глубь знойных областей. Меркантильные души спрашивают: «Зачем человеку отправляться на Северный полюс? Какой в этом толк?» Не знаю, но *знаю* одно: быть может, он отправляется с целью,— хотя и не-

ведомой ему самому,— занять мои мысли, покуда я лежу здесь. Возьмем особый пример. Возьмем рабов на американских плантациях. Допускаю, что их жестоко эксплуатируют, допускаю, что им это не совсем нравится, допускаю, что, в общем, им приходится туго; но зато для меня рабы населяют пейзаж, для меня они придают ему поэтичность и, может быть, это — одна из отраднейших целей их существования. Если так — прекрасно, и я не удивлюсь, если так оно и есть.

В подобных случаях я всегда спрашивала себя, думает ли он когда-нибудь о миссис Скимпол и своих детях и в каком аспекте они представляются его космополитическому уму. Впрочем, насколько мне было известно, они вообще возникали в его представлении весьма редко.

Опять настала суббота, то есть прошла почти неделя с того дня, когда мы были в церкви, где у меня так сильно забилось сердце, и каждый день этой недели был до того ясным и лазурным, что мы с величайшим наслаждением гуляли в лесу, любуясь на прозрачные листья, пронизанные светом, который сверкал искрами в узорном сплетенье отброшенных деревьями теней, в то время как птицы распевали свои песни, а воздух, наполненный жужжанием насекомых, навевал дремоту. В лесу мы облюбовали одно местечко — небольшую вырубку, покрытую толстым слоем мха и палых прошлогодних листьев, где лежало несколько поваленных деревьев с ободранной корой. Расположившись среди них, в конце просеки, зеленые своды которой опирались на тысячи белеющих древесных стволов — этих колонн, созданных природой,— мы смотрели на открывавшийся в другом ее конце далекий простор, такой сияющий по контрасту с тенью, в которой мы сидели, и такой волшебный в обрамлении сводчатой просеки, что он казался нам видением земли обетованной. Втроем — мистер Джарндис, Ада и я — мы сидели здесь и в эту субботу, пока не услышали, как вдали загремел гром, а вокруг нас по листьям забарабанили крупные дождевые капли.

Всю неделю парило и было невыносимо душно, но гроза разразилась так внезапно, по крайней мере над нами, в этом укромном месте, что не успели мы добежать до опушки леса, как гром и молния стали чередоваться

почти беспрерывно, а дождь так легко пробивал листву, словно каждая его капля была тяжелой свинцовой бусинкой. В такую грозу укрываться под деревьями не следовало, и мы, выбежав из леса, поднялись и спустились по обомшелым ступенькам, которые вели через живую изгородь, напоминая две приставленные друг к другу стремянки с широкими перекладинами, и помчались к ближней сторожке лесника. Мы уже бывали здесь, и внимание наше не раз привлекала сумрачная красота этих мест,— хороши были и сама сторожка, стоявшая в густом полумраке леса, и плющ, обвивавший ее всю целиком, и крутой овраг по соседству с нею; а однажды мы видели, как собака сторожа нырнула в этот заросший папоротником овраг, словно в воду.

Теперь все небо заволокло тучами, и в сторожке было до того темно, что мы разглядели только лесника, который подошел к порогу, едва мы подбежали, и принес нам два стула — Аде и мне. Окна с частым свинцовым переплетом были открыты настежь, мы сидели в дверях и смотрели на грозу. Чудесно было наблюдать, как поднимается ветер, гнет ветви деревьев и гонит перед собой дождь, словно клубы дыма; чудесно было слышать торжественные раскаты грома, видеть молнию, думать с благоговейным страхом о могущественных силах природы, окружающих нашу ничтожную жизнь, и размышлять о том, как они благотворны,— ведь уже сейчас все цветы и листья, даже самые крошечные, дышали свежестью, исходящей от этой мнимой ярости, которая словно заново сотворила мир.

— А не опасно сидеть в таком открытом месте?

— Конечно, нет, Эстер! — спокойно отозвалась Ада.

Ада ответила мне, но вопрос задала *не я.*

Сердце мое забилось снова. Я никогда не слышала этого голоса и до прошлой недели не видела этого лица, но теперь голос подействовал на меня так же странно, как тогда подействовало лицо. В тот же миг передо мной опять всплыли бесчисленные образы моего прошлого.

Леди Дедлок укрылась в сторожке раньше нас, а сейчас вышла из ее темной глубины. Она стала за моим стулом, положив руку на его спинку. Повернув голову, я увидела, что рука ее почти касается моего плеча.

— Я вас испугала? — спросила она.

Нет; то был не страх. Чего мне было бояться?

— Если мне не изменяет память,— проговорила леди Дедлок, обращаясь к опекуну,— я имею удовольствие говорить с мистером Джарндисом?

— Ваша память оказала мне такую честь, о которой я не смел и мечтать, леди Дедлок,— ответил опекун.

— Я узнала вас в церкви, в прошлое воскресенье. Жаль, что ссора сэра Лестера кое с кем из местных жителей,— хоть и не он ее начал, кажется,— лишает меня возможности оказать вам внимание здесь... такая нелепость!

— Я знаю обо всем этом,— ответил опекун, улыбаясь,— и очень вам признателен.

Она подала ему руку, не меняя безучастного выражения лица, по-видимому привычного для нее, и заговорила тоже безучастным тоном, но голос у нее был необычайно приятный. Она была очень изящна, очень красива, превосходно владела собой и, как мне показалось, могла бы очаровать и заинтересовать любого человека, если бы только считала нужным снизойти до него. Лесник принес ей стул, и она села на крыльце между нами.

— А тот молодой джентльмен, о котором вы писали сэру Лестеру и которому сэр Лестер, к сожалению, ничем не мог посодействовать, он нашел свое призвание? — спросила она, обращаясь к опекуну через плечо.

— Надеюсь, что да,— ответил тот.

Она, по-видимому, уважала мистера Джарндиса, а сейчас даже старалась расположить его к себе. В ее надменности было что-то очень обаятельное, и когда она заговорила с опекуном через плечо, тон ее сделался более дружеским,— я чуть было не сказала «более простым», но простым он, вероятно, не мог быть.

— Это, кажется, мисс Клейр, и вы опекаете ее тоже?

Мистер Джарндис представил Аду по всем правилам.

— Вы слывете бескорыстным Дон-Кихотом, но берегитесь, как бы вам не потерять своей репутации, если вы будете покровительствовать только таким красавицам, как эта,— сказала леди Дедлок, снова обращаясь к мистеру Джарндису через плечо.— Однако познакомьте же

меня и с другой молодой леди,— добавила она и повернулась ко мне.

— Мисс Саммерсон я опекаю совершенно самостоятельно,— сказал мистер Джарндис.— За нее я не должен давать отчета никакому лорд-канцлеру.

— Мисс Саммерсон потеряла родителей? — спросила миледи.

— Да.

— Такой опекун, как вы,— это для нее большое счастье.

Леди Дедлок взглянула на меня, а я взглянула на нее и сказала, что это действительно большое счастье. Она сразу же отвернулась с таким видом, словно ей почему-то стало неприятно или что-то не понравилось, и снова заговорила с мистером Джарндисом, обращаясь к нему через плечо:

— Давно мы с вами не встречались, мистер Джарндис.

— Да, давненько. Точнее, это я раньше думал, что давно,— пока не увидел вас в прошлое воскресенье,— отозвался он.

— Вот как! Даже вы начали говорить комплименты; или вы считаете, что они мне нужны? — проговорила она немного пренебрежительно.— Очевидно, я приобрела такую репутацию.

— Вы приобрели так много, леди Дедлок,— сказал опекун,— что, осмелюсь сказать, вам приходится платить за это кое-какие небольшие пени. Но только не мне.

— Так много! — повторила она с легким смехом.— Да.

Уверенная в своем превосходстве, власти и обаянии,— да и в чем только не уверенная! — она, очевидно, считала меня и Аду просто девчонками. И когда, рассмеявшись легким смехом, она молча стала смотреть на дождь, лицо у нее сделалось невозмутимым, ибо она, как видно, предалась своим собственным мыслям, и уже не обращала внимания на окружающих.

— Если я не ошибаюсь, с моей сестрой вы были знакомы короче, чем со мной, в ту пору, когда мы все были за границей? — проговорила она, снова бросая взгляд на опекуна.

— Да; с нею я встречался чаще,— ответил он.

— Мы шли каждая своим путем,— сказала леди Дедлок,— и еще до того, как мы решили расстаться, между нами было мало общего. Жаль, что так вышло, конечно, но ничего не поделаешь.

Леди Дедлок умолкла и сидела, глядя на дождь. Вскоре гроза начала проходить. Ливень ослабел, молния перестала сверкать, гром гремел уже где-то далеко, над холмами появилось солнце и засияло в мокрой листве и каплях дождя. Мы сидели молча; но вот вдали показался маленький фаэтон, запряженный парой пони, которые везли его бойкой рысцой, направляясь к сторожке.

— Это посланный возвращается с экипажем, миледи,— проговорил лесник.

Когда фаэтон подъехал, мы увидели в нем двух женщин. Они вышли с плащами и шалями в руках — сначала та француженка, которую я видела в церкви, потом хорошенькая девушка; француженка — с вызывающим и самоуверенным видом, хорошенькая девушка — нерешительно и в смущении.

— Это еще что? — сказала леди Дедлок.— Почему вы явились обе?

— Посланный приехал за «горничной миледи»,— сказала француженка,— а пока что ваша горничная — это я.

— Я думала, вы посылали за мной, миледи,— проговорила хорошенькая девушка.

— Да, я посылала за тобой, девочка моя,— спокойно ответила леди Дедлок.— Накинь на меня вот эту шаль.

Она слегка наклонилась, и хорошенькая девушка накинула шаль ей на плечи. Француженка не была удостоена вниманием миледи и только наблюдала за происходящим, крепко стиснув губы.

— Жаль, что нам вряд ли удастся возобновить наше давнее знакомство,— сказала леди Дедлок мистеру Джарндису.— Разрешите мне прислать назад экипаж для ваших питомиц? Он вернется немедленно.

Опекун решительно отказался, а миледи любезно попрощалась с Адой,— со мною же не простилась вовсе,— и, опираясь на руку мистера Джарндиса, села в экипаж — небольшой, низенький, с опущенным верхом фаэтон для прогулок по парку.

— Садись, милая,— приказала она хорошенькой девушке,— ты мне будешь нужна... Трогайте.

Экипаж отъехал, а француженка, с плащами, висевшими у нее на руке, так и осталась стоять там, где из него вышла.

Для гордых натур, пожалуй, нет ничего более нестерпимого, чем гордость других людей, и француженка понесла кару за свою навязчивость. Отомстила же она за себя таким странным способом, какой мне и в голову бы не пришел. Она стояла как вкопанная, пока фаэтон не свернул в аллею, потом, как ни в чем не бывало, сбросила с ног туфли и, оставив их валяться на земле, решительными шагами двинулась за экипажем по совершенно мокрой траве.

— Она с придурью, эта девица? — спросил опекун.

— Ну, нет, сэр,— ответил лесник, глядя ей вслед вместе с женой.— Ортанз не дура. Башка у нее работает на славу. Только она до черта гордая и горячая... такая гордячка и горячка, каких мало; к тому же ей на днях отказали от места, да еще ставят других выше нее, вот ей это и не по нутру.

— Но зачем ей шлепать в одних чулках по таким лужам? — спросил опекун.

— И правда, зачем, сэр? Разве затем, чтобы чуточку поостыть,— ответил лесник.

— А может, она воображает, что это кровь,— предположила жена лесника.— Она, сдается мне, и по крови ходить не постесняется, коли в ней самой кровь закипит.

Несколько минут спустя мы проходили мимо дома Дедлоков. Каким бы спокойным он ни был в тот день, когда мы впервые его увидели, сейчас он показался нам погруженным в еще более глубокий покой; а вокруг него сверкала алмазная пыль, веял легкий ветерок, примолкшие было птицы громко пели, все освежилось после дождя, и маленький фаэтон сверкал у подъезда, как серебряная колесница фей.

Все так же упорно и невозмутимо устремляясь к этому дому — мирная человеческая фигура на фоне идиллического пейзажа,— мадемуазель Ортанз шагала в одних чулках по мокрой траве.

ГЛАВА XIX
«Проходи, не задерживайся»

На Канцлерской улице и по соседству с нею теперь долгие каникулы. Славные суда, то бишь суды Общего права и Справедливости, эти построенные из тика, одетые в броню, скрепленные железом, непробиваемые, как бесстыдные медные лбы, но отнюдь не быстроходные клипперы, разоружены, расснащены и отведены в док. Летучий Голландец * с командой просителей-призраков, вечно умоляющих каждого встречного ознакомиться с их документами, на время отплыл по воле волн бог весть куда. Все судебные здания закрыты; присутственные места, разомлев, спят мертвым сном; даже Вестминстер-холл * совсем обезлюдел, и в его тени могли бы петь соловьи, могли бы гулять «истцы», которые ищут не правосудия (как те, что встречаются здесь обычно), но счастья в любви.

Тэмпл, Канцлерская улица, Сарджентс-Инн *, Линкольнс-Инн и даже Линкольновы поля напоминают мелководные океанские гавани во время отлива — судопроизводство, что сидит на мели, учреждения, что стоят на якоре, праздные клерки, что от нечего делать лениво раскачиваются на табуретах, которые не примут вертикального положения, пока не начнется прилив судебной сессии,— все они обретаются на суше в тине долгих каникул. Входные двери юридических контор десятками запираются одна за другой, письма и пакеты целыми мешками сносятся в швейцарские. Мостовая против Линкольнс-Инн-Холла заросла бы пышной травой, если бы не рассыльные, которые сидят без дела в тени и, прикрыв от мух головы белыми фартуками, рвут и жуют эту траву с глубокомысленным видом.

В Лондоне остался только один-единственный судья, но даже он заседает в своей камере не более двух раз в неделю. Вот бы теперь поглядеть на него жителям тех городков его судебного округа, где он бывает на выездной сессии! Пышный парик, красная мантия, меха, свита с алебардами, белые жезлы,— куда все это подевалось!

Теперь он просто-напросто гладко выбритый джентльмен в белых брюках и белом цилиндре, с бронзовым морским загаром на судейской физиономии и со ссадиной на облупленном солнцем судейском носу,— джентльмен, который по пути в камеру заходит в устричную лавку и пьет имбирное пиво со льдом!

Адвокатура Англии рассеялась по лицу земли. Как может Англия прожить четыре долгих летних месяца * без своей адвокатуры — общепризнанного ее убежища в дни невзгод и единственной ее законной славы в дни процветания,— об этом вопрос не поднимается, ибо сей щит и панцирь Британии, очевидно, не входит в состав ее теперешнего облачения. Ученый джентльмен, который всегда столь страстно негодует на беспримерные оскорбления, нанесенные его клиенту противной стороной, что, кажется, не в силах оправиться от них, теперь поправляется — и гораздо быстрее, чем можно было ожидать — в Швейцарии. Ученый джентльмен,— великий мастер испепелять противников и губить оппонентов своим мрачным сарказмом,— теперь прыгает, как кузнечик, и веселится до упаду на французском курорте. Ученый джентльмен, который по малейшему поводу льет слезы целыми ведрами, вот уже шесть недель не пролил ни одной слезинки. Высокоученый джентльмен, который охлаждал природный жар своего пылкого темперамента в омутах и фонтанах юриспруденции, пока не достиг великого уменья заготовлять впрок неопровержимые аргументы в предвидении судебной сессии, а на сессии ставить в тупик дремлющих судей своими юридическими остротами, непонятными непосвященным, равно как и большинству посвященных,— этот высокоученый джентльмен бродит теперь, привычно наслаждаясь сухостью и пылью, по Константинополю. Прочие рассеянные обломки того же великого Палладиума встречаются на каналах Венеции, на втором пороге Нила, на германских водах, а также рассыпаны по всем песчаным пляжам побережья Англии. Но трудно увидеть хоть один из них на опустевшей Канцлерской улице и по соседству с нею. Если же иной раз и бывает, что какой-нибудь член адвокатской корпорации, одиноко проносясь по этой пустыне, завидит истца, который здесь блуждает, как призрак, бессильный покинуть арену своих

страданий, оба они пугаются один другого и жмутся к стенам противоположных домов.

Никто не запомнит такой жары, какая стоит в эти долгие каникулы. Все молодые клерки безумно влюблены и соответственно своим различным рангам мечтают о блаженстве с предметом своей страсти в Маргете *, Рамсгете * или Грейвзенде *. Все пожилые клерки находят, что семьи их слишком велики. Все бродячие собаки, которые блуждают по Судебным Иннам и задыхаются на лестницах и в прочих душных закоулках, ищут воды и отрывисто воют в исступлении. Все собаки, что водят слепых на улицах, тянут своих хозяев к каждому встречному колодцу или, бросившись к ведру с водой, сбивают их с ног. Лавка с тентом для защиты от солнца, перед входом в которую тротуар полит водой и где в витрине стоит банка с золотыми и серебряными рыбками, кажется каким-то святилищем. Ворота Тэмпл-Бар, к которым примыкают Стрэнд и Флит-стрит *, накаляются до того, что служат для этих двух улиц чем-то вроде нагревателя внутри кипятильника и всю ночь заставляют их кипеть.

В Судебных Иннах есть конторы, где можно было бы посидеть в прохладе, если бы стоило покупать прохладу ценой невыносимой скуки; зато в узких уличках, непосредственно прилегающих к этим укромным местам, настоящее пекло. В переулке мистера Крука так жарко, что обыватели распахивают настежь окна и двери и, чуть ли не вывернув свои дома наизнанку, выносят наружу стулья и сидят на тротуаре, а среди них — сам мистер Крук, предающийся учебным занятиям в обществе своей кошки, которой никогда не бывает жарко. «Солнечный герб» прекратил на лето созыв Гармонических собраний, а Маленький Суиллс, получив ангажемент в «Пасторальные сады», расположенные ниже по течению Темзы, выступает там совершенно безобидным образом и поет комические песенки самого невинного содержания, которые, как гласит афиша, ни в малейшей степени не могут задеть самолюбие самых строгих и придирчивых особ.

Над всем этим юридическим миром, покрытым ржавчиной, безделье и сонная одурь долгих каникул нависли как гигантская паутина. Мистер Снегсби, владелец пис-

чебумажной лавки в Кукс-Корте, выходящем на Карситор-стрит, чувствует, что общее безделье и одурь влияют не только на его душу,— душу человека, чувствительного и склонного к созерцанию,— но и на его торговлю,— как уже было сказано, торговлю канцелярскими принадлежностями. Во время долгих каникул у него больше досуга прогуливаться по Степл-Инну и Ролс-Ярду, чем в другие времена года, и он говорит обоим своим подмастерьям о том, как приятно в такую жару сознавать, что живешь на острове и что море плещет и волнуется вокруг тебя!

Сегодня, в один из этих каникулярных дней, Гуся хлопочет в маленькой гостиной, так как мистер и миссис Снегсби собираются принимать гостей. Гости будут скорее избранные, нежели многочисленные,— только мистер и миссис Чедбенд. Мистер Чедбенд очень любит называть себя и устно и письменно «сосудом» *, но иные непосвященные, спутав это наименование со словом «судно», порой ошибочно принимают его за человека, имеющего какое-то отношение к мореплаванию, хоть он и выдает себя за «священнослужителя». На самом деле мистер Чедбенд не имеет никакого духовного сана,— впрочем, хулители его находят, что он не способен сказать ничего выдающегося на величайшую из тем, а значит подобное самозванство не может лежать тяжелым грузом на его совести,— однако у него есть последователи, и миссис Снегсби в их числе. Миссис Снегсби лишь с недавнего времени поплыла вверх по течению на буксире у Чедбенда,— это первоклассное судно привлекло ее внимание, когда ей от летнего зноя кровь слегка бросилась в голову.

— Моя крошечка,— говорит мистер Снегсби воробьям в Степл-Инне,— уж очень, знаете ли, привержена к своей религии!

Поэтому Гуся, потрясенная тем, что ей предстоит сделаться временной прислужницей Чедбенда, который, как ей известно, обладает даром проповедовать часа по четыре кряду, убирает маленькую гостиную к вечернему чаю. Вся мебель уже выколочена и очищена от пыли, портреты мистера и миссис Снегсби протерты мокрой тряпкой, лучший чайный сервиз стоит на столе, и готовится великолепное угощение: вкусный, еще теплый хлеб,

поджаристые крендельки, холодное свежее масло, нарезанная тонкими ломтиками ветчина, язык, сосиски и нежные анчоусы, уложенные рядами в гнездышке из петрушки, не говоря уже о яйцах только что из-под кур — яйца сварят и подадут в салфетке, чтобы не успели остыть,— и о горячих поджаренных ломтиках хлеба, намазанных сливочным маслом. Ибо Чедбенд — это судно, требующее много топлива,— хулители даже считают, что оно обжирается топливом,— и отлично умеет орудовать не только духовным оружием, но и такими материальными орудиями, как нож и вилка.

Когда все приготовления закончены, мистер Снегсби, облачившись в свой лучший сюртук, осматривает накрытый стол и, почтительно покашливая из-под руки, спрашивает миссис Снегсби:

— К какому часу ты пригласила мистера и миссис Чедбенд, душечка?

— К шести,— отвечает миссис Снегсби.

Кротко и как бы мимоходом мистер Снегсби отмечает, что «шесть уже пробило».

— Тебе, чего доброго, хочется начать без них? — язвительно осведомляется миссис Снегсби.

Мистеру Снегсби этого, по-видимому, очень хочется, но, кротко покашливая, он отвечает:

— Нет, дорогая, нет. Просто я сказал, который теперь час, только и всего.

— Что значит час по сравнению с вечностью?! — изрекает миссис Снегсби.

— Сущие пустяки, душечка,— соглашается мистер Снегсби.— Но когда готовишь угощение к чаю, то готовишь... его, так сказать... к известному часу. А когда час для чаепития назначен, лучше его соблюдать.

— Соблюдать! — повторяет миссис Снегсби строгим тоном.— Соблюдать! Можно подумать, что мистер Чедбенд идет драться на дуэли.

— Вовсе нет, душечка,— говорит мистер Снегсби.

Но вот Гуся, которую поставили сторожить приход гостей у окна спальни, шурша юбками и шаркая шлепанцами, мчится вниз по маленькой лестнице, как те призраки, что, по народным поверьям, бродят в домах, затем влетает в гостиную и с пылающими щеками докладывает,

что мистер и миссис Чедбенд показались в переулке. Тотчас же после этого раздается звон колокольчика на внутренней двери в коридоре, и миссис Снегсби строго внушает Гусе, под страхом немедленного водворения ее в Тутинг к благодетелю, доложить о прибытии гостей по всем правилам — ни в коем случае не пропустить этой церемонии. Угрозы хозяйки расстраивают Гусе нервы (до этой минуты бывшие в полном порядке), и она самым ужасным образом нарушает этикет, объявляя:

— Мистер и миссис Чизминг... то есть как их... дай бог памяти! — после чего скрывается, терзаемая угрызениями совести.

Мистер Чедбенд — здоровенный мужчина с желтым лицом, расплывшимся в елейной улыбке, и такой тучный, что кажется налитым ворванью. Миссис Чедбенд — строгая, суровая на вид, молчаливая женщина. Мистер Чедбенд ступает мягко и неуклюже, как медведь, обученный ходить на задних лапах. Он не знает, куда девать руки,— кажется, будто они всегда мешают ему и он предпочел бы ползать,— голова у него покрыта обильным потом, и перед тем как заговорить, он неизменно поднимает огромную длань, делая знак слушателям, что собирается их поучать.

— Друзья мои,— начинает мистер Чедбенд,— мир дому сему! Хозяину его, хозяйке его, отрокам и отроковицам! Друзья мои, почему я жажду мира? Что есть мир? Есть ли это война? Нет. Есть ли это борьба? Нет. Есть ли это состояние прелестное и тихое, и прекрасное и приятное, и безмятежное и радостное? О да! Посему, друзья мои, я желаю мира и вам и сродникам вашим.

У миссис Снегсби такое выражение лица, словно она до дна души впитала в себя это назидательное поучение, поэтому мистер Снегсби находит своевременным произнести «аминь», что вызывает явное одобрение собравшихся.

— А теперь, друзья мои,— продолжает мистер Чедбенд,— поелику я коснулся этого предмета...

Появляется Гуся. Миссис Снегсби, замогильным басом и не отрывая глаз от Чедбенда, произносит с устрашающей отчетливостью:

— Пошла вон!

— А теперь, друзья мои,— повторяет Чедбенд,— поелику я коснулся этого предмета и на своей смиренной стезе развиваю его...

Однако Гуся, непонятно почему, бормочет:

— Тысяча семьсот восемьдесят два.

Замогильный голос повторяет еще более грозно:

— Пошла вон!

— А теперь, друзья мои,— снова начинает мистер Чедбенд,— спросим себя в духе любви...

Но Гуся твердит свое:

— Тысяча семьсот восемьдесят два.

Мистер Чедбенд, немного помолчав со смирением человека, привыкшего к хуле, говорит с елейной улыбкой, в которой его двойной подбородок медленно расплывается складками:

— Выслушаем сию отроковицу. Говори, отроковица!

— Тысяча семьсот восемьдесят два его номер, позвольте вам доложить, сэр. Так что он спрашивает, за что дали шиллинг,— лепечет Гуся, едва переводя дух.

— За что? — отвечает миссис Чедбенд.— За проезд.

Гуся докладывает, что «он требует шиллинг и восемь пенсов, а не то подаст жалобу на седоков». Миссис Снегсби и миссис Чедбенд чуть не взвизгивают от негодования, но мистер Чедбенд, подняв длань, успокаивает всеобщее волнение.

— Друзья мои! — объясняет он.— Я вспомнил сейчас, что не выполнил вчера одного своего нравственного долга. Справедливо, чтобы я за это понес какую-либо кару. Мне не должно роптать. Рейчел, доплати восемь пенсов.

Пока миссис Снегсби, едва дыша, смотрит на мистера Снегсби жестким взглядом, как бы желая сказать: «Слышишь ты этого апостола!», а мистер Чедбенд блистает смирением и елейностью, миссис Чедбенд расплачивается. У мистера Чедбенда есть привычка — его излюбленный конек — сводить такого рода мелочные счеты публично и рисоваться этим по самым пустяковым поводам.

— Друзья мои,— говорит Чедбенд,— восемь пенсов — это немного. Справедливо было бы потребовать с меня лишний шиллинг и четыре пенса, справедливо было бы потребовать с меня полкроны. О, возликуем, возликуем! О, возликуем!

После этого пожелания, напоминающего отрывок из духовного стиха, мистер Чедбенд важно шествует к столу, но, прежде чем опуститься в кресло, поднимает длань, приступая к увещеванию.

— Друзья мои,— начинает он,— что зрим мы ныне, расставленное перед нами? Угощение. Нуждаемся ли мы в угощении, друзья мои? Нуждаемся. А почему мы нуждаемся в угощении, друзья мои? Потому что мы смертны, потому что мы грешны, потому что мы принадлежим земле, потому что мы не принадлежим воздуху. Можем ли мы летать, друзья мои? Не можем. Почему же не можем мы летать, друзья мои?

Мистер Снегсби, памятуя успех своего давешнего выступления, решается ответить бодрым тоном знатока: «Крыльев нет». Но в тот же миг съеживается под суровым взглядом миссис Снегсби.

— Я повторяю вопрос, друзья мои,— продолжает мистер Чедбенд, полностью отвергая и предавая забвенью ответ мистера Снегсби,— почему мы не можем летать? Не потому ли, что нам предопределено ходить? Именно потому. Могли бы мы ходить, друзья мои, не имея сил? Не могли бы. Что сталось бы с нами, если бы мы не имели сил, друзья мои? Наши ноги отказались бы носить нас, наши колени подогнулись бы, наши лодыжки вывихнулись бы, и мы рухнули бы на землю. Так откуда же, друзья мои, черпаем мы на нашей бренной земле силу, потребную членам тела нашего? Не из хлеба ли в его разнообразных видах,— вопрошает Чедбенд, озирая стол,— не из масла ли, каковое сбивается из молока, которое уделяет нам корова; не из яиц ли, кои несет домашняя птица; не из ветчины ли, не из языка ли, не из сосисок ли и тому подобного? Из этого самого. Итак, вкусим же от яств отменных, расставленных перед нами.

Хулители не одобряют подобных словоизвержений, следующих друг за другом, как ступеньки лестницы, и не видят в них признаков одаренности мистера Чедбенда. Но это только доказывает их решимость предавать его хуле, ибо всякий знает по личному опыту, что «чедбендовский» ораторский стиль широко распространен и пользуется большим успехом.

Так или иначе, мистер Чедбенд, закончив свою мысль, на время умолкает и, сев за стол мистера Снегсби, мастерски расправляется с яствами. Превращение всякого рода пищи в жир упомянутого вида — процесс, столь привычный для этого образцового судна, что, когда мистер Чедбенд приступает к еде и питью, его смело можно уподобить большому салотопенному заводу или крупной фабрике, производящей ворвань для оптовой продажи. В этот каникулярный вечер в Кукс-Корте, выходящем на Карситор-стрит, «завод» работает так энергично, что, когда работа заканчивается, склад оказывается битком набитым.

На этой стадии приема Гуся, которая все еще не оправилась от своей первой неудачи, но не упустила ни одного возможного и невозможного случая осрамить себя и весь дом,— достаточно кратко упомянуть, что, взяв стопку тарелок, она с их помощью исполнила бравурный военный марш на голове мистера Чедбенда, а потом увенчала этого джентльмена блюдом с пышками,— на этой стадии приема появляется Гуся и шепчет на ухо мистеру Снегсби, что его вызывают.

— Меня вызывают, говоря напрямик, в лавку,— объявляет мистер Снегсби, поднимаясь,— поэтому уважаемые гости, может быть, извинят меня, если я отлучусь на минутку.

Мистер Снегсби спускается в лавку, а там оба подмастерья смотрят во все глаза на полицейского — квартального надзирателя,— который держит за плечо оборванца-подростка.

— Боже мой, что такое? — осведомляется мистер Снегсби.— Что тут происходит?

— Этому малому,— говорит квартальный,— тысячу раз приказывали проходить, не задерживаясь на одном месте, но он не хочет...

— Да неужто я задерживаюсь, сэр? — горячо возражает подросток, вытирая грязные слезы рукавом.— Я не задерживаюсь, а сроду все хожу да хожу. Куда ж мне идти, сэр, и разве можно ходить больше, чем я хожу!

— Он не желает слушаться и задерживается на одном месте,— спокойно объясняет квартальный, слегка вздернув головой характерным для полицейских движе-

нием, чтобы шее было удобнее в твердом воротнике,— не желает, да и только, хотя не раз получал предупреждения, и я поэтому вынужден заключить его под стражу. Это такой упрямый сорванец, каких я в жизни не видывал. *Не желает* проходить, и все тут.

— О господи! Да куда ж мне идти! — кричит мальчик, в отчаянии хватаясь за волосы и топая босой ногой по полу в коридоре мистера Снегсби.

— Не дурить, а не то я с тобой живо расправлюсь! — внушает квартальный, невозмутимо встряхивая его.— Мне приказано, чтобы ты не задерживался. Я тебе это пятьсот раз говорил.

— Да куда ж мне деваться? — взвизгивает мальчик.

— М-да! А все-таки, знаете, господин квартальный, это разумный вопрос,— оторопело произносит мистер Снегсби и покашливает в руку, выражая этим кашлем величайшее недоумение и замешательство.— В самом деле, куда ему деваться, а?

— Насчет этого мне ничего не приказано,— отвечает квартальный.— Мне приказано, чтобы этот мальчишка не задерживался на одном месте.

Слышишь, Джо? Ни тебе да и никому вообще нет дела до того, что великие светила парламентского неба вот уже много лет не показывают тебе своей деятельностью примера продвижения вперед без задержки. Это мудрое правило, это глубоко философское предписание относится только к тебе, и оно — сущность и завершение твоего нелепого бытия на земле. Проходи, не задерживайся! Ты, конечно, не должен уходить совсем, Джо, ибо на это великие светила никак не согласны, но... проходи, не задерживайся!

Мистер Снегсби ничего не говорит по этому поводу. Он вообще ничего не говорит, но покашливает своим самым безнадежным кашлем, намекая на полную безвыходность создавшегося положения. К тому времени мистер и миссис Чедбенд и миссис Снегсби, заслышав спор, выходят на площадку лестницы. Гуся и не уходила из коридора, так что теперь все общество в сборе.

— Вопрос в том, сэр,— снова начинает квартальный,— знаете ли вы этого малого? Он говорит, что знает.

Миссис Снегсби немедленно кричит с площадки:

— Нет, не знает!

— Кро-ше-чка! — умоляет мистер Снегсби, устремив глаза вверх, на лестницу,— дорогая, позволь уж мне! Прошу тебя, имей капельку терпения, душечка. Я немного знаю этого мальчугана и, право же, господин квартальный, не могу сказать о нем ничего плохого, скорей наоборот.

После чего владелец писчебумажной лавки рассказывает квартальному грустную историю своего знакомства с Джо, опустив эпизод с полукроной.

— Так, так! Значит, он не врет,— говорит квартальный.— Когда я его забрал на Холборне, он сказал, что вы его знаете. Тут какой-то молодой человек из толпы заявил, что знаком с вами, что вы почтенный домохозяин, и если я зайду к вам навести справки, он тоже придет сюда. Молодой человек, очевидно, не собирается сдержать свое слово, но... Ага! вот и он!

Входит мистер Гаппи и, кивнув мистеру Снегсби, с писарской рыцарственностью снимает цилиндр перед дамами, собравшимися на лестнице.

— Я как раз шел из конторы,— говорит мистер Гаппи торговцу,— вижу — скандал, и кто-то упомянул ваше имя, вот я и подумал, что надо бы разузнать, в чем дело.

— Вы очень любезны, сэр,— отзывается мистер Снегсби,— я вам очень благодарен.

И мистер Снегсби снова рассказывает о своем знакомстве с мальчиком, снова опуская эпизод с полукроной.

— Теперь я знаю, где ты живешь,— обращается квартальный к Джо.— Ты живешь в Одиноком Томе. Тихое местечко, вполне приличное для житья, а?

— Как же я могу жить в более приличном месте, сэр? — возражает Джо.— Попробуй-ка я попроситься в тихое, приличное место, да там со мной и разговаривать не станут. Кто же захочет пустить в приличную квартиру такого нищего бродягу, как я?

— Так, значит, ты очень бедный, да? — спрашивает квартальный.

— А как же, сэр! Куда уж бедней быть,— отвечает Джо.

— Теперь судите сами! Не успел я к нему притронуться, как вытряхнул из него вот эти две полукроны! — говорит квартальный, показывая монеты всему обществу.

— Только и осталось, мистер Снегсби,— объясняет Джо,— только всего и осталось от того соверена, что мне дала леди под вуалью, а говорила, будто — служанка, та, что пришла вечером на мой перекресток и велела показать ваш дом и дом, где он помер, тот, кому вы переписку давали, а еще кладбище, где его зарыли. Говорит мне: «Ты, говорит, мальчик, который был на дознании?» — говорит. Я говорю: «Да»,— говорю. Она говорит: «Можешь, говорит, показать мне все те места?» Я говорю: «Да, говорю, могу». Она говорит: «Покажи»; я и показал, а она дала мне соверен, а сама улизнула. А мне от этого соверена толку мало,— жалуется Джо, проливая грязные слезы,— пришлось заплатить пять шиллингов в Одиноком Томе, чтобы разменяли монету, а то не соглашались; потом один парень украл у меня еще пятерку, когда я спал, да один мальчишка девять пенсов стянул, а хозяин, тот еще больше высосал на пьянку.

— Неужто ты надеешься, что кто-нибудь поверит этим вракам насчет какой-то леди и соверена? — говорит квартальный, косясь на него с невыразимым презрением.

— Ни на что я не надеюсь, сэр,— отвечает Джо.— Вовсе я ничего не думаю, но это правда истинная.

— Вот он каков, сами видите! — обращается квартальный к своим слушателям.— Ну, мистер Снегсби, если я на этот раз не посажу его под замок, вы поручитесь за то, что он не будет задерживаться на одном месте?

— Нет! — кричит миссис Снегсби с лестницы.

— Женушка! — умоляет ее супруг.— Господин квартальный, он безусловно не будет задерживаться на месте. Знаешь, Джо, тебе, право же, не следует задерживаться,— говорит мистер Снегсби.

— Не буду, сэр,— отвечает злосчастный Джо.

— Ну, так и не задерживайся,— внушает квартальный.— Ты знаешь, что тебе нужно делать? Ну и делай! И заруби себе на носу, что в следующий раз тебе не

удастся выкрутиться так легко. Бери свои деньги. А теперь, чем скорей ты очутишься за пять миль отсюда, тем лучше будет для всех.

Высказав это прощальное наставление, квартальный показывает пальцем на закатное небо — вероятно, считая, что туда-то и должен отправиться Джо, потом желает своим слушателям доброго вечера и удаляется, а перейдя на теневую сторону Кукс-Корта, в котором негромко отдается стук его мерных шагов, снимает свой бронированный шлем, чтобы немножко проветрить голову.

Неправдоподобная история о леди и соверене, рассказанная Джо, возбудила в той или иной мере любопытство всех присутствующих. Мистер Гаппи, одаренный пытливым умом, обожает разбираться в свидетельских показаниях и к тому же донельзя устал от безделья во время долгих каникул, поэтому он живо интересуется подвернувшимся делом и начинает форменным образом допрашивать «свидетеля», а это столь интересно для дам, что миссис Снегсби радушно приглашает его подняться наверх и выпить чашку чаю, но просит извинить за беспорядок на чайном столе, вызванный тем, что чаепитие было прервано в самом разгаре.

Мистер Гаппи принимает приглашение, а Джо приказано следовать за всей компанией до порога гостиной, где мистер Гаппи, взявшись за свидетеля, терзает его в соответствии с наилучшими образцами допросов, разминая и так и этак, подобно маслоделу, выжимающему кусок сливочного масла. Допрос, как и многие другие образцовые процедуры этого рода, дает лишь отрицательные результаты, но отнимает уйму времени, ибо мистер Гаппи высоко ценит свой талант, а миссис Снегсби находит, что все это не только удовлетворяет ее любознательность, но и возвышает торговое предприятие ее супруга в юридическом мире. Пока жестокая схватка между «следователем» и «свидетелем» продолжается, «судно Чедбенд», занятое только производством жиров, сидит на мели и ждет отплытия.

— Ну-с! — изрекает, наконец, мистер Гаппи.— Или мальчишка врет без зазрения совести, или это совершенно необычайный случай, превосходящий все, с чем мне при-

ходилось сталкиваться по моей работе у Кенджа и Карбоя.

Миссис Чедбенд шепчет что-то на ухо миссис Снегсби, и та восклицает: «Не может быть!»

— Много лет! — подтверждает миссис Чедбенд.

— Она много лет знает контору Кенджа и Карбоя,— торжествующе объясняет миссис Снегсби мистеру Гаппи.— Позвольте вам представить: миссис Чедбенд — супруга этого джентльмена... его преподобие мистер Чедбенд.

— Неужели знает! — восклицает мистер Гаппи.

— Знала еще до того, как вышла за своего теперешнего мужа,— говорит миссис Чедбенд.

— Вы являлись одной из тяжущихся сторон в каком-либо судебном процессе, сударыня? — осведомляется мистер Гаппи, приступая теперь уже к ее допросу.

— Нет.

— *Ни в каком* судебном процессе, сударыня? — спрашивает мистер Гаппи.

Миссис Чедбенд качает головой.

— Быть может, вы были знакомы с каким-нибудь лицом, являвшимся одной из тяжущихся сторон в каком-либо судебном процессе, сударыня? — спрашивает мистер Гаппи, которого ничем не корми, только дай ему поговорить по всем правилам судебной процедуры.

— И да и нет,— отвечает миссис Чедбенд, жесткой усмешкой придавая оттенок шутливости своим словам.

— И да и нет! — повторяет мистер Гаппи.— Прекрасно. Скажите, сударыня, лицо, имевшее дело (мы пока не будем уточнять, какое именно дело) с конторой Кенджа и Карбоя, было знакомой вам леди или знакомым вам джентльменом? Не торопитесь, сударыня. Мы сейчас все это выясним. Мужчина это был или женщина, сударыня?

— И ни мужчина и ни женщина,— отвечает миссис Чедбенд тем же тоном.

— Ага! Значит, малолетнее дитя! — догадывается мистер Гаппи, бросая на миссис Снегсби тот пронзительный взгляд, который юристам полагается бросать на британских присяжных.— Ну, сударыня, может вы будете столь добры сообщить нам, *что же* это было за дитя?

— Наконец-то вы попали в точку, сэр,— отзывается миссис Чедбенд, снова сопровождая свои слова жесткой усмешкой.— Так вот, сэр, судя по вашей наружности, надо думать, это было еще до вашего рождения. Я нянчила одну девочку,— ее звали Эстер Саммерсон,— а когда она подросла, кто-то поместил ее в школу и деньги за право учения посылал через контору господ Кенджа и Карбоя.

— Мисс Саммерсон, сударыня! — восклицает мистер Гаппи в волнении.

— Кто как, а *я* называю ее попросту — Эстер Саммерсон,— строго говорит миссис Чедбенд.— В мое время эту девчонку не величали «мисс». Просто — Эстер. «Эстер, сделай это! Эстер, сделай то!» — и ей хочешь не хочешь, а приходилось делать, что приказывали.

— Уважаемая сударыня,—отзывается на это мистер Гаппи, пересекая тесную комнатку,— ваш покорный слуга встретил эту молодую леди в Лондоне, когда она впервые приехала сюда из того заведения, на которое вы намекнули. Доставьте удовольствие, разрешите пожать вам руку.

Мистер Чедбенд видит, что, наконец, и ему подвернулся удобный случай вымолвить слово, и, вставая, подает свой привычный сигнал, причем от головы у него идет пар, и он отирает ее носовым платком. Миссис Снегсби шипит:

— Тише! Тише!

— Друзья мои,— начинает Чедбенд,— мы вкусили с умеренностью (чего никак нельзя было сказать о нем самом) от благ, уготованных нам. Да живет дом сей от плодородия земли; да будет в нем изобилие зерна и вина; да растет он, да процветает он, да благоденствует он, да возвышается он, да поднимается он, да продвигается он! Но, друзья мои, вкусили ли мы еще от чего-либо? Вкусили. Друзья мои, от чего же мы еще вкусили? От духовного блага? Именно. Где же мы почерпнули сие духовное благо? Юный друг мой, выступи вперед!

Джо, к которому обращены эти слова, дергается всем телом назад, дергается вперед, дергается вправо и влево и, наконец, становится перед златоустым Чедбендом, относясь к нему с явным недоверием.

— Юный друг мой,— говорит Чедбенд,— ты для нас перл, ты для нас алмаз, ты для нас самоцвет, ты для нас драгоценность. А почему, юный друг мой?

— Не знаю я,— отвечает Джо.— Ничего я не знаю.

— Юный друг мой,— продолжает Чедбенд,— ты ничего не знаешь, потому-то ты для нас драгоценность и самоцвет. Ибо что ты такое, юный друг мой? Зверь ли ты полевой? Нет. Птица ли ты небесная? Нет. Рыба ли морская или речная? Нет. Ты отпрыск рода человеческого, юный друг мой. Отпрыск рода человеческого. О, сколь блистательный жребий быть отпрыском рода человеческого! А почему блистательный, юный друг мой? Потому, что ты можешь получать уроки мудрости; потому, что ты можешь извлечь пользу из того поучения, кое я сейчас произношу ради твоего блага; потому, что ты не палка, не палица, не порог, не пень, не плаха, не подпорка.

Быть юным отпрыском людей * —
Блаженства блещущий ручей!

Прохлаждаешься ли ты ныне в этом ручье, юный друг мой? Нет. Почему ты не прохлаждаешься ныне в этом ручье? Потому, что ты находишься в состоянии мрака; потому, что ты находишься в состоянии темноты; потому, что ты находишься в состоянии греховности; потому, что ты находишься в состоянии рабства. Юный друг мой, что есть рабство? Давайте рассмотрим сие в духе любви.

На этой угрожающей стадии поучения Джо, который, кажется, мало-помалу сходит с ума, заслоняет правым рукавом лицо и зевает во весь рот. Возмущенная миссис Снегсби выражает убеждение, что он — отродье сатаны.

— Друзья мои,— продолжает мистер Чедбенд, озирая свою паству, и его хулимый подбородок вновь расплывается складками в елейной улыбке,— надлежит мне терпеть унижения, надлежит мне терпеть испытания, надлежит мне терпеть оскорбления, надлежит мне терпеть наказания. Я оступился в прошлый день субботний, возгордившись произнесенным мною трехчасовым поучением. Ныне итог подведен правильно — мой заимодавец получил следуемое ему. О, возликуем, возликуем! О, возликуем!

Миссис Снегсби потрясена.

— Друзья мои,— говорит в заключение Чедбенд, оглядываясь кругом,— сейчас я не стану больше заниматься своим юным другом. Не хочешь ли, юный друг мой, прийти сюда завтра и, спросив у этой доброй госпожи, где меня можно застать, прослушать поучение, которое я тебе преподам; не хочешь ли также прийти, подобно жаждущей ласточке, на другой день, и на следующий за ним, и еще на следующий и приходить в течение многих приятных дней слушать поучения?

(Все это говорится с коровьей грацией.)

Джо, видимо, хочет только одного: удрать во что бы то ни стало, и потому уклончиво кивает головой. Тогда мистер Гаппи бросает ему пенни, а миссис Снегсби вызывает Гусю и приказывает ей выпроводить мальчика вон из дома. Но, прежде чем он выходит на лестницу, мистер Снегсби отдает ему объедки, взятые со стола, и мальчик уносит их, прижимая к себе.

А мистер Чедбенд, о котором хулители его говорят так: нечего удивляться, что он сколько угодно часов несет такую несусветную чепуху, но достойно удивления, что, раз имея наглость начать, он все-таки когда-нибудь умолкает,— мистер Чедбенд тоже возвращается к частной жизни и вкладывает в свое жировое предприятие небольшой капитал в виде ужина. Джо, не задерживаясь, бредет по улицам, оцепеневшим от долгих каникул, к Блекфрайерскому мосту * и там находит среди раскаленных камней закоулок, где можно присесть и закусить.

И здесь он сидит, жует и грызет, устремив глаза вверх на огромный крест, что сверкает на куполе собора св. Павла *, выше красных и фиолетовых клубов дыма. Лицо у мальчика такое, словно эта священная эмблема — самый непонятный для него предмет во всем огромном, непонятном городе; да и немудрено — ведь крест такой ярко-золотой, вознесен так высоко и так ему недоступен. Здесь Джо сидит, а солнце закатывается, а река течет стремительно, а толпы плывут мимо него двумя потоками — все движется к какой-то цели и к одному и тому же концу,— а он не тронется с места, пока его не прогонят приказом: «Проходи, не задерживайся!»

ГЛАВА XX
Новый жилец

Долгие каникулы тянутся к сессии, как ленивая река, которая очень медленно течет по равнине к морю. Точно так же тянется жизнь мистера Гаппи. Лезвие его перочинного ножа затупилось, а острие сломалось — так часто вонзает мистер Гаппи этот инструмент в свою конторку, бороздя ее во всех направлениях. Он вовсе не желает портить конторку, просто ему необходимо заняться хоть каким-нибудь делом, только непременно спокойным и не требующим слишком большого напряжения, физического или умственного. По его мнению, самое лучшее для него сейчас — это сидеть на табурете, неторопливо вращаясь вместе с ним на одной его ножке, вонзать нож в конторку и зевать.

Кенджа и Карбоя в городе нет, ученик клерк взял разрешение на право охоты и уехал к отцу, оба товарища мистера Гаппи — клерки, уже получающие жалованье,— находятся в отпуску. Честь конторы блюдут на равных началах мистер Гаппи и мистер Ричард Карстон. Но мистер Карстон на время помещен в кабинете самого Кенджа, и мистер Гаппи так на это негодует, что, ужиная вместе со своей мамашей омаром и салатом-латуком на Олд-стрит-роуд, заявляет ей в минуту откровенности со свойственным ему язвительным сарказмом, что контора, кажется, недостаточно хороша для некоторых франтов, и, знай он заранее о появлении такого франта, он велел бы ее перекрасить.

Каждого новичка, занявшего табурет в конторе Кенджа и Карбоя, мистер Гаппи подозревает в том, что тот, само собой разумеется, коварно подкапывается под него, мистера Гаппи. Он не сомневается, что каждому такому субъекту хочется его спихнуть. Если его спросить: как спихнуть, почему, когда и зачем? он только сощурит один глаз и покачает головой. Вдохновленный этими глубокомысленными соображениями, он чрезвычайно изобретательно прилагает невероятные усилия к тому, чтобы встречной интригой расстроить интригу, которой нет и в

помине, и разыгрывает сложнейшую шахматную партию, не имея противника.

Поэтому мистер Гаппи обрел источник глубокого удовлетворения в том, что новичок вечно корпит над бумагами, приобщенными к тяжбе «Джарндисы против Джарндисов»,— ведь кто-кто, а мистер Гаппи отлично знает, что ничего, кроме путаницы и неудачи, из этого не выйдет. Его удовлетворение заражает третьего их сослуживца, жизнь которого во время долгих каникул тянется в конторе Кенджа и Карбоя так же томительно, а именно — юного Смоллуида.

Был ли когда-нибудь юный Смоллуид (которого обычно зовут просто Смолл или же Цып-Уид *, шутливо выражая этим, что он еще не оперившийся цыпленок) — был ли когда-нибудь юный Смоллуид маленьким мальчиком, этот вопрос считается в Линкольнс-Инне весьма спорным. Ему еще нет пятнадцати, но он уже великий знаток юриспруденции. Его дразнят тем, что он якобы пылает страстью к одной особе, торгующей в табачной лавочке неподалеку от Канцлерской улицы, и ради нее нарушил слово, данное другой особе, с которой был помолвлен несколько лет. Это типичное дитя города — низенький, щупленький, с высохшим личиком; однако его можно заметить даже издали, так как он носит высоченный цилиндр. Сделаться таким, как Гаппи,— вот цель его честолюбивых стремлений. Он подражает мистеру Гаппи (который относится к нему покровительственно) — подражает ему в одежде, в манере говорить, в походке, словом уподобляется ему во всем. Он имеет честь пользоваться исключительным доверием мистера Гаппи и порой, когда в личной жизни мистера Гаппи возникают трудности, дает ему советы, почерпнутые из глубоких источников собственного опыта.

Мистер Гаппи все утро лежит на подоконнике, высунувшись наружу, после того как посидел на всех табуретах поочередно, но ни один из них не нашел удобным, и, стремясь освежить голову, несколько раз совал ее в несгораемый шкаф. Он дважды посылал мистера Смоллуида за шипучими напитками, а тот дважды наливал их в два конторские стакана и размешивал линейкой. Мистер Гаппи изрекает в назидание мистеру Смоллуиду следую-

щий парадокс: «Чем больше пьешь, тем больше пить хочется», затем склоняет голову на подоконник и предается безнадежному томлению.

Продолжая смотреть в окно на погруженную в тень Старую площадь Линкольнс-Инна и окидывая взором опостылевшие кирпичные стены, выбеленные известкой, мистер Гаппи вдруг замечает внизу, под аркадой, чьи-то мужественные бакенбарды, которые выставились наружу и приподнялись, повернувшись в сторону его окна. В ту же секунду в Инне раздается негромкий свист, и приглушенный голос зовет:

— Эй! Га-аппи!

— Не может быть! — восклицает мистер Гаппи, оживляясь.— Смолл! Да это Джоблинг!

Смолл тоже высовывается из окна и кивает Джоблингу.

— Откуда ты взялся? — спрашивает мистер Гаппи.

— С огородов, что под Детфордом. Невтерпеж стало. Придется завербоваться в солдаты. Слушай! Дай-ка мне в долг полкроны. Есть хочется невыносимо.

Джоблинг явно изголодался, и лицо у него такое, словно, пожив на огородах под Детфордом, он совсем увял.

— Слушай, Гаппи! Брось полкроны, если найдется. Необходимо пообедать.

— Хочешь пообедать со мной? — спрашивает мистер Гаппи, бросая монету, которую мистер Джоблинг ловко подхватывает на лету.

— А долго придется терпеть? — спрашивает Джоблинг.

— Полчаса — и того меньше. Дай только дождаться, чтобы неприятель убрался восвояси,— отвечает мистер Гаппи, мотнув головой назад в комнату.

— Какой неприятель?

— Новичок. Учится на клерка. Подождешь?

— Может, дашь мне чего-нибудь почитать для препровождения времени? — спрашивает мистер Джоблинг.

Смоллуид предлагает «Список юристов». Но мистер Джоблинг с большим жаром заявляет, что «видеть его не может».

— Когда так, бери газету,— говорит мистер Гаппи.—

Смолл снесет ее тебе. Только лучше не стой тут на виду. Сядь у нас на лестнице и читай. Тут тихо-спокойно.

Джоблинг с понимающим видом утвердительно кивает. Сметливый Смоллуид снабжает его газетой и время от времени присматривает за ним с площадки, опасаясь, как бы ему не надоело ждать и он не улепетнул преждевременно. Наконец «неприятель» отступает, и Смоллуид ведет мистера Джоблинга наверх.

— Ну, как поживаешь? — спрашивает мистер Гаппи, подавая ему руку.

— Так себе. А ты как?

Мистер Гаппи отвечает, что особенно похвалиться нечем, и мистер Джоблинг осмеливается спросить:

— А как *она?*

Мистер Гаппи воспринимает это как вольность и внушает:

— Джоблинг, в человеческой душе *есть такие* струны...

Джоблинг извиняется.

— Любые темы, только не эта! — говорит мистер Гаппи, мрачно наслаждаясь своей обидой.— Ибо *есть* струны, Джоблинг...

Мистер Джоблинг снова извиняется.

В течение этого краткого разговора деятельный Смоллуид, которому тоже предстоит принять участие в обеде, успел вывести писарским почерком на клочке бумаги: «Вернемся немедленно». Он сует это объявление в щель почтового ящика, к сведению тех, кого оно может интересовать, затем надевает цилиндр, сдвигая его набекрень под тем углом, под каким мистер Гаппи обычно сдвигает свой, и уведомляет патрона, что теперь можно удирать.

И вот все трое направляются в ближайший трактир того разряда, который завсегдатаи прозвали: «Лопай и хлопай!», и где служанка, сорокалетняя разбитная девица, как говорят, произвела впечатление на чувствительного Смоллуида, для которого, как для подмененных эльфами детей в сказках, возраст не имеет значения. Ведь этот преждевременно развившийся юноша уже овладел вековой мудростью сов. Если он когда-нибудь и лежал в люльке, то, наверное, лежал в ней, облаченный во фрак. Глаза у него, у этого Смоллуида, старые-престарые; пьет

и курит он по-обезьяньи; шея у него сдавлена тугим воротником; его не проведешь — он знает все обо всем на свете. Словом, суды Общего права и Справедливости так его воспитали, что он сделался чем-то вроде древнего, допотопного чертенка, а если теперь и живет на земле, то лишь потому, как острят в канцеляриях, что отцом его был Джон Доу, а матерью единственная женщина в семействе Роу *, что же касается первых его пеленок, то их выкроили из синего мешка для хранения документов.

Не обращая внимания на провизию, соблазнительно разложенную в витрине трактира — подмазанную белилами цветную капусту и битую птицу, корзинки с зеленым горошком, прохладные спелые огурцы и куски мяса, нарезанные для вертела, мистер Смоллуид ведет спутников за собой. Здесь его все знают и уважают. Он кушает только в своем любимом отделении, требует себе все газеты и ругает тех лысых старцев, которые читают их дольше десяти минут. Ему не подашь начатого хлебного пудинга и не предложишь куска мяса из вырезки, если это не самый лучший кусок. А насчет качества подливки он тверд как алмаз.

Зная его колдовскую силу и подчиняясь его огромной опытности, мистер Гаппи советуется с ним относительно выбора блюд для сегодняшнего банкета и, устремив на него молящий взор, в то время как служанка перечисляет яства, спрашивает:

— Что закажешь *ты,* Цып?

Цып с видом глубокого знатока заказывает «ветчинно-телячий паштет и фасоль» и, демонически подмигнув старообразным оком, добавляет:

— Да смотри, Полли, не забудь положить в паштет начинку!

Мистер Гаппи и мистер Джоблинг заказывают то же самое. Напитки — три пинты портера пополам с элем. Вскоре служанка возвращается и приносит нечто похожее на модель вавилонской башни, а на самом деле — стопку тарелок и плоских оловянных судков. Мистер Смоллуид, одобрив все, что поставлено перед ним, подмигивает ей, придав своим древним очам благостно-понимающее выражение. И вот среди беспрестанно входящих и выходящих посетителей и снующей взад и вперед прислуги, под стук

посуды, под лязг и грохот подъемника, спускающегося в кухню и поднимающего оттуда лучшие куски мяса из вырезки, под визгливые требования новых лучших кусков мяса, передаваемые вниз через переговорную трубу, под визгливые выкрикиванья цены тех лучших кусков мяса, которые уже съедены, в испарениях горячего кровяного мяса, разрезанного и неразрезанного, и в такой невыносимой жаре, что грязные ножи и скатерти, кажется, вот-вот извергнут из себя жир и пролитое пиво, триумвират юристов приступает к утолению своего аппетита.

Мистер Джоблинг застегнут плотнее, чем этого требует элегантность. Поля его цилиндра так залоснились, как если бы улитки избрали их своим любимым местом для прогулок. Та же особенность свойственна некоторым частям его сюртука, особенно швам. Вообще вид у мистера Джоблинга поблекший — как у джентльмена в стесненных обстоятельствах; даже его белокурые бакенбарды несколько пообтрепались и уныло никнут.

Аппетит у него такой ненасытный, словно все последнее время мистер Джоблинг питался отнюдь недосыта. Он так стремительно управляется со своей порцией паштета из ветчины и телятины, что одолевает ее раньше, чем его сотрапезники успели съесть половину своих, и мистер Гаппи предлагает ему заказать еще порцию.

— Спасибо, Гаппи,— говорит мистер Джоблинг,— право, не знаю, *хочется* ли мне еще.

Но когда приносят вторую порцию, он уплетает ее с величайшей охотой.

Мистер Гаппи поглядывает на него, не говоря ни слова; но вот мистер Джоблинг, наполовину опустошив вторую тарелку, перестает есть, чтобы с наслаждением отпить портера с элем из кружки (также наполненной заново), вытягивает ноги и потирает руки. Заметив, что он сияет довольством, мистер Гаппи говорит:

— Теперь ты опять стал человеком, Тони!

— Ну, не совсем еще,— возражает мистер Джоблинг.— Скажи лучше — новорожденным младенцем.

— Хочешь еще овощей? Салата? Горошка? Ранней капусты?

— Спасибо, Гаппи,— отвечает мистер Джоблинг.— Право, не знаю, *хочется* ли мне ранней капусты.



Блюдо заказывают с саркастическим наставлением (исходящим от мистера Смоллуида): «Только без слизняков, Полли!» И капусту приносят.

— Я расту, Гаппи! — говорит мистер Джоблинг, орудуя ножом и вилкой степенно, но с наслаждением.

— Рад слышать.

— Пожалуй, мне уж лет за десять перевалило,— говорит мистер Джоблинг.

Больше он ничего не говорит, пока не кончает своей работы, что ему удается сделать как раз к тому времени, когда мистер Гаппи и мистер Смоллуид кончают свою, и, таким образом, он в превосходном стиле достигает финиша, без труда обогнав двух других джентльменов на один ветчинно-телячий паштет и одну порцию капусты.

— А теперь, Смолл, что ты порекомендуешь на третье? — спрашивает мистер Гаппи.

— Пудинг с костным мозгом,— без запинки отвечает мистер Смоллуид.

— Ну и ну! — восклицает мистер Джоблинг с хитрым видом.— Вот ты как, а? Спасибо, мистер Гаппи, но я, право, не знаю, *хочется* ли мне пудинга с костным мозгом.

Приносят три пудинга, и мистер Джоблинг шутя отмечает, что быстро близится к совершеннолетию. Затем, по приказанию мистера Смоллуида, подают «три сыра-честера», а потом «три рома с водой». Счастливо добравшись до этой вершины пиршества, мистер Джоблинг кладет ноги на покрытую ковром скамью (он один занимает целую сторону отделения) и, прислонившись к стене, говорит:

— Теперь я взрослый, Гаппи. Я достиг зрелости.

— А что ты теперь думаешь,— спрашивает мистер Гаппи,— насчет... ты не стесняешься Смоллуида?

— Ничуть. Даже с удовольствием выпью за его здоровье.

— За ваше, сэр! — откликается мистер Смоллуид.

— Я хотел спросить,— продолжает мистер Гаппи,— что думаешь ты *теперь* насчет вербовки в солдаты?

— Что я думаю после обеда,— отвечает мистер Джоблинг,— это одно, дорогой Гаппи, а что я думаю до обеда — это совсем другое. Но даже после обеда я спра-

шиваю себя: что мне делать? Чем мне жить? Иль фо манжет [1], знаете ли,— объясняет мистер Джоблинг, причем произносит последнее слово так, как будто говорит об одной из принадлежностей мужского костюма.— Иль фо манжет. Это французская поговорка, а мне нужно «манжет» не меньше, чем какому-нибудь французику. Скорей даже больше.

Мистер Смоллуид твердо убежден, что «значительно больше».

— Скажи мне кто-нибудь,— продолжает Джоблинг,— да хотя бы не дальше, чем в тот день, когда мы с тобой, Гаппи, махнули в Линкольншир и поехали осматривать дом в Касл-Уолде...

— Чесни-Уолде,— поправляет его мистер Смоллуид.

— В Чесни-Уолде (благодарю моего почтенного друга за поправку). Скажи мне кто-нибудь, что я окажусь в таком отчаянном положении, в какое буквально попал теперь, я... ну, я бы его отделал,— говорит мистер Джоблинг, глотнув разбавленного водой рома с видом безнадежной покорности судьбе.— Я бы ему шею свернул!

— И все же, Тони, ты и тогда был в пиковом положении,— внушает ему мистер Гаппи.— Ты тогда в шарабане только про это и твердил.

— Гаппи, я этого не отрицаю,— говорит мистер Джоблинг.— Я действительно был в пиковом положении. Но я надеялся, что авось все сгладится.

Ох, уж это столь распространенное убеждение в том, что всякие шероховатости «сгладятся»! Не в том, что их обстрогают или отшлифуют, а в том, что они «сами сгладятся»! Так иному сумасшедшему все вещи кажутся полированными!

— Я так надеялся, что все сгладится и наладится,— говорит мистер Джоблинг, слегка заплетающимся языком выражая свои мысли, которые тоже, пожалуй, заплетаются.— Но пришлось разочароваться. Ничего не наладилось. А когда дошло до того, что кредиторы мои принялись скандалить у нас в конторе, а люди, с которыми контора имела дела, стали жаловаться на какие-то пустяки — будто я занимал у них деньги,— ну, тут и при-

---

[1] Искаженное французское il faut manger — нужно питаться.

шел конец моей службе. Да и всякой новой службе тоже,— ведь если мне завтра понадобится рекомендация, все это в нее запишут, чем доконают меня окончательно. Так что же мне с собой делать? Я скрылся во мраке неизвестности, жил скромно, на огородах; но какой толк жить скромно, когда нет денег? С тем же успехом можно было бы жить шикарно.

— Даже с бо̀льшим,— полагает мистер Смоллуид.

— Конечно. Так и живут в высшем свете; а высший свет и бакенбарды всегда были моей слабостью, и мне наплевать, если кто-нибудь об этом знает,— говорит мистер Джоблинг.— Это — возвышенная слабость, будь я проклят, сэр, возвышенная. Ну! — продолжает мистер Джоблинг, с вызывающим видом глотнув еще рома,— что же мне с собой делать, спрошу я вас, как не завербоваться в солдаты?

Мистер Гаппи, решив принять более деятельное участие в разговоре, разъясняет, что̀ именно, по его мнению, можно сделать. Он говорит серьезным и внушительным тоном человека, который еще ничем себя не уронил в жизни — разве что сделался жертвой своих нежных чувств и сердечных горестей.

— Джоблинг,— начинает мистер Гаппи,— я и наш общий друг Смоллуид...

(Мистер Смоллуид скромно вставляет: «Оба джентльмены!», после чего делает глоток.)

— Мы не раз беседовали на эту тему, с тех пор как ты...

— Скажи: получил по шеям! — с горечью восклицает мистер Джоблинг.— Скажи, Гаппи. Ведь ты именно это хотел сказать.

— Нн-е-ет! Бросил службу в Инне,— деликатно подсказывает мистер Смоллуид.

— С тех пор как ты бросил службу в Инне, Джоблинг,— говорит мистер Гаппи,— и я говорил нашему общему другу Смоллуиду об одном проекте, который на днях собирался тебе предложить. Ты знаешь Снегсби, того, что держит писчебумажную лавку?

— Знаю, что есть такой,— отвечает мистер Джоблинг.— Но он не был нашим поставщиком, и я незнаком с ним.

— А с *нами* он ведет дела, и я с ним знаком,— говорит мистер Гаппи.— Так вот, сэр! На днях мне довелось познакомиться с ним еще короче, так как непредвиденный случай привел меня к нему в дом. Сейчас незачем рассказывать об этом случае. Быть может, он имеет,— а может быть, и нет,— отношение к обстоятельствам, которые, быть может, набросили тень,— а может быть, и нет,— на мое существование.

У мистера Гаппи есть коварная привычка хвастаться своими горестями, соблазняя закадычных друзей завести разговор об упомянутых обстоятельствах, а как только друзья коснутся этой темы, накидываться на них с беспощадной суровостью, напоминая о струнах в человеческой душе; поэтому мистер Джоблинг и мистер Смоллуид обходят западню, сохраняя молчание.

— Все это может быть, а может и не быть,— повторяет мистер Гаппи.— Но не в этом дело. Достаточно тебе знать, что мистер и миссис Снегсби очень охотно сделают мне одолжение и что мистер Снегсби в горячую пору сдает много переписки на сторону. Через его руки проходит вся переписка для Талкингхорна, бывают и другие выгодные заказы. Я уверен, что, если бы нашего общего друга Смоллуида допросили на суде, он подтвердил бы это.

Мистер Смоллуид кивает и, как видно, жаждет, чтобы его привели к присяге.

— Ну-с, джентльмены присяжные,— говорит мистер Гаппи,— то бишь ну, Джоблинг, ты, может быть, скажешь, что это незавидный образ жизни. Согласен. Но это лучше, чем ничего, и лучше, чем солдатчина. Тебе необходимо переждать непогоду. Нужно время, чтобы забылись твои недавние истории. И смотри — как бы тебе не пришлось провести это время похуже, чем в работе по переписке для Снегсби.

Мистер Джоблинг хочет прервать мистера Гаппи, но проницательный Смоллуид останавливает его сухим кашлем и словами:

— Ишь ты! Говорит, как пишет,— ни дать ни взять Шекспир!

— Вопрос делится на два пункта, Джоблинг,— продолжает мистер Гаппи.— Это первый. Перехожу ко вто-

рому. Ты знаешь Крука, по прозвищу «Канцлер», проживающего на той стороне Канцлерской улицы? Да ну же, Джоблинг, ты, конечно, знаешь Крука, по кличке — «Канцлер»,— того, что живет на той стороне Канцлерской улицы,— настаивает мистер Гаппи понукающим тоном следователя, который ведет допрос.

— Я знаю его в лицо,— говорит мистер Джоблинг.

— Знаешь в лицо. Очень хорошо. А ты знаешь старушку Флайт?

— Ее все знают,— отвечает мистер Джоблинг.

— Ее все знают. Оч-чень хорошо. Так вот, с недавнего времени в число моих обязанностей входит выдача этой самой Флайт недельного денежного пособия с вычетом из него недельной квартирной платы, каковую я (согласно полученным мною инструкциям) регулярно вручаю самому Круку в присутствии Флайт. Поэтому мне пришлось завязать знакомство с Круком, и я теперь знаю, какой у него дом и какие привычки. Мне известно, что у него сдается комната. Ты мог бы ее снять задешево и жить в ней под любым именем так же спокойно, как в ста милях от города. Он не будет задавать никаких вопросов и возьмет тебя в квартиранты по одному моему слову — хоть сию секунду, если хочешь. И вот еще что я скажу тебе, Джоблинг,— продолжает мистер Гаппи, внезапно понижая голос и снова переходя на дружеский тон,— это какой-то необыкновенный старикан... вечно роется в кипах каких-то бумаг, всеми силами старается научиться читать и писать, но, кажется, без всякого успеха. Совершенно необычайный старикашка, сэр. Не знаю, пожалуй, стоило бы последить за ним немножко.

— Ты хочешь сказать...— начинает мистер Джоблинг.

— Я хочу сказать, что *даже* я не могу его раскусить,— объясняет мистер Гаппи, пожимая плечами с подобающей скромностью.— Прошу нашего общего друга Смоллуида дать показание, слышал он или нет, как я говорил, что не могу раскусить Крука?

Мистер Смоллуид дает весьма краткое показание:

— Несколько раз!

— Я кое-что понимаю в своей профессии и кое-что понимаю в жизни, Тони,— говорит мистер Гаппи,— и мне

лишь редко не удается раскусить человека в той или иной степени. Но с таким старым чудаком, как он, с таким скрытным, хитрым, замкнутым (хотя трезвым он, кажется, никогда не бывает) я в жизни не встречался. Ну-с, лет ему, должно быть, немало, а близких у него нет ни единой души, и поговаривают, будто он страшно богат; но кто бы он ни был — контрабандист, или скупщик краденого, или беспатентный содержатель ссудной кассы, или ростовщик (а я в разное время подозревал, что он занимается либо тем, либо другим), ты, может статься, сумеешь извлечь кое-какую выгоду для себя, если хорошенько его прощупаешь. Не вижу, почему бы тебе не заняться этим, если все прочие условия подходят.

Мистер Джоблинг, мистер Гаппи и мистер Смоллуид опираются локтями на стол, а подбородками на руки и устремляют глаза в потолок. Немного погодя все они выпивают, медленно откидываются назад, засовывают руки в карманы и переглядываются.

— Если бы только была у меня моя прежняя энергия, Тони! — говорит мистер Гаппи со вздохом.— Но в человеческой душе есть такие струны...

Оборвав эту грустную фразу на половине, мистер Гаппи пьет ром с водой и заканчивает свою речь передачей дела в руки Тони Джоблинга, добавив, что до конца каникул, пока в делах застой, его кошелек «в размере до трех, четырех и даже пяти фунтов, уж коли на то пошло», предоставляется в распоряжение Тони.

— Пусть никто не посмеет сказать, что Уильям Гаппи повернулся спиной к другу! — с жаром изрекает мистер Гаппи.

Последнее предложение мистера Гаппи попало прямо в точку, и взволнованный мистер Джоблинг просит:

— Гаппи, твою лапу, благодетель ты мой!

Мистер Гаппи протягивает ему руку со словами:

— Вот она, Джоблинг, друг!

— Гаппи, сколько уж лет нас с тобой водой не разольешь! — вспоминает мистер Джоблинг.

— Да, Джоблинг, что и говорить! — соглашается мистер Гаппи.

Они трясут друг другу руки, потом мистер Джоблинг говорит с чувством:

— Спасибо тебе, Гаппи, но, право, не знаю, *хочется* ли мне выпить еще стаканчик ради старого знакомства.

— Прежний жилец Крука умер в этой комнате,— роняет мистер Гаппи как бы мимоходом.

— Да неужели? — удивляется мистер Джоблинг.

— Было произведено дознание. Вынесли решение: скоропостижная смерть. Это тебя не пугает?

— Нет,— отвечает мистер Джоблинг,— это меня не пугает, хотя он прекрасно мог бы умереть где-нибудь в другом месте. Чертовски странно, что ему взбрело в голову умереть именно в *моей* комнате!

Мистер Джоблинг весьма возмущен подобной вольностью и несколько раз возвращается к этой теме, отпуская такие, например, замечания: «Ведь на свете немало мест, где можно умереть!» или «Умри я в *его* комнате, он бы не очень-то обрадовался, надо полагать!»

Как бы то ни было, соглашение уже заключено, и мистер Гаппи предлагает послать верного Смоллуида узнать, дома ли мистер Крук, ибо, если он дома, можно будет закончить дело без дальнейших проволочек. Мистер Джоблинг соглашается, а Смоллуид становится под свой высоченный цилиндр и выносит его из трактира точь-в-точь, как это обычно делает Гаппи. Вскоре он возвращается с известием, что мистер Крук дома и в открытую дверь его лавки видно, как он сидит в задней каморке и спит «как мертвый».

— Так я расплачусь, а потом пойдем повидаемся с ним,— говорит мистер Гаппи.— Смолл, сколько с нас причитается?

Мистер Смоллуид, подозвав служанку одним взмахом ресниц, выпаливает без запинки:

— Четыре ветчинно-телячьих паштета — три шиллинга; плюс четыре картофеля — три шиллинга и четыре пенса; плюс одна капуста — три шиллинга и шесть пенсов; плюс три пудинга — четыре и шесть; плюс шесть раз хлеб — пять шиллингов; плюс три сыра-честера — пять и три; плюс четыре пинты портера с элем — шесть и три; плюс четыре рома с водой — восемь и три, плюс три «на-чай» Полли — восемь и шесть. Итого восемь шиллингов шесть пенсов; вот тебе полсоверена, Полли,— сдачи восемнадцать пенсов!

Ничуть не утомленный этими сложнейшими подсчетами, мистер Смоллуид прощается с приятелями холодным кивком, а сам остается в трактире, чтобы приволокнуться за Полли, если представится случай, и прочитать свежие газеты, которые чуть ли не больше его самого,— сейчас он без цилиндра,— так что, когда он держит перед собой «Таймс», пробегая глазами газетные столбцы, кажется, будто он улегся спать и с головой укрылся одеялом.

Мистер Гаппи и мистер Джоблинг направляются в лавку старьевщика, где Крук все еще спит «как мертвый», точнее — храпит, уткнув подбородок в грудь, не слыша никаких звуков и даже не чувствуя, как его легонько трясут. На столе рядом с ним, посреди прочего хлама, стоит пустая бутылка из-под джина и стакан. Нездоровый воздух в каморке так проспиртован, что даже зеленые глаза кошки, расположившейся на полке, кажутся пьяными, когда она то открывает их, то закрывает, то поблескивает ими на посетителей.

— Эй, вставайте же! — взывает мистер Гаппи к старику, снова встряхивая его поникшее тело.— Мистер Крук! Хелло, сэр!

Но разбудить его, как видно, не легче, чем разбудить узел старого платья, пропитанный спиртом и пышущий жаром.

— Не то спит, не то пьян вдрызг — видал ты такой столбняк? — говорит мистер Гаппи.

— Если он всегда так спит,— отзывается Джоблинг, несколько встревоженный,— как бы ему когда-нибудь не пришлось заснуть навеки.

— Больше похоже на обморок, чем на сон,— говорит мистер Гаппи, снова встряхивая старика.— Хелло, ваша милость! Да его тут пятьдесят раз ограбить можно! Откройте глаза!

Они долго возятся со стариком, и он, наконец, открывает глаза, но как будто ничего не видит — даже посетителей. Он закидывает ногу на ногу, складывает руки, жует потрескавшимися губами, но кажется столь же нечувствительным ко всему окружающему, как и раньше.

— Во всяком случае, он жив,— говорит мистер Гаппи.— Как поживаете, милорд-канцлер? Я привел к вам своего приятеля по одному дельцу.

Старик сидит смирно, чмокая сухими губами, но не проявляя никаких признаков сознания. Спустя несколько минут он делает попытку встать. Приятели помогают ему, и он, пошатываясь, встает и, прислонившись к стене, смотрит на них, выпучив глаза.

— Как поживаете, мистер Крук? — повторяет мистер Гаппи, несколько растерявшись.— Как поживаете, сэр? У вас прекрасный вид, мистер Крук. Надеюсь, вы хорошо себя чувствуете?

Старик бесцельно замахивается не то на мистера Гаппи, не то в пустое пространство и, с трудом повернувшись, припадает лицом к стене. Так он стоит минуты две, прижимаясь к стене всем телом, потом ковыляет, пошатываясь, через всю лавку к наружной двери. Воздух, движение в переулке, время или все это вместе, наконец, приводит его в себя. Он возвращается довольно твердыми шагами, поправляет на голове меховую шапку и острым взглядом смотрит на посетителей.

— Ваш покорный слуга, джентльмены; я задремал! Ха! Иной раз трудновато бывает меня разбудить.

— Пожалуй, что так, сэр,— подтверждает мистер Гаппи.

— Как! Разве вы пытались меня разбудить, а? — спрашивает подозрительный Крук.

— Немножко,— объясняет мистер Гаппи.

Случайно заметив пустую бутылку, старик берет ее в руки, осматривает и медленно опрокидывает вверх дном.

— Что такое! — кричит он, словно злой кобольд в сказке *.— Кто-то здесь самовольно угостился!

— Когда мы пришли, она уже была пустая, уверяю вас,— говорит мистер Гаппи.— Вы разрешите мне снова наполнить ее для вас?

— Еще бы, конечно разрешу! — восклицает Крук в восторге.— Конечно разрешу! Нечего и говорить! Ступайте в «Солнечный герб»... это здесь близехонько... возьмите «лорд-канцлерский» джин, четырнадцать пенсов бутылка. Будьте спокойны, кого-кого, а *меня* там знают!

Он так навязчиво сует мистеру Гаппи бутылку, что этот джентльмен, согласившись выполнить поручение, по-

спешно уходит, кивнув другу, и столь же поспешно возвращается с полной бутылкой. Старик берет ее на руки, словно любимого внука, и нежно поглаживает.

— Что такое? — шепчет он, отпив из бутылки и прищурив глаза.— Да это вовсе не «лорд-канцлерский» — четырнадцать пенсов бутылка. Этот стоит дороже — восемнадцать пенсов!

— Я думал, он вам больше по вкусу,— говорит мистер Гаппи.

— Вы благородный человек, сэр,— отзывается Крук, сделав еще глоток и пахнув на приятелей своим горячим, как пламя, дыханием.— Вы прямо владетельный барон какой-то.

Пользуясь удобным моментом, мистер Гаппи представляет своего друга под первым попавшимся именем, как «мистера Уивла», и объясняет, с какой целью они пришли. Крук с бутылкой под мышкой (он никогда не бывает ни совсем пьяным, ни вполне трезвым) не спеша разглядывает предложенного ему квартиранта и как будто остается доволен им.

— Хотите посмотреть комнату, молодой человек? — говорит он.— Отличная комната! Недавно побелили. Вымыли ее мылом и содой. Ха! Стоит вдвое дороже, чем я за нее беру, не говоря уж о том, что вы можете болтать со мной когда угодно; да еще кошка в придачу — мышей ловит на славу.

Расхвалив таким образом комнату, старик ведет приятелей наверх, в каморку, которая теперь действительно чище, чем была раньше, и обставлена кое-какой подержанной мебелью, извлеченной стариком из его неисчерпаемых складов. Условие заключают быстро,— ибо «лорд-канцлер» не хочет торговаться с мистером Гаппи, который по роду своих занятий имеет отношение к Кенджу и Карбою, тяжбе «Джарндисы против Джарндисов» и другим знаменитым судебным делам,— и договариваются, что мистер Уивл переберется на следующий день. Покончив с этим, мистер Уивл и мистер Гаппи направляются в переулок Кукс-Корт, выходящий на Карситор-стрит, где мистер Гаппи представляет мистера Уивла мистеру Снегсби и (что еще важнее) добивается одобрения

и сочувствия миссис Снегсби. Затем они докладывают о своих успехах достославному Смоллуиду, который ждал их в конторе и специально для этой встречи напялил свой высоченный цилиндр, затем расстаются, причем мистер Гаппи объясняет, что охотно завершил бы угощение приятелей, сводив их на свой счет в театр, но, к сожалению, в человеческой душе есть такие струны, что это удовольствие превратится для него в горькую насмешку.

На другой день мистер Уивл, отнюдь не обремененный багажом, скромно приходит в дом Крука вечером, когда уже темнеет, и обосновывается в своем новом жилье, а два глаза в ставнях дивятся на него, когда он спит, и прямо надивиться не могут. На другое утро мистер Уивл, расторопный, но ни на что не годный молодой человек, просит у мисс Флайт иголку с ниткой, а у хозяина молоток и принимается за работу: изобретает нечто вроде занавесок, прибивает что-то вроде полок и развешивает две принадлежащие ему чайные чашки, молочник и прочую сборную посуду на нескольких гвоздиках, уподобляясь потерпевшему кораблекрушение моряку, который пытается как-то скрасить свое жалкое положение.

Но что всего дороже мистеру Уивлу из того немногого, чем он владеет (не считая белокурых бакенбард, внушающих ему такую привязанность, какую лишь бакенбарды способны пробудить в сердце мужчины),— что̀ ему всего дороже, так это избранная коллекция портретов, входящих в состав одной истинно национальной серии гравюр на меди, именуемой «Богини Альбиона *, или Галерея Звезд Британской Красоты»,— гравюр, на которых титулованные и светские дамы изображены во всем разнообразии деланных улыбок, какое только может создать искусство при содействии капитала. Этими великолепными портретами, которые были незаслуженно погребены в шляпной картонке во время его уединенной жизни на огородах, он и украшает свое помещение, а так как «Галерея Звезд Британской Красоты» одета в самые разностильные и фантастические костюмы, играет на самых разнородных музыкальных инструментах, ласкает собачек самых различных пород, делает глазки самым разнообразным пейзажам и располагается на фоне самых

разнокалиберных цветочных горшков и балюстрад, результат получается совершенно умопомрачительный.

Но что поделаешь — мистер Уивл, как в прошлом Тони Джоблинг, питает слабость к высшему свету. Взять как-нибудь вечерком в «Солнечном гербе» вчерашнюю газету и читать про избранные и блестящие метеоры, мчащиеся во всех направлениях по светским небесам,— вот что приносит ему несказанное утешение. Читать о том, что такой-то член такого-то избранного и блестящего круга совершил избранный и блестящий подвиг, присоединившись к этому кругу вчера, или предполагает совершить не менее избранный и блестящий подвиг, вознамерившись покинуть его завтра,— вот что вызывает в мистере Уивле трепет восторга. Ведь знать, как проводит время «Галерея Звезд Британской Красоты» и как она собирается его проводить, знать, какие свадьбы устраиваются в этой Галерее и какие в ней ходят слухи,— это все равно, что соприкасаться с самыми прославленными из судеб людских. Почерпнув такого рода новости из светской хроники, мистер Уивл переводит взор на портреты тех лиц, о которых он читал, и смотрит на них с таким видом, словно он знаком с оригиналами этих портретов, а они знакомы с ним.

В общем, он спокойный жилец, мастер на всякие изобретения и выдумки, вроде уже упомянутых, умеет готовить себе пищу и убирать за собой, умеет и столярничать, а когда вечерние тени ложатся на переулок, проявляет склонность к общительности. В эти часы, если только его не навещает мистер Гаппи или другой похожий на него юнец, всунутый в темный цилиндр, мистер Уивл выходит из своей убогой каморки,— где находится унаследованная им деревянная пустыня письменного стола, испещренная пятнами от чернильного дождя,— и беседует с Круком или «запросто болтает», как хвалебно отзываются в переулке, с каждым, кто пожелает завязать с ним разговор. Поэтому миссис Пайпер, которая играет в переулке ведущую роль, не может не сделать двух замечаний, к сведению миссис Перкинс: во-первых, если ее Джонни будет носить бакенбарды, ей хотелось бы, чтобы они были точь-в-точь такими, как бакенбарды

нового жильца, и, во-вторых, «попомните мои слова, почтеннейшая миссис Перкинс, и не удивляйтесь, дорогая, если в конце концов деньги старого Крука достанутся этому молодому человеку!»

ГЛАВА XXI
Семейство Смоллуидов

В довольно неблагоустроенной и отнюдь не благоуханной части города, хотя одна из ее возвышенностей и носит название «Приятный холм» *, карлик Смоллуид, нареченный при крещении Бартоломью, а в лоне семьи именуемый Бартом, проводит те немногие часы, которые у него не отнимает служба и все связанное с нею. Он живет на узкой уличке, всегда безлюдной, темной, мрачной и, словно склеп, со всех сторон плотно обложенной кирпичами; а ведь тут когда-то росли леса, но от них сохранился лишь один пень, запах которого почти так же свеж и не испорчен, как аромат юности Смоллуида.

Несколько поколений Смоллуидов произвели на свет лишь одного-единственного младенца. Правда, у них рождались маленькие старички и старушки, но детей не было, пока ныне здравствующая бабушка мистера Смоллуида не выжила из ума и не впала в детство. И бабушка мистера Смоллуида бесспорно украшает семейство такими, например, младенческими свойствами, как полное отсутствие наблюдательности, памяти, разума, интереса к чему бы то ни было, а также привычкой то и дело засыпать у камина и валиться в огонь.

Дедушка мистера Смоллуида тоже входит в состав семьи. Он совсем не владеет своими нижними конечностями и почти не владеет верхними, но разум у него не помутился. Старик не хуже чем в прежние годы помнит первые четыре правила арифметики и небольшое количество самых элементарных сведений. Что касается возвышенных мыслей, благоговения, восхищения и прочих подобных чувств, о наличии которых френологи судят по буграм и впадинам на черепе, то подобные мысли и чувства у него, очевидно, как были, так и остались только в

буграх и впадинах, но глубже не проникли. Все, что приходит в голову дедушке мистера Смоллуида, является туда в виде личинки и навсегда остается личинкой. За всю свою жизнь он не вырастил ни одной бабочки.

Родитель этого приятного дедушки, обитающего в окрестностях «Приятного холма», был из породы тех толстокожих, двуногих, деньгососущих пауков, которые ткут паутину, чтобы ловить в нее неосторожных мух, и прячутся в норы, пока мухи не очутятся в западне. Бог этого старого язычника назывался Сложным Процентом. Прадедушка Смоллуид жил для него, обвенчался с ним, умер из-за него. Как-то раз он потерпел крупный убыток в одном чистеньком дельце, затеянном с тем расчетом, чтоб убыток потерпели другие, и тут в прадедушке Смоллуиде что-то надорвалось,— что-то необходимое для его существования, а значит, не сердце,— и его жизненный путь окончился. Он обучался в благотворительной школе, где прошел составленный по методу вопросов и ответов полный курс истории древних народов — аморитян и хититов, тем не менее репутация у него была прескверная, и его нередко приводили в пример, когда желали доказать, что образование не всем идет впрок.

Дух его прославился в сыне, которого он всегда учил, что «в жизнь надо вступать рано», и двенадцати лет от роду поместил клерком в контору одного пройдохи-ростовщика. Там этот молодой джентльмен развил свой ум, узкий и беспокойный, и, обладая наследственными талантами, мало-помалу возвысился до профессии дисконтера, то есть занялся учетом векселей. Рано вступив в жизнь и поздно в брак,— по примеру своего отца,— он произвел на свет сына, тоже одаренного узким и беспокойным умом, а тот в свою очередь, рано вступив в жизнь и поздно — в брак, сделался отцом двух близнецов: Бартоломью и Джудит Смоллуид. И все время, пока продолжался медленный рост этого родового древа, представители дома Смоллуидов, неизменно вступавшие в жизнь рано, а в брак поздно, развивали свои практические способности, отказываясь от всех решительно увеселений, отвергая все детские книги, волшебные сказки, легенды и басни и клеймя всякого рода легкомыслие. Это привело к отрадному последствию: в их доме перестали рождаться

дети, а те перезрелые маленькие мужчины и женщины, которые в нем появлялись на свет, были похожи на старых обезьян, и их внутренний мир производил гнетущее впечатление.

Темная тесная гостиная Смоллуидов расположена в полуподвале, мрачна, угрюма, украшена только грубейшей суконной скатертью и уродливейшим чайным подносом из листового железа, так что стиль ее обстановки аллегорически и довольно точно отображает душу дедушки Смоллуида; и сейчас в этой гостиной, погруженные в черные, со спинками в виде ниш, набитые волосом кресла, что стоят по обеим сторонам камина, дряхлые мистер и миссис Смоллуид проводят часы своего заката. В камине стоят два тагана для котелков и чайников, за которыми обычно следит дедушка Смоллуид, а над ними из-под каминной полки выступает что-то вроде латунной виселицы, за которой он наблюдает, когда на ней жарится мясо. В кресле почтенного мистера Смоллуида под сиденьем устроен ящик, охраняемый его журавлиными ногами и, по слухам, содержащий баснословное богатство. Под рукой у старца лежит подушка, которой его заботливо снабжают, чтобы у него было чем швырнуть в почтенную спутницу его уважаемой старости всякий раз, как она заговорит о деньгах, ибо эта тема особенно сильно задевает его чувствительность.

— Где же Барт? — спрашивает дедушка Смоллуид у Джуди, которой Барт приходится братом-близнецом.

— Еще не пришел,— отвечает Джуди.

— Но ведь пора чай пить?

— Нет еще.

— А сколько же времени осталось, по-твоему?

— Десять минут.

— Что?

— Десять минут,— орет Джуди.

— Хо! — произносит дедушка Смоллуид.— Десять минут.

Бабушка Смоллуид, которая все время что-то бормотала и трясла головой, уставившись на таганы, слышит, что назвали число, и, связав его с деньгами, кричит, как отвратительный, старый, наголо ощипанный попугай:

— Десять десятифунтовых бумажек!

Дедушка Смоллуид незамедлительно швыряет в нее подушкой.

— Замолчи, черт тебя подери! — кричит славный старикан.

Это метательное движение влечет за собой два последствия. Брошенная подушка вдавливает череп миссис Смоллуид в мягкую боковую стенку ее кресла, и когда внучка извлекает бабушку на свет божий, бабушкин чепец представляет собой совершенно непристойное зрелище; что касается мистера Смоллуида, то, потратив на бросок все силы, он валится назад в *своем* кресле, как сломанная марионетка. В подобные минуты достойный пожилой джентльмен обычно напоминает мешок тряпья с черной ермолкой на макушке и почти не подает признаков жизни, пока внучка не произведет над ним двух операций,— не встряхнет его, как огромную бутыль, и не взобьет, как огромный валик, который кладут на кровать, под подушку. После применения этих средств у него появляются некоторые признаки шеи, и тогда он и спутница заката его жизни, вернувшись в прежнее состояние, снова сидят в своих креслах-нишах друг против друга, как два часовых, давно позабытых на посту Черным Разводящим — Смертью *.

Джуди, их внучка,— достойная союзница этой четы. Она столь неоспоримо является сестрой мистера Смоллуида-младшего, что, если бы их обоих смешать, из полученного теста не удалось бы вылепить юношу или девушку нормального размера; кроме того, она представляет собой столь отменный образец упомянутого фамильного сходства Смоллуидов с обезьяньим племенем, что, надев платьице с блестками и шапочку, могла бы гулять по плоской крышке шарманки, не вызывая слишком большого удивления и не считаясь из ряда вон выходящим экземпляром. Впрочем, сейчас она одета в простое платье из коричневой ткани.

У Джуди никогда не было куклы, она никогда не слышала о Золушке, никогда не играла ни в какие игры. Раз или два, лет десяти от роду, она случайно попадала в детское общество, но дети не могли поладить с Джуди, а Джуди не могла поладить с детьми. Она казалась им существом какого-то другого вида, и в них это вызывало

инстинктивное отвращение к ней, а в ней — отвращение к ним. Вряд ли Джуди умеет смеяться. Скорей всего не умеет — слишком редко она слышала смех. А уж о девичьем смехе она безусловно не имеет ни малейшего понятия. Попробуй она хоть раз рассмеяться по-девичьи, ей помешали бы зубы,— ведь и смеясь, она бессознательно подражала бы безобразным беззубым старикам, как подражает им всегда, чтобы она ни чувствовала. Такова Джуди.

А ее брат-близнец никогда в жизни не запускал волчка. О Джеке, истребителе великанов *, или о Синдбаде-Мореходе * он знает не больше, чем о жителях звезд. Он так же мало способен играть в лягушку-скакушку или крикет *, как превратиться в лягушку или крикетный мяч. Но он все-таки ушел несколько дальше своей сестры, так как в узком мире его опыта приоткрылось окно на более обширные области, лежащие в пределах кругозора мистера Гаппи. Отсюда его восхищение этим ослепительным чародеем и желание соревноваться с ним.

Со стуком и звоном, громким, как звуки гонга, Джуди ставит на стол один из своих железных чайных подносов и расставляет чашки и блюдца. Хлеб она кладет в корзинку из железной проволоки, а масло (крошечный кусочек) на оловянную тарелочку. Дедушка Смоллуид, пристально следя за тем, как Джуди разливает чай, спрашивает у нее, где девчонка.

— Какая? Чарли, что ли? — отзывается Джуди.

— Как? — переспрашивает дедушка Смоллуид.

— Вы про Чарли спрашиваете?

Это задевает какую-то пружину в бабушке Смоллуид, и, по привычке ухмыльнувшись таганам, она разражается неистовым воплем:

— За море! Чарли за море *, Чарли за море, за море к Чарли, Чарли за море, за море к Чарли!

Вопит она с величайшей страстностью. Дедушка смотрит на подушку, но чувствует, что еще не совсем оправился после своего давешнего подвига.

— Ну да, про Чарли, если ее так зовут,— отвечает старик, когда наступает тишина.— Больно много она жрет. Лучше бы нанимать ее на своих харчах.

Джуди подмигивает, точь-в-точь как ее брат, кивает

головой и складывает губы для слова «нет», но не произносит его вслух.

— Нет? — переспрашивает старик.— Почему?

— Она тогда запросит шесть пенсов в день, а нам ее прокорм дешевле обходится.

— Правда?

Джуди отвечает весьма многозначительным кивком, очень осторожно намазывает масло на хлеб, так, чтобы не намазать лишнего, и, разрезав хлеб на ломтики, кричит:

— Эй, Чарли, где ты?

Робко повинуясь этому зову, появляется маленькая девочка в жестком переднике и огромной шляпе, с половой щеткой в мокрых, покрытых мыльной пеной руках и, подойдя, приседает.

— Что ты сейчас делаешь? — спрашивает Джуди, по-старушечьи набрасываясь на нее, словно злющая старая ведьма.

— Убираю заднюю комнату наверху, мисс,— отвечает Чарли.

— Смотри работай хорошенько, да не прохлаждайся. У меня лодырничать не удастся. Поторапливайся! Ступай! — кричит Джуди, топнув ногой.— С вами, девчонками, столько беспокойства, что вы и половины его не стоите.

Суровая матрона снова принимается за исполнение своих обязанностей — скупо намазывает масло, режет хлеб,— но вот на нее падает тень ее брата, заглянувшего в окно. Джуди с ножом и хлебом в руках открывает ему входную дверь.

— А-а, Барт! — говорит дедушка Смоллуид.— Пришел, а?

— Пришел,— отвечает Барт.

— Опять проводил время с приятелем, Барт?

Смолл кивает.

— Обедал на его счет, Барт?

Смолл опять кивает.

— Так и надо. Пользуйся чем только можешь на его счет, но пусть его глупый пример послужит тебе предостережением. Вот на что нужен такой приятель... только на то он и нужен,— изрекает почтенный мудрец.

Внук, не выслушав этого доброго наставления с должной почтительностью, все же удостаивает деда молчаливым ответом, еле заметно подмигнув и наклонив голову, а потом садится за чайный стол. Все четыре старческих лица парят над чайными чашками, словно компания страшных херувимов, причем миссис Смоллуид беспрестанно вертит головой и болтает с таганами, а мистера Смоллуида приходится то и дело встряхивать, как взбалтывают огромную черную склянку со слабительной микстурой.

— Да, да,— говорит добрый старец, продолжая мудрое поучение.— То же самое посоветовал бы тебе твой отец, Барт. Не пришлось тебе видеть своего отца. А жаль. Он был весь в меня.

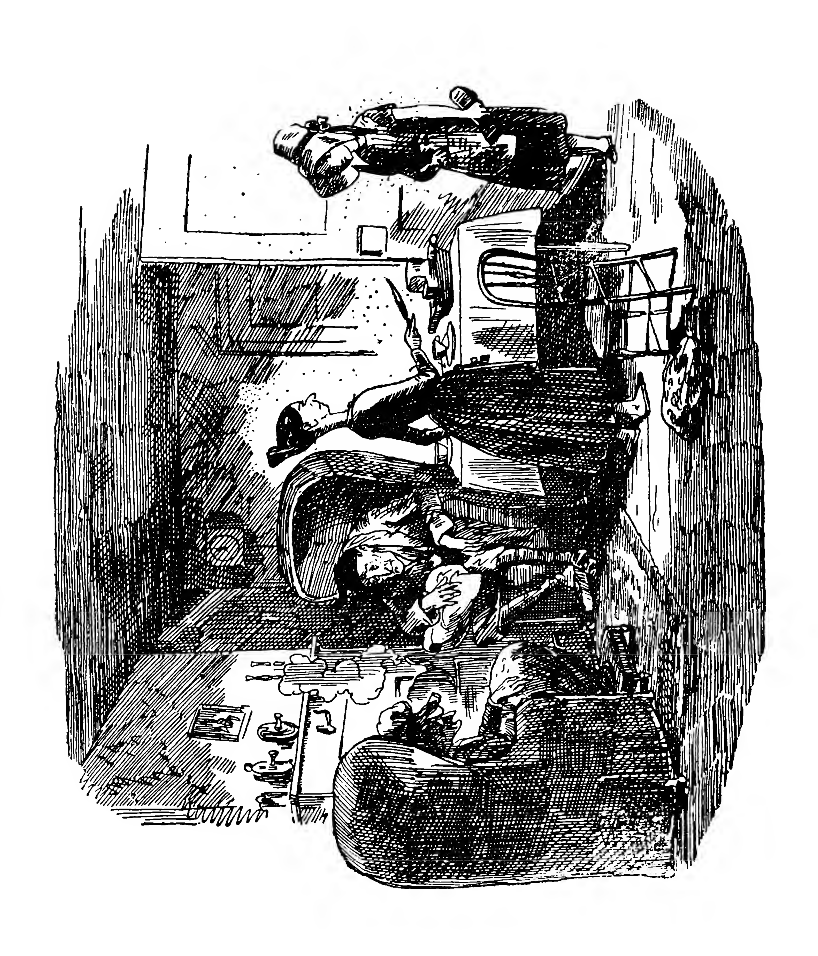
Значит ли это, что на отца Барта было очень приятно смотреть,— неясно.

— Он был весь в меня, считать умел мастерски,— повторяет старец, сложив пополам ломоть хлеба с маслом у себя на коленях.— А умер он лет... пожалуй, уже десятка полтора прошло.

Миссис Смоллуид, повинуясь своему инстинкту, взвизгивает:

— Полторы тысячи фунтов! Полторы тысячи фунтов в черной шкатулке, полторы тысячи фунтов заперты, полторы тысячи фунтов убраны и припрятаны!

Достойный ее супруг, отложив в сторону хлеб с маслом, немедленно запускает в нее подушкой, припечатывая супругу к боковой стенке ее кресла, и, обессиленный, откидывается на спинку своего кресла. Теперь, то есть после того, как он обратился к миссис Смоллуид с такого рода увещеванием, он производит необычайно внушительное, но не вполне благоприятное впечатление, во-первых, потому, что от сделанного усилия черная его ермолка съехала на один глаз, придав ему вид распутного беса; во-вторых, потому, что он бормочет яростные ругательства по адресу миссис Смоллуид; и, в-третьих, потому, что в этом контрасте между его сильным духом и бессильным телом угадываешь злобу старого душегуба, который наделал бы елико возможно больше зла, если бы только мог. Однако зрелище это столь хорошо знакомо семейному кругу Смоллуидов, что ничуть не привлекает к себе



внимания. В таких случаях старца просто встряхивают и взбивают, словно он набит пером или пухом; подушку водворяют на ее обычное место рядом с ним, а старуху, чепец которой иногда приводят в порядок, а иногда нет, снова усаживают в кресло, где она сидит, готовая к тому, что ее опять повалят как кеглю.

На сей раз прошло некоторое время, прежде чем престарелый джентльмен почувствовал себя достаточно остывшим, чтобы продолжать прерванную речь; но, начав ее, он и тут примешивает к этой речи назидательные вставки, обращенные к своей выжившей из ума подруге жизни, которая ни с кем в мире не общается, если не считать таганов. Вот примерно что он говорит:

— Поживи твой отец подольше, Барт, он нажил бы кучу денег — болтунья зловредная! — но как раз, когда он начал возводить здание, основу которого закладывал много лет,— сорока ты беспутная, галка, попугаиха, что ты там мелешь? — он заболел и умер от лихорадки, причем до последнего издыхания оставался бережливым человеком, ничего лишнего себе не позволял, а только и думал что о делах,— кошкой бы в тебя швырнуть, а не подушкой, да и швырну, раз уж ты такая несусветная дура! — а твоя мать — благоразумная женщина, сухая, как щепка, зачахла, истлела, как трут, после того как родила тебя и Джуди. Ах ты старая свинья! Чертова свинья! Свиная башка!

Джуди, ничуть не интересуясь тем, о чем она не раз слышала, сливает в полоскательницу недопитый чай из чашек, блюдец и чайника на ужин маленькой поденщице. Затем она ссыпает в железную хлебную корзинку все те крошки и обгрызанные корки хлеба, которые уцелели, несмотря на строгую экономию, царящую в доме.

— Мы с твоим отцом были компаньонами, Барт,— продолжает старик,— и когда я скончаюсь, вам с Джуди достанется все, что у меня есть. Повезло вам, что оба вы рано вступили в жизнь — Джуди пошла по цветочной части, а ты по судебной. Наследство-то вам и тронуть не придется. Вы и без него заработаете себе на жизнь да еще приложите к нему сколько-нибудь. Когда я скончаюсь, Джуди опять примется за цветочное дело, а ты по-прежнему будешь заниматься судебным.

Поглядеть на Джуди, можно подумать, что она имеет дело скорее с шипами, чем с цветами; но она действительно научилась ремеслу и тайнам изготовления искусственных цветов. Когда же почтенный дед Джуди и ее братца говорил о своей будущей кончине, внимательный наблюдатель, быть может, заметил бы в глазах внуков довольно нетерпеливое желание узнать, когда же, наконец, он скончается, и смешанное с затаенной обидой убеждение, что пора бы уж ему покончить счеты с жизнью.

— Ну, если все наелись,— говорит Джуди, закончив свои приготовления,— я позову сюда девчонку пить чай. Позволь ей только пить одной на кухне — этому конца не будет.

Итак, Чарли вызвана в гостиную и под жестоким обстрелом хозяйских взглядов садится хлебать чай из полоскательницы и жевать объедки хлеба с маслом, напоминающие друидические развалины *. Занятая бдительным надзором за этой молодой особой, Джуди Смоллуид приняла вид существа поистине геологического возраста, родившегося в отдаленнейшую эпоху. Достойна удивления ее способность то и дело налетать и накидываться на девочку по всякому поводу и без всякого, зря и не зря, ибо в искусстве помыкать служанками Джуди достигла такого совершенства, какого лишь редко достигают самые старые и опытные мастерицы этого дела.

— Нечего день-деньской глазеть по сторонам,— визжит, тряся головой и топая ногой, Джуди, успев поймать взгляд девочки, измерявший глубину чая в полоскательнице,— ешь скорей да принимайся за работу.

— Слушаю, мисс,— говорит Чарли.

— Нечего твердить «слушаю»,— кричит мисс Смоллуид,— я вас, девчонок, насквозь вижу! Делай, что говорят, без лишних слов, может я тогда тебе и поверю.

В доказательство своей покорности Чарли делает большой глоток чаю и так спешит управиться с друидическими развалинами хлеба, что мисс Смоллуид приказывает ей не объедаться, подчеркивая, что в этом отношении «вы, девчонки, прямо противные». В дальнейшем Чарли, пожалуй, было бы еще труднее приспособиться ко

взглядам Джуди на вопрос о девчонках вообще, но тут раздается стук в дверь.

— Посмотри, кто пришел, да не жуй, когда будешь отпирать! — кричит Джуди.

Как только предмет ее неусыпных забот убегает, чтобы открыть дверь, мисс Смоллуид пользуется возможностью убрать остатки хлеба с маслом и швырнуть две-три грязных чашки в чайное мелководье полоскательницы в знак того, что она считает еду и питье оконченными.

— Ну? Кто там и чего ему нужно? — спрашивает раздражительная Джуди.

Оказывается, это некий «мистер Джордж». Без дальнейших докладов и церемоний мистер Джордж входит в комнату.

— Ого! — говорит мистер Джордж.— Жарковато здесь у вас. Неужто вы и летом камин топите, а? Что ж! Пожалуй, вам не худо заранее приучиться к огоньку.

Последнее суждение мистер Джордж бормочет себе под нос, кивая дедушке Смоллуиду.

— Хо! Это вы! — восклицает старик.— Как дела? Как дела?

— Помаленьку,— отвечает мистер Джордж, усаживаясь на стул.— Я уже имел честь познакомиться с вашей внучкой; готов служить вам, мисс.

— А это мой внук,— говорит дедушка Смоллуид.— Его вы еще не видели. Он пошел по судебной части и дома бывает редко.

— Готов служить и ему! Он похож на сестру. Очень похож на сестру. *Чертовски* похож на сестру,— говорит мистер Джордж, делая сильное и не вполне лестное ударение на этом наречии.

— А вам как живется, мистер Джордж? — спрашивает дедушка Смоллуид, медленно потирая ноги.

— Да по-прежнему. Вроде как футбольному мячу.

Мистер Джордж — смуглый и загорелый мужчина лет пятидесяти, хорошо сложенный и красивый, с вьющимися темными волосами, живыми глазами и широкой грудью. Его мускулистые, сильные руки, такие же загорелые, как и лицо, поработали, должно быть, не мало. Бросается в глаза его странная манера садиться на самый краешек стула, словно он с давних пор привык оставлять у себя

за спиной место для запасной одежды или снаряжения, которого теперь никогда не носит. И походка у него ровная и твердая — к ней очень пошли бы бряцанье тяжелой сабли и громкий звон шпор. Теперь он гладко выбрит, но губы складывает так, словно много лет носил пышные усы; об этом говорит и его привычка время от времени трогать верхнюю губу ладонью широкой смуглой руки. В общем, можно догадаться, что мистер Джордж — отставной кавалерист.

Трудно представить себе большую противоположность, чем мистер Джордж, с одной стороны, и члены семейства Смоллуид — с другой. Вряд ли случалось хоть одному кавалеристу на свете квартировать у людей, столь непохожих на него. Рядом с ними он точно палаш рядом с устричным ножичком. Его мускулистая фигура — и их чахлые тельца; его широкие движения, которым нужно как можно больше свободного пространства,— и их напряженные ужимки; его звучная речь — и их скрипучие, тонкие голоса — все это никак не вяжется одно с другим, представляя чрезвычайно резкий и странный контраст. Когда он сидит в середине мрачной гостиной, слегка наклонившись вперед, уперев руки в бока и расставив локти, кажется, будто сто̀ит ему остаться здесь подольше, и он поглотит все семейство и весь четырехкомнатный дом, включая выходящую во двор кухоньку и прочее.

— Вы трете себе ноги, чтобы их оживить? — спрашивает он дедушку Смоллуида, окинув взглядом комнату.

— Да так, знаете ли, мистер Джордж, отчасти по привычке, и... да... отчасти это помогает кровообращению,— отвечает тот.

— Кро-во-о-бра-щению! — повторяет мистер Джордж, складывая руки на груди и как будто становясь вдвое шире.— С этим у вас дело плохо, должно быть.

— Что и говорить, мистер Джордж, стар стал,— соглашается дедушка Смоллуид.— Но для своих лет я еще крепкий. Я старше *ее,*— он кивает на жену,— а видите, какая она! Ах ты трещотка зловредная! — снова вспыхивает в нем ярость.

— Несчастная старушенция! — говорит мистер Джордж, повернувшись в сторону миссис Смоллуид.— Не надо ругать бабушку. Поглядите на нее: чепчик набок

съехал — вот-вот с головы свалится; волосы спутались. Ну-ка, мамаша, сядьте-ка попрямее! Вот так лучше. Совсем молодцом!.. Вспомните о своей матери, мистер Смоллуид,— говорит мистер Джордж, усадив как следует старуху и возвращаясь на место,— если вам мало, что эта женщина ваша жена.

— А вы сами, конечно, были примерным сыном, мистер Джордж? — язвит старик, косясь на него.

— Да нет. Я примерным не был,— отвечает мистер Джордж, заливаясь густым румянцем.

— Это меня удивляет.

— Меня тоже. А мне следовало быть хорошим сыном, да, помнится, я и хотел этого. Но не вышло. Да, я был чертовски плохим сыном, и родные не могут мной похвалиться.

— Поразительно! — восклицает старик.

— Но теперь чем меньше об этом говорить, тем лучше,— продолжает мистер Джордж.— Приступим к делу! Помните наше условие? Всякий раз, как я плачу проценты за два месяца, вы угощаете меня трубкой. Не беспокойтесь! Все в порядке. Бояться вам нечего — можете подать мне трубку. Вот новый вексель, а вот деньги — проценты за два месяца; принес полностью, хоть и чертовски трудно скопить такую сумму, когда занимаешься тем, чем занимаюсь я.

Мистер Джордж сидит, скрестив руки на груди и словно поглощая всю гостиную вместе со всем семейством, а дедушка Смоллуид с помощью Джуди отпирает конторку и достает два черных кожаных бумажника; в один из них он кладет только что полученный документ, из другого вынимает другой такой же документ и передает его мистеру Джорджу, который скручивает его, чтобы потом раскурить им трубку. Прежде чем выпустить один документ из его кожаной тюрьмы и заключить в нее другой, старик, надев очки, проверяет каждую букву и каждый знак препинания в обоих, трижды пересчитывает деньги, требует, чтобы Джуди не менее двух раз повторила каждое произнесенное ею слово, и, весь дрожа, говорит и действует так медлительно, что эта операция отнимает уйму времени. Только после того как она закончена вполне, старик, наконец, отрывает жадные

глаза и пальцы от бумаг и денег и отвечает на последнее замечание мистера Джорджа следующими словами:

— Бояться набить трубку? Мы вовсе не так скупы, сэр. Джуди, сейчас же подай трубку и стакан холодного грога мистеру Джорджу.

Игривые близнецы все это время смотрели прямо перед собой, если не считать той минуты, когда внимание их было приковано к черным кожаным бумажникам; теперь же оба они удаляются, полные презрения к посетителю и бросая его на произвол старика, подобно тому как удирают два медвежонка, оставив путешественника в лапах папаши-медведя.

— Так, значит, вы тут и сидите целый день? — говорит мистер Джордж, скрестив руки на груди.

— Именно, именно,— кивает старик.

— И ничем не занимаетесь?

— Присматриваю за камином, чтоб огонь не погас, чайник не выкипел, жаркое не пережарилось...

— Когда оно есть,— вставляет мистер Джордж весьма многозначительным тоном.

— Вот именно. Когда оно есть.

— Неужто вы ничего не читаете, не просите, чтобы вам почитали вслух?

Старик качает головой с жестким, коварным торжеством.

— Нет, нет. В нашем семействе охотников до чтения не было. Читать — только время терять. Чтением денег не заработаешь. Ни к чему. Бесполезное занятие. Нет, нет!

— Не знаешь, кому из вас двоих лучше живется,— говорит посетитель так тихо, что глуховатому старику трудно расслышать эти слова, и переводит глаза с него на старуху.— Послушайте! — произносит он громко.

— Слушаю.

— А ведь вы, наверное, распродадите мое имущество, если я хоть на день опоздаю внести проценты,— говорит мистер Джордж.

— Любезный друг мой! — восклицает дедушка Смоллуид, раскрыв объятия.— Никогда, никогда, любезный друг мой! Но мой приятель в Сити — тот, кого я упросил одолжить вам деньги,— *он,* пожалуй, на это способен!

— Ага, значит, вы не можете за него поручиться? —

спрашивает мистер Джордж и едва слышно заканчивает свой вопрос словами: «Подлый старый лжец!»

— Любезный друг мой, ведь на него положиться нельзя. Я бы не решился ему довериться. Он требует, чтобы соглашение выполнялось неукоснительно, любезный друг мой.

— Требует, черт бы его побрал,— говорит мистер Джордж.

Чарли приносит поднос с трубкой, маленькой пачкой табаку и грогом, и мистер Джордж спрашивает ее:

— А ты что тут делаешь? Больно уж ты непохожа на здешних обитателей.

— Я хожу к ним на работу, сэр,— отвечает Чарли.

Осторожно сняв с девочки шляпу, кавалерист (если только он действительно служит или служил в кавалерии) гладит Чарли по головке, едва прикасаясь к ней сильной рукой.

— Ты украшаешь этот дом — придаешь ему здоровья. А то ведь тут не хватает молодости, как не хватает свежего воздуха.

Он отпускает ее, закуривает трубку и пьет за здоровье «приятеля мистера Смоллуида в Сити», каковой представляет собою единственную выдумку, созданную воображением уважаемого старого джентльмена.

— Значит, по-вашему, он способен жестоко прижать меня, а?

— По-моему, способен... боюсь, что так. Я знаю, что так он уже поступал раз двадцать,— опрометчиво говорит дедушка Смоллуид.

Опрометчиво потому, что его оцепеневшая дражайшая половина, некоторое время дремавшая у огня, мгновенно встрепенулась и затараторила:

— Двадцать тысяч фунтов, двадцать двадцатифунтовых бумажек в денежной шкатулке, двадцать гиней, двадцать миллионов по двадцати процентов, двадцать...

Но тут ее внезапно прерывает летящая подушка, которую посетитель, ошарашенный новизной этого своеобразного эксперимента, ловит в тот самый миг, когда она, как всегда, уже чуть было не придавила старуху.

— Дура зловредная! Скорпион... зловредный скорпион! Жаба разомлевшая! Трещотка, болтунья, ведьма на

помеле, сжечь тебя давно пора! — задыхается старик, распростертый в кресле.— Любезный друг, встряхните меня немножко!

Изумленный мистер Джордж переводит глаза с одного на другую, а выслушав просьбу, хватает своего почтенного знакомца за шиворот и легко, словно куклу, сажает его прямо, раздумывая, по-видимому: «Уж не вытрясти ли из старца всякую возможность швыряться подушками и не стряхнуть ли его в могилу?» Поборов искушение, он все же так трясет старика, что голова у того мотается, как у балаганного арлекина, потом ловко сажает его в кресло и столь резким движением поправляет на нем ермолку, что старик после этого добрую минуту моргает глазами.

— О господи! — вздыхает мистер Смоллуид.— Довольно! Благодарю вас, любезный друг, довольно. Ох, боже мой, не продохнуть! О господи!

Мистер Смоллуид бормочет все это, явно побаиваясь своего любезного друга, который все еще маячит перед ним и кажется ему еще более крупным, чем раньше.

Однако устрашающее видение постепенно оседает на свой стул и глубоко затягивается табачным дымом, утешая себя следующими философскими размышлениями вслух:

— Вы, пожалуй, правы, что соблюдаете условие со своим приятелем в Сити, почтенный,— ведь его имя начинается с буквы «Ч».

— Вы что-то сказали, мистер Джордж? — спрашивает старик.

Кавалерист, мотнув головой, наклоняется вперед, держа трубку в правой руке, и, облокотившись на правое колено, другую руку кладет на левое, по-военному отставив левый локоть, затем снова подносит трубку ко рту. Покуривая, он серьезно и внимательно смотрит на мистера Смоллуида, время от времени разгоняя клубы дыма, чтобы лучше видеть старика.

— Мне думается,— говорит он, чуть меняя позу, чтобы плавным округлым движением поднести стакан к губам,— что я единственный из живых людей (да и мертвых тоже), кому удалось заставить *вас* потратить деньги на трубку.

— Пожалуй! — соглашается старик.— Сказать правду, я никого не приглашаю в гости, мистер Джордж, и никого не угощаю. Не могу себе этого позволить. Но раз уж вы, хоть и вежливо, настояли на трубке...

— Дело не в том, сколько она стоит,— это мелочь. Просто мне пришла блажь вытянуть из вас хоть это. Получить хоть что-нибудь за свои деньги.

— Ха! Вы предусмотрительны, сэр, вы предусмотрительны! — восклицает дедушка Смоллуид, потирая ноги.

— Очень. И всегда был.— Пых! — Вот вам неоспоримое доказательство моей предусмотрительности,— я нашел дорогу сюда.— Пых! — И еще одно — я сделался тем, кем являюсь теперь.— Пых! — Я славлюсь своей предусмотрительностью,— говорит мистер Джордж, спокойно продолжая курить.— Она-то меня и вывела в люди.

— Не унывайте, сэр. Вы еще можете выйти в люди.

Мистер Джордж смеется и делает глоток.

— Может быть, у вас есть родственники, которые согласятся уплатить этот должок,— спрашивает дедушка Смоллуид, и в глазах его зажигаются огоньки,— а может, среди них найдутся два-три кредитоспособных человека, которые поручатся за вас, так, чтобы я мог уговорить своего приятеля в Сити дать вам новый заем? Мой приятель в Сити удовольствуется двумя кредитоспособными поручителями. Неужели у вас нет таких родственников, мистер Джордж?

Продолжая курить, мистер Джордж отвечает на это с невозмутимым видом:

— Ежели бы они и были, я все равно не стал бы их беспокоить. В юности я и так причинил немало беспокойства своей родне. *Может быть,* это и хорошо, когда блудный сын, в лучшие свои годы только прожигавший жизнь, наконец раскаивается, возвращается к порядочным людям, которые не могли им гордиться, и живет на их счет; но это не в моем духе. Если уж ты ушел из дому, то, по-моему, лучший вид покаяния — держаться подальше от своих.

— Но естественная привязанность, мистер Джордж? — возражает дедушка Смоллуид.

— К двум кредитоспособным поручителям, а? — говорит мистер Джордж, покачивая головой и спокойно покуривая.— Нет. Это тоже не в моем духе.

Дедушка Смоллуид, после того как его в последний раз встряхнули, мало-помалу соскальзывал с кресла, а теперь превратился в узел тряпья, из которого раздается голос, зовущий Джуди. Эта гурия появляется, привычно встряхивает его, и старец приказывает ей остаться в комнате, ибо он, по-видимому, остерегается докучать гостю просьбами о помощи.

— Да! — начинает приведенный в порядок дедушка Смоллуид.— Если бы вам удалось разыскать капитана, мистер Джордж,— это бы вас поставило на ноги. Помните, как вы в первый раз пришли сюда, прочитав наши объявления в газетах,— когда я говорю наши, я имею в виду объявления моего приятеля в Сити и еще двух-трех человек, которые таким же образом помещают свои капиталы и так со мной дружны, что изредка помогают мне в моей нужде,— вот если бы вы тогда услужили нам, мистер Джордж, это поставило бы вас на ноги.

— Я бы не прочь стать на ноги, как вы выражаетесь,— говорит мистер Джордж, продолжая курить, однако уже несколько утратив спокойствие духа, ибо с той минуты, как Джуди вошла и стала за стулом дедушки, он до некоторой степени находится во власти каких-то чар,— но, конечно, не очарования,— и не в силах оторвать глаза от нее,— я бы не прочь стать на ноги, однако, в общем, я рад, что это не удалось.

— Почему же, мистер Джордж? Почему, скажите, ради... ради ведьмы? — спрашивает дедушка Смоллуид, явно раздраженный.

(Слово «ведьма», вероятно, вырвалось у него потому, что взгляд его упал на спящую миссис Смоллуид.)

— По двум причинам, почтенный.

— Какие же это две причины, мистер Джордж? Какие, скажите, ради...

— Нашего приятеля в Сити? — доканчивает его фразу мистер Джордж, спокойно отпивая из стакана.

— Да, если хотите. Какие причины?

— Во-первых,— отвечает мистер Джордж, по-прежнему не отрывая глаз от Джуди, словно она так стара и

так похожа на дедушку, что безразлично, к кому из них обоих обращаться,— вы, джентльмены, меня провели. Вы писали в объявлениях, что мистер Хоудон (или капитан Хоудон, если верить поговорке: «Капитан — капитаном и останется») может узнать от вас нечто для него полезное.

— Ну? — резким, пронзительным голосом понукает его старик.

— Вот вам и ну! — говорит мистер Джордж, не переставая курить.— Не велика польза, когда тебя сажают в тюрьму по приговору лондонских торговцев, а ведь так оно и было бы, явись он к вам.

— Почем вы знаете? Богатые родственники могли бы уплатить его долги целиком или хоть частично. Не мы провели его, а он — нас. Он задолжал нам кучу денег. Я скорей задушу его, чем прощу ему долг. Как вспомнишь про него...— рычит старик, растопырив бессильные пальцы,— так бы и задушил его сию же минуту.

Во внезапном порыве ярости он запускает подушкой в безобидную миссис Смоллуид, но подушка, никого не задев, пролетает мимо ее кресла.

— Я и сам знаю,— отзывается кавалерист, на мгновение вынимая трубку изо рта и переводя глаза, следившие за полетом подушки, на головку трубки, которая едва курится,— я и сам знаю, что он сорил деньгами и промотался. Я долгое время был с ним, когда он во весь опор мчался к разорению. Болен он был или здоров, богат или беден, я всегда находился при нем. Вот этой самой рукой я удержал его однажды, когда он уже прошел через все, разбил все в своей жизни... и поднес пистолет к виску.

— Жалко, что не выстрелил! — говорит благожелательный старец.— Жалко, что голова его не разлетелась на столько кусков, сколько фунтов он задолжал!

— Случись так, от нее бы, конечно, только пыль осталась,— холодно отзывается кавалерист.— Так или иначе, когда-то у него было все — молодость, надежды, красота; потом не осталось ничего, и хорошо, что я не смог его разыскать тогда и принести ему столь большую «пользу». Это причина номер один.

— Надеюсь, причина номер два так же уважительна? — рычит старик.

— Нет. Вторая причина более эгоистическая. Чтобы его разыскать, мне самому пришлось бы попасть на тот свет. Он теперь там.

— Почем вы знаете, что он на том свете?

— Потому что на этом его нет.

— А почем вы знаете, что на этом его нет?

— Не теряйте терпения, как потеряли деньги,— советует мистер Джордж, невозмутимо выбивая пепел из трубки.— Он давным-давно утонул. В этом я уверен. Он упал за борт корабля. Не знаю только — нарочно или случайно. Может, ваш приятель в Сити знает... А вы не помните этого мотива, мистер Смоллуид? — добавляет он и насвистывает мотив, отбивая такт пустой трубкой по столу.

— Мотив! — повторяет старик.— Нет. Тут у нас никаких мотивов не поют.

— Это похоронный марш из «Саула» *. Под этот марш хоронят военных, и лучше всего закончить наш разговор этой музыкой. А теперь, если ваша прелестная внучка,— простите, мисс,— соблаговолит прибрать эту трубку, вам не придется тратиться на новую, когда я опять приду сюда через два месяца. Добрый вечер, мистер Смоллуид!

— Любезный друг!

Старик протягивает ему обе руки.

— Значит, вы думаете, что ваш приятель в Сити жестоко прижмет меня, если я не уплачу процентов в срок? — спрашивает кавалерист, глядя на него сверху вниз, словно великан на карлика.

— Боюсь, что так, любезный друг,— отвечает старик, глядя на него снизу вверх, словно карлик на великана.

Мистер Джордж смеется, бросает последний взгляд на мистера Смоллуида, делает прощальный поклон в сторону презирающей его Джуди и выходит из гостиной такой походкой, что чудится, будто он гремит саблей и прочими металлическими предметами кавалерийского обмундирования.

— Проклятый плут! — рычит престарелый джентльмен, скорчив отвратительную рожу в сторону закрывшейся двери.— Но я скручу тебя, собаку! Я тебя скручу!

Прорычав эти доброжелательные слова, мистер Смоллуид воспаряет духом в те увлекательные области мышления, которые для него открыты его воспитанием и деятельностью; и вот опять он и миссис Смоллуид недвижно проводят часы своего заката, словно два бессменных часовых, забытых, как уже было сказано, Черным Разводящим — Смертью.

Пока чета неотлучно находится на своем посту, мистер Джордж тяжелой поступью шагает по улицам с молодецким видом, но очень серьезным выражением лица. Уже восемь часов вечера, и сумерки наступают быстро. Он останавливается у моста Ватерлоо *, читает афишу и решает пойти в цирк Астли *. Там он восторгается лошадьми и цирковым искусством, критическим оком разглядывает оружие; недоволен фехтовальными номерами, так как фехтующие не умеют обращаться с рапирой; зато растроган до глубины души чувствительными сценами. Когда же под конец император Татарии, поднявшись на колесницу, улетает, милостиво благословляя соединившихся влюбленных британским флагом, ресницы мистера Джорджа увлажняются от душевного волнения.

Но вот представление окончилось, и мистер Джордж, снова перейдя по мосту через реку, направляется к тому расположенному между Хэймаркетом * и Лестер-сквером * прелюбопытному кварталу, где в изобилии встречаются невзрачные гостиницы и невзрачные иностранцы, помещения для игры в мяч, боксеры, учителя фехтования, телохранители, лавки старинного фарфора, игорные дома, выставки и всякий разношерстный люд, потрепанный жизнью и не желающий привлекать к себе внимания. Забравшись в самую глубь этого околотка, он входит во двор, потом в длинный, выбеленный крытый проход и приближается к большому кирпичному строению, которое состоит лишь из голых стен, пола, стропил и кровли с прорезанными в ней окнами верхнего света и на фасаде которого,— если только можно сказать, что у этого строения есть фасад,— написано: «Галерея-Тир Джорджа, стрельба в цель и прочее».

Он входит в «Галерею-Тир Джорджа, стрельба в цель и прочее», а в ней горят газовые рожки (частью уже по-

гашенные), стоят две выбеленные мишени для стрельбы из ружья, принадлежности для стрельбы из лука и для фехтования и все, что требуется для бокса, этого поистине британского искусства. Сегодня вечером здесь никто не занимается этими видами спорта, поэтому «Галерея-Тир Джорджа» безлюдна и вся целиком предоставлена уродливому коротышу с большой головой, который сейчас спит на полу.

Коротыш смахивает на оружейного мастера — он в зеленом суконном фартуке и шапочке, а лицо и руки у него запачканы порохом и почернели от возни с ружьями, которые ему приходится заряжать. Он лежит на свету, перед ярко-белой мишенью, и на ее фоне кажется еще чернее, чем он на самом деле. Неподалеку стоит крепкий, грубо сколоченный стол с тисками,— за этим столом коротыш работал весь день. Лицо у него словно сдавленное; одна щека сизого цвета и вся в пятнах — очевидно, он как-то раз, а может быть и не раз, пострадал от взрыва во время работы.

— Фил! — тихо окликает его кавалерист.

— Здесь! — громко отзывается Фил, с трудом поднимаясь на ноги.

— Как дела?

— Дела — как сажа бела,— отвечает Фил.— Только пять дюжин ружейных выстрелов да дюжина пистолетных. И как нарочно — все в цель!

Вспомнив об этом, Фил жалобно охает.

— Закрывай лавочку, Фил!

Фил идет выполнять приказ, и тогда становится ясно, что он хромает, хотя способен двигаться очень быстро. На испещренной пятнами стороне его лица нет брови, на другой стороне бровь черная, косматая, и это несоответствие придает ему чрезвычайно своеобразный и довольно зловещий вид. Руки его, как видно, испытали все, что только можно испытать, кроме потери пальцев,— они скрючены, изборождены рубцами и шрамами. Сила у него, должно быть, большая,— тяжелые скамьи он поднимает с таким видом, словно они легче перышка. У него есть занятная привычка: когда ему нужна какая-нибудь вещь, он не идет к ней прямо, а ковыляет вокруг всей галереи, задевая плечом за стену, так что по всем четы-

рем стенам этого помещения тянется грязная полоса, которую принято называть «следом Фила».

Сей страж, охраняющий «Галерею-Тир Джорджа» в отсутствие самого Джорджа, теперь запирает огромные двери, гасит все газовые рожки, кроме одного,— да и тот горит тускло,— и заканчивает свою работу тем, что вытаскивает из-за дощатой перегородки в углу два тюфяка и постельные принадлежности. Тюфяки раскладывают в противоположных концах галереи, причем кавалерист стелет постель себе, а Фил себе.

— Фил! — говорит, подойдя к нему, хозяин, который уже снял сюртук и жилет и, оставшись в рубашке и штанах, выглядит еще более воинственно, чем раньше.— Тебя, кажется, нашли в чьем-то подъезде, а?

— В сточной канаве,— отвечает Фил.— Ночной сторож споткнулся и шлепнулся прямо на меня.

— Так, значит, для *тебя* бродячая жизнь дело привычное сызмальства?

— Чего привычней! — отвечает Фил.

— Спокойной ночи!

— Спокойной ночи, командир.

Фил даже к постели не может направиться прямо, а находит нужным пройти вдоль двух стен галереи, задевая их плечом, и только тогда поворачивает к своему тюфяку. Кавалерист, пройдясь раза два от места для прицельной стрельбы до мишени и посмотрев на луну, свет которой проникает сквозь окна в кровле, направляется более прямым путем к своему тюфяку и тоже укладывается спать.

ГЛАВА XXII

Мистер Баккет

Вечер сегодня жаркий, но аллегорическому римлянину на Линкольновых полях, должно быть, прохладно, да и немудрено — ведь у мистера Талкингхорна оба окна открыты настежь, а кабинет у него высокий, сумрачный, и в нем всегда сквозняк. Все это не очень приятно, когда приходит ноябрь с туманом и слякотью или январь со льдом и снегом, но в душные знойные дни долгих кани-

кул тут хорошо. Вот почему у аллегорического римлянина довольно свежий вид, хотя щеки у него как персики, колени как букеты цветов, а вместо икр на ногах и мускулов на руках — розовые припухлости.

Тучи пыли летят в окна мистера Талкингхорна, но еще больше ее скопилось на его мебели и бумагах. Все здесь покрыто толстым слоем пыли. И когда полевой ветерок, заблудившись, попадает в эту комнату и в испуге мечется, как слепой, торопясь улететь вон отсюда, он пускает столько же пыли в глаза аллегорическому римлянину, сколько суд — или мистер Талкингхорн, как один из его самых преданных служителей,— временами пускает в глаза непосвященным.

В этом своем унылом складе пыли,— вездесущего вещества, в которое превратятся и его бумаги, и он сам, и все его клиенты, и все одушевленные и неодушевленные предметы, какие есть на свете,— мистер Талкингхорн сидит за бутылкой у открытого окна и смакует старый портвейн. Человек жесткий, замкнутый, сухой и молчаливый, он, однако, не хуже других способен смаковать старое вино. Ларь с бесценным портвейном хранится у него в хитроумно устроенном погребе под Линкольновыми полями, и этот погреб — одна из его многочисленных тайн. Когда он обедает дома один, как обедал сегодня, он сначала съедает принесенные из ресторана рыбу и бифштекс или цыпленка, потом спускается со свечой в руке в гулкие подвалы, вырытые под опустелым домом, а затем неторопливо возвращается к себе, предшествуемый отдаленным отзвуком хлопающих дверей и овеянный запахом земли, приносит в свой кабинет бутылку и наливает из нее в рюмку сверкающий полувековой нектар, который краснеет за стеклом от сознания своей славы и наполняет всю комнату благоуханием виноградников Юга.

Сидя в сумерках у открытого окна, мистер Талкингхорн смакует вино. Оно как будто шепчет ему о своем полувековом безмолвии и плене, а он от этого все крепче замыкается в себе. Еще более непроницаемый, чем всегда, он сидит, пьет и, пожалуй, немного размякает в одиночестве, вспоминая в этот час сумерек обо всех известных ему тайнах, которые связываются в его представлении с темнеющими лесами за городом и просторными, обезлю-

девшими, запертыми особняками в городе; а быть может, даже уделяет несколько мыслей самому себе, своей семейной истории, своим деньгам, своему завещанию,— все это тайна для всех,— и тому единственному своему другу, холостяку, человеку того же склада и тоже юристу, который до семидесяти пяти лет жил так же, как мистер Талкингхорн, но внезапно почувствовал (как говорят), что жизнь эта слишком однообразна, и как-то раз, летним вечером, подарил свои золотые часы своему парикмахеру, не спеша вернулся домой в Тэмпл и повесился.

Но сегодня вечером мистер Талкингхорн не один и потому не может размышлять так долго, как привык. Из скромности отодвинув стул, так что сидеть не очень удобно, за тем же столом сидит лысый, кроткий, с лоснящимся лицом человек, который почтительно кашляет в руку, когда юрист приглашает его налить себе вина.

— Ну, Снегсби,— говорит мистер Талкингхорн,— давайте опять поговорим об этой странной истории.

— Пожалуйста, сэр.

— Вы сказали мне, когда были так добры зайти сюда вчера вечером...

— За что я должен попросить у вас извинения, сэр, если это была смелость с моей стороны; но вы, помнится, проявили некоторый интерес к этому лицу, и я подумал, что вы, может быть... пожелаете...

Мистер Талкингхорн не такой человек, чтобы помочь собеседнику сделать вывод или подтвердить какое-нибудь предположение, если они касаются его самого. Поэтому мистер Снегсби, робко покашливая, нерешительно повторяет:

— Я, конечно, должен просить у вас извинения, сэр, за эту смелость.

— Не беспокойтесь,— ободряет его мистер Талкингхорн.— Так вы говорили мне, Снегсби, что надели шляпу и отправились сюда, не сказав об этом жене. Мне кажется, вы поступили осмотрительно, ибо все это не так важно, чтобы об этом стоило говорить кому-нибудь.

— Изволите видеть, сэр,— объясняет мистер Снегсби,— моя женушка, говоря напрямик, любознательна. Да, любознательна. Она, бедняжка, страдает спазмами, и ей полезно, когда ум у нее чем-нибудь занят. Вот она и

старается его занять... я бы сказал, чем попало, все равно касается это ее или не касается... особенно, если не касается. У моей женушки очень деятельный ум, сэр.

Мистер Снегсби делает глоток и, восторженно кашляя в руку, бормочет:

— Боже мой, какое прекрасное вино!

— Значит, вы скрыли от нее свой вчерашний визит? — спрашивает мистер Талкингхорн.— И сегодняшний тоже?

— Да, сэр, сегодняшний тоже. Сейчас моя женушка, говоря напрямик, в набожном настроении — так по крайней мере она считает сама — и присутствует на так называемых «Вечерних бдениях» одного духовного лица, некоего Чедбенда. Он, бесспорно, очень красноречив, но мне лично не особенно нравится его стиль. Однако не в этом дело. Но поскольку моя женушка сегодня занята, мне легко удалось заглянуть к вам без ее ведома.

Мистер Талкингхорн кивает.

— Налейте себе еще, Снегсби.

— Очень вам благодарен, сэр,— отзывается торговец, почтительно покашливая.— Замечательное вино, сэр!

— Теперь это вино считается редким,— говорит мистер Талкингхорн.— Ему пятьдесят лет.

— Да неужели, сэр? Впрочем, я ничуть этому не удивляюсь, разумеется. Ему можно дать... сколько угодно лет.

Воздав эту дань портвейну, мистер Снегсби скромно покашливает в руку, как бы извиняясь за то, что пьет такую драгоценность.

— Вы можете повторить еще раз все то, что говорил мальчик? — спрашивает мистер Талкингхорн, засовывая руки в карманы своих поношенных брюк и спокойно откидываясь назад в кресле.

— С удовольствием, сэр.

И владелец писчебумажной лавки очень точно, хотя и несколько многословно, пересказывает все, что говорил Джо у него в доме при гостях. Подойдя к концу рассказа, он вдруг вздрагивает всем телом и обрывает свою речь восклицанием:

— Боже мой, я и не знал, сэр, что здесь присутствует еще один джентльмен!

Мистер Снегсби испугался, заметив, что между ним и поверенным, неподалеку от стола, стоит внимательно всматривающийся в них человек со шляпой и палкой в руках — человек, которого не было здесь, когда сам мистер Снегсби вошел, и который при нем не входил ни в дверь, ни в окно. В комнате стоит шкаф, но петли его дверцы не заскрипели ни разу; не слышно было и шума шагов по полу. Однако этот третий человек стоит здесь со шляпой и палкой в руках, заложенных за спину,— внимательный, сосредоточенный и спокойный слушатель. Это крепко сложенный, немолодой, степенный на вид мужчина с острыми глазами, одетый в черный костюм. Он смотрит на мистера Снегсби с таким видом, словно хочет написать с него портрет, но, кроме этого, в нем на первый взгляд нет ничего особенно замечательного,— разве что появился он на манер привидения.

— Не обращайте внимания на этого джентльмена,— говорит мистер Талкингхорн как всегда спокойно.— Это просто мистер Баккет.

— Ах, вот как, сэр! — отзывается торговец, и его покашливание означает, что он понятия не имеет, кто такой мистер Баккет.

— Я устроил так, чтобы он услышал вашу историю,— говорит поверенный,— потому что мне хочется (по некоторым причинам) узнать все это поподробнее, а он хорошо разбирается в подобных делах. Что скажете, Баккет?

— Все очень просто, сэр. Наши люди приказали мальчишке не задерживаться на одном месте и убраться подальше, так что на прежнем перекрестке его не найдешь, но если мистер Снегсби не против отправиться со мной в Одинокий Том и там опознать этого малого, мы приведем его сюда часа через два, даже раньше. Конечно, я могу сделать это и без мистера Снегсби, но так выйдет скорее.

— Мистер Баккет — агент сыскной полиции, Снегсби,— объясняет поверенный.

— Да неужели, сэр? — ужасается мистер Снегсби, и волосы, окаймляющие его плешь, готовы стать дыбом.

— Так если вы действительно согласитесь пойти туда с мистером Баккетом,— продолжает мистер Талкингхорн,— я буду вам очень признателен.

Мистер Снегсби колеблется лишь одно мгновение, но Баккет сразу же проникает в самую глубину его души.

— Да вы не бойтесь повредить мальчишке,— говорит он.— Ни капельки вы ему не повредите. С мальчишкой все в порядке. Мы только доставим его сюда, я ему задам два-три вопроса, а потом ему заплатят за беспокойство и отпустят его на все четыре стороны. Он на этом хорошо заработает. Обещаю вам, как честный человек, что мальчишку отпустят с миром. Не бойтесь ему повредить, бояться нечего.

— Прекрасно, мистер Талкингхорн,— бодро восклицает мистер Снегсби, немного успокоившись,— если так...

— Конечно! И вот еще что, мистер Снегсби,— конфиденциальным тоном говорит Баккет, подхватив торговца под руку, отводя его в сторону и дружески похлопывая по груди.— Вы, видать по всему, человек опытный, деловой, благоразумный. Вот какой *вы*.

— Я, конечно, очень благодарен вам за ваше доброе мнение обо мне,— отзывается мистер Снегсби, скромно покашливая,— но...

— Вот *вы* какой, заметьте,— продолжает Баккет.— Значит, незачем говорить такому человеку, как вы, человеку, который занимается таким делом, как ваше, а дело это основано на доверии и требует, чтобы его вели люди с головой на плечах, какие умеют глядеть в оба и держать язык за зубами (один мой дядя тоже когда-то имел писчебумажную лавку),— значит, незачем говорить такому человеку, как вы, что лучше всего и умней всего о такого рода делишках помалкивать. Ясно вам это? Помалкивать!

— Конечно, конечно,— соглашается мистер Снегсби.

— Не считаю нужным скрывать от *вас* следующее,— добавляет мистер Баккет с обаятельной, но притворной искренностью.— Есть сведения, что покойник оставил небольшое имущество, и вот тут возникает вопрос — уж не задумала ли эта бабенка как-нибудь изловчиться и присвоить себе наследство. Ясно вам это?

— Вот оно что! — восклицает мистер Снегсби, которому это, видимо, не совсем ясно.

— Ну, *а вы,*— продолжает Баккет, ласково и успокоительно похлопывая мистера Снегсби по груди,— вы

стремитесь к тому, чтобы каждый пользовался своими правами согласно закону. Вот к чему стремитесь *вы*.

— Конечно,— соглашается мистер Снегсби, кивая.

— По этой причине и в то же время желая услужить... как это вы, мастера переписки, говорите — «заказчику» или «клиенту»? Я забыл, как выражался мой дядя.

— Я обычно говорю «заказчику»,— отвечает мистер Снегсби.

— Правильно! — подтверждает мистер Баккет, совсем по-дружески пожимая ему руку.— По этой-то самой причине и в то же время желая услужить своему очень крупному заказчику, вы собираетесь вместе со мною, секретно, отправиться в Одинокий Том и впредь держать в тайне все это дело — никому никогда о нем не говорить. Ведь вы именно этого хотите, насколько я понимаю?

— Совершенно верно, сэр. Совершенно верно,— отвечает мистер Снегсби.

— Так вот ваша шляпа,— продолжает его новый друг, так бесцеремонно обращаясь со шляпой, как будто он ее сам сделал,— и, если вы готовы, я тоже готов.

Они прощаются с мистером Талкингхорном,— который попивает свое старое вино, по-прежнему совершенно невозмутимый, так что на поверхности его неизмеримых глубин не видно ни малейшего следа ряби,— затем направляются к выходу.

— Вам не случалось знавать одного очень славного малого по фамилии Гридли, нет? — спрашивает Баккет, когда они, дружески разговаривая, спускаются по лестнице.

— Нет,— отвечает мистер Снегсби, подумав,— я не знаю никого с такой фамилией. А что?

— Да ничего особенного,— отвечает Баккет,— просто мне вспомнилось, как он немножко дал себе волю и принялся угрожать некоторым уважаемым лицам, так что я получил приказ арестовать его, но он скрылся... а жаль — благоразумному человеку скрываться не следует.

По дороге мистер Снегсби наблюдает нечто для него новое: каким бы скорым шагом они ни шли, у спутника его, как ни странно, все время такое выражение лица,

как будто они не спеша прогуливаются от нечего делать; и еще — собираясь повернуть направо или налево, Баккет всякий раз притворяется, будто твердо решил идти прямо, но в самый последний момент делает крутой поворот. Время от времени навстречу им попадается квартальный полицейский, который обходит свой участок, и тут мистер Снегсби подмечает, что оба они — и его проводник и квартальный,— встречаясь, становятся чрезвычайно рассеянными и смотрят куда-то в пространство, как бы совсем не замечая друг друга. Изредка мистер Баккет нагоняет какого-то невысокого молодого человека в блестящем цилиндре с прилизанными волосами, закрученными на висках в два плоских завитка, и, почти не глядя на него, прикасается к нему своей палкой, а молодой человек, оглянувшись, мгновенно улетучивается. Мистер Баккет замечает почти все, что происходит вокруг, но лицо его так же не меняется, как не меняется огромный траурный перстень на его мизинце или булавка с крохотным брильянтиком в массивной оправе, воткнутая в его рубашку.

Когда они, наконец, подходят к Одинокому Тому, мистер Баккет ненадолго останавливается на углу и берет зажженный потайной фонарик у здешнего квартального надзирателя, а тот отправляется провожать их с другим фонариком у пояса. Мистер Снегсби шагает между своими проводниками по отвратительной улице, где нет стоков для воды, нет выхода для затхлого воздуха, где в черной глубокой грязи застаиваются смрадные лужи,— хотя в других кварталах сейчас мостовые сухи,— улице, издающей такое зловоние и представляющей такое зрелище, что он, проживший в Лондоне всю жизнь, едва верит своим органам чувств. От этой улицы, загроможденной грудами развалин, ответвляются другие улицы и переулки, столь омерзительные, что мистер Снегсби чувствует тошноту телесную и душевную, и ему чудится, будто он с каждым шагом все глубже погружается в преисподнюю.

— Отойдите-ка в сторону, мистер Снегсби,— говорит Баккет, когда навстречу им несут что-то вроде потрепанного паланкина, окруженного шумной толпой.— Тут по улицам горячка гуляет!

Несчастного невидимку уносят, а толпа, забыв об этом увлекательном зрелище, проносится мимо, как вереница страшных образин в бредовых видениях, рассеявшись, исчезает в переулках, развалинах, за стенами, но вдруг снова начинает метаться вокруг троих путников, что-то выкрикивая с пронзительным предостерегающим свистом, пока все трое не удаляются прочь.

— В этих домах повальная горячка, Дарби? — хладнокровно спрашивает квартального мистер Баккет, направляя свой фонарик на какие-то зловонные лачуги.

Дарби отвечает, что «во всех», и даже, что много месяцев подряд люди здесь «валились десятками» и их уносили мертвых или умирающих, «как шелудивых овец». Они идут дальше, и Баккет говорит, что вид у мистера Снегсби довольно скверный, а мистер Снегсби отвечает, что тут ужасный воздух — просто дышать нечем.

Они справляются в нескольких домах о мальчике, которого зовут Джо. В Одиноком Томе лишь немногих знают по имени, данном при крещении, поэтому мистера Снегсби спрашивают, кто ему, собственно, нужен — Рыжий или Полковник, Виселица, Малец-Резец или Песий нос, Долговязый или Кирпич. Мистер Снегсби то и дело сызнова описывает наружность Джо. Мнения расходятся насчет того, кто же оригинал этого портрета. Одни думают, что это, наверное, Рыжий; другие — что не кто иной, как Кирпич. Приводят Полковника, но он ничуть не похож на того, кого ищут. Всякий раз, как мистер Снегсби и его проводники останавливаются, толпа окружает их со всех сторон, и из ее темных недр на мистера Баккета сыплются вкрадчивые советы. Всякий раз, как путники трогаются дальше, в толпу яростно врывается резкий свет их фонариков, и она исчезает, потом снова мечется вокруг них в проходах, развалинах и за стенами.

Наконец отыскивают какую-то лачугу, в которой обычно ночует подросток по прозвищу Тупица, или Тупой малец, и тогда возникает надежда, что Тупица и Джо — одно лицо. К этому выводу приходят, сопоставив приметы, указанные мистером Снегсби, и сведения, полученные от хозяйки дома — бабы с головой, обмотанной черными тряпками, и с лицом пропойцы, которая выскочила из вороха лохмотьев, сваленных на полу какой-то

собачьей конуры, служащей ей спальней. Тупица ушел к доктору за склянкой лекарства для больной женщины, но скоро вернется.

— А здесь нынче кто ночует? — спрашивает мистер Баккет, открыв другую дверь и освещая соседнюю каморку своим фонариком.— Двое пьяных мужчин, а? И две женщины? Мужчины в хорошем виде! — говорит он, подойдя к спящим, и у каждого отводит руку от лица, чтобы получше рассмотреть его.— Это ваши хозяева, сестрицы?

— Да, сэр,— отвечает одна из женщин.— Наши мужья.

— Кирпичники?

— Да, сэр.

— Что вы тут делаете? Вы не лондонские жители.

— Нет, сэр. Мы из Хэртфордшира.

— Из какой именно местности в Хэртфордшире?

— Из Сент-Олбенса.

— Пешком приплелись?

— Пришли вчера. Там без работы сидели, а здесь тоже ничего путного не выходит, да, должно быть, и не выйдет.

— А таким способом ничего путного и не добьешься,— говорит мистер Баккет, поворачиваясь в сторону бесчувственных фигур на полу.

— Вот именно ничего,— со вздохом отвечает женщина.— Нам с Дженни это куда как хорошо известно.

Каморка фута на два, на три выше двери, и все-таки она так низка, что если бы самый высокий из посетителей выпрямился во весь рост, он уперся бы головой в закопченный потолок. Все здесь оскорбляет органы чувств; в затхлом воздухе даже толстая свеча горит каким-то бледным, болезненным пламенем. В каморке стоят две скамьи, и еще одна, повыше, заменяет стол. Мужчины спят там, где повалились на пол, а женщины сели поближе к свече. Женщина, отвечавшая на вопросы, держит на руках грудного ребенка.

— Сколько ему времени, этому крошке? — спрашивает Баккет.— На вид кажется, будто родился он только вчера.

Он говорит с женщиной довольно мягким тоном и осторожно направляет на ребенка свет своего фонарика, а мистеру Снегсби почему-то вспоминается другое дитя, окруженное сиянием,— дитя, которое он видел только на картинах.

— Ему еще трех недель нету, сэр,— отвечает женщина.

— Это ваш ребенок?

— Мой.

Другая женщина стояла, наклонившись над спящим младенцем, когда путники входили; теперь она нагибается снова и целует его.

— А вы, должно быть, любите его, как родная мать,— говорит ей мистер Баккет.

— Я сама была матерью, хозяин; был и у меня такой же ребеночек, да помер.

— Эх, Дженни, Дженни! — говорит ей другая женщина,— оно и лучше так. Лучше вспоминать о мертвом, чем думать о живом, Дженни! Куда лучше!

— Надеюсь, вы не настолько бессердечная женщина,— строго внушает мистер Баккет,— чтобы желать смерти своему собственному ребенку!

— Бог свидетель, конечно нет, хозяин,— отвечает она.— Я не бессердечная. Я не хуже любой нарядной леди отдала бы за него жизнь, кабы это было возможно.

— Ну, значит, и не говорите таких глупостей,— поучает ее мистер Баккет, снова смягчаясь.— Зачем это?

— Мне эти мысли в голову лезут, хозяин, когда ребенок вот так лежит у меня на коленях, а я на него смотрю,— говорит женщина, и глаза ее наполняются слезами.— Случись ему не проснуться больше, вы скажете, что я с ума сошла, так я буду по нем убиваться. Это я хорошо знаю. Я была при Дженни, когда у нее ребенок помер,— ведь правда, Дженни? — и помню, как она горевала. Но оглянитесь кругом, посмотрите на эту лачугу. Поглядите на них! — Она взглянула в сторону спящих на полу мужчин.— Поглядите на мальчишку, которого вы дожидаетесь,— того, что пошел за лекарством для меня! Вспомните, каких ребят вы то и дело встречаете по своей работе и какими они вырастают у *вас* на глазах!

— Ладно, ладно,— говорит мистер Баккет,— воспи-

тайте его порядочным человеком,— увидите, что он будет вас утешать и покоить в старости; так-то.

— Я всячески буду стараться его воспитывать,— отвечает она, вытирая глаза.— Но нынче вечером я прямо из сил выбилась, да и лихорадка меня трясет, вот я и стала раздумывать, что трудно ему будет вырасти хорошим человеком. Хозяин мой будет против этого, мальчонка и сам хлебнет колотушек и увидит, как меня колотят, и дома ему станет страшно — убежит, а там, глядишь, и вовсе с пути собьется. Как я ни старайся, как ни работай на него изо всех сил, одной не справиться, а помощи ждать неоткуда; так что, несмотря на все мои старания, он все-таки может вырасти плохим человеком, и придет час, когда я буду глядеть на него сонного,— вот как теперь,— а он уже огрубеет, будет не такой, как прежде, ну, значит, и немудрено, что сейчас, когда он лежит у меня на коленях, я все о нем думаю и хочу, чтоб он помер, как ребенок Дженни.

— Ну, будет, будет! — говорит Дженни.— Ты устала, Лиз, да и больна. Дай-ка мне его подержать.

Она берет на руки ребенка и при этом нечаянно распахивает платье матери, но сейчас же оправляет его на истерзанной, исцарапанной груди, у которой лежал младенец.

— Это я из-за своего покойничка души не чаю в этом малыше,— говорит Дженни, шагая взад и вперед с ребенком на руках,— а она из-за моего покойничка души не чает в своем мальчике, так что даже думает: уж не лучше ли схоронить его, пока он еще мал? А *я* в это время думаю: чего только я не отдала бы, чтобы вернуть свое дитятко! Ведь обе мы — матери и чувствуем одинаково, только, бедные, не умеем сказать, что у нас на сердце лежит!

В то время как мистер Снегсби сморкается, покашливая сочувственным кашлем, за стеной слышны шаги. Мистер Баккет направляет свет фонарика на дверь и говорит мистеру Снегсби:

— Ну, что вы скажете насчет Туницы? Тот самый?

— Да, это Джо,— отвечает мистер Снегсби.

Джо, ошеломленный, стоит в кругу света, напоминая оборванца на картинке в волшебном фонаре и трепеща при мысли о том, что он совершил преступление, слиш-

ком долго задержавшись на одном месте. Но мистер Снегсби успокаивает его заверением: «Ты просто нужен нам по делу, Джо, а за труды тебе заплатят», и мальчик приходит в себя; когда же мистер Баккет уводит его на улицу для небольшого частного собеседования, он хотя и дышит с трудом, но неплохо повторяет свой рассказ.

— Ну вот, от мальчишки я толку добился, и все в порядке,— говорит мистер Баккет, вернувшись.— Мы вас ждем, мистер Снегсби.

Но, во-первых, Джо должен завершить свое доброе дело — отдать больной лекарство, за которым ходил,— и он отдает ей склянку, кратко объясняя: «Все зараз выпить немедля». Во-вторых, мистер Снегсби должен положить на стол полукрону — свое привычное всеисцеляющее средство от самых разнообразных недугов. В-третьих, мистер Баккет должен взять Джо за руку повыше локтя, чтобы вести его перед собой, ибо только таким порядком Тупой малец, как и любой другой малец, может быть приведен полицией на Линкольновы поля. Сделав все это, посетители желают спокойной ночи женщинам и снова погружаются в мрак и зловоние Одинокого Тома.

Но вот они постепенно выбираются из этой трущобы теми же отвратительными путями, какими забрались в нее, а вокруг них толпа мечется, свистит и крадется, пока они не выходят за пределы Одинокого Тома и не возвращают потайного фонарика мистеру Дарби. Здесь толпа, подобно скопищу пленных демонов, с воем и визгом поворачивает назад и скрывается из виду. Путники идут и едут по другим улицам, лучше освещенным и более благоустроенным — никогда еще они не казались мистеру Снегсби так ярко освещенными и такими благоустроенными,— и, наконец, входят в те ворота Линкольнс-Инна, за которыми обитает мистер Талкингхорн.

Когда они поднимаются по темной лестнице (контора мистера Талкингхорна расположена на втором этаже), мистер Баккет объявляет, что ключ от входной двери у него в кармане, а значит, звонить не нужно. Но для человека столь сведущего в такого рода делах Баккет что-то уж очень долго и шумно отпирает дверь. Возможно, он подает кому-то сигнал подготовиться к приходу посетителей.

Как бы то ни было, они, наконец, входят в переднюю, где горит лампа, а потом — в комнату мистера Талкингхорна, ту самую, где он сегодня вечером пил свое старое вино. Самого хозяина здесь нет, но свечи в обоих его старинных подсвечниках зажжены, и комната довольно хорошо освещена.

Мистеру Снегсби чудится, будто у мистера Баккета столько глаз, что им счету нет, а мистер Баккет, попрежнему крепко, по-сыщицки, стискивая руку Джо, делает несколько шагов вперед; но Джо внезапно вздрагивает и останавливается.

— Что с тобой? — спрашивает Баккет шепотом.

— Она! — вскрикивает Джо.

— Кто?

— Леди!

В середине комнаты, там, куда падает свет, стоит женщина под густой вуалью. Неподвижная, безмолвная. Она стоит, окаменев, как статуя, лицом к вошедшим, но как будто не замечает их.

— Теперь скажи мне,— громко спрашивает Баккет,— откуда ты взял, что это та самая леди?

— А вуаль-то,— отвечает Джо, пристально вглядываясь в нее,— а шляпа, а платье... узнал сразу.

— Смотри, не ошибись, Тупица,— предостерегает Баккет, внимательно наблюдая за мальчиком.— Взгляни-ка еще разок!

— Да я и так во все глаза гляжу,— говорит Джо, уставившись на женщину,— и вуаль та же, и шляпа, и платье.

— Ты мне говорил про кольца, а где же они? — спрашивает Баккет.

— Они у ней прямо сверкали, вот тут,— отвечает Джо, потирая пальцами левой руки суставы правой и не отрывая глаз от женщины.

Женщина снимает перчатку и показывает ему правую руку.

— Ну, что ты на это скажешь? — спрашивает Баккет.

Джо качает головой.

— У этой кольца совсем не такие, как те. И рука не такая.

— Что ты мелешь? — говорит Баккет, хотя он, как видно, доволен и даже очень доволен.

— Та рука была куда белей, и куда мягче, и куда меньше,— объясняет Джо.

— Толкуй там... ты еще, чего доброго, скажешь, что я сам себе родная мать,— говорит мистер Баккет.— А ты запомнил голос той леди?

— Как не запомнить,— отвечает Джо.

Тут в разговор вступает женщина:

— Похож ее голос на мой? Я буду говорить сколько хочешь, если ты не сразу можешь сказать. Тот голос хоть сколько-нибудь похож на мой голос?

Джо с ужасом смотрит на мистера Баккета.

— Ни капельки!

— Так почему же,— вопрошает этот достойный джентльмен, указывая на женщину,— ты сказал, что это та самая леди?

— А вот почему,— отвечает Джо, в замешательстве таращa глаза, но ничуть не колеблясь,— потому что на ней та самая вуаль, и шляпа, и платье. Это она и не она. Рука не ее, и кольца не ее, и голос не ее. А вуаль, и шляпа, и платье ее, и так же на ней сидят, как на той, и росту она такого же, и она дала мне соверен, а сама улизнула.

— Ну,— говорит мистер Баккет небрежным тоном,— от тебя нам проку немного. Но все равно, вот тебе пять шиллингов. Трать их поразумнее да смотри не влипни в какую-нибудь историю.

Баккет незаметно перекладывает монеты из одной руки в другую, как фишки,— такая уж у него привычка, ибо деньгами он пользуется главным образом, когда играет в подобные «игры», требующие ловкости,— кучкой кладет их мальчику на ладонь и выводит его за дверь, покидая мистера Снегсби, которому очень не по себе в этой таинственной обстановке, наедине с женщиной под вуалью. Но вот мистер Талкингхорн входит в комнату, и вуаль приподнимается, а из-под нее выглядывает довольно красивое, но чересчур выразительное лицо горничной француженки.

— Благодарю вас, мадемуазель Ортанз,— говорит мистер Талкингхорн, как всегда бесстрастно.— Я вызвал

вас, чтобы решить один незначительный спор — пари,— и больше не стану вас беспокоить.

— Окажите мне милость, не забудьте, что я теперь без места, сэр,— говорит мадемуазель.

— Разумеется, разумеется!

— И вы соизволите дать мне вашу ценную рекомендацию?

— Всенепременно, мадемуазель Ортанз.

— Одно словечко мистера Талкингхорна— это такая сила!

— Словечко за вас замолвят, мадемуазель.

— Примите уверение в моей преданной благодарности, уважаемый сэр.

— До свидания.

Мадемуазель, от природы одаренная безукоризненными манерами, направляется к выходу с видом светской дамы, а мистер Баккет, для которого при случае так же естественно исполнять обязанности церемониймейстера, как и всякие другие обязанности, не без галантности провожает ее вниз по лестнице.

— Ну, как, Баккет? — спрашивает мистер Талкингхорн, когда тот возвращается.

— Все ясно и все объяснилось так, как я сам объяснял, сэр. Нет сомнений, что в тот раз была другая женщина, но она надела платье этой. Мальчишка точно описал цвет платья и все прочее... Мистер Снегсби, я обещал вам, как честный человек, что его отпустят с миром. Так и сделали, не правда ли?

— Вы сдержали свое слово, сэр,— отвечает торговец,— и, если я вам больше не нужен, мистер Талкингхорн, мне думается... поскольку моя женушка будет волноваться...

— Благодарю вас, Снегсби, вы нам больше не нужны,— говорит мистер Талкингхорн.— А я перед вами в долгу за беспокойство.

— Что вы, сэр. Позвольте пожелать вам спокойной ночи.

— Вы знаете, мистер Снегсби,— говорит мистер Баккет, провожая его до двери и беспрестанно пожимая ему руку,— что̀ именно мне в вас нравится: вы такой человек, из которого ничего не выудишь,— вот какой *вы*. Когда

вы поняли, что поступили правильно, вы о своем поступке забываете,— что было, то прошло, и всему конец. Вот что делаете *вы*.

— Я, конечно, стараюсь это делать, сэр,— отзывается мистер Снегсби.

— Нет, вы не воздаете должного самому себе. Вы не только стараетесь, вы именно так *делаете,*— говорит мистер Баккет, пожимая ему руку и прощаясь с ним нежнейшим образом.— Вот это я уважаю в человеке вашей профессии.

Мистер Снегсби произносит что-то приличествующее случаю и направляется домой, совсем сбитый с толку событиями этого вечера,— он сомневается в том, что сейчас бодрствует и шагает по улицам, сомневается в реальности улиц, по которым шагает, сомневается в реальности луны, которая сияет над его головой. Однако все эти сомнения скоро рассеиваются неоспоримой реальностью в лице миссис Снегсби, которая уже отправила Гусю в полицейский участок официально заявить о том, что ее супруга похитили, а сама в течение двух последних часов успела пройти все стадии обморока, ничуть не погрешив против самых строгих правил приличия, и теперь ждет не дождется пропавшего, увенчанная целым роем папильоток, торчащих из-под ночного чепца. Но за все это, как с горечью говорит «женушка», никто ей даже спасибо не скажет!

ГЛАВА XXIII

Повесть Эстер

С удовольствием прогостив у мистера Бойторна шесть недель, мы вернулись домой. Живя у него, мы часто гуляли по парку и в лесу, а проходя мимо сторожки, где однажды укрывались от дождя, почти всегда заглядывали к леснику, чтобы поговорить с его женой; но леди Дедлок мы видели только в церкви, по воскресеньям. В Чесни-Уолде собралось большое общество, и хотя леди Дедлок всегда была окружена красивыми женщинами, ее лицо волновало меня так же, как и в тот день, когда я впервые ее увидела. Даже теперь мне не совсем ясно, было ли оно мне приятно, или неприятно, влекло ли оно меня, или

отталкивало. Мне кажется, я восхищалась ею с каким-то страхом, и я хорошо помню, что в ее присутствии мысли мои, как и в первую нашу встречу, неизменно уносились назад, в мое прошлое.

Не раз казалось мне в эти воскресенья, что я так же странно действую на леди Дедлок, как она на меня, то есть мне казалось, что если она приводит меня в смятение, то и я тревожу ее, но как-то по-другому. Однако всякий раз, как я, украдкой бросив на нее взгляд, видела ее по-прежнему такой спокойной, отчужденной и неприступной, я понимала, что подобные догадки — просто моя блажь. Больше того, понимала, что вообще мои переживания, связанные с нею, это какая-то блажь и нелепость, и строго бранила себя за них.

Пожалуй, следует теперь же рассказать об одном случае, который произошел, пока мы еще гостили у мистера Бойторна.

Однажды я гуляла в саду вместе с Адой, и вдруг мне доложили, что меня хочет видеть какая-то женщина. Войдя в утреннюю столовую, где эта женщина меня ожидала, я узнала в ней француженку-горничную, которая, сняв туфли, шагала по мокрой траве в тот день, когда разразилась гроза с громом и молнией.

— Мадемуазель,— начала она, пристально глядя на меня слишком бойкими глазами, хотя вообще вид у нее был приятный, а говорила она и без излишней смелости и неподобострастно,— придя сюда, я позволила себе большую вольность, но вы извините меня, ведь вы так обходительны, мадемуазель.

— Никаких извинений не нужно, если вы хотите поговорить со мной,— отозвалась я.

— Да, хочу, мадемуазель. Тысячу раз благодарю вас за разрешение. Значит, вы позволяете мне поговорить с вами, не правда ли? — спросила она быстро и непринужденно.

— Конечно,— ответила я.

— Мадемуазель, вы такая обходительная! Так выслушайте меня, пожалуйста. Я ушла от миледи. Мы с ней не могли поладить... Миледи такая гордая... такая высокомерная. Простите! Вы правы, мадемуазель! — Быстрая сообразительность помогла ей предугадать то, что я

собиралась сказать.— Мне не к лицу приходить сюда и жаловаться на миледи. Но, повторяю, она такая гордая, такая высокомерная! Больше я не скажу ничего. Весь свет это знает.

— Продолжайте, пожалуйста,— сказала я.

— Слушаю, и очень благодарна вам, мадемуазель, за ваше любезное обхождение. Мадемуазель, мне очень, очень хочется поступить в услужение к какой-нибудь молодой леди — доброй, образованной и прекрасной. Вы добры, образованны и прекрасны, как ангел. Ах, если бы мне выпала честь сделаться вашей горничной!

— К сожалению...— начала я.

— Не отсылайте меня так быстро, мадемуазель! — перебила она меня, невольно сдвинув тонкие черные брови.— Позвольте мне надеяться хоть минутку! Мадемуазель, я знаю, что это место будет более скромным, чем мое прежнее. Ну что ж! Такое мне и нужно! Я знаю, что это место будет менее почетным, чем мое прежнее. Ну что ж! Такого я и хочу. Я знаю, что буду получать меньше жалованья. Прекрасно. С меня хватит.

— Уверяю вас,— сказала я, чувствуя себя очень неловко при одной лишь мысли о подобной служанке,— я не держу камеристки...

— Ах, мадемуазель, но почему бы не держать? Почему, если вы можете нанять особу, которая к вам так привержена?.. была бы так счастлива вам служить... так верна вам, так усердна, так предана всегда? Мадемуазель, я всем сердцем желаю служить вам. Не говорите сейчас о деньгах. Возьмите меня так. Без жалованья!

Она говорила с такой странной настойчивостью, что я чуть не испугалась и сделала шаг назад. А она в своем увлечении как будто даже не заметила этого и продолжала наступать на меня, говоря быстро, сдержанно, глухим голосом, однако выражаясь не без изящества и соблюдая все приличия.

— Мадемуазель, я родилась на юге, а мы, южане, вспыльчивы и умеем любить и ненавидеть до самозабвения. Миледи была слишком горда, чтобы со мной ужиться, а я была слишком горда, чтоб ужиться с нею. Все это позади... прошло... кончено! Возьмите меня к себе, и я буду вам хорошо служить. Я сделаю для вас так много,

что вы сейчас этого и представить себе не можете. Уверяю вас, мадемуазель, я сделаю... ну, не важно, что именно,— сделаю все возможное во всех отношениях. Воспользуйтесь моими услугами, и вы об этом не пожалеете. Вы не пожалеете об этом, мадемуазель, и я хорошо вам услужу. Вы не представляете себе, как хорошо!

Я объяснила ей, почему не имею возможности ее нанять (не считая нужным добавить, как мало мне этого хотелось), а она смотрела на меня, и лицо ее дышало мрачной энергией, вызывая в моем уме образы женщин на парижских улицах во времена террора *. Она выслушала меня не перебивая и проговорила нежнейшим голосом и с очень приятным иностранным акцентом:

— Ну что ж, мадемуазель, так тому и быть! Я очень огорчена. Значит, придется мне пойти в другое место и там искать то, чего не удалось найти здесь. Будьте так милостивы, позвольте мне поцеловать вашу ручку!

Еще пристальнее взглянув на меня, она взяла мою руку и чуть коснулась ее губами, но за этот миг как будто успела разглядеть и запомнить каждую ее жилку.

— Боюсь, что я удивила вас, мадемуазель, в тот день, когда разразилась гроза? — сказала она, делая прощальный реверанс. Я призналась, что она удивила всех нас.

— Я тогда дала один обет, мадемуазель,— объяснила она с улыбкой,— и тут же решила запечатлеть его в своей памяти, так чтобы выполнить его свято. И я его выполню! Прощайте, мадемуазель!

Так завершился наш разговор, и я очень обрадовалась, когда он пришел к концу. Я решила, что француженка уехала из деревни, так как я ее больше не видела; а в дальнейшем ничто другое не нарушало наших тихих летних радостей, и спустя шесть недель мы, как я уже говорила, вернулись домой.

И в то время и позже, в течение многих недель после нашего возвращения, Ричард постоянно навещал нас. Не говоря уж о том, что он являлся каждую субботу или воскресенье и гостил у нас до утра понедельника, он иногда неожиданно приезжал верхом среди недели, проводил с нами вечер и уезжал рано утром на другой день. Он был весел, как всегда, и говорил нам, что занимается очень прилежно, но в душе я не была спокойна за него:

Прилежание его, казалось мне, было дурно направлено. Я видела, что оно только потворствует обманчивым надеждам, связанным с губительной тяжбой, которая и так уже послужила причиной стольких горестей и бедствий. По словам Ричарда выходило, будто он разгадал все ее тайны и у него не осталось сомнений, что завещание, по которому он и Ада должны получить не знаю сколько тысяч фунтов, будет, наконец, утверждено, если у Канцлерского суда есть хоть капля разума и чувства справедливости,— но, боже! каким сомнительным казалось мне это «если»! — больше того, решение уже не может откладываться надолго, и дело близится к счастливому концу. Ричард доказывал это самому себе при помощи всяких избитых доводов, которые вычитал в документах, и каждый из них все глубже погружал его в трясину заблуждения. Он даже начал то и дело наведываться в суд. Он говорил нам, что всякий раз видит там мисс Флайт, болтает с нею, оказывает ей мелкие услуги и, втайне подсмеиваясь над старушкой, жалеет ее всем сердцем. Но он и не подозревал,— мой бедный, милый, жизнерадостный Ричард, которому в то время было даровано столько счастья и уготовано такое светлое будущее! — какая роковая связь возникает между его свежей юностью и ее блеклой старостью, между его вольными надеждами и ее запертыми в клетку птичками, убогим чердаком и не вполне здравым рассудком.

Ада слишком горячо любила его, чтобы усомниться в нем, что бы он ни говорил и ни делал, а опекун, тот, правда, частенько жаловался на восточный ветер и больше прежнего сидел за книгами в Брюзжальне, но ровно ничего не говорил о Ричарде. И вот как-то раз, собираясь в Лондон, чтобы повидаться с Кедди Джеллиби по ее приглашению, я заранее попросила Ричарда встретить меня в этот день у конечной почтовой станции,— мне хотелось немного поговорить с ним. Приехав, я сразу увидела его, он взял меня под руку, и мы пошли пешком.

— Ну, как, Ричард,— начала я, как только мне удалось настроиться на серьезный лад,— чувствуете вы теперь, что окончательно решили, в чем ваше призвание?

— Ну да, дорогая,— ответил Ричард,— в общем, все у меня обстоит благополучно.

— Значит, решили? — спросила я.

— То есть что именно решил? — осведомился Ричард с веселым смехом.

— Окончательно решили сделаться юристом?

— Ну да,— ответил Ричард,— в общем, со мной все обстоит благополучно.

— Вы уже говорили это, милый Ричард.

— Но вы считаете, что это не ответ. Что ж! Пожалуй, вы правы. Решил? Вы спрашиваете, чувствую ли я, что окончательно решил, в чем мое призвание?

— Да.

— Нет, я, пожалуй, не могу сказать, что уже решил, в чем мое призвание,— сказал Ричард, делая сильное ударение на слове «уже», как будто в нем-то и заключалась вся трудность,— потому что этого нельзя решить, пока дело все еще не решено. Под «делом» я подразумеваю... запретную тему.

— А вы думаете, оно когда-нибудь будет решено?

— Ничуть в этом не сомневаюсь,— ответил Ричард.

Некоторое время мы шли молча, но вдруг Ричард заговорил со мной самым искренним, самым проникновенным тоном:

— Милая Эстер, я понимаю вас, и, клянусь небом, я хотел бы сделаться более постоянным человеком. Не только постоянным по отношению к Аде,— ее-то я люблю нежно, все больше и больше,— но постоянным по отношению к самому себе. (Мне почему-то трудно выразить это яснее, но вы поймете.) Будь я более постоянным человеком, я окончательно остался бы либо у Беджера, либо у Кенджа и Карбоя и теперь уже начал бы учиться упорно и систематически, и не залез бы в долги, и...

— А у вас *есть* долги, Ричард?

— Да,— ответил Ричард,— я немного задолжал, дорогая. А еще, пожалуй, слишком пристрастился к бильярду и все такое. Ну, теперь преступление раскрыто; вы презираете меня, Эстер, да?

— Вы знаете, что нет,— сказала я.

— Вы ко мне снисходительней, чем я сам,— продолжал он.— Милая Эстер, это мое большое несчастье, что я ничего не умею решать; но *как* могу я что-то решить? Когда живешь в недостроенном доме, нельзя решать окон-

чательно, как в нем лучше устроиться; когда ты обречен оставлять все свои начинания незавершенными, очень трудно браться за дело с усердием — в том-то все и горе; вот как мне не повезло. Я родился под знаком нашей неоконченной тяжбы, в которой то и дело что-нибудь случается или меняется, и она развила во мне нерешительность раньше, чем я вполне понял, чем отличается судебный процесс, скажем, от процесса переодевания; и это из-за нее я становился все более и более нерешительным, и сам я ничего с этим поделать не могу, хоть и сознаю по временам, что недостоин любить свою доверчивую кузину Аду.

Мы шли по безлюдной улице, и Ричард, не удержавшись от слез, прикрыл рукой глаза.

— Ричард, не надо так расстраиваться! — проговорила я.— Натура у вас благородная, а любовь Ады с каждым днем делает вас все лучше и достойнее.

— Я знаю, милая, знаю,— отозвался он, сжимая мою руку.— Не обращайте внимания на то, что я сейчас немного разволновался, ведь я долго думал обо всем этом и не раз собирался поговорить с вами, но то случая не представлялось, то мужества у меня не хватало. Знаю, как должны бы влиять на меня мысли об Аде; но и они теперь больше не действуют. Слишком я нерешителен. Я люблю ее всей душой и все-таки каждый день и каждый час причиняю ей вред тем, что врежу самому себе. Но это не может продолжаться вечно. В конце концов дело будет слушаться в последний раз, и решение вынесут в нашу пользу, а тогда вы с Адой увидите, каким я могу быть!

Минуту назад, когда я услышала его всхлипыванья, когда увидела, как слезы потекли у него между пальцев, у меня сжалось сердце; но гораздо больше огорчило меня то самообольщение, с каким он возбужденно произнес последние слова.

— Я досконально изучил все документы, Эстер... я несколько месяцев рылся в них,— продолжал он, мгновенно развеселившись,— и, можете на меня положиться, мы восторжествуем. А что касается многолетних проволочек, так чего-чего, а уж этого, видит небо, хватало; зато тем более вероятно, что теперь мы быстро закончим

тяжбу... она уже внесена в список дел, назначенных к слушанию. Все наконец-то окончится благополучно, и тогда вы увидите!

Вспомнив о том, как он только что поставил Кенджа и Карбоя на одну доску с мистером Беджером, я спросила, когда он думает вступить в Линкольнс-Инн для продолжения своего образования.

— Опять! Да я об этом и не думаю, Эстер,— ответил он с видимым усилием.— Хватит с меня. Я работал, как каторжник, над делом Джарндисов, утолил свою жажду знаний в области юридических наук и убедился, что они мне не по душе. К тому же я чувствую, как становлюсь все более и более нерешительным потому только, что вечно торчу на поле боя. Итак,— продолжал Ричард, снова приободрившись,— о чем же я подумываю теперь?

— Понятия не имею,— ответила я.

— Не смотрите на меня такими серьезными глазами,— сказал Ричард,— ведь то, о чем я думаю теперь, для меня лучше всего, дорогая Эстер,— я в этом уверен. Профессия на всю жизнь мне не нужна. Тяжба кончится, и я буду обеспеченным человеком. Но тут совсем другое дело. Эта будущая моя профессия по самой своей природе довольно изменчива и потому прекрасно подходит к моему теперешнему переходному периоду, могу даже сказать — подходит как нельзя лучше. Так вот, о чем же я теперь, естественно, подумываю?

Я посмотрела на него и покачала головой.

— О чем же, как не об армии? — проговорил Ричард тоном глубочайшего убеждения.

— Вы хотите служить в армии? — переспросила я.

— Конечно, в армии. Все, что нужно сделать — это получить патент*, и вот я уже военный — пожалуйста! — сказал Ричард.

И тут он принялся доказывать мне при помощи сложных подсчетов, занесенных в его записную книжку, что если он, не будучи в армии, за полгода задолжал, скажем, двести фунтов, а служа в армии, полгода не будет делать долгов,— что он решил твердо и бесповоротно,— то это даст ему четыреста фунтов в год экономии, а за пять лет две тысячи фунтов — сумму не малую. Затем он так чистосердечно, так искренне начал говорить о том, какую

жертву приносит, временно расставаясь с Адой, как жаждет он любовью вознаградить ее за любовь и дать ей счастье (а он действительно этого жаждал всегда, что мне было хорошо известно), как стремится побороть свои недостатки и развить в себе настоящую решимость; а я слушала, и сердце мое горестно сжималось. И я думала: чем все это кончится, чем все это может кончиться, если и мужество его и стойкость были так рано и так неисцелимо подорваны роковым недугом, который губит всех, кто им заражен?

Я стала говорить с Ричардом со всей страстностью, на какую была способна, со всей надеждой, которой у меня почти не было; стала умолять его хоть ради Ады не возлагать упований на Канцлерский суд. А Ричард, охотно соглашаясь со мной, продолжал витать со свойственной ему легкостью вокруг Канцлерского суда и всего прочего, расписывая мне самыми радужными красками, каким он станет решительным человеком... увы, лишь тогда, когда губительная тяжба выпустит его на волю! Говорили мы долго, но, в сущности, все об одном и том же.

Наконец мы подошли к площади Сохо *, где Кедди Джеллиби обещала ждать меня, считая, что это наиболее подходящее место, так как здесь было не людно, да и от Ньюмен-стрит близко. Кедди сидела в садике, разбитом посреди площади, и, завидев меня, поспешила выйти. Весело поболтав с нею, Ричард ушел, оставив нас вдвоем.

— У Принца тут, через дорогу, живет ученица, Эстер,— сказала Кедди,— и он добыл для нас ключ от садика. Хотите погуляем здесь вместе — мы запремся, и я без помехи расскажу вам, почему мне хотелось увидеть ваше милое, доброе личико.

— Отлично, дорогая, лучше не придумать,— сказала я.

И вот, Кедди, ласково поцеловав мое «милое, доброе личико», как она сказала, заперла калитку, взяла меня под руку, и мы стали с удовольствием прогуливаться по саду.

— Видите ли, Эстер,— начала Кедди, глубоко наслаждаясь возможностью поговорить по душам,— вы находите, что мне не следует выходить замуж без ведома мамы и даже скрывать от нее нашу помолвку, и хоть я не верю, что мама интересуется моей жизнью, но, раз вы

так находите, я решила передать Принцу ваши слова. Во-первых, потому, что мне всегда хочется поступать, как вы советуете, и, во-вторых, потому, что у меня нет тайн от Принца.

— Надеюсь, он согласился со мной, Кедди?

— Милая моя! Да он согласится со всем, что вы скажете. Вы и представить себе не можете, какого он о вас мнения!

— Ну, что вы!

— Эстер, другая на моем месте воспылала бы ревностью,— проговорила Кедди, смеясь и качая головой,— а я только радуюсь — ведь вы моя первая подруга, и лучшей подруги у меня не будет, так что чем больше вас любят, тем приятнее мне.

— Слушайте, Кедди,— сказала я,— все вокруг как будто сговорились баловать меня, и вы, должно быть, участвуете в этом заговоре. Ну, что же дальше, милая?

— Сейчас расскажу,— ответила Кедди, доверчиво взяв меня за руку.— Мы много говорили обо всем этом, и я сказала Принцу: «Принц, если мисс Саммерсон...»

— Надеюсь, вы не назвали меня «мисс Саммерсон»?

— Нет... Конечно, нет! — воскликнула Кедди, очень довольная и сияющая.— Я назвала вас «Эстер». Я сказала Принцу: «Если Эстер решительно настаивает, Принц, и постоянно напоминает об этом в своих милых письмах,— а ты ведь с большим удовольствием слушаешь, когда я читаю их тебе,— то я готова открыть маме всю правду, как только ты найдешь нужным. И мне кажется, Принц,— добавила я,— Эстер полагает, что мое положение будет лучше, определеннее и достойнее, если ты тоже скажешь обо всем своему папе».

— Да, милая,— проговорила я,— Эстер действительно так полагает.

— Значит, я была права! — воскликнула Кедди.— Однако это сильно встревожило Принца,— конечно, не потому, что он хоть капельку усомнился в том, что о нашей помолвке нужно сказать его папе, но потому, что он очень считается с мистером Тарвидропом-старшим и боится, как бы мистер Тарвидроп-старший не пришел в отчаяние, не лишился чувств или вообще как-нибудь не пострадал, услышав такую новость. Принц опасается, как

бы мистер Тарвидроп-старший не подумал, что он нарушил сыновний долг, а это было бы для него жестоким ударом. Ведь вы знаете, Эстер, у мистера Тарвидропа-старшего исключительно хороший тон,— добавила Кедди,— и он необычайно чувствительный человек.

— Разве так, милая моя?

— Необычайно чувствительный. Так говорит Принц. Поэтому мой милый мальчуган... у меня это нечаянно вырвалось, Эстер,— извинилась Кедди и густо покраснела,— но я привыкла называть Принца своим милым мальчуганом.

Я рассмеялась, а Кедди, тоже смеясь и краснея, продолжала:

— Поэтому он...

— Кто он, милая?

— Насмешница какая! — сказала Кедди, и ее хорошенькое личико запылало.— Мой милый мальчуган, раз уж вам так хочется! Он мучился из-за этого несколько недель и так волновался, что со дня на день откладывал разговор. В конце концов он сказал мне: «Кедди, папенька очень ценит мисс Саммерсон, и если ты упросишь ее присутствовать при моей беседе с ним, тогда я, пожалуй, решусь». И вот я обещала попросить вас. А если вы согласитесь,— Кедди посмотрела на меня с робкой надеждой,— то, может быть, после пойдете со мной и к маме? Это я и хотела сказать, когда написала, что хочу попросить вас о большом одолжении и большой услуге. И если вы так сделаете, Эстер, мы оба будем вам очень благодарны.

— Дайте мне подумать, Кедди,— сказала я, притворяясь, что обдумываю ее слова.— Право же, я могла бы сделать и больше, если бы потребовалось. Я когда угодно готова помочь вам и вашему милому мальчугану, дорогая.

Мой ответ привел Кедди в полный восторг, да и немудрено,— ведь у нее было такое нежное сердце, каких мало найдется на свете, и оно так чутко отзывалось на малейшее проявление доброты и одобрения,— и вот мы еще два-три раза обошли садик, пока Кедди надевала свои новенькие перчатки и прихорашивалась, как умела, чтобы не ударить лицом в грязь перед «Образцом хорошего тона», а потом отправились прямо на Ньюмен-стрит.

Как и следовало ожидать, Принц давал урок. На этот раз он обучал не очень успевающую ученицу — упрямую и хмурую девочку с низким голосом, при которой застыла в неподвижности недовольная мамаша — а смущение, в которое мы повергли учителя, отнюдь не способствовало успехам ученицы. Урок все время как-то не ладился, а когда он пришел к концу, девочка переменила туфли и закуталась в шаль, закрыв ею свое белое муслиновое платье; затем ее увели. Немного поговорив, мы отправились искать мистера Тарвидропа-старшего и нашли этот «Образец хорошего тона» вместе с его цилиндром и перчатками расположившимися на диване в своей опочивальне — единственной хорошо обставленной комнате во всей квартире. Судя по всему, он только что завершил свой туалет — его шкатулка с туалетными принадлежностями, щетки и прочие вещи, все очень изящные и дорогие, были разбросаны повсюду,— причем одевался он не спеша и порой отрываясь от этого занятия, чтобы слегка закусить.

— Папенька, к нам пожаловали мисс Саммерсон... и мисс Джеллиби.

— Я в восторге! В упоенье! — воскликнул мистер Тарвидроп, вставая, и поклонился нам, высоко вздернув плечи.— Соблаговолите! — Он подвинул нам стулья.— Присядьте! — Он поцеловал кончики пальцев левой руки.— Я осчастливлен! — Он то закрывал глаза, то вращал ими.— Мое скромное пристанище превратилось в райскую обитель.— Он опять расположился на диване в позе «второго джентльмена Европы» *.

— Мисс Саммерсон,— начал он,— вы снова видите, как мы занимаемся нашим скромным искусством — наводим лоск... лоск... лоск! Снова прекрасный пол вдохновляет нас и вознаграждает, удостаивая нас своим чарующим присутствием. В наш век (а мы пришли в ужасный упадок со времен его королевского высочества принца-регента, моего патрона,— если осмелюсь так выразиться) — в наш век большое значение имеет уверенность в том, что хороший тон еще не совсем попран ногами ремесленников. Что его, сударыня, еще может озарять улыбка Красоты.

Я решила, что на эти слова лучше не отвечать, а он взял понюшку табаку.

— Сын мой,— проговорил мистер Тарвидроп,— сегодня во второй половине дня у тебя четыре урока. Я посоветовал бы тебе наскоро подкрепиться бутербродом.

— Благодарю вас, папенька; я всюду попаду вовремя,— отозвался Принц.— Дражайший папенька, убедительно прошу вас подготовиться к тому, что я хочу вам сказать!

— Праведное небо! — воскликнул «Образец», бледный и ошеломленный, когда Принц и Кедди, взявшись за руки, опустились перед ним на колени.— Что с ними? Они с ума сошли? А если нет, так что с ними?

— Папенька,— проговорил Принц с величайшей покорностью,— я люблю эту молодую леди, и мы обручились.

— Обручились! — возопил мистер Тарвидроп, откидываясь на спинку дивана и закрывая глаза рукой.— Стрела вонзилась мне в голову, и пущена она моим родным детищем!

— Мы давно уже обручились, папенька,— запинаясь, продолжал Принц,— а мисс Саммерсон, узнав об этом, посоветовала нам рассказать вам обо всем и была так добра, что согласилась присутствовать здесь сегодня. Мисс Джеллиби глубоко уважает вас, папенька.

Мистер Тарвидроп издал стон.

— Успокойтесь, прошу вас! Прошу вас, папенька, успокойтесь! — молил сын.— Мисс Джеллиби глубоко уважает вас, и мы прежде всего стремимся заботиться о ваших удобствах.

Мистер Тарвидроп зарыдал.

— Прошу вас, папенька, успокойтесь! — воскликнул сын.

— Сын мой,— проговорил мистер Тарвидроп,— хорошо, что святая женщина — твоя мать — избежала этих мук. Рази глубже и не щади меня. Разите в сердце, сэр, разите в сердце!

— Прошу вас, папенька, не говорите так! — умолял его Принц, весь в слезах.— У меня прямо душа разрывается. Уверяю вас, папенька, главное наше желание и стремление — это заботиться о ваших удобствах. Каро-



лайн и я, мы не забываем о своем долге,— ведь мой долг — это и ее долг, как мы с ней не раз говорили,— и с вашего одобрения и согласия, папенька, мы всеми силами постараемся скрасить вам жизнь.

— Рази в сердце! — бормотал мистер Тарвидроп.— Рази в сердце!

Но, мне кажется, он начал прислушиваться к словам сына.

— Дорогой папенька,— продолжал Принц,— мы прекрасно знаем, что вы привыкли к маленьким удобствам, на которые имеете полное право, и мы всегда и прежде всего будем стараться, чтобы вы ими пользовались,— для нас это станет делом чести. Если вы удостоите нас своего одобрения и согласия, папенька, нам и в голову не придет венчаться, пока вы не найдете это желательным, а когда мы поженимся, мы, само собой разумеется, будем прежде всего соблюдать ваши интересы. Вы всегда будете здесь главою семьи и хозяином дома, папенька, и мы были бы просто бесчеловечными, если б не поняли этого и всячески не старались угодить вам во всем.

Мистер Тарвидроп перенес жестокую внутреннюю борьбу; но вот он оторвался от спинки дивана — причем пухлые его щеки легли на туго замотанный шейный платок — и выпрямился, снова превратившись в совершенный образец отцовского хорошего тона.

— Сын мой! — изрек мистер Тарвидроп.— Дети мои! Я не в силах устоять перед вашими мольбами. Будьте счастливы!

Благодушие, с каким он поднял с полу будущую невестку и протянул руку сыну (который поцеловал ее с искренним уважением и благодарностью), произвело на меня прямо ошеломляющее впечатление.

— Дети мои,— начал мистер Тарвидроп, отечески обнимая левой рукой севшую рядом с ним Кедди и грациозно уперев правую руку в бок,— сын мой и дочь моя, я буду заботиться о вашем благополучии. Я буду опекать вас. Вы всегда будете жить у меня (этим он хотел сказать, что всегда будет жить у них) — отныне этот дом так же принадлежит вам, как и мне,— считайте его своим родным домом. Да пошлет вам провидение долгую жизнь, чтобы обитать в нем со мною!

И так велика была власть его хорошего тона, что влюбленные преисполнились искренней благодарности, словно он принес им какую-то огромную жертву, а не устроился у них на содержании до конца дней своих.

— Что до меня, дети мои,— продолжал мистер Тарвидроп,— то я вступаю в ту пору своей жизни, когда желтеют и увядают листья, и нельзя предвидеть, как долго сохранятся последние, едва заметные, следы джентльменского хорошего тона в наш век ткачей и прядильщиков. Но пока что я по-прежнему буду выполнять свой долг перед обществом и, как всегда, показываться в городе. Потребности у меня немногочисленные и скромные. Вот эта моя комнатка, самое необходимое по части моего туалета, мой скудный завтрак и мой простой обед — и с меня довольно. Заботу об этих потребностях я возлагаю на вашу преданную любовь, а на себя возлагаю все остальное.

Эта столь необычайная щедрость снова повергла в умиление жениха и невесту.

— Сын мой,— проговорил мистер Тарвидроп,— у тебя нет кое-каких качеств, вернее нет хорошего тона, с которым человек рождается,— его можно усовершенствовать воспитанием, но нельзя приобрести — однако в этом отношении ты по-прежнему можешь полагаться на меня. Я стоял на своем посту со времен его королевского высочества принца-регента; я не сойду с него и теперь. Нет, сын мой. Если ты когда-нибудь взирал с чувством гордости на скромное общественное положение своего отца, будь уверен, что я ни в малейшей степени не запятнаю своей репутации. Ты, Принц, иного склада человек (все люди не могут быть одинаковыми, да это и не желательно), поэтому работай, старайся, зарабатывай деньги и, насколько возможно, расширяй масштаб своей деятельности.

— Все это я буду делать от всего сердца, дражайший папенька: можете на меня положиться,— отозвался Принц.

— Не сомневаюсь,— сказал мистер Тарвидроп.— Способности у тебя не блестящие, дитя мое, но ты прилежен и услужлив. И во имя той святой Женщины, чью жизнь я, смею думать, имел счастье озарить *ярким*

Лучом света, я буду напутствовать вас обоих, дети мои, следующими словами: заботьтесь о нашем заведении, заботьтесь об удовлетворении моих скромных потребностей, и да пребудет с вами мое благословение!

Тут мистер Тарвидроп-старший сделался чрезмерно галантным,— должно быть, в честь знаменательного события,— и мне пришлось сказать Кедди, что если мы хотим попасть к ней в Тейвис-Инн сегодня, то нам следует отправиться туда немедленно. Кедди ласково простилась со своим женихом, мы ушли, и всю дорогу она была так весела и так расхваливала мистера Тарвидропа-старшего, что я ни за что на свете не согласилась бы осудить его хоть единым словом.

На окнах дома в Тейвис-Инне, занятого семейством Джеллиби, были расклеены объявления о том, что дом сдается внаймы, и теперь он казался еще грязнее, темнее и неприютнее, чем всегда. Всего лишь день-два назад бедного мистера Джеллиби внесли в список банкротов, а сегодня он заперся в столовой с двумя джентльменами и, окруженный грудами синих мешков с бумагами, счетоводных книг и каких-то документов, делал самые отчаянные попытки разобраться в своих делах. Но эти дела, судя по всему, были выше его понимания, и когда Кедди по ошибке привела меня в столовую, мы увидели, что мистер Джеллиби, в очках на носу, растерянно сидит, загнанный в угол, между большим обеденным столом и обоими джентльменами, а лицо у него такое, словно он решил махнуть рукой на все, потерял дар слова и ничего уже больше не чувствует.

Поднявшись наверх, в комнату миссис Джеллиби (дети кричали на кухне, а прислуги нигде не было видно), мы увидели, что хозяйка дома занята своей обширной корреспонденцией — распечатывает, читает и сортирует письма, а на полу накапливается громадная куча разорванных конвертов. Миссис Джеллиби была так озабочена, что не сразу узнала меня, хотя и смотрела мне прямо в лицо своими странными блестящими глазами, устремленными куда-то вдаль.

— А! Мисс Саммерсон! — проговорила она наконец.— Я думала совсем о другом! Надеюсь, вы хорошо

себя чувствуете? Очень рада вас видеть. Как чувствуют себя мистер Джарндис и мисс Клейр?

В ответ я выразила надежду, что мистер Джеллиби тоже чувствует себя хорошо.

— Да нет, не вполне, моя милая,— возразила миссис Джеллиби самым невозмутимым тоном.— Ему не повезло в делах, и он немного расстроен. К счастью для меня, я так занята, что мне некогда об этом думать. Теперь, мисс Саммерсон, у нас уже сто семьдесят семейств, в среднем по пяти человек в каждом, переселились или желают переселиться на левый берег Нигера.

Я вспомнила о той семье, которая жила тут, в этом доме, и еще не переселилась, да и не желала переселяться на левый берег Нигера, и не поняла, как может миссис Джеллиби оставаться такой спокойной.

— Я вижу, вы привели домой Кедди,— заметила миссис Джеллиби, взглянув на дочь.— Теперь даже странно видеть ее дома. Она почти совсем забросила свои прежние занятия и прямо-таки вынудила меня нанять мальчика.

— Но, мама...— начала Кедди.

— Ты же знаешь, Кедди,— мягко перебила ее мать,— что я *действительно* наняла мальчика,— сейчас он ушел обедать. К чему противоречить?

— Я не хотела противоречить, мама,— отозвалась Кедди.— Я только хотела сказать, что вы ведь и сами не собирались заставлять меня тянуть лямку всю жизнь.

— Я полагаю, милая,— возразила миссис Джеллиби, продолжая вскрывать письма, с улыбкой пробегать их блестящими глазами и раскладывать по разным местам,— я полагаю, что твоя мать для тебя образец деловой женщины. Далее. Как это ты сказала: «Тянуть лямку всю жизнь»? Если бы ты хоть сколько-нибудь интересовалась судьбами человеческого рода, ты не так относилась бы к делу. Но высокие интересы тебе чужды. Я часто говорила тебе, Кедди, что судьбами человеческого рода ты ничуть не интересуешься.

— Да, мама, Африкой я действительно не интересуюсь.

— Конечно, нет. И не будь я, к счастью, так занята, мисс Саммерсон,— продолжала миссис Джеллиби, бросая

на меня мимолетный ласковый взгляд и раздумывая, куда бы положить только что вскрытое письмо,— это могло бы меня огорчать и расстраивать. Но в связи с Бориобула-Гха мне приходится думать о стольких вещах, на которых необходимо сосредоточиваться, что это служит для меня лекарством.

Кедди бросила на меня умоляющий взгляд, и, так как миссис Джеллиби снова устремила глаза на далекую Африку — прямо сквозь мою шляпу и голову,— я решила, что настал подходящий момент перейти к цели своего визита и привлечь к себе внимание миссис Джеллиби.

— Пожалуй, вы удивитесь,— начала я,— когда узнаете, зачем я пришла сюда и прервала ваши занятия.

— Я всегда рада видеть вас, мисс Саммерсон,— отозвалась миссис Джеллиби, спокойно улыбаясь и не переставая заниматься своим делом,— но мне жаль,— и она покачала головой,— что вы так равнодушны к бориобульскому проекту.

— Я пришла с Кедди,— сказала я,— ибо Кедди — и в этом она права — считает, что у нее не должно быть никаких тайн от матери, и думает, что я могу поддержать ее и помочь ей (хоть я сама не знаю, каким образом) открыть вам одну тайну.

— Кедди,— обратилась миссис Джеллиби к дочери, на миг оторвавшись от работы, но сейчас же безмятежно принялась за нее снова, покачав головой,— ты обязательно скажешь мне какую-нибудь глупость.

Кедди развязала ленты своей шляпы, сняла ее и, держа за завязки, принялась раскачивать над полом, но вдруг залилась слезами и пролепетала:

— Мама, я выхожу замуж.

— Вот нелепая девчонка! — заметила миссис Джеллиби с отсутствующим видом, просматривая только что распечатанное письмо.— Какая ты дурочка!

— Я выхожу замуж, мама,— всхлипывала Кедди,— за мистера Тарвидропа-младшего из танцевальной академии, а мистер Тарвидроп-старший (он, право же, настоящий джентльмен) дал свое согласие, и я прошу и умоляю вас, мама, тоже дать согласие, потому что без него я никогда не буду счастлива. Никогда, никогда! —

всхлипывала Кедди, начисто позабыв о своих обидах и обо всем на свете, кроме любви к матери.

— Вот вы опять видите, мисс Саммерсон,— все также безмятежно заметила миссис Джеллиби,— какое это счастье, что я так занята и обязана сосредоточиться на чем-то одном. Кедди обручилась с сыном какого-то учителя танцев... водит знакомство с людьми, которые интересуются судьбами человечества не больше, чем она сама! И это в то время, как мистер Куэйл, один из виднейших филантропов нашего века, сказал мне, что готов сделать ей предложение!

— Мама, я всегда ненавидела и терпеть не могла мистера Куэйла! — проговорила Кедди, всхлипывая.

— Ах, Кедди, Кедди! — отозвалась миссис Джеллиби, с величайшим благодушием распечатывая следующее письмо.— Я в этом не сомневаюсь. Как ты могла относиться к нему иначе, если у тебя нет и крупицы тех интересов, которыми он так переполнен? Если бы общественные обязанности не были моим любимым детищем, если бы я не была занята обширными предприятиями мирового масштаба, все эти мелочи, признаюсь, могли бы меня глубоко огорчать, мисс Саммерсон. Но могу ли я допустить, чтобы сумасбродства Кедди (от которой я ничего другого и не ожидаю) встали преградой между мной и великим африканским материком? Нет. Нет,— повторила миссис Джеллиби спокойным, ясным голосом и с приятной улыбкой, продолжая распечатывать и сортировать письма.— Нет, конечно.

Я была так мало подготовлена к столь холодному приему, хоть и ожидала его, что просто не находила слов. Кедди, по-видимому, тоже совершенно растерялась. А миссис Джеллиби по-прежнему вскрывала и сортировала письма, время от времени повторяя ласковым голосом и с невозмутимой улыбкой:

— Нет, конечно.

— Надеюсь, мама,— всхлипнула в заключение бедная Кедди,— вы на меня не сердитесь?

— Ну, Кедди, значит, ты и вправду глупая девчонка, если продолжаешь задавать мне такие вопросы после того, как я тебе рассказала о своих заботах, поглощающих все мое внимание,— ответила миссис Джеллиби.

— Надеюсь, мама, вы даете согласие и желаете нам счастья? — проговорила Кедди.

— Если ты так поступила, значит ты просто неразумное дитя,— сказала миссис Джеллиби,— и даже испорченное дитя; а ведь ты могла бы посвятить себя грандиозной общественной деятельности. Но шаг сделан, я наняла мальчика, и говорить больше не о чем. Нет, Кедди, пожалуйста, не надо,— проговорила миссис Джеллиби, когда Кедди попыталась ее поцеловать,— не мешай работать; дай же мне разобраться в этой куче бумаг до прихода послеобеденной почты!

Я решила, что делать мне тут больше нечего и пора уходить. Однако мне пришлось ненадолго задержаться, так как Кедди сказала:

— Вы позволите, мама, привести его сюда и познакомить с вами?

— О господи, Кедди! — воскликнула миссис Джеллиби, уже успевшая погрузиться в созерцание какой-то неведомой дали.— Ты опять? Кого привести?

— Его, мама.

— Кедди, Кедди! — промолвила миссис Джеллиби, которой все эти пустяки, должно быть, осточертели.— Если уж тебе так хочется, приведи его как-нибудь вечером, когда не будет ни собрания Главного Общества, ни совещания Отдела, ни заседания Подотдела. Тебе придется согласовать этот визит с расписанием моих занятий. Дорогая мисс Саммерсон, вы были очень любезны, что пришли сюда помочь этой глупышке. До свидания! Сегодня утром я получила еще пятьдесят восемь писем от рабочих семейств, желающих ознакомиться с различными деталями вопроса о культивировании кофе и туземцев, значит мне незачем просить извинения за то, что у меня так мало досуга.

Меня нисколько не удивило, что Кедди расстроилась и, когда мы спускались по лестнице, снова зарыдала, бросившись мне на шею и говоря, что лучше бы ее выбранили, чем отнеслись к ней так безучастно, а потом призналась, что ей почти не во что одеться, и она прямо не знает, как ей удастся выйти замуж прилично. Однако я постепенно утешила ее, заведя разговор о том, как много она будет делать для своего несчастного отца и Пишика,

когда заживет своим домом; и вот, наконец, мы спустились вниз, в сырую темную кухню, где Пищик валялся на каменном полу со своими братцами и сестрицами и где мы затеяли с ними такую возню, что я побоялась, как бы меня не разорвали на куски, и поскорее принялась рассказывать им сказки. Время от времени я слышала у себя над головой громкие голоса, доносившиеся из столовой, и грохот падающей мебели. Грохот, боюсь, объяснялся тем, что бедный мистер Джеллиби все еще силился разобраться в своих делах, но после каждой бесплодной попытки отрывался от обеденного стола и устремлялся к окну, намереваясь выброситься из него во дворик.

Вечером, мирно возвращаясь домой после этого беспокойного дня, я много думала о помолвке Кедди, твердо надеясь, что (несмотря на мистера Тарвидропа-старшего) девушка будет счастливее, чем теперь. Да, думала я, и она и муж ее едва ли когда-нибудь поймут, что̀ представляет собою в действительности «Образец хорошего тона»; что ж, тем лучше для них, и стоит ли желать им узнать истину? Я лично вовсе не хотела, чтобы они эту истину узнали, и мне даже было почти стыдно, что сама я не вполне верю в мистера Тарвидропа-старшего. И еще я смотрела на звезды и думала о тех, кто путешествует по дальним странам, и о звездах, которые видят *они*, и надеялась, что, быть может, и на мою долю выпадет благодать и счастье приносить пользу кому-нибудь по мере моих слабых сил.

Когда я вернулась домой, наши, по обыкновению, так обрадовались мне, что я, наверное, села бы и расплакалась от умиления, если бы не знала, что это будет им неприятно. Все в доме от первого до последнего человека приветствовали меня с такими сияющими лицами, разговаривали со мной так весело и были так рады хоть чем-нибудь мне услужить, что во всем мире, думалось мне, не нашлось бы никого счастливее меня.

В тот вечер мы долго засиделись за разговором, потому что Ада и опекун заставили меня подробно рассказать про Кедди, и я болтала, болтала, болтала без умолку. Наконец я ушла к себе наверх, краснея при мысли о том, как я разглагольствовала, и вдруг услышала негромкий стук в дверь. Я сказала: «Войдите!», и в комнату вошла

хорошенькая маленькая девочка, чистенько одетая в траурное платье, и сделала мне реверанс.

— Позвольте вам доложить, мисс,— сказала девочка нежным голосом,— я Чарли.

— Ну да, конечно Чарли,— в изумлении воскликнула я, наклоняясь и целуя ее.— Как я рада видеть тебя, Чарли!

— Позвольте вам доложить, мисс,— продолжала Чарли все тем же нежным голосом,— я теперь ваша горничная.

— Ты, Чарли?

— Позвольте вам доложить, мисс, это вам подарок от мистера Джарндиса, а еще он шлет привет.

Я села и, обняв Чарли, смотрела на нее не отрывая глаз.

— Ах, мисс! — проговорила Чарли, всплеснув руками, и слезы потекли по ямочкам на ее щеках.— Том в школе, позвольте вам доложить, и учится так хорошо! А маленькая Эмма, мисс, она у миссис Блайндер, мисс, и о ней так заботятся! А Том давно уже поступил бы в школу, а Эмма перешла бы к миссис Блайндер, а я приехала бы сюда, но мистер Джарндис считал, что Тому, и Эмме, и мне надо было сначала привыкнуть к тому, что придется нам жить врозь,— ведь мы такие маленькие! Не плачьте, пожалуйста, мисс!

— Не могу удержаться, Чарли.

— Да, мисс, я тоже не могу удержаться,— сказала Чарли.— И позвольте вам доложить, мисс, мистер Джарндис шлет привет и думает, что вы захотите давать мне уроки. И, позвольте вам доложить, Том, и Эмма, и я — мы будем видеться раз в месяц. И я так счастлива и так благодарна, мисс,— воскликнула Чарли от полноты сердца,— и я постараюсь быть такой хорошей горничной!

— Чарли, милая, никогда не забывай того, кто все это сделал!

— Нет, мисс, никогда не забуду. И Том не забудет. И Эмма. Все это благодаря вам, мисс.

— Да я ничего об этом не знала. Все сделал мистер Джарндис, Чарли.

— Да, мисс, но он это сделал из любви к вам и чтобы вы стали моей хозяйкой. Позвольте вам доложить, мисс,

это вам маленький подарок от него — с приветом; и все это он сделал из любви к вам. Мне и Тому приказано это запомнить.

Чарли вытерла глаза и принялась выполнять свои новые обязанности — расхаживать по комнате с хозяйственным видом и прибирать все, что попадалось под руку. Но вдруг Чарли подкралась ко мне сбоку и проговорила:

— Ах, мисс, не плачьте, пожалуйста.

И я повторила:

— Не могу удержаться, Чарли.

А Чарли тоже повторила:

— Да, мисс, и я не могу удержаться.

Так что я все-таки немного поплакала от радости, и она тоже.

ГЛАВА XXIV

Апелляция

Вскоре после моей беседы с Ричардом, о которой я уже писала, он рассказал о своих планах мистеру Джарндису. Опекуна это признание, вероятно, не застало врасплох, но все-таки очень огорчило и разочаровало. Теперь они с Ричардом нередко разговаривали наедине, то поздно вечером, то рано утром, проводили целые дни в Лондоне, постоянно встречались с мистером Кенджем и были обременены кучей неприятных хлопот. Все время, пока они были заняты этими делами, опекун очень страдал от восточного ветра и так часто ерошил свою шевелюру, что, кажется, ни один волос у него не лежал на месте; тем не менее со мной и Адой он был так же ласков, как и прежде, только никогда не говорил о делах Ричарда. Как мы ни старались, мы ничего не могли добиться и от самого Ричарда, кроме неопределенных заверений, что «все идет как нельзя лучше и наконец-то все в порядке», а это не могло рассеять нашу тревогу.

Однако мы со временем узнали, что лорд-канцлеру была подана новая просьба от имени Ричарда, как «несовершеннолетнего» и «состоящего под опекой суда» и не знаю еще кого, и что по этому поводу велись бесконеч-

ные переговоры, а лорд-канцлер во время заседания открыто назвал Ричарда «надоедливым и капризным несовершеннолетним»; узнали также, что решение все откладывали и откладывали, что собирали справки, делали доклады и подавали прошения, пока, наконец, Ричард (как он сам нам говорил) не начал подумывать, что если он вообще когда-нибудь поступит на военную службу, то не раньше чем стариком лет семидесяти — восьмидесяти. В конце концов его вызвали в кабинет лорд-канцлера, и лорд-канцлер сделал ему очень строгое внушение за то, что он без толку проводит время и сам не знает, чего хочет («Не им бы говорить, не мне слушать!» — сказал Ричард по этому поводу), но в конце концов все-таки было решено удовлетворить его просьбу. Его зачислили в конногвардейский полк кандидатом на патент прапорщика, деньги на покупку патента внесли агенту, а сам Ричард, как и следовало ожидать, с головой ушел в изучение военных наук и каждое утро вставал в пять часов, чтобы упражняться в фехтовании.

Каникулы суда приходили на смену сессиям, а сессии каникулам. Время от времени мы узнавали, что тяжба «Джарндисы против Джарндисов» назначена к слушанию или отложена, должна рассматриваться или пересматриваться, так что она то появлялась на сцене, то исчезала. Ричард жил теперь у одного профессора в Лондоне и уже не мог бывать у нас так часто, как раньше; опекун был по-прежнему сдержан; и так вот и проходило время, пока патент не был выдан и Ричард не получил приказа явиться в свой полк, стоявший в Ирландии.

Он сломя голову примчался к нам как-то вечером с этой новостью и долго беседовал с опекуном. Примерно через час опекун заглянул в комнату, где сидели мы с Адой, и позвал нас: «Подите-ка сюда, девочки!» Мы вошли и увидели, что Ричард, который только что был в прекрасном расположении духа, сейчас стоит, прислонившись к камину, чем-то недовольный и сердитый.

— Я хочу сказать вам, Ада,— начал мистер Джарндис,— что мы с Риком несколько разошлись во взглядах. Ну, ну, Рик, не хмурьтесь!

— Вы ко мне слишком жестоки, сэр,— проговорил Ричард.— И мне это больно, особенно потому, что во всех

прочих отношениях вы всегда были так снисходительны и сделали мне столько добра, что я ввек за него не отплачу. Без вас я никогда бы не мог найти правильный путь, сэр.

— Ладно, ладно! — сказал мистер Джарндис.— Но я хочу, чтобы вы стали на еще более правильный путь. Я хочу, чтобы вы нашли правильный путь в самом себе.

— Надеюсь, вы извините меня, сэр,— возразил Ричард с жаром, но все-таки почтительно,— если я скажу, что считаю себя наилучшим судьей во всем, что касается меня самого.

— Надеюсь, вы извините меня, дорогой Рик,— ласково проговорил опекун веселым и добродушным тоном,— если я скажу, что для вас это вполне естественно; но я иного мнения. Я обязан исполнить свой долг, Рик, а не то вы перестанете меня уважать, когда остынете; я же хотел бы, чтобы вы всегда меня уважали — и когда вы в пылу и когда остываете.

Ада так побледнела, что опекун заставил ее сесть в свое кресло — то, в котором он обычно читал,— и сам сел рядом с нею.

— Пустяки, дорогая моя, все это пустяки,— сказал он.— Просто у нас с Ричардом произошла размолвка, какие бывают и у близких друзей, и мы должны сказать об этом вам, потому что именно вы послужили ее причиной. Ну вот, вас уже пугает то, что вам придется услышать.

— Вовсе нет, кузен Джон,— возразила Ада с улыбкой,— если, конечно, это исходит от вас.

— Благодарю вас, дорогая. Уделите мне минутку внимания, выслушайте меня спокойно и в это время не смотрите на Ричарда. И вы тоже, Хозяюшка. Дорогая моя девочка,— продолжал он, прикрыв ладонью руку Ады, лежавшую на подлокотнике кресла,— вы помните, о чем говорили мы четверо, когда наша Хлопотунья рассказала мне об одной маленькой любовной истории?

— Ричард и я, мы никогда не забудем, как добры вы были к нам в тот день, кузен Джон.

— Я никогда не забуду этого,— подтвердил Ричард.

— И я не забуду,— повторила Ада.

— Тем легче мне сейчас высказать то, что я должен

сказать, и тем легче нам столковаться,— отозвался опекун, лицо которого как бы излучало всю нежность и благородство его сердца.— Ада, пташка моя, вам следует знать, что теперь Ричард избрал себе специальность в последний раз. Все деньги, какие у него еще остались, уйдут на экипировку. Он растратил свое состояние и отныне привязан к дереву, которое посадил сам.

— Я действительно растратил свое теперешнее состояние, что, впрочем, меня ничуть не огорчает. Но то, что у меня осталось, сэр,— сказал Ричард,— это далеко не все, что я имею.

— Рик, Рик! — в ужасе воскликнул опекун изменившимся голосом и взмахнул руками, словно собираясь зажать себе уши.— Ради бога, не возлагайте никаких надежд и ожиданий на это родовое проклятие! Что бы вы ни делали в жизни, не бросайте и мимолетного взгляда на тот страшный призрак, который преследует нас уже столько лет. Лучше брать в долг, лучше просить подаяние, лучше умереть!

Все мы были потрясены страстностью, с какой он произнес эти слова. Ричард закусил губу и, затаив дыхание, смотрел на меня так, словно понимал, как важно для него предостережение опекуна, и знал, что я тоже это понимаю.

— Милая моя Ада,— сказал мистер Джарндис, успокоившись,— свой совет я высказал слишком резко; но ведь я живу в Холодном доме, и чего только я в нем не перевидал! Впрочем, об этом ни слова больше. Все средства, какими Ричард располагал, чтобы начать свой жизненный путь, теперь поставлены на карту. Я советую ему и вам, ради его же блага и ради вашего, решить перед разлукой, что вы ничем друг с другом не связаны. Пойду дальше. Буду говорить напрямик с вами обоими. Вы ничего не хотели скрывать от меня; и я тоже хочу говорить с вами откровенно. Я прошу вас считать, что пока вас больше не связывают никакие узы, кроме родственных.

— Лучше сразу сказать, сэр,— возразил Ричард,— что вы совершенно лишили меня своего доверия и советуете Аде поступить так же.

— Лучше не говорить этого, Рик, потому что это неправда.

— Вы считаете, что я плохо начал, сэр,— упирался Ричард.— Да, *начал* я плохо.

— О том, *как* вам, по-моему, надо было начать и *как* продолжать, я говорил, когда мы в последний раз беседовали с вами,— сказал мистер Джарндис сердечным и ободряющим тоном.— Пока что вы ничего не начали, но всему свое время, и ваше еще не упущено... вернее, оно наступило теперь. Так начните же как следует! Вы оба еще очень молоды, милые мои, и вы в родстве друг с другом, но пока вы только родственники. Если же вас свяжут и более крепкие узы, то лишь тогда, Рик, когда вы для этого поработаете, не раньше.

— Вы ко мне слишком жестоки, сэр,— сказал Ричард,— не ждал я от вас такой жестокости.

— Милый мой мальчик, я еще более жесток к самому себе, когда огорчаю вас,— возразил мистер Джарндис.— Ваше лекарство в ваших руках. Ада, Рику будет лучше, если он вновь сделается свободным, если его перестанет связывать ваша ранняя помолвка. Рик, для Ады это будет лучше, гораздо лучше,— в этом ваш долг перед нею. Ну, решайтесь! Пусть каждый из вас поступит так, чтобы не ему самому, а другому было лучше.

— Но почему же это лучше, сэр? — мгновенно откликнулся Ричард.— Когда мы открылись вам, вы не считали, что «так лучше». Тогда вы говорили другое.

— С тех пор я узнал кое-что новое. Я не обвиняю вас, Рик, но с тех пор я узнал кое-что новое.

— Очевидно, насчет меня, сэр?

— Что ж, пожалуй; вернее, насчет вас обоих,— ласково ответил мистер Джарндис.— Для вас еще не настала пора взаимных обещаний. Все это пока преждевременно, и я не имею права дать согласие на вашу помолвку. Решайтесь же, мои юные друзья, решайтесь и начинайте сызнова! Что было, то прошло, и для вас открылась новая страница — вот и пишите на ней историю своей жизни.

Ричард бросил на Аду встревоженный взгляд, но ничего не сказал.

— Я до сих пор избегал говорить об этом с вами обоими и с Эстер,— продолжал мистер Джарндис,— по-

тому что хотел, чтобы все мы потолковали вместе, вполне откровенно и на равных началах. Теперь же я от всего сердца советую вам, теперь я настоятельно прошу вас вернуться к тем отношениям, в каких вы были, когда приехали сюда. Предоставьте времени, верности и постоянству соединить вас вновь. Если вы поступите иначе, вы поступите плохо и тем убедите меня, что и я плохо поступил, познакомив вас друг с другом.

Наступило долгое молчание.

— Кузен Ричард,— проговорила, наконец, Ада, с нежностью подняв на него свои голубые глаза,— после того, что сказал кузен Джон, выбора нам не осталось. Не беспокойтесь обо мне, ведь вы оставляете меня на его попечении и знаете, что лучшей жизни я не желаю; да и не пожелаю никогда, если буду руководствоваться его советами,— это вы тоже хорошо знаете. Я... я не сомневаюсь, кузен Ричард,— продолжала Ада с легким смущением,— что я вам очень дорога и... и вряд ли вы полюбите другую. Но прошу вас хорошенько подумать об этом тоже — ведь я хочу, чтобы вам во всем улыбалось счастье. Можете мне верить, кузен Ричард. Сама я не изменчива; но и не безрассудна и никогда не стала бы вас осуждать. Ведь и просто родственникам бывает грустно расставаться, и мне, право же, очень, очень грустно, Ричард, хоть я и знаю, что все это нужно для вашего блага. Я всегда буду думать о вас с любовью и часто говорить о вас с Эстер, и... и, может быть, вы иногда будете немножко думать обо мне, кузен Ричард. А теперь,— сказала Ада, подойдя к Ричарду и протянув ему дрожащую руку,— мы опять только родственники, Ричард... быть может, навеки... и я всей душой желаю, чтобы моему милому кузену было хорошо, куда бы ни занесла его судьба!

Я удивлялась, почему Ричард не может простить опекуну, что тот имеет о нем точь-в-точь такое же мнение, какое сам Ричард — в недавнем разговоре со мной — высказал о себе, и даже — в гораздо более сильных выражениях; но, как ни странно, он действительно не мог этого простить. С большим огорчением заметила я, что с этого часа он перестал быть таким непринужденным и откровенным с мистером Джарндисом, каким был раньше. У него были все основания относиться к опекуну по-преж-

нему, но этого не случилось, и — всецело по вине Ричарда — между ними начало возникать отчуждение.

Но вскоре он так увлекся подготовкой к отъезду и закупкой обмундирования, что позабыл обо всем на свете, даже о горе разлуки с Адой,— она осталась в Хэртфордшире, а Ричард, мистер Джарндис и я отправились на неделю в Лондон. Порой он внезапно вспоминал об Аде, заливаясь слезами, и тогда признавался мне, что осыпает себя самыми тяжкими упреками. Но спустя несколько минут снова начинал легкомысленно болтать о каких-то неопределенных надеждах на богатство и вечное счастье с Адой и приходил в самое веселое расположение духа.

Это было очень хлопотливое время, и я целыми днями бегала с Ричардом по магазинам, покупая разные необходимые ему вещи. Я уж не говорю о тех вещах, которые он накупил бы сам, будь ему предоставлена эта возможность. Со мной он был вполне откровенен и зачастую так разумно и с таким чувством говорил о своих ошибках и своих твердых намерениях и так широко распространялся на тему о том, какой поддержкой служат для него наши беседы, что мне никогда не надоедало разговаривать с ним.

Всю эту неделю к нам часто приходил один отставной солдат кавалерийского полка, обучавший Ричарда фехтованию. Это был красивый, грубовато-добродушный мужчина, с открытым лицом и непринужденным обращением, вот уже несколько месяцев занимавшийся с Ричардом. Я так много слышала о нем не только от Ричарда, но и от опекуна, что как-то раз утром, после завтрака, когда солдат пришел, я нарочно уселась со своим рукодельем в гостиной.

— Доброе утро, мистер Джордж,— сказал опекун, который тоже был в комнате.— Мистер Карстон скоро придет. А пока мисс Саммерсон будет очень рада познакомиться с вами. Присаживайтесь.

Он сел, как мне показалось, слегка смущенный моим присутствием, и, не глядя на меня, принялся поглаживать верхнюю губу широкой загорелой рукой.

— Вы всегда появляетесь вовремя — как солнце,— сказал мистер Джарндис.

— По-военному, сэр,— отозвался тот.— Привычка, просто привычка, сэр. Я совсем не деловой человек.

— Однако у вас, как я слышал, большое заведение,— заметил мистер Джарндис.

— Не особенно, сэр. Я держу галерею-тир, но не очень-то большую.

— А как по-вашему, мистер Карстон хорошо стреляет и фехтует? — спросил опекун.

— Довольно хорошо, сэр,— ответил мистер Джордж, сложив руки на широкой груди и сделавшись как будто еще крупнее.— Если бы мистер Карстон увлекся этими занятиями, он мог бы сделать огромные успехи.

— Но он, очевидно, ими не увлекается? — сказал опекун.

— Вначале он занимался с увлечением, а теперь нет... не увлекается. Может, он увлечен чем-нибудь другим... может быть, какой-нибудь молодой леди.

Его живые темные глаза впервые остановились на мне.

— Уверяю вас, мистер Джордж, что он увлечен не мной,— сказала я со смехом,— хотя вы, должно быть, заподозрили меня.

Он залился румянцем, проступившим сквозь его загар, и поклонился мне по-военному.

— Надеюсь, я не оскорбил вас, мисс. Ведь я простой солдат, человек неотесанный.

— Ничуть не оскорбили,— сказала я.— Я считаю это комплиментом.

Если вначале он почти не смотрел в мою сторону, то теперь взглянул на меня несколько раз подряд.

— Прошу прощения, сэр,— обратился он к опекуну с застенчивостью, свойственной иным мужественным людям,— но вы оказали мне честь назвать фамилию молодой леди...

— Мисс Саммерсон.

— Мисс Саммерсон,— повторил он и снова взглянул на меня.

— Вам знакома эта фамилия? — спросила я.

— Нет, мисс, по-моему, я такой никогда не слыхал. Но мне кажется, будто я с вами где-то встречался.

— Вряд ли,— усомнилась я, подняв голову и отрываясь от своего рукоделья,— его слова и манеры были

так непосредственны, что я обрадовалась случаю посмотреть на него.— У меня очень хорошая память на лица.

— У меня тоже, мисс,— отозвался он, повернувшись ко мне, и тогда я хорошо разглядела его темные глаза и широкий лоб.— Хм! Не знаю, почему мне это показалось.

Он снова покраснел и так смутился, тщетно силясь вспомнить, где именно он мог меня видеть, что опекун пришел к нему на помощь.

— У вас много учеников, мистер Джордж?

— То много, то мало, сэр. Большей частью маловато — не хватает на жизнь.

— А какого рода люди приходят упражняться в вашей галерее?

— Всякие люди, сэр. И англичане и иностранцы. От джентльменов до подмастерьев. Не так давно приходили ко мне и француженки и оказались большими мастерицами стрелять из пистолета. А сумасбродов, конечно, сколько угодно; впрочем, *эти* шляются всюду — была бы дверь открыта.

— Надеюсь, к вам не заглядывают люди оскорбленные, из тех, что замышляют окончить свою практику на живых мишенях? — сказал опекун, улыбаясь.

— Таких не много, сэр, но *бывают*. Большинство приходит или упражняться... или от нечего делать. Тех и других примерно поровну. Прошу прощения, сэр,— продолжал мистер Джордж, выпрямившись, расставив локти и упершись руками в колени,— вы, кажется, участвуете в тяжбе, которая разбирается в Канцлерском суде?

— К несчастью, да.

— У меня бывал один из *ваших* товарищей по несчастью, сэр.

— Тоже какой-нибудь истец, чье дело разбирается в Канцлерском суде? — спросил опекун.— А зачем он приходил?

— Человек этот был затравлен, загнан, замучен оттого, что его, так сказать, гоняли взад-вперед от старта к финишу и от финиша к старту, и он вроде как помешался,— объяснил мистер Джордж.— Не думаю, чтобы ему взбрело в голову кого-нибудь пристрелить, но он был в таком озлоблении, в такой ярости, что платил за пять-

десят выстрелов и стрелял до седьмого пота. Как-то раз, когда в галерее никого больше не было и он гневно рассказывал мне о своих обидах, я сказал ему: «Если такая стрельба служит для вас отдушиной, приятель,— прекрасно; но мне не очень нравится, что вы, в теперешнем вашем настроении, столь усердно ей предаетесь; лучше бы вам пристраститься к чему-нибудь другому». Я был начеку — ведь он прямо обезумел, того и гляди затрещину даст,— однако он на меня не рассердился и сразу перестал стрелять. Мы пожали друг другу руки и вроде как подружились.

— Кто же он такой? — спросил опекун, как видно заинтересованный.

— Когда-то был мелким фермером в Шропшире, но теперь его превратили в затравленного быка,— ответил мистер Джордж.

— А это, случайно, не Гридли?

— Он самый, сэр.

Мы с опекуном немного поговорили о том, «как тесен мир», а мистер Джордж снова бросил на меня несколько быстрых, острых взглядов, и я тогда объяснила ему, каким образом мы узнали фамилию его клиента. Он опять поклонился по-военному — в благодарность за мое «снисхождение», как он выразился.

— Не знаю,— начал он, глядя на меня,— почему мне опять кажется... но... чепуха! Чего только не взбредет в голову!

Он провел тяжелой рукой по жестким темным волосам, как бы затем, чтобы отогнать какие-то посторонние мысли, и, немного подавшись вперед, сел, уперев одну руку в бок, а другую положив на колено, и в задумчивости устремил глаза на пол.

— Очень жаль, что этот Гридли снова попал в беду из-за своей вспыльчивости и теперь скрывается, как я слышал,— сказал опекун.

— Да, так говорят,— отозвался мистер Джордж, попрежнему задумчиво и не отрывая глаз от пола.— Так говорят.

— Вы не знаете, где он скрывается?

— Нет, сэр,— ответил кавалерист, встрепенувшись и подняв глаза.— Я ничего не могу о нем сказать. Судя по

всему, его скоро совсем доконают. Можно терзать сердце крепкого человека много лет подряд, но в конце концов это внезапно скажется.

Приход Ричарда положил конец нашему разговору. Мистер Джордж встал, снова поклонился мне по-военному, простился с опекуном и тяжелой поступью вышел из комнаты.

Этот разговор произошел утром в тот день, когда Ричард собирался уезжать. Покупки мы уже закончили, а все его вещи я уложила в середине дня, так что у нас оставалось свободное время до вечера, когда Ричард должен был выехать в Ливерпуль, чтобы оттуда направиться в Холихед *. Дело «Джарндисы против Джарндисов» снова должно было слушаться в этот самый день, поэтому Ричард предложил мне пойти с ним в суд и посмотреть, что там делается. Это был его последний день в Лондоне, и ему очень хотелось побывать в суде, а я ни разу туда не ходила, поэтому я согласилась, и мы направились к Вестминстер-Холлу, где происходило судебное заседание. Всю дорогу мы уговаривались, что Ричард будет писать мне, а я ему, и строили огромные воздушные замки. Опекун знал, куда мы направились, и поэтому не пошел с нами.

Когда мы вошли в зал суда, лорд-канцлер — тот самый, которого я видела в его кабинете в Линкольнс-Инне,— уже восседал на своем судейском помосте с чрезвычайно важным и торжественным видом, а ниже помоста стоял покрытый красным сукном стол с жезлом, печатями и огромным приплюснутым букетом цветов, который напоминал крошечную клумбочку и наполнял ароматом весь зал. Ниже этого стола, навалив перед собой кипы бумаг на устланный циновками пол, длинной вереницей сидели поверенные, и тут же, в париках и мантиях, расположились джентльмены из адвокатуры, причем некоторые бодрствовали, другие спали, а один произносил речь, но никто его не слушал. Лорд-канцлер откинулся на спинку своего очень покойного кресла с подушечками на ручках и, облокотившись на подушечку, опустил голову на руку; некоторые из присутствующих дремали; другие читали газеты; третьи прохаживались по залу или шептались, сбившись в кучку, и все, казалось,

были тут совсем как дома, ничуть не торопились, ни о чем не заботились и чувствовали себя очень уютно.

Видеть, как все тут идет так гладко, и думать о страшной жизни и смерти тяжущихся, видеть всю эту пышность и великолепие, вспоминая о разорении, нужде и нищенском прозябании, которые за этим скрываются; сознавать, что, в то время как боль несбыточных надежд терзает столько сердец, эта торжественная церемония спокойно продолжается изо дня в день, из года в год в столь же безукоризненном порядке и так же невозмутимо; смотреть на лорд-канцлера и всю орду юристов, поглядывающих друг на друга и на публику с таким видом, словно никто из них и не слыхивал, что правосудие, во имя которого они здесь собрались, служит предметом горьких шуток во всей Англии, вызывает всеобщий ужас, презрение и негодование, славится как нечто столь позорное и постыдное, что разве только чудо может заставить его принести кому-нибудь хоть малейшую пользу,— словом, наблюдать, что тут творится, было для меня так странно и противоестественно, что я, неискушенная во всем этом, вначале просто не верила своим глазам и ничего не могла понять. Я сидела там, куда посадил меня Ричард, старалась прислушиваться и присматриваться к окружающему, но мне чудилось, будто все здесь какое-то нереальное, если не считать бедной маленькой мисс Флайт, слабоумной старушки, которая стояла на скамье, кивая головой в сторону судейских.

Заметив нас, мисс Флайт сейчас же подошла. Она радушно приняла меня в своих владениях и с большим удовлетворением и гордостью обратила мое внимание на их главнейшие достопримечательности. Мистер Кендж тоже подошел побеседовать с нами и примерно в том же стиле отдал должное суду с учтивой скромностью хозяина, который показывает гостям свой дом. Он сказал, что мы не очень удачно выбрали день для посещения суда — лучше было прийти на первое заседание сессии,— но и сегодня все здесь очень внушительно, очень внушительно.

Мы пробыли в суде с полчаса, и, наконец, дело, которое разбиралось,— хотя смешно говорить «разбиралось», когда никто здесь не мог ни в чем разобраться,— по-видимому, иссякло по причине собственной бессодер-

жательности, ибо судоговорение не привело ни к какому результату, которого, впрочем, никто и не ожидал. Лорд-канцлер сбросил со своего стола пачку бумаг джентльменам, сидевшим ниже его, и кто-то провозгласил: «Джарндисы против Джарндисов». Тут послышался глухой говор, смех, посторонние устремились к выходу, а клерки принялись втаскивать в зал документы, приобщенные к этому делу,— громадные кипы, связки, бесчисленные мешки, набитые бумагами.

Кажется, дело было назначено к слушанию для получения «дальнейших указаний» относительно какого-то расчета судебных пошлин — по крайней мере так поняла я, хотя понимала я довольно смутно. Впрочем, я сосчитала, что целых двадцать три джентльмена в париках «выступили по этому делу», как они выражались, но все они, видимо, разбирались в нем не лучше меня. Они толковали о нем с лорд-канцлером, спорили и объяснялись друг с другом, причем одни говорили, что надо поступить так, другие — что надо поступить этак, третьи в насмешку предлагали зачитать свидетельские показания, а это были громадные томы; меж тем глухой говор и смех все нарастали, и присутствующие развлекались от нечего делать всем происходящим, но никто не мог ничего понять. Прошло около часа, множество речей было начато и прервано, наконец «дело отложили», как выразился мистер Кендж, а бумаги снова увязали, прежде чем клерки успели притащить весь их запас.

Когда эта безнадежная процедура пришла к концу, я взглянула на Ричарда и была глубоко потрясена — таким измученным выглядело его красивое молодое лицо.

— Не может это продолжаться вечно, Хлопотунья. В следующий раз нам повезет, и дело пойдет на лад!

Вот все, что он мне сказал.

Пока мы тут сидели, я видела, как мистер Гаппи приносит и раскладывает документы для мистера Кенджа; клерк тоже увидел меня и поклонился с таким жалостным видом, что мне захотелось уйти из суда. И вот, не успел Ричард взять меня под руку и повести к выходу, как мистер Гаппи подошел к нам.

— Извините меня, мистер Карстон,— зашептал он,— и вы тоже, мисс Саммерсон, но здесь присутствует одна

дама, моя хорошая знакомая, которая знает мисс Саммерсон и жаждет иметь удовольствие пожать ей руку.

И тут я увидела миссис Рейчел — женщину, которая когда-то служила у моей крестной, а теперь внезапно возникла передо мной, словно воспоминание, принявшее человеческий облик.

— Как поживаете, Эстер? — сказала она.— Вы меня помните?

Протянув ей руку, я ответила утвердительно и сказала, что она почти не изменилась.

— Удивляюсь, что вы еще не забыли тех времен, Эстер,— проговорила она так же сурово, как встарь.— Теперь все стало по-другому. Ну что ж! Рада вас видеть, рада, что вы не слишком загордились — узнали меня.

Однако она явно была разочарована тем, что я «не загордилась».

— Зачем же мне «гордиться», миссис Рейчел? — сказала я укоризненно.

— Я вышла замуж, Эстер,— холодно отозвалась она, поправляя меня,— и теперь меня зовут миссис Чедбенд. Ну что ж! Прощайте, и желаю вам всего лучшего.

Мистер Гаппи, который внимательно вслушивался в наш короткий разговор, вздохнул мне прямо в ухо и начал проталкиваться вместе с миссис Рейчел сквозь обступившую нас небольшую толпу каких-то людей, входивших и выходивших и столкнувшихся здесь потому, что суд перешел к слушанию другого дела. Мы с Ричардом тоже стали пробираться к выходу, и у меня еще не изгладилось неприятное впечатление от этой неожиданной встречи со старой знакомой, когда я увидела, что в нашу сторону, но не видя нас, идет не кто иной, как мистер Джордж. Он шагал, не обращая внимания на людей, теснившихся вокруг, и, будучи на голову выше их ростом, всматривался в глубину зала.

— Джордж! — крикнул Ричард, когда я показала ему на кавалериста.

— Вот хорошо, что я вас встретил, сэр,— отозвался тот.— И вас тоже, мисс. Вы не можете помочь мне найти одну особу, которая мне нужна? А то я здесь совсем запутался.

Он повернулся, проложил нам дорогу и, когда мы вышли из толпы, остановился в углу за широкой красной портьерой.

— Здесь должна быть одна свихнувшаяся старушка,— начал он,— и ее...

Я предостерегающе подняла палец, так как рядом со мною стояла мисс Флайт, которая с самого начала не отходила от меня и (к моему великому смущению) то и дело указывала на меня своим судейским знакомым, шепча им на ухо: «Тсс! Слева от меня Фиц-Джарндис!»

— Хм! — произнес мистер Джордж.— Помните, мисс, как мы нынче утром говорили об одном человеке? О Гридли,— добавил он тихим шепотом и прикрыв рот рукой.

— Да,— ответила я.

— Он прячется у меня. Я тогда не мог сказать вам об этом. Не имел на это его разрешенья. Но сейчас он кончает свой последний поход, мисс, и ему хочется повидаться с нею. Говорит, что они друг другу сочувствуют и что здесь они вроде как дружили. Вот я и пришел сюда за нею, потому что, когда я сидел сегодня у постели Гридли, мне чудилось, будто я слышу бой барабанов, повязанных траурным крепом.

— Сказать ей об этом? — спросила я.

— Пожалуйста,— ответил он, глядя на мисс Флайт с некоторой опаской.— Счастье, что я вас здесь встретил, мисс, а не то я один, пожалуй, и не сумел бы обойтись с этой леди.

Он выпрямился и, засунув руку за полу сюртука, стоял навытяжку, по-военному, пока я шепотом объясняла маленькой мисс Флайт, с какой доброй целью он пришел сюда.

— Мой сердитый друг из Шропшира! Почти такой же прославленный, как я! — воскликнула она.— Вот уж не ожидала! Дорогая моя, я с величайшим удовольствием пойду к нему.

— Он скрывается у мистера Джорджа,— сказала я.— Тсс! Вот и сам мистер Джордж.

— В самом деле! — воскликнула мисс Флайт.— Очень польщена такой честью! Военный, дорогая моя. Ни дать ни взять генерал! — шептала она мне.

В знак уважения к армии бедная мисс Флайт считала нужным вести себя столь церемонно и вежливо и приседать так часто, что ее нелегко было вывести из здания суда. Когда же это, наконец, удалось, она позволила мистеру Джорджу взять ее под руку и стала величать его «генералом», к безмерному удовольствию каких-то зевак, глазевших на нас. Мистер Джордж был так смущен всем этим и так почтительно умолял меня не покидать его, что я не решилась расстаться с ними, особенно потому, что при мне мисс Флайт всегда была сговорчива; да и она тоже сказала:

— Фиц-Джарндис, вы, милая моя, конечно, пойдете с нами.

Ричард, тот не только хотел, но даже настаивал, чтобы мы проводили их до дому, и мы с ним решили, что так и надо сделать. Далее мистер Джордж сказал нам, что Гридли весь день вспоминал мистера Джарндиса, после того как узнал о нашем утреннем разговоре; поэтому я написала карандашом несколько слов опекуну, объяснив, куда мы поехали и зачем. Мистер Джордж зашел в кофейню, где запечатал мою записку, чтобы никто не узнал ее содержания, и мы отослали ее с посыльным.

Затем мы наняли карету, которая привезла нас на одну улицу по соседству с Лестер-сквером. Тут нам пришлось пробираться пешком по каким-то узким переулочкам, так что мистер Джорж даже извинялся перед нами, и вскоре подошли к «Тиру», дверь которого была заперта. Мистер Джордж потянул было за ручку звонка, висевшую на цепочке у двери, но в эту минуту какой-то очень почтенный на вид пожилой джентльмен, с проседью, в очках, черной короткой куртке, гетрах и широкополой шляпе, опиравшийся на большую палку с золоченым набалдашником, обратился к нему со следующими словами:

— Простите, милейший,— начал он,— здесь находится «Галерея-Тир Джорджа»?

— Да, сэр,— ответил мистер Джордж, поднимая глаза на огромные буквы, выведенные на побеленной стене.

— Ага! прекрасно! — сказал пожилой джентльмен, следуя за его взглядом.— Благодарю вас. Вы позвонили?

— Да, позвонил; а Джордж — это я, сэр.

— Так, так! — проговорил пожилой джентльмен.— Значит, вы и есть Джордж? Стало быть, я, как видите, прибыл сюда одновременно с вами. Ведь это вы приходили за мной, не правда ли?

— Нет, сэр. Я у вас не был.

— Вот как! — сказал пожилой джентльмен.— Ну, так, значит, это ваш служитель был у меня. Я — лекарь, и пять минут назад меня попросили прийти осмотреть больного в «Тире Джорджа».

— Барабаны уже повязаны траурным крепом,— проговорил мистер Джордж, обернувшись ко мне и Ричарду, и с серьезным видом покачал головой.— Совершенно верно, сэр, больной действительно здесь. Войдите, пожалуйста.

В эту минуту дверь отпер маленький, очень странного вида человек в шапочке и фартуке из зеленого сукна,— лицо его, руки и платье были сплошь вымазаны чем-то черным,— и мы прошли по темному коридору в просторное помещение с голыми кирпичными стенами, в котором находились мишени, ружья, рапиры и тому подобные предметы. Но не успели мы войти, как лекарь остановился и, сняв шляпу, как бы исчез, словно по волшебству, оставив вместо себя какого-то другого человека, совсем не похожего на того, кто входил сюда с нами.

— Слушайте, Джордж,— сказал человек, быстро повернувшись к кавалеристу и похлопывая его по груди толстым указательным пальцем.— Вы знаете меня, а я знаю вас. Вы человек бывалый, и я человек бывалый. Меня зовут Баккет, как вам известно, и я имею ордер на арест Гридли — за нарушение общественной тишины и спокойствия. Этого человека вы прятали долго и очень ловко, надо вам отдать справедливость.

Мистер Джордж закусил губу и, покачав головой, устремил на него суровый взгляд.

— Ну, Джордж,— снова начал мистер Баккет, подойдя к нему вплотную,— вы человек разумный и примерного поведения; вот какой *вы*, бесспорно. Имейте в виду, я говорю с вами не как с первым встречным,— вы служили родине и знаете, что, когда нас призывает долг, мы должны повиноваться. Значит, хлопот с вами не

будет — этого у вас и в мыслях нет. Понадобись мне ваша помощь, вы мне поможете — вот что сделаете *вы*. Фил Сквод, нечего тебе шляться бочком вокруг галереи таким манером,— грязный маленький человек ковылял вдоль стены, задевая за нее плечом и угрожающе глядя на незваного гостя,— все равно ведь я тебя знаю, и со мной это не пройдет.

— Фил! — проговорил мистер Джордж.

— Слушаю, хозяин.

— Стой смирно.

Маленький человек остановился, проворчав что-то сквозь зубы.

— Леди и джентльмены,— проговорил мистер Баккет,— извините, если вам здесь что-нибудь придется не по нутру, но я инспектор Баккет из сыскного отделения и действую по долгу службы. Джордж, мне известно, где скрывается тот, кого я ищу, потому что я прошлой ночью сидел на крыше и видел его через окно в кровле, да и вас вместе с ним. *Он* вон там, и вы это знаете,— добавил Баккет, показывая куда-то пальцем,— вон где... там, на диване. Мне, разумеется, нужно увидеться с ним и заявить ему, что он должен считать себя арестованным; но вы меня знаете и знаете, что крутые меры мне принимать не хочется. Дайте мне слово, как мужчина мужчине (имейте в виду, я тоже отставной солдат!),— дайте слово, что между нами все обойдется честь по чести, а я по мере сил постараюсь уладить дело по-хорошему.

— Даю слово,— ответил мистер Джордж.— Но это с вашей стороны некрасиво, мистер Баккет.

— Чепуха, Джордж! Некрасиво? — возразил мистер Баккет, снова похлопывая его по широкой груди и пожимая ему руку.— А я разве сказал, что некрасиво укрывать у себя человека, которого я ищу, сказал я так, а? Так будьте и вы справедливы ко мне, старый приятель! Эх вы, старый Вильгельм Телль, старый лейб-гвардеец Шоу! * Да что говорить, леди и джентльмены, ведь он — цвет всей британской армии. Мне бы такую молодецкую фигуру — полсотни фунтов не пожалел бы!

Итак, все открылось, и мистер Джордж после небольшого раздумья попросил разрешения сперва пройти с мисс Флайт к своему товарищу (так он называл Гридли).

Мистер Баккет разрешил, и мистер Джордж с мисс Флайт ушли в дальний угол галереи, оставив нас у стола, на котором лежали ружья. Тогда мистер Баккет, пользуясь случаем завязать легкий светский разговор, спросил меня, не боюсь ли я, как почти все молодые леди, огнестрельного оружия; спросил Ричарда, хорошо ли он стреляет; спросил Фила Сквода, какое из этих ружей тот считает самым лучшим и сколько оно могло стоить из первых рук, а выслушав ответ, выразил сожаление, что Фил Сквод дал волю своей вспыльчивости, ведь на самом-то деле Фил такой кроткий, что ему бы девушкой быть,— словом, мистер Баккет любезничал напропалую.

Через некоторое время он вместе с нами прошел в дальний конец галерии, и мы с Ричардом хотели было уже потихоньку уйти, как вдруг к нам подошел мистер Джордж. Он сказал, что, если мы не прочь повидаться с его товарищем, тот будет очень рад нас видеть. Но не успел он произнести эти слова, как зазвонил звонок и пришел опекун,— «на тот случай,— заметил он небрежным тоном,— если понадобится оказать хоть маленькую услугу бедняге, который страдает по тем же причинам, что и я». Итак, мы все четверо вернулись и пошли к Гридли.

Он лежал в почти пустой каморке, отделенной от галереи некрашеной дощатой перегородкой. Перегородка была низенькая — футов в восемь или десять, а потолка в каморке не было, так что мы видели у себя над головой стропила высокой крыши и то окно в кровле, через которое мистер Баккет смотрел вниз. Солнце стояло низко, почти у горизонта, и озаряло своим алым светом лишь верхнюю часть стены, так что в каморке было полутемно. На простом, обитом парусиной диване лежал «человек из Шропшира», одетый почти так же, как в тот раз, когда мы впервые с ним встретились, но изменившийся так резко, что я сперва не узнала его — это мертвенно-бледное лицо не походило на то, которое сохранилось у меня в памяти.

Скрываясь в этом убежище, он все еще целыми днями что-то писал, вновь переживая свои обиды. Об этом свидетельствовали стол и несколько полок в каморке, заваленные рукописями и тупыми гусиными перьями. Трога-

тельно привязанные друг к другу своими горестями, Гридли и помешанная старушка были теперь вместе, и казалось, что они одни. Она сидела на стуле, сжимая руку шропширца, а мы стали поодаль.

Как ослабел его голос, куда девалось его прежнее выражение лица, дышащее силой, гневом, стремлением бороться с несправедливостью, которая, наконец, сломила его! Призрачная тень некогда полного жизни, сильного мужчины — вот чем он был теперь по сравнению с «человеком из Шропшира», который когда-то беседовал с нами.

Он кивнул мне и Ричарду и обратился к опекуну:

— Мистер Джарндис, вы очень добры, что пришли повидаться со мной. Пожалуй, больше и не увидимся. Очень рад пожать вам руку, сэр. Вы хороший человек, вам противна несправедливость, и, видит бог, я вас искренне уважаю!

Они сердечно пожали друг другу руки, и опекун сказал ему несколько ободряющих слов.

— Может, вам покажется странным, сэр, что я не захотел бы видеть вас сегодня, будь это наша первая встреча,— проговорил Гридли.— Но вы знаете, как я боролся; вы знаете, как я один шел против всех; вы знаете, что я швырнул им в лицо настоящую правду — сказал им, кто они такие и что они со мной сделали; вот почему мне не стыдно, что вы видите, в какую развалину я превратился.

— Вы мужественно боролись с ними много-много лет,— отозвался опекун.

— Да, сэр, это правда,— сказал Гридли со слабой улыбкой.— Я говорил вам о том, что произойдет, когда я потеряю мужество, и вот теперь — сами видите! Взгляните на нас... взгляните на нас!..— Он высвободил руку, которую держала мисс Флайт, взял старушку под руку и привлек ее немного ближе к себе.— Это конец. От всех моих прежних привязанностей, от всех моих прежних стремлений и надежд, от всего живого и мертвого мира осталась у меня только вот эта несчастная, и только она одна близка мне, а я ей. Связали нас долгие годы общих страданий, и только эту мою связь с людьми еще не оборвал Канцлерский суд.

— Примите мое благословение, Гридли,— промолвила мисс Флайт, заливаясь слезами.— Примите мое благословение!

— Мистер Джарндис, я самонадеянно думал, что им меня не сломить,— сказал Гридли.— Я решил, что я им не поддамся. Я верил, что могу разоблачить и разоблачу их суд, что я докажу, какое это посмешище, раньше, чем умру от какой-нибудь болезни. Но силы мои истаяли. Как долго они таяли, не знаю; мне кажется, что я сломился сразу. Надеюсь, они никогда об этом не услышат. Надеюсь, все вы заставите их понять, что, даже умирая, я все еще вызывал их на бой так же решительно и упорно, как и во все эти долгие годы.

Тут мистер Баккет, сидевший в уголку у двери, добродушно принялся утешать страдальца как мог.

— Будет, будет! — проговорил он, не вставая с места.— Не надо так говорить, мистер Гридли. Просто-напросто вы немножко упали духом. Все мы иной раз немножко падаем духом. Даже *я*. Держитесь, держитесь! Не раз еще вам доведется выходить из себя и ругательски ругать всю эту компанию, а я тоже еще раз двадцать успею вас арестовать, если мне повезет.

Гридли только покачал головой.

— Не качайте головой,— сказал мистер Баккет.— Кивайте утвердительно, вот что вы должны делать. Эх, как вспомнишь, чего только мы с вами не вытворяли! Или я не знаю, что вы то и дело попадали во Флитскую тюрьму * за оскорбление суда? Или я двадцать раз не приходил в суд только за тем, чтобы поглядеть, как вы, не хуже бульдога, вцепитесь в канцлера? Или вы не помните тех лет, когда вы лишь начали угрожать судейским и вас выводили из зала суда по два-три раза в неделю? Спросите-ка эту старушку,— она все видела. Держитесь, мистер Гридли, держитесь, сэр!

— Как вы хотите поступить с ним? — спросил его Джордж вполголоса.

— Не знаю еще,— ответил Баккет так же тихо. Потом он снова заговорил громко, ободряющим тоном: — Так, значит, вы сломились, мистер Гридли? И это вы говорите после того, как увертывались от меня столько недель, так что мне, как коту, пришлось лазить по крышам

и явиться к вам под видом лекаря? Ну нет, не похоже, что вы сломились! Кто-кто, а я этого не думаю! А теперь я скажу, чего вам не хватает. Вам, знаете ли, не хватает волнений,— они бы вас поддержали,— вот чего не хватает *вам!* Вы привыкли к ним и не можете без них обойтись. Да я бы и сам не мог. Прекрасно, так вот вам ордер на арест,— он выдан по жалобе мистера Талкингхорна, проживающего на Линкольновых полях, и разослан в несколько графств. Как думаете,— не пойти ли вам со мной, согласно этому ордеру, да не поругаться ли всласть с судьями? Это вам на пользу пойдет; слегка освежитесь и поупражняетесь, перед тем как снова налететь на канцлера. Сдаваться? Мне даже странно слышать это от такого энергичного человека, как вы. Вам нельзя сдаваться. В Канцлерском суде вы — душа общества. Джордж, помогите-ка мистеру Гридли подняться, и посмотрим, может, ему лучше встать, чем валяться в постели.

— Он очень ослабел,— сказал кавалерист вполголоса.

— Разве? — встревоженно отозвался Баккет.— Я ведь только хотел его ободрить. Неприятно видеть, когда сдает старый знакомый. Надо бы ему хорошенько разозлиться на меня — это его оживит лучше некуда. Пусть себе тузит меня справа и слева сколько угодно. Кто-кто, а уж я этим никогда не воспользуюсь, жалобы не подам.

Вся кровля зазвенела от вопля мисс Флайт, и вопль этот до сих пор звенит в моих ушах.

— Не надо, Гридли! — вскрикнула она, когда он тяжело и медленно повалился навзничь, отдалившись от нее.— Как же без моего благословения? После стольких лет!

Солнце зашло, свет постепенно соскользнул с крыши, а тени поползли вверх. Но для меня тень этих двух людей — мертвого и живой — нависла над отъездом Ричарда, и была она гуще, чем тьма самой темной ночи. И за прощальными словами юноши мне слышалось: «От всех моих прежних привязанностей, от всех моих прежних стремлений и надежд, от всего живого и мертвого мира осталась у меня только вот эта несчастная и только она одна близка мне, а я ей. Связали нас долгие годы общих страданий, и только эту мою связь с людьми еще не оборвал Канцлерский суд».

ГЛАВА XXV

Миссис Снегсби все насквозь видит

В переулке Кукс-Корт, что выходит на Карситор-стрит, неспокойно. Черное подозрение гнездится в этом мирном уголке. Впрочем, почти все кукс-кортовцы сохраняют свое обычное состояние духа — им не лучше и не хуже, но вот мистер Снегсби, тот изменился, и его «крошечка» это знает.

А все из-за того, что Одинокий Том и Линкольновы поля, как пара неукротимых скакунов, впрягаются в колесницу воображения мистера Снегсби, причем правит ею мистер Баккет, а сидят в ней Джо и мистер Талкингхорн, и все они вместе день-деньской кружатся с бешеной скоростью по писчебумажной лавке. Даже в кухоньке, где обедает и ужинает все семейство, колесница эта громыхает и мчится во весь опор, отъехав от обеденного стола как раз в ту минуту, когда мистер Снегсби, отрезавший первый кусок от бараньей ноги, зажаренной с картофелем, ни с того ни с сего вдруг застывает, устремляя пристальный взор на кухонную стену.

Мистер Снегсби никак не может взять в толк, во что он оказался замешанным. Что-то и где-то неладно, но что именно и что из этого может получиться — для кого именно, когда именно, с какой нежданной-негаданной стороны,— вот над чем он все время ломает себе голову. Ему смутно мерещатся мантии и короны пэров, орденские звезды и подвязки *, сверкающие сквозь слой пыли в конторе мистера Талкингхорна; он благоговеет перед тайнами, подведомственными этому лучшему и самому замкнутому из его клиентов, к которому все Судебные Инны, вся Канцлерская улица и весь прилегающий к ним юридический мир относятся с почтительным страхом; он вспоминает о сыщике, мистере Баккете, его указательном пальце и его фамильярности, которой нельзя ни избежать, ни отклонить, и все это убеждает мистера Снегсби в том, что он причастен к какой-то опасной тайне, не зная, к какой именно. И это чревато грозными последствиями,— ведь в любой час любого дня его жизни, всякий раз как открывается дверь лавки, всякий раз как

звонит звонок, всякий раз как входит посыльный, всякий раз как приносят письмо, тайна может открыться, вспыхнуть, взорваться и разорвать на куски... один мистер Баккет знает — кого.

Поэтому стоит какому-нибудь незнакомому человеку войти в лавку (а таких незнакомцев приходит много) и произнести «Мистер Снегсби дома?» — или другие столь же безобидные слова, как сердце мистера Снегсби начинает громко стучать в его преступной груди. Подобные вопросы задевают его за живое, и если их задают мальчишки, он мстит за себя тем, что, перегнувшись через прилавок, дерет их за уши, спрашивая этих щенков, на что, собственно, они намекают и почему сразу же не выкладывают все начисто? Другие, более неподатливые мужчины и мальчишки упорно преследуют мистера Снегсби в сновидениях и приводят его в ужас неразрешимыми вопросами; так что, когда петух в маленькой молочной на Карситор-стрит поднимает свой нелепый крик по поводу наступления утра, мистер Снегсби мечется во сне, терзаемый кошмарами, а «крошечка» расталкивает его, бормоча: «Да что же с ним такое творится?»

Сама «крошечка» отнюдь не последняя спица в колеснице его неприятностей. Он ни на миг не может забыть, что скрывает от нее некую тайну и обязан во что бы то ни стало молчать про этот свой больной зуб мудрости, который супруга того и гляди выдернет у него с зубодерской ловкостью, а потому он в ее присутствии весьма напоминает собаку, которая напроказила тайком от хозяина и, глядя по сторонам, упорно отводит от него глаза, чтобы не встретить его испытующего взора.

Не зря подмечает «крошечка» все эти разнообразные признаки и приметы. Они внушают ей догадку: «У Снегсби что-то на уме!» И вот в Кукс-Корт, что выходит на Карситор-стрит, вторгается подозрение. Путь от подозрения к ревности столь же прост и краток для миссис Снегсби, как путь от Кукс-Корта до Канцлерской улицы. И вот в Кукс-Корт, что выходит на Карситор-стрит, вторгается ревность. А попав сюда, ревность (которая, кстати сказать, давно уж блуждала где-то поблизости) становится весьма деятельной и расторопной и, поселившись в груди миссис Снегсби, побуждает эту

особу обшаривать по ночам карманы мистера Снегсби, тайно прочитывать его письма, самолично проверять торговый дневник и бухгалтерскую книгу, обыскивать кассу, денежную шкатулку и несгораемый шкаф, подсматривать в окна, подслушивать за дверьми, а затем связывать одно наблюдение с другим, только не тем концом, каким следует.

Миссис Снегсби все время настороже, так что в комнатах то и дело слышится скрип половиц и шуршание тканей — точь-в-точь, как в «доме с привидениями». Подмастерья уже подумывают — а не укокошили ли здесь кого-нибудь в старину? Гуся же, вспоминая отрывки одного предания (слышанного ею в Тутинге, где оно рассказывалось в компании детей-сирот), полагает, что в погребе зарыты деньги и их сторожит белобородый старец, который вот уже семь тысяч лет не может выйти на свет божий потому, что однажды прочитал «Отче наш» не с начала до конца, а наоборот.

«Кто был Нимрод?» — непрестанно спрашивает себя миссис Снегсби. «Кто была эта леди... эта тварь? И кто такой этот мальчишка?» Но «Нимрод» умер, как и тот могучий охотник, чьим именем прозвала миссис Снегсби покойного переписчика, а леди недосягаема; поэтому миссис Снегсби пока что с удвоенной бдительностью устремляет свой умственный взор на мальчишку. «Так кто же,— в тысячу первый раз твердит миссис Снегсби,— кто же такой этот мальчишка? Кто такой...» И вдруг вдохновение осеняет миссис Снегсби.

Мальчишка ничуть не уважает мистера Чедбенда. Нет, конечно, да и не станет уважать. Понятно, не станет, если ему подают дурной пример. Мистер Чедбенд позвал его к себе, назначил ему день, когда прийти,— миссис Снегсби сама это слышала, своими ушами! — и велел снова явиться сюда и узнать, куда ему надо направиться, чтобы выслушать поучение; а мальчишка не пришел! Почему он не пришел? Потому что кто-то запретил ему приходить. А кто запретил ему приходить? Кто? Ха-ха! Миссис Снегсби все насквозь видит.

Но, к счастью (тут миссис Снегсби загадочно улыбается и загадочно качает головой), мистер Чедбенд встретил вчера этого мальчишку на улице, и так как

мальчишка — подходящий экземпляр для мистера Чедбенда, который желает преподать ему наставление ради духовной услады своей избранной паствы,— то мистер Чедбенд схватил его и пригрозил выдать полиции, если тот не скажет его преподобию, где он проживает, и не обещает или не выполнит обещания явиться в Кукс-Корт завтра вечером... «за-а-втра ве-че-ром», повторяет миссис Снегсби для пущей выразительности и опять загадочно улыбается и загадочно качает головой; и завтра вечером мальчишка будет здесь, и завтра вечером миссис Снегсби будет зорко следить за ним и еще кое за кем, и — боже ты мой! — можешь секретничать сколько угодно (говорит миссис Снегсби надменно и презрительно), но тебе не удастся отвести глаза *мне!*

Миссис Снегсби никому ничего не выбалтывает, но преследует свою цель втихомолку и хранит молчание. И вот приходит «завтрашний день», приходят вкусные яства — сырье для производства «ворвани», и вечер приходит тоже. Приходит мистер Снегсби в черном сюртуке; приходят Чедбенды; приходят (когда прожорливое судно уже нагружено до отказа) подмастерья и Гуся, чтобы выслушать поучение; приходит, наконец, вихрастый мальчишка и дергается назад, дергается вперед, дергается вправо, дергается влево, сжимает грязной рукой рваную меховую шапку и теребит ее, словно какую-то паршивую птицу, которую он поймал и ощипывает, прежде чем съесть в сыром виде,— короче говоря, приходит Джо, очень, очень тупой малый, которому мистер Чедбенд намерен преподать наставление.

Гуся приводит Джо в маленькую гостиную, и миссис Снегсби сверлит его бдительным взором. Не успел он войти, как взглянул на мистера Снегсби. Ага! Почему он взглянул на мистера Снегсби? Мистер Снегсби смотрит на Джо. Казалось бы, зачем ему смотреть на Джо; но миссис Снегсби все насквозь видит. А если она не права, так с какой стати им переглядываться? С какой стати мистеру Снегсби смущаться и кашлять в руку предостерегающим кашлем? Ясно, как день, что мистер Снегсби отец этого мальчишки.

— Мир вам, друзья мои,— изрекает Чедбенд, поднимаясь и отирая жировые выделения со своего преподоб-

ного лика.— Да снизойдет на нас мир! Друзья мои, почему на нас? А потому,— и он расплывается в елейной улыбке,— что мир не может быть против нас, ибо он за нас; ибо он не ожесточает, но умягчает; ибо он не налетает подобно ястребу, но слетает на нас подобно голубю. А посему мир нам, друзья мои! Юный отпрыск рода человеческого, подойди!

Протянув вперед свою пухлую лапу, мистер Чедбенд кладет ее на плечо Джо, раздумывая, куда бы ему поставить мальчика. Джо, относясь весьма подозрительно к намерениям своего преподобного друга и отнюдь не уверенный, что с ним не сыграют какой-нибудь злой шутки, бормочет:

— Пустите, не трогайте меня. Я вам слова худого не сказал. Пустите.

— Нет, юный друг мой,— вкрадчиво произносит Чедбенд,— я тебя не отпущу. А почему? Потому что я жнец, потому что я труженик и мученик, потому что ты ниспослан мне и сделался драгоценным орудием в руках моих. Друзья мои, дозволено ли мне будет употребить сие орудие ради вашего блага, ради вашей пользы, ради вашей выгоды, ради вашего благополучия, ради вашего обогащения? Юный друг мой, сядь на эту скамеечку.

Джо, видимо опасаясь, как бы его преподобие не вздумал остричь ему волосы, защищает голову обеими руками, но его заставляют сесть на скамейку, хоть и с большим трудом, так как он сопротивляется изо всех сил.

Когда его, наконец, водворили, как манекен, на скамейку, мистер Чедбенд, отступив за стол, поднимает свою медвежью лапу и произносит:

— Друзья мои!

Это — сигнал для слушателей, призывающий их сосредоточиться. Подмастерья, хихикая, подталкивают друг друга локтем. Гуся невидящим взором уставилась в пространство, и ее ошеломленное восхищение мистером Чедбендом смешивается с жалостью к одинокому отщепенцу, горькая доля которого глубоко ее трогает. Миссис Снегсби втихомолку начиняет порохом свои орудия. Миссис Чедбенд мрачно усаживается поближе к огню и греет колени, находя, что в тепле лучше ценишь красноречие.

Надо сказать, что мистер Чедбенд усвоил ораторскую привычку церковных проповедников устремлять пристальный взор на кого-либо из членов паствы и излагать свои доводы, обращаясь именно к этому лицу, в надежде, что оно будет время от времени откликаться на проповедь, издавая стон, вздох, возглас или другой доступный слуху знак глубокого душевного волнения, каковой знак, повторенный какой-нибудь пожилой особой на соседней скамье и затем, как при игре в фанты, всем кругом наиболее впечатлительных из присутствующих грешников, вызовет, как в парламенте, ряд одобрительных восклицаний и даст возможность самому мистеру Чедбенду развести пары. И мистер Чедбенд, произнося обращение: «Друзья мои!», просто по привычке случайно остановил свой взор на мистере Снегсби, превратив злосчастного владельца писчебумажной лавки, и так уже достаточно смущенного, в главного слушателя своих назиданий.

— Среди нас, друзья мои,— начинает Чедбенд,— находится идолопоклонник и язычник, обитатель шатров Одинокого Тома, безостановочно блуждающий по поверхности земли. Среди нас, друзья мои,— тут мистер Чедбенд, дабы подчеркнуть свою мысль, вращает большой палец с грязным ногтем, удостоив мистера Снегсби елейной улыбкой, означающей, что проповедник вскоре повергнет ниц слушателя своими доводами, если только тот еще не повергнут,— среди нас, друзья мои, находится наш младший собрат. Он лишен родителей, лишен родственников, лишен стад и табунов, лишен золота, и серебра, и драгоценных камней. Итак, друзья мои, почему я говорю, что он лишен этих благ? Почему? Почему он лишен?

Мистер Чедбенд спрашивает все это таким тоном, словно задает мистеру Снегсби совершенно новую загадку, весьма остроумную и замысловатую, убеждая его не отказываться от попытки ее разгадать.

Мистер Снегсби, который уже не на шутку озадачен таинственным взглядом своей «крошечки», брошенным ею на супруга примерно в тот момент, когда мистер Чедбенд произнес слово «родители», поддается искушению и скромно отвечает: «Право, не знаю, сэр». Но этими словами он прервал проповедь, и в наказание миссис



Чедбенд бросает на него свирепый взгляд, а миссис Снегсби восклицает: «Постыдись!»

— Я слышу некий голос,— продолжает мистер Чедбенд.— Голос ли это совести, друзья мои? Боюсь, что нет, хотя желал бы надеяться, чтоб он был таковым...

(— А-ах! — вздыхает миссис Снегсби.)

— ...Голос, который говорит: «Не знаю». Тогда я сам вам скажу — почему. Я говорю, что собрат, присутствующий среди нас, лишен родителей, лишен родственников, лишен стад и табунов, лишен золота, и серебра, и драгоценных камней, потому что он лишен света, который озаряет некоторых из нас. Что есть этот свет? Что он такое? Я спрашиваю вас, что это за свет?

Откинув назад голову, мистер Чедбенд делает паузу, но мистера Снегсби уже не завлечь на путь гибели. Опираясь на стол, мистер Чедбенд наклоняется вперед и ногтем упомянутого большого пальца как бы вонзает в мистера Снегсби следующие слова:

— Это,— вещает Чедбенд,— луч лучей, солнце солнц, месяц месяцев, звезда звезд. Это — свет Ии-си-тины.

Мистер Чедбенд выпрямляется опять и торжествующе смотрит на мистера Снегсби, словно желая знать, как чувствует себя его слушатель после этих слов.

— Ии-си-тина! — повторяет мистер Чедбенд, снова пронзая мистера Снегсби.— Не утверждайте, что это не есть светильник светильников. Говорю вам, это так. Говорю вам миллион раз, это так. Так! Говорю вам, что буду провозвещать это вам, хотите вы или не хотите... нет, чем меньше вы этого хотите, тем громче я буду провозвещать вам это. Я буду трубить в трубы! Говорю вам, что, если вы восстанете против этого, вы падете, вы будете сломлены, вы будете раздавлены, вы будете раздроблены, вы будете разбиты вдребезги.

Этот поток красноречия, сила которого вызывает глубокое восхищение у последователей мистера Чедбенда, не только приводит к тому, что мистер Чедбенд неприятно обливается потом, но и выставляет ни в чем не повинного мистера Снегсби заядлым врагом добродетели с медным лбом и каменным сердцем, отчего несчастный торговец теряется еще больше и, придя в самое угнетенное состояние духа, чувствует, что попал в какое-то

фальшивое положение; но тут мистер Чедбенд приканчивает его смертельным ударом.

— Друзья мои! — начинает он снова после того, как некоторое время отирал платком потную голову, от которой валит столь горячий пар, что платок, должно быть, нагревается и тоже извергает клубы пара после каждого прикосновения к голове.— Преследуя цель, которой мы стремимся достигнуть при помощи слабых наших дарований, попытаемся же в духе любви определить, что есть Ии-си-тина, о коей я говорю. Ибо, юные друзья мои,— неожиданно обращается он к подмастерьям и Гусе, приводя их в оцепенелое замешательство,— если лекарь пропишет мне каломель или касторовое масло, я, натурально, имею право спросить: что есть каломель и что есть касторовое масло? Я имею право узнать это, прежде чем приму одно из этих лекарств или оба сразу. Итак, юные друзья мои, что же в таком случае есть Ии-си-тина? Во-первых (в духе любви), юные друзья мои, что есть обычная Ии-си-тина,— обычная, подобно рабочей одежде, подобно будничному платью? Есть ли это ложь?

(— А-ах! — вздыхает миссис Снегсби.)

— Есть ли это умолчание?

(Миссис Снегсби трепещет в знак отрицания.)

— Есть ли это мысленная оговорка?

(Миссис Снегсби качает головой очень медленно и с чрезвычайно загадочным видом.)

— Нет, друзья мои, ни то, ни другое, ни третье не есть Ии-си-тина! Ни одно из этих наименований для нее не подходит: Когда сей юный язычник, присутствующий ныне среди нас,— правда, сейчас он, друзья мои, заснул, так как печать равнодушия и смертных грехов легла на его веки, но не будите его, ибо надлежит мне бороться, сражаться, биться и победить ради него,— итак, когда сей юный закоренелый язычник рассказывал нам всякий вздор и чушь о том о сем, о леди, о соверене, было ли *это* Ии-си-тиной? Нет. И если это было ею отчасти, было ли это Ии-си-тиной целиком и вполне? Нет, друзья мои, отнюдь нет!

Если бы мистер Снегсби выдержал взгляд своей «крошечки», который проникает в его глаза — окна его души,— и обыскивает всю его внутреннюю обитель, он

был бы не таким человеком, каким родился. Но он не выдержал — он съежился и поник.

— Или, юные друзья мои,— продолжает Чедбенд, снисходя до уровня их понимания и весьма назойливо подчеркивая елейно-кроткой улыбкой, как долго ему пришлось опускаться с высот для этой цели,— если хозяин этого дома пойдет по городу и там увидит угря и вернется и войдет к хозяйке этого дома и скажет ей: «Сара, возрадуйся со мною, ибо я видел слона!», будет ли *это* Ии-си-тиной?

На глазах у миссис Снегсби показываются слезы.

— Или, юные друзья мои, предположим, что он видел слона, а вернувшись, сказал: «Слушайте, город опустел, я видел только угря!», будет ли *это* Ии-си-тиной?

Миссис Снегсби громко всхлипывает.

— Или же, юные друзья мои,— продолжает Чедбенд, подстрекаемый этими звуками,— предположим, что бесчеловечные родители сего уснувшего язычника — ибо родители у него были, юные друзья мои, сие не внушает сомнения,— предположим, что родители, покинув его на съедение волкам и стервятникам, бешеным псам, юным газелям и змеям, вернулись в свои обиталища и принялись за свои трубки и кубки, за свои флейты и пляски, за свои хмельные напитки, и говядину, и домашнюю птицу, будет ли *это* Ии-си-тиной?

На этот вопрос миссис Снегсби отвечает тем, что становится жертвой судорог,— жертвой не смиренной, но рыдающей и вопящей, да так пронзительно, что весь Кукс-Корт звенит от ее воплей. В конце концов она падает в обморок, и ее приходится тащить наверх по узкой лесенке тем же способом, каким переносят рояли. Страдания ее неописуемы и производят ошеломляющее впечатление на всех присутствующих; но вот курьеры, прибывшие из спальни, докладывают, что муки страдалицы прекратились,— она только совсем обессилела,— и мистер Снегсби, затисканный и помятый во время переноски «рояля», донельзя оробевший и ослабевший, отваживается выглянуть из-за двери и войти в гостиную.

Все это время Джо сидел на том месте, где проснулся, непрестанно теребя свою шапку и засовывая клочки меха в рот. Он выплевывает их с покаянным видом, чувствуя

себя от природы неисправимым, закоренелым грешником, которому, значит, незачем и стараться не спать, потому что он-то уж все равно никогда ничего знать не будет.

Но, может быть, Джо, есть на свете книга интересная и трогательная даже для существ, столь близких к животным, как ты,— книга, повествующая о делах, совершенных на этой земле ради простых людей,— и если бы Чедбенды, перестав заслонять собой ее свет, только указали тебе на нее в простодушном благоговении, не стремясь ее приукрасить — ибо она достаточно красноречива и без их жалкой помощи,— ты, возможно, и не заснул бы, ты даже нашел бы в ней, чему поучиться!

Джо никогда не слыхал о такой книге. Что ее творцы, что его преподобие Чедбенд — это для Джо «все едино»; но его преподобие Чедбенда Джо знает хорошо и скорей согласился бы бежать от него в течение целого часа, чем пять минут кряду слушать его суесловие.

«Незачем мне тут больше околачиваться,— думает Джо.— Нынче вечером мистеру Снегсби не до меня». И Джо, волоча ноги, спускается к выходу.

Но внизу стоит добросердечная Гуся, уцепившись руками за перила кухонной лестницы и едва удерживаясь от грозящего ей припадка,— так ее расстроили вопли миссис Снегсби. Свой ужин, состоящий из хлеба и сыра, она отдает Джо, с которым впервые осмеливается перекинуться несколькими словами.

— На вот тебе, покушай, бедный мальчуган,— говорит Гуся.

— Премного благодарен, сударыня,— отзывается Джо.

— Небось есть хочется?

— Еще бы! — отвечает Джо.

— А куда девались твои отец с матерью, а?

Джо перестает жевать и стоит столбом. Ведь Гуся, эта сиротка, питомица христианского святого, чей храм находится в Тутинге, погладила Джо по плечу,— первый раз в жизни он почувствовал, что до него дотронулась рука порядочного человека.

— Не знаю я про них ничего,— говорит Джо.

— Я тоже не знаю про своих! — восклицает Гуся.

Она подавляет в себе симптомы близкого припадка, но вдруг пугается чего-то и, сбежав с лестницы, исчезает.

— Джо! — тихо шепчет мистер Снегсби мальчику, остановившемуся на ступеньке.

— Да, мистер Снегсби.

— Я не заметил, как ты ушел... вот тебе еще полкроны, Джо. Очень хорошо, что ты ничего не сказал о той леди, которую мы с тобой видели на днях. Вышло бы худо. Ни в коем случае не проболтайся, Джо.

— Ну, я пошел, хозяин.

Итак, спокойной ночи.

Призрачная тень в белье с оборками и ночном чепце следует за владельцем писчебумажной лавки, проникает в комнату, из которой он вышел, и скользит наверх. И отныне, куда бы он ни направился, его провожает не только его тень, но и чья-то другая, и эта другая тень следует за ним почти так же неотступно, почти так же бесшумно, как его собственная. И в какую бы тайну ни проникла его собственная тень, все, замешанные в эту тайну, берегитесь! Знайте, что бдительная миссис Снегсби тут как тут — кость от его кости, плоть от его плоти, тень от его тени.

ГЛАВА XXVI

Меткие стрелки

Зимнее утро обратило свой бледный лик к окружающим Лестер-сквер кварталам и мутными очами видит, что местным жителям не хочется вылезать из постелей. Впрочем, тут очень многие никогда не встают спозаранку даже в самую ясную погоду, ибо это не ранние пташки, а ночные птицы, и когда солнце стоит высоко, они спят на насесте, а когда сияют звезды, смотрят в оба и подстерегают добычу. За выцветшими, грязными ставнями и занавесками, на верхних этажах и в мансардах, более или менее искусно скрываясь под фальшивыми именами, фальшивыми волосами, фальшивыми титулами, фальши-

выми драгоценностями и фальшивыми биографиями, целая колония бандитов спит первым сном. Это «рыцари зеленого стола» — шулеры,— которые могут немало порассказать об иностранных галерах и отечественных ступальных колесах *, зная их по личному опыту; это шпионы могущественных правительств, вечно дрожащие от жалкого страха и малодушия; это гнусные предатели, трусы, дуэлисты, бреттеры, картежники, жулики, мошенники, лжесвидетели, и некоторые из них прячут под грязными космами клейма, и все они кровожадней Нерона и преступнее заключенных в Ньюгетской тюрьме *. Но как ни порочен дьявол, когда он носит бумазейное платье или рабочую блузу (а дьявол может быть очень порочным и в этом наряде), и в какой бы другой личине он ни являлся, он особенно коварен, черств и несносен, когда вкалывает булавку в манишку, называет себя джентльменом, имеет визитные карточки и знаки отличия, поигрывает на бильярде и знает толк в векселях и заемных письмах. В этой личине он все еще обитает на улицах, ведущих к Лестер-скверу, и мистер Баккет разыщет его там, когда найдет нужным.

Но зимнему утру он не нужен, и его оно не будит. Зато оно разбудило мистера Джорджа и его закадычного друга в «Галерее-Тире». Они встают, скатывают и убирают свои тюфяки. Мистер Джордж, побрившись перед крошечным зеркальцем, марширует с обнаженной головой и обнаженной грудью к колодцу во дворике и вскоре возвращается, сияя после мытья желтым мылом, обливанья ледяной водой и растиранья. Пока он вытирается широким купальным полотенцем, фыркая, словно какой-то воинственный водолаз, только что вынырнувший из воды,— причем жесткие его волосы вьются на загорелых висках тем круче, чем сильней он их трет, так что их, пожалуй, невозможно расчесать иначе, как железными граблями или конской скребницей,— пока он вытирается, фыркает, растирается и отдувается, поворачивая голову из стороны в сторону, чтобы посуше вытереть шею, и резко наклоняясь вперед, чтобы не замочить своих солдатских ног, Фил, стоя на коленях, разводит огонь в камине с таким видом, словно наблюдать всю эту процедуру для него все равно, что вымыться самому, и слов-

но излишек здоровья, которым пышет хозяин, передается ему, Филу, и достаточно восстанавливает его силы хотя бы на один день.

Вытершись досуха, мистер Джордж принимается скрести себе голову двумя жесткими щетками сразу, и — так беспощадно, что Фил, который подметает пол, задевая плечом за стены, сочувственно подмигивает. Но вот мистер Джордж, наконец, причесался, а что касается декоративной стадии его туалета, то она завершается быстро. Затем он, как и в любое другое утро, набивает трубку с длинным чубуком, зажигает ее и, покуривая, шагает взад и вперед по галерее, в то время как Фил готовит завтрак, собираясь подать горячие булочки и кофе, от которых распространяется сильный запах. Мистер Джордж курит в задумчивости и прохаживается замедленным шагом. Быть может, эта утренняя трубка посвящена памяти покойного Гридли.

— Так, значит, Фил,— говорит Джордж, владелец «Галереи-Тира», сделав несколько кругов в молчании,— сегодня ты видел во сне деревню?

Он говорит это, вспомнив, что Фил, вылезая из постели, удивленным тоном рассказал ему свой сон.

— Да, начальник.

— Ну, и какая ж она была?

— Право, не могу сказать, начальник, какая она была,— говорит Фил, подумав.

— Так почем ты знаешь, что это была деревня?

— Должно быть, потому, что там была трава. А на траве — лебеди,— отвечает Фил, опять подумав.

— А что же лебеди делали на траве?

— Щипали ее, надо полагать,— отвечает Фил.

Хозяин снова начинает шагать взад и вперед, а слуга снова принимается готовить завтрак. Его работа не должна бы затягиваться — ведь нужно только очень незатейливо накрыть стол для завтрака на двоих да поджарить ломоть свиной грудинки на огне, разведенном на ржавой решетке камина; но за каждой вещью Филу приходится идти окольным путем, чуть не вокруг всей галереи, причем он никогда не приносит двух вещей сразу, так что все это берет довольно много времени. Наконец завтрак готов, и когда Фил объявляет об этом,

мистер Джордж, постучав трубкой по выступу в камине, чтобы выбить из нее пепел, ставит ее в уголок и садится завтракать. Он накладывает себе еду на тарелку, и лишь после этого Фил, который сидит за длинным узким столиком напротив хозяина, следует его примеру; но он ставит тарелку себе на колени, то ли из скромности, то ли, чтобы не бросались в глаза его почерневшие руки, или просто потому, что привык есть таким манером.

— Да, деревня,— говорит мистер Джордж, орудуя ножом и вилкой.— А ты, Фил, ее, наверно, и не видывал?

— Болото видел как-то раз,— отвечает Фил, с удовольствием уплетая завтрак.

— Какое болото?

— Просто болото, командир,— объясняет Фил.

— Да где ж ты его видел?

— Не помню где,— говорит Фил,— только я его видел, начальник. Плоское такое. И все в тумане.

Фил называет хозяина попеременно то начальником, то командиром, выражая этим равную степень уважения и почтительности, и так называет только мистера Джорджа.

— А я родился в деревне, Фил.

— Да что вы, командир?

— Да. Там и вырос.

Фил, подняв свою единственную бровь, с почтительным интересом смотрит на хозяина и делает огромный глоток кофе.

— Я знаю, как всякая птица поет,— говорит мистер Джордж,— не много найдется в Англии таких трав или ягод, каких я не мог бы назвать, не много найдется деревьев, на какие я не сумел бы влезть. Когда-то я был настоящим деревенским мальчуганом. Моя матушка жила в деревне.

— Надо думать, она была прекрасной старушкой, начальник,— замечает Фил.

— Да! И не так уж она была стара... тридцать пять лет тому назад,— говорит мистер Джордж.— Но, бьюсь об заклад, что и в девяносто лет она могла бы держаться почти так же прямо, как я сейчас, да и в плечах была бы почти такой же широкой.

— Она умерла девяноста лет, начальник? — спрашивает Фил.

— Нет. Ну, ладно! Оставим ее в покое, благослови ее бог! — говорит кавалерист.— С чего это я разболтался о деревенских мальчишках, беглецах и бездельниках? Из-за тебя, конечно! Так, значит, ты деревни не видывал... кроме как во сне да болота наяву? Так, что ли?

Фил качает головой.

— А хотелось бы увидеть?

— Да нет, пожалуй, не очень,— отвечает Фил.

— С тебя хватит и города, а?

— Видите ли, командир,— объясняет Фил,— ведь я ничего другого не знаю, а насчет того, чтобы гнаться за чем-нибудь новеньким, пожалуй, уж из лет вышел.

— А сколько же тебе лет, Фил? — спрашивает кавалерист, помолчав и поднося ко рту блюдечко, от которого идет пар.

— Сколько-то с восьмеркою,— отвечает Фил.— Никак не восемьдесят, но и не восемнадцать. Где-то между.

Мистер Джордж неторопливо опустил блюдечко, не прикоснувшись к его содержимому, и начинает с улыбкой: «Что за черт, Фил...», но не доканчивает фразы, заметив, что Фил считает по своим грязным пальцам.

— Мне было ровно восемь, по исчислениям приходского совета, когда я убежал с медником,— говорит Фил.— Раз послали меня куда-то, и вижу я, сидит у какой-то лачуги медник — один у своего горна греется,— вот благодать-то! Ну, он и говорит мне: «Не хочешь ли, паренек, побродить со мной?» Я говорю: «Да», ну вот мы с ним да с горном и зашагали к нему домой в Клеркенуэл. Это первого апреля было. Я тогда умел считать до десяти, и вот наступает опять первое апреля, я и говорю себе: «Ну, брат, теперь тебе восемь и один». А на следующее первое апреля опять говорю себе: «Ну, брат, теперь тебе восемь и два». Дальше — больше, сравнялось мне восемь и один десяток, потом — восемь и два десятка. Ну, а когда уж столько наросло, я и запутался; а все ж таки всегда знаю, что мне восемь и сколько-то еще.

— Так,— отзывается мистер Джордж, снова принимаясь за еду.— А куда же девался медник?

— Допился до больницы, начальник, а в больнице его, говорят, положили... в стеклянный ящик,— с таинственным видом отвечает Фил.

— Зато ты сразу же повысился в чине? Продолжал его дело, Фил?

— Да, командир, худо ли, хорошо ли, продолжал его дело. Не больно-то оно было выгодное,— бродил я все по таким местам, как Сэфрон-Хилл, Хэттон-гарден, Клеркенуэл, Смитфилд *, а там одна голь перекатная живет,— посуда до тех пор на огне стоит, пока совсем не распаяется,— и чинить уж нечего. При жизни хозяина почти что все бродячие медники у нас останавливались — хозяин на них больше зарабатывал, чем на починке. Ну, а ко мне они заходить не стали. Ведь я не то, что он. Он им, бывало, хорошую песню споет. А я не умел. Он им, бывало, сыграет что-нибудь на каком хочешь котелке — хоть на чугунном, хоть на оловянном. А я только и умел, что чинить да лудить эти самые котелки — не мастер я по части музыки. Да еще больно я некрасивый был — бабы ихние на меня и глядеть не хотели.

— Очень уж они были разборчивые. В толпе ты не хуже других, Фил,— говорит кавалерист с ласковой улыбкой.

— Нет, начальник,— возражает Фил, качая головой.— Куда уж мне! Правда, когда я ушел с медником, наружность у меня была ничего себе, хотя тоже похвалиться нечем; ну, а потом, как пришлось мне еще мальчишкой раздувать горн своим собственным ртом, да цвет лица себе портить, да волосы подпаливать, да дым глотать; как пришлось самого себя клеймами метить — ведь мне сроду не везло, то и дело, бывало, о раскаленную медь обжигался; как пришлось мне сражаться с медником,— это уж, когда я подрос,— а дрались мы чуть не всякий раз, как он, бывало, хватит лишнего, что с ним чуть не каждый день случалось, ну, я и подурнел — больно уж чудной, совсем чудной стала моя красота, и это еще в молодых летах. Ну, а потом, как протрубил я годков двенадцать в темной кузнице, где много было охотников сыграть со мной шутку, да как поджарился я во время несчастного случая на газовом заводе, да как вылетел из окна, когда набивал гильзы для фейерверка,

так вот и сделался таким уродом, что можно за деньги показывать.

Тем не менее Фил безропотно покоряется горькой своей судьбе и, вполне довольный, просит разрешения налить себе еще чашечку кофе. Попивая кофе, он продолжает:

— После этого самого взрыва,— когда я гильзы для фейерверка набивал,— мы с вами и познакомились, командир. Помните?

— Помню, Фил. Ты тогда брел куда-то на солнцепеке.

— Ковылял, начальник, вдоль стенки...

— Правильно, Фил,— плечом ее задевал...

— В ночном колпаке! — возбужденно восклицает Фил.

— В ночном колпаке...

— Плелся на костылях! — кричит Фил еще более возбужденно.

— На костылях. И вот...

— И вот вы остановились,— кричит Фил, ставя чашку с блюдцем на стол и торопливо убирая тарелку с колен,— и говорите мне: «Эй, товарищ! Ты, сдается мне, был на войне!» Я тогда не нашелся что ответить, командир; меня прямо ошарашило,— гляжу, сильный такой человек, здоровый, смелый, и вдруг остановился, заговорил со мной: а что я тогда был — калека, кожа да кости. А вы со мной разговариваете, и слова у вас прямо от сердца идут, так что мне это словно стаканчик хмельного, и вы говорите: «Отчего это у тебя? Несчастный случай, что ли? Ты, как видно, был опасно ранен. Что у тебя болит, старина? Приободрись-ка да расскажи мне!» Приободрись! Да я уже приободрился. Ну, тут я вам что-то сказал, а вы тоже мне что-то сказали, а я вам еще, а вы мне еще — дальше — больше, и вот я здесь, командир. Я здесь, командир! — кричит Фил, вскочив со стула, и, сам того не замечая, принимается ковылять вдоль стены.— И если нужна мишень или если от этого будет польза вашему заведению,— пускай клиенты целятся в меня. *Моей* красоты им все равно не испортить. Кто-кто, а я выдержу! Пускай! Если им нужен человек для бокса, пускай колотят меня. Пусть себе дубасят меня по башке,

сколько душе угодно. Кому как, а мне хоть бы что. Если им нужен легковес для борьбы, хоть корнуэллской, хоть девонширской, хоть ланкаширской, хоть на какой хочешь манер, пусть себе швыряют меня на обе лопатки. Кому-кому, а *мне* это не повредит. Меня жизнь швыряла на всякие манеры!

Произнеся эту неожиданную речь с большой страстностью и сопроводив ее наглядными примерами из всех видов спорта, о которых в ней упоминалось, Фил Сквод ковыляет вдоль трех сторон галереи, задевая плечом за стену, потом вдруг отрывается от нее и, ринувшись на своего командира, бодает его головой, чтобы выразить свою преданность. Потом он убирает со стола остатки завтрака.

Мистер Джордж, весело рассмеявшись и похлопав его по плечу, помогает ему убрать посуду и привести в порядок заведение к предстоящему рабочему дню. Покончив с этим, он делает гимнастику с гирями, а затем, взвесившись на весах и заметив, что «слишком я раздобрел», с величайшей серьезностью начинает в одиночку упражняться в фехтовании. Между тем Фил принимается за работу у своего стола — что-то привинчивает и отвинчивает, подчищает и подпиливает, продувает крошечные дырочки, покрывается еще более толстым слоем грязи и, кажется, проделывает все операции, какие только можно проделать с ружьем.

Но занятия хозяина и служителя неожиданно прерываются шумом шагов в коридоре,— необычным шумом, возвещающим о приходе необычных посетителей. Шаги эти, приближаясь к галерее, слышны все отчетливей, и вот появляются люди, которых на первый взгляд можно принять за участников потешного шествия, отмечающих пятого ноября годовщину Порохового заговора *.

Два носильщика несут в кресле расслабленного, безобразного старика, а при нем состоит тощая девица, с похожей на маску физиономией, у которой «щека щеку ест», и если бы не ее крепко и вызывающе сжатые губы, могло бы показаться, что эта девица сейчас примется декламировать популярные вирши про те времена, когда заговорщики покушались взорвать Старую Англию. Но вот кресло опускают на пол, а старик в кресле охает:

— Ох, боже мой! Ох ты, господи! Меня всего растрясло! — и добавляет: — Как поживаете, любезный друг, как поживаете?

Тут мистер Джордж узнает в старике почтенного мистера Смоллуида, который выехал проветриться, захватив с собой свою внучку Джуди в качестве телохранительницы.

— Мистер Джордж, любезный друг мой, как поживаете? — говорит дедушка Смоллуид, разжимая правую руку, которой он по дороге стиснул шею одного из носильщиков, да так, что чуть было его не задушил.— Вас не удивляет мой приезд, любезный друг мой?

— Вряд ли я удивился бы больше, появись здесь ваш «друг в Сити»,— отвечает мистер Джордж.

— Я очень редко выезжаю из дому,— говорит мистер Смоллуид, тяжело дыша.— Вот уже много месяцев как не выезжал. Хлопотливо это... да и дорого. Но мне так хотелось видеть вас, дорогой мистер Джордж. Как поживаете, сэр?

— Не плохо,— отвечает мистер Джордж.— Надеюсь, и вы тоже.

— Вы должны жить лучше, чем «не плохо», любезный друг, — говорит мистер Смоллуид, хватая его за обе руки.— Я привез свою внучку Джуди. Не мог от нее отвязаться. Ей прямо не терпелось повидаться с вами.

— Хм! Что-то непохоже! — бормочет мистер Джордж.

— И вот мы наняли карету и поставили в нее кресло, а тут у вас за углом меня вынули и перенесли сюда, чтобы я мог повидаться со своим любезным другом в его собственном заведении! Этот вот,— говорит дедушка Смоллуид, указывая на носильщика, который чуть было не погиб от удушения, а теперь уходит, отхаркиваясь,— этот привез нас сюда. Ему ничего лишнего не полагается. Плата за переноску входит в плату за проезд,— так мы договорились. А этого молодца,— он показывает на другого носильщика,— мы наняли на улице за пинту пива. Она стоит два пенса. Джуди, уплати этому молодцу два пенса. Я не знал наверное, что у вас есть свой служитель, любезный друг; а знал бы, ни за что бы не стал нанимать этого молодца.

Упомянув о Филе, дедушка Смоллуид бросает на него взгляд, исполненный ужаса, и глухо бормочет: «Ох ты,



господи! О боже мой!» Впрочем, если судить поверхностно, опасения его имеют некоторые основания, ибо Фил, впервые в жизни увидев это пугало в черной бархатной ермолке, замер на месте с ружьем в руках, и вид у него такой, словно он — меткий стрелок, вознамерившийся подстрелить мистера Смоллуида, как безобразную старую птицу вороньей породы.

— Джуди,— говорит дедушка Смоллуид,— уплати, деточка, этому молодцу два пенса. Дорого берет за такой пустяк.

Упомянутый «молодец», один из тех диковинных экземпляров человеческой плесени, которые внезапно вырастают — в поношенных красных куртках — на западных улицах Лондона и охотно берутся подержать лошадей или сбегать за каретой,— упомянутый молодец без особого восторга получает свои два пенса, подбрасывает монеты в воздух, ловит их и удаляется.

— Дорогой мистер Джордж,— говорит дедушка Смоллуид,— будьте так любезны, помогите Джуди придвинуть меня к огоньку. Я привык сидеть у огонька,— человек я старый, все зябну да мерзну... Ох, боже мой!

Это восклицание неожиданно вырывается у почтенного джентльмена, потому что мистер Сквод, словно нечистый дух из сказки, хватает его вместе с креслом и придвигает вплотную к камину.

— Ох ты, господи! — задыхается мистер Смоллуид.— Ох, боже мой! Ох, злосчастная моя доля! Любезный друг мой, служитель у вас чересчур сильный... чересчур расторопный. Ох, боже мой, до чего расторопный! Джуди, отодвинь меня немножко. А то у меня ноги поджариваются,— в чем убеждаются и носы всех присутствующих, ощущающие запах паленых шерстяных чулок.

Немного отодвинув дедушку от огня, кроткая Джуди встряхивает его, как обычно, и приподнимает черную бархатную ермолку как абажур, закрывшую ему один глаз, после чего мистер Смоллуид повторяет: «Ох, боже мой! Ох ты, господи!», озирается и, встретив взгляд мистера Джорджа, снова протягивает ему обе руки.

— Любезный друг! До чего я счастлив вас видеть! Значит, это и есть ваше заведение? Восхитительный уголок! Прямо картинка! А не случается у вас, чтобы какая-

нибудь из этих штук сама собой выстрелила, а, любезный друг? — вопрошает дедушка Смоллуид, очень обеспокоенный.

— Нет, нет. Не бойтесь.

— А ваш служитель? Он... боже мой!.. не случается ему нечаянно стрельнуть, ведь нет, любезный друг мой?

— Он в жизни никого пальцем не тронул, только сам себя искалечил,— с улыбкой отвечает мистер Джордж.

— Но все может случиться, знаете ли. Он, как видно, немало навредил самому себе, значит может и другого поранить,— возражает старик.— Нечаянно... а может быть, и нарочно, почем знать? Мистер Джордж, прикажите ему, пожалуйста, бросить свое дьявольское огнестрельное оружие и отойти подальше.

Повинуясь кивку кавалериста, Фил с пустыми руками отходит в дальний конец галереи. Мистер Смоллуид, успокоенный, принимается растирать себе ноги.

— Значит, ваши дела идут хорошо, мистер Джордж? — обращается он к кавалеристу, который стоит прямо против него, расставив ноги и с палашом в руках.— Преуспеваете, благодарение богу?

Мистер Джордж холодно кивает и говорит:

— Продолжайте. Не затем вы сюда явились, чтобы сказать мне это; знаю я вас.

— Ну и шутник же вы, мистер Джордж,— отзывается почтенный дедушка.— С вами не соскучишься!

— Ха-ха! Продолжайте! — говорит мистер Джордж.

— Любезный друг!.. До чего эта ваша сабля острая; и блестит ужасно. Как бы случайно кого-нибудь не порезала. Меня прямо дрожь берет, мистер Джордж... Будь он проклят,— говорит достойный старец, обращаясь к Джуди, когда кавалерист отходит на два-три шага в сторону, чтобы положить палаш на место.— Ведь он мне деньги должен — чего доброго, еще вздумает свести со мной счеты в этом разбойничьем вертепе. Вот бы притащить сюда твою зловредную бабушку,— он бы ей отбрил голову долой.

Мистер Джордж возвращается и, скрестив руки, смотрит сверху вниз на старика, сползающего все ниже и ниже в своем кресле, и, наконец, говорит:

— Ну, теперь начнем!

— Хо! — кричит мистер Смоллуид, потирая руки с хитрым кудахтающим смешком.— Да. Теперь начнем. Но что же мы теперь начнем, любезный друг?

— Курить трубку,— отвечает мистер Джордж и, невозмутимо придвинув свой стул к камину, берет с его решетки трубку, набивает ее, разжигает и спокойно начинает курить.

Это весьма смущает мистера Смоллуида, которому так трудно перейти к цели своего визита, какая б она ни была, что он приходит в бешенство и украдкой в бессильной злобе загребает когтями воздух, обуреваемый страстным желанием расцарапать и разодрать лицо мистеру Джорджу. А когти у достойного старца длинные и твердые, как свинец, руки тощие и жилистые, глаза зеленые и слезящиеся, и, хуже того,— загребая когтями воздух, он совсем съеживается в кресле и превращается в бесформенный узел тряпья, приобретая вид столь жуткий даже для привычных глаз Джуди, что эта юная дева налетает на дедушку и так его трясет в пылу не одной лишь родственной любви, но и кое-каких других чувств, так разминает, так тычет кулаком в различные части его тела и особенно, выражаясь термином, принятым в науке самозащиты, «под ложечку», что в горестном расстройстве своем он невольно начинает издавать звуки, похожие на стук трамбовки.

Но вот Джуди, наконец, удается усадить его в кресле, и он сидит с побелевшим лицом и посиневшим носом (но не переставая загребать воздух когтями), а она, протянув руку, тычет сухоньким указательным пальцем мистера Джорджа в спину. Кавалерист поднимает голову, Джуди тычет пальцем в своего уважаемого дедушку и, побудив их таким образом возобновить разговор, впивается жестким взглядом в огонь.

— Да-да! Хо-хо! У-у-у-х! — бормочет дедушка Смоллуид, подавляя бешенство.— Любезный друг мой! — И он снова загребает воздух когтями.

— Вот что я вам скажу,— говорит мистер Джордж.— Если хотите со мной побеседовать, говорите начистоту. Я простой солдат — человек неотесанный и не умею ходить вокруг да около. Не научился этому искусству.

Недостаточно умен для него. Мне оно ни к чему. А вы все только крутитесь да вертитесь вокруг меня,— продолжает кавалерист, поднося трубку ко рту,— и будь я проклят, но мне чудится, будто меня душат!

И он вбирает в свою широкую грудь как можно больше воздуха, словно хочет удостовериться, что еще не задушен.

— Если вы приехали по-дружески навестить меня,— продолжает мистер Джордж,— я вам очень признателен — добро пожаловать! А если вы явились проверить, имеется ли у меня дома имущество, или нет,— проверяйте, не стесняйтесь. Желаете сказать мне что-нибудь — говорите!

Цветущая красавица Джуди, не спуская глаз с огня, понукает дедушку грубым тычком.

— Вот видите! Она со мной согласна! Но какого черта эта молодая особа не хочет присесть, как полагается,— говорит мистер Джордж, обратив недоуменный взгляд на Джуди,— понять не могу.

— Она от меня не отходит, чтобы прислуживать мне, сэр,— объясняет дедушка Смоллуид.— Я человек старый, дорогой мистер Джордж, мне уход нужен. Правда, я еще крепок для своих лет — не то что какая-нибудь зловредная попугаиха,— он рычит и по привычке ищет глазами подушку,— но за мной нужен присмотр, любезный друг.

— Ладно! — говорит кавалерист, повернув свой стул, чтобы лучше видеть лицо старика.— Что же дальше?

— Мой друг в Сити, мистер Джордж, дал небольшую сумму в долг одному из ваших учеников.

— Вот как? — отзывается мистер Джордж.— Очень жаль.

— Да, сэр.— Дедушка Смоллуид растирает себе ноги.— Это бравый молодой военный, мистер Джордж, его фамилия Карстон. Впоследствии явились его друзья и благородно заплатили за него сполна.

— В самом деле? — говорит мистер Джордж.— А как вы полагаете, ваш приятель в Сити захочет выслушать добрый совет?

— Полагаю, что да, любезный мой друг. Если это вы желаете дать ему совет.

— Так вот, я советую ему не вести никаких дел с этим человеком. Тут ничего больше не высосешь. На-

сколько мне известно, молодой джентльмен промотался.

— Нет, нет, любезный друг! Нет, нет, мистер Джордж! Нет, нет, нет, сэр,— убеждает его дедушка Смоллуид, с хитрым видом растирая худые ноги.— Не совсем промотался, мне кажется. Он платежеспособен, раз у него есть добрые друзья, платежеспособен, поскольку получает жалованье, платежеспособен, поскольку может продать свой патент, платежеспособен, поскольку имеет шансы выиграть тяжбу, платежеспособен, поскольку имеет шансы выгодно жениться... нет, мистер Джордж, я, знаете ли, полагаю, что мой приятель в Сити все еще находит молодого джентльмена в известной мере платежеспособным,— заключает дедушка Смоллуид, сдвигая бархатную ермолку и по-обезьяньи почесывая ухо.

Отложив трубку в сторону, мистер Джордж кладет руку на спинку своего стула, а правой ногой барабанит по полу с таким видом, словно ему не очень нравится этот разговор.

— Но поговорим о другом,— продолжает мистер Смоллуид.— Так сказать, повысим в чине нашу беседу, как выразился бы какой-нибудь остряк. Перейдем, мистер Джордж, от прапорщика к капитану.

— Это еще что? — спрашивает мистер Джордж и, хмурясь, перестает поглаживать то место, на котором у него некогда росли усы.— К какому капитану?

— Нашему капитану. Знакомому нам капитану. Капитану Хоудону.

— Ага! Вот оно что? — говорит мистер Джордж, присвистнув, и видит, что дедушка с внучкой впиваются в него глазами.— Вот вы к чему клоните! Ну и что же? Валяйте, я больше не хочу, чтобы меня душили. Выкладывайте!

— Любезный друг мой,— отзывается старик,— у меня наводили справки... Джуди, встряхни меня немножко... у меня вчера наводили справки о капитане, и я по-прежнему уверен, что капитан жив.

— Чепуха! — возражает мистер Джордж.

— Что вы изволили сказать, любезный друг? — спрашивает старик, приложив руку к уху.

— Чепуха!

— Хо! — восклицает дедушка Смоллуид.— Мистер Джордж, вы сами поняли бы, что я прав, знай вы, какие вопросы мне задали и по каким причинам. Так как же вы думаете, чего хочет юрист, который наводил эти справки?

— Заработать,— отвечает мистер Джордж.

— Вовсе нет!

— Значит, он не юрист,— утверждает мистер Джордж, скрестив руки с видом глубокой убежденности в своих словах.

— Любезный друг мой, он юрист, и весьма известный. Он хочет получить хоть несколько строк, написанных рукой капитана Хоудона. Ему незачем оставлять их у себя. Ему нужно только посмотреть почерк и сравнить с рукописью, которая у него имеется.

— Ну и что же дальше?

— Видите ли, мистер Джордж, юрист случайно запомнил мое объявление, в котором говорилось, что мне желательно получить сведения о капитане Хоудоне, справился по этому объявлению и пришел ко мне... так же, как и вы, любезный друг мой. *Позвольте* пожать вам руку! Как я рад, что вы тогда пришли ко мне! Ведь не приди вы тогда, я бы не имел такого друга, как вы!

— Дальше, дальше, мистер Смоллуид! — понукает его мистер Джордж, не очень охотно совершив церемонию рукопожатия.

— Ничего такого у меня не нашлось. У меня остались только его подписи. Чтоб на него и мор, и чума, и глад, и бой, и смертоубийство, и гибель нечаянная обрушились! — верещит старик, превращая в проклятие одну из немногих запомнившихся ему молитв и яростно стиснув в руках бархатную ермолку.— У меня с полмиллиона его подписей наберется, не меньше! Но у вас,— он снова сбавляет тон, еле переводя дух, в то время как Джуди поправляет ермолку на его голом, словно кегельный шар, черепе,— у вас, дорогой мистер Джордж, наверное осталось какое-нибудь письмо или документ, которые нам пригодились бы. Любая записка пригодится, если она написана его рукой.

— Написана его рукой,— задумчиво повторяет кавалерист.— Что ж, может, записка у меня и найдется.

— Дражайший мой друг!

— А может, и нет.

— Хо! — разочарованно вздыхает дедушка Смоллуид.

— Но, будь у меня хоть целая кипа его рукописей, я не показал бы вам и клочка, годного для ружейного пыжа, пока не узнал бы, зачем он вам нужен.

— Но, сэр, я говорил вам — зачем. Дорогой мистер Джордж, я же говорил вам.

— Говорили, да не договаривали,— упорствует кавалерист, качая головой.— Мне нужно знать, что̀ за этим кроется, знать, что тут нет никакого подвоха.

— Так не хотите ли отправиться вместе со мной к юристу? Любезный друг мой, поедемте, повидайтесь с этим джентльменом! — убеждает его дедушка Смоллуид, вынимая плоские старинные серебряные часы со стрелками, похожими на ноги скелета.— Я говорил ему, что, может быть, заеду к нему сегодня утром между десятью и одиннадцатью, а теперь половина одиннадцатого. Поедемте, мистер Джордж, повидайтесь с этим джентльменом!

— Хм! — произносит мистер Джордж с серьезным видом.— Что ж, можно. Но мне все-таки неясно, почему вы так заинтересованы во всем этом.

— Меня интересует малейший шанс получить хоть какие-нибудь сведения о капитане. Кто ж, как не он, облапошил всех нас? Кто ж, как не он, задолжал нам огромные суммы денег? Почему я в этом заинтересован? Кого же, как не меня, интересует все, что его касается? Впрочем, любезный друг мой,— и дедушка Смоллуид опять сбавляет тон,— я ничуть не стремлюсь принуждать *вас* выдать какой-нибудь секрет. Отнюдь нет. Вы готовы отправиться со мною, любезный друг мой?

— Да! Подождите минутку. Но запомните, что я ничего не обеща̀ю.

— Разумеется, дорогой мистер Джордж, разумеется.

— И вы согласны довезти меня туда задаром? — спрашивает мистер Джордж, доставая шляпу и толстые замшевые перчатки.

Эта шутка так смешит мистера Смоллуида, что он долго и еле слышно хихикает перед камином. Но, хихикая, он смотрит через свое парализованное плечо на мистера Джорджа, напряженно следя за ним, пока тот

отпирает замок, висящий на неказистом буфете в дальнем конце галереи, шарит по верхним полкам и, наконец, вынимает что-то — должно быть, записку, потому что слышно шуршанье бумаги,— складывает и сует себе в грудной карман. Тут Джуди толкает локтем мистера Смоллуида, а мистер Смоллуид толкает локтем Джуди.

— Я готов! — говорит кавалерист, подойдя к ним.— Фил, отнеси этого пожилого джентльмена в карету, да смотри не ушиби его.

— Ох, боже мой! Ох ты, господи! Постойте! — умоляет мистер Смоллуид.— Слишком он расторопный. А вы *наверное* понесете меня осторожно, милый человек?

Фил не отвечает, но, схватив кресло вместе с грузом, пускается в свой окольный путь бочком, крепко стиснутый руками безгласного теперь мистера Смоллуида, и так быстро мчится по коридору, как будто ему дали приятное поручение сбросить старца в кратер ближайшего вулкана. Но путь его кончается у кареты, и он усаживает в нее старика, после чего обольстительная Джуди садится рядом с дедушкой, кресло водружают на крышу кареты в качестве украшения, а мистер Джордж занимает свободное место на козлах.

Мистер Джордж совершенно подавлен зрелищем, которое он созерцает, когда время от времени обертывается и заглядывает через оконце внутрь кареты, где мрачная Джуди все так же недвижима, а почтенный джентльмен в ермолке, сдвинутой на один глаз, все так же сползает с сиденья на солому, а другим глазом смотрит вверх, на мистера Джорджа, с беспомощным видом человека, которого тычут в спину.

ГЛАВА XXVII
Отставные солдаты

Мистеру Джорджу недолго приходится сидеть на козлах, скрестив руки на груди, ибо карета едет на Линкольновы поля. Когда же возница останавливает лошадей, мистер Джордж соскакивает с козел и, заглянув в карету, говорит:

— Как! Значит, тот юрист, что приходил к вам,— это мистер Талкингхорн?

— Да, любезный друг мой. А вы его знаете, мистер Джордж?

— Слышал о нем... да, кажется, и видел его. Но я с ним незнаком, и он меня не знает.

Мистера Смоллуида переносят наверх и — вполне благополучно благодаря помощи кавалериста. Его вносят в просторный кабинет мистера Талкингхорна и ставят его кресло на турецкий ковер перед камином. Мистера Талкингхорна пока нет дома, но он скоро вернется. Доложив об этом, человек, который обычно сидит на деревянном диване в передней, мешает угли в камине и уходит, оставив всю троицу греться у огня.

Комната сильно возбуждает любопытство мистера Джорджа. Он бросает взгляд вверх на расписной потолок, осматривает старинные юридические книги, созерцает портреты великосветских клиентов, читает вслух надписи на ящиках.

— «Сэр Лестер Дедлок, баронет»,— задумчиво читает мистер Джордж.— Так! «Поместье Чесни-Уолд»! Хм! — У ящиков с этой надписью мистер Джордж останавливается надолго и рассматривает их так внимательно, как будто это не ящики, а картины, затем возвращается к камину, повторяя: — Сэр Лестер Дедлок, баронет, и поместье Чесни-Уолд. Так!

— Денег у него, как на Монетном дворе, мистер Джордж! — шепчет дедушка Смоллуид, потирая себе ноги.— Богатейший человек!

— О ком это вы? О поверенном или о баронете?

— О поверенном, о поверенном.

— Это я слышал и бьюсь об заклад, что он много чего знает. Да и квартира у него недурная,— говорит мистер Джордж, снова оглядываясь вокруг.— Взгляните-ка туда, вот так сейф... хорош!

Мистер Джордж умолкает, потому что входит мистер Талкингхорн. Он, конечно, ничуть не изменился. Одет в поношенный костюм, в руках держит очки в футляре, и даже этот футляр протерт чуть ли не до дыр. Обращение у него сдержанное и сухое. Голос глухой и хриплый. Лицо, как бы прикрытое занавесом, как всегда довольно

жесткое и, пожалуй, даже презрительное, однако настороженное. В общем, если вдуматься поглубже, пожалуй окажется, что мистер Талкингхорн вовсе уж не такой горячий поклонник и преданный приверженец аристократии, как принято считать.

— Доброе утро, мистер Смоллуид, доброе утро! — говорит он, войдя в кабинет.— Я вижу, вы привели с собой сержанта. Присядьте, сержант.

Снимая перчатки и кладя их в цилиндр, мистер Талкингхорн смотрит, полузакрыв глаза, в глубину комнаты, туда, где стоит кавалерист, и, быть может, думает: «Годишься, приятель!»

— Присядьте, сержант,— повторяет он, подходя к своему столу, поставленному поближе к камину, и садится в кресло.— Утро сегодня холодное и сырое... холодное и сырое!

Мистер Талкингхорн греет перед огнем то ладони, то пальцы и смотрит (из-за вечно опущенной «завесы») на троицу, полукругом сидящую против него.

— Ну, теперь я немного оживился! (Быть может, это следует понимать двояко?) Мистер Смоллуид! — Джуди снова встряхивает старика, чтобы заставить его принять участие в беседе.— Я вижу, вы привели с собой нашего доброго друга, сержанта.

— Да, сэр,— отвечает мистер Смоллуид, подобострастно преклоняясь перед богатым, влиятельным юристом.

— Так что же скажет сержант по поводу этого дела?

— Мистер Джордж,— обращается дедушка Смоллуид к кавалеристу и представляет ему хозяина взмахом дрожащей и сморщенной руки,— это и есть тот самый джентльмен, сэр.

Мистер Джордж, отдав честь хозяину, садится и, погруженный в глубокое молчание, сидит прямо, как палка, на самом краю стула, словно за спиной у него полный вещевой комплект для полевого учения.

Мистер Талкингхорн начинает:

— Ну, Джордж?.. Ваша фамилия Джордж, не так ли?

— Да, сэр.

— Что же вы скажете, Джордж?

— Прошу прощения, сэр,— отвечает кавалерист,— но мне хотелось бы знать, что скажете *вы*.

— То есть — относительно вознаграждения?

— Относительно всего вообще, сэр.

Эти слова подвергают терпение мистера Смоллуида такому испытанию, что он внезапно вмешивается в разговор и кричит:

— Скотина зловредная! — но так же внезапно просит прощения у мистера Талкингхорна и оправдывает свою обмолвку, объясняя Джуди: — Я вспомнил о твоей бабушке, дорогая.

— Я полагаю, сержант,— продолжает мистер Талкингхорн, облокотившись на ручку кресла и заложив ногу за ногу,— что мистер Смоллуид уже подробно рассказал вам, в чем дело. Впрочем, все и так яснее ясного. Вы одно время служили под начальством капитана Хоудона, ухаживали за ним во время его болезни, оказывали ему много мелких услуг и вообще, как я слышал, пользовались его доверием. Так это или нет?

— Точно так, сэр,— отвечает мистер Джордж по-военному кратко.

— Поэтому у вас, возможно, осталось что-нибудь — все равно что,— счета, инструкции, приказы, письма, вообще какой-нибудь документ, написанный рукой капитана Хоудона. Я хочу сравнить образец его почерка с почерком одной рукописи, которая имеется у меня. Если вы мне поможете в этом, вы получите вознаграждение за труды. Три, четыре, пять гиней, надеюсь, удовлетворят вас вполне.

— Вот это щедрость, любезный друг мой! — восклицает дедушка Смоллуид, закатывая глаза.

— Если этого мало, скажите по совести, как честный солдат, сколько вы просите. Документ вы потом можете взять обратно, если хотите, хотя я предпочел бы хранить его у себя.

Мистер Джордж сидит, расставив локти, в той же самой позе, смотрит в пол, смотрит на расписной потолок, но не произносит ни слова. Вспыльчивый мистер Смоллуид загребает когтями воздух.

— Вопрос в том,— говорит мистер Талкингхорн, как всегда, педантично, сдержанно, бесстрастно излагая

дело,— во-первых, есть ли у вас какой-нибудь документ, написанный рукой капитана Хоудона?

— Во-первых, есть ли у меня какой-нибудь документ, написанный рукой капитана Хоудона, сэр? — повторяет мистер Джордж.

— Во-вторых, каким вознаграждением удовольствуетесь вы за предоставление такого документа?

— Во-вторых, каким вознаграждением удовольствуюсь я за предоставление такого документа? — повторяет мистер Джордж.

— В-третьих, как по-вашему, похож его почерк на этот почерк? — спрашивает мистер Талкингхорн, внезапно протянув кавалеристу пачку исписанных листов бумаги.

— Похож ли его почерк на этот почерк? Так...— повторяет мистер Джордж.

Все три раза мистер Джордж, как бы машинально, повторял обращенные к нему слова, глядя прямо в лицо мистеру Талкингхорну; а сейчас он даже не смотрит на свидетельские показания, приобщенные к делу «Джарндисы против Джарндисов» и переданные ему для обозрения (хотя держит их в руках), но, задумчивый и смущенный, не спускает глаз с поверенного.

— Ну, так как же? — говорит мистер Талкингхорн.— Что скажете?

— А вот как, сэр,— отвечает мистер Джордж, потом поднимается и, выпрямившись во весь рост, стоит навытяжку,— великан да и только.— Извините меня, но я, пожалуй, не хотел бы иметь никакого отношения ко всему этому.

Мистер Талкингхорн, внешне невозмутимый, спрашивает:

— Почему?

— Изволите видеть, сэр,— объясняет кавалерист,— человек я не деловой и никакими делами не могу заниматься иначе, как по долгу военной службы. Среди штатских я, как говорят в Шотландии, никудышный малый. Не такая у меня голова на плечах, сэр, чтобы разбираться в документах. Я любой огонь выдержу, только не огонь перекрестных допросов. Всего час или два назад я говорил мистеру Смоллуиду, что, когда меня впутывают в

такие истории, мне чудится, будто меня душат. Вот и сейчас у меня такое чувство,— добавляет мистер Джордж, оглядывая всю компанию.

Он делает три шага вперед, чтобы положить бумаги на стол поверенного, и три шага назад, чтобы вернуться на прежнее место, а вернувшись, снова стоит навытяжку, смотрит то в пол, то на расписной потолок и закладывает руки за спину, как бы желая показать, что не возьмет никакого другого документа.

Это — вызов, и любимый неодобрительный эпитет мистера Смоллуида так настойчиво просится ему на язык, что обращение «любезный друг мой» он начинает со слога «зло», превращая эпитет «любезный» в совершенно новое слово «злолюб», но сейчас же обрывает речь, делая вид, будто у него язык заплетается. Преодолев первое затруднение, он нежнейшим тоном убеждает своего любезного друга не торопиться, но выполнить требование уважаемого джентльмена — выполнить с охотой и веря, что это столь же не предосудительно, сколь выгодно. Что касается мистера Талкингхорна, тот просто роняет время от времени фразы вроде следующих:

— Вы сами лучший судья во всем, что касается ваших интересов, сержант... Берегитесь, как бы таким путем не наделать бед... Как знаете, как знаете... Если вы стоите на своем, говорить больше не о чем.

Он произносит все это совершенно равнодушно, просматривая бумаги, лежащие на столе, и кажется, собираясь написать письмо.

Мистер Джордж переводит недоверчивый взгляд с расписного потолка на пол, с пола на мистера Смоллуида, с мистера Смоллуида на мистера Талкингхорна, а с мистера Талкингхорна снова на расписной потолок и в смущении переминается с ноги на ногу.

— Изволите видеть, сэр,— говорит мистер Джордж,— вы не обижайтесь, но уверяю вас, с тех пор как я тут, между вами и мистером Смоллуидом, у меня, право же, такое чувство, словно меня уже раз пятьдесят придушили. Вот как обстоит дело, сэр. Я вам не чета, джентльмены. Но можно вас спросить,— на случай, если мне удастся отыскать образец почерка капитана,— зачем вам нужно видеть этот образец?

Мистер Талкингхорн бесстрастно качает головой.

— Нет, нельзя. Будь вы деловым человеком, сержант, мне незачем было бы объяснять вам, что мы, юристы, нередко наводим подобные справки, разумеется в целях вполне безобидных, но совершенно секретных. Если же вы опасаетесь повредить капитану Хоудону, то насчет этого можете не беспокоиться.

— Я и не беспокоюсь! Ведь он умер, сэр.

— *Разве?* — Мистер Талкингхорн спокойно садится за стол и начинает что-то писать.

— Я очень сожалею, сэр, — говорит после недолгого молчания кавалерист, в смущении разглядывая свою шляпу, — очень сожалею, что не смогу вам угодить. Не хочется мне впутываться в это дело, но, может, вам угодно, чтобы мнение мое подтвердил один мой друг, тоже отставной солдат, — он человек деловой, не то что я. А мне... мне сейчас, право же, чудится, будто меня совсем задушили, — говорит мистер Джордж, растерянно проводя рукой по лбу, — так что я даже не знаю, чего угодно мне самому.

Услышав, что упомянутое авторитетное лицо тоже отставной солдат, мистер Смоллуид так настоятельно убеждает кавалериста посоветоваться с ним и в особенности сообщить ему о вознаграждении в пять гиней и даже больше, что мистер Джордж обязуется пойти и повидаться с ним немедленно. Мистер Талкингхорн не высказывается ни за, ни против.

— Так я посоветуюсь, сэр, если разрешите, — говорит кавалерист, — и, если позволите, зайду к вам с окончательным ответом сегодня же. Мистер Смоллуид, если вы хотите, чтобы я снес вас вниз...

— Сию минуту, любезный друг мой, сию минуту. Позвольте мне только сказать два слова этому джентльмену с глазу на глаз.

— Пожалуйста, сэр. Не спешите, я подожду.

Кавалерист отходит в глубь комнаты и снова начинает с любопытством рассматривать ящики — и несгораемые и всякие другие.

— Не будь я слаб, как зловредный младенец, — шипит дедушка Смоллуид, притягивая к себе юриста за лацкан и обжигая его полупотухшим зеленым пламенем

злых глаз,— я бы вырвал у него эту бумагу. Она у него за пазухой. Я сам видел, как он сунул ее туда. И Джуди видела. Да вымолви ты хоть слово, истукан, кукла деревянная, скажи, что видела, как он сунул ее за пазуху!

Сделав это пылкое назидание внучке, пожилой джентльмен толкает ее с такой яростью, что силы ему изменяют, и он скатывается с кресла, увлекая за собой мистера Талкингхорна, но Джуди подхватывает его и трясет изо всей мочи.

— Насилия я не применяю, друг мой,— холодно объясняет мистер Талкингхорн.

— Нет, нет, я знаю, знаю, сэр. Но все это раздражает и бесит хуже... хуже, чем твоя болтунья, трещотка, сорока-бабушка,— обращается старик к невозмутимой Джуди, которая только смотрит на огонь, но не говорит ни слова.— Знать, что у него есть нужная бумага, а он не желает ее отдать! Не желает! Он! Бродяга! Но погодите, сэр, погодите. В худшем случаем он только немного покобенится. Он у меня в тисках. Я его прижму, сэр. Я его в бараний рог согну, сэр. Не хочет добром, так я его силой заставлю, сэр!.. А теперь, дорогой мой мистер Джордж,— говорит дедушка Смоллуид, закончив беседу с юристом и безобразно ему подмигивая,— я готов принять вашу любезную помощь, мой добрейший друг!

Мистер Талкингхорн становится на коврик у камина, спиной к огню, чуть-чуть забавляясь всем происходящим, что заметно, несмотря на его сдержанность, и наблюдает за исчезновением мистера Смоллуида, ответив на прощальный поклон кавалериста только легким кивком.

Мистер Джордж находит, что избавиться от почтенного старца труднее, чем снести его вниз, ибо дедушка Смоллуид, усевшись в свой экипаж, так долго разглагольствует о гинеях и с такой любовью цепляется за пуговицу своего любезного друга,— хотя в душе жаждет разорвать ему сюртук и украсть бумагу,— что кавалерист вынужден силой от него оторваться. Когда это, наконец, удается, он уходит на поиски своего советчика.

Через украшенный аркадами Тэмпл, через Уайтфрайерс * (где путник бросает взгляд на улицу Хэнгингсуорд, пересекающую ему путь), через Блекфрайерский мост и Блекфрайерс-роуд степенно шагает мистер

Джордж к одной скромной уличке, пролегающей в том узле путей, где улицы, идущие от мостов через Темзу, и дороги из Кента и Сэррея * сходятся в одной точке у достославного «Слона» *, чей «паланкин» из тысячи четырехконных карет уступил место более сильному железному чудищу *, которое уже готово стереть его в порошок, как только осмелится. На этой уличке нет больших магазинов — только лавчонки,— и к одной из них, лавке музыкальных инструментов, в окне которой выставлены две-три скрипки, флейты Пана, тамбурин, треугольник и продолговатые нотные тетради, мистер Джордж направляется своей тяжелой походкой. Немного не дойдя до лавки, он останавливается, увидев, что из нее вышла женщина в подоткнутой юбке, чем-то смахивающая на солдата, и, поставив на край тротуара маленькую деревянную лоханку, принимается мыть в ней что-то, разбрызгивая воду во все стороны. «Ну, конечно, опять моет овощи,— говорит себе мистер Джордж.— В жизни не видывал ее иначе, как за мытьем овощей, разве только, когда она сидела на обозной фуре!»

Особа, вызвавшая эти размышления, сейчас действительно моет овощи и столь поглощена своей работой, что не замечает приближения мистера Джорджа и, только выплеснув воду в сточную канаву, выпрямляется, подняв лоханку, и видит, что он стоит рядом. Мистера Джорджа она приветствует не очень-то ласково.

— Стоит мне вас увидеть, Джордж, как мне уже хочется, чтобы вы убрались подальше — миль за сто отсюда!

Не отвечая на это приветствие, кавалерист следует за нею в лавку музыкальных инструментов, где женщина, поставив на прилавок лоханку с овощами, пожимает ему руку.

— Ни на минуту вас нельзя оставить с Мэтью Бегнетом, Джордж,— говорит она, облокотившись на прилавок,— так это для него опасно. До чего вы беспокойный, до чего непутевый...

— Да, я и сам это знаю, миссис Бегнет. Отлично знаю.

— Вот видите, сами знаете, какой вы! — подхватывает миссис Бегнет.— А что толку? *Отчего* вы такой?

— Должно быть, я от природы бродячее животное,— добродушно отвечает кавалерист.

— Вот как! — восклицает миссис Бегнет немного визгливым голосом.— Но какая мне будет польза от этого бродячего животного, если оно соблазнит моего Мэта бросить нашу музыкальную торговлю и уехать в Новую Зеландию или Австралию?

Миссис Бегнет никак нельзя назвать некрасивой. Правда, она довольно широка в кости и так часто бывала на солнце и на ветру, что кожа у нее огрубела и покрылась веснушками, а волосы надо лбом выцвели, но это здоровая, крепкая женщина с блестящими глазами и честным, открытым лицом. Сильная, деловитая, энергичная женщина лет сорока пяти — пятидесяти. Чистоплотная, выносливая, она одевается очень скромно (хотя и тепло) и позволяет себе лишь одно-единственное украшение — обручальное кольцо на пальце, который так потолстел с того дня, когда оно впервые было надето, что кольцо не снимется с него, пока не смешается с прахом миссис Бегнет.

— Миссис Бегнет, я же дал вам слово,— говорит кавалерист.— От меня Мэту худо не будет. Тут вы можете на меня положиться.

— Пожалуй, могу. Хотя вы и с виду такой, что, только погляди на вас, сразу из колеи выбьешься,— добавляет миссис Бегнет.— Эх, Джордж, Джордж! Надо вам было остепениться да жениться на вдове Джо Пауча, когда он умер в Северной Америке,— она бы на руках вас носила!

— Что ж, случай, конечно, был подходящий,— отвечает кавалерист полушутя, полусерьезно,— только мне уж теперь никогда не остепениться и не войти в колею. Вдова Джо Пауча, пожалуй, могла бы стать мне хорошей женой,— и в ней и у ней кое-что было,— но я никак не мог отважиться на женитьбу. Вот если б мне посчастливилось найти такую жену, какую добыл себе Мэт!

Миссис Бегнет — добродетельная жена, но обычно не прочь пошутить со славным малым,— да коли на то пошло, она и сама славный малый,— и вместо ответа на комплимент шлепает мистера Джорджа по лицу пучком зелени, а потом уносит лоханку в комнату за лавкой.

— А, Квебек *, малютка моя! — говорит Джордж, следуя туда же за миссис Бегнет по ее приглашению.— И крошка Мальта! * Подите-ка поцелуйте своего Заводилу!

Обе молодые девицы,— которых, конечно, окрестили не этими именами, но всегда так зовут в семейном кругу, памятуя о названиях тех мест, где они родились в казармах,— молодые девицы сидят на трехногих табуретах и занимаются: младшая (лет пяти-шести) учит буквы по грошовой азбуке, а старшая (лет восьми-девяти) обучает младшую и в то же время шьет с величайшим усердием. Обе встречают мистера Джорджа восторженным криком, как старого друга, а расцеловав его и повозившись с ним, придвигают к нему свои табуреты.

— А как поживает юный Вулидж? * — спрашивает мистер Джордж.

— Он? Ну, знаете! — восклицает миссис Бегнет, отрываясь от своих кастрюль (ибо она сейчас готовит обед) и вспыхнув ярким румянцем.— Вы не поверите, он теперь служит в театре вместе с отцом — играет на флейте в пьесе из военной жизни.

— Молодец у меня крестник! — восклицает мистер Джордж, хлопнув себя по бедру.

— Еще бы! — соглашается миссис Бегнет.— Настоящий британец. Вот он какой, наш Вулидж. Британец!

— А Мэт дует себе в свой фагот, и вы стали почтенными штатскими и все такое,— говорит мистер Джордж. — Семейные люди. Растут детки. Старуха, мать Мэта, в Шотландии, а ваш старик отец где-то в другом месте, и вы с ними переписываетесь и немного помогаете им и... ну ладно! Сказать правду, можно понять, почему вам хочется, чтобы я убрался миль за сто отсюда,— тут я совсем не ко двору!

Мистер Джордж, задумавшись, сидит перед огнем в чисто выбеленной комнате, где пол посыпан песком, где все чем-то напоминает казарму, где нет ничего лишнего, нет ни пылинки, ни пятнышка грязи ни на чем, начиная с щек Квебек и Мальты и кончая сверкающими оловянными кастрюлями и мисками на полках буфета,— мистер Джордж сидит задумавшись, в то время как миссис Бегнет хлопочет по хозяйству, и вот, как раз вовремя,

мистер Бегнет и юный Вулидж приходят домой. Мистер Бегнет — отставной артиллерист, высокий, прямой, с загорелым лицом, густыми бровями, бакенбардами, как мочалка, но совершенно лысым черепом. Голос его, отрывистый, низкий, звучный, отчасти напоминает тембр того инструмента, на котором мистер Бегнет играет. Вообще мистер Бегнет кажется каким-то негибким, непреклонным, как бы окованным медью, словно сам он — фагот в оркестре человечества. Юный Вулидж смахивает на типичного и примерного подростка-барабанщика.

Отец и сын приветливо отдают честь кавалеристу. Улучив подходящую минуту, мистер Джордж говорит, что пришел посоветоваться с мистером Бегнетом, а тот радушно заявляет, что не хочет и слышать ни о каких делах до обеда и его другу не дадут совета, пока не дадут вареной свинины с овощами и зеленью. Кавалерист принимает приглашение, а затем он и мистер Бегнет, не желая мешать хозяйственным приготовлениям, уходят пройтись взад-вперед по уличке, где и прохаживаются мерным шагом, скрестив руки на груди, словно это не улица, а крепостной вал.

— Джордж,— начинает мистер Бегнет.— Ты меня знаешь. Советы дает моя старуха. Это такая голова! Но при ней я этого не говорю. Надо соблюдать дисциплину. Погоди, дай ей только развязаться с овощами. Тогда будем держать совет. Как старуха скажет, так... так и делай!

— Так я и сделаю, Мэт,— соглашается мистер Джордж.— Ее мнение для меня важней, чем мнение целой коллегии.

— Коллегии! — подхватывает мистер Бегнет, выпаливая короткие фразы наподобие фагота.— Какую коллегию бросишь... в другой части света... в одной лишь серой накидке и с зонтом... зная, что она... одна вернется домой в Европу? А старуха, та — хоть завтра. Да и вернулась раз, было такое дело!

— Что правда то правда,— говорит мистер Джордж.

— Какая коллегия,— продолжает Бегнет,— сумеет начать новую жизнь... с шестипенсовиком: на два пенса известки... на пенни глины... на полпенни песку... да сдача

с этих шести пенсов! А так вот старуха и начала... Наше теперешнее дело.

— Рад слышать, что оно идет хорошо, Мэт.

— Старуха откладывает деньги,— продолжает мистер Бегнет, кивая в знак согласия.— У нее где-то чулок припрятан. А в нем деньги. Я его никогда не видал. Но знаю, что чулок у нее есть. Погоди, дай ей только развязаться с овощами. Тогда она тебе даст совет.

— Что за сокровище! — восклицает мистер Джордж.

— Больше чем сокровище. При ней я этого не говорю. Надо соблюдать дисциплину. Ведь это старуха направила мои музыкальные способности. Не будь старухи, я бы до сей поры служил в артиллерии. Шесть лет я пиликал на скрипке. Десять играл на флейте. Старуха сказала: «Ничего, мол, не выйдет... старанья много, да гибкости не хватает; попробуй-ка фагот». Старуха выпросила фагот у капельмейстера стрелкового полка. Я упражнялся в траншеях. Подучился, купил фагот, стал зарабатывать!

Джордж говорит, что она свежа, как роза, и крепка, как яблоко.

— Старуха прекрасная женщина,— соглашается мистер Бегнет.— Значит, можно сказать, что она похожа на прекрасный день. Чем дальше, тем прекрасней. С моей старухой никто не сравнится. Но при ней я этого не говорю. Надо соблюдать дисциплину.

Продолжая беседовать о том о сем, они ходят взад и вперед по уличке, мерно маршируя в ногу, пока Квебек и Мальта не приглашают их отдать должное вареной свинине с овощами, над которой миссис Бегнет, как полковой священник, читает краткую молитву. Раздавая эту пищу и выполняя прочие свои хозяйственные обязанности, миссис Бегнет действует по тщательно выработанной системе: блюда стоят против нее, а она добавляет к каждой порции свинины порцию подливки, зелени, картофеля, других овощей, даже горчицы, и каждому подает тарелку с полным рационом. Распределив по той же системе пиво из кувшина и снабдив таким образом столующихся всем необходимым, миссис Бегнет принимается утолять собственный голод, который у нее под стать ее здоровью. «Инвентарь военной столовой», если можно так назвать обеденную посуду, в большей своей части со-

стоит из роговых и оловянных предметов, служивших хозяевам в различных частях света. В частности, складной нож юного Вулиджа, который открывается так же туго, как устрица, но то и дело с силой закрывается сам собой,— чем портит аппетит молодому музыканту,— по слухам, переходил из рук в руки и обошел все колониальные гарнизоны.

Покончив с обедом, миссис Бегнет с помощью младших членов семьи (которые сами моют и чистят свои чашки, тарелки, ножи и вилки) начищает до блеска всю обеденную посуду, приводя ее в тот вид, какой она имела до обеда, и убирает все по своим местам, но сначала выметает золу из камина, чтобы не задержать мистера Бегнета и гостя, которым уже хочется закурить трубки. Эти хозяйственные хлопоты вынуждают ее то и дело бегать в деревянных сандалиях на задний двор и черпать воду ведром, которое в конце концов получает удовольствие служить для омовения самой миссис Бегнет. Но вот «старуха» вернулась в комнату свежая, как огурчик, и уселась за шитье, и тогда,— только тогда, ибо лишь теперь можно считать, что она окончательно позабыла об овощах,— мистер Бегнет просит кавалериста рассказать в чем дело.

Мистер Джордж приступает к этому с величайшим тактом, делая вид, будто обращается к мистеру Бегнету, но в действительности не отрывая глаз от «старухи», с которой сам Бегнет тоже не сводит глаз. А она, женщина столь же тактичная, усердно занимается шитьем. Когда дело изложено во всех подробностях, мистер Бегнет, соблюдая дисциплину, прибегает к своей обычной хитрости.

— Это все, Джордж? — спрашивает он.

— Все.

— Ты согласишься с моим мнением?

— Безоговорочно,— отвечает Джордж.

— Старуха, скажи ему мое мнение,— говорит мистер Бегнет.— Ты его знаешь. Скажи ему, в чем оно заключается.

Мнение ее мужа заключается в том, что мистер Джордж должен как можно меньше водиться с людьми, которые так скрытны, что ему их не раскусить; должен

поступать как можно осторожнее в вопросах, которых он не понимает, потому что самое разумное — это не делать ничего втемную, не участвовать ни в чем загадочном и таинственном, не ставить ноги туда, где не видишь земли. Это и в самом деле мнение мистера Бегнета, но только высказанное «старухой», и оно снимает бремя с души мистера Джорджа, так убедительно подтверждая его собственное мнение и рассеивая его сомнения, что по столь исключительному случаю он решает выкурить еще трубку и поболтать о былых временах со всеми членами семейства Бегнет, сообразуясь с различными степенями их жизненного опыта.

По этим же причинам мистер Джордж ни разу не вставал с места в этой комнате, пока для британской публики в театре не пробил час ожидать фагот и флейту; но и тогда у мистера Джорджа уходит еще немало времени на то, чтобы в качестве домашнего любимца — «Заводилы» проститься с Квебек и Мальтой и в качестве крестного отца тайком сунуть шиллинг в карман крестнику, прибавив к нему поздравления с успехом; поэтому, когда мистер Джордж поворачивает к Линкольновым полям, на дворе уже темно.

«Семейный дом,— размышляет он, шагая,— будь он хоть самый скромный, а поглядит на него такой холостяк, как я, и почувствует свое одиночество. Но все же хорошо, что я не отважился на женитьбу. Не гожусь я для этого. Я такой бродяга даже теперь, в моих летах, что и месяца бы не выдержал в галерее, будь она порядочным заведением и не живи я в ней по-походному, как цыган. Ладно! Зато я никого не позорю, никому не в тягость; и то хорошо. Много лет уж я этого не делал!»

Он свистом отгоняет от себя эти мысли и шагает дальше.

Дойдя до Линкольновых полей и поднявшись на лестницу мистера Талкингхорна, он видит, что дверь затворена — контора закрыта; но, не зная, что, если двери заперты, значит хозяев нет дома, и к тому же очутившись в темноте, кавалерист возится, ощупывая стену в надежде отыскать ручку звонка или открыть дверь, как вдруг с улицы входит мистер Талкингхорн, поднимается

вверх по лестнице (конечно, бесшумно) и с раздражением спрашивает:

— Кто тут? Что вы здесь делаете?

— Прошу прощения, сэр. Это я, Джордж. Сержант.

— А разве сержант Джордж не успел заметить, что дверь моя заперта?

— Да нет, сэр, не успел. Во всяком случае, не заметил,— отвечает кавалерист, несколько уязвленный.

— Вы передумали? Или стоите на своем? — спрашивает мистер Талкингхорн.

Впрочем, он сам обо всем догадался с первого взгляда.

— Стою на своем, сэр.

— Так я и думал. Больше говорить не о чем. Можете идти. Значит, вы тот самый человек, у которого нашли мистера Гридли, когда он скрывался? — спрашивает мистер Талкингхорн, отпирая дверь ключом.

— Да, тот самый,— отвечает, остановившись, кавалерист, уже спустившийся на две-три ступеньки.— Ну и что же, сэр?

— Что? Мне не нравятся ваши сообщники. Вы не вошли бы в мою контору сегодня утром, знай я, что вы тот самый человек. Гридли? Злонамеренный, преступный, опасный субъект!

Юрист, проговорив эти слова необычным для него повышенным тоном, входит в контору и с оглушительным грохотом захлопывает дверь.

Мистер Джордж чрезвычайно возмущен подобным обращением, тем более что какой-то клерк, поднимающийся по лестнице, расслышал только последние слова и, очевидно, отнес их на счет мистера Джорджа.

— Хорошо меня тут аттестовали,— ворчит кавалерист, кратко выругавшись и быстро спускаясь по лестнице.— «Злонамеренный, преступный, опасный субъект!» — А проходя под фонарем и взглянув вверх, видит, что клерк смотрит на него, явно стараясь запомнить его лицо. Все это настолько усиливает возмущение мистера Джорджа, что он минут пять пребывает в дурном расположении духа. Но затем свистом прогоняет это свое огорчение так же, как и все прочее, и шагает домой, в «Галерею-Тир».

ГЛАВА XXVIII
Железных дел мастер

Сэр Лестер Дедлок преодолел на время родовую подагру и снова встал на ноги как в буквальном, так и в переносном смысле. Сейчас он пребывает в своем Линкольнширском поместье, но здесь опять наводнение, и хотя Чесни-Уолд хорошо защищен от холода и сырости, они забираются и туда и пронизывают сэра Лестера до костей. Дрова и каменный уголь — то есть бревна из дедлоковских лесов и останки лесов допотопных — жарко пылают в широких объемистых каминах, и в сумерках огонь подмигивает хмурым рощам, которые угрюмо наблюдают, как приносятся в жертву деревья; но и огонь не в силах отогнать врага. Ни трубы с горячей водой, протянувшиеся по всему дому, ни обитые войлоком окна и двери, ни ширмы, ни портьеры не могут возместить тепло, недостающее огню, и согреть сэра Лестера. Поэтому великосветская хроника однажды утром объявляет всем имеющим уши, что леди Дедлок вскоре собирается вернуться в Лондон на несколько недель.

Печально, но бесспорно, что даже у сильных мира сего бывают бедные родственники. У сильных мира сего нередко бывает даже больше бедных родственников, чем у простых смертных, ибо самая красная кровь высшего качества вопиет так же громко, как и преступно пролитая кровь существ низшего порядка, и ее нельзя не услышать. Даже самые дальние родственники сэра Лестера похожи на преступления в том смысле, что непременно «выходят наружу». Среди них есть родственники столь бедные, что — да будет позволено нам высказать дерзкую мысль — лучше бы им не быть звеньями из накладного золота в отлитой из чистого золота цепи Дедлоков, но появиться на свет выкованными из простого железа и служить для черной работы.

Однако, будучи потомками знатных Дедлоков, они не могут выполнять никакой работы (за ничтожными исключениями, когда должность почетна, но не доходна), считая, что работать — это ниже их достоинства. Поэтому они гостят у своих богатых родственников; если удается,

делают долги, если нет, живут бедно; женщины не находят себе мужей, а мужчины — жен; и все ездят в чужих экипажах и сидят на парадных обедах, которых никогда не устраивают сами, да так вот и прозябают в высшем свете. Можно сказать, что род Дедлоков — это крупная сумма, разделенная на некоторое число, а бедные родственники — остаток, и никто не знает, что с ними делать.

Каждый, кто считает себя сторонником сэра Лестера Дедлока и разделяет его образ мыслей, по-видимому состоит с ним в более или менее близком или дальнем родстве. Начиная с милорда Будла и герцога Фудла и кончая Нудлом, все попадают в паутину родственных уз, которую, подобно могущественному пауку, соткал сэр Лестер. Но, спесивый в своих родственных отношениях с «большими людьми», он с «маленькими» великодушен и щедр,— конечно по-своему, свысока,— и даже сейчас, несмотря на сырую погоду, со стойкостью мученика выносит присутствие бедных родственников, приехавших в Чесни-Уолд погостить.

Среди них место в первом ряду занимает Волюмния Дедлок, молодая девица (шестидесяти лет), вдвойне одаренная блестящими родственными связями, ибо с материнской стороны она имеет честь состоять бедной родственницей других высокопоставленных особ. В юности мисс Волюмния обладала приятными талантами по части вырезания украшений из цветной бумаги, пения романсов на испанском языке под аккомпанемент гитары и загадыванья французских загадок в деревенских усадьбах, поэтому двадцать лет своей жизни, между двадцатью и сорока годами, она провела довольно весело. Но после сорока Волюмния вышла из моды и, наскучив человечеству своими вокальными выступлениями на испанском языке, удалилась в Бат *, где скромно живет на ежегодное пособие, получаемое от сэра Лестера, и откуда время от времени выезжает, чтобы снова воскреснуть в поместьях родственников. В Бате у нее обширное знакомство среди безобразных тонконогих пожилых джентльменов в нанковых брюках, и в этом унылом городе она занимает высокое положение. Но в прочих местах ее слегка побаиваются — слишком уж расточительно она употребляет

румяна и, кроме того, упорно не желает расстаться со своим старомодным жемчужным ожерельем, похожим на четки из воробьиных яиц.

В любой благоустроенной стране Волюмнию беспрекословно включили бы в список пенсионеров. С этой целью даже были начаты хлопоты, и когда Уильям Баффи пришел к власти, никто уже не сомневался, что Волюмнии Дедлок дадут пенсию — фунтов двести в год. Однако Уильям Баффи, вопреки всем ожиданиям, почему-то нашел, что не может это устроить,— не такие, мол, времена,— и, как заявил ему тогда сэр Лестер Дедлок, это был первый очевидный признак того, что страна стоит на краю гибели.

Здесь гостит также достопочтенный Боб Стейблс, который умеет изготовить конскую примочку не хуже ветеринара и стреляет лучше, чем многие егери. С недавних пор он превыше всего жаждет послужить отечеству на доходном посту, не связанном ни с хлопотами, ни с ответственностью. В хорошо функционирующем политическом организме столь естественное желание бойкого молодого джентльмена с такими прекрасными связями было бы удовлетворено очень быстро. Однако Уильям Баффи, придя к власти, почему-то нашел, что устроить это пустяковое дело он тоже не может,— не такие, мол, времена,— и, как тогда заявил ему сэр Лестер Дедлок, это был второй признак того, что страна стоит на краю гибели.

Остальные родственники — это леди и джентльмены разных возрастов и способностей, в большинстве любезные и неглупые люди, которые, вероятно, преуспели бы в жизни, будь они в силах преодолеть свои родственные связи. Но они не в силах, а потому — почти все — немного подавлены этим и вяло блуждают по своим бесцельным путям, не зная, что с собой делать, тогда как другие не знают, что делать с ними.

В этом обществе, как и повсюду, полновластно царит миледи Дедлок. Она красива, элегантна, благовоспитанна и в своем мирке (именно «мирке»,— ведь большой свет не простирается от полюса до полюса) властвует безраздельно, так что влияние ее в доме сэра Лестера, как ни холодно и надменно ее обращение, очень облагораживает

этот мирок и способствует утонченности его нравов. Родственники, даже те старшие родственники, которые оцепенели от возмущения, когда сэр Лестер на ней женился, теперь, как вассалы, воздают ей должную дань, а достопочтенный Боб Стейблс ежедневно, в промежутке между первым и вторым завтраком, повторяет какому-нибудь избранному слушателю свое излюбленное оригинальное изречение, заявляя, что она «самая выхоленная кобылица во всей конюшне».

Вот какие гости сидят в продолговатой гостиной Чесни-Уолда в этот хмурый вечер, когда чудится, будто шаги на Дорожке призрака (хоть и неслышные здесь) — это шаги какого-то умершего родственника, который замерз на дворе, потому что его не впустили в дом. Близится время идти на покой. В спальнях по всему дому ярко горит огонь в каминах, рисуя на стенах и потолке мрачные, призрачные очертания мебели. Свечи для спален стоят частоколом на дальнем столе у двери, а родственники зевают на диванах. Родственники сидят за роялем; родственники толпятся вокруг подноса с содовой водой; родственники встают из-за карточного стола; родственники расположились перед камином. Сэр Лестер стоит у своего любимого камина (в гостиной их два). С другой стороны этого широкого камина сидит за своим столиком миледи. Волюмния, в качестве одной из наиболее привилегированных родственниц, восседает в роскошном кресле между ними. Сэр Лестер смотрит с величавым неодобрением на ее подрумяненные щеки и жемчужное ожерелье.

— Я не раз встречала на лестнице, что ведет в мою спальню,— говорит, растягивая слова, Волюмния, чьи мысли, должно быть, уже скачут вверх по этой лестнице, к постели, в надежде отдохнуть после длинного вечера, проведенного в самой бессвязной болтовне,— я не раз встречала на лестнице одну из самых хорошеньких девушек, каких мне случалось видывать в жизни.

— Это «протеже» миледи,— объясняет сэр Лестер.

— Так я и думала. Я догадалась, что эту девушку высмотрели чьи-то необычайно зоркие глаза. Чудо, просто чудо! Красота, пожалуй, немножко кукольная,— говорит мисс Волюмния, мысленно сравнивая красоту девушки со

своей собственной,— но в своем роде она — совершенство. А какой румянец — в жизни я не видела такого румянца!

Сэр Лестер, видимо, соглашается с нею, но величаво бросает неодобрительный взгляд на *ее* румянец.

— Надо сказать,— томно возражает миледи,— что если девушку «высмотрели необычайно зоркие глаза», как вы говорите, так это глаза миссис Раунсуэлл, а вовсе не мои. Роза — ее находка.

— Она ваша горничная, вероятно?

— Нет. Она у меня на все руки: это моя любимица... секретарь... девочка на побегушках... и мало ли еще кто.

— Вам приятно держать ее при себе, как, например, цветок, или птичку, или картину, или пуделя... впрочем, нет, не пуделя... или вообще что-нибудь такое же красивое? — поддакивает Волюмния.— Да, какая она прелесть! А как хорошо сохранилась эта очаровательная старушка миссис Раунсуэлл! Ей, должно быть, бог знает сколько лет, однако она по-прежнему такая расторопная и красивая!.. Мы с ней так дружим — право же, я ни с кем так не дружу, как с ней.

Сэр Лестер находит, что все это верно — домоправительница Чесни-Уолда не может не быть замечательной женщиной. Кроме того, он искренне уважает миссис Раунсуэлл, и ему приятно, когда ее хвалят. Поэтому он говорит: «Вы правы, Волюмния», чем доставляет Волюмнии безмерное удовольствие.

— У нее, кажется, нет родной дочери, не правда ли?

— У миссис Раунсуэлл? Нет, Волюмния. У нее есть сын. Даже два сына.

Миледи, чья хроническая болезнь — скука — в этот вечер жестоко обострилась по милости Волюмнии, бросает усталый взгляд на свечи, приготовленные для спален, и беззвучно, но тяжело вздыхает.

— Вот вам разительный пример того беспорядка, которым отмечен наш век, когда уничтожаются межи, открываются шлюзы и стираются грани между людьми,— говорит сэр Лестер с угрюмой важностью.— Мистер Талкингхорн сообщил мне, что сыну миссис Раунсуэлл предложили выставить свою кандидатуру в парламент.

Мисс Волюмния испускает пронзительный стон.

— Да, именно,— повторяет сэр Лестер.— В парламент.

— В жизни не слыхивала о подобных вещах! Господи твоя воля, да что же он за человек? — восклицает Волюмния.

— Если не ошибаюсь... он... железных дел мастер.

Сэр Лестер медленно произносит эти слова серьезным, но не совсем уверенным тоном, как будто он не вполне убежден, нужно ли сказать «железных дел мастер» или, может быть, лучше «свинцовых дел мастерица», и допускает, что есть какой-то другой, более правильный термин, выражающий какое-то другое отношение человека к какому-то другому металлу.

Волюмния вновь испускает слабый стон.

— Он отклонил предложение, если только сведения мистера Талкингхорна соответствуют действительности, а в этом я не сомневаюсь, ибо мистер Талкингхорн всегда правдив и точен; и все же,— говорит сэр Лестер,— все же этот случай остается из ряда вон выходящим и заставляет нас сделать весьма неожиданные... я бы сказал даже потрясающие выводы.— Заметив, что мисс Волюмния встает, косясь на свечи для спален, сэр Лестер вежливо предупреждает ее желание, проходит через всю гостиную, приносит свечу и зажигает ее от лампы миледи, покрытой абажуром.

— Я должен попросить вас, миледи,— говорит он, зажигая свечу,— остаться здесь на несколько минут, ибо тот человек, о котором я только что говорил, приехал сегодня незадолго до обеда и попросил в очень учтиво составленной записке,— сэр Лестер, со свойственной ему правдивостью, подчеркивает это,— нельзя не сознаться, в очень учтиво и надлежащим образом составленной записке, попросил вас и *меня* уделить ему немного времени для каких-то переговоров относительно этой девушки. Он, кажется, собирается уехать сегодня вечером, поэтому я ответил, что мы примем его перед отходом ко сну.

Мисс Волюмния в третий раз взвизгивает и убегает, пожелав хозяевам... о господи!.. поскорей отделаться от этого, как его?.. железных дел мастера!

Остальные родственники вскоре расходятся, все до одного. Сэр Лестер звонит в колокольчик.

— Передайте привет мистеру Раунсуэллу,— он сейчас в комнате домоправительницы,— и скажите ему, что теперь я могу его принять.

Миледи до сих пор слушала его как будто чуть-чуть внимательно, а сейчас она смотрит на мистера Раунсуэлла, который входит в гостиную. Ему, вероятно, лет за пятьдесят; он хорошо сложен — весь в мать; голос у него звучный, лоб широкий, волосы темные, уже сильно поредевшие на темени; лицо открытое, обличающее острый ум. Это представительный джентльмен в черном костюме, пожалуй несколько дородный, но крепкий и энергичный. Он держит себя совершенно естественно и непринужденно и ничуть не растерялся от того, что попал в высший свет.

— Сэр Лестер и леди Дедлок, я уже извинился за свою навязчивость, а сейчас чем короче я буду говорить, тем лучше. Благодарю вас, сэр Лестер.

Старший в роде Дедлоков делает жест в сторону дивана, стоящего между ним и миледи. Мистер Раунсуэлл спокойно садится на этот диван.

— В теперешние деловые времена, когда возникло много крупных предприятий, у нашего брата заводчика повсюду разбросано столько рабочих, что нам не сидится на месте — вечно куда-то спешим.

Сэр Лестер не против того, чтобы «железных дел мастер» почувствовал, как не спешат здесь... здесь, в этом старинном доме, утонувшем в тихом парке, где у плюща и мхов хватило времени разрастись с буйной пышностью; где кривые узловатые вязы и густолиственные дубы глубоко погружены в заросли папоротника и столетний слой опавших листьев; где солнечные часы на террасе веками безмолвно отмечают время, которое так же безраздельно принадлежало каждому Дедлоку,— пока он был жив,— как принадлежали ему дом и земли. Сэр Лестер садится в кресло, противопоставляя свой покой и покой Чесни-Уолда беспокойной спешке всяких там «железных дел мастеров».

— Леди Дедлок была так добра,— продолжает мистер Раунсуэлл, почтительно глядя и наклоняясь в сторону миледи,— что приблизила к себе одну молоденькую красотку; я говорю о Розе. Дело в том, что мой сын влю-

бился в Розу и попросил у меня разрешения посвататься к ней и обручиться с нею, если, конечно, она согласится выйти за него... а она, сдается мне, согласна. Я никогда не видал Розы — до нынешнего дня,— но сын мой, я бы сказал, малый не безрассудный... даже когда влюблен. И вот теперь я вижу, что, насколько я могу судить, она как раз такая, какой он ее описывал; да и матушка моя ею не нахвалится.

— Она этого заслуживает во всех отношениях,— говорит миледи.

— Очень рад, леди Дедлок, что вы изволили так выразиться,— незачем и говорить, как ценно для меня ваше доброе мнение о ней.

— Это,— вставляет сэр Лестер с невыразимо величественным видом, ибо он находит «железных дел мастера» излишне фамильярным,— это совершенно не относится к делу.

— Совершенно не относится, сэр Лестер. Мой сын еще мальчик, да и Роза еще девочка. Я сам пробил себе дорогу и хочу, чтобы сын мой тоже пробился сам; значит, сейчас об этом браке не может быть и речи. Но допустим, что я разрешу сыну стать женихом этой красотки, если красотка согласна стать его невестой; тогда мне придется откровенно сказать сразу — и вы, сэр Лестер и леди Дедлок, конечно, извините и поймете меня,— что я дам согласие лишь при одном условии: девушка должна будет уехать из Чесни-Уолда. Поэтому, раньше чем окончательно ответить сыну, я позволю себе сказать вам, что, если ее отъезд окажется в каком-нибудь отношении неудобным или нежелательным для вас теперь, я, насколько возможно, отложу свой ответ, и пусть все пока останется без изменений.

Должна уехать из Чесни-Уолда! Ставить условия! Все давние опасения, связанные с Уотом Тайлером и людьми из «железных округов», которые только и делают, что шляются при свете факелов,— все эти давние опасения внезапно обрушиваются на голову сэра Лестера, и его красивые седые волосы и бакенбарды чуть не встают дыбом от негодования.

— Должен ли я понять, сэр,— говорит сэр Лестер,— и должна ли понять миледи,— он сознательно вовлекает

ее в беседу, во-первых, из учтивости, во-вторых, из осторожности, ибо привык полагаться на ее благоразумие,— должен ли я понять, мистер Раунсуэлл, и должна ли миледи понять ваши слова, сэр, в том смысле, что эта девушка слишком хороша для Чесни-Уолда или что, оставаясь здесь, она может потерпеть какой-либо ущерб?

— Конечно, нет, сэр Лестер.

— Рад слышать.

Сэр Лестер принимает чрезвычайно высокомерный вид.

— Прошу вас, мистер Раунсуэлл,— говорит миледи, отмахиваясь от сэра Лестера, как от мухи, легчайшим движением прекрасной руки,— объясните мне, что именно вы хотите сказать.

— Охотно, леди Дедлок. Этого самого желаю и я.

Миледи, невозмутимо повернувшись лицом,— а лицо это отражает ум слишком живой и острый, чтобы его могло скрыть заученное выражение бесстрастия, как оно ни привычно,— миледи, повернувшись лицом к посетителю, типичному англосаксу, чьи резкие черты отражают решимость и упорство, внимательно слушает его, время от времени наклоняя голову.

— Я сын вашей домоправительницы, леди Дедлок, и детство провел по соседству с этим домом. Матушка моя прожила здесь полстолетия; здесь и умрет, очевидно. Будучи простого звания, она подает пример, и очень яркий пример, любви, привязанности, верности, словом чувств, которыми Англия законно может гордиться; однако эти чувства не являются привилегией и заслугой какого-то одного общественного слоя и в данном случае порождены прекрасными качествами, которыми обладают обе стороны — высшая бесспорно, и столь же бесспорно низшая.

Выслушав изложение этих принципов, сэр Лестер издает легкое фырканье, но чувство чести и любовь к истине заставляют его полностью, хотя и молчаливо, признать правоту «железных дел мастера».

— Прошу прощенья за то, что ломлюсь в открытую дверь,— мистер Раунсуэлл чуть поводит глазами в сторону сэра Лестера,— но мне не хочется подавать повода к поспешному заключению, что я стыжусь положения

своей матери в этом доме или не питаю должного уважения к Чесни-Уолду и его владельцам. Я мог бы, конечно, пожелать, и я, конечно, желал, леди Дедлок, чтобы матушка, прослужив столько лет, уволилась и провела последние годы жизни со мной. Но я понял, что, порвав столь крепкие узы, разобью ей сердце, и давно уже отказался от этой мысли.

Сэр Лестер снова принимает величественный вид — подумать только, что можно упросить миссис Раунсуэлл, чтобы она бросила тот единственный дом, в котором ей следует жить, и свои последние годы провела у какого-то «железных дел мастера»!

— Я был фабричным учеником,— продолжает посетитель скромным и искренним тоном,— я был рабочим. Многие годы я жил на заработок простого рабочего, и я почти что самоучка. Моя жена — дочь мастера и воспитывалась по-простому. Кроме сына, о котором я уже говорил, у нас есть три дочери, и так как мы, к счастью, имели возможность дать им больше, чем получили сами, то мы и дали им хорошее, очень хорошее образование. Мы всеми силами старались воспитать их так, чтобы они были достойны войти в любое общество.

В этом отцовском признании звучит легкое хвастовство, как будто посетитель добавил про себя: «Достойны войти даже в общество Чесни-Уолда». И сэр Лестер принимает еще более величественный вид, чем раньше.

— В наших местах и в нашей среде, леди Дедлок, подобных случаев сколько угодно, и у нас так называемые неравные браки менее редки, чем в других слоях общества. Бывает, например, что сын признается отцу в своей любви к девушке, которая работает у них на заводе. Отец и сам когда-то работал на заводе, однако на первых порах он, возможно, будет недоволен. Может быть, у него были другие виды на будущее сына. Но вот он удостоверился, что девушка ведет себя безупречно, и тогда он скорее всего скажет сыну примерно следующее: «Сначала я должен убедиться, что ты ее любишь по-настоящему. Ведь это для вас обоих дело нешуточное. Подожди два года, а я за это время дам образование твоей милой». Или, скажем, так: «Я на такой-то срок помещу девушку в ту школу, где учатся твои сестры, а ты дай

мне честное слово, что будешь встречаться с нею не чаще чем столько-то раз в год. Если к концу этого срока окажется, что учил я ее не зря и вы с ней теперь сравнялись по образованию, и если вы оба не передумаете, то я помогу вам по мере сил». Я знаю несколько таких случаев, миледи, и думаю, что они указывают мне путь.

Величественная сдержанность сэра Лестера взрывается... спокойно, но грозно.

— Мистер Раунсуэлл,— вопрошает сэр Лестер, заложив правую руку за борт синего сюртука и принимая торжественную позу — ту самую, в какой он изображен на портрете, висящем в галерее,— неужели вы проводите параллель между Чесни-Уолдом и...— он задыхается, но овладевает собой,— и... заводом?

— Нет нужды говорить, сэр Лестер, что между Чесни-Уолдом и заводом нет ничего общего, но в данном случае между ними, по-моему, прекрасно можно провести параллель.

Сэр Лестер окидывает величественным взглядом всю продолговатую гостиную из конца в конец и только тогда убеждается, что эти слова он услышал не во сне, а наяву.

— А вы знаете, сэр, что девушка, которую миледи — сама миледи! — приблизила к себе, училась в деревенской школе вот здесь, за воротами нашего парка?

— Я отлично это знаю, сэр Лестер. Школа очень хорошая, и владельцы Чесни-Уолда щедро ее поддерживают.

— В таком случае, мистер Раунсуэлл,— говорит сэр Лестер,— мне непонятно, к чему относятся ваши слова.

— Будет ли вам понятней, сэр Лестер,— и владелец железоделательного завода слегка краснеет,— если я скажу, что не считаю образование, полученное в деревенской школе, достаточным для жены моего сына?

От чесни-уолдской деревенской школы,— хотя в данную минуту она и не затронута,— ко всему общественному строю в целом; от всего общественного строя в целом к тому обстоятельству, что упомянутый строй трещит по всем швам, так как некоторые субъекты (железных дел мастера, свинцовых дел мастерицы и прочие) не

сидят смирно, но выходят из рамок своего звания (а по крутой логике сэра Лестера, люди обязаны до самой смерти оставаться в том звании, в каком они родились); от этого обстоятельства к тому, что подобные субъекты подстрекают других людей выходить из рамок *их* звания и, таким образом, уничтожать межи, открывать шлюзы и прочее и тому подобное — вот направление быстро текущих мыслей в дедлоковском уме.

— Простите, миледи. Позвольте мне... одну минуту.— Миледи как будто собиралась заговорить.— Мистер Раунсуэлл, наши взгляды на нравственный долг, наши взгляды на общественное положение, наши взгляды на воспитание, наши взгляды на... короче говоря, *все* наши взгляды столь диаметрально противоположны, что продолжать этот разговор будет неприятно как вам, так и мне. Девушка облагодетельствована вниманием и милостью миледи. Если она желает уклониться от этого внимания и милости, или если она желает поддаться влиянию кого-либо, кто в соответствии со своими необычными взглядами, вы позволите мне выразиться: в соответствии со своими необычными взглядами, хотя я охотно признаю, что он не обязан всегда соглашаться со мною,— кто в соответствии со своими необычными взглядами заставил ее уклониться от этого внимания и милости, то она вольна уклониться от них, когда ей заблагорассудится. Мы признательны вам за ту прямоту, с какою вы говорили. Это никак не повлияет на положение девушки в нашем доме. Но никаких условий мы заключать не можем и просим вас: будьте любезны покончить с этим предметом.

Посетитель молчит, чтобы дать возможность миледи высказаться, но она не говорит ни слова. Тогда он поднимается и отвечает:

— Сэр Лестер и леди Дедлок, разрешите мне поблагодарить вас за внимание и добавить только, что я буду очень серьезно советовать сыну побороть его увлечение. Спокойной ночи.

— Мистер Раунсуэлл,— говорит сэр Лестер с любезностью настоящего джентльмена,— сейчас уже поздно; не следует пускаться в путь в такую темень. Как бы вам ни было дорого время, позвольте миледи и мне предло-

жить вам наше гостеприимство и хотя бы сегодня переночуйте в Чесни-Уолде.

— Надеюсь, вы согласитесь,— добавляет миледи.

— Я очень вам признателен, но мне нужно утром попасть вовремя в одно место, а оно так далеко отсюда, что придется ехать всю ночь.

Владелец железоделательного завода прощается, сэр Лестер звонит, миледи встает и уходит.

Вернувшись в свой будуар, миледи садится у камина и сидит в задумчивости, не прислушиваясь к шагам на Дорожке призрака и глядя на Розу, которая что-то пишет в соседней комнате. Но вот миледи зовет ее:

— Поди сюда, девочка моя. Скажи мне правду. Ты влюблена?

— Ах! Миледи!

Миледи смотрит на опущенную головку, на краснеющее личико и говорит, улыбаясь:

— А кто он? Внук миссис Раунсуэлл?

— Да, миледи, с вашего позволения. Но я не знаю, люблю ли я его... еще не знаю.

— Еще не знаешь, глупышка! А ты знаешь, что он уже любит тебя?

— Кажется, я ему немножко нравлюсь, миледи.

И Роза заливается слезами.

Неужели это леди Дедлок стоит рядом с деревенской красавицей, матерински поглаживая ее темноволосую головку, и смотрит на нее с таким задумчивым сочувствием? Да, это действительно она.

— Послушай, дитя мое. Ты молода и правдива, и я верю, что ты ко мне привязана.

— Очень, миледи. Чего бы я только не сделала, чтобы доказать, как глубоко я к вам привязана.

— И, мне кажется, тебе пока еще не хочется расстаться со мной, Роза, даже ради своего милого?

— Нет, миледи! Конечно, нет!

Роза только теперь подняла глаза, испуганная одной лишь мыслью о разлуке с миледи.

— Доверься мне, дитя мое. Не бойся меня. Я хочу, чтобы ты была счастлива, и сделаю тебя счастливой... если только могу хоть кому-нибудь на свете дать счастье.

Роза, снова заливаясь слезами, опускается на колени у ног миледи и целует ей руку. Миледи удерживает руку Розы в своих руках и, заглядевшись на пламя, перекладывает ее с ладони на ладонь, но вскоре медленно роняет. Она глубоко задумалась, и Роза, видя это, тихонько уходит; но глаза миледи по-прежнему устремлены на пламя.

Чего они ищут там? Руки ли, которой уже нет; руки, которой никогда не было; прикосновения, которое, как по волшебству, могло бы изменить всю ее жизнь? Или миледи прислушивается к глухим шумам на Дорожке призрака и спрашивает себя, чьи шаги они напоминают? Шаги мужчины? Женщины? Топот детских ножек, что подбегают все ближе... ближе... ближе? Скорбь овладела ею; иначе зачем бы столь гордой леди запирать двери и сидеть одной у огня в таком отчаянии?

На другой день Волюмния уезжает, да и прочие родственники разъезжаются еще до обеда. И нет среди всей родни человека, который не изумился бы, услышав за первым завтраком, как сэр Лестер рассуждает об уничтожении меж, открывании шлюзов и трещинах в общественном строе, обвиняя в них сына миссис Раунсуэлл. Нет среди всей родни человека, который не высказал бы своего искреннего возмущения, объяснив все это слабостью пришедшего к власти Уильяма Баффи, и не почувствовал бы себя коварно и несправедливо лишенным подобающего места в стране... или пенсии... или чего-нибудь в этом роде... А Волюмния, та разглагольствует на эту тему, спускаясь под руку с сэром Лестером по огромной лестнице и пылая таким красноречивым негодованием, словно вся Северная Англия подняла восстание только затем, чтобы отобрать у нее банку с румянами и жемчужное ожерелье.

Так, под шумную суету лакеев и горничных,— ибо, как ни трудно бедной родне содержать самое себя, она волей-неволей обязана держать лакеев и горничных,— так разлетаются родственники по всем четырем ветрам, а тот зимний ветер, что дует сегодня, стряхивает столько листьев с деревьев, растущих близ опустевшего дома, что чудится, будто это родственники превратились в листья.

ГЛАВА XXIX
Молодой человек

Дом в Чесни-Уолде заперт; ковры скатаны и стоят огромными свитками в углах неуютных комнат; яркий штоф, принося покаяние, облекся в чехлы из сурового полотна; резьба и позолота умерщвляют свой блеск, а предки Дедлоков вновь лишены дневного света. Листья вокруг дома все падают и падают,— густо, но не быстро, ибо опускаются они кругами с безжизненной легкостью, унылой и медлительной. Тщетно садовник все подметает и подметает лужайку, туго набивает листьями тачки и катит их прочь, листья все-таки лежат толстым слоем, в котором можно увязнуть по щиколотку. Воет резкий ветер в парке Чесни-Уолда, стучит по крышам холодный дождь, дребезжат окна, и что-то рычит в дымоходах. Туманы прячутся в аллеях, заволакивают дали и похоронной процессией ползут по склонам холмов. Во всем доме, словно в заброшенной церковке, пахнет нежилым холодом,— только здесь не так сыро,— и чудится, будто всю длинную ночь мертвые и погребенные Дедлоки бродят по комнатам, распространяя запах тления.

Зато лондонский дом, настроение которого почти никогда не совпадает с настроением Чесни-Уолда, ибо лишь редко бывает, чтоб один ликовал, когда ликует другой, или один прослезился, когда другой льет слезы,— не считая тех случаев, когда умирает кто-нибудь из Дедлоков,— лондонский дом сияет, пробужденный к жизни. Теплый и веселый, насколько это доступно столь пышному великолепию, нежно благоухающий самыми сладостными, самыми знойными — отнюдь не зимними — ароматами, какие только могут исходить от оранжерейных цветов; такой безмолвный, что одно лишь тиканье часов да потрескиванье дров в каминах нарушают тишину комнат, он как бы кутает промерзшего до костей сэра Лестера в шерсть всех цветов радуги. И сэру Лестеру приятно возлежать в величавом довольстве перед огнем, ярко пылающим в библиотеке, и снисходительно пробегать глазами по корешкам своих книг или удостоивать одобрительным взглядом произведения изящных искусств.

Ибо сэр Лестер обладает собранием картин, старинных и современных. У него есть и картины так называемой «Маскарадной школы», до которой Искусство снисходит лишь редко, а описывать их лучше всего в том стиле, в каком составляются каталоги разнообразных предметов на аукционе. Как, например: «Три стула с высокими спинками, стол со скатертью, бутылка с длинным горлышком (в бутылке вино), одна фляжка, один женский испанский костюм, портрет в три четверти натурщицы мисс Джог, набор доспехов, содержащий Дон-Кихота». Или: «Одна каменная терраса (с трещинами), одна гондола на заднем плане, одно полное облачение венецианского сенатора, богато расшитый белый атласный костюм с портретом в профиль натурщицы мисс Джог, одна кривая сабля в роскошных золоченых ножнах с рукоятью, выложенной драгоценными камнями, изысканный костюм мавра (очень редкий) и Отелло».

Мистер Талкингхорн бывает здесь довольно часто, так как он сейчас занимается разными имущественными делами Дедлоков, как, например, возобновлением арендных договоров и тому подобным. С миледи он тоже встречается довольно часто, и оба они все так же бесстрастны, все так же невозмутимы, все так же почти не обращают внимания друг на друга. Возможно, однако, что миледи боится этого мистера Талкингхорна и что он об этом знает. Возможно, что он преследует ее настойчиво и упорно, без тени сожаления, угрызений совести или сострадания. Возможно, что ее красота и окружающие ее пышность и блеск только разжигают его интерес к тому, что он предпринял, только укрепляют его намерения. Холоден ли он, или жесток; непреклонен ли, когда выполняет то, что считает своим долгом; охвачен ли жаждой власти; решил ли докопаться до последней тайны, погребенной в той почве, где он всю жизнь рылся в поисках тайн; презирает ли в глубине души то великолепие, слабым отблеском которого является сам; копит ли в себе обиды и мелкие оскорбления, нанесенные ему под маской приветливости его высокопоставленными клиентами,— словом, движет ли им лишь одна из этих побудительных причин или все вместе, но возможно, что для миледи было бы лучше, если бы в нее впились с бдительным

недоверием пять тысяч пар великосветских глаз, чем лишь два глаза этого старосветского поверенного в помятом галстуке жгутом и в тускло-черных коротких штанах, перехваченных лентами у колен.

Сэр Лестер сидит в комнате миледи — той самой, где мистер Талкингхорн однажды читал свидетельские показания, приобщенные к делу «Джарндисы против Джарндисов»,— и сегодня он особенно самодоволен. Миледи,— как и в тот день,— сидит перед камином, обмахиваясь ручным экраном. Сэр Лестер сегодня особенно самодоволен потому, что нашел в своей газете несколько замечаний, совпадающих с его взглядами на «шлюзы» и «рамки» общественного строя. Эти заметки имеют столь близкое отношение к недавнему разговору в Чесни-Уолде, что сэр Лестер пришел из библиотеки в комнату миледи специально для того, чтобы прочесть их вслух.

— Человек, написавший эту статью, обладает уравновешенным умом,— говорит он вместо предисловия, кивая огню с таким видом, словно поднялся на вершину горы и оттуда кивает автору статьи, который стоит у подножия,— да, уравновешенным умом.

Однако ум автора, видимо, не настолько уравновешен, чтобы не наскучить миледи, и, томно попытавшись слушать или, вернее, томно покорившись необходимости притвориться слушающей, она погружается в созерцание пламени, словно это пламя ее камина в Чесни-Уолде, откуда она и не уезжала. Не подозревая об этом, сэр Лестер читает, приложив к глазам лорнет, но время от времени опускает его и прерывает чтение, чтобы выразить одобрение автору такими, например, замечаниями: «Совершенно справедливо», «Весьма удачно выражено», «Я сам нередко высказывал подобное мнение»; при этом он после каждого замечания неизменно забывает, где остановился, теряет последнюю строчку и в ее поисках снова пробегает глазами весь столбец.

Сэр Лестер читает с бесконечной серьезностью и важностью; но вот дверь открывается, и Меркурий в пудреном парике докладывает о приходе посетителя в следующих, необычных для него выражениях:

— Молодой человек, миледи, некий Гаппи.

Сэр Лестер умолкает и, бросив на него изумленный взгляд, повторяет убийственно холодным тоном:

— Молодой человек? Некий Гаппи?

Оглянувшись, он видит молодого человека: некий Гаппи совершенно растерялся и ни своим видом, ни манерами не внушает особого уважения.

— Послушайте,— обращается сэр Лестер к Меркурию,— почему вы позволяете себе приводить сюда, без надлежащего доклада, какого-то молодого человека... некоего Гаппи?

— Простите, сэр Лестер, но миледи изволила сказать, что примет этого молодого человека в любое время — когда бы он ни пришел. Я не знал, что вы здесь, сэр Лестер.

Оправдываясь, Меркурий бросает презрительный и возмущенный взгляд на молодого человека, некоего Гаппи, как бы желая сказать: «Безобразие! Ворвался сюда и подложил мне свинью».

— Он не виноват. Так я ему приказывала,— говорит миледи.— Попросите молодого человека подождать.

— Пожалуйста, не беспокойтесь, миледи. Если вы сами велели ему явиться, я не стану мешать.

Сэр Лестер вежливо удаляется и, выходя из комнаты, не отвечает на поклон молодого человека, в надменной уверенности, что это какой-то назойливый башмачник.

После ухода лакея леди Дедлок, бросив властный взгляд на посетителя, окидывает его глазами с головы до ног. Он стоит у дверей, но она не приглашает его подойти ближе — только спрашивает, что ему угодно.

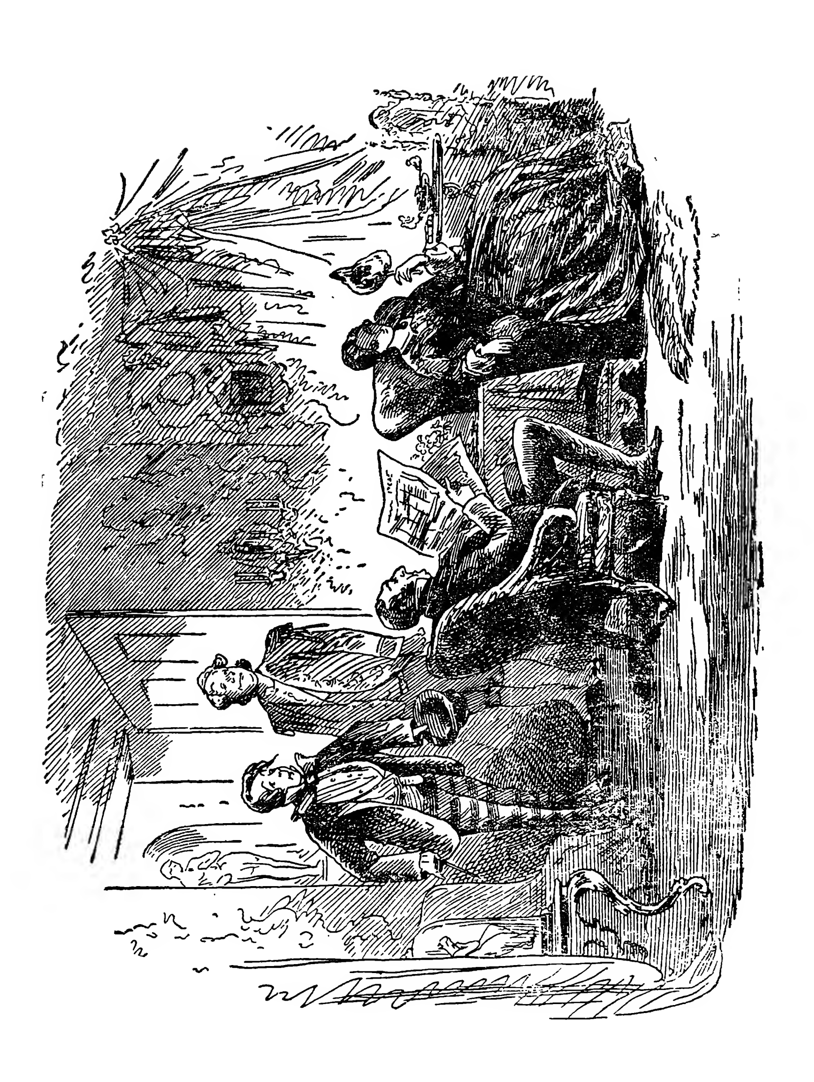
— Мне желательно, чтобы ваша милость соблаговолили немного побеседовать со мной,— отвечает мистер Гаппи в смущении.

— Вы, очевидно, тот человек, который написал мне столько писем?

— Несколько, ваша милость. Пришлось написать несколько, прежде чем ваша милость удостоили меня ответом.

— А вы не можете вместо беседы написать еще письмо? А?

Мистер Гаппи складывает губы в беззвучное «нет!» и качает головой.



— Вы удивительно навязчивы. Если в конце концов все-таки окажется, что ваше сообщение меня не касается,— а я не понимаю, как оно может меня касаться, и не думаю, что касается,— я позволю себе прервать вас без дальнейших церемоний. Извольте говорить.

Небрежно взмахнув ручным экраном, миледи снова поворачивается к камину и садится чуть ли не спиной к молодому человеку, некоему Гаппи.

— С позволения вашей милости,— начинает молодой человек,— я сейчас изложу свое дело. Хм! Как я уже предуведомил вашу милость в своем первом письме, я служу по юридической части. И вот, служа по юридической части, я привык не выдавать себя ни в каких документах, почему и не сообщил вашей милости, в какой именно конторе я служу, хотя мое служебное положение — и жалованье тоже,— в общем, можно назвать удовлетворительными. Теперь же я могу открыть вашей милости, разумеется конфиденциально, что служу я в конторе Кенджа и Карбоя в Линкольнс-Инне, и, быть может, она небезызвестна вашей милости, поскольку ведет дела, связанные с тяжбой «Джарндисы против Джарндисов», которая разбирается в Канцлерском суде.

Миледи как будто начинает проявлять некоторое внимание. Она перестала обмахиваться ручным экраном и держит его неподвижно, должно быть прислушиваясь к словам молодого человека.

— Вот что, ваша милость,— говорит мистер Гаппи, немного осмелев,— лучше уж я сразу скажу, что дело, которое привело меня сюда, не имеет никакого отношения к тяжбе Джарндисов,— не из-за нее так стремился я поговорить с вашей милостью; а потому мое поведение, конечно, казалось и кажется навязчивым... оно, в сущности, даже похоже на вымогательство.— Подождав минутку, чтобы получить уверение в противном, но не дождавшись, мистер Гаппи продолжает: — Будь это по поводу тяжбы Джарндисов, я немедленно обратился бы к поверенному вашей милости, мистеру Талкингхорну, проживающему на Линкольновых полях. Я имею удовольствие знать мистера Талкингхорна,— по крайней мере мы при встречах обмениваемся поклонами,— и будь это такого рода дело, я обратился бы к нему.

Миледи слегка поворачивает голову и говорит:

— Можете сесть.

— Благодарю, ваша милость.— Мистер Гаппи садится.— Итак, ваша милость,— мистер Гаппи справляется по бумажке, на которой сделал краткие заметки по своему докладу, но, по-видимому, ничего в ней не может понять, сколько бы он на нее ни смотрел.— Я... да!.. Я целиком отдаюсь в руки вашей милости. Если ваша милость найдет нужным пожаловаться на меня Кенджу и Карбою или мистеру Талкингхорну за то, что я сегодня пришел сюда, я попаду в прескверное положение. Это я признаю откровенно. Следовательно, я полагаюсь на благородство вашей милости.

Презрительным движением руки, сжимающей экран, миледи заверяет посетителя, что он не стоит ее жалоб.

— Благодарю, ваша милость,— говорит мистер Гаппи,— я вполне удовлетворен. А теперь... я... ах, чтоб его! Дело в том, что у меня тут записаны два-три пункта насчет тех вопросов, которые я собирался затронуть, но записаны они вкратце, и я никак не могу разобрать, что к чему. Извините, пожалуйста, ваша милость, я только на минуточку поднесу записку к окну, и...

Идя к окну, мистер Гаппи натыкается на клетку с двумя маленькими попугаями и в замешательстве говорит им: «Простите, пожалуйста!» Но от этого заметки его не становятся разборчивее. Он что-то бормочет, потеет, краснеет и то подносит бумажку к глазам, то читает ее издали, держа в вытянутой руке. «З. С.? К чему тут З. С.? А-а! Э. С.! Понимаю! Ну да, конечно!» И он возвращается просветленный.

— Не знаю, случалось ли вашей милости слыхать об одной молодой леди,— говорит мистер Гаппи, останавливаясь на полпути между миледи и своим стулом,— или, может быть, даже видеть одну молодую леди, которую зовут мисс Эстер Саммерсон?

Миледи смотрит ему прямо в лицо.

— Я как-то встретила девушку, которая носит эту фамилию, и — не так давно. Прошлой осенью.

— Так; а не показалось ли вашей милости, что она на кого-то похожа? — спрашивает мистер Гаппи, скре-

стив руки, наклонив голову вбок и почесывая угол рта своей памятной запиской.

Миледи не отрывает от него глаз.

— Нет.

— Может, она похожа на кого-либо из родственников вашей милости?

— Нет.

— Я думаю, ваша милость,— говорит мистер Гаппи,— вы, очевидно, вряд ли помните лицо мисс Саммерсон.

— Я прекрасно помню эту девушку. Но что все это значит и какое мне до этого дело?

— Ваша милость, могу вас уверить, что образ мисс Самммерсон запечатлен в моем сердце — о чем сообщаю конфиденциально,— а когда я имел честь осматривать дворец вашей милости в Чесни-Уолде,— это в тот день, когда мы с приятелем ненадолго махнули в графство Линкольншир,— я тогда увидел столь разительное сходство между мисс Эстер Саммерсон и портретом вашей милости, что был прямо-таки ошарашен, да так, что в тот момент даже не понял, *почему* я так ошарашен. А теперь, когда я имею честь лицезреть вашу милость вблизи (с того дня я нередко позволял себе разглядывать вашу милость, когда вы катались в карете по парку и, осмелюсь сказать, не замечали моего присутствия, но я никогда не видел вашей милости так близко),— а теперь я до того изумлен этим сходством,— просто сверх всякого ожидания.

Молодой человек, некий Гаппи! Были времена, когда леди жили в укрепленных замках, а при них состояла свита, готовая выполнить без зазрения совести любое их приказание, и в те времена жалкая ваша жизнь и гроша бы не стоила, если бы эти прекрасные глаза смотрели на вас так, как они смотрят сейчас.

Неторопливо обмахиваясь маленьким ручным экраном, как веером, миледи снова спрашивает посетителя, как он думает, какое ей дело до его интереса к сходствам?

— Сейчас объясню, ваша милость,— отвечает мистер Гаппи, снова углубляясь в свою бумажку.— Провалиться ей, этой бумажонке! Ага! «Миссис Чедбенд». Да! — Мистер Гаппи придвигает свой стул и опять садится.

Миледи откидывается на спинку кресла совершенно спокойно, но, пожалуй, с чуть-чуть менее непринужденной грацией, чем обычно, и не сводит пристального взгляда с посетителя.— Ага... хотя погодите минутку! — Мистер Гаппи снова справляется по бумажке.— Э. С. два раза? Ну да, конечно! Теперь я во всем разобрался!

Мистер Гаппи свернул бумажку трубочкой и, вонзая ее в воздух всякий раз, как хочет подчеркнуть свои слова, продолжает:

— Ваша милость, рождение и воспитание мисс Эстер Саммерсон окутаны загадочным мраком неизвестности. Я это знаю потому,— говорю конфиденциально,— что я в связи с этим выполнял кое-какие служебные обязанности у Кенджа и Карбоя. Вся суть в том, что, как я уже заявлял вашей милости, образ мисс Саммерсон запечатлен в моем сердце. Сумей я, ради ее же пользы, рассеять этот загадочный мрак или доказать, что у нее есть знатная родня, или обнаружить, что она имеет честь принадлежать к отдаленной ветви рода вашей милости, а значит имеет право сделаться истицею в тяжбе «Джарндисы против Джарндисов», тогда... ну что ж, тогда я мог бы до некоторой степени претендовать на то, чтобы мисс Саммерсон посмотрела на мое предложение более благосклонным взором, чем она смотрела до сих пор. По правде сказать, она до сего времени смотрела на меня отнюдь не благосклонно.

Что-то вроде гневной улыбки промелькнуло по лицу миледи.

— Засим случилось одно весьма странное стечение обстоятельств, ваша милость,— говорит мистер Гаппи,— впрочем, с подобными случаями нам, юристам, иной раз приходится сталкиваться,— а я имею право называть себя юристом, ибо, хотя еще не утвержден, но Кендж и Карбой преподнесли мне свидетельство об окончании обучения, а моя мамаша взяла из своего маленького капитала и внесла деньги на гербовую марку, что обошлось недешево,— повторяю, произошло весьма странное стечение обстоятельств, а именно: я случайно встретил одну особу, жившую в услужении у некоей леди, которая воспитывала мисс Саммерсон, прежде чем мистер Джарндис взял ее на свое попечение. Эту леди звали мисс Барбери, ваша милость.

Быть может, лицо миледи кажется мертвенным оттого, что она, забывшись, подняла руку и недвижно держит перед собой экран, а он обтянут шелком зеленого цвета; а может быть, миледи внезапно побледнела как смерть?

— Ваша милость,— продолжает мистер Гаппи,— вы когда-нибудь изволили слыхать о мисс Барбери?

— Не помню. Кажется, слышала. Да.

— Мисс Барбери была в родстве с семейством вашей милости?

Губы миледи шевелятся, но, не издав ни звука, она качает головой.

— *Не* была в родстве? — говорит мистер Гаппи.— Вот как! Но, может, ваша милость об этом не осведомлены? Ага! Значит, возможно, что и была? Так, так.— После каждого из этих вопросов миледи наклоняла голову.— Прекрасно! Далее, эта мисс Барбери была особой чрезвычайно замкнутой... судя по всему, необыкновенно замкнутой для женщины,— ведь женщины (во всяком случае не знатные) обычно не прочь посудачить,— так что моя свидетельница не знает, были ли у мисс Барбери родственники. Раз, но только раз, она как будто доверилась моей свидетельнице в одном-единственном вопросе и тогда сказала ей, что по-настоящему девочку нужно бы называть не Эстер Саммерсон, но Эстер Хоудон.

— Боже!

Мистер Гаппи широко раскрывает глаза. Леди Дедлок, пронизывая его взглядом, сидит перед ним, все такая же мрачная, в той же самой позе, так же стиснув пальцами ручку экрана, чуть приоткрыв рот и слегка сдвинув брови, но — как мертвая. Всего лишь миг спустя он видит, как возвращается к ней сознание: видит, как трепет пробегает по ее телу, словно рябь по воде; видит, как дрожат ее губы и как она сжимает их огромным усилием воли; видит, как она заставляет себя вновь осознать его присутствие и понять его слова. Она овладела собой мгновенно, а ее восклицание и обморок были, но сгинули, как труп, который сохранялся очень долго, а как только разрыли могилу и его коснулся воздух, рассыпался в прах.

— Вашей милости знакома фамилия Хоудон?

— Я слышала ее когда-то.

— Это фамилия какой-нибудь боковой или отдаленной ветви вашего рода?

— Нет.

— А теперь, ваша милость,— говорит мистер Гаппи,— я перехожу к последнему пункту этого дела, насколько я его расследовал. Дело подвигается, и я скоро докопаюсь до сути. Да будет известно вашей милости,— а может, вашей милости почему-либо уже известно,— что некоторое время тому назад в доме некоего Крука, проживающего близ Канцлерской улицы, нашли мертвым одного переписчика юридических документов, почти нищего. О смерти упомянутого переписчика производилось дознание, и оказалось, что упомянутый переписчик носил вымышленное имя, а настоящее его имя осталось неизвестным. Но я, ваша милость, на днях разузнал, что фамилия переписчика — Хоудон.

— Но какое мне дело *до этого?*

— Да, ваша милость, в том-то и весь вопрос! Засим, ваша милость, после смерти этого человека произошло странное событие. Какая-то леди... переодетая леди, ваша милость, пошла посмотреть на место происшествия, а также на могилу переписчика. Она наняла мальчишку-метельщика, чтобы тот ей все это показал. Если ваша милость желает, чтобы мальчишку привели сюда для подтверждения моих слов, я когда угодно его отыщу.

Бедный мальчишка ни капельки не интересует миледи, и она *ничуть* не желает, чтобы его приводили.

— Да, ваша милость, все это действительно чересчур странно,— говорит мистер Гаппи.— Послушали бы вы, как мальчишка рассказывал про кольца, что засверкали у нее на пальцах, когда она сняла перчатку, подумали бы — роман, да и только!

На руке, в которой миледи держит экран, поблескивают бриллианты. Она обмахивается экраном, и бриллианты блестят еще ослепительней; а у нее опять такое лицо, что, живи они оба в другие времена, большой опасности подвергся бы молодой человек, некий Гаппи.

— Считалось, ваша милость, что покойник не оставил после себя ни клочка, ни обрывка бумаги, по которым можно было бы установить его личность. Однако он все же оставил кое-что. Пачку старых писем.

Экран колеблется по-прежнему. За все это время миледи ни на миг не отводила глаз от мистера Гаппи.

— Письма были взяты и спрятаны. А завтра вечером, ваша милость, они попадут в мои руки.

— Я спрашиваю вас еще раз, какое мне дело до всего этого?

— Сейчас объясню, ваша милость, и этим закончу наш разговор.— Мистер Гаппи встает.— Если вы полагаете, что цепь всех этих обстоятельств, сопоставленных одно с другим, а именно: бесспорное разительное сходство этой молодой леди с вашей милостью, что для присяжных служит положительным доказательством; воспитание молодой леди у мисс Барбери; признание мисс Барбери, что по-настоящему молодая леди должна была бы носить фамилию Хоудон, а не Саммерсон; то обстоятельство, что вашей милости *очень хорошо* известны обе эти фамилии, а также условия, в каких умер Хоудон,— повторяю, если вы полагаете, что цепь этих обстоятельств требует дальнейшего расследования дела в семейных интересах вашей милости, я принесу документы сюда. Я не знаю их содержания, знаю только, что это старые письма. Они еще не были у меня в руках. Я принесу их сюда, как только достану, и здесь впервые просмотрю их вместе с вашей милостью. Я уже говорил вашей милости, к какой цели стремлюсь. Я говорил вашей милости, что попаду в прескверное положение, если на меня поступит жалоба, так что все это — строго конфиденциально.

Полностью ли раскрыл свои планы молодой человек, некий Гаппи, или он преследует какую-то другую цель? Выражают ли его слова всю глубину, длину и ширину его намерений и подозрений, побудивших его прийти сюда; а если нет, так о чем же он умолчал? Сейчас он достойный противник миледи. Конечно, она вольна впиться в него глазами, зато он волен вперить свой взор в стол, не допуская, чтобы его свидетельская физиономия выразила хоть что-нибудь.

— Можете принести письма,— говорит миледи,— если уж вам так хочется.

— Честное слово, ваша милость, не очень-то вы меня поощряете,— отзывается мистер Гаппи, немного обиженный.

— Можете принести письма,— повторяет миледи тем же тоном,— если... вам не трудно.

— Слушаюсь. Желаю вашей милости всего наилучшего.

На столе под рукой у миледи стоит роскошная шкатулочка, обитая металлическими полосками и запертая на замок,— старинный денежный сундук в миниатюре. Миледи, не отрывая глаз от посетителя, подвигает ее к себе и отпирает.

— Нет, подобные мотивы мне чужды, уверяю вас, ваша милость,— протестует мистер Гаппи,— ничего такого я принять не могу. Желаю вашей милости всего наилучшего и очень вам признателен.

Итак, молодой человек откланивается и спускается по лестнице в вестибюль, где надменный Меркурий не считает себя обязанным покинуть свой Олимп у камина, чтобы проводить молодого человека вон из дома.

Сэр Лестер нежится в своей библиотеке и дремлет над газетой; но нет ли в доме такой силы, которая может заставить его содрогнуться... больше того — заставить даже деревья в Чесни-Уолде всплеснуть узловатыми ветвями, даже портреты нахмуриться, даже доспехи пошевельнуться?

Нет. Слова, рыдания, крики — только колебания воздуха, а воздух в лондонском доме так основательно отгорожен от воздуха улицы, что звуки в комнате миледи поистине должны бы стать трубными звуками, чтобы слабый их отголосок достиг ушей сэра Лестера; и все-таки в доме раздается крик, летящий к небу, и это стонет в отчаянье женщина, упавшая на колени:

— О дитя мое, дочь моя! Значит, не умерла она в первые же часы своей жизни; значит, обманула меня жестокая моя сестра, что отреклась от меня и моего имени и так сурово воспитывала мое дитя! О дитя мое, дочь моя!

ГЛАВА XXX
Повесть Эстер

Вскоре после отъезда Ричарда к нам на несколько дней приехала гостья. Это была пожилая дама. Это была миссис Вудкорт,— она приехала из Уэльса, чтобы погостить у миссис Бейхем Беджер, и написала опекуну, «по просьбе своего сына Аллена», что получила от него письмо и что он здоров и «передает сердечный привет» всем нам, а в ответ на это опекун пригласил ее пожить в Холодном доме. Она пробыла у нас недели три. Ко мне она относилась очень хорошо и была чрезвычайно откровенна со мною — настолько, что я этим иногда тяготилась. Я прекрасно понимала, что не имею никаких оснований тяготиться ее откровенностью, понимала, что это просто глупо, и все же, как ни старалась, не могла себя побороть.

Очень уж она была догадливая старушка, к тому же, разговаривая со мной, она всегда сидела сложив руки и смотрела на меня до того пристально, что, может быть, это-то меня и раздражало. А может быть, мне не нравилось, что она держится слишком прямо и вся такая подобранная; но нет, вряд ли; это мне как раз нравилось, казалось очень милым и своеобразным. Не могло мне не нравиться и выражение ее лица, очень живого и красивого для пожилой женщины. Не знаю, что̀ было мне неприятно в ней. Точнее — знаю теперь, но тогда думала, что не знаю. Еще точнее... впрочем, это неважно.

По вечерам, когда я поднималась в свою комнату, чтобы лечь спать, она приглашала меня к себе, усаживалась перед камином в огромное кресло и — боже ты мой! — принималась рассказывать мне о Моргане-ап-Керриге, да так многословно, что просто наводила на меня тоску! Иногда она декламировала мне несколько строф из Крамлинуоллинуэра и Мьюлинуиллинуодда (если только я правильно пишу эти названия, что весьма сомнительно) и неизменно загоралась чувствами, которые были выражены в этих произведениях. Я ничего не понимала (она декламировала на уэльском языке) и

догадывалась только, что в этих стихах превозносится древнее происхождение Моргана-ап-Керрига.

— Вот видите, мисс Саммерсон,— говорила она мне с важным, торжественным видом,— это и есть — богатство, доставшееся в наследство моему сыну. Куда бы мой сын ни поехал, он может гордиться своим кровным родством с Ап-Керригом. Пусть у него нет денег, у него всегда будет то, что куда лучше денег,— родовитость, милая моя.

Я сомневалась, чтобы в Индии или Китае так уж глубоко уважали Моргана-ап-Керрига, но, конечно, не говорила этого, а соглашалась, что иметь столь великих предков очень важно.

— *Очень важно,* милая моя,— подчеркивала миссис Вудкорт.— Конечно, тут есть свои минусы; так, например, это сужает выбор невесты для моего сына, но когда вступают в брак члены королевской семьи, выбор невест для них ограничен примерно так же.

И она слегка похлопывала меня по плечу и разглаживала мое платье, видимо желая показать, что, хотя нас и разделяет огромное расстояние, она все-таки хорошего мнения обо мне.

— Покойный мистер Вудкорт, милая моя,— говорила она не без волнения, ибо, несмотря на ее древнюю родословную, сердце у нее было любящее,— происходил из знатного шотландского рода Мак-Куртов из Мак-Курта. Он служил королю и отечеству — был офицером Королевского полка шотландских горцев и пал на поле брани. Мой сын — один из последних представителей двух старинных родов. Даст бог, он восстановит их прежнее положение и соединит их узами брака с другим древним родом.

Тщетно пыталась я переменить тему разговора, а я пыталась, хотя бы из желания услышать что-нибудь новое, и даже, может быть, затем... впрочем, не стоит останавливаться на таких подробностях. Но миссис Вудкорт никогда не позволяла мне поговорить о чем-нибудь другом.

— Милая моя,— обратилась она ко мне как-то вечером,— у вас столько здравого смысла, и вы смотрите на жизнь гораздо более трезво, чем девушки ваших лет; вот почему мне приятно разговаривать с вами о своих

семейных делах. Вы не очень близко познакомились с моим сыном, милая моя, но все-таки довольно хорошо его знаете и, надеюсь, помните, правда?

— Да, сударыня. Я его помню.

— Прекрасно. Так вот, милая моя, я считаю, что вы правильно судите о людях, и мне хочется, чтобы вы сказали мне, какого вы мнения о моем сыне.

— Но, миссис Вудкорт,— отозвалась я,— это так трудно.

— Отчего же трудно, милая моя? — возразила она.— По-моему, ничуть.

— Сказать, какого я мнения...

— О столь мало знакомом вам человеке, милая моя? Да, вы правы, *это* действительно трудно.

Я совсем не то хотела сказать — ведь мистер Вудкорт часто бывал у нас и очень подружился с опекуном. Так я и сказала, добавив, что мистер Вудкорт прекрасно знает свое дело, как считали мы все... а к мисс Флайт он относился с такой добротой и мягкостью, что это было выше всяких похвал.

— Вы отдаете ему должное! — сказала миссис Вудкорт, пожимая мне руку.— Вы правильно его оцениваете. Аллен славный малый, и работает он безупречно. Это я всегда говорю, хоть он и мой сын. И все-таки, моя прелесть, я вижу, что и у него есть недостатки.

— У кого их нет? — заметила я.

— Конечно! Но свои недостатки он может и должен исправить,— проговорила догадливая старушка, покачивая головой с догадливым видом.— Я так привязана к вам, милая моя, что могу вам довериться, как третьему совершенно беспристрастному лицу: мой сын — воплощенное легкомыслие.

Я сказала, что, судя по его репутации, вряд ли можно допустить, что он не любит своей профессии и работает не добросовестно.

— И тут вы правы, милая моя,— согласилась старушка,— но я говорю не о его профессии, заметьте себе.

— Вот как! — проговорила я.

— Да,— отозвалась она.— Я, милая моя, говорю о его поведении в обществе. Он любит слегка поухаживать за молодыми девицами, всегда любил — с восемнадцати

лет. Но, милая моя, он ни к одной из них никогда не питал истинного чувства и не имел никаких серьезных намерений; ухаживал просто так — из вежливости и любезности, считая, что в этом ничего дурного нет. А все-таки это, знаете ли, нехорошо; ведь правда?

— Конечно,— сказал я, потому что старушка, по-видимому, ждала утвердительного ответа.

— И это, милая моя, знаете ли, может подать повод к необоснованным надеждам.

Я сказала, что, вероятно, может.

— Поэтому я не раз говорила ему, что он обязан вести себя поосторожнее и ради самого себя и ради других. А у него один ответ: «Матушка, я буду вести себя осторожнее; но кому же и знать меня, как не вам, а вы знаете, что в подобных случаях у меня нет никаких дурных намерений... Короче говоря — вообще никаких намерений!» И все это очень верно, милая моя, но это не оправдание. Так ли, этак ли, но раз уж он теперь уехал за тридевять земель и бог знает как долго пробудет в чужих краях, где ему представятся всякие блестящие возможности и удастся завести знакомства, значит можно считать, что с прошлым покончено. Ну, а вы, милая моя,— сказала вдруг старушка, расплываясь в улыбке и кивая головой,— что вы скажете о себе, моя прелесть?

— О себе, миссис Вудкорт?

— Нельзя же мне быть такой эгоистичной — вечно болтать о сыне, который уехал искать свою долю и найти себе жену... вот я и спрашиваю: вы-то сами, когда же вы собираетесь искать *свою* долю и найти себе мужа, мисс Саммерсон? Э, смотрите-ка! Вот вы и покраснели!

Вряд ли я покраснела,— во всяком случае, если и покраснела, то это не имеет никакого значения,— но я сказала, что моя теперешняя доля вполне удовлетворяет меня, и я вовсе не хочу ее менять.

— Хотите, я скажу, чтó именно я всегда думаю о вас и о той доле, которая вас ждет, прелесть моя? — спросила миссис Вудкорт.

— Пожалуйста, если вы считаете себя хорошим пророком,— ответила я.

— Так вот: вы выйдете замуж за человека очень богатого и очень достойного, гораздо старше вас,— лет этак

на двадцать пять. И будете прекрасной женой, глубоко любимой и очень счастливой.

— Что ж, это действительно счастливая доля,— промолвила я.— Но почему она должна быть моей?

— Милая моя,— ответила она,— это к вам так подходит — ведь вы такая деловитая, такая аккуратная, и у вас такое своеобразное положение, что это самое для вас подходящее; и это сбудется. И никто, прелесть моя, не поздравит вас с таким замужеством искреннее, чем я.

От этого разговора у меня остался какой-то неприятный осадок; как ни странно, но, кажется, так оно и было. Наверное так. В ту ночь я заснула не сразу, и мне было очень не по себе. Я так стыдилась своей глупости, что мне не хотелось сознаться в ней даже Аде; но тем больше мне было не по себе. Все что угодно я отдала бы за то, чтобы эта умная старушка была менее откровенной со мною, но я никак не могла избежать ее откровенности. Поэтому я то и дело меняла свое мнение о миссис Вудкорт. То я думала, что она любит фантазировать, то — что она воплощение правдивости. Иной раз подозревала, что она очень хитрая, но в ту же секунду уверяла себя, что ее честное уэльское сердце совершенно невинно и простодушно. Впрочем, какое это имеет значение для меня, думала я, и почему это все-таки имеет значение? Почему бы мне, когда я перед сном поднимаюсь к себе, забрав корзиночку с ключами, самой не зайти к старушке, не посидеть с нею перед камином, не поболтать немножко о том, что интересует ее,— ведь я же умею так говорить с любым другим человеком,— и почему не могу я не огорчаться теми безобидными пустяками, о которых она рассказывает мне? Если меня влечет к ней,— думала я,— а меня, конечно, влечет, так как мне очень хочется ей понравиться и я рада, что нравлюсь ей,— почему же я с душевной болью, с отчаянием вдумываюсь в каждое слово, которое она произносит, и все вновь и вновь взвешиваю его на двадцати весах? Почему меня так тревожит, что она живет у нас в доме и каждый вечер разговаривает со мной по душам, если я чувствую, что для меня лучше и спокойнее, чтобы она жила у нас, а не где-нибудь в другом месте? Все это были недоумения и противоречия, в которых я не могла разобраться. То есть, мо-

жет быть, и могла бы, но... впрочем, я вскоре расскажу и об этом, а сейчас это не к месту.

Когда миссис Вудкорт уехала, мне было жаль расставаться с нею, и все-таки я почувствовала облегчение. А потом к нам приехала Кедди Джеллиби и привезла с собой такую кучу семейных новостей, что они поглотили все наше внимание.

Кедди прежде всего заговорила о том (и на первых порах только о том и твердила), что лучшей советчицы, чем я, во всем мире не сыщешь. «Ну, это не новость»,— сказала моя Ада, на что я, понятно, ответила: «Чепуха!» Потом Кедди объявила, что выйдет замуж через месяц, и если мы с Адой согласимся быть подружками у нее на свадьбе, она будет счастливейшей девушкой на свете. Вот это действительно была новость, и я думала, что мы никогда не кончим говорить о ней — так много нам хотелось сказать Кедди, а Кедди так много хотелось сказать нам.

Оказалось, что бедный отец Кедди был объявлен не злостным банкротом — он «прошел через газету» *, как выразилась Кедди, точно газета — это нечто вроде туннеля, а кредиторы отнеслись к нему мягко и сострадательно, поэтому он, к счастью, выпутался,— хотя так и не сумел разобраться в своих делах,— отдал все, что имел (очевидно, не так уж это было много, судя по его домашней обстановке), и убедил всех заинтересованных лиц в том, что ничего больше сделать не может, бедняга. Ну, его отпустили с миром, честь его не пострадала, и он поступил на службу, чтобы начать жизнь заново. Что это была за служба, я так никогда и не узнала. Кедди говорила, что теперь он «таможенный и общий агент»; я же поняла только то, что, когда ему были особенно нужны деньги, он уходил добывать их куда-то в доки, но ему, кажется, никогда не удавалось ничего добыть.

Как только отец Кедди примирился с тем, что его остригли как овцу, и вся семья переехала в меблированную квартиру на Хэттон-гарден (в которой я, зайдя туда впоследствии, увидела, как дети выдергивают из кресел конский волос, жуют его и давятся), Кедди познакомила отца с мистером Тарвидропом-старшим, и бедный мистер Джеллиби, человек донельзя застенчивый и кроткий, так

покорно поддался влиянию хорошего тона мистера Тарвидропа, что старики прямо-таки подружились. Мало-помалу мистер Тарвидроп-старший свыкся с мыслью о женитьбе своего сына и, настроив свои родительские чувства на высокий лад, согласился на то, чтобы знаменательное событие совершилось в ближайшее время, а жениху и невесте милостиво разрешил обзавестись хозяйством в танцевальной академии на Ньюмен-стрит, когда им будет угодно.

— А ваш папа, Кедди? Что сказал он?

— Ах, бедный папа,— ответила Кедди,— он только заплакал и выразил надежду, что мы с Принцем поладим лучше, чем ладил он с мамой. Он сказал это, когда Принца не было,— только мне одной. И еще он сказал: «Бедная моя девочка, плохо тебя учили вить уютное гнездо для мужа, но если ты сама не стремишься к этому всем сердцем, лучше тебе убить своего жениха, чем выйти за него замуж... если только ты искренне любишь его».

— И как же вы его успокоили, Кедди?

— Вы понимаете, мне было очень тяжело видеть папу таким расстроенным и слышать от него такие страшные вещи; ну, и я тоже не удержалась от слез. Но я сказала ему, что, право же, всем сердцем стремлюсь свить уютное гнездо, а когда он будет приходить к нам по вечерам, ему будет хорошо у нас и я постараюсь заботиться о нем лучше, чем заботилась в своем родном доме. Потом я обещала взять Пищика к себе, а папа опять прослезился и сказал, что дети у него — индейцы.

— Индейцы, Кедди?

— Да,— подтвердила Кедди.— Дикие индейцы. А еще папа сказал,— и тут она всхлипнула, бедняжка, а это уж вовсе не подобало «самой счастливой девушке на свете»,— а еще сказал, что для них будет лучше, если их всех зарубят томагавками.

Ада заметила, что на этот счет можно не беспокоиться — мистер Джеллиби, очевидно, не всерьез высказал столь кровожадное пожелание.

— Конечно, я знаю, что папе вовсе не хочется видеть родных детей в лужах их собственной крови,— согласилась Кедди,— но он хотел сказать, что им очень не повезло с такой матерью, а ему очень не повезло с такой

женой, и это, бесспорно, правда, хоть мне, как дочери, и не следует этого говорить.

Я спросила Кедди, известно ли миссис Джеллиби, что день свадьбы ее дочери уже назначен.

— Ах, Эстер, вы же знаете маму,— ответила она.— Разве можно сказать, известно ей что-нибудь или нет? Я ей не раз говорила, но сколько ни говори, она только бросит на меня равнодушный взгляд, словно я... не знаю что... какая-нибудь отдаленная колокольня,— внезапно придумала Кедди сравнение,— а потом покачает головой и скажет: «Ах, Кедди, Кедди, какая ты надоедливая!» — и опять примется за свои бориобульские письма.

— А платьев у вас достаточно, Кедди? — спросила я.

Я считала себя вправе задать этот вопрос потому, что она всегда откровенно говорила с нами обо всем.

— Что вам на это сказать, дорогая Эстер? — ответила она, вытирая слезы.— Буду всячески стараться одеться поприличнее и хочу верить, что мой милый Принц никогда не попрекнет меня тем, что я вошла в его дом такой замарашкой. Если б меня снаряжали в Бориобулу, мама отлично бы знала, что надо делать, и пришла бы в полный восторг. А в приданом она ничего не понимает, да и не интересуется такими вещами.

Кедди любила мать, но говорила она все это со слезами, как горькую правду, и вовсе не преувеличивала. Мы так жалели бедняжку, так восхищались тем, что она осталась хорошей девушкой, несмотря на подобное невнимание, что обе (то есть Ада и я) сразу же предложили ей небольшой план действий, которому она очень обрадовалась. А именно: она прогостит у нас три недели, потом я поживу с неделю у нее, и мы втроем будем придумывать фасоны, кроить, переделывать, шить, чинить и всячески постараемся, чтобы приданое у нее было как можно лучше. Опекун не менее самой Кедди обрадовался нашей выдумке, и мы на другой же день отвезли девушку домой, чтобы все устроить, а потом торжественно привезли ее назад вместе с ее сундуками и всеми покупками, какие только можно было выжать из десятифунтовой бумажки, которую мистер Джеллиби, быть может, добыл где-то в доках, а может быть, и не в доках, но так или иначе подарил дочери. Чего только не надарил бы ей опекун, если

бы мы ему не помешали, сказать трудно, но мы уговорили его купить ей только подвенечное платье и шляпу. Он согласился на этот компромисс, и тот день, когда Кедди села за шитье, был, пожалуй, самым счастливым в ее жизни.

Бедняжка не умела держать иголку в руках и колола себе пальцы так же часто, как, бывало, пачкала их чернилами. Время от времени она слегка краснела, то ли от боли, то ли от досады, что шитье у нее не ладилось, но это скоро прошло, и она быстро начала делать успехи. Итак, все мы — Кедди, Ада, моя маленькая горничная Чарли, портниха из города и я — день за днем усердно работали в самом радостном настроении.

Однако больше всего Кедди стремилась «выучиться домоводству», как она выражалась. Но, господи твоя воля! Одна лишь мысль о том, чтоб учиться домоводству у столь опытной хозяйки, как я, показалась мне такой нелепостью, что, когда Кедди завела об этом разговор, я рассмеялась, покраснела и смутилась самым комичным образом. Тем не менее я сказала:

— Кедди, я охотно помогу вам, дорогая, научиться всему, чему вы можете научиться *у меня*.

И я показала ей все мои записи, объяснила, как веду хозяйство, и вообще посвятила ее во все мелочи своей домашней суеты. Можно было подумать, что я показываю ей какие-то необыкновенные изобретения,— так внимательно она все это изучала; когда же, заслышав звон моих ключей, она вставала и всюду ходила за мной, можно было подумать, что свет не видывал такой самозванки-учительницы, как я, и такой доверчивой ученицы, как Кедди Джеллиби.

Так — за шитьем и хозяйством, за уроками с Чарли, за игрой в трик-трак с опекуном по вечерам и дуэтами с Адой — три недели прошли очень быстро. Затем я вместе с Кедди поехала к ней домой, посмотреть, нельзя ли там что-нибудь наладить, а моя Ада и Чарли остались заботиться об опекуне.

Я сказала, что поехала вместе с Кедди к ней домой, но точнее было бы выразиться, что мы направились в меблированную квартиру на Хэттон-гарден. Раза два-три мы побывали и на Ньюмен-стрит, где полным ходом шли

приготовления — главным образом к тому, чтобы создать все удобства для мистера Тарвидропа-старшего и лишь в незначительной степени — чтобы как можно дешевле устроить молодых подальше от него, чуть не на чердаке; но больше всего мы стремились навести порядок в меблированной квартире к свадебному завтраку и вовремя внушить миссис Джеллиби хоть некоторое представление о грядущем событии.

Это было труднее всего, так как миссис Джеллиби занималась вместе с каким-то тщедушным мальчуганом в передней гостиной (задняя оказалась просто каморкой), и гостиная эта была завалена ненужными бумагами и бориобульскими документами, как невычищенное стойло — соломой. Миссис Джеллиби сидела тут целый день — пила крепкий кофе, диктовала и вела переговоры по бориобульским делам. Тщедушный мальчуган, который, казалось мне, все больше худел, столовался где-то на стороне. Мистер Джеллиби, вернувшись домой, тяжело вздыхал и спускался в кухню. Там он что-то ел, если только прислуга подавала ему какую-нибудь еду, затем, чувствуя, что он всем мешает, уходил и под дождем гулял по Хэттон-гардену. Злосчастные ребятишки все время куда-то карабкались и шлепались на пол, к чему они давно уже привыкли.

Нечего было и думать о том, чтобы за одну лишь неделю привести этих бедняжек в приличный вид, поэтому я предложила Кедди в день свадьбы по мере возможности угостить детей в мансарде, где все они спали, а главные наши усилия направить на их маму, мамину комнату и уборку столовой к свадебному завтраку. Ведь миссис Джеллиби требовала особого внимания, так как прореха у нее на спине теперь стала еще шире, чем в день первой нашей встречи, а волосы спутались, словно грива у клячи мусорщика.

Я решила, что лучше всего мне удастся подойти к делу, если я покажу матери приданое ее дочери, и както раз вечером, когда тщедушный мальчуган удалился, пригласила миссис Джеллиби взглянуть на туалеты, разложенные на кровати Кедди.

— Дорогая мисс Саммерсон,— проговорила миссис Джеллиби со свойственной ей мягкостью и встала из-за

письменного стола,— право же, все эти приготовления прямо смехотворны, хотя вы, конечно, очень добры, что принимаете в них участие. Подумать только — Кедди выходит замуж... Что за дикая нелепость! Ах, Кедди, глупый ты, глупый, глупый котенок!

Тем не менее она вместе с нами поднялась наверх и устремила свой невидящий взор на наряды Кедди. Очевидно, приданое дочери вызвало в ее уме только одну отчетливую мысль, которую она и высказала, покачивая головой и с безучастной улыбкой:

— Но, милая мисс Саммерсон, если бы мы снаряжали нашу глупышку в путешествие по Африке, это обошлось бы вдвое дешевле!

Когда мы спускались по лестнице, миссис Джеллиби спросила, «неужели эта беспокойная церемония» действительно состоится в будущую среду? И, получив утвердительный ответ, осведомилась:

— А моя комната тоже понадобится, дорогая мисс Саммерсон? Но ведь я ни в коем случае не могу убрать оттуда свои бумаги.

Я осмелилась сказать, что комната обязательно будет нужна и что, по-моему, бумаги необходимо куда-нибудь убрать.

— Ну что ж, дорогая мисс Саммерсон, вам лучше знать, конечно,— сказала миссис Джеллиби.— Но Кедди вынудила меня нанять мальчика и до такой степени стеснила меня,— а ведь я так перегружена общественной деятельностью,— что я просто не знаю, куда повернуться. К тому же в среду днем должно состояться собрание отделения нашего общества,— получается очень серьезное неудобство.

— Больше этого никогда не будет,— заметила я с улыбкой.— Надо думать, что Кедди выйдет замуж только раз в жизни.

— Это верно,— согласилась миссис Джеллиби,— это верно, дорогая. Придется уж нам как-нибудь примириться с этим.

Затем предстояло решить следующую задачу — как должна одеться миссис Джеллиби для такого случая? Странно было видеть, как безмятежно посматривала она на меня и Кедди из-за письменного стола, пока мы

обсуждали этот вопрос, и по временам качала головой, улыбаясь чуть-чуть укоризненно, словно была высшим существом, которое снисходительно взирает на наши суетные хлопоты.

Туалеты ее были в таком состоянии и хранились в столь диком беспорядке, что задача наша оказалась нелегкой; но в конце концов мы придумали наряд, не слишком отличавшийся от того, какой надела бы обыкновенная мать в день свадьбы дочери. Рассеянный вид, с каким миссис Джеллиби позволяла портнихе примерять ей платье, и мягкость, с какой она потом заметила мне, как грустно, что я в свое время не обратила должного внимания на Африку, были под стать ее поведению во всем остальном.

Квартира у миссис Джеллиби была довольно тесная, но, если бы ее домочадцы одни занимали весь собор св. Павла или св. Петра *, они получили бы от здания столь грандиозных размеров лишь одно преимущество — больше пространства для разведения грязи. К тому времени, когда начались все эти приготовления к свадьбе Кедди, кажется, ни одна вещь, принадлежащая семейству Джеллиби и способная разбиться, не осталась целой, ни одна вещь, которую можно было так или иначе испортить, не осталась неиспорченной, ни один предмет в этом доме, способный покрыться грязью, начиная с коленок милых детишек и кончая дощечкой на входной двери, не покрылся таким слоем грязи, какой только мог на нем уместиться.

Бедный мистер Джеллиби, который говорил очень редко, а когда был дома, почти всегда сидел, прислонившись головой к стене, увидев, как мы с Кедди пытаемся навести хоть какой-то порядок во всей этой «мерзости запустения», внезапно заинтересовался нашей работой, снял сюртук и взялся нам помогать. Но, когда мы открыли стенные шкафы, из них посыпались такие диковинные вещи, как, например, куски заплесневелого паштета, бутылки с какой-то прокисшей жидкостью, чепчики миссис Джеллиби, письма, пачки чаю, вилки, непарные сапоги, детские туфли, лучина для растопки, облатки для запечатывания писем, крышки от кастрюль, отсыревший сахар в рваных бумажных мешках, ножные скамеечки,

растушевки для рисованья карандашом, ломти хлеба, шляпки миссис Джеллиби, книги с прилипшим к переплету сливочным маслом, оплывшие свечные огарки, которые когда-то погасили, вставив их горящим концом в сломанные подсвечники, ореховая скорлупа, головки и хвостики креветок, клеенчатые салфетки, на которые ставили тарелки, перчатки, кофейная гуща, зонтики,— словом, столько всякой дряни, что мистер Джеллиби испугался и отступил. Но он все-таки приходил к нам каждый вечер и сидел без сюртука, прислонившись головой к стене с таким видом, словно охотно помог бы нам, если бы знал, как за это приняться.

— Бедный папа! — сказала мне Кедди накануне торжественного дня, уже вечером, когда нам с ней, наконец, удалось привести комнаты в мало-мальски приличный вид.— Нехорошо это, Эстер, что я его покидаю. Но, останься я здесь, разве смогу я что-то исправить? С тех пор как мы с вами познакомились, я только и делаю что убираю да чищу, а все без толку. Не успеешь навести порядок, как мама с ее Африкой перевернет весь дом вверх дном. Наймешь прислугу — обязательно запьет. Мама на все влияет разрушительно.

Мистер Джеллиби не мог слышать ее слова, но он и вправду приуныл, кажется даже всплакнул.

— Сердце у меня болит за него! — со слезами воскликнула Кедди.— Сегодня вечером, Эстер, я все время мечтаю о том, какой я буду счастливой с Принцем, а папа, вероятно, тоже мечтал когда-то о счастье с мамой. Но какое разочарование принесла ему жизнь!

— Милая моя Кедди! — начал сидевший у стены мистер Джеллиби, медленно повертывая голову.

Пожалуй, это я впервые услышала, как он сказал три слова подряд.

— Да, папа? — отозвалась Кедди, подходя к нему и ласково обнимая его.

— Милая моя Кедди,— снова начал мистер Джеллиби,— не связывай своей жизни...

— Неужели с Принцем, папа? — вздрогнула Кедди.— Вы не хотите, чтобы я связала свою жизнь с Принцем?

— Нет, не то, дорогая моя,— сказал мистер Джеллиби.— С Принцем, конечно, можно. Но никогда не связывай...

Описывая наш первый визит в Тейвис-Инн, я привела слова Ричарда, который рассказывал, что мистер Джеллиби после обеда несколько раз открыл рот, но не вымолвил ни слова. Такая уж у него была привычка. И теперь он раз за разом открывал рот, но ничего не говорил и только меланхолично качал головой.

— Вы не хотите, чтобы я связывала свою жизнь с чем? С чем, милый папа? — приставала к нему Кедди, ласкаясь и обняв руками его шею.

— Никогда не связывай свою жизнь ни с какой миссией, дорогое мое дитя.

Мистер Джеллиби, застонав, снова прислонил голову к стене, и это был единственный случай, когда я услышала, как он пытается выразить свое отношение к бориобульскому вопросу. Быть может, когда-то он был более разговорчивым и оживленным; но силы его, видимо, совершенно иссякли задолго до того, как я с ним познакомилась.

В тот вечер я боялась, что миссис Джеллиби так и не перестанет безмятежно просматривать свои бумаги и пить кофе. Только в полночь удалось нам завладеть гостиной, но уборка ее показалась нам столь неразрешимой задачей, что Кедди, совершенно измученная, села на пыльный пол и расплакалась. Впрочем, она скоро успокоилась, и, принявшись за дело, мы с ней перед сном успели совершить чудеса.

Наутро комната приняла совсем веселый вид, так как мы вымыли ее, не жалея воды и мыла, украсили цветами и по-новому расставили мебель. Скромный завтрак сервировали так, что на него было приятно смотреть, а Кедди была просто очаровательна. Но после того как пришла моя любимая подруга, я подумала,— как и сейчас думаю,— что в жизни я не видывала такого милого личика, как у моей прелестной девочки.

Для детей мы устроили маленькую пирушку наверху, посадив Пищика во главе стола, и когда привели к ним Кедди в венчальном платье, они стали хлопать в ладоши и кричать «ура», а Кедди, плача при мысли о разлуке с

ними, то и дело прижимала их к себе, пока мы не позвали Принца и не попросили его увести ее с собой; но тут Пищик, к сожалению, укусил жениха. Мистер Тарвидроп-старший пребывал внизу и милостиво благословил Кедди в столь хорошем тоне, что этого и описать невозможно, потом дал понять моему опекуну, что счастье сына — дело его отцовских рук, и он, мистер Тарвидроп, пожертвовал личными интересами, дабы обеспечить это счастье.

— Дорогой сэр,— сказал мистер Тарвидроп,— молодые будут жить со мной вместе,— мой дом достаточно просторен, чтобы они могли устроиться с удобством, и у них будет приют под моим кровом. Я мог бы пожелать,— вы поймете мою мысль, мистер Джарндис, ведь вы помните моего августейшего покровителя, принца-регента,— я мог бы пожелать, чтобы сын мой выбрал себе жену в семействе, отличающемся более хорошим тоном, но да свершится воля небес!

В числе гостей были мистер и миссис Пардигл. Мистер Пардигл, человек с упрямым выражением лица и щетинистыми волосами, носивший слишком просторный жилет, все время говорил громким басом о своей лепте, о лепте миссис Пардигл и о лептах их пятерых мальчуганов. Мистер Куэйл, у которого волосы были, как всегда, зачесаны назад, а шишковатый лоб ярко блестел, пришел тоже, но не в качестве незадачливого поклонника, а как нареченный одной молодой — лучше сказать незамужней — особы, некоей мисс Уиск, которая также здесь присутствовала. Ее миссия, по словам опекуна, заключалась в том, чтобы провозглашать на весь мир, что миссия женщины совпадает с миссией мужчины, а единственная истинная миссия, как мужская, так и женская, состоит в том, чтобы постоянно выдвигать на публичных митингах декларативные резолюции по поводу всего на свете.

Гостей собралось немного, но, как и следовало ожидать от гостей миссис Джеллиби, все это были люди, посвятившие себя общественной деятельности, и только ей одной. Кроме тех, о ком я уже упомянула, здесь находилась донельзя неопрятная дама в шляпке, криво сидевшей на голове, и в платье, на котором все еще торчал ярлычок

с ценой,— дама, чей дом, по словам Кедди, был так запущен, что походил на утопающий в грязи пустырь; зато церковь в ее приходе напоминала благотворительный базар. Общество украшал также некий сварливый джентльмен, который заявил, что его миссия — это любить каждого человека, как родного брата, но который, по-видимому, был в натянутых отношениях со всем своим многочисленным семейством.

Трудно было бы умышленно собрать компанию более скучных свадебных гостей. «Миссия» столь низменная, как, например, стремление заботиться о своей семье, ни в коем случае не могла быть терпима в их среде, и мисс Уиск с величайшим негодованием заявила нам, перед тем как мы сели завтракать, что утверждать, будто миссия женщины ограничена узкой сферой Домашнего очага,— это оскорбительная клевета, исходящая от Тирана-Мужчины. У этих людей была и другая странность — ни один человек с миссией (кроме мистера Куэйла, чья миссия, как я, кажется, уже говорила, сводилась к тому, чтобы восторгаться чужими миссиями), не уважал миссии другого: так, если миссис Пардигл недвусмысленно заявляла, что, набрасываясь на бедняков и напяливая на них свою благотворительность, как смирительную рубашку, она избрала единственно правильный путь, то мисс Уиск столь же недвусмысленно объявляла, что единственный разумный выход для мира — это освобождение женщины от гнета ее Тирана-Мужчины. А миссис Джеллиби все это время только улыбалась при мысли о том, как близоруки люди, если они видят что-нибудь кроме Бориобула-Гха.

Но я забегаю вперед, передавая содержание беседы, которую мы вели, возвращаясь домой, вместо того чтобы сначала рассказать о венчании Кедди. Все мы отправились в церковь, и мистер Джеллиби, по обычаю, торжественно подвел дочь к жениху. С какой важностью мистер Тарвидроп-старший, сунув цилиндр под мышку левой руки (и нацелив его, как пушку, на священника), закатил глаза на лоб чуть не до самого парика и, высоко подняв прямые плечи, стоял, как монумент, позади нас, подружек, в продолжение всей церемонии, а после нее отвесил нам поклон,— этого я никогда не сумела бы описать так, чтобы воздать ему должное.

Мисс Уиск, чью наружность я не могла бы назвать привлекательной и чье обращение было довольно суровым, сидела в церкви с презрительным выражением лица, очевидно считая обряд венчания одним из актов угнетения Женщины. Миссис Джеллиби, как всегда, спокойно улыбалась и с таким видом смотрела по сторонам блестящими глазами, словно из всей этой компании никто так мало не интересовался происходящим событием, как она.

Мы вернулись домой к завтраку, и миссис Джеллиби села во главе стола, а мистер Джеллиби против нее. Кедди перед этим успела пробраться наверх, чтобы еще раз обнять детей и сказать им, что теперь ее фамилия — Тарвидроп. Для Пищика это сообщение не было приятным сюрпризом — он тотчас же повалился навзничь и в таком горестном неистовстве задрыгал ногами, что, когда послали за мной, пришлось согласиться с тем, что лучше посадить его за стол взрослых. Спустившись в гостиную, он сел ко мне на колени, а миссис Джеллиби, заметив по поводу его передника: «Ну и гадкий же ты мальчишка, Пищик, что за противный поросенок!» — ни на миг не утратила невозмутимого спокойствия. Впрочем, ребенок вел себя примерно, если не считать того, что притащил с собой фигурку Ноя (из игрушечного ноева ковчега, который я подарила ему, перед тем как отправиться в церковь) и упорно окунал ее головой в стаканы с вином, а потом запихивал себе в рот.

Опекун, мягкий, все понимающий и приветливый, как всегда, ухитрился привести в приятное расположение духа даже этих нескладных гостей. Ни один из них, видимо, не признавал никаких тем для разговора, кроме своей излюбленной, и даже о ней не умел говорить как о неотъемлемой части мира, в котором есть и многое другое; но опекун все-таки поддерживал оживленный разговор, направляя его к тому, чтобы придать бодрости Кедди, и создать за столом торжественное настроение, подобающее знаменательному событию; так что если завтрак прошел хорошо, то лишь благодаря ему. Страшно подумать, что бы мы стали делать без него,— ведь вся эта компания презирала новобрачных и мистера Тарвидропа-старшего, а мистер Тарвидроп-старший смотрел на нее с вы-

соты своего хорошего тона, сознавая свое неизмеримое превосходство; словом, обстановка была очень сложная.

Но вот бедной Кедди настало время уезжать, и все ее вещи уложили на крышу наемной кареты, запряженной парой лошадей, которые должны были увезти новобрачных в Грейвзенд. Мы очень растрогались, увидев, как Кедди горюет, разлучаясь со своей безалаберной семьей, и с величайшей нежностью обнимает мать.

— Мне очень жаль, мама, что я не могла больше писать под диктовку,— всхлипывала Кедди.— Надеюсь, вы теперь прощаете меня?

— Ах, Кедди, Кедди! — промолвила миссис Джеллиби.— Я уже говорила тебе, и не раз, что наняла мальчика; значит, с этим покончено.

— Вы на меня ничуть не сердитесь, ведь правда, мама? Скажите мне это, мама, пока я еще не уехала.

— Глупышка ты, Кедди! — ответила миссис Джеллиби.— Неужели у меня сердитый вид, или я часто сержусь, или у меня есть время сердиться? И как только это тебе приходит в голову?

— Позаботьтесь хоть немного о папе, пока меня здесь не будет, мама!

Миссис Джеллиби чуть не расхохоталась, выслушав эту блажную просьбу.

— Ах ты романтическое дитя,— сказала она, слегка похлопав Кедди по спине.— Ну, поезжай! Мы с тобой останемся друзьями. А теперь до свидания, Кедди, и будь счастлива!

Тогда Кедди бросилась на шею отцу и прижалась щекой к его щеке, словно он был бедным, глупеньким, обиженным ребенком. Все это происходило в передней. Отец выпустил Кедди из своих объятий, вынул носовой платок и сел на ступеньку лестницы, прислонившись головой к стене. Надеюсь, он обретал утешение хоть в стенах. Почти готова поверить, что так оно и было.

Тогда Принц, взяв Кедди под руку, с величайшим волнением и почтительностью обратился к своему родителю, чей хороший тон в ту минуту производил прямо-таки потрясающее впечатление.

— Еще раз и тысячу раз благодарю вас, папенька! — сказал Принц, целуя ему руку.— Я глубоко благодарен

вам за доброту и внимание, с какими вы отнеслись к нашему браку, и, могу вас уверить, Кедди также благодарна.

— Очень,— рыдала Кедди,— о-о-чень!

— Мой дорогой сын и дорогая дочь, я исполнил свой долг,— изрек мистер Тарвидроп.— Если дух некоей святой Женщины сейчас витает над нами, взирая на совершающееся торжество, то сознание этого и ваша постоянная преданность послужат мне наградой. Надеюсь, вы не пренебрежете исполнением *вашего* долга, сын мой и дочь моя?

— Никогда, дражайший папенька! — воскликнул Принц.

— Никогда, никогда, дорогой мистер Тарвидроп! — сказала Кедди.

— Так и должно быть,— подтвердил мистер Тарвидроп.— Дети мои, мой дом принадлежит вам, мое сердце принадлежит вам, все мое принадлежит вам. Я никогда вас не покину,— нас разлучит только Смерть. Дорогой мой сын, ты, кажется, предполагаешь отлучиться на неделю?

— На неделю, дражайший папенька. Мы вернемся домой ровно через неделю.

— Мое дорогое дитя,— сказал мистер Тарвидроп,— позволь мне и в этом исключительном случае посоветовать тебе соблюсти строжайшую пунктуальность. Нам в высшей степени важно сохранить нашу клиентуру, а твои ученики могут и обидеться, если ты ими пренебрежешь.

— Ровно через неделю, папенька, мы непременно вернемся домой к обеду.

— Отлично! — сказал мистер Тарвидроп.— В вашей комнате, моя дорогая Кэролайн, вы увидите пылающий камин, а на моей половине — накрытый стол. Да, да, Принц! — добавил он с величественным видом, как бы желая предупредить самоотверженный отказ со стороны сына.— И ты и наша Кэролайн, вы вначале будете чувствовать себя неуютно в мансарде и потому в первый день будете обедать на моей половине. Итак, будьте счастливы!

Молодые уехали, и не знаю, кому я больше удивлялась,— миссис Джеллиби или мистеру Тарвидропу. Ада

и опекун тоже не знали, кому удивляться больше, да так и сказали мне, когда мы заговорили об этом. Но, прежде чем мы уехали, я получила самый неожиданный и выразительный комплимент от мистера Джеллиби. В передней он подошел ко мне, взял мои руки, пожал их с серьезным видом и дважды открыл рот. Я ничуть не сомневалась, что угадала его мысли, и, волнуясь, сказала: «Вы очень добры, сэр. Не надо ничего говорить, прошу вас!»

— Надеюсь, этот брак будет счастливым, опекун? — сказала я, когда мы втроем ехали домой.

— Надеюсь, Хлопотунья. Терпение. Там видно будет.

— Сегодня ветер дует с востока? — осмелилась я спросить.

Он добродушно расхохотался и ответил:

— Нет.

— Но утром он, наверное, был восточный? — осведомилась я.

Опекун снова ответил «нет», и на этот раз моя милая девочка тоже очень уверенно сказала «нет», покачав прелестной головкой; и так она была хороша с яркими цветами на золотистых кудрях, что показалась мне воплощением самой Весны.

— Много *ты* знаешь о восточных ветрах, дурнушка ты моя милая,— сказала я, целуя ее в восхищении... невозможно было удержаться.

Да! То, что я сейчас запишу, было им внушено их любовью ко мне, это я хорошо знаю; к тому же ведь они сказали это давным-давно. Но мне непременно хочется записать это, даже если я потом все вычеркну,— ведь мне так приятно это писать. Они сказали, что не может ветер дуть с востока, если существует кто-то; они сказали, что где бы ни появилась Хлопотунья, там всегда будет солнечный свет и летний воздух.

КОММЕНТАРИИ

Роман «Холодный дом» выходил в издательстве Брадбери и Эванс отдельными ежемесячными выпусками с марта 1852 по сентябрь 1853 года. Иллюстрировал роман Физ (Хэблот Браун). Первое полное издание «Холодного дома» появилось в 1853 году. Первый русский перевод (И. А. Бирилёва) был опубликован в 1854 году в журнале «Отечественные записки».

Стр. 5. *Канцлерский суд* — в эпоху Диккенса высшая, после палаты лордов, судебная инстанция в Англии, верховный Суд Справедливости. Двойная система английского правосудия — «правосудие по закону» (опирающееся на нормы обычного права и судебные прецеденты) и «правосудие по справедливости» (опирающееся на «приказы» лорд-канцлера) осуществлялась через два института судопроизводства: королевские Суды общего права и Суд Справедливости.

Во главе верховного Суда Справедливости — Канцлерского суда — стоит лорд-канцлер (он же — министр юстиции), формально не связанный парламентскими законами, обычаями или прецедентами и обязанный руководствоваться в издаваемых им «приказах» требованиями справедливости. Созданный в феодальную эпоху, Канцлерский суд призван был дополнить английскую судебную систему, контролировать решения и исправлять ошибки Судов общего права. В компетенцию Канцлерского суда входили разбор апелляций, спорных дел, рассмотрение просьб, обращенных к верховным властям, издание приказов для урегулирования новых правоотношений и передачи дел в Суды общего права.

Судебная волокита, произвол, злоупотребления канцлерских судей, сложность судебной процедуры и толкования законов, запутанность взаимоотношений Судов общего права и Суда Справедливости привели к тому, что Канцлерский суд с течением времени превратился в одно из самых реакционных и ненавистных народу государственных учреждений.

В настоящее время Канцлерский суд — одно из отделений Верховного Суда Великобритании.

Ричард Второй — английский король, правивший в 1377—1399 годах, лицемерный и вероломный деспот.

...цитату из шекспировского сонета... — Здесь приводится второе четверостишие 111-го сонета Шекспира. (Перевод С. Я. Маршака.)

Стр. 6. *Мистер Льюис.* — Джордж Генри Льюис (1817—1878) — английский философ-позитивист и литературный критик.

Стр. 7. *Пребендарий* — у католиков духовное лицо, ведающее церковными или монастырскими владениями и пользующееся доходами от части церковной земли.

Стр. 11. *Сессия Михайлова дня.* — Михайлов день — 29 сентября. Сессия Михайлова дня — название одной (со 2-го по 25 ноября) из четырех в году сессий, в течение которых в Англии происходят судебные заседания.

Линкольнс-Инн-Холл — здание одной из четырех главных лондонских юридических корпораций, обладающих монопольным правом подготовки адвокатов и выдачи разрешения на занятие адвокатской практикой. В здании Линкольнс-Инн-Холла часто проходили заседания Канцлерского суда (другое место заседаний — Вестминстер-Холл).

Стр. 12. *Гринвичские пенсионеры.* — Речь идет об обитателях знаменитого приюта для престарелых моряков в Гринвиче, открытого в 1694 году и вмещавшего до трех тысяч человек.

Тэмпл-Бар — старинные ворота (построены в XVII веке), оставшиеся от стены, отделявшей ранее торговую часть Лондона, Сити, от Вестминстера; в 1878—1879 годы были перенесены за городскую черту.

Стр. 13. *Поверенный* («солиситор» — *англ.)* — звание юриста низшего разряда с компетенцией ходатая по делам. «Солиситор» входил в непосредственное общение с клиентом адвоката («барристера»), чьим поверенным он являлся.

«Колодец». — Место в зале суда между столом регистратора и адвокатскими креслами Диккенс метафорически называет

«колодцем», на дне которого, по изречению, приписываемому Демокриту, должна «прятаться истина».

Стр. 14. *...два-три блюстителя не то порядка, не то законности, не то интересов короля.*— Здесь упоминаются судейские чиновники, участвующие в судебной церемонии в Канцлерском суде; ведающие исками в пользу юридических и судебных служащих; надзирающие за фондом личных расходов короля.

Стр. 15. *Шропшир* — графство в Западной Англии.

Канцлерская улица — одна из центральных лондонских улиц, на которой помещается здание Линкольнс-Инн-Холла.

Стр. 19. *Рип Ван-Уинкл* — герой предания голландских поселенцев Америки. Популярный герой одноименной фантастической повести американского новеллиста В. Ирвинга (1783—1859). Усыпленный гномами, Рип проспал войну за независимость Америки.

Стр. 20. *Линкольншир* — графство в Восточной Англии.

Стр. 21. *Дедлок.*— По-английски «dead-lock» — тупик, застой. Здесь, как это часто бывает у Диккенса, имя героя служит одним из средств его характеристики.

Баронет — наследственный средний дворянский титул, введенный в 1611 году английским королем Яковом I.

Стр. 23. *...во время лондонского сезона...*— Светский «сезон» в Лондоне длился с апреля по август. В это время были открыты оба главных театра Друри-Лейн и Ковент-Гарден, Итальянская опера, высшие суды, парламент.

Меркурий — в античной мифологии посланец богов. «Меркурием в пудреном парике» Диккенс называет лакея.

Стр. 24. *Итальянская опера.*— Итальянская опера давала спектакли в Лондоне с апреля по август в пятиярусном здании на Хэймаркете.

Стр. 25. *...как Лемюэль Гулливер увел грозный флот величественной Лилипутии* — неточное упоминание эпизода из «Путешествия Гулливера» (1726) Джонатана Свифта (1667—1745). В романе Свифта (глава 5, часть I) Гулливер уводит к лилипутам флот государства Блефуску.

Стр. 26. *Уот Тайлер.*— Уот Тайлер (год рождения неизвестен, убит в Лондоне в 1381 году)— деревенский ремесленник, возглавивший вместе со священником Джоном Боллом крупнейшее антифеодальное восстание английских крестьян в 1381 году.

Стр. 37. *Виндзор* — старинный город к юго-западу от Лон-

дона. Виндзорский замок на протяжении многих веков служит королевской резиденцией.

Рединг — город неподалеку от Лондона, университетский центр.

Стр. 43. *Пикадилли* — центральная площадь Лондона, от которой расходятся главные магистрали города.

...каретный двор при гостинице «Погреб белого коня» — место отправления карет к западу от Лондона. Здание каретного двора было перенесено в конце XIX века.

Стр. 47. *...парике фасона «с кошельком»...* — парик с косичкой, укладывавшейся в чехол в виде кошелька.

Стр. 48. *Хэртфордшир* — графство на юго-востоке Англии.

Стр. 52. *...шестая печать, о которой сказано в Откровении...* — печать антихриста, упоминаемая в Апокалипсисе, последней книге Нового завета.

Стр. 54. *Винчестер* — старинный город в графстве Саутхэмптон. Здесь и по настоящее время находится популярный винчестерский колледж св. Марии и еще несколько средних учебных заведений для привилегированных общественных слоев.

Стр. 57. *...к дворику, вырытому ниже уровня улицы...* — В XIX веке в Лондоне во многих домах еще сохранились нижние дворики — площадки ниже уровня мостовой, откуда можно было войти через отдельный вход в кухню и помещения для прислуги.

Стр. 60. *«На память о Тенбриджских водах».* — Тенбридж — курорт с минеральными источниками в 34 милях к югу от Лондона.

Стр. 70. *...пока не доживет до Мафусаиловых лет...* — Мафусаил — старейший из библейских патриархов, дед Ноя, проживший, по преданию, 969 лет. Имя его стало нарицательным для обозначения долголетия.

Стр. 71. *...клянусь Большой печатью...* — Большая печать — королевская печать, вручаемая лорд-канцлеру, вступающему в исполнение своей должности.

Стр. 72. *Долгие каникулы суда.* — В Англии с августа по ноябрь судебные заседания не проводились.

Стр. 85. *Ньюгетский рынок* — во времена Диккенса центральный рынок Лондона (закрыт в 1861 году).

Стр. 86. *Виттингтон.* — Ричард Виттингтон — герой легенды, рассказывающей о том, как ученик лондонского торговца мануфактурой, бежавший от своего жестокого хозяина, был останов-

лен в лондонском предместье звоном колоколов, в котором он явственно различил слова: «Вернись, Виттингтон, трижды лорд-мэр Лондона!» Вернувшись в Лондон, Ричард случайно разбогател, стал купцом и был трижды избран лорд-мэром Лондона. В основе легенды — биография Ричарда Виттингтона, в XV веке трижды избиравшегося лорд-мэром Лондона.

Стр. 88. *Барнет* — городок в графстве Хэртфордшир в 11 милях к северу от Лондона, место смены карет на Большой Северной дороге.

Сент-Олбенс — старинный город в 20 милях от Лондона, находится на месте римского поселения Веруламиум.

Стр. 95. *«Смерть капитана Кука».* — На упоминаемой Диккенсом гравюре изображена гибель известного английского мореплавателя Джемса Кука (1728—1779) от руки туземцев на Гавайских островах. Кук погиб во время своего третьего кругосветного плавания.

...во времена королевы Анны... — Анна (1665—1714) — английская королева с 1702 по 1714 год, дочь Якова II Стюарта.

Стр. 97. *Гарольд Скимпол.* — По единодушному мнению современников Диккенса прототипом образа Скимпола являлся популярный журналист и эссеист Ли Хант, известный в литературных кругах Лондона удивлявшим всех умением жить на средства знакомых.

Стр. 99. *...несколько листов бристольского картона...* — Бристольский картон изготовляется из бумаги высших сортов.

Стр. 104. *...арестован за неуплату долга.* — Согласно английским законам несостоятельные должники, привлеченные к судебной ответственности, при наличии платежеспособных поручителей могли быть помещены на несколько дней — до уплаты долга — на квартиру к судебному исполнителю. В случае неуплаты долга они заключались в долговую тюрьму.

Стр. 109. *Трик-трак* — старинная комбинированная игра в шашки и кости: шашки передвигаются по доске в соответствии с очками, выпавшими на костях.

Стр. 110. *«Для продления дней...»* — строки популярного романса на слова стихотворения «Майский месяц» из «Ирландских мелодий» (1835) Томаса Мура — английского поэта-романтика (1779—1852).

Стр. 115. *...в харчевне «Герб Дедлоков»...* — Название харчевни традиционно для сельской Англии, где многие таверны и постоялые дворы назывались в честь местных помещиков.

Стр. 117. *...парики с косами...*— Парики с косами в конце XVIII — начале XIX века носили обычно солдаты и матросы.

Стр. 119. *...одного из тех... заговорщиков, которые привыкли шататься при свете факелов...*— намек на волнения в рабочих промышленных районах Англии, которыми была отмечена середина XIX века.

Стр. 124. *В смутное время короля Карла Первого...*— Карл I Стюарт (1600—1649) — английский король с 1625 по 1649 год, проводивший реакционную феодально-абсолютистскую политику, противоречившую интересам буржуазии и «нового дворянства» и вызывавшую протест широких народных масс.

Стр. 127. *Как покрывают множество грехов* — перифраза библейского изречения «Милосердие покроет множество грехов» (первое послание Петра, IV, 8).

Стр. 132. *«Яблочный пирог»* — стихи-азбука для детей, в которых начальные буквы строк следуют в алфавитном порядке.

Стр. 134. *Куда ты, старушка, летишь в высоту...* — слова одной из английских детских песенок, составивших популярнейшие стихотворные детские сборники «Матушка Гусыня», «Песня нянюшки» и другие, начавшие выходить с XVIII века.

Миссис Шиптон, матушка Хабберд, г-жа Дарден — сказочные персонажи: миссис Шиптон — колдунья-пророчица; матушка Хабберд — образцовая хозяйка; г-жа Дарден — женщина-труженица.

Стр. 140. *Королевское общество* — английская академия точных наук, основанная в 1622 году.

Стр. 159. *Люцифер* — в христианской мифологии Сатана, повелитель ада, символ зла. Используется созвучие имени Люцифера («Lucifer») с именем — сэра Лестера («Leicester»).

Стр. 175. *Ролс-Ярд* — старинный дворец и часовня Хранителя Церковного архива. На месте Ролс-Ярд сейчас находится Государственный Архив.

Рогатка — восточный конец улицы Холборн, где она разделяется на три другие улицы.

Линкольновы поля — широкая лондонская площадь перед зданием Линкольнс-Инн-Холла.

Стр. 180. *Суд королевской скамьи* — один из трех высших Судов Общего права, в компетенцию которого входили дела о государственной измене и должностных преступлениях.

Стр. 188. *Английский банк.*— Основанный в 1694 году, Английский банк до конца второй мировой войны формально

являлся частным акционерным учреждением, но выполнял функции Государственного банка, находясь под контролем правительства.

Стр. 189. *Нимрод* — искаженное Немврод, библейский герой — силач-охотник.

Стр. 190. *Коронер* — чиновник, совмещавший судейские и следовательские функции. Производил дознания и осмотр в случаях внезапной смерти, смерти при невыясненных обстоятельствах, подозрениях в поджоге, намеренном кораблекрушении и т. п. Заседания Суда коронера, принимавшего решения по этим делам, производились на месте преступления.

Стр. 193. *Гармонические собрания...* — «Гармонические собрания любителей пения» были учреждены в Англии по указу короля Георга II и явились началом современного мюзик-холла. Они проходили обычно в трактирах, пивных залах и т. п. и заключались в концертных выступлениях разнообразного характера.

Стр. 201. *...на затиснутое в закоулок кладбище...* — Речь идет об одном из так называемых «кладбищ для бедных», где хоронили людей, не имевших родственников или умерших в работном доме. Такие кладбища были в каждом приходе.

Стр. 203. *...как перевязь на гербе внебрачных детей...* — Перевязь, пересекающая гербовый щит по диагонали слева направо, ошибочно считалась знаком «незаконного» рождения.

Вандомская площадь... — Вандомская площадь названа в честь французского полководца Вандома (1654—1712).

Улица Риволи — получила свое название в честь победы французских войск над австрийской армией в 1797 году в битве при Риволи, североитальянской деревне.

...рокового дворца обезглавленных короля и королевы... — Диккенс говорит о дворце Тюильри, куда в июне 1791 года были заключены Людовик XVI и Мария-Антуанетта, казненные по приказу Конвента в 1793 году.

Площадь Согласия. — В эпоху революции 1789—1793 годов название площади дважды менялось: якобинцы переименовали площадь Короля в площадь Революции. Новое — существующее теперь — название было дано площади правительством Директории.

Елисейские поля — одна из центральных улиц Парижа, на которой расположен Елисейский дворец.

Триумфальная арка на площади Звезды — воздвигнута в 1806 году архитектором Шангреном в честь победы Наполеона.

Стр. 204. *Гигант Отчаяния* — аллегорический персонаж из романа Джона Беньяна (1628—1688) «Путь паломника» (1678—1684).

...двумя темными прямоугольными башнями... — Здесь говорится о башнях собора Парижской богоматери.

Стр. 208. *...во времена королевы Елизаветы...* — Елизавета (1533—1603) — английская королева с 1558 по 1603 годы из династии Тюдоров.

Стр. 211. *Сент-Джеймский двор* — лондонская резиденция короля. Название происходит от наименования больницы св. Джеймса, находившейся до XVI века на месте дворца.

Георг Четвертый (1762—1830) — принц-регент (1811—1820), король Англии в 1820—1830 годы. Возглавлял крайнюю реакцию в Англии, поддерживал политику Священного союза. Получил известность как законодатель мод своего времени, «первый джентльмен Европы».

Стр. 216. *Олд-Бейли* — центральный лондонский уголовный суд, получивший наименование от улицы, где он находился. Здание суда вместе с находившейся неподалеку Ньюгетской тюрьмой было снесено в 1803—1804 годах.

Стр. 224. *...поэтом... нужно родиться...* — римская пословица, которая обычно возводится к изречению древнеримского поэта Публия Анния Флоруса (конец I-го — начало II-го в.) из восьмого фрагмента его стихотворения «О сущности жизни».

Стр. 228. *Челси* — во времена Диккенса большой пригород Лондона на северном берегу Темзы. Сейчас — район города.

Стр. 238. *...как это сделал возница-язычник.* — Диккенс намекает здесь на эпизод из греческой мифологии. Возница-язычник — Фаэтон, сын бога Солнца, упросил отца разрешить ему в течение одного дня управлять колесницей Солнца, но не смог удержать огнедышащих коней, едва не спаливших огнем землю. Чтобы предотвратить гибель земли, Зевс поразил Фаэтона молнией.

Стр. 248. *Принц-регент.* — Речь идет о будущем короле Георге IV, назначенном принцем-регентом в 1811 году, когда его отец Георг III был признан умалишенным.

Стр. 254. *Брайтон* — аристократический приморский курорт на южном побережье Англии.

Стр. 284. *...нечто вроде «Невеселого кузнеца»* — шутка Диккенса, основанная на названии музыкального произведения Генделя «Веселый кузнец».

Стр. 286. *...подруга в счастье и несчастье...* — слова английского обряда венчания.

Стр. 292. *Самсон* — библейский герой, отличавшийся огромной силой.

Стр. 299. *Нок-бензели фор-марселей.* — Нок-бензель — перевязка двух тросов, фор-марсель — четырехугольный прямой парус, закрепленный вторым снизу на фок-мачте.

Стр. 305. *Блекстон* (1723—1789) — крупный английский юрист, автор труда «Комментарии к законам Англии».

Стр. 306. *Минерва* — в древнеримской мифологии богиня — покровительница ремесел, наук и искусств. Символ мудрости.

Стр. 317. *Кошелек Фортуната.* — Фортунат — герой народной легенды, созданной в эпоху Возрождения, обладатель волшебного кошелька, в котором не иссякало золото и который стал причиной гибели его детей. Мораль сказки о Фортунате — одно богатство не может составить человеческого счастья.

Стр. 322. *Аякс* — герой «Илиады» Гомера, погиб в морской пучине за оскорбление богов.

Стр. 326. *«Господи, не входи в суд...»* — слова богослужения.

Стр. 330. *...раскрываюсь... как туча у Мильтона...* — намек на образ «пьесы маски» Мильтона (1608—1674) «Комус» (1637): «У каждого облака есть серебряный ободок».

Стр. 338. *Летучий Голландец* — корабль-призрак, встреча с которым, по легенде, предвещает бурю и кораблекрушение.

Вестминстер-Холл — зал Вестминстерского дворца (строился с 1097 года), где помещался английский парламент. С середины XIX века — вестибюль парламента. В Вестминстер-Холле проходили некоторые заседания Канцлерского суда.

Сарджентс-Инн — одна из юридических корпораций на Флит-стрит.

Стр. 340. *Маргет* — город-курорт на юго-восточном побережье Англии. *Рамсгет* — популярный курорт на восточном побережье Англии. *Грейвзенд* — городок в устье Темзы, рядом с Лондоном.

Стрэнд и Флит-стрит — улицы в центральной части Лондона. Стрэнд — театральный центр, Флит-стрит — газетный центр.

Стр. 341. *...любит называть себя... «сосудом»...* — Слово «vessel» имеет в английском языке два значения: «судно» и «сосуд»; здесь: «сосуд благодати».

Стр. 353. *...Быть юным отпрыском людей...* — пародия Диккенса на духовные гимны.

Стр. 354. *Блекфрайерский мост.* — Блекфрайерский мост, по-

строенный в 1769 году, был много лет главной трассой через Темзу. До 1785 года за проход по нему взималась плата (снесенный в 1864 году, он был восстановлен по новому проекту в 1865—1869 годах).

Стр. 356. *...просто Смолл или же Цып-Уид...* — игра слов, построенная на том, что «Смолл» (small) по-английски значит «маленький», «Уид» (weed) «сорняк».

Стр. 359. *Джон Доу... и... Роу* — юридическая фикция в английской юриспруденции, употреблявшаяся в преамбуле исков об изъятии земельной собственности. Истец указывает, что участок земли, на который он претендует, был арендован у него когда-то некиим Джоном Доу, а у последнего... Ричард Роу (под ним подразумевается ответчик) незаконно отнял землю.

Стр. 372. *«Богини Альбиона»* — один из альбомов портретов светских красавиц, получивших широкое хождение в мещанской среде.

Стр. 374. *«Приятный холм»* — лондонский торговый центр.

Стр. 377. *Черный Разводящий — Смерть* — определение смерти, данное Шекспиром в «Гамлете» (акт V, сц. 2-я).

Стр. 378. *Джек, истребитель великанов* — герой английской детской сказки.

Синдбад-Мореход — персонаж «1001 ночи».

Крикет — английская игра в мяч.

За море! Чарли за море!.. — старинная английская песня, сложенная в середине XVIII века английскими «якобитами», приверженцами свергнутой династии Стюартов, представитель которой Карл Эдуард (Чарльз), внук короля Якова II, находился во Франции («за морем»), куда он бежал после попытки вторжения в Англию в 1745 году.

Стр. 383. *Друидические развалины* — остатки каменных сооружений кельтов — древнейших жителей Англии, связанные с культом жрецов-друидов. Друидические развалины можно найти в графстве Уильтшир — так называемые «стоунхендж» (сакс. «висячие камни»). У Диккенса здесь метафора — речь идет об уродливых сооружениях-развалинах.

Стр. 393. *«Саул»* — оратория Генделя (1738).

Стр. 394. *Мост Ватерлоо* — крупнейший лондонский мост, открыт в 1817 году и назван в честь решительной победы англо-прусской армии над Наполеоном близ бельгийской деревни Ватерлоо.

Цирк Астли — один из известнейших театров-цирков, открытый в 1780 году, где ставились пантомимы, мелодрамы и феерии и показывались дрессированные лошади.

Стр. 394. *Хэймаркет* — улица в центре Лондона.

Лестер-сквер — одна из центральных площадей Лондона, где находятся театр Алабама и памятник Шекспиру.

Стр. 415. *...во времена террора.*— Имеется в виду период якобинской диктатуры во французской буржуазной революции 1789—1793 годов.

Стр. 419. *...получить патент...*— Офицерские свидетельства, как во многих европейских странах, в Англии покупались и продавались.

Стр. 420. *Площадь Сохо* — площадь в центре района, населенного беднотой.

Стр. 423. *...в позе «второго джентльмена Европы».*— «Первым джентльменом Европы» считался принц-регент.

Стр. 445. *Холихед* — порт на востоке Уэльса, имеющий регулярное морское сообщение с Дублином.

Стр. 452. *Лейб-гвардеец Шоу* (1795—1871) — английский офицер, ирландец по происхождению, участник многих военных кампаний. В мирное время руководил обучением снайперов.

Стр. 455. *Флитская тюрьма* — древнейшая лондонская тюрьма, куда с XVII века заключались неисправные должники. Четырехэтажное здание тюрьмы было снесено в 1845 году.

Стр. 457. *...мерещатся мантии и короны пэров, орденские звезды и подвязки...*— Пэр — член палаты лордов, представитель высшего дворянства. Орден Подвязки — высший английский орден, учрежденный в 1350 году. Носится под левым коленом.

Стр. 469. *Ступальное колесо* — длинный деревянный вал, нарезанный горизонтальными ступенями, над которым закреплялась доска с ручкой, держась за которую и идя по ступенькам вала, приводили в движение соединенный с валом механизм. В тюрьмах на работу на ступальном колесе назначали в порядке наказания. Колесо чаще всего не соединялось тогда с механизмом.

Ньюгетская тюрьма — центральная уголовная тюрьма в Лондоне; в нее заключались лица, осужденные за государственные и тяжелые уголовные преступления.

Стр. 473. *Сэфрон-хилл, Хэттон-гарден, Клеркенуэл, Смитфилд* — лондонские районы, населенные беднотой.

Стр. 475. *Пороховой заговор* — неудавшийся католический заговор 1605 года в Лондоне. Сигналом к восстанию должен был послужить взрыв парламента во время тронной речи Якова I — короля, проводившего антикатолическую политику. 5 ноября — когда были обнаружены бочки с порохом и арестованы заговорщики — отмечается в Англии ежегодным праздником.

Стр. 492. *Уайтфрайерс*— район Лондона, пользовавшийся во время Диккенса дурной славой. Здесь часто скрывались беглые преступники.

Стр. 493. *Кент... Сэррей.*— Кент — графство, ограниченное с севера Темзой, с востока — Северным морем, с юга — Ламаншем и графством Сэррей. Сэррей — графство, часть которого вошла в состав Лондона (южный берег Темзы).

...у достославного «Слона»...— «Слон и Паланкин» — известный до середины XIX века постоялый двор со стоянкой почтовых карет, направлявшихся на юг.

Железное чудище.— Диккенс имеет в виду железную дорогу.

Стр. 495. *Квебек... Мальта...*— Квебек — провинция на востоке Канады, английская колония с 1763 года. Мальта — группа островов на Средиземном море, английские колониальные владения.

Вулидж — район восточного Лондона, где находились Арсенал и Высшее инженерно-артиллерийское училище.

Стр. 502. *Бат* — наиболее фешенебельный курорт английской знати.

Стр. 533. *...«прошел через газету»...*— «Газета» — бюллетень, публикующий списки служебных назначений, постановлений о банкротстве, должностных перемещениях и пр.

Стр. 539. *Собор св. Петра* — Вестминстерское аббатство, место коронации английских королей, погребения монархов, государственных деятелей и выдающихся граждан. Здесь, в «уголке поэтов», похоронен и Чарльз Диккенс.

Б. ТОМАШЕВСКИЙ и Д. ШЕСТАКОВ

СОДЕРЖАНИЕ

ХОЛОДНЫЙ ДОМ

ЧАРЛЬЗ ДИККЕНС

Собр. соч., т. 17

Редактор А. Миронова. Художник Н. Семпер
Художеств. редактор Л. Калитовская
Техническ. редактор Г. Каунина. Корректор В. Седова

Сдано в набор 12/VIII-1959 г. Подписано к печати 17/XI 1959 г.
Бумага 84 × 108[1]/32—17,63 печ. л. 28,91 усл. печ. л. 28,43 уч.-изд. л.
Тираж 500 000 (150 001—300 000) экз. Заказ № 1171. Цена 10 р.

Гослитиздат. Москва, Б-66, Н.-Басманная, 19.

Типография «Красный пролетарий» Госполитиздата Министерства культуры СССР. Москва, Краснопролетарская, 16.